Сочиненія
Ѳ. М. Достоевскаго

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00008802 1

Presented to the
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO
by
ESTATE OF THE LATE
JOHN B. C. WATKINS

Ѳ. М. Достоевскій

Собраніе сочиненій

Бумага безъ примѣси древесной массы.

PG
3325
A1
1911
t.21

LIBRARY
DEC 8 1965
UNIVERSITY OF TORONTO

1028810

Оглавленіе.

Дневникъ писателя за 1877 г.

Январь.

Стр.

Глава первая. I. Три идеи. II. Миражи. Штунда и Редстокисты. III. Ѳома Даниловъ, замученный русскій герой 3

Глава вторая. I. Примирительная мечта внѣ науки. II. Мы въ Европѣ лишь стрюцкіе. III. Русская сатира. „Новь". „Послѣднія пѣсни". Старыя воспоминанія. IV. Именинникъ. — Отъ редакціи 19

Февраль.

Глава первая. I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающіе дѣлать луну въ Гороховой. Одинъ изъ неизвѣстнѣйшихъ русскихъ великихъ людей. II. Доморощенные великаны и приниженный сынъ „кучи". Анекдотъ о содранной со спины кожѣ. Высшіе интересы цивилизаціи и „да будутъ они прокляты, если ихъ надо покупать такою цѣной!" III. О сдираніи кожъ вообще, разныя аберраціи въ частности. Ненависть къ авторитету при лакействѣ мысли. IV. Меттернихи и Донъ-Кихоты 37

Глава вторая. I. Одинъ изъ главнѣйшихъ современныхъ вопросовъ. II. „Злоба дня". III. Злоба дня въ Европѣ. IV. Русское рѣшеніе вопроса. — Отвѣтъ на письмо 54

Мартъ.

Глава первая. I. Еще разъ о томъ, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а долженъ быть нашъ. II. Русскій народъ слишкомъ доросъ

до здраваго понятія о Восточномъ вопросѣ съ своей точки зрѣнія. III. Самыя подходящія въ настоящее время мысли . . . . . Стр. 71

Глава вторая. I. „Европейскій вопросъ". II. Pro и contra. III. Status in statu. Сорокъ вѣковъ бытія. IV. Но да здравствуетъ братство! . . . 82

Глава третья. I. Похороны „Общечеловѣка". II. Единичный случай 99

Апрѣль.

Глава первая. I. Война. Мы всѣхъ сильнѣе. II. Не всегда война бичъ, иногда и спасеніе. III. Спасаетъ ли пролитая кровь? Мнѣніе „Тишайшаго" Царя о Восточномъ вопросѣ 106

Глава вторая. Сонъ смѣшного человѣка. Фантастическій разсказъ. — Освобожденіе подсудимой Корниловой. — Къ моимъ читателямъ . . 118

Май—Іюнь.

Глава первая. I. Изъ книги предсказаній Іоанна Лихтенберга, 1528 года. II. Объ анонимныхъ ругательныхъ письмахъ. III. Планъ обличительной повѣсти изъ современной жизни. . . 140

Глава вторая. I. Прежніе земледѣльцы — будущіе дипломаты. II. Дипломатія передъ міровыми вопросами. III. Никогда Россія не была столь могущественною, какъ теперь, — рѣшеніе не дипломатическое 158

Глава третья. I. Германскій міровой вопросъ. Германія страна протестующая. II. Одинъ геніально-мнительный человѣкъ. III. И сердиты, и сильны. IV. Черное войско. — Мнѣніе легіоновъ какъ новый элементъ цивилизаціи. V. Довольно непріятный секретъ 175

Глава четвертая. I. Любители турокъ. II. Золотые фраки. Прямолинейные 195

Іюль—Августъ.

Глава первая. I. Разговоръ мой съ однимъ московскимъ знакомымъ. — Замѣтка по поводу новой книжки. II. Жажда слуховъ и того, что „скрываютъ". Слово: *скрываютъ* можетъ имѣть будущность, а потому и надобно принять мѣры заранѣе. — Опять о случайномъ семействѣ.

III. Дѣло родителей Джунковскихъ съ родными дѣтьми. IV. Фантастическая рѣчь предсѣдателя суда . . . . . Стр. 202

Глава вторая. I. Опять обособленіе. Восьмая часть „Анны Карениной". II. Признанія славянофила. III. „Анна Каренина" какъ фактъ особаго значенія. IV. Помѣщикъ добывающій вѣру въ Бога отъ мужика 228

Глава третья. I. Раздражительность самолюбія. II. Tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu. III. О безошибочномъ знаніи необразованнымъ и безграмотнымъ русскимъ народомъ главнѣйшей сущности Восточнаго вопроса. IV. Сотрясеніе Левина. Вопросъ: имѣетъ ли разстояніе вліяніе на человѣколюбіе? Можно ли согласиться съ мнѣніемъ одного плѣннаго турка о гуманности нѣкоторыхъ нашихъ дамъ? Чему же наконецъ насъ учатъ наши учители? 244

Сентябрь.

Глава первая. I. Несчастливцы и неудачники. II. Любопытный характеръ. III. То да не то. Ссылка на то, о чемъ я писалъ еще три мѣсяца назадъ. IV. О томъ, что думаетъ теперь Австрія. V. Кто стучится въ дверь? Кто войдетъ? Неизбѣжная судьба 266

Глава вторая. I. Ложь ложью спасается. II. Слизняки принимаемые за людей. Что намъ выгоднѣе: когда знаютъ о насъ правду или когда говорятъ о насъ вздоръ? III. Легкій намекъ на будущаго интеллигентнаго русскаго человѣка. Несомнѣнный удѣлъ будущей русской женщины 289

Октябрь.

Глава первая. I. Къ читателю. II. Старое всегдашнее военное правило. III. То же правило, только въ новомъ видѣ. IV. Самыя огромныя военныя ошибки иногда могутъ быть совсѣмъ не ошибками. V. Мы лишь наткнулись на новый фактъ, а ошибки не было. Двѣ арміи — двѣ противоположности. Настоящее положеніе дѣлъ 303

Глава вторая. I. Самоубійство Гартунга и всегдашній вопросъ нашъ: кто виноватъ? II. Русскій джентльменъ. Джентльмену нельзя не остаться

до конца джентльменомъ. III. Ложь необходима для истины. Ложь на ложь даетъ правду. Правда ли это? . . . . . Стр 316

Глава третья. I. Римскіе клерикалы у насъ въ Россіи. II. Лѣтняя попытка Старой Польши мириться. III. Выходка „Биржевыхъ Вѣдомостей". Не бойкія, а злыя перья 328

Ноябрь.

Глава первая. I. Что̀ значитъ слово „стрюцкіе"? II. Исторія глагола „стушеваться" 339

Глава вторая. I. Лакейство или деликатность? II. Самый лакейскій случай какой только можетъ быть. III. Одно совсѣмъ особое словцо о славянахъ, которое мнѣ давно хотѣлось сказать 345

Глава третья. I. Толки о мирѣ. „Константинополь долженъ быть нашъ" — возможно ли это? Разныя мнѣнія. II. Опять въ послѣдній разъ „прорицанія". III. Надо ловить минуту . . . 362

Декабрь.

Глава первая. I. Заключительное разъясненіе одного прежняго факта. II. Выписка. III. Искаженія и подтасовка и — намъ это ничего не стоитъ. IV. Злые психологи. Акушеры психіатры. V. Одинъ случай, по моему, довольно много разъясняющій. VI. Врагъ ли я дѣтей? О томъ, что̀ значитъ иногда слово „счастливая" . . . 375

Глава вторая. I. Смерть Некрасова. О томъ, что сказано было на его могилѣ. II. Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ. III. Поэтъ и гражданинъ. Общіе толки о Некрасовѣ какъ о человѣкѣ. IV. Свидѣтель въ пользу Некрасова. V. Къ читателямъ 398

Дневникъ писателя за 1880 г.

Августъ.

Глава первая. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже рѣчи о Пушкинѣ 423

Глава вторая. Пушкинъ. Рѣчь, произнесенная 8 іюня въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности 432

Глава третья. Придирка къ случаю. Четыре лекціи на разныя темы по поводу одной лекціи, прочитанной мнѣ г. А. Градовскимъ, съ обращеніемъ къ г. Градовскому . . . . . Стр. 447

Дневникъ писателя за 1881 г.

Январь.

Глава первая. I. Финансы. Гражданинъ, оскорбленный въ Ѳеситъ. Увѣчаніе снизу и музыканты. Говорильня и говоруны. II. Возможно-ль у насъ спрашивать европейскихъ финансовъ? III. Забыть текущее ради оздоровленія корней. По неумѣнью впадаю въ нѣчто духовное. IV. Первый корень. Вмѣсто твердаго финансоваго топа впадаю въ старыя слова. Море-океанъ. Жажда правды и необходимость спокойствія, столь полезнаго для финансовъ. V. Пусть первые скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ, единственно чтобъ уму-разуму научиться 481

Глава вторая. I. Остроумный бюрократъ. Его мнѣніе о нашихъ либералахъ и европейцахъ. II. Старая басня Крылова объ одной свиньѣ. III. Геокъ-Тепе. Что такое для насъ Азія? IV. Вопросы и отвѣты 506

Дневникъ писателя

За 1877 г.

ЯНВАРЬ.

Глава первая.

I.

Три идеи.

Я начну мой новый годъ съ того самаго, на чемъ остановился въ прошломъ году. Послѣдняя фраза въ декабрьскомъ «Дневникѣ» моемъ была о томъ, «что почти всѣ наши русскія разъединенія и обособленія основались на однихъ лишь недоумѣніяхъ, и даже прегрубѣйшихъ, въ которыхъ нѣтъ ничего существеннаго и непереходимаго». Повторяю опять: всѣ споры и разъединенія наши произошли лишь отъ ошибокъ и отклоненій ума, а не сердца, и вотъ въ этомъ-то опредѣленіи и заключается все существенное нашихъ разъединеній. Существенное это довольно еще отрадно. Ошибки и недоумѣнія ума исчезаютъ скорѣе и безслѣднѣе, чѣмъ ошибки сердца; излѣчиваются же не столько отъ споровъ и разъясненій логическихъ, сколько неотразимою логикою событій живой, дѣйствительной жизни, которыя весьма часто, сами въ себѣ, заключаютъ необходимый и правильный выводъ и указываютъ прямую дорогу, если и не вдругъ, не въ самую минуту ихъ появленія, то во всякомъ случаѣ въ весьма быстрые сроки, иногда даже и не дожидаясь слѣдующихъ поколѣній. Не то съ ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный духъ иногда даже во всей націи, несущій съ собою весьма часто такую степень слѣпоты, которая не излѣчивается даже ни передъ какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротивъ, перерабатываю-

щая эти факты на свой ладъ, ассимилирующая ихъ съ своимъ зараженнымъ духомъ, при чемъ происходитъ даже такъ, что скорѣе умретъ вся нація, сознательно, т. е. даже понявъ слѣпоту свою, но *не желая* уже излѣчиваться. Пусть не смѣются надо мной заранѣе, что я считаю ошибки ума уже слишкомъ легкими и быстро изгладимыми. И ужъ смѣшнѣе всего было бы, даже кому бы то ни было, а не то что мнѣ, принять на себя въ этомъ случаѣ роль изглаживателя, твердо и спокойно увѣреннаго, что словами проймешь и перевернешь убѣжденія данной минуты въ обществѣ. Я это все сознаю. Тѣмъ не менѣе стыдиться своихъ убѣжденій нельзя, а теперь и не надо, и кто имѣетъ сказать слово, тотъ пусть говоритъ, не боясь, что его не послушаютъ, не боясь даже и того, что надъ нимъ насмѣются, и что онъ не произведетъ никакого впечатлѣнія на умъ своихъ современниковъ. Въ этомъ смыслѣ «Дневникъ писателя» никогда не сойдетъ съ своей дороги, никогда не станетъ уступать духу вѣка, силѣ властвующихъ и господствующихъ вліяній, если сочтетъ ихъ несправедливыми, не будетъ подлаживаться, льстить и хитрить. Послѣ цѣлаго года нашего изданія намъ кажется уже позволительно это высказать. Вѣдь мы очень хорошо и вполнѣ сознательно понимали и въ прошломъ году, что многимъ изъ того, о чемъ писали мы съ жаромъ и убѣжденіемъ, мы въ сущности вредили только себѣ, и что гораздо болѣе получили бы, напротивъ, выгоды, если бы съ такимъ же жаромъ попадали въ другой унисонъ.

Повторяемъ: намъ кажется, что теперь надо какъ можно откровеннѣе и прямѣй *всѣмъ* высказаться, не стыдясь наивной обнаженности иной мысли. Дѣйствительно насъ, т. е. всю Россію, ожидаютъ, можетъ быть, чрезвычайныя и огромныя событія. «Могутъ вдругъ наступить великіе факты и застать наши интеллигентныя силы врасплохъ, и тогда не будетъ ли поздно?» — какъ говорилъ я, заканчивая мой декабрьскій «Дневникъ». Говоря это, я не одни политическія событія разумѣлъ въ этомъ «ближайшемъ будущемъ», хотя они и не могутъ не поражать теперь вниманіе даже самыхъ скудныхъ и самыхъ «жидовствующихъ» умовъ, которымъ ни до чего кромѣ себя дѣла нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, что ожидаетъ міръ не только въ остальную четверть вѣка, но даже (кто знаетъ это?) въ нынѣшнемъ, можетъ быть, году? Въ Европѣ неспокойно, и въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но временное ли, минутное ли это безпокойство? Совсѣмъ нѣтъ: видно, подошли сроки ужъ чему-то вѣковѣчному, тысячелѣтнему, тому, что приготовлялось въ мірѣ съ самаго начала его

цивилизаціи. Три идеи встаютъ передъ міромъ и, кажется, формулируются уже окончательно. Съ одной стороны, — съ краю Европы — идея католическая, осужденная, ждущая въ великихъ мукахъ и недоумѣніяхъ, быть ей иль не быть, жить ей еще или пришелъ ей конецъ. Я не про религію католическую одну говорю, а про всю *идею католическую,* про участь націй, сложившихся подъ этой идеей въ продолженіе тысячелѣтія, проникнутыхъ ею насквозь. Въ этомъ смыслѣ Франція, напримѣръ, есть какъ бы полнѣйшее воплощеніе католической идеи въ продолженіе вѣковъ, глава этой идеи, унаслѣдованной, конечно, еще отъ римлянъ и въ ихъ духѣ. Эта Франція, даже и потерявшая теперь, *почти вся,* всякую религію (іезуиты и атеисты тутъ все равно, все одно), закрывавшая не разъ свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировкѣ Собранія самого Бога, эта Франція, развившая изъ идей 89 года свой особенный французскій соціализмъ, т. е. успокоеніе и устройство человѣческаго общества уже безъ Христа и внѣ Христа, какъ хотѣло да не сумѣло устроить его во Христѣ католичество, — эта самая Франція и въ революціонерахъ Конвента, и въ атеистахъ своихъ, и въ соціалистахъ своихъ, и въ теперешнихъ комунарахъ своихъ, — все еще въ высшей степени есть и продолжаетъ быть націей католической вполнѣ и всецѣло, вся зараженная католическимъ духомъ и буквой его, провозглашающая устами самыхъ отъявленныхъ атеистовъ своихъ: Liberté, Egalité, Fraternité — ou la mort, т. е. точь-въ-точь какъ бы провозгласилъ это самъ папа, если бы только принужденъ былъ провозгласить и формулировать liberté, egalité, fraternité католическую — его слогомъ, его духомъ, настоящимъ слогомъ и духомъ папы среднихъ вѣковъ. Самый теперешній соціализмъ французскій, — повидимому, горячій и роковой протестъ противъ идеи католической всѣхъ измученныхъ и задушенныхъ ею людей и націй, желающихъ во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже безъ католичества и безъ боговъ его, — самый этотъ протестъ, начавшійся фактически съ конца прошлаго столѣтія (но въ сущности гораздо раньше), есть не что иное лишь, какъ вѣрнѣйшее и неуклонное продолженіе католической идеи, самое полное и окончательное завершеніе ея, роковое ея послѣдствіе, выработавшееся вѣками. Ибо соціализмъ французскій есть не что иное, какъ *насильственное* единеніе человѣчества — идея еще отъ древняго Рима идущая и потомъ всецѣло въ католичествѣ сохранившаяся. Такимъ образомъ идея освобожденія духа человѣческаго отъ католичества облеклась тутъ именно въ самыя тѣсныя формы

католическія, заимствованныя въ самомъ сердцѣ духа его, въ буквѣ его, въ матеріализмѣ его, въ деспотизмѣ его, въ нравственности его.

Съ другой стороны, возстаетъ старый протестантизмъ, протестующій противъ Рима вотъ уже девятнадцать вѣковъ, противъ Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, противъ міровой его мысли владѣть человѣкомъ на всей землѣ, и нравственно и матеріально, противъ цивилизаціи его, — протестующій еще со временъ Арминія и Тевтобургскихъ лѣсовъ. Это—Германецъ, вѣрящій слѣпо, что въ немъ лишь обновленіе человѣчества, а не въ цивилизаціи католической. Во всю исторію свою онъ только и грезилъ, только и жаждалъ объединенія своего для провозглашенія своей гордой идеи, — сильно формулирующейся и объединившейся еще въ Лютерову ересь; а теперь, съ разгромомъ Франціи, передовой, главнѣйшей и христіаннѣйшей католической націи, пять лѣтъ тому назадъ, — Германецъ увѣренъ уже въ своемъ торжествѣ всецѣло и въ томъ, что никто не можетъ стать вмѣсто него въ главѣ міра и его возрожденія. Вѣритъ онъ этому гордо и неуклонно; вѣритъ, что выше германскаго духа и слова нѣтъ иного въ мірѣ, и что Германія лишь одна можетъ изречь его. Ему смѣшно даже предположить, что есть хоть что-нибудь въ мірѣ, даже въ зародышѣ только, что могло бы заключать въ себѣ хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать въ себѣ предназначенная къ руководству міра Германія. Между тѣмъ очень не лишнее было бы замѣтить, хотя бы только въ скобкахъ, что во всѣ девятнадцать вѣковъ своего существованія Германія, только и дѣлавшая, что протестовавшая, сама своего *новаго слова* совсѣмъ еще не произнесла, а жила лишь все время однимъ отрицаніемъ и протестомъ противъ врага своего, такъ что, напримѣръ, весьма и весьма можетъ случиться такое странное обстоятельство, что когда Германія уже одержитъ побѣду окончательно и разрушитъ то, противъ чего девятнадцать вѣковъ протестовала, то вдругъ и ей придется умереть духовно самой, вслѣдъ за врагомъ своимъ, ибо не для чего будетъ ей жить, *не будетъ противъ чего протестовать*. Пусть это покамѣстъ моя химера, но зато Лютеровъ протестантизмъ уже фактъ: вѣра эта есть протестующая и лишь *отрицательная*, и чуть исчезнетъ съ земли католичество, исчезнетъ за нимъ вслѣдъ и протестантство навѣрно, потому что не противъ чего будетъ протестовать, обратится въ прямой атеизмъ и тѣмъ кончится. Но это, положимъ, пока еще моя химера. Идею славянскую Германецъ презираетъ такъ же, какъ и католическую, съ тою

только разницею, что послѣднюю онъ всегда цѣнилъ какъ сильнаго и могущественнаго врага, а славянскую идею не только ни во что не цѣнилъ, но и не признавалъ ее даже вовсе до самой послѣдней минуты. Но съ недавнихъ поръ окъ уже начинаетъ коситься на славянъ весьма подозрительно. Хоть ему и до сихъ поръ смѣшно предположить, что у нихъ могутъ быть тоже хоть какія-нибудь цѣль и идея, какая-то тамъ надежда тоже «сказать что-то міру», но однакоже сь самаго разгрома Франціи мнительныя подозрѣнія его усиливались, а прошлогоднія и текущія событія ужъ, конечно, не могли облегчить его недовѣрчивости. Теперь положеніе Германіи нѣсколько хлопотливое: во всякомъ случаѣ и прежде всякихъ восточныхъ идей ей надо кончить свое дѣло на Западѣ. Кто станетъ отрицать, что Франція, недобитая Франція, не безпокоитъ и не безпокоила Германца во всѣ эти пять лѣтъ послѣ своего погрома именно тѣмъ, что онъ не добилъ ее. Въ семьдесятъ пятомъ году это безпокойство достигло въ Берлинѣ чрезвычайнаго даже предѣла, и Германія навѣрно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконнаго своего врага, но помѣшали нѣкоторыя чрезвычайно сильныя обстоятельства. Теперь же, въ этомъ году, сомнѣнія нѣтъ, что Франція, усиливающаяся матеріально съ каждымъ годомъ, еще страшнѣе пугаетъ Германію, чѣмъ два года назадъ. Германія знаетъ, что врагъ не умретъ безъ борьбы, мало того, когда почувствуетъ, что оправился совершенно, то самъ задастъ битву, такъ что черезъ три года, черезъ пять лѣтъ, можетъ быть, будетъ уже очень поздно для Германіи. И вотъ, въ виду того, что Востокъ Европы такъ всецѣло проникнутъ своей собственной, вдругъ возставшей, идеей и что у него слишкомъ много теперь дѣла у себя самого — въ виду того весьма и весьма можетъ случиться, что Германія, почувствовавъ свои руки на время развязанными, бросится на западнаго врага окончательно, на страшный кошмаръ, ее мучающій, и — все это даже можетъ случиться въ слишкомъ и слишкомъ недалекомъ будущемъ. Вообще же можно такъ сказать, что если на Востокѣ дѣла натянуты, тяжелы, то чуть ли Германія не въ худшемъ еще положеніи. И чуть ли у ней еще не болѣе опасеній и всякихъ страховъ въ виду, несмотря на весь ея непомѣрно гордый тонъ, — и это, по крайней мѣрѣ, намъ можно взять въ особенное вниманіе.

А между тѣмъ на Востокѣ дѣйствительно загорѣлась и засіяла небывалымъ и неслыханнымъ еще свѣтомъ третья міровая идея — идея славянская, идея нарождающаяся,— можетъ быть, третья грядущая возможность разрѣшенія

судебъ человѣческихъ и Европы. Всѣмъ ясно теперь, что съ разрѣшеніемъ Восточнаго вопроса вдвинется въ человѣчество новый элементъ, новая стихія, которая лежала до сихъ поръ пассивно и косно, и которая, во всякомъ случаѣ и наименѣе говоря, не можетъ не повліять на міровыя судьбы чрезвычайно сильно и рѣшительно. Что это за идея, что несетъ съ собою единеніе славянъ?—все это еще слишкомъ неопредѣленно, но что дѣйствительно что-то должно быть внесено и сказано новое, — въ этомъ почти уже никто не сомнѣвается. И всѣ эти три огромныя міровыя идеи сошлись, въ развязкѣ своей, почти въ одно время. Все это ужъ, конечно, не капризы, не война за какое-нибудь наслѣдство или изъ-за пререканій какихъ-нибудь двухъ высокихъ дамъ, какъ въ прошломъ столѣтіи. Тутъ нѣчто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не рѣшающее *всѣ* судьбы человѣческія, но, безъ сомнѣнія, несущее съ собою начало конца всей прежней исторіи европейскаго человѣчества, — начало разрѣшенія дальнѣйшихъ судебъ его, которыя въ рукахъ Божіихъ и въ которыхъ человѣкъ почти ничего угадать не можетъ, хотя и можетъ предчувствовать.

Теперь вопросъ, невольно представляющійся всякому мыслящему человѣку: могутъ ли такія событія остановиться въ своемъ теченіи? Могутъ ли идеи такого размѣра подчиняться мелкимъ, жидовствующимъ, третьестепеннымъ соображеніямъ? Можно ли отдалить ихъ разрѣшеніе и полезно это или нѣтъ, наконецъ? Мудрость, безъ сомнѣнія, должна хранить и ограждать націи и служить человѣколюбію и человѣчеству, но иныя идеи имѣютъ свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшуюся и падающую вершину скалы не удержишь рукой. У насъ, русскихъ, есть, конечно, двѣ страшныя силы, стоящія всѣхъ остальныхъ во всемъ мірѣ, — это всецѣлость и духовная нераздѣльность милліоновъ народа нашего и тѣснѣйшее единеніе его съ монархомъ. Послѣднее, конечно, неоспоримо, но идею народную не только не понимаютъ, но и не хотятъ совсѣмъ понять «ободнявшіе Петры» наши.

II.

Миражи. Штунда и Редстокисты.

Но одни ли «европействующіе» и «ободнявшіе Петры» не хотятъ понять? Есть и другіе, гораздо злокачественнѣе. «Петры» признаютъ, по крайней мѣрѣ, наше народное

движеніе въ этомъ году въ пользу славянъ, а тѣ нѣтъ. Петры даже хвалятъ это движеніе, по-своему, конечно, хотя многое имъ въ немъ не нравится; но тѣ самое движеніе отрицаютъ, вопреки свидѣтельству Россіи: «не было, дескать, ничего да и только. Мало того, что не было, но и не могло-де быть». «Народъ, дескать, нигдѣ не кричалъ и не заявлялъ, что войны хочетъ». Да народъ нашъ никогда и не кричитъ и не заявляетъ, народъ нашъ разуменъ и тихъ, а къ тому же вовсе не хочетъ войны, вовсе даже, а лишь сочувствуетъ своимъ угнетеннымъ братьямъ за вѣру Христову отъ всей души и отъ горячаго сердца, но ужъ коли надо будетъ, коли раздастся великое слово Царя, то весь пойдетъ, всей своей стомилліонной массой, и сдѣлаетъ все, что можетъ сдѣлать этакая стомилліонная масса, одушевленная однимъ порывомъ и въ согласіи, какъ единъ человѣкъ. Такъ что этакую силу единенія, въ виду таинственнаго будущаго близкихъ судебъ всей Европы, нельзя не цѣнить и нельзя не созерцать передъ собою въ минуты нѣкоторыхъ невольныхъ соображеній и гаданій нашихъ. Да и Богъ съ ней, съ войной; кто войны хочетъ, хотя, въ скобкахъ говоря, пролитая кровь «за великое дѣло любви» много значитъ, многое очистить и омыть можетъ, многое можетъ вновь оживить и многое, доселѣ приниженное и опакощенное въ душахъ нашихъ, вновь вознести.

Но это лишь «слова и мысли». Я всего только говорилъ, что есть историческія событія, увлекающія все за собой и отъ которыхъ не избавишься ни волей, ни хитростью, точно такъ же, какъ не запретишь морскому приливу остановиться и возвратиться вспять. Но все же обиденъ этотъ торжествующій теперь послѣ лѣтнихъ восторговъ цинизмъ, обидна эта радость цинизма, радость чему-то гадкому, будто бы восторжествовавшему надъ восторгомъ людей, обидны эти торжествующія рѣчи людей, не то что ужъ презирающихъ, но чуть ли не совсѣмъ отрицающихъ даже весь народъ нашъ, и признающихъ въ немъ, кажется, попрежнему всего лишь одну косную массу и рабочія руки, точь-въ-точь какъ признавали это два вѣка сряду до великаго дня девятнадцатаго февраля. «Стану я подражать этому народу? Какая это у него идея, гдѣ вы ее отыскали?» — вотъ что слышишь теперь почти поминутно. Это невѣріе въ духовную силу народа есть, конечно, невѣріе и во всю Россію. Безъ сомнѣнія, замѣшалось тутъ чрезвычайно много всякихъ и разнообразныхъ причинъ, руководящихъ отрицателями, но вѣрите ли — въ нихъ много и искренняго! А главное и прежде всего—совершенное незнаніе Россіи. Ну, можно ли пред-

ставить себѣ, что иной изъ нихъ почти радъ нашей штундѣ, радъ для народа, для выгоды и для блага его: «все же де это нѣсколько выше прежнихъ народныхъ понятій, все же это можетъ хоть нѣсколько облагородить народъ». И не думайте, чтобъ это были только рѣдкія и единичныя разсужденія. Кстати, что такое эта несчастная штунда? Нѣсколько русскихъ рабочихъ у нѣмецкихъ колонистовъ поняли, что нѣмцы живутъ богаче русскихъ и что это оттого, что порядокъ у нихъ другой. Случившіеся тутъ пасторы разъяснили, что лучшіе эти порядки отъ того, что вѣра другая. Вотъ и соединились кучки русскихъ темныхъ людей, стали слушать, какъ толкуютъ Евангеліе, стали сами читать и толковать и — произошло то, что всегда происходило въ такихъ случаяхъ. Несутъ сосудъ съ драгоцѣнною жидкостью, всѣ падаютъ ницъ, всѣ цѣлуютъ и обожаютъ сосудъ, заключающій эту драгоцѣнную живящую всѣхъ влагу, и вотъ вдругъ встаютъ люди и начинаютъ кричать: «слѣпцы! чего вы сосудъ цѣлуете: дорога лишь живительная влага, въ немъ заключающаяся, дорого содержимое, а не содержащее, а вы цѣлуете стекло, простое стекло, обожаете сосудъ и стеклу приписываете всю святость, такъ что забываете про драгоцѣнное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосудъ, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!» И вотъ разбивается сосудъ и живящая влага, драгоцѣнное содержимое, разливается по землѣ и исчезаетъ въ землѣ, разумѣется. Сосудъ разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся въ землю, подымается суматоха: чтобы что-нибудь спасти, что уцѣлѣло въ разбитыхъ черепкахъ, начинаютъ кричать, что надо скорѣе новый сосудъ, начинаютъ спорить, какъ и изъ чего его сдѣлать. Споръ начинаютъ уже *съ самаго начала;* и тотчасъ же, съ самыхъ первыхъ двухъ словъ споръ уходитъ въ букву. Этой буквѣ они готовы поклониться еще больше чѣмъ прежней, только бы поскорѣе добыть новый сосудъ; но споръ ожесточается, люди распадаются на враждебныя между собою кучки, и каждая кучка уноситъ для себя по нѣскольку капель остающейся драгоцѣнной влаги въ своихъ особенныхъ разнокалиберныхъ отовсюду набранныхъ чашкахъ и уже не сообщается впредь съ другими кучками. Каждый своею чашкой хочетъ спастись, и въ каждой отдѣльной кучкѣ начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько разъ, на сколько черепковъ разбился сосудъ. Исторія вѣчная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизмѣннымъ историческимъ законамъ почти точь-въ-точь та же исторія и въ нашей штундѣ: из-

вѣстно, что они уже распадаются, спорятъ о буквахъ, толкуютъ Евангеліе всякъ на свой страхъ и на свою совѣсть, и, главное, *съ самаго начала,* — бѣдный, несчастный, темный народъ! При этомъ столько чистосердечія, столько добрыхъ начинаній, столько желаній выдержать даже хоть муки и при всемъ этомъ однако — столько самой безпомощной глупости, столько маленькаго педантскаго лицемѣрія, самолюбія, усладительной гордости въ новомъ чинѣ «святыхъ», даже плутовства и крючкотворства, а главное — все «съ самаго начала», съ самаго т. е. сотворенія міра, съ того, что такое есть человѣкъ и что женщина, что хорошо и что дурно и даже: есть ли Богъ или нѣтъ его? И какъ вы думаете: именно то, что они такъ безпомощны и такъ принуждены начинать съ начала, именно это-то и нравится многимъ и особенно нѣкоторымъ: «своимъ-де умомъ начнутъ жить, стало быть, непремѣнно договорятся до чего-нибудь». Вотъ разсужденіе! Такъ что добытое вѣками драгоцѣнное достояніе, которое надо бы разъяснить этому темному народу въ его великомъ истинномъ смыслѣ, а не бросить въ землю, какъ ненужную старую ветошь прежнихъ вѣковъ, въ сущности пропало для него окончательно. Развитіе, свѣтъ, прогрессъ отдаляются опять для него на много назадъ, ибо наступитъ теперь для него уединенность, обособленность и закрытость раскольничества, а вмѣсто ожидаемыхъ «разумныхъ» новыхъ идей воздвигнутся лишь старые, древнѣйшіе, всѣмъ извѣстные и поганѣйшіе идолы, — и попробуйте-ка ихъ теперь сокрушить! А, впрочемъ, бояться штунды совсѣмъ нечего, хотя жалѣть ее очень можно. Эта штунда не имѣетъ никакого будущаго, широко не раздвинется, скоро остановится и навѣрно сольется съ которой-нибудь изъ темныхъ сектъ народа русскаго, съ какой-нибудь хлыстовщиной, — этой древнѣйшей сектой всего, кажется, міра, имѣющей безспорно свой смыслъ и хранящей его въ двухъ древнѣйшихъ атрибутахъ: верченіи и пророчествѣ. Вѣдь и Тампліеровъ судили за верченіе и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуютъ, и Пиѳія въ древности вертѣлась и пророчествовала, и у Татариновой вертѣлись и пророчествовали, и Редстокисты наши, весьма можетъ быть, кончатъ тѣмъ, что будутъ вертѣться, а пророчествуютъ они, ужъ кажется, и теперь. Да не обижаются Редстокисты сравненіемъ. Кстати, многіе смѣются совпаденію появленія обѣихъ сектъ у насъ въ одно время: штунды въ черномъ народѣ и Редстокистовъ въ самомъ изящномъ обществѣ нашемъ. Между тѣмъ тутъ много и не смѣшного. Что же до совпаденія въ появленіи двухъ нашихъ новыхъ сектъ, — то ужъ, безъ сомнѣнія, онѣ вышли изъ

одного и того же невѣжества, то есть изъ совершеннаго незнанія своей религіи.

III.

Ѳома Даниловъ, замученный русскій герой.

Въ прошломъ году, весною, было перепечатано во всѣхъ газетахъ извѣстіе, явившееся въ «Русскомъ Инвалидѣ», о мученической смерти унтеръ-офицера 2-го Туркестанскаго стрѣлковаго батальона, Ѳомы Данилова, захваченнаго въ плѣнъ кипчаками и варварски умерщвленнаго ими послѣ многочисленныхъ и утонченнѣйшихъ истязаній, 21 ноября 1875 года, въ Маргеланѣ, за то, что не хотѣлъ перейти къ нимъ въ службу и въ магометанство. Самъ ханъ обѣщалъ ему помилованіе, награду и честь, если согласится отречься отъ Христа. Даниловъ отвѣчалъ, что измѣнить онъ кресту не можетъ и, какъ царскій подданный, хотя и въ плѣну, долженъ исполнить къ царю и къ христіанину свою обязанность. Мучители, замучивъ его до смерти, удивились силѣ его духа и назвали его батыремъ, т. е., по-русски, богатыремъ. Тогда это извѣстіе, хотя и сообщенное всѣми газетами, прошло какъ-то безъ особеннаго разговора въ обществѣ, да и газеты, сообщивъ его въ видѣ обыкновеннаго газетнаго entrefilet, не сочли нужнымъ *особенно* распространиться о немъ. Однимъ соловомъ, съ Ѳомой Даниловымъ «было тихо», какъ говорятъ на биржѣ. Потомъ, какъ извѣстно, наступило славянское движеніе, явились Черняевъ, сербы, Кирѣевъ, пожертвованія, добровольцы, и о Ѳомѣ замученномъ позабыли совсѣмъ (т. е. въ газетахъ), и вотъ недавно только получились къ прежнему извѣстію дополнительныя подробности. Сообщаютъ опять, что самарскій губернаторъ навелъ справки о семействѣ Данилова, происходившаго изъ крестьянъ села Кирсановки, Самарской губерніи, Бугурусланскаго уѣзда, и оказалось, что у него остались въ живыхъ жена Евфросинья 27 лѣтъ и дочь Улита шести лѣтъ, находившіяся въ бѣдственномъ положеніи. Имъ помогли по благородному почину самарскаго губернатора, обратившагося къ нѣкоторымъ людямъ съ просьбою помочь вдовѣ и дочери замученнаго русскаго героя и къ самарскому губернскому земскому собранію съ предложеніемъ, не пожелаетъ ли оно помѣстить дочь Данилова стипендіаткой въ одно изъ учебныхъ заведеній.

Затѣмъ собрали 1,320 рублей и изъ нихъ шестьсотъ отложили дочери до совершеннолѣтія, а остальную сумму выдали самой вдовѣ на руки, а дочь Данилова приняли въ учебное заведеніе. Кромѣ того начальникъ Главнаго штаба увѣдомилъ губернатора о всемилостивѣйше назначенной вдовѣ Данилова пожизненной пенсіи изъ государственнаго казначейства, по сто двадцати рублей въ годъ. Затѣмъ, — затѣмъ дѣло, вѣроятно, опять будетъ забыто въ виду текущихъ тревогъ, политическихъ опасеній, огромныхъ вопросовъ, ждущихъ разрѣшенія, краховъ и пр. и пр.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось къ этому поразительному поступку равнодушно, какъ къ нестоющему вниманія. Фактъ лишь тотъ, что немного говорили, или, лучше, почти никто не говорилъ объ этомъ *особенно*. Впрочемъ, можетъ быть и говорили гдѣ-нибудь про себя, у купцовъ, напримѣръ, но не въ обществѣ, не въ интеллигенціи нашей. Въ народѣ, конечно, эта великая смерть не забудется: этотъ герой принялъ муки за Христа и есть великій русскій; народъ это цѣнитъ и не забудетъ, да и никогда онъ такихъ дѣлъ не забываетъ. И вотъ я какъ будто уже слышу нѣкоторые столь извѣстные мнѣ голоса: «Сила-то, конечно, сила, и мы признаемъ это, но вѣдь все же — темная, проявившаяся слишкомъ уже, такъ сказать, въ допотопныхъ, окаменившихся формахъ, а потому — что же намъ *особенно*-то говорить? Не нашего это міра; другое бы дѣло сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другіе страдальцы и другія силы, есть и идеи безмѣрно высшія — идея общечеловѣчности, напримѣръ»...

Несмотря на эти разумные и интеллигентные голоса, мнѣ все же кажется позволительнымъ и вполнѣ извинительнымъ сказать нѣчто *особенное* и о Даниловѣ; мало того, я даже думаю, что и самая интеллигенція наша вовсе бы себя не столь унизила, если бъ отнеслась къ этому факту повнимательнѣе. Меня, напримѣръ, прежде всего удивляетъ, что не обнаружилось никакого удивленія; именно удивленія. Я не про народъ говорю: тамъ удивленія и не надо, въ немъ удивленія не будетъ; поступокъ Ѳомы ему не можетъ казаться необыкновеннымъ, уже по одной великой вѣрѣ народа въ себя и въ душу свою. Онъ отзовется на этотъ подвигъ лишь великимъ чувствомъ и великимъ умиленіемъ. Но случись подобный фактъ въ Европѣ, т. е. подобный фактъ проявленія духа, у англичанъ, у французовъ, у нѣмцевъ, и они навѣрно прокричали бы о немъ на весь міръ. Нѣтъ, послушайте, господа, знаете ли, какъ мнѣ представляется этотъ темный без-

вѣстный Туркестанскаго батальона солдатъ? Да вѣдь это такъ сказать — эмблема Россіи, всей Россіи, всей народной Россіи, подлинный образъ ея, вотъ той самой Россіи, въ которой циники и премудрые наши отрицаютъ теперь великій духъ и всякую возможность подъема и проявленія великой мысли и великаго чувства. Послушайте, вѣдь вы все же не эти циники, вы всего только люди интеллигентно-европействующіе, т. е. въ сущности предобрѣйшіе: вѣдь не отрицаете же и вы, что лѣтомъ народъ нашъ проявилъ мѣстами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и дѣтей и шли умирать за вѣру, за угнетенныхъ, Богъ знаетъ куда и Богъ знаетъ съ какими средствами, точь-въ-точь какъ первые крестоносцы девять столѣтій тому назадъ въ Европѣ — тѣ самые крестоносцы, которыхъ появленіе вновь, Грановскій, напримѣръ, считалъ бы чуть ли не смѣшнымъ и обиднымъ «въ нашъ вѣкъ положительныхъ задачъ, прогресса» и проч. и проч. Пусть это лѣтнее движеніе наше, по вашему, было слѣпое и даже какъ бы неразумное, такъ сказать «крестоносное», но вѣдь твердое же и великодушное, въ этомъ нельзя не сознаться, если чуть-чуть пошире посмотрѣть. Просыпалась великая идея, вознесшая, можетъ быть, сотни тысячъ и милліоновъ душъ разомъ надъ косностью, цинизмомъ, развратомъ и безобразіемъ, въ которыхъ купались до того эти души. Вѣдь вы знаете, народъ нашъ считаютъ до сихъ поръ хоть и добродушнымъ и даже очень умственно-способнымъ, но все же темной стихійной массой, безъ сознанія, преданной поголовно порокамъ и предразсудкамъ, и почти сплошь безобразникомъ. Но, видите ли, я осмѣлюсь высказать одну даже, такъ сказать, аксіому, а именно: чтобъ судить о нравственной силѣ народа и о томъ, къ чему онъ способенъ въ будущемъ, надо брать въ соображеніе не ту степень безобразія, до котораго онъ временно и даже хотя бы и въ большинствѣ своемъ можетъ унизиться, а надо брать въ соображеніе лишь ту высоту духа, на которую онъ можетъ подняться, когда придетъ тому срокъ. Ибо безобразіе есть несчастье временное, всегда почти зависящее отъ обстоятельствъ, предшествовавшихъ и преходящихъ, отъ рабства, отъ вѣкового гнета, отъ загрубѣлости, а даръ великодушія есть даръ вѣчный, стихійный, даръ родившійся вмѣстѣ съ народомъ и тѣмъ болѣе чтимый, если и въ продолженіе вѣковъ рабства, тяготы и нищеты онъ все-таки уцѣлѣетъ, неповрежденный, въ сердцѣ этого народа.

Ѳома Даниловъ съ виду, можетъ, былъ однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и непримѣтныхъ экземпляровъ

народа русскаго, непримѣтныхъ какъ самъ народъ русскій. (О, онъ для многихъ еще совсѣмъ непримѣтенъ!) Можетъ быть, въ свое время не прочь былъ погулять, выпить, можетъ быть, даже не очень молился, хотя, конечно, Бога всегда поминалъ. И вотъ вдругъ велятъ ему перемѣнить вѣру, а не то — мученическая смерть. При этомъ надо вспоминать, что такое бываютъ эти муки, эти азіатскія муки! Предъ нимъ самъ ханъ, который обѣщаетъ ему свою милость, и Даниловъ отлично понимаетъ, что отказъ его непремѣнно раздражитъ хана, раздражитъ самолюбіе кипчаковъ тѣмъ, «что смѣетъ, дескать, христіанская собака такъ презирать исламъ». Но несмотря на все, что его ожидаетъ, этотъ непримѣтный русскій человѣкъ принимаетъ жесточайшія муки и умираетъ, удививъ истязателей. Знаете что, господа, вѣдь изъ насъ никто бы этого не сдѣлалъ. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но вѣдь тутъ дѣло произошло въ совершенной безвѣстности, въ глухомъ углу; никто-то не смотрѣлъ на него; да и самъ Ѳома не могъ думать и навѣрно не предполагалъ, что его подвигъ огласится по всей землѣ Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первыхъ вѣковъ христіанскихъ, отчасти все же были утѣшены и облегчены, принимая свои муки, тѣмъ убѣжденіемъ, что смерть ихъ послужитъ примѣромъ для робкихъ и колеблющихся и еще большихъ привлечетъ къ Христу. Для Ѳомы даже и этого великаго утѣшенія быть не могло: кто узнаетъ, онъ былъ одинъ среди мучителей. Былъ еще онъ молодъ, тамъ гдѣ-то у него молодая жена и дочь, никогда-то онъ ихъ теперь не увидитъ, но пусть: «гдѣ бы я ни былъ, противъ совѣсти моей не поступлю и мученія приму», — подлинно ужъ правда для правды, а не для красы! И никакой кривды, никакого софизма съ совѣстью: «Приму-де исламъ для виду, соблазна не сдѣлаю, никто вѣдь не увидитъ, потомъ отмолюсь, жизнь велика. въ церковь пожертвую, добрыхъ дѣлъ надѣлаю». Ничего этого не было, честность изумительная, первоначальная, стихійная. Нѣтъ, господа, врядъ ли мы такъ поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторяю, подвигъ Данилова, можетъ быть, даже и не удивителенъ. Въ томъ-то и дѣло, что тутъ именно — какъ бы портретъ, какъ бы всецѣлое изображеніе народа русскаго, тѣмъ-то все это и дорого для меня, и для васъ, разумѣется. Именно народъ нашъ любитъ точно также правду для правды, а не для красы. И пусть онъ грубъ, и безобразенъ, и грѣшенъ и непримѣтенъ, но приди его срокъ и начнись дѣло всеобщей народной правды, и васъ изумитъ та степень

свободы духа, которую проявитъ онъ передъ гнетомъ матеріализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже передъ страхомъ самой жесточайшей мученической смерти. И все это онъ сдѣлаетъ и проявитъ просто, твердо, не требуя ни наградъ, ни похвалъ, собою не красуясь: «Во что вѣрую, то и исповѣдую». Тутъ даже самые ожесточенные спорщики насчетъ «ретроградства» идеаловъ народныхъ не могутъ имѣть никакого слова, ибо дѣло вовсе уже не въ томъ: ретрограденъ идеалъ или нѣтъ? А лишь въ способности проявленія величайшей воли ради подвига великодушія. (Эту смѣшную идейку о «ретрорградствѣ» идеаловъ я ввелъ здѣсь ради полнаго безпристрастія.)

Знаете, господа, надо ставить дѣло прямо: я прямо полагаю, что намъ вовсе и нечему учить такой народъ. Это софизмъ, разумѣется, но онъ иногда приходитъ на умъ. О, конечно, мы образованнѣе его, но чему мы однако научимъ его — вотъ бѣда! Я, разумѣется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математическія знанія, — этому и нѣмцы заѣзжіе по найму научатъ, если мы не научимъ, нѣтъ, а мы-то чему? Мы вѣдь русскіе, братья этому народу, а стало быть, обязаны *просвѣтить* его. Нравственное-то, высшее-то что ему передадимъ, что разъяснимъ и чѣмъ освѣтимъ эти «темныя» души? Просвѣщеніе народа это, господа, наше право и наша обязанность, — право это въ высшемъ христіанскомъ смыслѣ: кто знаетъ доброе, кто знаетъ истинное слово жизни, тотъ долженъ, обязанъ сообщить его незнающему, блуждающему во тьмѣ брату своему, такъ по Евангелію. Ну, и что же мы сообщимъ блуждающему, чего бы онъ самъ не зналъ лучше нашего? Прежде всего, конечно, что ученіе полезно, и что надо учиться, такъ ли? Но народъ еще прежде нашего сказалъ, что «ученье — свѣтъ, неученье— тьма». Уничтоженію предразсудковъ, напримѣръ, низверженію идоловъ? Но вѣдь въ насъ самихъ такая бездна предразсудковъ, а идоловъ мы столько себѣ наставили, что народъ прямо скажетъ намъ: «Врачу — исцѣлися самъ». (А идоловъ нашихъ онъ отлично умѣетъ уже разглядывать!) Что же, самоуваженію, собственному достоинству? Но народъ нашъ весь, въ цѣломъ своемъ, гораздо болѣе нашего уважаетъ себя, гораздо глубже нашего чтитъ и понимаетъ свое достоинство. Въ самомъ дѣлѣ, мы самолюбивы ужасно, но вѣдь мы совсѣмъ не уважаемъ себя, и собственнаго достоинства въ насъ вовсе нѣтъ никакого и даже ни въ чемъ. Ну, намъ ли, напримѣръ, научить народъ уваженію къ чужимъ убѣжденіямъ? Народъ нашъ доказалъ еще съ Петра Вели-

каго — уваженіе къ чужимъ убѣжденіямъ, а мы и между собою не прощаемъ другъ другу ни малѣйшаго отклоненія въ убѣжденіяхъ нашихъ и чуть-чуть несогласныхъ съ нами считаемъ уже прямо за подлецовъ, забывая, что кто такъ легко склоненъ терять уваженіе къ другимъ, тотъ прежде всего не уважаетъ себя. Ну, намъ ли учить народъ вѣрѣ въ себя самого и въ свои силы? У народа есть Ѳомы Даниловы и ихъ тысячи, а мы совсѣмъ и не вѣримъ въ русскія силы, да и невѣріе это считаемъ за высшее просвѣщеніе и чуть не за доблесть. Ну, чему же, наконецъ, мы научить можемъ? Мы гнушаемся, до злобы почти, всѣмъ тѣмъ, что любитъ и чтитъ народъ нашъ и къ чему рвется его сердце. Ну, какіе же мы народолюбцы? Возразятъ, что тѣмъ больше, стало быть, любимъ народъ, коли гнушаемся его невѣжествомъ, желая ему лучшаго. О нѣтъ, господа, совсѣмъ нѣтъ: если бъ мы вправду и на дѣлѣ любили народъ, а не въ статейкахъ и книжкахъ, то мы бы поближе подошли къ нему и озаботились бы изучить то, что теперь совсѣмъ наобумъ, по европейскимъ шаблонамъ, желаемъ въ немъ истребить: тогда, можетъ, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можемъ.

Есть у насъ, впрочемъ, одно утѣшеніе, одна великая наша гордость передъ народомъ нашимъ, а потому-то мы такъ и презираемъ его: это то, что онъ національненъ и стоитъ на томъ изо всей силы, а мы — общечеловѣческихъ убѣжденій, да и цѣль свою поставили въ общечеловѣчности, а стало быть, безмѣрно надъ нимъ возвысились. Ну, вотъ въ этомъ и весь раздоръ нашъ, весь и разрывъ съ народомъ, и я прямо провозглашаю: уладь мы этотъ пунктъ, найди мы точку примиренія — и разомъ кончилась бы вся наша рознь съ народомъ. А вѣдь этотъ пунктъ есть, вѣдь его найти чрезвычайно легко. Рѣшительно повторяю, что самыя даже радикальныя несогласія наши въ сущности одинъ лишь миражъ.

Но что же это за пунктъ примиренія?

Глава вторая.

I.

Примирительная мечта внѣ науки.

Прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положеніе и съ него начинаю:

«Всякій великій народъ вѣритъ и долженъ вѣрить, если только хочетъ быть долго живъ, что въ немъ-то, и только въ немъ одномъ, и заключается спасеніе міра, что живетъ онъ на то, чтобъ стоять во главѣ народовъ, пріобщить ихъ всѣхъ къ себѣ воедино и вести ихъ, въ согласномъ хорѣ, къ окончательной цѣли, всѣмъ имъ предназначенной».

Я утверждаю, что такъ было со всѣми великими націями міра, древнѣйшими и новѣйшими, что только эта лишь вѣра и возвышала ихъ до возможности, каждую, имѣть въ свои сроки огромное міровое вліяніе на судьбы человѣчества. Такъ безспорно было съ древнимъ Римомъ, такъ потомъ было съ Римомъ въ католическое время его существованія. Когда католическую идею его унаслѣдовала Франція, то то же самое сталось и съ Франціей и, въ продолженіе почти двухъ вѣковъ, Франція, вплоть до самаго недавняго погрома и унынія своего, все время и безспорно — считала себя во главѣ міра по крайней мѣрѣ нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущаго. Но о томъ же мечтала всегда и Германія, выставившая противъ міровой католической идеи и ея авторитета знаменемъ своимъ протестантизмъ и безконечную свободу совѣсти и изслѣдованія. Повторяю, тоже бываетъ и со всѣми великими націями, *болѣе или менѣе,* въ зенитѣ развитія ихъ. Мнѣ скажутъ, что все это невѣрно, что это ошибка, и укажутъ, напримѣръ, на собственное *сознаніе* этихъ же самыхъ народовъ, на сознаніе ихъ ученыхъ и мыслителей, участвовавшихъ купно въ созданіи и завершеніи европейской цивилизаціи, и я, разумѣется, отрицать такого сознанія не буду. Но не говоря уже о томъ, что такіе окончательные выводы сознанія и вообще составляютъ какъ бы уже конецъ живой жизни народовъ, укажу хотя бы лишь на то, что самые-то эти мыслители и сознаватели, какъ бы тамъ ни писали о міровой гармоніи націй, все же, въ то же время, и чаще всего, непосредственнымъ, живымъ и искреннимъ чувствомъ *продолжали вѣровать,* точь-въ-точь какъ и массы народа ихъ, что въ этомъ хорѣ націй, составляющихъ міровую гармонію и выработанную уже сообща цивилизацію, — они (т. е. французы, напримѣръ) и есть голова всего единенія, самые передовые, тѣ самые, которымъ предназначено вести, а тѣ только слѣдуютъ за ними. Что они, положимъ, если и позаимствуютъ у тѣхъ народовъ что-нибудь, то все же немножко; но зато тѣ народы, напротивъ, возьмутъ у нихъ все, все главнѣйшее, и только ихъ духомъ и ихъ идеей жить могутъ, да

и не могутъ иначе сдѣлать, какъ сопричаститься ихъ духу въ концѣ концовъ и слиться съ нимъ рано или поздно. Вотъ и въ теперешней Франціи, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь еще одна изъ такихъ идей, представляющая новый, но, по-нашему, совершенно естественный фазисъ ея же прежней міровой католической идеи и развитіе ея, и чуть не половина французовъ вѣритъ и теперь, что въ ней-то и кроется спасеніе, не только ихъ, но и міра, — это именно ихъ французскій соціализмъ. Идея эта, т. е. ихній соціализмъ, конечно, ложная и отчаянная, но не въ качествѣ ея теперь дѣло, а въ томъ, что она теперь существуетъ, живетъ живой жизнью, и что въ исповѣдующихъ ее нѣтъ сомнѣнія и унынія, какъ въ остальной огромной части Франціи. Съ другой стороны, взгляните на каждаго почти англичанина, высшаго или низшаго типа, лорда или работника, ученаго или необразованнаго, и вы убѣдитесь, что каждый англичанинъ прежде всего старается быть англичаниномъ, сохраниться въ видѣ англичанина во всѣхъ фазисахъ своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловѣческой, и даже любить человѣчество старается не иначе, какъ въ видѣ англичанина. Мнѣ скажутъ, что если бъ даже и такъ, если бъ и было все это какъ я утверждаю, то все-таки такое самообольщеніе и самонадѣяніе было бы даже унизительно для тѣхъ великихъ народовъ, умалило бы значеніе ихъ эгоизмомъ, нелѣпымъ шовинизмомъ, и не то чтобы придало имъ жизненной силы, а, напротивъ, повредило бы и растлило бы ихъ жизнь въ самомъ началѣ. Скажутъ, что подобныя, безумныя и гордыя идеи достойны не подражанія, а, напротивъ, искорененія свѣтомъ разума, уничтожающаго предразсудки. Положимъ, что съ одной стороны это очень правда; но все же тутъ надо непремѣнно посмотрѣть и съ другой стороны, и тогда выйдетъ не только не унизительно, а даже совсѣмъ напротивъ. Что въ томъ, что не жившій еще юноша мечтаетъ про себя современемъ стать героемъ? Повѣрьте, что такія, пожалуй, гордыя и заносчивыя мечты могутъ быть гораздо живительнѣе и полезнѣе этому юношѣ, чѣмъ иное благоразуміе того отрока, который уже въ шестнадцать лѣтъ вѣритъ премудрому правилу, что «счастье лучше богатырства». Повѣрьте, что жизнь этого юноши даже послѣ прожитыхъ уже бѣдствій и неудачъ въ цѣломъ будетъ все-таки краше, чѣмъ успокоенная жизнь мудраго товарища дѣтства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидѣть на бархатѣ. Такая вѣра въ себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Такъ точно

и въ народахъ: пусть есть народы благоразумные, честные и умѣренные, спокойные, безъ всякихъ порывовъ, торговцы и кораблестроители, живущіе богато и съ чрезвычайною опрятностью; ну и Богъ съ ними, все же далеко они не пойдутъ; это непремѣнно выйдетъ средина, которая ничѣмъ не сослужитъ человѣчеству: этой энергіи въ нихъ нѣтъ, трехъ этихъ шевелящихся китовъ подъ ними нѣтъ, на которыхъ стоятъ всѣ великіе народы. Вѣра въ то, что хочешь и *можешь* сказать послѣднее слово міру, что обновишь, наконецъ, его избыткомъ живой силы своей, вѣра въ святость своихъ идеаловъ, вѣра въ силу своей любви и жажды служенія человѣчеству, — нѣтъ, такая вѣра есть залогъ самой высшей жизни націй, и только ею они и принесутъ всю ту часть жизненной силы своей, которую предназначено имъ самой природой, при созданіи ихъ, удѣлить въ наслѣдство грядущему человѣчеству. Только сильная такой вѣрой нація и имѣетъ право на высшую жизнь. Древній легендарный рыцарь вѣрилъ, что передъ нимъ падутъ всѣ препятствія, всѣ призраки и чудовища, и что онъ побѣдитъ все и всѣхъ и всего достигнетъ, если только вѣрно сохранитъ свой обѣтъ «справедливости, цѣломудрія и нищеты». Вы скажете, что все это легенды и пѣсни, которымъ можетъ вѣрить одинъ Донъ-Кихотъ, и что совсѣмъ не таковы законы дѣйствительной жизни націй. Ну, такъ я васъ, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такіе же Донъ-Кихоты, что у васъ самихъ есть такая же идея, которой вы вѣрите и черезъ которую хотите обновить человѣчество!

Въ самомъ дѣлѣ, чему вы вѣрите? Вы вѣрите (да и я съ вами) въ общечеловѣчность, т. е. въ то, что падутъ когда-нибудь, передъ свѣтомъ разума и сознанія, естественные преграды и предразсудки, раздѣляющіе до сихъ поръ свободное общеніе націй эгоизмомъ національныхъ требованій, и что тогда только народы заживутъ однимъ духомъ и ладомъ, какъ братья, разумно и любовно стремясь къ общей гармоніи. Что жъ, господа, что можетъ быть выше и святѣе этой вѣры вашей? И главное вѣдь то, что вѣры этой вы нигдѣ въ мірѣ болѣе не найдете, ни у какого, напримѣръ, народа въ Европѣ, гдѣ личности націй чрезвычайно рѣзко очерчены, гдѣ если есть эта вѣра, то не иначе какъ на степени какого-нибудь еще умозрительнаго только сознанія, положимъ, пылкаго и пламеннаго, но все же не болѣе какъ кабинетнаго. А у васъ, господа, то есть не то что у васъ, а у насъ, у насъ всѣхъ, русскихъ, — эта вѣра есть вѣра всеобщая, живая, главнѣйшая; всѣ у насъ этому вѣ-

рятъ и сознательно и просто, и въ интеллигентномъ мірѣ и живымъ чутьемъ въ простомъ народѣ, которому и религія его повелѣваетъ этому самому вѣрить. Да, господа, вы думали, что вы только одни «общечеловѣки» изъ всей интеллигенціи русской, а остальные только славянофилы да націоналисты? Такъ вотъ нѣтъ же: славянофилы-то и націоналисты вѣрятъ точь-въ-точь тому же самому какъ и вы, да еще крѣпче вашего!

Возьму только однихъ славянофиловъ: вѣдь что провозглашали они устами своихъ дѣятелей, основателей и представителей своего ученія? Они прямо, въ ясныхъ и точныхъ выводахъ, заявляли, что Россія, вкупѣ со славянствомъ и во главѣ его, скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда-либо слышалъ, и что это слово именно будетъ завѣтомъ общечеловѣческаго единенія, и уже не въ духѣ личнаго эгоизма, которымъ люди и націи искусственно и неестественно единятся теперь въ своей цивилизаціи, изъ борьбы за существованіе, положительной наукой опредѣляя свободному духу нравственныя границы, въ то же время роя другъ другу ямы, произнося другъ на друга ложь, хулу и клевету. Идеаломъ славянофиловъ было единеніе въ духѣ истинной широкой любви, безъ лжи и матеріализма и на основаніи личнаго великодушнаго примѣра, который предназначено дать собою русскому народу во главѣ свободнаго всеславянскаго единенія Европѣ. Вы скажете мнѣ, что вы вовсе не тому вѣрите, что все это кабинетныя умозрѣнія. Но дѣло тутъ вовсе не въ вопросѣ: какъ кто вѣруетъ, а въ томъ, что всѣ у насъ, несмотря на всю разноголосицу, все же сходятся и сводятся къ этой одной окончательной общей мысли общечеловѣческаго единенія. Это фактъ не подлежащій сомнѣнію и самъ въ себѣ удивительный, потому что, на степени такой живой и главнѣйшей потребности, этого чувства нѣтъ еще нигдѣ ни въ одномъ народѣ. Но если такъ, то вотъ и у насъ, стало быть, у насъ всѣхъ, есть твердая и опредѣленная національная идея: именно *національная*. Слѣдовательно, если національная идея русская есть, въ концѣ концовъ, лишь всемірное общечеловѣческое единеніе, то, значитъ, вся наша выгода въ томъ, чтобы всѣмъ, прекративъ всѣ раздоры до времени, стать поскорѣе русскими и національными. Все спасеніе наше лишь въ томъ, чтобъ не спорить заранѣе о томъ, какъ осуществится эта идея и въ какой формѣ, въ вашей или въ нашей, а въ томъ, чтобъ изъ кабинета всѣмъ вмѣстѣ перейти прямо къ дѣлу.

Но вотъ тутъ-то и пунктъ.

II.

Мы въ Европѣ лишь стрюцкіе.

Вѣдь мы какъ переходили къ дѣлу? Вы вѣдь давно начали, очень давно, но что, однако, вы сдѣлали для общечеловѣчности, т. е. для торжества вашей идеи? Вы начали съ безцѣльнаго скитальничества по Европѣ при алчномъ желаніи перерoдиться въ европейцевъ, хотя бы по виду только. Цѣлое восемнадцатое столѣтіе мы только и дѣлали, что пока лишь видъ перенимали. Мы нагоняли на себя европейскіе вкусы, мы даже ѣли всякую пакость, стараясь не морщиться: «вотъ, дескать, какой я англичанинъ, ничего безъ кайенскаго перцу ѣсть не могу». Вы думаете, я издѣваюсь? Ничуть. Я слишкомъ понимаю что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московскихъ еще царяхъ и патріархахъ одинъ тогдашній молодой московскій франтъ, изъ передовыхъ, надѣлъ французскій костюмъ и къ боку прицѣпилъ европейскую шпагу. Мы именно должны начать съ презрѣнія къ своему и къ своимъ, и если пробыли цѣлые два вѣка на этой точкѣ, не двигаясь ни взадъ ни впередъ, то, вѣроятно, таковъ уже былъ нашъ срокъ отъ природы. Правда, мы и двигались: презрѣніе къ своему и къ своимъ все болѣе и болѣе возрастало, особенно, когда мы посерьезнѣе начали понимать Европу. Въ Европѣ насъ, впрочемъ, никогда не смущали рѣзкія разъединенія національностей и рѣзко опредѣлившіеся типы народныхъ характеровъ. Мы съ того и начали, что прямо «сняли всѣ противоположности» и получили общечеловѣческій типъ «европейца» — т. е. съ самаго начала подмѣтили *общее*, всѣхъ ихъ связующее, — это очень характерно. Затѣмъ, съ теченіемъ времени, поумнѣвъ еще болѣе, мы прямо ухватились за цивилизацію и тотчасъ же увѣровали, слѣпо и преданно, что въ ней-то и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человѣчество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на насъ, на чужихъ и пришельцевъ, этой восторженной вѣрѣ нашей, тѣмъ болѣе, что сами они, увы, стали ужъ и тогда помаленьку терять эту вѣру въ себя. Мы съ восторгомъ встрѣтили пришествіе Руссо и Вольтера, мы съ путешествующимъ Карамзинымъ умилительно радовались созванію «Національныхъ Штатовъ» въ 89 году, и если мы и приходили потомъ въ отчаяніе, въ концѣ первой четверти нынѣшняго вѣка, вмѣстѣ съ передовыми европей-

цами надъ ихъ погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то вѣры нашей все-таки не потеряли и даже самихъ европейцевъ утѣшали. Даже самые «бѣлые» изъ русскихъ у себя въ отечествѣ становились въ Европѣ тотчасъ же красными — чрезвычайно характерная тоже черта. Затѣмъ, въ половинѣ текущаго столѣтія, нѣкоторые изъ насъ удостоились пріобщиться къ французскому соціализму и приняли его, безъ малѣйшихъ колебаній, за конечное разрѣшеніе всечеловѣческаго единенія, т. е. за достиженіе всей увлекавшей насъ доселѣ мечты нашей. Такимъ образомъ, за достиженіе цѣли мы приняли то, что составляло верхъ эгоизма, верхъ безчеловѣчія, верхъ экономической безтолковщины и безурядицы, верхъ клеветы на природу человѣческую, верхъ уничтоженія всякой свободы людей, но это насъ не смущало нисколько. Напротивъ, видя грустное недоумѣніе иныхъ глубокихъ европейскихъ мыслителей, мы съ совершенною развязностью немедленно обозвали ихъ подлецами и тупицами. Мы вполнѣ повѣрили, да и теперь еще вѣримъ, что положительная наука вполнѣ способна опредѣлить *нравственныя* границы между личностями единицъ и націй (какъ будто наука, — если бъ и могла это сдѣлать, — можетъ открыть эти тайны раньше *завершенія опыта*, т. е. раньше завершенія всѣхъ судебъ человѣка на землѣ). Наши помѣщики продавали своихъ крѣпостныхъ крестьянъ и ѣхали въ Парижъ издавать соціальные журналы, а наши Рудины умирали на баррикадахъ. Тѣмъ временемъ мы до того уже оторвались отъ своей земли русской, что уже утратили всякое понятіе о томъ, до какой степени такое ученіе рознится съ душой народа русскаго. Впрочемъ, русскій народный характеръ мы не только считали ни во что, но и не признавали въ народѣ никакого характера. Мы забыли и думать о немъ и съ полнымъ деспотическимъ спокойствіемъ были убѣждены (не ставя и вопроса), что народъ нашъ тотчасъ приметъ все, что мы ему укажемъ, т. е. въ сущности прикажемъ. На этотъ счетъ у насъ всегда ходило нѣсколько смѣшнѣйшихъ анекдотовъ о народѣ. Наши общечеловѣки пребыли къ своему народу вполнѣ помѣщиками, и даже послѣ крестьянской реформы.

И чего же мы достигли? Результатовъ странныхъ: главное, всѣ на насъ въ Европѣ смотрятъ съ насмѣшкой а на лучшихъ и безспорно умныхъ русскихъ въ Европѣ смотрятъ съ высокомѣрнымъ снисхожденіемъ. Не спасала ихъ отъ этого высокомѣрнаго снисхожденія даже и

самая эмиграція изъ Россіи, т. е. уже политическая эмиграція и полнѣйшее отъ Россіи отреченіе. Не хотѣли европейцы насъ почесть за своихъ ни за что, ни за какія жертвы и ни въ какомъ случаѣ: Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare, и такъ и доселѣ. Мы у нихъ въ пословицу вошли. И чѣмъ больше мы имъ въ угоду презирали нашу національность, тѣмъ болѣе они презирали насъ самихъ. Мы виляли передъ ними, мы подобострастно исповѣдывали имъ наши «европейскіе» взгляды и убѣжденія, а они свысока насъ не слушали и обыкновенно прибавляли съ учтивой усмѣшкой, какъ бы желая поскорѣе отвязаться, что мы все у нихъ «не такъ поняли». Они именно удивлялись тому, какъ это мы, будучи такими татарами (les tartares), никакъ не можетъ стать русскими; мы же никогда не могли растолковать имъ, что хотимъ быть не русскими, а общечеловѣками. Правда, въ послѣднее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотимъ, чего-то имъ страшнаго и опаснаго; поняли, что насъ много, восемьдесятъ милліоновъ, что мы знаемъ и понимаемъ всѣ европейскія идеи, а что они нашихъ русскихъ идей не знаютъ, а если и узнаютъ, то не поймутъ; что мы говоримъ на всѣхъ языкахъ, а что они говорятъ лишь на однихъ своихъ, — ну и многое еще они стали смѣкать и подозрѣвать. Кончилось тѣмъ, что они прямо обозвали насъ врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизаціи. Вотъ какъ они поняли нашу страстную цѣль стать общечеловѣками!

А между тѣмъ намъ отъ Европы никакъ нельзя отказаться. Европа намъ второе отечество, — я первый страстно исповѣдую это и всегда исповѣдовалъ. Европа намъ *почти* такъ же *всѣмъ* дорога, какъ Россія; въ ней все Афетово племя, а наша идея — объединеніе всѣхъ націй этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Какъ же быть?

Стать русскими во-первыхъ и прежде всего. Если общечеловѣчность есть идея національная русская, то прежде всего надо каждому стать русскимъ, то есть самимъ собой, и тогда съ перваго шагу все измѣнится. Стать русскимъ значитъ перестать презирать народъ свой. И какъ только европеецъ увидитъ, что мы начали уважать народъ нашъ и національность нашу, такъ тотчасъ же начнетъ и онъ насъ самихъ уважать. И дѣйствительно: чѣмъ сильнѣе и самостоятельнѣе развились бы мы въ національномъ духѣ нашемъ, тѣмъ сильнѣе и ближе отозвались бы европейской душѣ и, породнившись съ нею, стали бы тотчасъ ей понятнѣе. Тогда не

отвертывались бы отъ насъ высокомѣрно, а выслушивали бы насъ. Мы и на видъ тогда станемъ совсѣмъ другіе. Ставъ самими собой, мы получимъ, наконецъ, обликъ человѣческій, а не обезьяній. Мы получимъ видъ свободнаго существа, а не раба, не лакея, не Потугина; насъ сочтутъ тогда за людей, а не за международнаго обшмыгу, не за стрюцкихъ европеизма, либерализма и соціализма. Мы и говорить будемъ съ ними умнѣе теперешняго, потому что въ народѣ нашемъ и въ духѣ его отыщемъ новыя слова, которыя ужъ непремѣнно станутъ европейцамъ понятнѣе. Да и сами мы поймемъ тогда, что многое изъ того, что мы презирали въ народѣ нашемъ — есть не тьма, а именно свѣтъ, не глупость, а именно умъ, а понявъ это, мы непремѣнно произнесемъ въ Европѣ такое слово, котораго тамъ еще не слыхали. Мы убѣдимся тогда, что настоящее соціальное слово несетъ въ себѣ никто иной, какъ народъ нашъ, что въ идеѣ его, въ духѣ его заключается живая потребность всеединенія человѣческаго, всеединенія уже съ полнымъ уваженіемъ къ національнымъ личностямъ и къ сохраненію ихъ, къ сохраненію полной свободы людей и съ указаніемъ, въ чемъ именно эта свобода и заключается, — единеніе любви, *гарантированное* уже дѣломъ, живымъ примѣромъ, потребностью на дѣлѣ истиннаго братства, а не гильотиной, не милліонами отрубленныхъ головъ...

А впрочемъ, неужели и впрямь я хотѣлъ кого убѣдить. Это была шутка. Но — слабъ человѣкъ: авось прочтетъ кто-нибудь изъ подростковъ, изъ юнаго поколѣнія...

III.

Русская сатира. „Новь“. „Послѣднія пѣсни“. Старыя воспоминанія.

Занимался я въ этотъ мѣсяцъ и литературой, то есть, беллетристикой, «изящной литературой», и кое-что прочелъ съ увлеченіемъ. Кстати, недавно прочелъ я одно иностранное мнѣніе о русской сатирѣ, т. е. о современной нашей сатирѣ, теперешней. Оно высказано было во Франціи. Замѣчателенъ тутъ одинъ выводъ, — забылъ подлинныя слова, но вотъ смыслъ: «Русская сатира какъ бы боится хорошаго поступка въ русскомъ обществѣ. Встрѣтивъ подобный поступокъ, она приходитъ въ безпокойство и не успокоивается до тѣхъ поръ, пока не при-

ищетъ гдѣ-нибудь, въ подкладкѣ этого поступка, подлеца. Тутъ она тотчасъ обрадуется и закричитъ: «Это вовсе не хорошій поступокъ, радоваться совсѣмъ нечему, видите сами, тутъ тоже подлецъ сидитъ!»

Справедливо ли это мнѣніе? Не вѣрю, чтобъ было справедливо. Знаю только, что сатира у насъ имѣетъ блестящихъ представителей и въ большомъ ходу. Публика очень любитъ сатиру, и однако, мое убѣжденіе, по крайней мѣрѣ, что та же самая публика несравненно больше любитъ положительную красоту, алчетъ и жаждетъ ея. Графъ Левъ Толстой, безъ сомнѣнія, любимѣйшій писатель русской публики всѣхъ оттѣнковъ.

Сатира наша какъ ни блестяща, она, дѣйствительно, страдаетъ нѣкоторой неопредѣленностью — вотъ что развѣ можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить въ цѣломъ, въ общемъ: что именно хочется сказать нашей сатирѣ? Такъ и кажется, что у ней у самой нѣтъ никакой подкладки, но можетъ ли это быть? Чему она сама-то вѣритъ, во имя чего обличаетъ, — это какъ будто тонетъ во мракѣ неизвѣстности. Нельзя никакъ узнать, что сама она считаетъ хорошимъ.

И вотъ надъ вопросомъ этимъ странно задумываешься.

Прочелъ «*Новъ*» Тургенева и жду второй части. Кстати: вотъ уже тридцать лѣтъ какъ я пишу, и во всѣ эти тридцать лѣтъ мнѣ постоянно и много разъ приходило въ голову одно забавное наблюденіе. Всѣ наши критики (а я слѣжу за литературой чуть не сорокъ лѣтъ), и умершіе, и теперешніе, всѣ, однимъ словомъ, которыхъ я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчетъ о текущей русской литературѣ, чуть-чуть по-торжественнѣе (прежде, напримѣръ, бывали въ журналахъ годовые январскіе отчеты за весь истекшій годъ), — то всегда употребляли, болѣе или менѣе, но съ великою любовью, все одну и ту же фразу: «Въ наше время, когда литература въ такомъ упадкѣ», «въ наше время, когда русская литература въ такомъ застоѣ», «въ наше литературное безвременіе», и т. д., и т. д. На тысячу ладовъ одна и та же мысль. А въ сущности въ эти сорокъ лѣтъ явились послѣднія произведенія Пушкина, начался и кончился Гоголь, былъ Лермонтовъ, явились Островскій, Тургеневъ, Гончаровъ и еще человѣкъ десять, по крайней мѣрѣ, преталантливыхъ беллетристовъ. И это только въ одной беллетристикѣ! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни въ какой литературѣ, въ такой короткій срокъ, не явилось

такъ много талантливыхъ писателей, какъ у насъ, и такъ сряду, безъ промежутка. А между тѣмъ я даже и теперь, чуть не въ прошломъ мѣсяцѣ, читалъ опять о застоѣ русской литературы и о «пустыняхъ русской словесности». Впрочемъ, это только забавное наблюденіе мое, да и вещь-то совершенно невинная и неимѣющая никакого значенія. А такъ, усмѣхнуться можно.

О «Нови» я, разумѣется, ничего не скажу; всѣ ждутъ второй части. Да и не мнѣ говорить. Художественное достинство созданій Тургенева внѣ сомнѣнія. Замѣчу лишь одно: на 92-й страницѣ романа (см. «Вѣстникъ Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строкъ, и въ этихъ строкахъ какъ бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведенія, какъ бы выразился весь взглядъ автора на свой предметъ. Къ сожалѣнію, этотъ взглядъ совершенно ошибоченъ, и я съ нимъ глубоко не согласенъ. Это нѣсколько словъ, сказанныхъ авторомъ по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочелъ я «Послѣднія пѣсни» Некрасова въ январской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ». Страстныя пѣсни и недосказанныя слова, какъ всегда у Некрасова, но какіе мучительные стоны больного! Нашъ поэтъ очень боленъ и — онъ самъ говорилъ мнѣ — видитъ ясно свое положеніе. Но мнѣ не вѣрится... Это крѣпкій и воспріимчивый организмъ. Онъ страдаетъ ужасно (у него какая-то язва въ кишкахъ, болѣзнь, которую и опредѣлить трудно), но я не вѣрю, что онъ не вынесетъ до весны, а весной на воды, за границу, въ другой климатъ, поскорѣе, и онъ поправится, я въ этомъ убѣжденъ. Странно бываетъ съ людьми; мы въ жизнь нашу рѣдко видались, бывали между нами и недоумѣнія, но у насъ былъ одинъ такой случай въ жизни, что я никогда не могъ забыть о немъ. Это именно наша первая встрѣча другъ съ другомъ въ жизни. И что жъ, недавно я зашелъ къ Некрасову, и онъ, больной, измученный, съ перваго слова началъ съ того, что помнитъ о тѣхъ дняхъ. Тогда (это тридцать лѣтъ тому!) произошло что-то такое молодое, свѣжее, хорошее, — изъ того, что остается навсегда въ сердцѣ участвовавшихъ. Намъ тогда было по двадцати съ немногимъ лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ пятаго года. Въ началѣ зимы я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совер-

шенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки «Петербургскіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Кажется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «принесите рукопись» (самъ онъ еще не читалъ ее): «Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ, и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой «партіи Отечественныхъ Записокъ», какъ говорили тогда, я боялся. Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и — «осмѣетъ онъ моихъ «Бѣдныхъ людей»!» — думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда: писалъ я ихъ съ страстью, почти со слезами — «неужто все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью, — все это ложь, миражъ, невѣрное чувство?» Но думалъ я такъ, разумѣется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о «Мертвыхъ Душахъ» и читали ихъ въ который разъ не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «а не почитать ли намъ господа Гоголя!» — садятся и читаютъ, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многіе какъ бы чѣмъ-то были проникнуты и какъ бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую какъ днемъ петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «съ десяти страницъ видно будетъ». Но, прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. «Читаетъ онъ про смерть студента, — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ, — и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по

рукописи: «Ахъ, чтобъ его!» Это про васъ-то. И этакъ мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ!), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: «Что жъ такое что спитъ, мы разбудимъ его, *это* выше сна!» Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была воистину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь: говорили и о поэзіи, и о правдѣ, и о «тогдашнемъ положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ Душъ», но, главное, о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть, и вы увидите, — да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся меня за плечи обѣими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!» Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успѣхъ, ну хвалятъ, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ахъ, хорошо!» Вотъ что я думалъ, какой тутъ сонъ!

Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасовъ ничего не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ черезъ годъ потомъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцати, совершенно одинъ. Писалъ онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты, и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ навѣкъ и связываютъ неразрывно. «Новый Гоголь явился!» закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ «Бѣдными людьми». — «У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ», строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ. Когда Некрасовъ опять зашелъ къ нему вечеромъ, то Бѣлинскій встрѣтилъ его «просто въ волненіи»: «Приведите, приведите его скорѣе!»

И вотъ (это, стало быть, уже на третій день) меня привели къ нему. Помню, что на первый взглядъ меня очень поразила его наружность, его носъ, его лобъ: я представлялъ его себѣ почему-то совсѣмъ другимъ, — «этого ужаснаго, этого страшнаго критика». Онъ встрѣтилъ меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что жь, оно такъ и надо», подумалъ я, но не прошло, кажется, и минуты, какъ все преобразилось: важность была не лица, не великаго критика, встрѣчающаго двадцати-двухълѣтняго начинающаго писателя, а, такъ сказать, изъ уваженія его къ тѣмъ чувствамъ, которыя онъ хотѣлъ мнѣ излить какъ можно скорѣе, къ тѣмъ важнымъ словамъ, которыя чрезвычайно торопился мнѣ сказать. Онъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторялъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и вскрикивая по своему обыкновенію, — что это вы такое написали!» Онъ вскрикивалъ всегда, когда говорилъ въ сильномъ чувствѣ. «Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали? Не можетъ быть, чтобы вы въ ваши двадцать лѣтъ ужъ это понимали. Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ — вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почесть отъ приниженности, и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смѣетъ признать и, когда добрый человѣкъ, его генералъ, даетъ ему эти сто рублей — онъ раздробленъ, уничтоженъ отъ изумленія, что такого какъ онъ могъ пожалѣть «ихъ превосходительство», не его превосходительство, а «ихъ превосходительство», какъ онъ у васъ выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута цѣлованія генеральской ручки, — да вѣдь тутъ ужъ не сожалѣніе къ этому несчастному, а ужасъ, ужасъ! Въ этой благодарности-то его ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали. Мы, публицисты и критики, только разсуждаемъ, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художникъ, одною чертой, разомъ въ образѣ выставляете самую суть, чтобъ ощупать можно было рукой, чтобъ самому неразсуждающему читателю стало вдругъ все понятно! Вотъ тайна художественности, вотъ правда въ искусствѣ! Вотъ служеніе художника истинѣ! Вамъ правда открыта и возвѣщена какъ художнику, досталась какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ и будете великимъ писателемъ!»...

Все это онъ тогда говорилъ мнѣ. Все это онъ говорилъ потомъ обо мнѣ и многимъ другимъ, еще живымъ теперь и могущимъ другимъ засвидѣтельствовать. Я вышелъ отъ него въ упоеніи. Я остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день, на проходившихъ людей и весь, всѣмъ существомъ своимъ ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ навѣки, что началось что-то совсѣмъ новое, не такое, чего я и не предполагалъ тогда даже въ самыхъ страстныхъ мечтахъ моихъ. (А я былъ тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я такъ великъ», стыдливо думалъ я про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ. О не смѣйтесь, никогда потомъ я не думалъ, что я великъ, но тогда — развѣ можно было это вынести! «О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди, какіе люди! Вотъ гдѣ люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ и они, пребуду «вѣренъ»! О, какъ я легкомысленъ, и если бъ Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочемъ, этихъ людей только и есть въ Россіи, «они одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ, мы побѣдимъ; о, къ нимъ, съ ними!».

Я это все думалъ, я припоминаю ту минуту въ самой полной ясности. И никогда потомъ я не могъ забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я въ каторгѣ, вспоминая ее, укрѣплялся духомъ. Теперь еще вспоминаю ее каждый разъ съ восторгомъ. И вотъ, тридцать лѣтъ спустя, я припомнилъ всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережилъ, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминалъ подробно, я напомнилъ только, что были эти тогдашнія наши минуты, и увидалъ, что онъ помнитъ о нихъ и самъ. Я и зналъ, что помнитъ. Когда я воротился изъ каторги, онъ указалъ мнѣ на одно свое стихотвореніе въ книгѣ его: «Это я объ васъ тогда написалъ» — сказалъ онъ мнѣ. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели онъ вспоминаетъ теперь отжившихъ друзей:

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты,
Пали жертвою злобы, измѣнъ
Въ цвѣтѣ лѣтъ: на меня ихъ портреты
Укоризненно смотрятъ со стѣнъ.

Тяжелое здѣсь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «вѣрны», пребыли ли? Всякъ пусть рѣшаетъ на свой

судъ и совѣсть. Но прочтите эти страдальческія пѣсни сами, и пусть вновь оживетъ нашъ любимый и страстный поэтъ! Страстный къ страданью поэтъ!..

IV.

Именинникъ.

Помните ли вы «Дѣтство и отрочество» графа Толстого? Тамъ есть одинъ мальчикъ герой всей поэмы. Но это не простой мальчикъ, не какъ другія дѣти, не какъ братъ его Володя. Ему всего какихъ-нибудь лѣтъ двѣнадцать, а въ голову и въ сердце его уже заходятъ мысли и чувства не такія, какъ у его сверстниковъ. Мечтамъ и чувствамъ своимъ онъ уже отдается страстно и уже знаетъ, что ихъ лучше хранить ему про себя. Обнаруживать ихъ уже мѣшаетъ ему стыдливое цѣломудріе и высшая гордость. Онъ завидуетъ брату и считаетъ его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красотѣ лица, а между тѣмъ онъ втайнѣ предчувствуетъ, что братъ гораздо ниже его во всѣхъ отношеніяхъ, но онъ гонитъ свою мысль и считаетъ ее низостью. Онъ смотритъ на себя въ зеркало слишкомъ часто и рѣшаетъ, что онъ уродливо нехорошъ собою. У него мелькаютъ мечты, что его никто не любитъ, что его презираютъ... Однимъ словомъ, это мальчикъ довольно необыкновенный, а между тѣмъ именно принадлежащій къ этому типу семейства средне-высшаго дворянскаго круга, поэтомъ и историкомъ котораго былъ, по завѣту Пушкина, вполнѣ и всецѣло, графъ Левъ Толстой. И вотъ въ ихъ домѣ, въ большомъ семейномъ московскомъ домѣ собираются гости; именинница сестра; съѣзжаются съ большими и дѣти, тоже мальчики и дѣвочки. Начались игры, танцы. Нашъ герой мѣшковатъ, танцуетъ хуже всѣхъ, хочетъ отличиться остроуміемъ, но ему не удается, — а тутъ какъ разъ столько хорошенькихъ дѣвочекъ и — вѣчная мысль его, вѣчное подозрѣніе, что онъ хуже всѣхъ. Въ отчаяніи онъ рѣшается на все, чтобъ всѣхъ поразить. При всѣхъ дѣвочкахъ и при всѣхъ этихъ гордыхъ, старшихъ мальчикахъ, считавшихъ его ни во что, онъ вдругъ, внѣ себя, съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ бросаются въ раскрывшуюся подъ ногами бездну, выставляетъ гувернеру языкъ и ударяетъ его изо всѣхъ силъ кулакомъ! «Теперь всѣ узнали, каковъ онъ, онъ показалъ себя!» Его позорно тащутъ и запираютъ въ чуланъ. Чувствуя себя

погибшимъ, и уже навѣки, мальчикъ начинаетъ мечтать: вотъ онъ бѣжалъ изъ дому, вотъ онъ поступаетъ въ армію, на сраженіи онъ убиваетъ множество турокъ и падаетъ отъ ранъ. Побѣда! Гдѣ нашъ спаситель, кричатъ всѣ, цѣлуютъ и обнимаютъ его. Вотъ онъ уже въ Москвѣ, онъ идетъ по Тверскому бульвару съ подвязанной рукой, его встрѣчаетъ Государь... И вдругъ мысль, что дверь отворится и войдетъ гувернеръ съ розгами, разсѣиваетъ эти мечты, какъ пыль. Начинаются другія. Онъ вдругъ выдумываетъ причину, почему его «всѣ такъ не любятъ»: вѣроятно, онъ подкидышъ и отъ него это скрываютъ... Вихрь разростается: вотъ онъ умираетъ, входятъ въ чуланъ и находятъ его трупъ: «Бѣдный мальчикъ!» его всѣ жалѣютъ. «Онъ добрый мальчикъ! Это вы его погубили», — говоритъ отецъ гувернеру... и вотъ слезы душатъ мечтателя... Вся эта исторія кончается болѣзнью ребенка, лихорадкой, бредомъ. Чрезвычайно серьезный психологическій этюдъ надъ дѣтской душой, удивительно написанный.

Я нарочно припомнилъ этотъ этюдъ въ такой подробности. Я получилъ письмо изъ К—ва, въ которомъ мнѣ описываютъ смерть одного ребенка, тоже двѣнадцатилѣтняго мальчика, и — и очень можетъ быть, что тутъ нѣчто похожее. Впрочемъ, выпишу мѣстами письмо, не измѣняя въ выписываемомъ ни слова. *Сюжетъ* любопытенъ.

8 ноября, послѣ обѣда, разнеслась по городу вѣсть, что случилось *самоубійство* — повѣсился *12—13-лѣтній отрокъ*, воспитанникъ прогимназіи. Обстоятельства дѣла таковы. — Классный наставникъ по предмету котораго не зналъ въ этотъ день урока погибшій мальчикъ, наказалъ его тѣмъ, что оставилъ въ заведеніи до 5 часовъ вечера. Походилъ, походилъ ученикъ, отвязалъ отъ попавшагося на глаза блока бечевку, привязалъ ее къ гвоздю, на которомъ обыкновенно виситъ такъ называемая золотая или красная доска, для чего-то въ этотъ день вынесенная, и удавился. Сторожъ, мывшій въ сосѣднихъ комнатахъ полы, увидавъ несчастнаго, побѣжалъ къ инспектору; прибѣжалъ инспекторъ, сняли съ петли самоубійцу, но возвратить его къ жизни не могли... Гдѣ причина самоубійства? Мальчикъ буйства и звѣронравства не проявлялъ, учился вообще хорошо, только у своего класснаго наставника въ послѣднее время получилъ нѣсколько неудовлетворительныхъ отмѣтокъ, за что и былъ наказываемъ... Говорятъ, и отецъ мальчика, человѣкъ очень строгій, и самъ онъ, были въ этотъ день именинники. Быть можетъ, съ дѣтскимъ восторгомъ мечталъ молодой именинникъ о томъ, какъ его встрѣтятъ дома - мать, отецъ, братишки сестренки... И вотъ, сиди одинъ-одинешенекъ, голодный въ пустомъ домѣ и раздумывай о страшномъ гнѣвѣ отца, который придется встрѣтить, объ униженіи, стыдѣ, а быть можетъ и наказаніи, которое пред-

стоитъ перенесть. О возможности покончить самому съ собою онъ зналъ (да и кто изъ дѣтей нашего времени не знаетъ этого). Страшно жаль погибшаго, жаль инспектора, человѣка и педагога прекраснѣйшаго, котораго воспитанники обожаютъ, страшно за школу, которая въ стѣнахъ своихъ видитъ подобныя явленія. Что почувствовали товарищи погибшаго и другія дѣти, обучающіяся тамъ, между которыми въ приготовительныхъ классахъ есть совершенныя крошки, когда они узнали о случившемся? Не слишкомъ ли сильна такая наука? Не слишкомъ ли много придается значенія — двойкамъ, единицамъ, золотымъ и краснымъ доскамъ, на гвоздяхъ отъ которыхъ вѣшаются воспитанники? Не слишкомъ ли много формализма и сухой безсердечности вносится у насъ въ дѣло воспитанія?

Конечно, страшно жаль бѣднаго маленькаго именинника, но я не стану распространяться о вѣроятныхъ причинахъ этого горестнаго *случая*, и въ особенности на тему «о двойкахъ, о баллахъ, объ излишней строгости» и проч. Все это и прежде было и обходилось безъ самоубійствъ, и причина, очевидно, не тутъ. Эпизодъ изъ «Отрочества» графа Толстого я взялъ изъ сходства обоихъ случаевъ, но есть и огромная разница. Безъ сомнѣнія, именинникъ Миша убилъ себя не отъ злости и не отъ страху только. Оба чувства эти — и злость, и болѣзненная трусливость — слишкомъ просты и скорѣе всего нашли бы *исходъ сами въ себѣ*. Впрочемъ, дѣйствительно могъ повліять и страхъ наказанія, особенно при болѣзненной мнительности, но все же чувство могло быть и при этомъ гораздо сложнѣе, и опять-таки очень можетъ быть, что происходило нѣчто въ родѣ того, что описалъ графъ Толстой, т. е. подавленные, еще не сознательные дѣтскіе вопросы, сильное ощущеніе какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущеніе собственной ничтожности, болѣзненно развившійся вопросъ: «Почему меня такъ *всѣ* не любятъ», страстное желаніе заставить жалѣть о себѣ, т. е. то же, что страстное желаніе любви отъ *нихъ всѣхъ* — и множество, множество другихъ осложненій и оттѣнковъ непремѣнно были, но — есть и черты какой-то новой дѣйствительности, совсѣмъ другой уже, чѣмъ какая была въ успокоенномъ и твердо, издавна сложившемся московскомъ помѣщичьемъ семействѣ средне-высшаго круга, *историкомъ* котораго явился у насъ графъ Левъ Толстой, и какъ разъ, кажется, въ ту пору, когда для прежняго русскаго дворянскаго строя, утверждавшагося на прежнихъ помѣщичьихъ основаніяхъ, пришелъ какой-то новый, еще неизвѣстный, но радикальный переломъ, по крайней мѣрѣ, огромное перерожденіе въ новыя и еще грядущія, почти совсѣмъ неизвѣстныя формы. Есть тутъ, въ этомъ случаѣ съ именинникомъ, одна особенная черта уже совершенно на-

шего времени. Мальчикъ графа Толстого могъ мечтать, съ болѣзненными слезами разслабленнаго умиленія въ душѣ, о томъ, какъ *они* войдутъ и найдутъ его мертвымъ и начнутъ любить его, жалѣть и себя винить. Онъ даже могъ мечтать и о самоубійствѣ, но лишь *мечтать*: строгій строй исторически сложившагося дворянскаго семейства отозвался бы и въ двѣнадцатилѣтнемъ ребенкѣ и не довелъ бы его *мечту* до *дѣла*, а тутъ — *помечталъ, да и сдѣлалъ*. Я, впрочемъ, замѣчаю это, не объ одной только теперешней эпидеміи самоубійствъ говорю. Чувствуется, что тутъ что-то не то, что огромная часть русскаго строя жизни осталась вовсе безъ наблюденія и безъ *историка*. По крайней мѣрѣ, ясно, что жизнь средне-высшаго нашего дворянскаго круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишкомъ ничтожный и обособленный уголокъ русской жизни. Кто жъ будетъ *историкомъ* остальныхъ уголковъ, кажется, страшно многочисленныхъ? И если въ этомъ хаосѣ, въ которомъ давно уже, но теперь особенно, пребываетъ общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормальнаго закона и руководящей нити даже, можетъ быть, и Шекспировскихъ размѣровъ художнику, то, по крайней мѣрѣ, кто же освѣтитъ хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, какъ будто всѣмъ еще вовсе не до того, что это какъ бы еще рано для самыхъ великихъ нашихъ художниковъ. У насъ есть, безспорно, жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новыхъ уже началахъ. Кто ихъ подмѣтитъ, и кто ихъ укажетъ? Кто хоть чуть-чуть можетъ опредѣлить и выразить законы и этого разложенія, и новаго созиданія? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то все ли было отмѣчено?

Отъ редакціи.

I.

Несмотря на категорическое заявленіе мое въ прошломъ декабрьскомъ «Дневникѣ» моемъ, мнѣ все еще продолжаютъ присылать письма съ вопросами: «Буду ли я или нѣтъ издавать новый журналъ «Свѣтъ», и прилага-

ютъ марки для отвѣтовъ. Увѣдомляю еще разъ и навсегда всѣхъ спрашивающихъ, что журналъ «Свѣтъ» издаю не я, а Ник. Пет. Вагнеръ, и въ редактированіи его ничѣмъ не участвую.

II.

Очень просятъ г-жу О—гу А—ну Ан—ову, писавшую въ редакцію о своихъ занятіяхъ по экзамену, сообщить свой адресъ вѣрнѣе. Прежній, данный ею въ Моховой улицѣ, оказался ошибочнымъ.

ФЕВРАЛЬ.

Глава первая.

I.

Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающіе дѣлать луну въ Гороховой. Одинъ изъ неизвѣстнѣйшихъ русскихъ великихъ людей.

Восточный вопросъ попрежнему у всѣхъ передъ глазами. Какъ ни старались мы забыть его и развлечь себя всѣмъ, что было подъ рукой, — масленицей, «Новью», крахами, червонными валетами, — какъ ни нагоняли мы на себя цинизмъ, увѣряя всѣхъ и себя прежде всѣхъ, что «ничего ровно не было, что все выдумано и поддѣлано», какъ ни прятали мы голову въ подушку, какъ маленькія дѣти, чтобъ только не видѣть грознаго привидѣнія, — а привидѣніе все-таки передъ нами, никуда не ушло, стоитъ и грозитъ, какъ и прежде. Всякій — и злобствующій циникъ, и искренній гражданинъ, и безмятежно развлекающійся гуляка, и просто лѣнивецъ, — всякій чувствуетъ и помнитъ, что есть это нѣчто, — нѣчто отнюдь еще не рѣшенное и не поконченное, а вмѣстѣ съ тѣмъ неотложное и необходимое, нѣчто, что непремѣнно позовутъ насъ и потребуютъ, рано ли, поздно ли, къ развязкѣ, и что тутъ непремѣнно —

Надо что-нибудь да сдѣлать,
Надо чѣмъ-нибудь да кончить.

И ужъ это по меньшей мѣрѣ, если что-нибудь сдѣлать или чѣмъ-нибудь кончить, а что всего бы лучше, если бъ кончить получше. А между тѣмъ время идетъ да идетъ, на дворѣ весна и — что-то дастъ намъ весна? Иные кричатъ, что ушло уже время; это Богъ знаетъ; для хорошаго дѣла всегда есть время. Да не выработается ли что-нибудь хоть къ веснѣ, не скажется ли что-нибудь окончательно, то есть хоть бы на годъ? Вѣдь

въ Восточномъ вопросѣ теперь въ Европѣ дальше какъ на годъ никто и не разсчитываетъ, тѣмъ болѣе, что и сама Турція врядъ ли годъ простоитъ. Но дѣло не въ ней, а въ томъ, что послѣ нея останется. Эти окончательныя рѣшенія на годъ Европѣ, можетъ быть, и выгодны; ну, а другимъ не очень; и что-то будетъ съ другими, особенно съ тѣми другими, тамъ за Дунаемъ? Но о нихъ думаетъ лишь русскій народъ.

Да, думаетъ, и воля ваша, какъ ни отрицали мы изо всѣхъ силъ всю зиму наше лѣтнее движеніе, но, по-моему, оно продолжалось и во всю зиму, точно такъ же какъ и лѣтомъ, по всей Россіи, неуклонно и вѣрно, но уже спокойно и съ надеждой на рѣшеніе Царя. И ужъ, конечно, продолжаться будетъ до самаго конца, несмотря на пророковъ нашихъ, умѣвшихъ разглядѣть (и именно въ это лѣто) въ лицѣ Россіи лишь спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся отъ Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, съ колоссальнымъ штофомъ въ рукахъ. По-моему, если и не видятъ эти пророки наши, чѣмъ живетъ Россія, такъ тѣмъ даже и лучше: не будутъ вмѣшиваться и не будутъ мѣшать, а и вмѣшаются — такъ не туда попадутъ, а мимо. Видите ли: тутъ дѣло въ томъ, что нашъ европеизмъ и «просвѣщенный» европейскій нашъ взглядъ на Россію — это все та же еще луна, которую дѣлаетъ все тотъ же самый заѣзжій хромой бочаръ въ Гороховой, что и прежде дѣлалъ, и все такъ же прескверно дѣлаетъ, что и доказываетъ поминутно; вонъ онъ и на-дняхъ доказалъ; впредь же будетъ дѣлать еще сквернѣе, — ну, и пусть его: нѣмецъ, да еще хромой, надобно имѣть состраданіе.

Да и какое дѣло Россіи до такихъ пророковъ? Теперь и не почешемся, прежнее время прошло.

Въ газетахъ упоминалось какъ-то, что въ Москву въ эту зиму привезли изъ славянскихъ земель не одну партію бѣдныхъ маленькихъ дѣтей изъ разрушенныхъ войною семействъ, совершенныхъ сиротъ. Ихъ размѣщаютъ по разнымъ рукамъ и заведеніямъ. Хорошо, кабы это все не прерывалось и организовалось, наконецъ, по всей Россіи въ самомъ обширномъ размѣрѣ: что же, вѣдь это только благодѣяніе; а дѣтокъ этихъ надо беречь, вѣдь это все *будущіе* славяне. Кстати, я нѣсколько разъ спрашивалъ себя: чѣмъ такъ-таки прокормились эти нѣсколько сотъ тысячъ ртовъ изъ болгаръ, босняковъ, герцеговинцевъ и прочихъ, бѣжавшихъ отъ своихъ мучителей, послѣ избіенія и раззоренія, въ Сербію, Черногорію, Австрію и куда попало. Соображая сколько нужно денегъ, чтобъ ихъ прокормить, и зная, что ни у сербовъ,

ни у черногорцевъ нѣтъ такихъ денегъ, да и самимъ теперь ѣсть почти нечего, не понимаешь, чѣмъ эти сотни тысячь могли прокормиться съ маленькими своими дѣтьми и во что въ зиму одѣть себя и дѣтей. Говорятъ, недавно въ Москву привезли еще «партію дѣтокъ», отъ трехъ до тринадцати лѣтъ, и которыхъ приняла къ себѣ Покровская община сестеръ милосердія. Разсказываютъ, что этихъ маленькихъ сербскихъ дѣвочекъ покровскія сестры милосердія помѣстили вмѣстѣ съ прибывшими прежде болгарками, и что за ними надзираетъ одна изъ сестеръ, знающая по-сербски, такъ что дѣти рады и дѣтямъ весело. Дѣтямъ, конечно, хорошо и тепло, но я слышалъ недавно отъ одного воротившагося изъ Москвы пріятеля прехарактерный анекдотъ про этихъ самыхъ малютокъ: сербскія дѣвочки сидятъ-де въ одномъ углу, а болгарки въ другомъ, и не хотятъ ни играть, ни говорить другъ съ дружкой, а когда спрашиваютъ сербокъ, отчего онѣ не хотятъ играть съ болгарками, то тѣ отвѣчаютъ: «мы имъ дали оружіе, чтобъ они шли съ нами вмѣстѣ на турокъ, а они оружіе спрятали и не пошли на турокъ». Это очень, по-моему, любопытно. Если восьми — девятилѣтнія малютки говорятъ такимъ языкомъ, то, значитъ, переняли отъ отцовъ, и если такія слова отцовъ переходятъ уже къ дѣтямъ, то, значитъ, между балканскими славянами несомнѣнная и страшная рознь. Да, вѣчная рознь между славянами! Они запоминаютъ ее въ своихъ преданіяхъ и сохраняютъ въ пѣсняхъ, и безъ единящаго огромнаго своего центра Россіи — не бывать славянскому согласію, да и не сохраниться безъ Россіи славянамъ, исчезнуть славянамъ съ лица земли вовсе, — какъ бы тамъ ни мечтали люди сербской интеллигенціи, или тамъ разные цивилизованные по-европейски чехи... Много у нихъ еще мечтателей. Да почти все еще мечтатели...

Помните ли вы у Пушкина, въ «Пѣсняхъ Западныхъ славянъ», «Пѣсню о битвѣ у Зеницы Великой»? Тамъ возставшіе собрались съ Радивоемъ въ походъ на турокъ.

А Далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
На-бекрень надѣли свои шапки
И сказали: „Возьмите насъ съ собою“...
. . . . . .
Беглербей съ своими Босняками
Противъ насъ пришелъ изъ Банялуки:
Но лишь только заржали ихъ кони,
И на солнцѣ ихъ кривыя сабли
Засверкали у Зеницы Великой, —
Разбѣжались измѣнники далматы!

Кстати, я спросилъ: «Помните ли вы въ Пѣсняхъ Западныхъ славянъ»...» и т. д., и я впередъ за всѣхъ отвѣчаю, что никто не помнитъ ни «Пѣсни о битвѣ у Зеницы Великой», ни даже и самыхъ «Пѣсенъ Западныхъ славянъ» Пушкина. Ну, кромѣ спеціалистовъ тамъ какихъ-нибудь, словесниковъ, али старыхъ — старыхъ какихъ-нибудь стариковъ. Пусть я гнусно ошибаюсь, но все же я въ этомъ твердо увѣренъ. А между тѣмъ знаете ли, господа, что «Пѣсни западныхъ славянъ» это — шедёвръ изъ шедёвровъ Пушкина, между шедёврами его шедёвръ, не говоря уже о пророческомъ и политическомъ значеніи этихъ стиховъ, еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ появившихся. Фактъ тогдашняго появленія у насъ этихъ пѣсенъ важенъ: — Это предчувствіе славянъ русскими, это пророчество русскихъ славянамъ о будущемъ братствѣ и единеніи. Ни въ одной критикѣ я однакоже никогда не читалъ про эти «сочиненія Пушкина», что они его шедёвры. Считали ихъ такъ себѣ, а между тѣмъ онѣ именно шедёвры и все, что есть высшаго по значенію. По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это геній, опередившій русское сознаніе еще слишкомъ надолго. — Это былъ ужъ русскій, настоящій русскій, самъ, силою своего генія, передѣлавшійся въ русскаго, а мы и теперь все еще у хромого бочара учимся. Это былъ одинъ изъ первыхъ русскихъ, ощутившій въ себѣ русскаго человѣка всецѣло, вырвавшій его въ себѣ и показавшій на себѣ, какъ долженъ глядѣть русскій человѣкъ, — и на народъ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьевъ славянъ. Гуманнѣе, выше и трезвѣе взгляда нѣтъ и не было еще у насъ ни у кого изъ русскихъ. Но я объ этомъ распространяться пока не стану, а про «Пѣсни» лишь скажу, что, какъ всѣмъ извѣстно, онѣ взяты у Пушкина съ французскаго, изъ книжки Мериме «La Gouzla», книжки, сочиненной Мериме, по его собственному признанію, наобумъ, не выѣзжая изъ Парижа. Этотъ преталантливый французскій писатель, впослѣдствіи senateur и чуть не родственникъ Наполеона III, теперь уже умершій, въ этой «Gouzla» изобразилъ, подъ видомъ славянъ, конечно лишь французовъ, да еще и французовъ-то парижанъ; иначе они и не умѣютъ: для настоящаго француза кромѣ Парижа ничего на свѣтѣ не существуетъ. Пушкинъ, прочтя книжку и пославъ объ ней автору въ Парижъ запросъ, сочинилъ по ней свои пѣсни, т. е. изъ французовъ, изображенныхъ Мериме, возстановилъ славянъ, и — ужъ, конечно, теперь это — «Пѣсни Западныхъ славянъ», настоящихъ славянъ, славянъ даже породнившихся уже съ

русскими. Конечно, этихъ пѣсенъ нѣтъ въ Сербіи, поются у нихъ другія, но это все равно: Пушкинскія пѣсни — это пѣсни всеславянскія, народныя, вылившіяся изъ славянскаго сердца, въ духѣ, въ образѣ славянъ, въ смыслѣ ихъ, въ обычаѣ и въ исторіи ихъ. Я бы тѣмъ высокообразованнымъ сербамъ, изъ которыхъ многіе столь недовѣрчиво смотрѣли нынѣшнимъ лѣтомъ на русскихъ, показалъ бы, напримѣръ, пѣсню Пушкина о «Георгіи Черномъ» или эту «Пѣсню о битвѣ при Зеницѣ Великой». Это два шедёвра изъ этихъ пѣсенъ, брилліанты первой величины въ поэзіи Пушкина, — и непремѣнно потому-то они совершенно невѣдомы въ нашихъ школахъ не только ученикамъ, но, весьма вѣроятно, и учителямъ, которые съ удивленіемъ услышатъ теперь въ первый разъ, что это такіе шедёвры, а не «Кавказскій плѣнникъ» и не «Цыгане». А между тѣмъ, хоть бы въ прошломъ году-то, по крайней мѣрѣ, пустить эти пѣсни въ ходъ въ нашихъ школахъ. Впрочемъ, судя по ходу дѣла, врядъ ли сербы скоро узнаютъ этого неизвѣстнѣйшаго изъ всѣхъ великихъ русскихъ людей, — такъ, я думаю, можно опредѣлить нашего Пушкина, про котораго у насъ тысячи и десятки тысячъ изъ нашей интеллигенціи до сихъ поръ не знаютъ, что это былъ такихъ великихъ размѣровъ поэтъ и русскій человѣкъ, и которому до сихъ поръ не могли мы еще собрать денегъ на памятникъ, — черта эта войдетъ въ нашу исторію. А сербы, прочтя эти «пѣсни», конечно, увидали бы, какъ думаемъ мы объ ихъ свободѣ, чтимъ мы ее или нѣтъ, радуемся ли ей или нѣтъ и хотимъ или нѣтъ захватить ихъ въ свою власть и лишить ихъ этой свободы. Впрочемъ, довольно о поэзіи. И пусть не улыбаются надо мной свысока: «вотъ, дескать, о какихъ мелочахъ заговорилъ». Это не мелочь; о Пушкинѣ еще много и долго у насъ говорить надо.

II.

Доморощенные великаны и приниженный сынъ „кучи“. Анекдотъ о содранной со спины кожѣ. Высшіе интересы цивилизаціи и „да будутъ они прокляты, если ихъ надо покупать такою цѣной“.

Сербская скупщина, собравшаяся въ прошломъ мѣсяцѣ въ Бѣлградѣ на одно мгновеніе (на полтора часа, какъ писали въ газетахъ), чтобъ только рѣшить: «За-

ключить миръ или нѣтъ?» — скупщина эта, какъ слышно, выказала вовсе не такое слишкомъ ужъ поспѣшно миролюбивое настроеніе, какого отъ нея ждали, принимая въ соображеніе обстоятельства. Говорятъ, и на миръ-то согласилась вслѣдствіе какой-то передержки, министерской какой-то интриги. Во всякомъ случаѣ, если чуть-чуть правда, что скупщина не трусила продолженія войны, то, взявъ въ соображеніе ихъ отчаянное положеніе, невольно спросишь себя: «Что жъ это у насъ такъ кричали о трусости сербовъ?» Я получалъ изъ Сербіи письма и говорилъ съ пріѣзжавшими оттуда, и особенно запомнилъ одно письмо отъ одного юнаго русскаго, который тамъ и остался, и который пишетъ о сербахъ съ восторгомъ и съ негодованіемъ на то, что въ Россіи находятся-де люди, думающіе про нихъ, что они трусы и эгоисты. Восторженный русскій эмигрантъ даже извиняетъ членовредительство сербскихъ солдатъ у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нѣжный сердцемъ народъ, до того любятъ свою «кучу», гдѣ каждый оставилъ жену, дѣтей, или мать, сестеръ, невѣсту, братьевъ, коня и собаку, что бросаютъ все, уродуютъ себя, отстрѣливаютъ себѣ пальцы, чтобы не годиться къ службѣ и поскорѣй воротиться въ свое милое гнѣздо! Представьте себѣ, я эту нѣжность сердца понимаю и весь этотъ процессъ понимаю, и ужъ, конечно, въ такомъ случаѣ это слишкомъ нѣжный сердцемъ народъ, хотя — хотя это въ то же время довольно туповатыя дѣти своей отчизны, такъ что сами не понимаютъ, чего у нихъ сердце хочетъ. По нѣжности сердца своего сербскій обитатель «кучи» похожъ очень, по-моему, на тѣхъ дѣтей, которыхъ, очень можетъ быть, и вы запомнили еще съ дѣтства: вдругъ изъ семьи, или изъ разрушеннаго и разбредшагося вдругъ семейства, попадаютъ они въ школу. Доселѣ мальчикъ жилъ только дома и ничего кромѣ своего дома не зналъ, и вдругъ — сто человѣкъ товарищей, чужія лица, шумъ, гамъ, совсѣмъ все другое, чѣмъ дома, — Боже, какая мука! Дома ему, пожалуй, было холодно и голодно, но зато его любили, а хоть и не любили, то все-таки тамъ было *дома*, онъ былъ одинъ у себя и съ собой, а здѣсь — ни одного-то слова ласки отъ начальства, строгости отъ учителей, такія мудреныя науки, такіе длинные коридоры и такіе безчеловѣчные сорванцы, обидчики и насмѣшники, безжалостные его товарищи: «точно у нихъ сердца нѣтъ, точно у нихъ не было ни отца, ни матери!» Ему говорили до сихъ поръ, что лгать и обижать страшно и позорно, а вотъ они здѣсь всѣ лгутъ, обманываютъ, оби-

жаютъ, да еще смѣются надъ его ужасомъ. Вотъ они за что-то не взлюбили его, за то, что онъ плачетъ о своемъ гнѣздѣ, «классъ маретъ». Вотъ они принимаются его колотить безъ пощады, всѣмъ классомъ, все время, и даже такъ, безъ злобы, для развлеченія. Я замѣчу про себя, что такихъ несчастныхъ дѣтей я довольно встрѣчалъ въ моемъ дѣтствѣ въ разныхъ школахъ, — и какія преступленія совершаются иногда въ этомъ родѣ въ нашихъ воспитательныхъ заведеніяхъ, всѣхъ разрядовъ и наименованій, — именно преступленія! Попробуй мальчикъ сдуру пожаловаться, и его убьютъ чуть не до смерти (да и до смерти убьютъ); школьники бьютъ безъ жалости, безъ осторожности. Они задразнятъ его фискаломъ на цѣлые годы, говорить съ нимъ не захотятъ, а сдѣлаютъ изъ него парію, — и что за безсердечность, какое безжалостное равнодушіе при этомъ въ начальствѣ! Я не помню въ моемъ дѣтствѣ ни одного педагога и не думаю, чтобъ ихъ и теперь было много: все лишь чиновники, получающіе жалованье. А между тѣмъ, вотъ эти-то дѣти, которыя, поступая въ школу, тоскуютъ по семьѣ и родимомъ гнѣздѣ, — вотъ именно изъ такихъ-то и выходятъ потомъ всего чаще люди замѣчательные, со способностями и съ дарованіями. А тѣ, которыя, взятыя изъ семьи, быстро уживаются въ какомъ угодно новомъ порядкѣ, въ одинъ мигъ ко всему привыкаютъ, которыя ни о чемъ никогда не тоскуютъ и даже сразу становятся во главѣ другихъ, — эти всего чаще выходятъ лишь бездарностью, или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще съ восьмилѣтняго возраста. Разумѣется, я сужу слишкомъ вообще, но все-таки, по-моему, тотъ плохой ребенокъ, который, поступая въ школу, не тоскуетъ про себя по своей семьѣ, развѣ что семьи у него вовсе не было, или была слишкомъ плохая.

Съ такимъ страдающимъ, въ первые дни своей школы, мальчикомъ, я еще лѣтомъ, читая о нихъ, сравнивалъ невольно сербскаго новобранца-членовредителя, — иначе какъ тѣмъ же самымъ чувствомъ и объяснить не могъ его несчастнаго, неразсуждающаго, животнаго почти желанія бросить ружье и бѣжать скорѣй домой. Разница лишь въ томъ, что при этомъ желаніи объявлялась и невѣроятная, феноменальная какъ бы тупость. Онъ какъ бы отмахивался отъ всякаго соображенія о томъ, что если всѣ, какъ онъ, разбѣгутся, то и землю защищать будетъ некому, а стало быть, придутъ турки когда-нибудь и къ нимъ въ «кучу» и разорятъ эту дорогую, возлюбленную его «кучу», и зарѣжутъ и мать

его, и невѣсту, и сестру его, и коня и собаку ихъ. Дѣйствительно, слишкомъ во многихъ, можетъ быть, сербскихъ сердцахъ это страданіе по родному гнѣзду своему не возвысилось до страданія по родинѣ, что представило собою именно странный феноменъ. Правда, теперь, когда ужъ кончилась у нихъ война и заключенъ миръ, можно замѣтить и то, что и сердца высшей сербской интеллигенціи далеко не всегда вызвышались до страданія по родинѣ, но, однако, по другой причинѣ, чѣмъ сердца низшія. Сверху это объясняется у нихъ слишкомъ сильнымъ, можетъ быть, политическимъ честолюбіемъ. Такъ что изъ-за «высшихъ» интересовъ родины этимъ высшимъ сердцамъ было даже почти и не время заниматься интересами низшими, народными. столь обыденными. Но о низшемъ сербѣ, мнѣ кажется, все-таки можно сдѣлать одно довольно любопытное замѣчаніе. Нельзя же объяснить его членовредительство и побѣги съ поля битвы лишь одною нѣжностью сердца и тупостью соображенія. Мнѣ кажется, что, дезертируя домой, онъ въ состояніи былъ очень понять, что дѣлаетъ худо, и очень можетъ быть, что не хвалилъ себя первый самъ, но въ то же время никогда и не полагалъ, что родина его останется безъ защиты и безъ прикрытія, если онъ убѣжитъ: «О, останутся герои, Кирѣевы, останется Черняевъ, русскіе, да и свои строгіе сербскіе начальники, а онъ — что такое онъ? Незамѣтная пылинка, такъ дрянь, и больше ничего; онъ уйдетъ и никто его не хватится»... По-моему, именно это чувство и было въ немъ, и это очень любопытно, и рисуетъ народъ: сверху бахвалы, цивилизованные европейцы, мечтающіе завоевать всѣхъ славянъ въ одну Сербію, интригующіе даже противъ Россіи, словомъ, настоящіе цивилизованные европейцы, Хорватовичи и Мариновичи, т. е. все равно какъ бы Мольтке и Бисмарки. Съ другой стороны, рядомъ съ этими великанами — приниженный сынъ кучи, и именно приниженный четырьмя вѣками рабства: отъ вѣковой этой приниженности онъ и считаетъ себя ни во что, за пылинку: «Останутся, дескать, великаны, а меня и не примѣтятъ. Я такой маленькій, а они такіе строгіе господа»... Гдѣ-то я читалъ, что иные изъ этихъ строгихъ господъ, такъ-таки сразу, завидѣвъ иного низшаго серба, собиравшагося бѣжать изъ-подъ ружья, прямо отстрѣливали ему голову револьверомъ, — «вотъ, дескать, какими тоже могли бы мы быть желѣзными князьями!» Они свой низшій народъ третируютъ тамъ, кажется, нѣсколько свысока.

Вообще эти высшіе славяне, «съ столь славною бу-

дущностью» — во всякомъ случаѣ чрезвычайно любопытный народъ въ политическомъ, гражданскомъ, историческомъ и во всевозможныхъ отношеніяхъ.

Теперь, когда уже Черняевъ оттуда выѣхалъ, а добровольцевъ выслали, у нихъ, т. е. отъ ихъ военныхъ людей, послышалась одна военная мысль, о которой мы прежде, лѣтомъ, не слыхивали. Именно, утверждаютъ они, что ихъ сербъ и вовсе неспособенъ служить въ регулярномъ войскѣ и дѣйствовать въ чистомъ полѣ, а что народная сербская война — это «малая война», т. е. партизанская, война шайками, въ лѣсахъ, въ тѣснинахъ, за камнями, за скалами. Что же, и это очень можетъ быть; но такъ какъ миръ у нихъ уже заключенъ, то врядъ ли это можно теперь провѣрить. По крайней мѣрѣ, они останутся съ этимъ военнымъ убѣжденіемъ, ну и то утѣшеніе въ несчастьѣ. Долго ли протянется этотъ миръ? Но чтобъ сказать прощальное слово объ этой сербской войнѣ, въ которой мы, русскіе, чуть не всѣ до единаго такъ участвовали нашимъ сердцемъ, то мнѣ кажется, что сербы разстаются съ нами и съ помощью нашею еще съ большею недовѣрчивостью, чѣмъ съ какою встрѣчали насъ въ началѣ войны. Заключить можно тоже, что недовѣрчивость эта къ намъ будетъ въ нихъ идти увеличиваясь все время, пока они будутъ умственно расти и развиваться сами; стало быть, очень долго, и что намъ, стало быть, прежде всего надо не обращать никакого вниманія на ихъ недовѣрчивость и дѣлать свое дѣло, какъ сами знаемъ. Намъ въ Восточномъ вопросѣ необходимо имѣть въ виду неустанно одну истину: что славянская главная задача не въ томъ только, чтобъ освободиться отъ своихъ мучителей, а и въ томъ, чтобъ освобожденіе это совершить, хоть и съ помощью русскихъ (нельзя же иначе, и — если бъ только они могли обойтись безъ русскихъ!), но, по крайней мѣрѣ, оставаясь какъ можно меньше обязанными русскимъ.

Между этими привезенными въ Москву славянскими дѣтьми есть, говорятъ, —разсказывалъ мнѣ все тотъ же воротившійся изъ Москвы пріятель, — одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ восьми или девяти, которая часто падаетъ въ обморокъ и за которою особенно ухаживаютъ. Падаетъ она въ обморокъ отъ воспоминанія: она сама, своими глазами, видѣла нынѣшнимъ лѣтомъ, какъ съ отца ея сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминаніе при ней неотступно и, вѣроятнѣе всего, останется навсегда, можетъ быть, съ годами въ смягченномъ видѣ, хотя, впрочемъ, не знаю, можетъ ли тутъ быть смягченный видъ. О цивилизація! О Европа, которая

столь пострадаетъ въ своихъ интересахъ, если серьезно запретить туркамъ сдирать кожу съ отцовъ въ глазахъ ихъ дѣтей! Эти столь высшіе интересы европейской цивилизаціи, конечно, — торговля, мореплаваніе, рынки, фабрики, — что же можетъ быть выше въ глазахъ Европы? Это такіе интересы, до которыхъ и дотронуться даже не позволяется не только пальцемъ, но даже мыслью, но — но «да будутъ они прокляты, эти интересы европейской цивилизаціи!» Это восклицаніе не мое, это воскликнули «Московскія Вѣдомости», и я за честь считаю присоединитсья къ этому восклицанію: да, да будутъ прокляты эти интересы цивилизаціи, и даже самая цивилизація, если для сохраненія ея необходимо сдирать съ людей кожу. Но однакоже это фактъ: для сохраненія ея необходимо сдирать съ людей кожу!

III.

О сдираніи кожъ вообще, разныя аберраціи въ частности. Ненависть къ авторитету при лакействѣ мысли.

«Съ людей? Съ какихъ людей? Съ крошечной только части людей, гдѣ-то тамъ въ уголкѣ, съ турецкой райи, о которой никто бы и не услыхалъ ничего, если бъ не прокричали русскіе. Зато огромная остальная часть организма жива, здорова и благоденствуетъ, торгуетъ и фабрикуетъ!».

Этотъ анекдотъ о маленькой болгаркѣ, падающей въ обморокъ, мнѣ разсказали утромъ, и въ тотъ же день мнѣ случилось проходить по Невскому проспекту. Тамъ, въ четвертомъ часу, матери и няньки водили дѣтей, и невольная мысль вдругъ вѣско легла мнѣ на душу: «Цивилизація! — думалъ я, — кто же смѣетъ сказать противъ цивилизаціи? Нѣтъ, цивилизація что-нибудь да значитъ: не увидятъ, по крайней мѣрѣ, эти дѣти наши, мирно гуляющія здѣсь на Невскомъ проспектѣ, какъ съ отцовъ ихъ сдирать будутъ кожу, а матери ихъ — какъ будутъ вскидывать на воздухъ этихъ дѣтей и ловить ихъ на штыкъ, какъ было въ Болгаріи. По крайней мѣрѣ, хоть это-то пріобрѣтеніе наше да останется за цивилизаціей! И пусть это только въ Европѣ, т. е. въ одномъ уголкѣ земного шара, и въ уголкѣ довольно маломъ сравнительно съ поверхностью планеты (мысль странная!), но все же это есть, существуетъ, хоть въ уголкѣ

да существуетъ, положимъ, дорогою цѣной, сдираніемъ кожъ съ родныхъ нашихъ братьевъ гдѣ-то тамъ на краю, но за то у насъ-то, по крайней мѣрѣ, существуетъ. Подумать только, что прежде, да и недавно еще нигдѣ этого не было въ твердомъ видѣ, даже и въ Европѣ, и что если есть это теперь у насъ въ Европѣ, то вѣдь въ первый разъ съ тѣхъ поръ какъ существуетъ планета. Нѣтъ, все же это уже достигнуто и, можетъ быть, назадъ уже никогда не воротится, — соображеніе чрезвычайно важное, невольно въ душу направляющееся, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило бы обращать вниманія, тѣмъ болѣе, что міръ — міръ все-таки попрежнему загадка, несмотря на цивилизацію и ея пріобрѣтенія. Богъ знаетъ чѣмъ чреватъ еще міръ, и что можетъ дальше случиться, даже и въ ближайшемъ будущемъ.

И вотъ, только лишь я хотѣлъ воскликнуть про себя въ восторгѣ: «да здравствуетъ цивилизація!»—какъ вдругъ во всемъ усомнился: «Да достигнуто ли даже это-то, даже для этихъ Невскаго-то проспекта дѣтей? Ужъ не миражъ ли, полно, и здѣсь, и только глаза отводятъ?».

Знаете, господа, я остановился на томъ, что миражъ, или, помягче, почти что миражъ, и если не сдираютъ здѣсь на Невскомъ кожу съ отцовъ въ глазахъ ихъ дѣтей, то развѣ только случайно, такъ сказать, «по независящимъ отъ публики обстоятельствамъ», ну и, разумѣется, потому еще, что городовые стоятъ. О, я спѣшу оговориться: я вовсе не аллегорію какую-нибудь подвожу, не на страданія какого-нибудь пролетарія въ нашъ вѣкъ намекаю, не на родителя какого-нибудь, который говоритъ своему семилѣтнему сыну: «Вотъ тебѣ мой завѣтъ: украдешь пять рублей — прокляну, украдешь сто тысячъ — благословлю». О нѣтъ, — слова мои я разумѣю буквально. Я разумѣю буквально сдираніе кожъ, вотъ то самое, которое происходило лѣтомъ въ Болгаріи и которымъ, оказывается, такъ любятъ заниматься побѣдоносные турки. И вотъ про это сдираніе я и утверждаю, что если его нѣтъ на Невскомъ, то развѣ «случайно, по независящимъ отъ насъ обстоятелствамъ» и, главное, потому, что еще пока запрещено, а что за нами, можетъ быть, дѣло бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацію.

По-моему, если ужъ все говорить, такъ просто бояться какого-то обычая, какого-то принятаго на вѣру правила, почти что предразсудка; но если бъ чуть-чуть «доказалъ» кто-нибудь изъ людей «компетентныхъ», что содрать иногда съ иной спины кожу выйдетъ даже и для общаго дѣла полезно, и что если оно отвратительно,

то все же «цѣль оправдываетъ средства», — если бъ заговорилъ кто-нибудь въ этомъ смыслѣ, компетентнымъ слогомъ и при компетентныхъ обстоятельствахъ, то повѣрьте, тотчасъ же явились бы исполнители, да еще изъ самыхъ веселыхъ. О пусть, пусть это смѣшнѣйшій мой парадоксъ! Я первый подписываюсь подъ этимъ опредѣленіемъ обѣими руками, но тѣмъ не менѣе увѣряю васъ, что это точь-въ-точь такъ бы и было. Цивилизація есть, и законы ея есть, и вѣра въ нихъ даже есть, но — явись лишь новая мода, и тотчасъ же множество людей измѣнилось бы. Конечно, не всѣ, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы съ вами, читатель, удивились бы, и даже еще неизвѣстно, гдѣ бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями? Мнѣ, разумѣется, закричатъ въ глаза, что это все дребедень и что никогда такой моды не можетъ быть, и что этого-то, по крайней мѣрѣ, уже достигла цивилизація. Господа, какое легковѣріе съ вашей стороны! Вы смѣетесь? Ну, а во Франціи (чтобъ не заглядывать куда поближе) въ 93-мъ году, развѣ не утвердилась эта самая мода сдиранія кожи, да еще подъ видомъ самыхъ священнѣйшихъ принциповъ цивилизаціи, и это послѣ-то Руссо и Вольтера! Вы скажете, что все это было вовсе не то и очень давно, но замѣтьте, что я прибѣгаю къ исторіи единственно, можетъ быть, чтобъ не заговорить о текущемъ. Повѣрьте, что самая полная аберрація и въ умахъ, и въ сердцахъ всегда у людей возможна, а у насъ, и именно въ наше время не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей. Посмотрите, много ли согласныхъ въ томъ, что хорошо, что дурно. И это не то что въ какихъ-нибудь тамъ «истинахъ», а въ самомъ первомъ встрѣчномъ вопросѣ. И съ какой быстротой происходятъ у насъ перемѣны и вольтфасы? Что такое въ Москвѣ червонные валеты? Мнѣ кажется, это всего лишь та часть той фракціи русскаго дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помѣщики, но они дѣти помѣщиковъ. Послѣ крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуху и засвистали. Да тутъ и не одна крестьянская реформа была причиною: просто «новыхъ идей» не вынесли: «Если-де все, чему насъ учили, были предразсудки, то зачѣмъ же за ними слѣдовать? Коли *ничего* нѣтъ, значитъ, можно *все* дѣлать, — вотъ идея! Замѣтьте — идея до невѣроятности распространенная, девять десятыхъ изъ послѣдователей новыхъ идей ее исповѣдуютъ, другими словами, девять десятыхъ прогрессистовъ и не умѣютъ у насъ иначе понимать новыхъ идей. У насъ Дарвинъ,

напримѣръ, немедленно обращается въ карманнаго воришку, — вотъ что такое и червонный валетъ. О, конечно, у человѣчества чрезвычайно много накоплено вѣками выжитыхъ правилъ гуманности, изъ которыхъ иные слывутъ за незыблемыя. Но я хочу лишь сказать только, что несмотря на всѣ эти правила, принципы, религіи, цивилизаціи, въ человѣчествѣ спасается ими всегда только самая незамѣтная кучка, — правда, такая, за которой и остается побѣда, но лишь въ концѣ концовъ, а въ злобѣ дня, въ текущемъ ходѣ исторіи люди остаются какъ бы все тѣ же навсегда, т. е. въ огромномъ большинствѣ своемъ не имѣютъ никакого чуть-чуть даже прочнаго понятія ни о чувствѣ долга, ни о чувствѣ чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчасъ побѣжали бы всѣ нагишомъ, да еще съ удовольствіемъ. Правила есть, да люди-то къ правиламъ не приготовлены вовсе. Скажутъ: да и не надо готовиться, надо только правила эти отыскать! Такъ ли, и удержатся ли долго правила, какія бы тамъ ни были, коли такъ хочется побѣжать нагишомъ?

По-моему, одно: осмыслить и почувствовать можно даже и вѣрно и разомъ, но сдѣлаться человѣкомъ нельзя разомъ, а надо выдѣлаться въ человѣка. Тутъ дисциплина. Вотъ эту-то неустанную дисциплину надъ собой и отвергаютъ иные наши современные мыслители: «слишкомъ-де много ужъ было деспотизму, надо свободы», а свобода эта ведетъ огромное большинство лишь къ лакейству передъ чужой мыслью, ибо страхъ какъ любитъ человѣкъ все то, что подается ему готовымъ. Мало того: мыслители провозглашаютъ новые законы, т. е. такія правила, что всѣ вдругъ сдѣлаются счастливыми, безо всякой выдѣлки, только бы эти правила наступили. Да если бъ этотъ идеалъ и возможенъ былъ, то съ *недодѣланными* людьми не осуществились бы никакія правила, даже самыя очевидныя. Богъ въ этой-то неустанной дисциплинѣ и непрерывной работѣ самому надъ собой и могъ бы проявиться нашъ гражданинъ. Съ этой-то великодушной работы надъ собой и начать надо, чтобъ поднять потому нашу «Новь», а то не за чѣмъ выйдетъ и подымать ее.

Да? Но что хорошо и что дурно — вотъ вѣдь чего главное, мы не знаемъ? Всякое чутье въ этомъ смыслѣ потеряли. Всѣ прежніе авторитеты разбили и наставили новыхъ, а въ новые авторитеты, чуть кто изъ насъ поумнѣе, тотъ и не вѣруетъ, а кто посмѣлѣе духомъ, тотъ изъ гражданина въ червоннаго валета обращается. Мало того, ей Богу начнетъ сдирать со спинъ кожу, да еще

провозгласитъ, что это полезно для общаго дѣла, а стало быть, свято. Какъ же, въ какомъ же смыслѣ приступить къ работѣ-то надъ собой, если не знаешь что хорошо, что худо?

IV.

Меттернихи и Донъ-Кихоты.

Но чтобъ не говорить отвлеченно, обратимся къ данной темѣ. Вотъ мы дѣйствительно не сдираемъ кожъ, мало того, даже не любимъ этого (только одинъ Богъ знаетъ: любитель часто прячется, любитель мало извѣстенъ, до времени стыдится, «боится предразсудка»), но если и не любимъ у себя и *никогда не дѣлаемъ*, то должны вѣдь ненавидѣть и въ другихъ. Мало того, что ненавидѣть, должны просто не дать сдирать кожъ никому, такъ-таки взять и не дать. А между тѣмъ такъ ли на дѣлѣ? Самые негодующіе изъ насъ вовсе не такъ негодуютъ, какъ бы слѣдовало. Я даже не про однихъ славянъ говорю. Если мы ужъ такъ сострадаемъ, такъ и поступать должны бы въ размѣрѣ нашего состраданія, а не въ размѣрѣ десяти цѣлковыхъ пожертвованія. Мнѣ скажутъ, что вѣдь нельзя же отдать все. Я съ этимъ согласенъ, хотя и не знаю почему. Почему же бы и не все? Въ томъ-то и дѣло, что тутъ рѣшительно ничего не понимаешь даже въ собственной природѣ. А тутъ вдругъ, съ огромнымъ авторитетомъ, возникаетъ вопросъ объ «*интересахъ цивилизаціи*».

Вопросъ ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. «Интересы цивилизаціи — это производство, это богатство, это спокойствіе, нужное капиталу. Нужно огромное, безпрерывное и прогрессивное производство по уменьшенной цѣнѣ, въ видахъ страшнаго нарощенія пролетаріевъ. Доставляя заработокъ пролетарію, доставляемъ ему и предметы потребленія по уменьшенной цѣнѣ. Стало быть, именно нужно въ Европѣ спокойствіе. Шумъ войны прогонитъ производство. Капиталъ трусливъ, онъ забоится войны и спрячется. Если ограничить право турокъ сдирать со спинъ райи кожу, то надобно затѣять войну, а затѣй войну — сейчасъ выступитъ впередъ Россія, — значитъ, можетъ наступить такое усложненіе войны, при которомъ война обниметъ весь свѣтъ; тогда прощай производство, и пролетарій пойдетъ на улицу. А пролетарій опасенъ на улицѣ. Въ рѣчахъ палатамъ уже упоминается прямо и откровенно,

волухъ на весь міръ, что пролетарій внимаетъ соціализму. «Нѣтъ, ужъ лучше пусть гдѣ-то тамъ въ глуши сдираютъ кожу. Неприкосновенность турецкихъ правъ должна быть незыблема. Надо потушить Восточный вопросъ и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоитъ ли двѣ, три какихъ-нибудь кожицы спокойствія всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысячъ кожъ, — не все ли равно? Захотимъ, такъ и не услышимъ вовсе, стоитъ уши зажать»...

Вотъ мнѣніе Европы (рѣшеніе, можетъ быть); вотъ — *интересы цивилизаціи*, и — да будутъ они опять-таки прокляты! И тѣмъ болѣе прокляты, что аберрація умовъ (а русскихъ преимущественно) — предстоитъ несомнѣнная. Ставится прямо вопросъ: что лучше — многимъ ли десяткамъ милліоновъ работниковъ идти на улицу, или единицамъ милліоновъ райи пострадать отъ турокъ? Выставляютъ числа, пугаютъ цифрами. Кромѣ того, выступаютъ политики, мудрые учители: есть, дескать, такое правило, такое ученіе, такая аксіома, которая гласитъ, что нравственность одного человѣка, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А, стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства можетъ получить видъ величайшей премудрости!

Это ученіе очень распространено и давнишнее, но — да будетъ и оно проклято! Главное, пусть не пугаютъ насъ цифрами. Пусть тамъ въ Европѣ какъ угодно, а у насъ пусть будетъ другое. Лучше вѣрить тому, что счастье нельзя купить злодѣйствомъ, чѣмъ чувствовать себя счастливымъ, зная, что допустилось злодѣйство. Россія никогда не умѣла производить настоящихъ, своихъ собственныхъ Меттерниховъ и Биконсфильдовъ; напротивъ, все время своей Европейской жизни она жила не для себя, а для чужихъ, именно для «общечеловѣческихъ интересовъ». И дѣйствительно, бывали случаи въ эти двѣсти лѣтъ, что она, можетъ быть, и старалась, кой-когда подражать Европѣ и заводила и у себя Меттерниховъ, но какъ-то всегда обозначалось въ концѣ концовъ, что русскій Меттернихъ оказывался вдругъ Донъ-Кихотомъ и тѣмъ ужасно дивилъ Европу. Надъ Донъ-Кихотомъ, разумѣется, смѣялись; но теперь, кажется, уже восполнились сроки, и Донъ-Кихотъ началъ уже не смѣшить, а пугать. Дѣло въ томъ, что онъ несомнѣнно осмыслилъ свое положеніе въ Европѣ и не пойдетъ уже сражаться съ мельницами. Но зато онъ остался вѣрнымъ рыцаремъ, а это-то всего для нихъ и ужасно. Въ самомъ дѣлѣ, въ Европѣ кричатъ о «русскихъ захватахъ, о рус-

скомъ коварствѣ», но единственно лишь, чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь тому не вѣрятъ, да и никогда не вѣрили. Напротивъ, ихъ смущаетъ теперь и страшитъ, въ образѣ Россіи, скорѣе нѣчто правдивое, нѣчто слишкомъ ужъ безкорыстное, честное, гнушающееся и захватомъ и взяткой. Они предчувствуютъ, что подкупить ее невозможно и никакой политической выгодой не завлечь ее въ корыстное или насильственное дѣло. Развѣ обманомъ, — но Донъ-Кихотъ хоть и великій рыцарь, а вѣдь и онъ бываетъ иногда ужасно хитеръ, такъ что вѣдь и не дастъ себя обмануть. Англія, Франція, Австрія, — да есть ли тамъ хоть одна такая нація, съ которой нельзя было бы соединиться при удобномъ случаѣ изъ политической выгоды съ насильственною корыстною цѣлью: стоитъ лишь не пропустить ту минуту, въ которую подкупаемая нація всего дороже можетъ продать себя. Одну Россію ничѣмъ не прельстишь на неправый союзъ, никакой цѣной. А такъ какъ Россія въ то же время страшно сильна, и организмъ ея очевидно растетъ и мужаетъ не по днямъ, а по часамъ, что отлично хорошо понимаютъ и видятъ въ Европѣ (хотя подчасъ и кричатъ, что колоссъ расшатанъ), — то какъ же имъ не бояться?

Кстати, этотъ взглядъ на неподкупность внѣшней политики Россіи и на вѣчное служеніе ея общечеловѣческимъ интересамъ даже въ ущербъ себѣ оправдывается исторіею, и на это слишкомъ надо бы обратить вниманіе. Въ этомъ наша особенность сравнительно со всей Европой. Мало того, этотъ взглядъ на характеръ Россіи такъ мало распространенъ, что и у насъ врядъ ли многіе ему повѣрятъ. Разумѣется, *ошибки* русской политики при этомъ не должны быть поставлены въ счетъ, потому что дѣло идетъ теперь лишь о духѣ и нравственномъ характерѣ нашей политики, а не объ удачахъ ея въ прошедшемъ и давнопрошедшемъ. Въ послѣднемъ случаѣ дѣйствительно бывали въ старину вѣтряныя мельницы, но, повторяю, кажется, ихъ время совсѣмъ прошло.

Нѣтъ, серьезно: что въ томъ благосостояніи, которое достигается цѣною неправды и сдиранія кожъ! Что правда для человѣка какъ лица, то пусть остается правдой и для всей націи. Да, конечно, можно проиграть временно, обѣднѣть на время, лишиться рынковъ, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоровъ организмъ націи — и нація несомнѣнно болѣе выиграетъ, даже и матеріально. Замѣтимъ, что Европа безспорно дошла до того, что

ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живутъ они тамъ всего только день за днемъ, одной только настоящей минутой, и сами не знаютъ, что съ ними станется завтра; мы же, Россія, мы все еще вѣримъ въ нѣчто незыблемое, у насъ созидающееся, а слѣдственно ищемъ выгодъ постоянныхъ и существенныхъ. А потому мы, и какъ политическій организмъ, всегда вѣрили въ нравственность вѣчную, а не условную на нѣсколько дней. Повѣрьте, что Донъ-Кихотъ свои выгоды тоже знаетъ и разсчитать умѣетъ: онъ знаетъ, что выиграетъ въ своемъ достоинствѣ и въ сознаніи этого достоинства, если попрежнему останется рыцаремъ; кромѣ того, убѣжденъ, что на этомъ пути не утратитъ искренности въ стремленіи къ добру и къ правдѣ, и что такое сознаніе укрѣпитъ его на дальнѣйшемъ поприщѣ. Онъ увѣренъ, наконецъ, что такая политика есть, кромѣ того, и лучшая школа для націи. Надо, чтобъ червонный валетъ не смѣлъ сказать мнѣ въ глаза: «вѣдь и у васъ все условно, вѣдь и у васъ все на выгодѣ». Надо, чтобъ и юноша энтузіастъ возлюбилъ свою націю, а не шелъ бы искать правды и идеала на сторонѣ и внѣ общества. И онъ кончитъ тѣмъ, что возлюбитъ свою націю, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы пройдетъ. Правда — какъ солнце: ее не спрячешь; назначеніе Россіи станетъ, наконецъ, ясно самымъ кривымъ умамъ, и у насъ, и въ Европѣ. У насъ почему теперь возможны такія аберраціи умовъ, какъ нигдѣ? Потому, что полторавѣковымъ порядкомъ вся интеллигенція наша только и дѣлала, что отвыкала отъ Россіи, и кончила тѣмъ, что раззнакомилась съ ней окончательно и сносилась съ нею только черезъ канцелярію. Съ реформами нынѣшняго царствованія начался новый вѣкъ. Дѣло пошло и остановиться не можетъ.

А Европа прочла осенній манифестъ русскаго императора и его запомнила, — не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущія текущія минуты. Обнажимъ, если надо, мечъ во имя угнетенныхъ и несчастныхъ, хотя даже и въ ущербъ текущей собственной выгодѣ. Но въ то же время да укрѣпится въ насъ еще тверже вѣра, что въ томъ-то и есть настоящее назначеніе Россіи, сила и правда ея, и что жертва собою за угнетенныхъ и брошенныхъ всѣми въ Европѣ во имя интересовъ цивилизаціи есть настоящее служеніе настоящимъ и истиннымъ интересамъ цивилизаціи.

Нѣтъ, надо, чтобъ и въ политическихъ организмахъ была признаваема та же правда, та самая Христова

правда, какъ и для каждаго вѣрующаго. Хоть гдѣ-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь изъ націй да должна же свѣтить. Иначе что же будетъ: все затемнится, замѣшается и потонетъ въ цинизмѣ. Иначе не сдержите нравственности и отдѣльныхъ гражданъ, а въ такомъ случаѣ какъ же будетъ жить цѣлый-то организмъ народа? Надобенъ авторитетъ, надобно солнце, чтобъ освѣщало. Солнце показалось на Востокѣ, и для человѣчества съ Востока начинается новый день. Когда просіяетъ солнце совсѣмъ, тогда и поймутъ, что такое настоящіе «интересы цивилизаціи». А то выставится знамя съ надписью на немъ: «Après nous le déluge» (послѣ насъ хоть потопъ)! Неужели столь славная «цивилизація» доведетъ европейскаго человѣка до такого девиза, да тѣмъ съ нимъ и покончитъ? Къ тому идетъ.

Глава вторая.

I.

Одинъ изъ главнѣйшихъ современныхъ вопросовъ.

Мои читатели, можетъ быть, уже замѣтили, что я, вотъ уже слишкомъ годъ издавая свой «Дневникъ писателя», стараюсь какъ можно меньше говорить о текущихъ явленіяхъ русской словесности, а если и позволяю себѣ кой-когда словцо и на эту тему, то развѣ лишь въ восторженно-хвалебномъ тонѣ. А между тѣмъ, въ этомъ добровольномъ воздержаніи моемъ — какая неправда! Я — писатель, и пишу «Дневникъ писателя», — да я, можетъ быть, болѣе чѣмъ кто-нибудь интересовался за весь этотъ годъ тѣмъ, что появлялось въ литературѣ: какъ же скрывать, можетъ быть, самыя сильныя впечатлѣнія? «Самъ, дескать, литераторъ-беллетристъ, а стало быть, всякое сужденіе твое о беллетристической литературѣ, кромѣ безусловной похвалы, почтется пристрастнымъ; развѣ говорить лишь о давно прошедшихъ явленіяхъ» — вотъ соображеніе, меня останавливавшее.

И все же я рискну на этотъ разъ нарушить это соображеніе. Правда, въ чисто беллетристическомъ и критическомъ смыслѣ я и не буду говорить ни о чемъ, а развѣ лишь, въ случаѣ нужды, «по поводу». Поводъ

вышелъ и теперь. Дѣло въ томъ, что мѣсяцъ назадъ я попалъ на одну до того серьезную и характерную въ текущей литературѣ вещь, что прочелъ ее даже съ удивленіемъ, потому что давно уже ни на что подобное въ такихъ размѣрахъ не разсчитывалъ въ беллетристикѣ. У писателя — художника въ высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочелъ три-четыре страницы настоящей «злобы дня», — все, что есть важнѣйшаго въ нашихъ рускихъ текущихъ политическихъ и соціальныхъ вопросахъ, и какъ бы собранное въ одну точку. И главное, — со всѣмъ характернѣйшимъ оттѣнкомъ настоящей нашей минуты, именно такъ, какъ ставится у насъ этотъ вопросъ въ данный моментъ, ставится и оставляется неразрѣшеннымъ... Я говорю про нѣсколько страницъ въ «Аннѣ Карениной» графа Льва Толстого, въ январскомъ № Русскаго Вѣстника.

Собственно обо всемъ этомъ романѣ скажу лишь полслова и то лишь въ видѣ самаго необходимаго предисловія. Началъ я читать его, какъ и всѣ мы, очень давно. Сначала мнѣ очень понравилось; потомъ, хоть и продолжали нравиться подробности, такъ что не могъ оторваться отъ нихъ, но въ цѣломъ стало нравиться менѣе. Все казалось мнѣ, что я гдѣ-то уже читалъ, и именно въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» того же графа Толстого и въ «Войнѣ и Мирѣ» его же, и что тамъ даже свѣжѣе было. Все та же исторія барскаго русскаго семейства, хотя, конечно, сюжетъ не тотъ. Лица, какъ Вронскій, напримѣръ (одинъ изъ героевъ романа), которыя и говорить не могутъ между собою иначе какъ объ лошадяхъ, и даже не въ состояніи найти о чемъ говорить кромѣ какъ о лошадяхъ — были, конечно, любопытны, чтобъ знать ихъ типъ, но очень однообразны и сословны. Казалось, напримѣръ, что любовь этого «жеребца въ мундирѣ», какъ назвалъ его одинъ мой пріятель, могла быть изложена развѣ лишь въ ироническомъ тонѣ. Но когда авторъ сталъ вводить меня во внутренній міръ своего героя серьезно, а не иронически, то мнѣ показалось это даже скучнымъ. И вотъ вдругъ всѣ предубѣжденія мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потомъ она опять выздоровѣла) — и я понялъ всю существенную часть цѣлей автора. Въ самомъ центрѣ этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вѣковѣчная жизненная правда, и разомъ все озарила. Эти мелкіе, ничтожные и лживые люди стали вдругъ истинными и правдивыми людьми, достойными имени человѣческаго, — единственно силою природнаго закона, закона смерти человѣческой. Вся скорлупа ихъ исчезла,

и явилась одна ихъ истина. Послѣдніе выросли въ первыхъ, а первые (Вронскій) вдругъ стали послѣдними, потеряли весь ореолъ и унизились, но, унизившись, стали безмѣрно лучше, достойнѣе и истиннѣе, чѣмъ когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощенія и любви. Вмѣсто тупыхъ свѣтскихъ понятій явилось лишь человѣколюбіе. Всѣ простили и оправдали другъ друга. Сословность и исключительность вдругъ исчезли и стали немыслимы, и эти люди изъ бумажки стали похожи на настоящихъ людей! Виноватыхъ не оказалось: всѣ обвинили себя безусловно и тѣмъ тотчасъ же себя оправдали. Читатель почувствовалъ, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, въ которую и надо вѣрить, и что вся жизнь и всѣ наши волненія, какъ самыя мелкія и позорныя, такъ равно и тѣ, которыя мы считаемъ часто за самыя высшія, — все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падаетъ и исчезаетъ передъ моментомъ жизненной правды, даже не защищаясь. Главное было въ томъ указаніи, что моментъ этотъ есть въ самомъ дѣлѣ, хотя и рѣдко является во всей своей озарящей полнотѣ, а въ иной жизни такъ и никогда даже. Моментъ этотъ былъ отысканъ и намъ указанъ поэтомъ во всей своей страшной правдѣ. Поэтъ доказалъ, что правда эта существуетъ въ самомъ дѣлѣ, не на вѣру, не въ идеалѣ только, а неминуемо и необходимо и воочію. Кажется, именно это-то и хотѣлъ доказать намъ поэтъ, начиная свою поэму. Русскому читателю объ этой вѣковѣчной правдѣ слишкомъ надо было напомнить: многіе стали у насъ о ней забывать. Этимъ напоминаніемъ авторъ сдѣлалъ хорошій поступокъ, не говоря уже о томъ, что выполнилъ его какъ необыкновенной высоты художникъ.

Затѣмъ опять потянулся романъ, и вотъ, къ нѣкоторому удивленію моему, я встрѣтилъ въ шестой части романа сцену, отвѣчающую настоящей «злобѣ дня» и, главное, явившуюся не намѣренно, не тенденціозно, а именно изъ самой художественной сущности романа. Тѣмъ не менѣе, повторяю это, для меня это было неожиданно и нѣсколько меня удивило: такой «злобы дня» я все-таки не ожидалъ. Я почему-то не думалъ, что авторъ рѣшится довести своихъ героевъ въ ихъ развитіи до такихъ «столповъ». Правда, въ столпахъ-то этихъ, въ этой крайности вывода и весь смыслъ дѣйствительности, а безъ того романъ имѣлъ бы видъ даже неопредѣленный, далеко не соотвѣтствующій ни текущимъ, ни существеннымъ интересамъ русскимъ: былъ

бы нарисованъ какой-то уголокъ жизни, съ намѣреннымъ игнорированіемъ самаго главнаго и самаго тревожнаго въ этой же жизни. Впрочемъ, я, кажется, пускаюсь рѣшительно въ критику, а это не мое дѣло. Я только хотѣлъ указать на одну сцену. Больше ничего какъ обозначились два лица съ той именно стороны, съ которой они наиболѣе для насъ теперь могутъ быть характерны, и, тѣмъ самымъ, тотъ типъ людей, къ которому принадлежатъ эти два лица, поставленъ авторомъ на самую любопытнѣйшую точку въ нашихъ глазахъ въ ихъ современномъ соціальномъ назначеніи.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помѣщики, оба взяты послѣ крестьянской реформы. Оба были «крѣпостными помѣщиками» и теперь вопросъ: что остается отъ этихъ дворянъ, въ смыслѣ дворянскомъ, послѣ крестьянской реформы? Такъ какъ типъ этихъ двухъ помѣщиковъ чрезвычайно общъ и распространенъ, то вопросъ отчасти и разрѣшенъ авторомъ. Одинъ изъ нихъ Стива Облонскій, эгоистъ, тонкій эпикуреецъ, житель Москвы и членъ Англійскаго клуба. На этихъ людей обыкновенно смотрятъ какъ на невинныхъ и милыхъ жуировъ, пріятныхъ эгоистовъ, никому не мѣшающихъ, остроумныхъ, живущихъ въ свое удовольствіе. У этихъ людей бываетъ часто и многочисленное семейство; съ женой и дѣтьми они ласковы, но мало о нихъ думаютъ. Очень любятъ легкихъ женщинъ, разряда, конечно, приличнаго. Образованы они мало, но любятъ изящное, искусства, и любятъ вести разговоръ обо всемъ. Съ крестьянской реформы этотъ дворянинъ тотчасъ же понялъ въ чемъ дѣло: онъ сосчиталъ и сообразилъ, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, мѣняться не за чѣмъ и — Après moi le déluge (послѣ меня хоть потопъ). О судьбѣ жены и дѣтей онъ не заботится думать. Остатками состоянія и связями онъ избавленъ отъ судьбы червоннаго валета; но если бъ состояніе его рушилось и нельзя бы было получать даромъ жалованія, то, можетъ быть, онъ и сталъ бы валетомъ, разумѣется, употребивъ всѣ усилія ума, нерѣдко очень остраго, чтобъ стать валетомъ какъ можно приличнѣйшимъ и великосвѣтскимъ. Въ старину, конечно, для уплаты карточнаго долга или любовницѣ, ему случалось отдавать людей въ солдаты; но такія воспоминанія никогда не смущали его, да и забылъ онъ ихъ вовсе. Хоть онъ и аристократъ, но дворянство свое онъ всегда считалъ ни во что, а по устраненіи крѣпостныхъ отношеній — такъ даже исчезнувшимъ: для него изъ *людей* остались лишь *человѣкъ въ случаѣ*, затѣмъ чиновникъ съ извѣстнаго чина, а затѣмъ

богачъ. Желѣзнодорожникъ и банкиръ стали силою, и онъ немедленно съ ними затѣялъ сношенія и дружбу. Да и разговоръ начался съ упрека ему Левинымъ, родственникомъ его и помѣщикомъ (но уже совершенно обратнаго типа и живущимъ въ своемъ помѣстьѣ), за то, что онъ ѣздитъ къ желѣзнодорожникамъ, на ихъ обѣды и праздники, къ людямъ двусмысленнымъ, по убѣжденію Левина, вреднымъ. Облонскій опровергаетъ его съ ѣдкостью. Да и вообще между ними, съ тѣхъ поръ какъ они породнились, установились довольно ѣдкія отношенія. При томъ, въ нашъ вѣкъ, негодяй, опровергающій благороднаго, всегда сильнѣе, ибо имѣетъ видъ достоинства, почерпаемаго въ здравомъ смыслѣ, а благородный, походя на идеалиста, имѣетъ видъ шута. Разговоръ происходитъ на охотѣ, въ лѣтнюю ночь. Охотники на ночлегѣ, въ крестьянской ригѣ и ночуютъ на сѣнѣ. Облонскій доказываетъ, что презрѣніе къ желѣзнодорожникамъ, къ ихъ интригамъ, къ ихъ скорой наживѣ, вымаливанью концессій, перепродажамъ — не имѣетъ смысла, что это такіе же люди, дѣйствуютъ трудомъ и умомъ, какъ и всѣ, а въ результатѣ — даютъ дорогу.

— Но всякое пріобрѣтеніе, не соотвѣтственное положенному труду — не честно, — говоритъ Левинъ.

— Да кто жъ опредѣлитъ соотвѣтствіе? — продолжаетъ Облонскій... — Ты не опредѣлилъ черты между честнымъ и безчестнымъ трудомъ. То, что я получаю жалованья больше чѣмъ мой столоначальникъ, хотя онъ лучше меня знаетъ дѣло — это безчестно?

— Я не знаю.

— Ну, такъ я тебѣ скажу: то что ты получаешь за свой трудъ въ хозяйствѣ лишнихъ, положимъ, пять тысячъ, а этотъ мужикъ, какъ бы онъ ни трудился, не получитъ больше пятидесяти рублей, точно такъ же безчестно, какъ то, что я получаю больше столоначальника...

. . . . . .

— Нѣтъ, позволь, — продолжаетъ Левинъ. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получаю пять тысячъ, а мужикъ пятьдесятъ рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но. .

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имѣнья, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, какъ будто нарочно задиравшій Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого отъ меня не требуетъ, и если бъ я хотѣлъ, то мнѣ нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, онъ не откажется.

— Да, но какъ же я отдамъ ему? Поѣду съ нимъ и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убѣжденъ, что ты не имѣешь права...

— Я вовсе не убѣжденъ. Я, напротивъ, чувствую, что не имѣю права отдать, что у меня есть обязанности и къ землѣ, и къ семьѣ.

— Нѣтъ, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не дѣйствуешь такъ...

— Я и дѣйствую, только отрицательно, въ томъ смыслѣ, что я не

буду стараться увеличить ту разницу положенія, которая существуетъ между мною и имъ.

— Нѣтъ, ужъ извини меня, это парадоксъ...

. . . . . .

Такъ-то, мой другъ. Надо одно изъ двухъ: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, *какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ.*

— Нѣтъ, если бъ это было несправедливо, ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ, *но крайней мѣрѣ, я не могъ бы, мнѣ, главное, надо чувствовать, что я не виноватъ.*

II.

„Злоба дня“.

Вотъ разговоръ. И ужъ согласитесь, что это «злоба дня», даже все что есть наизлобнѣйшаго въ нашей злобѣ дня. И сколько самыхъ характерныхъ, чисто-русскихъ чертъ! Во-первыхъ, лѣтъ сорокъ назадъ всѣ эти мысли и въ Европѣ-то едва начинались, многимъ ли и тамъ были извѣстны Сенъ-Симонъ и Фурье — первоначальные «идеальные» толковники этихъ идей, а у насъ, — у насъ знали тогда о начавшемся этомъ новомъ движеніи на Западѣ Европы лишь полсотни людей въ цѣлой Россіи. И вдругъ теперь толкуютъ объ этихъ «вопросахъ» помѣщики на охотѣ, на ночлегѣ въ крестьянской ригѣ, и толкуютъ характернѣйшимъ и компетентнѣйшимъ образомъ, такъ что, по крайней мѣрѣ, отрицательная сторона вопроса уже рѣшена и подписана ими безповоротно. Правда, это помѣщики высшаго свѣта, говорятъ въ Англійскомъ клубѣ, читаютъ газеты, слѣдятъ за процессами и изъ газетъ и изъ другихъ источниковъ; тѣмъ не менѣе ужъ одинъ фактъ, что такая идеальнѣйшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не изъ профессоровъ и не спеціалистовъ, а просто свѣтскихъ, Облонскихъ и Левиныхъ, — эта черта, говорю я, одна изъ самыхъ характерныхъ особенностей настоящаго русскаго положенія умовъ. Вторая характернѣйшая черта въ этомъ разговорѣ, отмѣченная художникомъ-авторомъ, это та, что рѣшаетъ насчетъ справедливости этихъ новыхъ идей такой человѣкъ, который за нихъ, т. е. за счастье пролетарія, бѣдняка, не дастъ самъ ни гроша, напротивъ, при случаѣ самъ оберетъ его какъ липку. Но съ легкимъ сердцемъ и съ веселостью каламбуриста онъ разомъ подписываетъ крахъ всей исторіи человѣчества и объявляетъ

настоящій строй его верхомъ абсурда. «Я, дескать, съ этимъ совершенно согласенъ». Замѣтьте, что вотъ эти-то Стивы всегда со всѣмъ этимъ первые согласны. Одной чертой онъ осудилъ весь христіанскій порядокъ, личность, семейство, — о, это ему ничего не стоитъ. Замѣтьте тоже, что у насъ нѣтъ науки, но эти господа, съ полнымъ безстыдствомъ сознавая, что у нихъ нѣтъ науки, и что они начали говорить объ этомъ всего лишь вчера, и съ чужого голоса, рѣшаютъ однакоже такого размѣра вопросы безъ всякаго колебанія. Но тутъ третья характернѣйшая черта: этотъ господинъ прямо говоритъ: «Надо одно изъ двухъ, или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, *или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ*». Т. е. въ сущности онъ, подписавъ приговоръ всей Россіи и осудивъ ее, равно какъ своей семьѣ, будущности дѣтей своихъ, прямо объявляетъ, что это до него не касается: «Я, дескать сознаю, что я подлецъ, но останусь подлецомъ въ свое удовольствіе. Après moi le déluge». Это потому онъ такъ спокоенъ, что у него еще есть состояніе, но случись, что онъ его потеряетъ — почему же ему не стать валетомъ, — самая прямая дорога. Итакъ, вотъ этотъ гражданинъ, вотъ этотъ семьянинъ, вотъ этотъ русскій человѣкъ — какая характернѣйшая чисто-русская черта! Вы скажете, что онъ все-таки исключеніе. Какое исключеніе и можетъ ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидали мы въ эти послѣднія двадцать лѣтъ, какую легкость оборотовъ и переворотовъ, какое отсутствіе всякихъ коренныхъ убѣжденій и какую быстроту усвоенія первыхъ встрѣчныхъ, съ тѣмъ, конечно, чтобъ завтра же ихъ опять продать за два гроша. Никакого нравственнаго фонда, кромѣ après moi le déluge (послѣ меня потопъ).

Но всего любопытнѣе то, что рядомъ съ этимъ, многочисленнѣйшимъ и владычествующимъ типомъ, стоитъ другой, — другой типъ русскаго дворянина и помѣщика и уже обратно-противоположный тому, — все что есть противоположнаго. Это Левинъ, но Левиныхъ въ Россіи — тьма, почти столько же, сколько и Облонскихъ. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создалъ ему въ романѣ художникъ, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивленія страшно распространена у насъ, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкаго отношенія къ дѣлу. Черта эта съ нѣкотораго времени заявляетъ себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти бо-

лѣзненно стремятся получить отвѣты на свои вопросы, они твердо надѣются, страстно вѣруютъ, хотя и ничего почти еще разрѣшить не умѣютъ. Черта эта выражается совершенно въ отвѣтѣ Левина Стивѣ:

«Нѣтъ, если бы это было несправедливо, ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ, *по крайней мѣрѣ, я не могъ бы, мнѣ, главное, надо чувствовать, что я не виноватъ*».

И онъ въ самомъ дѣлѣ не успокоится, пока не разрѣшитъ: виноватъ онъ или не виноватъ? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Онъ дойдетъ до послѣднихъ столповъ, и если надо, если только надо, если только онъ докажетъ себѣ, что это надо, то, въ противоположность Стивѣ, который говоритъ: «хоть и негодяемъ, да продолжаю жить въ свое удовольствіе» — онъ обратится въ «Власа», въ «Власа» Некрасова, который роздалъ свое имѣніе въ припадкѣ великаго умиленія и страха

И сбирать на построеніе
Храма Божьяго пошелъ.

И если не на построеніе храма пойдетъ сбирать, то сдѣлаетъ что-нибудь въ этихъ же размѣрахъ и съ такою же ревностью. Замѣтьте, опять повторяю и спѣшу повторить, черту: это множество, чрезвычайно современное множество этихъ новыхъ людей, этого новаго корня русскихъ людей, которымъ *нужна правда*, одна правда безъ условной лжи, и которые, чтобъ достигнуть этой правды, отдадутъ все рѣшительно. Эти люди тоже объявились въ послѣднія двадцать лѣтъ и объявляются все больше и больше, хотя ихъ и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россія честныхъ людей, которымъ нужна лишь одна правда. О, въ нихъ большая и нетерпимость: по неопытности, они отвергаютъ всякія условія, всякія разъясненія даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что ихъ влечетъ истинное чувство. Характернѣйшая черта еще въ томъ, что они ужасно не спѣлись и пока принадлежатъ ко всевозможнымъ разрядамъ и убѣжденіямъ: тутъ и аристократы и пролетаріи, и духовные и невѣрующіе, и богачи и бѣдные, и ученые и неучи, и старики и дѣвочки, и славянофилы и западники. Разладъ въ убѣжденіяхъ непомѣрный, но стремленіе къ честности и правдѣ непоколебимое и ненарушимое, и за слово истины всякій изъ нихъ отдастъ жизнь свою и всѣ свои преимущества, говорю — обратится въ Власа. Закричатъ, пожалуй, что это дикая фантазія, что нѣтъ у насъ столько честности и *исканія честности*. Я именно провозглашаю, что есть, ря-

домъ съ страшнымъ развратомъ, что я вижу и предчувствую этихъ грядущихъ людей, которымъ принадлежитъ будущность Россіи, что ихъ нельзя уже не видать и что художникъ, сопоставившій этого отжившаго циника Стиву съ своимъ новымъ человѣкомъ Левинымъ, какъ бы сопоставилъ это отпѣтое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее съ собой собственнымъ приговоромъ, общество русское съ обществомъ новой правды, которое не можетъ вынести въ сердцѣ своемъ убѣжденія, что оно виновато, и отдастъ все, чтобъ очистить сердце свое отъ вины своей. Замѣчательно тутъ то, что дѣйствительно наше общество дѣлится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецѣло обнимаютъ собою русскую жизнь, — разумѣется, если откинуть массу совершенно лѣнивыхъ, бездарныхъ и равнодушныхъ. Но самая характернѣйшая, самая русская черта этой «Злобы дня», указанной авторомъ, состоитъ въ томъ, что его новый человѣкъ, его Левинъ, *не умѣетъ* рѣшить смутившій его вопросъ. То есть онъ уже и рѣшилъ его *почти*, въ сердцѣ своемъ, и не въ свою пользу, *подозрѣвая*, что онъ *виноватъ*, но что-то твердое, прямое и реальное возстаетъ изъ всей его природы и удерживаетъ его пока отъ послѣдняго приговора. Напротивъ, Стива, которому все равно, виноватъ онъ или нѣтъ, — рѣшаетъ безъ малѣйшаго колебанія, это ему даже на руку: «коли все нелѣпо и ничего святого не существуетъ, стало быть, можно все дѣлать, а съ меня еще времени хватитъ, не сейчасъ вѣдь придетъ страшный судъ». Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина и поставила его втупикъ, и это чисто по-русски и совершенно вѣрно отмѣчено авторомъ: все дѣло въ томъ, что всѣ эти мысли и вопросы у насъ въ Россіи — одна лишь теорія, всѣ къ намъ занесенные съ чужого строя и съ чужого порядка вещей, изъ Европы, гдѣ они имѣютъ давно уже свою историческую и практическую сторону. Что жъ дѣлать: оба наши дворянина — европейцы, и отъ европейскаго авторитета освободиться имъ не легко, надо и тутъ отдать дань Европѣ. И вотъ Левинъ, русское сердце, смѣшиваетъ чисто русское и единственно возможное рѣшеніе вопроса съ европейской его постановкой. Онъ смѣшиваетъ христіанское рѣшеніе съ историческимъ «правомъ». Представимъ, для ясности, себѣ такую картинку:

Стоитъ Левинъ, стоитъ, задумавшись послѣ ночного разговора своего на охотѣ съ Стивой, и мучительно, какъ честная душа, желаетъ разрѣшить смутившій и уже прежде, стало быть, смущавшій его вопросъ.

— Да, — думаетъ онъ, полурѣшая, — да, если по настоящему, то за что мы, какъ сказалъ давеча Весловскій, «ѣдимъ, пьемъ, охотимся, ничего не дѣлаемъ, а бѣдный вѣчно, вѣчно въ трудѣ?» Да, Стива правъ, я *долженъ* раздѣлить мое имѣніе бѣднымъ и пойти работать на нихъ.

Стоитъ подлѣ Левина «бѣдный» и говоритъ:

— Да, ты дѣйствительно долженъ и обязанъ отдать свое имѣніе намъ, бѣднымъ, и пойти работать на насъ.

Левинъ выйдетъ совершенно правъ, а «бѣдный» совершенно неправъ, разумѣется, рѣшая дѣло, такъ сказать, въ высшемъ смыслѣ. Но въ томъ-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное рѣшеніе его нельзя смѣшивать съ историческимъ; не то — безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно въ теоретическихъ русскихъ головахъ, — и въ головахъ негодяевъ Стивъ и въ головахъ чистыхъ сердцемъ Левиныхъ. Въ Европѣ жизнь и практика уже поставили вопросъ — хоть и абсурдно въ идеалѣ его исхода, но все же реально въ его текущемъ ходѣ, и уже не смѣшивая двухъ разнородныхъ взглядовъ, нравственнаго и историческаго, по крайней мѣрѣ, по возможности. Разъяснимъ нашу мысль еще, хоть двумя словами.

III.

Злоба дня въ Европѣ.

Въ Европѣ былъ феодализмъ и были рыцари. Но въ тысячу слишкомъ лѣтъ усилилась буржуазія и, наконецъ, задала повсемѣстно битву, разбила и согнала рыцарей и — встала сама на ихъ мѣсто. Исполнилась въ лицахъ поговорка: «Otes toi de là que je m'y mette» (убирайся, а я на твое мѣсто). Но ставъ на мѣсто своихъ прежнихъ господъ и завладѣвъ собственностью, буржуазія совершенно обошла народъ, пролетарія, и, не признавъ его за брата, обратила его въ рабочую силу, для своего благосостоянія, изъ-за куска хлѣба. Нашъ русскій Стива рѣшаетъ про себя, что онъ неправъ, но сознательно хочетъ оставаться негодяемъ, потому что ему жирно и хорошо: заграничный Стива съ нашимъ не согласенъ и признаетъ себя совершенно правымъ, и ужъ, конечно, онъ въ этомъ по-своему логичнѣе, ибо, по его мнѣнію, тутъ вовсе и нѣтъ никакого *права*, а есть только *исторія*, историческій ходъ вещей. Онъ всталъ на мѣсто рыцаря, потому что побѣдилъ рыцаря силой, и онъ отлично хорошо понимаетъ, что пролетарій, бывшій во время борьбы его съ рыцаремъ

еще ничтожнымъ и слабымъ, очень можетъ усилиться и даже усиливается съ каждымъ днемъ. Онъ отлично предчувствуетъ, что когда тотъ совсѣмъ усилится, то сковырнетъ его съ мѣста, какъ онъ когда-то рыцаря, и точь-въ-точь такъ же скажетъ ему: «убирайся, а я на твое мѣсто». Гдѣ же тутъ право, тутъ одна исторія. О, онъ бы готовъ былъ на компромиссъ, какъ-нибудь поладить съ врагомъ, и даже пробовалъ. Но такъ какъ онъ отлично догадался, да и на опытѣ знаетъ, что врагъ ни за что не расположенъ мириться, дѣлиться не хочетъ, а хочетъ *всего;* кромѣ того, что если онъ и уступитъ что, то только себя ослабитъ — то и рѣшилъ не уступать ничего и — готовиться къ битвѣ. Положеніе его, можетъ быть, безнадежно, но по свойству человѣческой природы укрѣпляться духомъ передъ борьбою, — онъ не отчаивается, напротивъ, укрѣпляется на бой все болѣе и болѣе, пускаетъ всѣ средства въ ходъ, изо всей силы, пока сила есть; ослабляетъ противника и пока только это и дѣлаетъ.

Вотъ на какой точкѣ это дѣло теперь въ Европѣ. Правда, прежде, недавно даже, была и тамъ *нравственная* постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты о разныхъ весьма тонкихъ вещахъ. Но теперь предводители пролетарія все это до времени устранили. Они прямо хотятъ задать битву, организуютъ армію, собираютъ ее въ ассоціаціи, устраиваютъ кассы и увѣрены въ побѣдѣ: «А тамъ, послѣ побѣды, все само собою устроится практически, хотя, очень можетъ быть, что послѣ рѣкъ пролитой крови». Буржуа понимаетъ, что предводители пролетаріевъ прельщаютъ ихъ просто грабежомъ, и что въ такомъ случаѣ нравственную сторону дѣла и ставить не стоитъ. И однако между и теперешними даже предводителями случаются такіе коноводы, которые проповѣдуютъ и нравственное право бѣдныхъ. Высшіе предводители допускаютъ этихъ коноводовъ собственно для красы, чтобъ скрасить дѣло, придать ему видъ высшей справедливости. Изъ этихъ «нравственныхъ» коноводовъ есть много интригановъ, но много и пламенно вѣрующихъ. Они прямо объявляютъ, что для себя ничего не хотятъ, а работаютъ лишь для человѣчества, хотятъ добиться новаго строя вещей для счастья человѣчества. Но тутъ ихъ ждетъ буржуа на довольно твердой почвѣ и имъ прямо ставитъ на видъ, что они хотятъ заставить его стать братомъ пролетарію и подѣлить съ нимъ имѣніе — палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвѣчаютъ имъ, что они вовсе не считаютъ ихъ, буржуазію, способными стать братьями народу, а потому-то и идутъ на нихъ про-

сто силой, изъ братства ихъ исключаютъ вовсе: «братство-де образуется потомъ, изъ пролетаріевъ, а вы — вы сто милліоновъ обреченныхъ къ истребленію головъ, и только. Съ вами покончено, для счастья человѣчества». Другіе изъ коноводовъ прямо уже говорятъ, что братства никакого имъ и не надо, что христіанство бредни, и что будущее человѣчество устроится на основаніяхъ научныхъ. Все это, конечно, не можетъ поколебать и убѣдить буржуа. Онъ понимаетъ и возражаетъ, что это общество, на основаніяхъ научныхъ, чистая фантазія, что они представили себѣ человѣка совсѣмъ инымъ, чѣмъ устроила его природа; что человѣку трудно и невозможно отказаться отъ безусловнаго права собственности, отъ семейства и отъ свободы; что отъ будущаго своего человѣка они слишкомъ много требуютъ пожертвованій, какъ отъ личности; что устроить такъ человѣка можно только страшнымъ насиліемъ и поставить надъ нимъ страшное шпіонство и безпрерывный контроль самой деспотической власти. Въ заключеніе они вызываютъ указать ту силу, которая бы смогла соединить будущаго человѣка въ согласное общество, а не въ насильственное. На это коноводы выставляютъ пользу и необходимость, которую сознаетъ самъ человѣкъ, и что самъ онъ, чтобъ спасти себя отъ разрушенія и смерти, согласится добровольно сдѣлать всѣ требуемыя уступки. Имъ возражаютъ, что польза и самосохраненіе никогда одни не въ силахъ породить полнаго и согласнаго единенія, что никакая польза не замѣнитъ своеволія и правъ личности, что эти силы и мотивы слишкомъ слабы, и что все это, стало быть, попрежнему гадательно. Что если бъ они дѣйствовали только нравственной стороной дѣла, то пролетарій и слушать бы ихъ не сталъ, а если идетъ за ними теперь и организуется въ битву, то единственно потому, что прельщенъ обѣщаннымъ грабежомъ и взволнованъ перспективою разрушенія и битвы. А стало быть, въ концѣ концовъ, нравственную сторону вопроса надобно совсѣмъ устранить, потому что она не выдерживаетъ ни малѣйшей критики а надо просто готовиться къ бою.

Вотъ европейская постановка дѣла. И та и другая сторона страшно не правы, и та и другая погибнутъ во грѣхахъ своихъ. Повторяемъ, всего тяжелѣе для насъ русскихъ то, что у насъ даже Левины надъ этими же самыми вопросами задумываются, тогда какъ единственно возможное рѣшеніе вопроса, и именно русское, и не только для русскихъ, но и для всего человѣчества — есть постановка вопроса нравственная, т. е. христіанская. Въ Европѣ она немыслима, хотя и тамъ, рано ли, поздно ли,

послѣ рѣкъ крови и ста милліоновъ головъ, должны же будутъ признать ее, ибо въ ней только одной и исходъ.

IV.

Русское рѣшеніе вопроса.

Если вы почувствовали, что вамъ тяжело «ѣсть, пить, ничего не дѣлать и ѣздить на охоту» и если вы дѣйствительно это почувствовали и дѣйствительно такъ вамъ жаль, «бѣдныхъ», которыхъ такъ много, то отдайте имъ свое имѣніе, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всѣхъ и «получите сокровище на небеси, тамъ гдѣ не копятъ и не посягаютъ». Пойдите, какъ Власъ, у котораго

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла.

И если не хотите сбирать, какъ Власъ, на храмъ Божій, то заботьтесь о просвѣщеніи души этого бѣдняка, свѣтите ему, учите его. Если бъ и всѣ роздали, какъ вы, свое имѣніе «бѣднымъ», то раздѣленныя на всѣхъ, всѣ богатства богатыхъ міра сего были бы лишь каплей въ морѣ. А потому надобно заботиться больше о свѣтѣ, о наукѣ и о усиленіи любви. Тогда богатство будетъ расти въ самомъ дѣлѣ, и богатство настоящее, потому что оно не въ золотыхъ платьяхъ заключается, а въ радости общаго соединенія и въ твердой надеждѣ каждаго на всеобщую помощь въ несчастьѣ, ему и дѣтямъ его. И не говорите, что вы лишь слабая единица, и что если вы одинъ раздадите имѣніе и пойдете служить, то ничего этимъ не сдѣлаете и не поправите. Напротивъ, если даже только нѣсколько будетъ такихъ какъ вы, такъ и тогда двинется дѣло. Да въ сущности и не надо даже раздавать *непремѣнно* имѣнія, — ибо всякая *непремѣнность* тутъ, въ дѣлѣ любви, похожа будетъ на мундиръ, на рубрику, на букву. Убѣжденіе, что исполнилъ букву, ведетъ только къ гордости, къ формалистикѣ и къ лѣности. Надо дѣлать только то, что велитъ сердце: велитъ отдать имѣніе — отдайте, велитъ идти работать на всѣхъ — идите, но и тутъ не дѣлайте такъ, какъ иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «дескать, я не баринъ, я хочу работать какъ мужикъ». Тачка опять-таки мундиръ.

Напротивъ, если чувствуете, что будете полезны всѣмъ, какъ ученый, идите въ университетъ и оставьте

себѣ на то средства. Не раздача имѣнія обязательна и не надѣваніе зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви*, все что возможно вамъ, что сами искренно признаете для себя возможнымъ. Всѣ эти старанія «опроститься» — лишь одно только переряживаніе, невѣжливое даже къ народу и васъ унижающее. Вы слишкомъ «сложны», чтобъ опроститься, да и образованіе ваше не позволитъ вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякаго «опрощенія». Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «одинъ въ полѣ не воинъ» и пр. Всякій кто искренно захотѣлъ истины, тотъ уже страшно силенъ. Не подражайте тоже нѣкоторымъ фразерамъ, которые говорятъ поминутно, чтобы ихъ слушали: «Не даютъ ничего дѣлать, связываютъ руки, вселяютъ въ душу отчаяніе и разочарованіе!» и пр. и пр. Все это фразеры и герои поэмъ дурного тона, рисующіеся собою лѣнтяи. Кто хочетъ приносить пользу, тотъ и съ буквально связанными руками можетъ сдѣлать бездну добра. Истинный дѣлатель, вступивъ на путь, сразу увидитъ передъ собою столько дѣла, что не станетъ жаловаться, что ему не даютъ дѣлать, а непремѣнно отыщетъ и успѣетъ хоть что-нибудь сдѣлать. Всѣ настоящіе дѣятели про это знаютъ. У насъ одно изученіе Россіи сколько времени возьметъ, потому что вѣдь у насъ лишь рѣдчайшій человѣкъ знаетъ нашу Россію. Жалобы на разочарованіе совершенно глупы: радость на воздвигающееся зданіе должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинкѣ приносили пока на зданіе. Одна награда вамъ — любовь, если заслужите ее. Положимъ, вамъ не надо награды, но вѣдь вы дѣлаете дѣло любви, а, стало быть, нельзя же вамъ не домогаться любви. Но пусть никто и не скажетъ вамъ, что вы и безъ любви должны были сдѣлать все это, изъ собственной такъ сказать пользы, и что иначе васъ бы заставили силой. Нѣтъ, у насъ въ Россіи надо насаждать другія убѣжденія, и особенно относительно понятій о свободѣ, равенствѣ и братствѣ. Въ нынѣшнемъ образѣ міра полагаютъ свободу въ разнузданности, тогда какъ настоящая свобода — лишь въ одолѣніи себя и воли своей, такъ чтобы подъ конецъ достигнуть такого нравственнаго состоянія, чтобъ всегда во всякій моментъ быть самому себѣ настоящимъ хозяиномъ. А разнузданность желаній ведетъ лишь къ рабству вашему. Вотъ почему чуть-чуть не весь нынѣшній міръ полагаетъ свободу въ денежномъ обезпеченіи и въ законахъ гарантирующихъ денежное

обезпеченіе: «Есть деньги, стало быть, могу дѣлать все, что угодно; есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тѣмъ это въ сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство отъ денегъ. Напротивъ, самая высшая свобода — не копить и не обезпечивать себя деньгами, а «раздѣлить всѣмъ, что имѣешь, и пойти всѣмъ служить». Если способенъ на то человѣкъ, если способенъ одолѣть себя до такой степени — то онъ ли послѣ того не свободенъ? Это ужъ высочайшее проявленіе воли! Затѣмъ, что такое въ нынѣшнемъ образованномъ мірѣ равенство? Ревнивое наблюденіе другъ за другомъ, чванство и зависть: «Онъ умнѣ, онъ Шекспиръ, онъ тщеславится своимъ талантомъ; унизить его, истребить его». Между тѣмъ настоящее равенство говоритъ: «Какое мнѣ дѣло, что ты талантливѣе меня, умнѣе меня, красивѣе меня? Напротивъ, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнѣе тебя, но какъ человѣкъ я уважаю себя, и ты знаешь это, и самъ уважаешь меня, а твоимъ уваженіемъ я счастливъ. Если ты, по твоимъ способностямъ, приносишь въ сто разъ больше пользы мнѣ и всѣмъ, чѣмъ я тебѣ, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебѣ и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивленія къ тебѣ себѣ въ стыдъ; напротивъ, счастливъ тѣмъ, что тебѣ благодаренъ, и если работаю на тебя и на всѣхъ, по мѣрѣ моихъ слабыхъ способностей, то вовсе не для того, чтобъ сквитаться съ тобой, а потому, что люблю васъ всѣхъ».

Если такъ будутъ говорить всѣ люди, то ужъ, конечно, они станутъ и братьями, и не изъ одной только экономической пользы, а отъ полноты радостной жизни, отъ полноты любви.

Скажутъ, что это фантазія, что это «русское рѣшеніе вопроса» — есть «царство небесное» и возможно развѣ лишь въ царствѣ небесномъ. Да, Стивы очень разсердились бы, если бъ наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что въ этой фантазіи «русскаго рѣшенія вопроса» несравненно менѣе фантастическаго и несравненно болѣе вѣроятнаго, чѣмъ въ европейскомъ рѣшеніи. Такихъ людей, т. е. «Власовъ», мы уже видѣли и видимъ у насъ во всѣхъ сословіяхъ, и даже довольно часто; тамошняго же «будущаго человѣка» мы еще нигдѣ не видѣли, и самъ онъ обѣщалъ придти, перейдя лишь рѣки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогутъ, а надобно добиться извѣстныхъ всеобщихъ порядковъ и принциповъ. Но если бъ даже и существовали такіе порядки и принципы, чтобы безошибочно

устроить общество, и если бъ даже и можно было ихъ добиться прежде практики, такъ, а priori, изъ однихъ мечтаній сердца и «научныхъ» цифръ, взятыхъ при томъ изъ прежняго строя общества, — то съ неготовыми, съ невыдѣланными къ тому людьми никакія правила не удержатся и не осуществятся, а, напротивъ, станутъ лишь въ тягость. Я же безгранично вѣрую въ нашихъ будущихъ и уже начинающихся людей, вотъ о которыхъ я уже говорилъ выше, что они пока еще не спѣлись, что они страшно какъ разбиты на кучки и лагери въ своихъ убѣжденіяхъ, но зато всѣ ищутъ правды прежде всего, и если бъ только узнали, гдѣ она, то для достиженія ея готовы пожертвовать всѣмъ, и даже жизнью. Повѣрьте, что если они вступятъ на путь истинный, найдутъ его, наконецъ, то увлекутъ за собою и всѣхъ, и не насиліемъ, а свободно. Вотъ что уже могутъ сдѣлать единицы на первый случай. И вотъ тотъ плугъ, которымъ можно поднять нашу «Новь». Прежде чѣмъ проповѣдывать людямъ: «какъ имъ быть» — покажите это на себѣ. Исполните на себѣ сами, и всѣ за вами пойдутъ. Что тутъ утопическаго, что тутъ невозможнаго — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не вѣримъ и смѣемся. Но теперь почти не въ насъ и дѣло, а въ грядущихъ. Народъ чистъ сердцемъ, но ему нужно образованіе. Но чистые сердцемъ подымаются и въ нашей средѣ — и вотъ что самое важное! Вотъ этому надо повѣрить прежде всего, это надобно умѣть разглядѣть. А чистымъ сердцемъ одинъ совѣтъ: самообладаніе и самоодолѣніе прежде всякаго перваго шага. Исполни самъ на себѣ прежде, чѣмъ другихъ заставлять, — вотъ въ чемъ вся тайна перваго шага.

Отвѣтъ на письмо.

Въ редакцію «Дневника писателя» пришло слѣдующее письмо:

Милостивый государь

Ѳедоръ Михайловичъ!

12-го января я послалъ на ваше имя 2 р. 50 к., прося васъ выслать мнѣ ваше изданіе «Дневникъ писателя»; изъ газетъ я узналъ, что 1-й нумеръ вышелъ 1-го февраля; сегодня уже 25 число — межъ тѣмъ я еще не получалъ его! Крайне интересно знать, что за причина этому факту? Не знаю какъ для васъ, — а для меня подобный

образъ отношеній къ подписчикамъ кажется болѣе чѣмъ оригинальнымъ!

Если вы вздумаете когда-нибудь выслать мнѣ ваше изданіе — прошу адресовать: Г. Новохоперскъ, врачу при городской земской больницѣ, В. В. К—ну.

Г. Новохоперскъ. *В. К—нъ.*
25
18—77
II

Вотъ отвѣтъ редакціи:

Милостивый государь.

Къ сожалѣнію, жалобы на неполученіе выпусковъ приходятъ къ намъ довольно часто, и особенно въ началѣ года. Справляясь по книгамъ, всегда находимъ, что номера эти давно уже отправлены и — теряются, стало быть, въ дорогѣ. Процентъ этихъ потерь, конечно, очень невеликъ сравнительно съ числомъ подписчиковъ, но онъ существуетъ неизмѣнно, и не у однихъ у насъ, а и въ другихъ изданіяхъ. Обыкновенно мы, не вступая въ объясненія, и чтобъ удовлетворить скорѣе подписчиковъ, высылаемъ вторые номера: гдѣ ужъ разыскивать пропавшій номеръ! Въ серединѣ года дѣло налаживается, а въ концѣ года пропажъ почти не бываетъ.

Но вы, милостивый государь, изо всѣхъ предположеній: почему могъ не дойти къ вамъ номеръ, — выбрали не колеблясь одно, именно обманъ со стороны редакціи. Это ясно изъ тона вашего письма и особенно изъ словъ: «Если вы *когда-нибудь вздумаете* выслать мнѣ ваше изданіе, прошу» и т. д. Стало быть, прямо предполагаете, что редакція сознательно удержала вашъ номеръ, и не удерживаетесь выразить ваше сомнѣніе въ томъ, что его даже хоть когда-нибудь получите. Вслѣдствіе чего редакція спѣшитъ выслать вамъ ваши 2 р. 50 к. обратно и проситъ уже болѣе ее не безпокоить. Принуждена же сдѣлать это изъ понятнаго и естественнаго побужденія, которому вы, милостивый государь, вѣроятно, не удивитесь.

МАРТЪ.

Глава первая.

I.

Еще разъ о томъ, что Константинополь, рано ли, поздно ли, долженъ быть нашъ.

Прошлаго года, въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ іюньскомъ № моего «Дневника», я сказалъ, что Константинополь, «рано ли, поздно ли, долженъ быть нашъ». Тогда было горячее и славное время: подымалась духомъ и сердцемъ вся Россія, и народъ шелъ «добровольно послужить Христу и православію противъ невѣрныхъ, за нашихъ братьевъ по вѣрѣ и крови славянъ». Я хоть и назвалъ тогдашнюю статью мою «утопическимъ пониманіемъ исторіи», — но самъ я твердо вѣрилъ въ свои слова и не считалъ ихъ утопіей, да и теперь готовъ подтвердить ихъ буквально. Вотъ что я написалъ тогда о Константинополѣ:

«Да, Золотой Рогъ и Константинополь, — все это будетъ наше... И, во-первыхъ, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то дѣйствительно время уже близко, всѣ къ тому признаки. Это выходъ естественный, это, такъ сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрѣло еще время».

Затѣмъ я тогда разъяснилъ мою мысль, почему не созрѣло, да и не могло созрѣть прежде время. Если бъ Петру Великому (писалъ я) и пришла тогда мысль,

вмѣсто основанія Петербурга захватить Константинополь, то, мнѣ кажется, онъ, по нѣкоторомъ размышленіи, оставилъ бы эту мысль тогда же, если бъ даже и имѣлъ на столько силы, чтобы сокрушить

султана, именно потому, что тогда дѣло это было несвоевременно и могло бы принести даже гибель Россіи.

Ужъ когда въ чухонскомъ Петербургѣ мы не избѣгли вліянія сосѣднихъ нѣмцевъ, хотя и бывшихъ полезными, но за то и весьма парализовавшихъ русское развитіе, прежде чѣмъ выяснилось его настоящая дорога, то какъ въ Константинополѣ, огромномъ, своеобразномъ, съ остатками могущественной и древнѣйшей цивилизаціи, могли бы мы избѣжать вліянія грековъ, людей несравненно болѣе тонкихъ, чѣмъ грубые нѣмцы, людей, имѣющихъ несравненно болѣе общихъ точекъ соприкосновенія съ нами, чѣмъ совершенно непохожіе на насъ нѣмцы, людей многочисленныхъ и царедворныхъ, которые тотчасъ же бы окружили тронъ и прежде русскихъ стали бы и учены и образованы, которые и Петра самого очаровали бы въ его слабой струнѣ ужъ однимъ своимъ знаніемъ и умѣніемъ въ мореходствѣ, а не только его ближайшихъ преемниковъ. Однимъ словомъ, они овладѣли бы Россіей политически, они стащили бы ее немедленно на какую-нибудь новую Азіатскую дорогу, на какую-нибудь опять замкнутость и ужъ, конечно, этого не вынесла бы тогдашняя Россія. Ея русская сила и ея національность были бы остановлены въ своемъ ходѣ. Мощный великоруссъ остался бы въ отдаленіи на своемъ мрачномъ снѣжномъ сѣверѣ, служа не болѣе какъ матеріаломъ для обновленнаго Царьграда, и, можетъ быть, подъ конецъ, совсѣмъ не призналъ бы нужнымъ идти за нимъ. Югъ же Россіи весь бы подпалъ захвату грековъ. Даже, можетъ быть, совершилось бы распаденіе самаго православія на два міра; на обновленный царьградскій и старый русскій... Однимъ словомъ, дѣло было въ высшей степени несвоевременное. Теперь же совсѣмъ иное.

Теперь (писалъ я), теперь Россія уже могла бы завладѣть Константинополемъ, и не перенося въ него свою столицу, чего тогда, при Петрѣ, и даже долго послѣ него, было бы нельзя миновать. Теперь Царьградъ могъ бы быть нашимъ и не какъ столица Россіи, но (прибавлялъ я) и не какъ столица всеславянская, какъ мечтаютъ нѣкоторые:

Всеславянство, безъ Россіи, истощится тамъ въ борьбѣ съ греками, если бы даже и могло составить изъ своихъ частей какое-нибудь политическое цѣлое. Наслѣдовать же Константинополь однимъ грекамъ теперь уже совсѣмъ невозможно: нельзя отдать имъ такую важную точку земного шара, слишкомъ ужъ было бы имъ не по мѣркѣ.

Но во имя чего же, во имя какого *нравственнаго* права могла бы искать Россія Константинополя? Опираясь на какія высшія цѣли могла бы требовать его отъ Европы?

А вотъ именно (писалъ я) — какъ предводительница православія, какъ покровительница и охранительница его, — роль, предназначенная ей еще съ Ивана III, поставившаго въ знакъ ея и царьградскаго двуглаваго орла выше древняго герба Россіи, но обозначившаяся уже несомнѣнно лишь послѣ Петра Великаго, когда Россія сознала въ себѣ силу исполнить свое назначеніе, а фактически уже и стала дѣйствительной и единственной покровительницей и православія и народовъ, его исповѣдующихъ. Вотъ эта причина, вотъ это *право* на древній Царь-

градъ и было бы понятно и не обидно даже самымъ ревнивымъ къ своей независимости славянамъ, или даже самимъ грекамъ. Да и тѣмъ самымъ обозначилась бы и настоящая сущность тѣхъ политическихъ отношеній, которыя и должны неминуемо наступить у Россіи ко всѣмъ прочимъ православнымъ народностямъ, — славянамъ ли, грекамъ ли, все равно: Она — покровительница ихъ и даже, можетъ быть, предводительница, но не владычица; мать ихъ, а не госпожа. Если даже и государыня ихъ когда-нибудь, то лишь по собственному ихъ провозглашенію, съ сохраненіемъ всего того, чѣмъ сами они опредѣлили бы независимость и личность свою.

Всѣ эти соображенія само собою представлялись мною въ іюньской прошлогодней статьѣ отнюдь не какъ подлежащія немедленному исполненію, а лишь какъ долженствующія несомнѣнно исполниться, когда придетъ къ тому историческое время и восполнятся сроки, близость и отдаленность которыхъ хотя невозможно предсказать, но все же можно предчувствовать. Съ тѣхъ поръ прошло девять мѣсяцевъ. Про эти девять мѣсяцевъ вспоминать, я думаю, нечего: всѣмъ намъ извѣстно это восторженное время вначалѣ, полное надеждъ, а потомъ странное и тревожное, и которое до сихъ поръ еще не заключилось ничѣмъ, такъ что одинъ Богъ знаетъ — (я думаю такъ лишь можно выразиться) — чѣмъ оно разрѣшится: обнажимъ ли мы мечъ, или дѣло еще разъ оттянется какимъ-нибудь компромиссомъ въ долгій ящикъ. Но что бы ни случилось, мнѣ какъ разъ почему-то именно теперь захотѣлось высказать нѣсколько дополнительныхъ и пояснительныхъ словъ къ моимъ іюньскимъ мечтамъ о судьбѣ Царьграда. Что бы тамъ теперь ни случилось — миръ ли, вновь ли уступки со стороны Россіи, но рано ли, поздно ли, а Царьградъ будетъ нашъ, — вотъ что хочется мнѣ именно теперь опять подтвердить, но уже съ нѣкоторой новой точки зрѣнія.

Да, онъ долженъ быть нашъ не съ одной точки зрѣнія знаменитаго порта, пролива, «средоточія вселенной», «пупа земли»; не съ точки зрѣнія давно сознанной необходимости такому огромному великану какъ Россія выйти, наконецъ, изъ запертой своей комнаты, въ которой онъ уже доросъ до потолка, на просторъ, дохнуть вольнымъ воздухомъ морей и океановъ. Я хочу поставить на видъ лишь одно соображеніе, тоже самой первой важности, по которому Константинополь не можетъ миновать Россіи. Это соображеніе я потому преимущественно передъ другими выставляю на видъ, что, какъ мнѣ кажется, такой точки зрѣнія никто теперь не беретъ въ разсчетъ, или, по крайней мѣрѣ, давно позабыли брать въ разсчетъ, а она-то, пожалуй, что и изъ самыхъ важныхъ.

II.

Русскій народъ слишкомъ доросъ до здраваго понятія о Восточномъ вопросѣ съ своей точки зрѣнія.

Хоть и дико сказать, но четырехвѣковой гнетъ турокъ на Востокѣ съ одной стороны былъ даже полезенъ тамъ христіанству и православію, — отрицательно, конечно, но однакоже способствуя его укрѣпленію, а главное, его единенію, его единству, точно такъ же, какъ двухвѣковая татарщина способствовала нѣкогда укрѣпленію церкви и у насъ въ Россіи. Придавленное и измученное христіанское населеніе Востока увидало во Христѣ и въ вѣрѣ въ Него единое свое утѣшеніе, а въ церкви — единственный и послѣдній остатокъ своей національной личности и особности. Это была послѣдняя единая надежда, послѣдняя доска, оставшаяся отъ разбитаго корабля; ибо церковь все-таки сохраняла эти населенія какъ національность, а вѣра во Христа препятствовала имъ, т. е. хотя части изъ нихъ, слиться съ побѣдителями воедино, забывъ свой родъ и свою прежнюю исторію. Все это чувствовали и хорошо понимали сами угнетенные народы и единились около креста тѣснѣе. Съ другой стороны, съ самаго покоренія Константинополя, весь огромный христіанскій Востокъ невольно и вдругъ обратилъ свой молящій взглядъ на далекую Россію, только что вышедшую тогда изъ своего татарскаго рабства, и какъ бы предугадалъ въ ней будущее ея могущество, свой будущій всеединящій центръ себѣ во спасеніе. Россія же немедленно и не колеблясь приняла знамя Востока и поставила царьградскаго двуглаваго орла выше своего древняго герба и тѣмъ какъ бы приняла обязательство передъ всѣмъ православіемъ: хранить его и всѣ народы, его исповѣдующіе, отъ конечной гибели. Въ то же время и весь русскій народъ совершенно подтвердилъ новое назначеніе Россіи и царя своего въ грядущихъ судьбахъ всего Восточнаго міра. Съ тѣхъ поръ главное, излюбленное наименованіе царя своего народъ твердо и неуклонно поставилъ и до сихъ поръ видитъ въ словѣ: «православный», «Царь православный». Назвавъ такъ царя своего, онъ какъ бы призналъ въ наименованіи этомъ и назначеніе его, — назначеніе охранителя, единителя, а когда прогремитъ вслѣніе Божіе, — и освободителя православія и всего христіанства, его исповѣдующаго, отъ мусульманскаго варварства

и западнаго еретичества. Два вѣка назадъ, и особенно начиная съ Петра Великаго, вѣрованія и надежды народовъ Востока начали сбываться уже на дѣлѣ: мечъ Россіи уже нѣсколько разъ сіялъ на Востокѣ въ защиту его. Само собою, что и народы Востока не могли не видѣть въ царѣ Россіи не только освободителя, но и будущаго царя своего. Но въ эти два вѣка явилось и у нихъ европейское просвѣщеніе, европейское вліяніе. Высшая, просвѣщенная часть народа, интеллигенція его, какъ у насъ, такъ и на Востокѣ, мало-по-малу стала къ идеѣ православія равнодушнѣе, стала даже отрицать, что въ этой идеѣ заключается обновленіе и воскресеніе въ новую великую жизнь какъ для Востока, такъ и для Россіи. Въ Россіи, напримѣръ, въ огромной части ея образованнаго сословія перестали и даже какъ бы отучились видѣть въ этой идеѣ главное назначеніе Россіи, завѣтъ будущаго и жизненную силу ея; въ противоположность тому стали находить все это въ новыхъ указаніяхъ. Въ церкви, по-западному, многіе стали видѣть лишь мертвенный формализмъ, особность, обрядность, а съ конца прошлаго вѣка такъ даже предразсудокъ и ханжество: о духѣ, объ идеѣ, о живой силѣ было забыто. Явились идеи экономическія, характера западнаго, явились новыя ученія политическія, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать выше ея. Явилась, наконецъ, наука, не могшая не внести безвѣрія въ прежнія идеи... Въ народахъ же Востока стали пробуждаться кромѣ того, и главнѣйшимъ образомъ, идеи національныя: явилась вдругъ боязнь, освободясь отъ турецкаго ига, подпасть подъ иго Россіи. Зато въ простомъ, многомилліонномъ народѣ нашемъ и въ царяхъ его идея освобожденія Востока и Церкви Христовой не умирала никогда. Движеніе, охватившее народъ русскій прошлымъ лѣтомъ, доказало, что народъ не забылъ ничего изъ своихъ древнихъ надеждъ и вѣрованій, и даже удивило огромную часть нашей интеллигенціи, до того, что та прямо не повѣрила этому движенію, отнеслась къ нему скептически и насмѣшливо, стала всѣхъ увѣрять, и себя прежде всѣхъ, что движеніе это выдумано и поддѣлано неблаговидными людьми, желавшими выдвинуться впередъ на красивое мѣсто. Въ самомъ дѣлѣ, кто бы могъ, въ наше время, въ нашей интеллигенціи, кромѣ небольшой отдѣлившейся отъ общаго хора части, допустить, что народъ нашъ въ состояніи *сознательно* понимать свое политическое, соціальное и нравственное назначеніе? Какъ можно было имъ допустить, чтобъ эта грубая черная масса, недавно еще крѣпостная, а теперь опившаяся водкой, знала бы

и была увѣрена, что назначеніе ея — служеніе Христу, а царя ея — храненіе Христовой вѣры и освобожденіе православія. «Пусть эта масса всегда называла себя не иначе какъ христіанствомъ (крестьянствомъ), но вѣдь она все-таки и не имѣетъ понятія ни о религіи, ни о Христѣ даже, она самыхъ обыкновенныхъ молитвъ не знаетъ». Вотъ что говорятъ обыкновенно про народъ нашъ. Кто говоритъ это? Вы думаете — нѣмецкій пасторъ, обработавшій у насъ штунду, или заѣзжій европеецъ, корреспондентъ политической газеты, или образованный какой-нибудь высшій еврей изъ тѣхъ, что не вѣруютъ въ Бога и которыхъ вдругъ у насъ такъ много теперь расплодилось, или, наконецъ, кто-нибудь изъ тѣхъ поселившихся за границей русскихъ, воображающихъ Россію и народъ ея лишь въ образѣ пьяной бабы, со штофомъ въ рукахъ? О нѣтъ, такъ думаетъ огромная часть нашего русскаго и самаго лучшаго общества; а не подозрѣваютъ они, что хоть народъ нашъ и не знаетъ молитвъ, но суть христіанства, но духъ и правда его, сохранились и укрѣпились въ немъ такъ, какъ, можетъ быть, ни въ одномъ изъ народовъ міра сего, несмотря даже на пороки его. Впрочемъ, атеистъ, или равнодушный въ дѣлѣ вѣры русскій европеецъ и не понимаетъ вѣры иначе какъ въ видѣ формалистики и ханжества. Въ народѣ же они не видятъ ничего подобнаго ханжеству, а потому и заключаютъ, что онъ въ вѣрѣ ничего не смыслитъ, молится когда ему надо доскѣ, а въ сущности равнодушенъ, и духъ его убитъ формалистикою. Духа христіанскаго они въ немъ не примѣтили вовсе, можетъ быть, и потому еще, что сами этотъ духъ давно уже потеряли, да и не знаютъ, гдѣ онъ находится, гдѣ онъ вѣетъ. Этотъ «развратный» и темный народъ нашъ любитъ однакоже смиреннаго и юродиваго: во всѣхъ преданіяхъ и сказаніяхъ своихъ онъ сохраняетъ вѣру, что слабый и приниженный, несправедливо и напрасно Христа ради терпящій, будетъ вознесенъ превыше знатныхъ и сильныхъ, когда раздастся судъ и велѣніе Божіе. Народъ нашъ любитъ тоже разсказывать и всеславное и великое житіе своего великаго, цѣломудреннаго и смиреннаго христіанскаго богатыря Ильи-Муромца, подвижника за правду, освободителя бѣдныхъ и слабыхъ, смиреннаго и непревозносящагося, вѣрнаго и сердцемъ чистаго. И имѣя, чтя и любя такого богатыря, — народу ли нашему не вѣровать и въ торжество приниженныхъ теперь народовъ и братьевъ нашихъ на Востокѣ? Народъ нашъ чтитъ память своихъ великихъ и смиренныхъ отшельниковъ и подвижниковъ, любитъ разсказывать исторіи великихъ христіан-

скихъ мучениковъ своимъ дѣтямъ. Эти исторіи онъ знаетъ и изучилъ, и я самъ ихъ впервые отъ народа услышалъ, разсказанныя съ проникновеніемъ и благоговѣніемъ и оставшіяся у меня на сердцѣ. Кромѣ того, народъ ежегодно и самъ выдѣляетъ изъ себя великихъ кающихся «Власовъ», идущихъ съ умиленіемъ, раздавъ все имѣніе свое на смиренный и великій подвигъ правды, работы и нищеты... Но впрочемъ о народѣ русскомъ потомъ; когда-нибудь добьется же онъ того, что начнутъ понимать и, по крайней мѣрѣ, принимать его во вниманіе. Поймутъ, что и онъ что-нибудь да значитъ. Поймутъ, наконецъ, и то важное обстоятельство, что ни разу еще въ великіе, или даже въ чуть-чуть важные моменты исторіи русской, безъ него не обходилось, что Россія *народна,* что Россія не Австрія, что въ каждый значительный моментъ нашей исторической жизни дѣло всегда рѣшалось народнымъ духомъ и взглядомъ, царями народа въ высшемъ единеніи съ нимъ. Это чрезвычайно важное историческое обстоятельство обыкновенно у насъ пропускается почти безъ вниманія нашей интеллигенціей, и вспоминается всегда какъ-то вдругъ, когда грянетъ историческій срокъ. Но я отвлекся, я заговорилъ о Константинополѣ...

III.

Самыя подходящія въ настоящее время мысли.

Восточная церковь, ея предстоятели, вселенскій патріархъ, во всѣ эти четыре вѣка порабощенія ихъ церкви, жили съ Россіею и между собою мирно — въ дѣлѣ вѣры, то есть: большихъ смутъ, ересей, расколовъ не было, не до того было. Но вотъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ, и особенно въ послѣднее двадцатилѣтіе, послѣ великой Восточной войны, какъ бы потянуло у насъ тлѣннымъ запахомъ разлагающагося трупа: предчувствіе смерти и разложенія «больного человѣка» и гибели его царства стало ощущеніемъ главнымъ, насущнымъ. О, конечно, освободить можетъ окончательно все-таки лишь одна Россія, та самая Россія, которая и теперь, и въ настоящую минуту всеобщихъ разговоровъ о Востокѣ все-таки лишь одна разговариваетъ за нихъ въ Европѣ, тогда какъ всѣ остальные народы и царства просвѣщеннаго европейскаго міра были бы, конечно, рады, чтобы ихъ всѣхъ, этихъ угнетенныхъ народовъ Востока, хотя бы и вовсе на свѣтѣ не было.

Но увы, чуть ли не вся интеллигенція восточной райи хоть и зоветъ Россію на помощь, но боится ея, можетъ быть, столько же, сколько и турокъ: «Хоть и освободитъ насъ Россія отъ турокъ, но поглотитъ насъ какъ и «больной человѣкъ» и не дастъ развиться нашимъ національностямъ» — вотъ ихъ неподвижная идея, отравляющая всѣ ихъ надежды! А сверхъ того у нихъ и теперь уже все сильнѣй разгораются и между собою національныя соперничества; начались они чуть лишь просіялъ для нихъ первый лучъ образованія. Столь недавняя у нихъ греко-болгарская церковная распря, подъ видомъ церковной, была, конечно, лишь національною, а для будущаго какъ бы нѣкимъ пророчествомъ. Вселенскій патріархъ, порицая ослушаніе болгаръ и отлучая ихъ и самовольно выбраннаго ими экзарха отъ церкви, выставлялъ на видъ, что въ дѣлѣ вѣры нельзя жертвовать уставами церкви и послушаніемъ церковнымъ «новому и пагубному принципу національности». Между тѣмъ, самъ же онъ, будучи грекомъ и произнося это отлученіе болгарамъ, безъ сомнѣнія, служилъ тому же самому принципу національности, но только въ пользу грековъ противъ славянъ. Однимъ словомъ, можно даже съ вѣроятностью предсказать, что умри «больной человѣкъ», и у нихъ у всѣхъ тотчасъ же начнутся между собою смятенія и распри на первый случай именно характера церковнаго, и которыя нанесутъ несомнѣннѣйшій вредъ даже и самой Россіи; нанесутъ даже и въ томъ случаѣ, если бъ та совершенно устранилась или была устранена обстоятельствами отъ участія въ рѣшеніи Восточнаго вопроса. Мало того, смуты эти, можетъ быть, отзовутся даже еще тяжелѣе для Россіи, если она устранитъ себя отъ дѣятельнаго и первенствующаго участія въ судьбахъ Востока. А тутъ вдругъ кричатъ — (и не только въ Европѣ, но и у насъ многіе высшіе политическіе наши умы) — что случись умереть туркамъ какъ государству, то Константинополь долженъ возродиться не иначе, какъ городомъ «международнымъ», т. е. какимъ-то серединнымъ, общимъ, вольнымъ, чтобы не было изъ-за него споровъ. Ошибочнѣе мысли нельзя было и придумать.

И во-первыхъ, уже по тому одному, что такой великолѣпной точкѣ земного шара просто не дадутъ стать международной, т. е. ничьей; непремѣнно и сейчасъ же явятся хоть бы англичане со своимъ флотомъ, въ качествѣ друзей, и именно охранять и оберегать эту самую «международность», а въ сущности чтобъ овладѣть Константинополемъ въ свою пользу. А ужъ гдѣ они поселятся, оттуда ихъ трудно выжить, народъ цѣпкій. Мало того:

греки, славяне и мусульмане Царьграда призовутъ ихъ сами, ухватятся за нихъ обѣими руками и не выпустятъ ихъ отъ себя, а причина тому — все та же Россія: «защитятъ, дескать, они насъ отъ Россіи, нашей освободительницы». И добро бы они не видѣли и не понимали, что такое для нихъ англичане, да и вообще вся Европа? О, они и *теперь* знаютъ лучше всѣхъ, что англичанамъ (да и никому въ Европѣ кромѣ Россіи) до ихъ счастья, то есть до счастья всей христіанской райи, нѣтъ ровно никакого дѣла. Вся эта райя знаетъ отлично, что если бъ возможно было повторить болгарскіе лѣтніе ужасы (а это, кажется, очень возможно) какъ-нибудь неслышно и втихомолку, то въ Европѣ англичане первые пожелали бы повторенія этихъ убійствъ хоть разъ десять — и не изъ кровожадности, вовсе нѣтъ: тамъ народы гуманные и просвѣщенные, — а потому, что такія убійства, повторенныя десять разъ, истребили бы окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на Балканскомъ полуостровѣ дѣлать противъ турокъ возстанія, — а въ этомъ-то и вся главная суть: остались бы одни милые турки, и турецкія бумаги повысились бы разомъ на всѣхъ европейскихъ биржахъ, а Россіи «съ ея честолюбіемъ и завоевательными планами» пришлось бы откочевать поглубже восвояси за неимѣніемъ кого защищать. Райя слишкомъ хорошо знаетъ, что только этихъ чувствъ она и можетъ ожидать теперь отъ Европы. Но совсѣмъ другое дѣло явилось бы мигомъ на свѣтѣ, если бъ какимъ-нибудь образомъ, самъ собою или отъ меча Россіи, умеръ бы, наконецъ, «больной человѣкъ». Тотчасъ же вся Европа возгорѣлась бы къ обновленнымъ народамъ нѣжнѣйшею любовью и тотчасъ же бросилась бы «спасать ихъ отъ Россіи». Надо думать, что идею о «международности» Европа первая и внесетъ въ ихъ новое устройство. Европа пойметъ, что надъ трупомъ «больного человѣка» у освобожденныхъ народовъ немедленно возгорится смута, распря и соперничество, а ей это и на руку: предлогъ вмѣшательства, главное, предлогъ возбудить ихъ противъ Россіи, которая навѣрно не захочетъ имъ дать ссориться изъ-за наслѣдства больного человѣка. И не будетъ такой клеветы, которую бы не пустила въ ходъ противъ насъ Европа. «Изъ-за русскихъ-то мы вамъ и противъ турокъ не помогали», скажутъ имъ тогда англичане. Увы, народы Востока и теперь это понимаютъ отлично, и знаютъ, что «Англія никогда не приметъ участія въ ихъ освобожденіи и никогда не дастъ на это своего согласія, если бъ оно считалось нужнымъ, потому что она ненавидитъ этихъ христіанъ за ихъ ду-

ховную связь съ Россіей. Англіи нужно, чтобъ Восточные христіане возненавидѣли насъ всею силою той ненависти, какую она сама питаетъ къ намъ» . . . («Московкія Вѣдомости» № 63). Вотъ что знаютъ и покамѣстъ запоминаютъ про себя эти народы, и вотъ что они ужъ и теперь, конечно, поставили на будущій счетъ Россіи. А мы-то думаемъ, что они насъ обожаютъ.

Въ международномъ городѣ, мимо покровителей англичанъ, все-таки будутъ хозяевами греки — исконные хозяева города. Надо думать, что греки смотрятъ на славянъ еще съ большимъ презрѣніемъ, чѣмъ нѣмцы. Но такъ какъ славяне будутъ и страшны для грековъ, то презрѣніе смѣнится ожесточеніемъ. Воевать между собою, объявлять другъ другу войну, они, конечно, не смогутъ, потому что ихъ все же не допустятъ до того покровители, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ серьезномъ. Ну, вотъ именно за невозможностью открытой и откровенной драки, у нихъ и пойдутъ всякія другія распри и прежде всего примутъ характеръ церковныхъ смутъ. Съ того и начнется, потому что это всего зподручнѣе; и вотъ это я и хотѣлъ указать.

Я потому такъ говорю, что ужъ программа была дана: болгаре и Константинополь. Съ этой точки и греки сильны, и они понимаютъ это. А между тѣмъ, ничего страшнѣе въ грядущемъ не можетъ быть для всего Востока, а вмѣстѣ и для Россіи, какъ еще разъ подобная церковная распря, которая, увы, такъ возможна, устранись хоть на мигъ Россія съ своимъ покровительствомъ и съ строгимъ надъ ними надзоромъ. Хоть это и всего только будущее, и даже лишь гаданія, но непростительно было бы выпустить это изъ виду даже хотя бы только какъ гаданіе. Въ самомъ дѣлѣ, неужели ужъ и намъ желать продолженія владычества турокъ и здоровья «больному человѣку»? Неужели и намъ дойти до того? Неужели не ясно, что умри этотъ больной человѣкъ, а главное, отстранись Россія хоть на половину отъ окончательнаго и первенствующаго вліянія на судьбы Востока, сдѣлай она эту уступку Европѣ, и — болѣе чѣмъ вѣроятно, что на Балканскомъ полуостровѣ пошатнется церковное единеніе столькихъ вѣковъ, а, можетъ быть, и еще далѣе на Востокѣ. Даже такъ можно сказать: будутъ эти распри или нѣтъ, но умри «больной человѣкъ», то весьма вѣроятно, что, можетъ быть, дѣло не обойдется, *во всякомъ случаѣ,* безъ великаго церковнаго собора, для уложенія дѣлъ вновь возрождающейся церкви. Почему бы это не предвидѣть заранѣе? Въ эти четыре вѣка гоненій и гнета предстоятели Восточной церкви всегда слушались совѣ-

товъ Россіи; но освободись они завтра отъ турецкаго гнета и окажи имъ къ тому же покровительство Европа, — они тотчасъ же заявятъ себя въ другихъ отношеніяхъ къ Россіи. Предстоятели Восточной церкви, то есть главное греки, чуть лишь Россія взяла бы сторону славянъ, тотчасъ же, можетъ быть, пожелали бы ей заявить, что въ ней и въ совѣтахъ ея они болѣе совсѣмъ не нуждаются. Именно потому поспѣшатъ заявить, что четыре вѣка смотрѣли на нее сложа въ мольбѣ руки. А положеніе Россіи будетъ почти всѣхъ труднѣе. Тѣ же болгаре тотчасъ же закричатъ, что въ Константинополѣ воцарился новый Восточный папа и — кто знаетъ, можетъ быть правы будутъ. Международный Константинополь, дѣйствительно, можетъ послужить, хоть на время, подножіемъ новаго папы. Тогда Россіи стать за грековъ будетъ значить потерять славянъ, а стать за славянъ, въ этой будущей и столь вѣроятной между ними распрѣ, значитъ нажить и себѣ, можетъ быть, пренепріятныя и пресерьезныя церковныя хлопоты. Ясно, все это можетъ быть избѣгнуто лишь «заблаговременною» стойкостью Россіи въ Восточномъ вопросѣ и неуклоннымъ слѣдованіямъ все тѣмъ же великимъ преданіямъ нашей древней вѣковой русской политики. Никакой Европѣ не должны мы уступать ничего въ этомъ дѣлѣ ни для какихъ соображеній, потому что дѣло это наша жизнь и смерть. Константинополь долженъ быть нашъ, рано ли, поздно ли, хотя бы именно во избѣжаніе тяжелыхъ и непріятныхъ церковныхъ смутъ, которыя столь легко могутъ возродиться между молодыми и не жившими народами Востока и которымъ примѣръ уже былъ въ спорѣ болгаръ и вселенскаго патріарха, весьма плохо окончившемся. Разъ мы завладѣемъ Константинополемъ, и ничего этого не можетъ произойти. Народы Запада, столь ревниво слѣдящіе за каждымъ шагомъ Россіи, еще не знаютъ и не подозрѣваютъ въ настоящую минуту всѣхъ этихъ новыхъ еще мечтательныхъ, но слишкомъ возможныхъ будущихъ комбинацій. Если бъ и узнали ихъ теперь, то не поняли бы ихъ и не придали бы имъ особенной важности. Зато слишкомъ поймутъ и придадутъ важности потомъ, когда будетъ уже поздно. Русскій народъ, понимающій Восточный вопросъ не иначе какъ въ освобожденіи всего православнаго христіанства и въ великомъ будущемъ единеніи церкви, если увидитъ, напротивъ, новыя смуты и новый разладъ, то будетъ слишкомъ потрясенъ, и, можетъ быть, глубоко отзовется и на немъ, и на всемъ бытѣ его всякій новый исходъ дѣла, особенно, если оно въ концѣ концовъ получитъ характеръ церковный по-преимуществу. Вотъ

по этому одному мы ни за что и никакъ не можемъ оставлять или ослаблять степень нашего вѣкового участія въ этомъ великомъ вопросѣ. Не одинъ только великолѣпный портъ, не одна только дорога въ моря и океаны связываютъ Россію столь тѣсно съ рѣшеніемъ судебъ рокового вопроса, и даже не объединеніе и возрожденіе славянъ... Задача наша глубже, безмѣрно глубже. Мы, Россія, дѣйствительно, необходимы и неминуемы и для всего Восточнаго христіанства, и для всей судьбы будущаго православія на землѣ, для единенія его. Такъ всегда понимали это нашъ народъ и государи его... Однимъ словомъ, этотъ страшный восточный вопросъ — это чуть не вся судьба наша въ будущемъ. Въ немъ заключаются какъ бы всѣ наши задачи и, главное, единственный выходъ нашъ въ полноту исторіи. Въ немъ и окончательное столкновеніе наше съ Европой, и окончательное единеніе съ нею, но уже на новыхъ, могучихъ плодотворныхъ началахъ. О, гдѣ теперь понять Европѣ всю ту роковую жизненную важность для насъ самихъ въ рѣшеніи этого вопроса! Однимъ словомъ, чѣмъ бы ни кончились теперешніе, столь необходимые, можетъ быть, дипломатическіе соглашенія и переговоры въ Европѣ, но рано ли, поздно ли, а *Константинополь долженъ быть нашъ*, и хотя бы лишь въ будущемъ только столѣтіи! Это намъ русскимъ надо всегда имѣть въ виду, всѣмъ неуклонно. Вотъ что мнѣ хотѣлось заявить, особенно въ настоящій европейскій моментъ...

Глава вторая.

IV.

„Еврейскій вопросъ“.

О не думайте, что я, дѣйствительно, затѣваю поднять «еврейскій вопросъ»! Я написалъ это заглавіе въ шутку. Поднять такой величины вопросъ, какъ положеніе еврея въ Россіи, и о положеніи Россіи, имѣющей въ числѣ сыновъ своихъ три милліона евреевъ — я не въ силахъ. Вопросъ этотъ не въ моихъ размѣрахъ. Но нѣкоторое сужденіе мое я все же могу имѣть, и вотъ выходитъ, что сужденіемъ моимъ нѣкоторые изъ евреевъ стали интересоваться. Съ нѣкотораго времени я сталъ получать отъ нихъ письма, и они серьезно и съ горечью упрекаютъ меня за то, что я на нихъ нападаю, «что я ненавижу жида», ненавижу не за пороки его, «не какъ

эксплоататора», а именно какъ племя, т. е. въ родѣ того, что: «Іуда, дескать, Христа продалъ». Пишутъ это «образованные» евреи, т. е. изъ такихъ, которые (я замѣтилъ это, но отнюдь не обобщаю мою замѣтку, оговариваюсь заранѣе) — которые всегда какъ бы постараются дать вамъ знать, что они при своемъ образованіи давно уже не раздѣляютъ «предразсудковъ» своей націи, своихъ религіозныхъ обрядовъ не исполняютъ, какъ прочіе мелкіе евреи, считаютъ это ниже своего просвѣщенія, да и въ Бога, дескать, не вѣруемъ. Замѣчу въ скобкахъ и кстати, что всѣмъ этимъ господамъ изъ «высшихъ евреевъ», которые такъ стоятъ за свою націю, слишкомъ даже грѣшно забывать своего сорокавѣкового Іегову и отступать отъ него. И это далеко не изъ одного только чувства національности грѣшно, а и изъ другихъ, весьма высокаго размѣра причинъ. Да и странное дѣло: еврей безъ Бога какъ-то немыслимъ; еврея безъ Бога и представить нельзя. Но тема эта изъ обширныхъ, мы ее пока оставимъ. Всего удивительнѣе мнѣ то: какъ это и откуда я попалъ въ ненавистники еврея, какъ народа, какъ націи? Какъ эксплоататора и за нѣкоторые пороки мнѣ осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но — но лишь на словахъ: на дѣлѣ трудно найти что-нибудь раздражительнѣе и щепетильнѣе образованнаго еврея и обидчивѣе его, какъ еврея? Но опять-таки: когда и чѣмъ заявилъ я ненависть къ еврею, какъ къ народу? Такъ какъ въ сердцѣ моемъ этой ненависти не было никогда, и тѣ изъ евреевъ, которые знакомы со мной и были въ сношеніяхъ со мной, это знаютъ, то я, съ самаго начала и прежде всякаго слова, съ себя это обвиненіе снимаю, разъ навсегда, съ тѣмъ, чтобъ ужъ потомъ объ этомъ и не упоминать особенно. Ужъ не потому ли обвиняютъ меня въ «ненависти», что я называю иногда еврея «жидомъ»? Но, во-первыхъ, я не думалъ, чтобъ это было такъ обидно, а во-вторыхъ, слово «жидъ», сколько помню, я упоминалъ всегда для обозначенія извѣстной идеи: «Жидъ, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тутъ обозначалось извѣстное понятіе, направленіе, характеристика вѣка. Можно спорить объ этой идеѣ, не соглашаться съ нею, но не обижаться словомъ. Выпишу одно мѣсто изъ письма одного весьма образованнаго еврея, написавшаго мнѣ длинное и прекрасное, во многихъ отношеніяхъ, письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно изъ самыхъ характерныхъ обвиненій меня въ ненависти къ еврею, какъ къ народу. Само собою разумѣется, что имя г. NN, мнѣ писавшаго это письмо, остается подъ самымъ строгимъ анонимомъ.

. . . но я намѣренъ затронуть одинъ предметъ, который я рѣшительно не могу себѣ объяснить. Это ваша ненависть къ „жиду", которая проявляется почти въ каждомъ выпускѣ вашего „Дневника".

Я бы хотѣлъ знать, почему вы возстаете противъ жида, а не противъ эксплоататора вообще; я не меньше вашего терпѣть не могу предразсудковъ моей націи, — я не мало отъ нихъ страдалъ, — но никогда не соглашусь, что въ крови этой націи живетъ безсовѣстная эксплоатація.

Неужели вы не можете подняться до основного закона всякой соціальной жизни, что *всѣ* безъ исключенія граждане одного государства, если они только несутъ на себѣ всѣ повинности, необходимыя для существованія государства, должны пользоваться *всѣми* правами и выгодами его существованія, и что для отступниковъ отъ закона, для вредныхъ членовъ общества, должна существовать одна и та же мѣра взысканія, общая для всѣхъ?.. Почему же всѣ евреи должны быть ограничены въ правахъ и почему для нихъ должны существовать спеціальные карательные законы? Чѣмъ эксплоатація чужестранцевъ (евреи вѣдь все-таки русскіе подданные): нѣмцевъ, англичанъ, грековъ, которыхъ въ Россіи такая пропасть, лучше жидовской эксплоатаціи? Чѣмъ русскій православный кулакъ, міроѣдъ, цѣловальникъ, кровопійца, которыхъ такъ много расплодилось во *всей* Россіи, лучше таковыхъ изъ жидовъ, которые все-таки дѣйствуютъ въ ограниченномъ кругу? Чѣмъ такой-то лучше такого-то...

(Здѣсь почтенный корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ. Но что же это доказываетъ? Вѣдь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляемъ ихъ какъ примѣры подражанія и, напротивъ, въ высшей степени соглашаемся, что и тѣ и другіе не хороши.)

Такихъ вопросовъ я бы могъ вамъ задавать тысячами.

Между тѣмъ, вы, говоря о „жидѣ", включаете въ это понятіе всю страшно-нищую массу трехмилліоннаго еврейскаго населенія въ Россіи, изъ которыхъ два милліона 900,000, по крайней мѣрѣ, ведутъ отчаянную борьбу за жалкое существованіе, нравственно чище не только другихъ народностей, но и обоготворяемаго вами русскаго народа. Въ это названіе вы включаете и ту почтенную цифру евреевъ, получившихъ высшее образованіе, отличающихся на всѣхъ поприщахъ государственной жизни; берите хоть . . .

(Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ Гольдштейнова, считаю не въ правѣ напечатать, потому что нѣкоторымъ изъ нихъ, можетъ быть, непріятно будетъ прочесть, что они происходятъ изъ евреевъ.)

. . . Гольдштейна (геройски умершаго въ Сербіи за славянскую идею) и работающихъ на пользу общества и человѣчества. Ваша ненависть къ „жиду" простирается даже на Дизраэли .. который, вѣроятно, самъ не знаетъ, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который ужь, конечно, не руководитъ англійской консервативной политикой съ точки зрѣнія „жида" (?)

Нѣтъ, къ сожалѣнію, вы не знаете ни еврейскаго *народа*, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавѣковой исторіи, наконецъ. Къ сожалѣнію, потому что вы, во всякомъ случаѣ, человѣкъ искренній, абсолютно честный, а наносите безсознательно вредъ громадной массѣ нищенствующаго народа, — сильные же „жиды“, принимая сильныхъ міра сего въ своихъ салонахъ, конечно, не боятся ни печати, ни даже безсильнаго гнѣва эксплоатируемыхъ. Но довольно объ этомъ предметѣ! Врядъ ли я васъ убѣжду въ моемъ взглядѣ, — но мнѣ крайне желательно было бы, чтобы вы убѣдили меня.

Вотъ этотъ отрывокъ. Прежде чѣмъ отвѣчу что-нибудь (ибо не хочу нести на себѣ такое тяжелое обвиненіе) — обращу вниманіе на ярость нападенія и степень обидчивости. Положительно у меня, во весь годъ изданія «Дневника», не было такихъ размѣровъ статьи противъ «жида», которая бы могла вызвать такой силы нападеніе. Во-вторыхъ, нельзя не замѣтить, что почтенный корреспондентъ, коснувшись въ этихъ немногихъ строкахъ своихъ и до русскаго народа, не утерпѣлъ и не выдержалъ и отнесся къ бѣдному русскому народу нѣсколько слишкомъ ужъ свысока. Правда, въ Россіи и отъ русскихъ-то не осталось ни одного не проплеваннаго мѣста (словечко Щедрина), а еврею тѣмъ «простительнѣе». Но во всякомъ случаѣ ожесточеніе это свидѣтельствуетъ ярко о томъ, какъ сами евреи смотрятъ на русскихъ. Писалъ это, дѣйствительно, человѣкъ образованный и талантливый (не думаю только, чтобъ безъ предразсудковъ); чего и ждать, послѣ того, отъ необразованнаго еврея, которыхъ такъ много, какихъ чувствъ къ русскому? Я не въ обвиненіе это говорю: все это естественно! Я только хочу указать, что въ мотивахъ нашего разъединенія съ евреемъ виновенъ, можетъ быть, и не одинъ русскій народъ, и что сгопились эти мотивы, конечно, съ обѣихъ сторонъ, и еще неизвѣстно на какой сторонѣ въ большей степени. Отмѣтивъ это, выскажу нѣсколько словъ въ мое оправданіе и вообще, какъ я смотрю на это дѣло. И хоть вопросъ этотъ, повторяю, мнѣ и не по силамъ, но что же нибудь вѣдь и я могу выразить.

II.

Pro и contra.

Положимъ, очень трудно узнать сорокавѣковую исторію такого народа, какъ евреи; но на первый случай и уже то одно знаю, что навѣрно нѣтъ въ цѣломъ мірѣ

другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждымъ шагомъ и словомъ своимъ, на свое приниженіе, на свое страданіе, на свое мученичество. Подумаешь, не они царятъ въ Европѣ, не они управляютъ тамъ биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними дѣлами, нравственностью государствъ. Пусть благородный Гольдштейнъ умираетъ за славянскую идею. Но все-таки, не будь такъ сильна еврейская идея въ мірѣ, и, можетъ быть, тотъ же самый «славянскій» (прошлогодній) вопросъ давно бы уже рѣшенъ былъ въ пользу славянъ, а не турокъ. Я готовъ повѣрить, что лордъ Биконсфильдъ самъ, можетъ быть, забылъ о своемъ происхожденіи, когда-то, отъ испанскихъ жидовъ (навѣрно однако не забылъ); но что онъ «руководилъ англійской консервативной политикой» за послѣдній годъ *отчасти* съ точки зрѣнія жида, въ этомъ, по-моему, нельзя сомнѣваться. «Отчасти-то» ужъ нельзя не допустить.

Но пусть все это, съ моей стороны, голословіе, легкій тонъ и легкія слова. Уступаю. Но все-таки не могу вполнѣ повѣрить крикамъ евреевъ, что ужъ такъ они забиты, замучены и принижены. На мой взглядъ, русскій мужикъ, да и вообще русскій простолюдинъ, несетъ тягостей чуть ли не больше еврея. Мой корреспондентъ пишетъ мнѣ въ другомъ уже письмѣ:

«Прежде всего *необходимо* предоставить имъ (евреямъ) всѣ гражданскія права (подумайте, что они лишены до сихъ поръ самаго коренного права: свободнаго выбора мѣстожительства, изъ чего вытекаетъ множество страшныхъ стѣсненій для всей еврейской массы), какъ и всѣмъ другимъ чужимъ народностямъ въ Россіи, а потомъ уже требовать отъ нихъ исполненія своихъ обязанностей къ государству и къ коренному населенію».

Но подумайте и вы, г. корреспондентъ, который сами пишете мнѣ, въ томъ же письмѣ, на другой страницѣ, что вы «не въ примѣръ больше любите и жалѣете трудящуюся массу русскаго народа, чѣмъ еврейскую» — (что уже слишкомъ для еврея сильно сказано) — подумайте только о томъ, что когда еврей «терпѣлъ въ свободномъ выборѣ мѣстожительства», тогда двадцать три милліона «русской трудящейся массы» терпѣли отъ крѣпостного состоянія, что ужъ, конечно, было потяжелѣе «выбора мѣстожительства». И что же, пожалѣли ихъ тогда евреи? Не думаю; въ Западной окраинѣ Россіи и на Югѣ вамъ на это отвѣтятъ обстоятельно. Нѣтъ, они и тогда точно также кричали о правахъ, которыхъ не имѣлъ самъ русскій народъ, кричали и жалобились, что

они забиты и мученики, и что когда имъ дадутъ больше правъ, «тогда и спрашивайте съ насъ исполненія обязанностей къ государству и коренному населенію». Но вотъ пришелъ Освободитель и освободилъ коренной народъ, и что же, кто первый бросился на него, какъ на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплелъ его вѣковѣчнымъ золотымъ своимъ промысломъ, кто тотчасъ же замѣстилъ, гдѣ только могъ и поспѣлъ, упраздненныхъ помѣщиковъ, съ тою разницею, что помѣщики хоть и сильно эксплоатировали людей, но все же старались не раззорять своихъ крестьянъ, пожалуй, для себя же, чтобъ не истощить рабочей силы, а еврею до истощенія русской силы дѣла нѣтъ, взялъ свое и ушелъ. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчасъ же закричатъ, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому вѣрю всѣмъ этимъ глупостямъ, что «не знаю сорока вѣковой исторіи» этихъ чистыхъ ангеловъ, которые несравненно «нравственно чище не только другихъ народностей, но и обоготворяемаго мною русскаго народа» (по словамъ корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всѣхъ народовъ въ мірѣ, а русскаго ужъ, разумѣется, а между тѣмъ, я только что прочелъ въ мартовской книжкѣ «Вѣстника Европы» извѣстіе о томъ, что евреи въ Америкѣ, въ Южныхъ Штатахъ, уже набросились всей массой на многомилліонную массу освобожденныхъ негровъ и уже прибрали ее къ рукамъ по-своему, извѣстнымъ и вѣковѣчнымъ своимъ «золотымъ промысломъ», и пользуясь неопытностью и пороками эксплоатируемаго племени. Представьте же себѣ, когда я прочелъ это, мнѣ тотчасъ же вспомнилось, что мнѣ еще пять лѣтъ тому приходило это самое на умъ, именно то, что вотъ вѣдь негры отъ рабовладѣльцевъ теперь освобождены, а вѣдь имъ не уцѣлѣть, потому что на эту свѣжую жертвочку какъ разъ набросятся евреи которыхъ столь много на свѣтѣ. Подумалъ я это, и, увѣряю васъ, нѣсколько разъ потомъ въ этотъ срокъ мнѣ вспадало на мысль: «да что же тамъ ничего о евреяхъ не слышно, что въ газетахъ не пишутъ, вѣдь эти негры евреямъ кладъ, неужели пропустятъ?» И вотъ дождался, написали въ газетахъ, прочелъ. А дней десять тому назадъ прочелъ въ «Новомъ Времени» (№ 371) корреспонденцію изъ Ковно, прехарактернѣйшую: «дескать, до того набросились тамъ евреи на мѣстное литовское населеніе, что чуть не сгубили всѣхъ водкой, и только ксендзы спасли бѣдныхъ опившихся, угрожая имъ муками ада и устраивая между ними общества трезвости. Просвѣщенный корреспондентъ, правда, сильно краснѣетъ за свое

населеніе, до сихъ поръ вѣрующее въ ксендзовъ и въ муки ада, но онъ сообщаетъ при этомъ, что поднялись вслѣдъ за ксендзами и просвѣщенные мѣстные экономисты, начали устраивать сельскіе банки, именно чтобы спасти народъ отъ процентщика-еврея, и сельскіе рынки, чтобы можно было «бѣдной трудящейся массѣ» получать предметы первой потребности по настоящей цѣнѣ, а не по той, которую назначаетъ еврей. Ну, вотъ я это все прочелъ и знаю, что мнѣ въ одинъ мигъ закричатъ, что все это ничего не доказываетъ, что это отъ того, что евреи сами угнетены, сами бѣдны, и что все это лишь «борьба за существованіе», что только глупецъ разобрать этого не можетъ, и не будь евреи такъ сами бѣдны, а, напротивъ, разбогатѣй они, то мигомъ показали бы себя съ самой гуманной стороны, такъ что міръ бы весь удивили. Но вѣдь, конечно, всѣ эти негры и литовцы еще бѣднѣе евреевъ, выжимающихъ изъ нихъ соки, а вѣдь тѣ (прочтите-ка корреспонденцію) гнушаются такой торговлей, на которую такъ падокъ еврей; во-вторыхъ, не трудно быть гуманнымъ и нравственнымъ, когда самому жирно и весело, а чуть «борьба за существованіе», такъ и не подходи ко мнѣ близко. Не совсѣмъ ужъ это, по-моему, такая ангельская черта. А въ-третьихъ, вѣдь я, конечно, не выставляю эти два извѣстія изъ «Вѣстника Европы» и «Новаго Времени» за такіе ужъ капитальные и всерѣшающіе факты. Если начать писать исторію этого всемірнаго племени, то можно тотчасъ же найти сто тысячъ такихъ же и еще крупнѣйшихъ фактовъ, такъ что одинъ или два факта лишнихъ ничего особеннаго не прибавятъ, но вѣдь что при этомъ любопытно: любопытно то, что чуть лишь вамъ — въ спорѣ ли, или просто въ минуту собственнаго раздумья, — чуть лишь вамъ понадобится справка о евреѣ и дѣлахъ его, — то не ходите въ библіотеки для чтенія, не ройтесь въ старыхъ книгахъ или въ собственныхъ старыхъ отмѣткахъ, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя съ мѣста, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку къ какой хотите первой, лежащей подлѣ васъ газетѣ, и поищите на второй или на третьей страницѣ: непремѣнно найдете что-нибудь о евреяхъ и непремѣнно то, что васъ интересуетъ, непремѣнно самое характернѣйшее и непремѣнно одно и то же — т. е. все одни и тѣ же подвиги! Такъ вѣдь это, согласитесь сами, что-нибудь да значитъ, что-нибудь да указуетъ, что-нибудь открываетъ же намъ, хотя бы вы были круглый невѣжда въ сорокавѣковой исторіи этого племени. Разумѣется, мнѣ отвѣтятъ, что всѣ обуреваемы ненавистью, а потому всѣ

лгутъ. Конечно, очень можетъ случиться, что всѣ до единаго лгутъ, но въ такомъ случаѣ рождается тотчасъ другой вопросъ: если всѣ до единаго лгутъ и обуреваемы такою ненавистью, то съ чего-нибудь да взялась же эта ненависть, вѣдь что-нибудь значитъ же эта всеобщая ненависть, «вѣдь что-нибудь значитъ же слово *всѣ!*», какъ восклицалъ нѣкогда Бѣлинскій.

«Свободный выборъ мѣстожительства!» Но развѣ русскій «коренной» человѣкъ ужъ такъ совершенно свободенъ въ выборѣ мѣстожительства? Развѣ не продолжаются и до сихъ поръ еще прежнія, еще отъ крѣпостныхъ временъ оставшіяся и нежелаемыя стѣсненія въ полной свободѣ выбора мѣстожительства и для русскаго простолюдина, на которыя давно обращаетъ вниманіе правительство? А что до евреевъ, то всѣмъ видно, что права ихъ въ выборѣ мѣстожительства весьма и весьма расширились въ послѣднія двадцать лѣтъ. По крайней мѣрѣ, они явились по Россіи въ такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде ихъ не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стѣсненія. Пусть я не твердъ въ познаніи еврейскаго быта, но одно-то я уже знаю навѣрно и буду спорить со всѣми, именно: что нѣтъ въ нашемъ простонародьѣ предвзятой, апріорной, тупой, религіозной какой-нибудь ненависти къ еврею, въ родѣ: «Іуда, дескать, Христа продалъ». Если и услышишь это отъ ребятишекъ или отъ пьяныхъ, то весь народъ нашъ смотритъ на еврея, повторяю это, безъ всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесятъ лѣтъ видѣлъ это. Мнѣ даже случалось жить съ народомъ, въ массѣ народа, въ однихъ казармахъ, спать на однихъ нарахъ. Тамъ было нѣсколько евреевъ — и никто не *презиралъ* ихъ, никто не исключалъ ихъ, не гналъ ихъ. Когда они молились (а евреи молятся съ крикомъ, надѣвая особое платье), то никто не находилъ этого страннымъ, не мѣшалъ имъ и не смѣялся надъ ними, чего, впрочемъ, именно надо бы было ждать отъ такого грубаго, по вашимъ понятіямъ, народа, какъ русскіе; напротивъ, смотря на нихъ, говорили: «это у нихъ такая вѣра, это они такъ молятся» и проходили мимо съ спокойствіемъ и почти съ одобреніемъ. И что же, вотъ эти-то евреи чуждались во многомъ русскихъ, не хотѣли ѣсть съ ними, смотрѣли чуть не свысока (и это гдѣ же? — въ острогѣ!) и вообще выражали гадливость и брезгливость къ русскому, къ «коренному» народу. То же самое и въ солдатскихъ казармахъ и вездѣ по всей Россіи: навѣдайтесь, спросите, обижаютъ ли въ казармахъ еврея какъ еврея, какъ *жида*, за вѣру, за обычай? Нигдѣ не обижаютъ, и такъ во всемъ народѣ. Напротивъ, увѣряю васъ,

что и въ казармахъ, и вездѣ русскій простолюдинъ слишкомъ видитъ и понимаетъ (да и не скрываютъ того сами евреи), что еврей съ нимъ ѣсть не захочетъ, брезгаетъ имъ, сторонится и ограждается отъ него сколько можетъ, и что же, — вмѣсто того, чтобъ обижаться на это, русскій простолюдинъ спокойно и ясно говоритъ: «это у него вѣра такая, это онъ по вѣрѣ своей не ѣстъ и сторонится» (т. е. не потому, что золъ) и, сознавъ эту высшую причину, отъ всей души извиняетъ еврея. А между тѣмъ, мнѣ иногда входила въ голову фантазія: ну что, если бъ это не евреевъ было въ Россіи три милліона, а русскихъ; а евреевъ было бы 80 милліоновъ — ну, во что обратились бы у нихъ русскіе и какъ бы они ихъ третировали? Дали бы они имъ сравняться съ собою въ правахъ? Дали бы имъ молиться среди нихъ свободно? Не обратили ли бы прямо въ рабовъ? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсѣмъ! Не избили ли бы до тла, до окончательнаго истребленія, какъ дѣлывали они съ чужими народностями въ старину въ древнюю свою исторію? Нѣтъ-съ, увѣряю васъ, что въ русскомъ народѣ нѣтъ предвзятой ненависти къ еврею, а есть, можетъ быть, несимпатія къ нему, особенно по мѣстамъ и даже, можетъ быть, очень сильная. О, безъ этого нельзя, это есть, но происходитъ это вовсе не отъ того, что онъ еврей, не изъ племенной, не изъ религіозной какой-нибудь ненависти, а происходитъ это отъ иныхъ причинъ, въ которыхъ виноватъ уже не коренной народъ, а самъ еврей.

III.

Status in statu. Сорокъ вѣковъ бытія.

Ненависть, да еще отъ предразсудковъ — вотъ въ чемъ обвиняютъ евреи коренное населеніе. Но если ужъ зашла рѣчь о предразсудкахъ, то какъ вы думаете: еврей менѣе питаетъ предразсудковъ къ русскому, чѣмъ русскій къ еврею? Не побольше ли? Вотъ я вамъ представлялъ примѣры того, какъ относится русское простолюдье къ еврею; а у меня передъ глазами письма евреевъ, да не изъ простолюдья, а образованныхъ евреевъ, и — сколько ненависти въ этихъ письмахъ къ «коренному населенію»! А главное, — пишутъ, да и не примѣчаютъ этого сами.

Видите ли, чтобъ существовать сорокъ вѣковъ на землѣ, т. е. во весь почти историческій періодъ человѣ-

чества, да еще въ такомъ плотномъ и нерушимомъ единеніи; чтобъ терять столько разъ свою территорію, свою политическую независимость, законы, почти даже вѣру,— терять и всякій разъ опять соединяться, опять возрождаться *въ прежней идеѣ*, хоть и въ другомъ видѣ, опять создавать себѣ и законы и почти вѣру — нѣтъ, такой живучій народъ, такой необыкновенно сильный и энергическій народъ, такой безпримѣрный въ мірѣ народъ, не могъ существовать безъ status in statu, который онъ сохранялъ всегда и вездѣ во время самыхъ страшныхъ, тысячелѣтнихъ разсѣяній и гоненій своихъ. Говоря про status in statu, я вовсе не обвиненіе какое-нибудь хочу возвести. Но въ чемъ, однако, заключается этотъ status in statu, въ чемъ вѣковѣчно-неизмѣнная идея его, и въ чемъ суть этой идеи?

Излагать это было бы долго, да и невозможно въ коротенькой статьѣ, да и невозможно еще и по той причинѣ, что не настали еще *всѣ времена и сроки*, несмотря на протекшіе сорокъ вѣковъ, и окончательное слово человѣчества объ этомъ великомъ племени еще впереди. Но не вникая въ суть и въ глубину предмета, можно изобразить хотя нѣкоторые признаки этого status in statu, по крайней мѣрѣ, хоть наружно. Признаки эти, отчужденность и отчудимость на степени религіознаго догмата, несліянность, вѣра въ то, что существуетъ въ мірѣ лишь одна народная личность — еврей, а другія хоть есть, но все равно, надо считать, что какъ бы ихъ и не существовало. «Выйди изъ народовъ и составь свою особь и знаи, что съ сихъ поръ ты *единъ у Бога*, остальныхъ истреби, или въ рабовъ обрати, или эксплоатируй. Вѣрь въ побѣду надъ всѣмъ міромъ, вѣрь, что все покорится тебѣ. Строго всѣмъ гнушайся и ни съ кѣмъ въ быту своемъ не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда разсѣянъ будешь по лицу всей земли, между всѣми народами — все равно, — вѣрь всему тому, что тебѣ обѣщано, разъ навсегда, вѣрь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплоатируй и — ожидай, ожидай»... Вотъ суть идеи этого status in statu, а затѣмъ, конечно, есть внутренніе, а можетъ быть и таинственные законы, ограждающіе эту идею.

Вы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что ужъ это-то все вздоръ, и что «если и есть status in statu (т. е. былъ, а теперь-де остались самые слабые слѣды), то единственно лишь гоненія привели къ нему, гоненія породили его, религіозныя, съ среднихъ вѣковъ и раньше, и явился этотъ status in statu един-

ственно лишь изъ чувства самосохраненія. Если же и продолжается, особенно въ Россіи, то потому, что еврей еще не сравненъ въ правахъ съ кореннымъ населеніемъ». Но вотъ что мнѣ кажется: если бъ онъ былъ и сравненъ въ правахъ, то ни за что не отказался бы отъ своего status in statu. Мало того: приписывать status in statu однимъ лишь гоненіямъ и чувству самосохраненія — недостаточно. Да и не хватило бы упорства въ самосохраненіи на сорокъ вѣковъ, надоѣло бы и сохранять себя такой срокъ. И сильнѣйшія цивилизаціи въ мірѣ не достигали и до половины сорока вѣковъ и теряли политическую силу и племенной обликъ. Тутъ не одно самосохраненіе стоитъ главной причиной, а нѣкая идея, движущая и влекущая, нѣчто такое, міровое и глубокое, о чемъ, можетъ быть, человѣчество еще не въ силахъ произнесть своего послѣдняго слова, какъ сказалъ я выше. Что религіозный-то характеръ тутъ есть по-преимуществу — это-то уже несомнѣнно. Что свой Промыслитель, подъ именемъ прежняго первоначальнаго Іеговы, съ своимъ идеаломъ и съ своимъ обѣтомъ продолжаетъ вести свой народъ къ цѣли твердой — это-то уже ясно. Да и нельзя, повторяю я, даже и представить себѣ еврея безъ Бога, мало того, не вѣрю я даже и въ образованныхъ евреевъ безбожниковъ: всѣ они одной сути, и еще Богъ знаетъ чего ждетъ міръ отъ евреевъ образованныхъ! Еще въ дѣтствѣ моемъ я читалъ и слыхалъ про евреевъ легенду о томъ, что они-де и теперь неуклонно ждутъ Мессію, всѣ, какъ самый низшій жидъ, такъ и самый высшій и ученый изъ нихъ, философъ и кабалистъ-раввинъ, что они вѣрятъ всѣ, что Мессія соберетъ ихъ опять въ Іерусалимѣ и низложитъ всѣ народы мечемъ своимъ къ ихъ подножію; что потому-то-де евреи, по крайней мѣрѣ въ огромномъ большинствѣ своемъ, предпочитаютъ лишь одну профессію, — торгъ золотомъ и много что обработку его, и это все будто бы для того, что когда явится Мессія, то чтобъ не имѣть новаго отечества, не быть прикрѣпленнымъ къ землѣ иноземцемъ, обладая ею, а имѣть все съ собою лишь въ золотѣ и драгоцѣнностяхъ, чтобъ удобнѣе ихъ унести, когда

Загоритъ, заблеститъ лучъ денницы:
И кимвалъ, и тимпанъ, и дѣвицы,
И сребро, и добро, и святыню,
Понесемъ въ старый Домъ, въ Палестину.

Все это, повторяю, слышалъ я какъ легенду, но я вѣрю, что суть дѣла существуетъ непремѣнно, особенно въ цѣлой массѣ евреевъ, въ видѣ инстинктивно-неудержимаго влеченія. Но чтобъ сохранялась такая суть дѣла,

ужъ, конечно, необходимо, чтобъ сохранялся самый строгій status in statu. Онъ и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гоненіе было и есть ему причиною, а другая *идея*....

Если же существуетъ вправду такой особый внутренній, строгій строй у евреевъ, связующій ихъ въ нѣчто цѣльное и особное, то вѣдь почти еще можно задуматься надъ вопросомъ о совершенномъ сравненіи во всемъ ихъ *правъ* съ правами коренного населенія. Само собою, все что требуетъ гуманность и справедливость, все что требуетъ человѣчность и христіанскій законъ — все это должно быть сдѣлано для евреевъ. Но если они, во всеоружіи своего строя и своей особности, своего племеннаго и религіознаго отъединенія, во всеоружіи своихъ правилъ и принциповъ, совершенно противоположныхъ той идеѣ, слѣдуя которой, доселѣ, по крайней мѣрѣ, развивался весь европейскій міръ, потребуютъ совершеннаго уравненія *всевозможныхъ* правъ съ кореннымъ населеніемъ, то — не получатъ ли они уже тогда нѣчто большее, нѣчто лишнее, нѣчто верховное противъ самаго коренного даже населенія? Тутъ, конечно, укажутъ на другихъ инородцевъ, «что вотъ, дескать, сравнены или почти сравнены въ правахъ, а евреи имѣютъ правъ меньше всѣхъ инородцевъ, и это-де потому, что боятся насъ, евреевъ, что мы-де будто бы вреднѣе всѣхъ инородцевъ. А между тѣмъ, чѣмъ вреденъ еврей? Если и есть дурныя качества въ еврейскомъ народѣ, то единственно потому, что самъ русскій народъ таковымъ способствуетъ, по русскому собственному невѣжеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей къ самостоятельности, по малому экономическому развитію своему. Русскій-де народъ самъ требуетъ посредника, руководителя, экономическаго опекуна въ дѣлахъ, кредитора, самъ зоветъ его, самъ отдается ему. Посмотрите, напротивъ, въ Европѣ: тамъ народы сильные и самостоятельные духомъ, съ сильнымъ національнымъ развитіемъ, съ привычкой давнишней къ труду и съ умѣньемъ труда, и вотъ тамъ не боятся дать всѣ права еврею! Слышно ли что-нибудь во Франціи о вредѣ отъ status in statu тамошнихъ евреевъ?»

Разсужденіе, повидимому, сильное, но однакоже прежде всего тутъ мерещится одна замѣтка въ скобкахъ, а именно: Стало быть, еврейству тамъ и хорошо, гдѣ народъ еще невѣжественъ, или несвободенъ, или мало развитъ экономически, — тутъ-то, стало быть, ему и лафа! И, вмѣсто того, чтобъ, напротивъ, вліяніемъ своимъ поднять этотъ уровень образованія, усилить знаніе, породить экономическую способность въ коренномъ насе-

леніи, вмѣсто того еврей, гдѣ ни поселялся, тамъ еще пуще унижалъ и развращалъ народъ, тамъ еще больше проникало человѣчество, еще больше падалъ уровень образованія, еще отвратительнѣе распространялась безвыходная, безчеловѣчная бѣдность, а съ нею и отчаяніе. Въ окраинахъ нашихъ спросите коренное населеніе: что двигаетъ евреемъ, и что двигало имъ столько вѣковъ? Получите единогласный отвѣтъ: *безжалостность*; «двигали имъ столько вѣковъ одна лишь къ намъ безжалостность и одна только жажда напиться нашимъ потомъ и кровью». И дѣйствительно, вся дѣятельность евреевъ въ этихъ нашихъ окраинахъ заключалась лишь въ постановкѣ коренного населенія сколь возможно въ безвыходную отъ себя зависимость, *пользуясь мѣстными законами*. О, тутъ они всегда находили возможность пользоваться *правами и законами*. Они всегда умѣли водить дружбу съ тѣми, отъ которыхъ зависѣлъ народъ, и ужъ не имъ бы роптать хоть тутъ-то на *малыя свои права сравнительно съ кореннымъ населеніемъ*. Довольно они ихъ получали у насъ, этихъ правъ, надъ кореннымъ населеніемъ. Что становилось, въ десятилѣтія и столѣтія, съ русскимъ народомъ тамъ, гдѣ поселялись евреи — о томъ свидѣтельствуетъ исторія нашихъ русскихъ окраинъ. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя изъ русскихъ инородцевъ, которое бы, по ужасному вліянію своему, могло бы равняться въ этомъ смыслѣ съ евреемъ? Не найдете такого; въ этомъ смыслѣ еврей сохраняетъ всю свою оригинальность передъ другими русскими инородцами, а причина тому, конечно, этотъ status in statu его, духъ котораго дышетъ именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, къ этому неуваженію ко всякому народу и племени и ко всякому человѣческому существу, кто не есть еврей. И что въ томъ за оправданіе, что вотъ на Западѣ Европы не дали одолѣть себя народы, и что, стало быть, русскій народъ самъ виноватъ? Потому что русскій народъ въ окраинахъ Россіи оказался слабѣе европейскихъ народовъ (и единственно вслѣдствіе жестокихъ вѣковыхъ политическихъ своихъ обстоятельствъ) потому только и задавить его окончательно эксплоатаціей, а не помочь ему?

Если же и указываютъ на Европу, на Францію, напримѣръ, то врядъ ли и тамъ такъ безвреденъ былъ status in statu. Конечно, христіанство и идея его тамъ пали и падаютъ не по винѣ еврея, а по своей винѣ, тѣмъ не менѣе нельзя не указать и въ Европѣ на сильное торжество еврейства, замѣнившаго многія прежнія идеи своими. О, конечно, человѣкъ всегда и во всѣ времена бого-

творилъ матеріализмъ и наклоненъ былъ видѣть и понимать свободу лишь въ обезпеченіи себя накопленными изо всѣхъ силъ и запасенными всѣми средствами деньгами. Но никогда эти стремленія не возводились такъ откровенно и такъ поучительно въ высшій принципъ какъ въ нашемъ девятнадцатомъ вѣкѣ. «Всякъ за себя и только за себя и всякое общеніе между людьми единственно для себя», — вотъ нравственный принципъ большинства теперешнихъ людей [1], и даже не дурныхъ людей, а, напротивъ, трудящихся, не убивающихъ, не ворующихъ. А безжалостность къ низшимъ массамъ, а паденіе братства, а эксплоатація богатаго бѣднымъ, — о, конечно, все это было и прежде и всегда, но — но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христіанствомъ, а теперь, напротивъ, возводится въ добродѣтель. Стало быть, не даромъ же все-таки царятъ тамъ повсемѣстно евреи на биржахъ, не даромъ они движутъ капиталами, не даромъ же они властители кредита и не даромъ, повторяю это, они же властители и всей международной политики, и что будетъ дальше — извѣстно и самимъ евреямъ: близится ихъ царство, полное ихъ царство! Наступаетъ вполнѣ торжество идей, передъ которыми никнутъ чувства человѣколюбія, жажда правды, чувства христіанскія, національныя и даже народной гордости европейскихъ народовъ. Наступаетъ, напротивъ, матеріализмъ, слѣпая, плотоядная жажда *личнаго* матеріальнаго обезпеченія, жажда личнаго накопленія денегъ всѣми средствами — вотъ все, что признано за высшую цѣль, за разумное, за свободу, вмѣсто христіанской идеи спасенія лишь посредствомъ тѣснѣйшаго нравственнаго и братскаго единенія людей. Засмѣются и скажутъ, что это тамъ вовсе не отъ евреевъ. Конечно, не отъ нихъ евреевъ, но если евреи окончательно восторжествовали и процвѣли въ Европѣ именно тогда, когда тамъ восторжествовали эти новыя начала даже до степени возведенія ихъ въ нравственный принципъ, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тутъ своего вліянія. Наши оппоненты указываютъ, что евреи, напротивъ, бѣдны, повмѣстно даже бѣдны, а въ Россіи особенно, что только самая верхушка евреевъ богата, банкиры и цари биржъ, а изъ остальныхъ евреевъ чуть ли не девять десятыхъ ихъ — буквально нищіе, мечутся изъ-за куска хлѣба, предлагаютъ куртажъ, ищутъ

---

[1] Основная идея буржуазіи, замѣстившей собою въ концѣ прошлаго столѣтія прежній строй, и ставшая главной идеей всего нынѣшняго столѣтія во всемъ европейскомъ мірѣ.

гдѣ бы урвать копейку на хлѣбъ. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначаетъ? Не значитъ ли это именно, что въ самомъ трудѣ евреевъ (т. е. огромнаго большинства ихъ, по крайней мѣрѣ), въ самой эксплоатаціи ихъ заключается нѣчто неправильное, ненормальное, нѣчто неестественное, несущее само въ себѣ свою кару. Еврей предлагаетъ посредничество, торгуетъ чужимъ трудомъ. Капиталъ есть накопленный трудъ; еврей любитъ торговать чужимъ трудомъ! Но все же это пока ничего не измѣняетъ: зато верхушка евреевъ воцаряется надъ человѣчествомъ все сильнѣе и тверже и стремится дать міру свой обликъ и свою суть. Евреи все кричатъ, что есть же и между ними хорошіе люди. О Боже! Да развѣ въ этомъ дѣло? Да и вовсе мы не о *хорошихъ* или дурныхъ людяхъ теперь говоримъ. И развѣ между тѣми нѣтъ тоже хорошихъ людей? Развѣ покойный парижскій Джемсъ Ротшильдъ былъ дурной человѣкъ? Мы говоримъ о цѣломъ и объ идеѣ его, мы говоримъ о *жидовствѣ* и объ *идеѣ жидовской,* охватывающей весь міръ, вмѣсто «неудавшагося» христіанства..

IV.

Но да здравствуетъ братство.

Но что же я говорю и зачѣмъ? Или и я врагъ евреевъ? Неужели правда, какъ пишетъ мнѣ одна, безо всякаго для меня сомнѣнія (что уже видно по письму ея и по искреннимъ, горячимъ чувствамъ письма этого) благороднѣйшая и образованная еврейская дѣвушка, — неужели и я, по словамъ ея, врагъ этого «несчастнаго» племени, на которое я «при всякомъ удобномъ случаѣ (будто бы) такъ жестоко нападаю». «Ваше презрѣніе къ жидовскому племени, которое «ни о чемъ кромѣ себя не думаетъ» и т. д. и т. д., очевидно». — Нѣтъ, противъ этой очевидности я возстану, да и самый фактъ оспариваю. Напротивъ, я именно говорю и пишу, что «все, что требуетъ гуманность и справедливость, все, что требуетъ человѣчность и христіанскій законъ — все это должно быть сдѣлано для евреевъ». Я написалъ эти слова выше, но теперь я еще прибавлю къ нимъ, что, несмотря на всѣ соображенія, уже мною выставленныя, я окончательно стою, однакоже, за совершенное расширеніе правъ евреевъ въ формальномъ законодательствѣ и, если возможно только, и за полнѣйшее равенство правъ съ корен-

нымъ населеніемъ (NB., хотя, можетъ быть, въ иныхъ случаяхъ, они имѣютъ уже и теперь больше правъ, или, лучше сказать, *возможности ими пользоваться*, чѣмъ само коренное населеніе). Конечно, мнѣ приходитъ тутъ же на умъ, напримѣръ, такая фантазія: «Ну, что если пошатнется какимъ-нибудь образомъ и отъ чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бѣднаго коренника-мужика отъ столькихъ золъ, — ну, что если тутъ же, къ этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умѣющему сдержать себя отъ соблазна, и котораго именно опекала доселѣ община, — нахлынетъ всѣмъ кагаломъ еврей — да, что тутъ: тутъ мигомъ конецъ его: все имущество его, вся сила его перейдетъ на завтра же во власть еврея, и наступитъ такая пора, съ которой не только не могла бы сравняться пора крѣпостничества, но даже татарщина».

Но несмотря на всѣ «фантазіи» и на все, что я написалъ выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравненіе правъ — потому что это Христовъ законъ, потому что это христіанскій принципъ. Но если такъ, то для чего же я писалъ столько страницъ и что хотѣлъ выразить, если такъ *противорѣчу* себѣ? А вотъ именно то, что я не противорѣчу себѣ и что съ русской, съ коренной стороны нѣтъ и не вижу препятствій въ расширеніи еврейскихъ правъ, но утверждаю зато, что препятствія эти — лежатъ со стороны евреевъ несравненно больше, чѣмъ со стороны русскихъ, и что если до сихъ поръ не созидается того, чего желалось бы всѣмъ сердцемъ, то русскій человѣкъ въ этомъ виновенъ несравненно менѣе, чѣмъ самъ еврей. Подобно тому, какъ я выставлялъ еврея-простолюдина, который не хотѣлъ сообщаться и ѣсть съ русскими, а тѣ не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротивъ, разомъ осмыслили и извинили его, говоря: «это онъ потому, что у него вѣра такая» — подобно тому, т. е. этому еврею простолюдину, мы и въ интеллигентномъ евреѣ видимъ весьма часто такое же безмѣрное и высокомѣрное предубѣжденіе противъ русскаго. О, они кричатъ, что они любятъ русскій народъ; одинъ такъ даже писалъ мнѣ, что онъ именно скорбитъ о томъ, что русскій народъ не имѣетъ религіи и ничего не понимаетъ въ своемъ христіанствѣ. Это уже слишкомъ сильно сказано для еврея, и рождается лишь вопросъ: понимаетъ ли что въ христіанствѣ самъ-то этотъ высокообразованный еврей? Но сомнѣніе и высокомѣріе есть одно изъ очень тяжелыхъ для насъ, русскихъ, свойствъ еврейскаго характера. Кто изъ насъ, русскій или еврей, болѣе неспособенъ понимать другъ

друга? Клянусь, я оправдаю скорѣй русскаго: у русскаго, по крайней мѣрѣ, нѣтъ (положительно нѣтъ!) религіозной ненависти къ еврею. А остальныхъ предубѣжденій гдѣ, у кого больше? Вонъ евреи кричатъ, что они были столько вѣковъ угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь, и что это, по крайней мѣрѣ, надобно взять въ разсчетъ русскому при сужденіи о еврейскомъ характерѣ. Хорошо, мы и беремъ въ разсчетъ и доказать это можемъ: въ интеллигентномъ слоѣ русскаго народа не разъ уже раздавались голоса за евреевъ. Ну, а евреи: брали ли и берутъ ли они въ разсчетъ, жалуясь и обвиняя русскихъ, столько вѣковъ угнетеній и гоненій, которые перенесъ самъ русскій народъ? Неужто можно утверждать, что русскій народъ вытерпѣлъ меньше бѣдъ и золъ «въ свою исторію», чѣмъ евреи гдѣ бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся съ его гонителями, бралъ у нихъ на откупъ русскій народъ, и самъ обращался въ его гонителя? Вѣдь это все было же, существовало, вѣдь это исторія, историческій фактъ, но мы нигдѣ не слыхали, чтобъ еврейскій народъ въ этомъ раскаявался, а русскій народъ онъ все-таки обвиняетъ за то, что тотъ мало любитъ его.

Но «бу̂ди! бу̂ди!». Да будетъ полное и духовное единеніе племенъ и никакой разницы правъ! А для этого я прежде всего умоляю моихъ оппонентовъ и корреспондентовъ-евреевъ быть, напротивъ, къ намъ, русскимъ, снисходительнѣе и справедливѣе. Если высокомѣріе ихъ, если всегдашняя «скорбная брезгливость» евреевъ къ русскому племени есть только предубѣжденіе, «историческій нарость», *а не кроется въ какихъ-нибудь гораздо болѣе глубокихъ тайнахъ его закона и строя*, — то да разсѣется все это скорѣе и да сойдемся мы единымъ духомъ, въ полномъ братствѣ, на взаимную помощь и на великое дѣло служенія землѣ нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимныя обвиненія, да исчезнетъ всегдашняя экзальтація этихъ обвиненій, мѣшающая ясному пониманію вещей. А за русскій народъ поручиться можно: о, онъ приметъ еврея въ самое полное братство съ собою, несмотря на различіе въ вѣрѣ, и съ совершеннымъ уваженіемъ къ историческому факту этого различія, но все-таки для братства, для полнаго братства *нужно братство съ обѣихъ сторонъ*. Пусть еврей покажетъ ему и самъ хоть сколько-нибудь братскаго чувства, чтобъ ободрить его. Я знаю, что въ еврейскомъ народѣ и теперь можно отдѣлить довольно лицъ, ищущихъ и жаждущихъ устраненія недоумѣній, людей при томъ

человѣколюбивыхъ, и не я буду молчать объ этомъ, скрывая истину. Вотъ для того-то, чтобъ эти полезные и человѣколюбивые люди не унывали и не падали духомъ и чтобъ сколько-нибудь ослабить предубѣжденія ихъ и тѣмъ облегчить имъ начало дѣла, я и желалъ бы полнаго расширенія правъ еврейскаго племени, по крайней мѣрѣ, по возможности, именно на сколько самъ еврейскій народъ докажетъ способность свою принять и воспользоваться правами этими безъ ущерба коренному населенію. Даже бы можно было уступить впередъ, сдѣлать съ русской стороны еще больше шаговъ впередъ... Вопросъ только въ томъ: много ли удастся сдѣлать этимъ новымъ, хорошимъ людямъ изъ евреевъ, и насколько сами они способны къ новому и прекрасному дѣлу *настоящаго* братскаго единенія съ чуждыми имъ по вѣрѣ и по крови людьми?

Глава третья.

I.

Похороны „Общечеловѣка“.

Мнѣ о многомъ хотѣлось поговорить въ этотъ разъ въ этомъ мартовскомъ № моего «Дневника». И вотъ опять какъ-то случилось, что то, о чемъ хотѣлъ сказать лишь нѣсколько словъ, заняло все мѣсто. И сколько темъ, на которыя я уже цѣлый годъ собираюсь говорить и все не соберусь. Объ иномъ именно надо бы много сказать, а такъ какъ весьма часто выходитъ, что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему.

Хотѣлось мнѣ въ этотъ разъ тоже, мимо всѣхъ этихъ «важныхъ» темъ, сказать хоть мимоходомъ слова два объ искусствѣ. Видѣлъ я Росси въ Гамлетѣ, и вывелъ заключеніе, что вмѣсто Гамлета я видѣлъ господина Росси. Но лучше и не начинать говорить, если не намѣренъ всего сказать. Хотѣлось бы поговорить (немножко) о картинѣ Семирадскаго, а пуще всего хотѣлось бы свернуть хоть два слова объ идеализмѣ и реализмѣ въ искусствѣ, о Рѣпинѣ и о господинѣ Рафаэлѣ, — но видно придется отложить все это до болѣе удобнаго времени.

Потомъ хотѣлось бы мнѣ, но уже нѣсколько побольше, написать по поводу нѣкоторыхъ изъ полученныхъ мною за все время изданія «Дневника» писемъ, и особенно анонимныхъ. Вообще я не могу отвѣчать на всѣ письма, которыя получаю, а на анонимныя само собою, а

между тѣмъ, за всѣ эти почти полтора года, я вывелъ изъ этой корреспонденціи (все объ общихъ нашихъ темахъ) нѣсколько наблюденій, можетъ быть, и любопытныхъ, на мой взглядъ, по крайней мѣрѣ. По крайней мѣрѣ, можно сдѣлать нѣсколько особыхъ отмѣтокъ уже на основаніи опыта о нашемъ русскомъ умственномъ теперешнемъ настроеніи, о томъ, чѣмъ интересуются и куда клонятъ наши не праздные умы, кто именно наши не праздничные умы, при чемъ выдаются любопытныя черты по возрастамъ, по полу, по сословіямъ и даже по мѣстностямъ Россіи. Думаю, что можно бы отдѣлить нѣсколько мѣста, въ какомъ-нибудь изъ будущихъ «Дневниковъ», по поводу хоть бы однихъ анонимовъ, напримѣръ, и ихъ характеристики, и не думаю, чтобъ это вышло такъ ужъ очень скучно, потому что тутъ довольно всевозможнаго разнообразія. Разумѣется, обо всемъ нельзя сказать и всего нельзя передать и даже, можетъ быть, самаго любопытнаго. А потому и боюсь приниматься, не зная, совладаю ли съ темой.

Однако хочу привести теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мнѣ г-жи Л., очень молодой дѣвицы, еврейки, съ которой я познакомился въ Петербургѣ, и которая пишетъ мнѣ теперь изъ М. Съ уважаемой мною г-жею Л. мы никогда почти не говорили на тему о «еврейскомъ вопросѣ», хотя она, кажется, изъ строгихъ и серьезныхъ евреекъ. Вижу, что очень странно подошло письмо это къ сейчасъ только дописанной мною цѣлой главѣ о евреяхъ. Было бы слишкомъ много все на одну и ту же тему. Но тутъ не на ту тему, а если отчасти и на ту, то выставляется какъ бы совсѣмъ другая, именно противоположная сторона вопроса, а при этомъ и какъ бы даже намекъ на разрѣшеніе его. Пусть извинитъ меня великодушно г-жа Л., что я позволю себѣ передать здѣсь ея словами всю ту часть письма ея о похоронахъ доктора Гинденбурга въ М., подъ первымъ впечатлѣніемъ которыхъ она и написала эти столь искреннія и трогательныя въ правдѣ своей строки. Не хотѣтось мнѣ тоже утаить, что писано этой еврейкой, что чувства эти — чувства еврейки...

Это я пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ похороннаго марша. Хоронили доктора *Гинденбурга*, 84-хъ лѣтъ отъ роду. Какъ протестанта, его сначала отвезли въ кирку, а уже затѣмъ на кладбище. Такого сочувствія, такихъ отъ души вырывавшихся словъ, такихъ горячихъ слезъ я еще никогда не видѣла на похоронахъ... Онъ умеръ въ такой бѣдности, что не на что было похоронить его.

Уже 58 лѣтъ какъ онъ практикуетъ въ М... и сколько добра онъ сдѣлалъ за это время. Если бъ вы знали, Ѳедоръ Михайловичъ, что это былъ за человѣкъ! Онъ былъ докторъ и акушеръ: его имя перейдетъ

здѣсь въ потомство, о немъ уже сложились легенды, весь простой народъ звалъ его отцомъ, любилъ, обожалъ и только съ его смертью понялъ, что онъ потерялъ въ этомъ человѣкѣ. Когда онъ еще стоялъ въ гробу (въ церкви), то не было, кажется, ни одного человѣка, который бы не пошелъ поплакать надъ нимъ и цѣловать его ноги, въ особенности бѣдныя еврейки, которымъ онъ такъ много помогалъ, плакали и молились, чтобъ онъ попалъ прямо въ рай. Сегодня пришла бывшая наша кухарка, ужасно бѣдная женщина, и говоритъ, что, при рожденіи послѣдняго ея ребенка, онъ, видя, что ничего дома нѣтъ, далъ 30 коп., чтобъ сварить супъ, а затѣмъ каждый день приходилъ и оставлялъ 20 коп., а видя, что она поправляется, прислалъ пару куропатокъ. Также будучи позванъ къ одной страшно бѣдной родильницѣ (такія къ нему и обращались), онъ, видя, что не во что принять ребенка, снялъ съ себя верхнюю рубаху и платокъ свой (голова у него была повязана платкомъ), разорвалъ и отдалъ.

Еще вылѣчилъ онъ одного бѣднаго еврея дровосѣка, затѣмъ заболѣла его жена, затѣмъ дѣти, онъ каждый Божій день пріѣзжалъ два раза и когда всѣхъ поставилъ на ноги, спрашиваетъ еврея. Чѣмъ ты мнѣ заплатишь? Тотъ говоритъ, что у него ничего нѣтъ, только послѣдняя коза, которую онъ сегодня продастъ. Онъ такъ и сдѣлалъ, продалъ за 4 руб. и принесъ ему деньги; тогда докторъ далъ лакею своему еще 12 руб. къ этимъ 4-мъ и отправилъ купить корову, а дровосѣку велѣлъ идти домой; черезъ часъ тому приводятъ корову и говорятъ, что докторъ призналъ козье молоко для нихъ вреднымъ.

Такъ онъ прожилъ всю жизнь. Бывали примѣры, что онъ оставлялъ 30 и 40 руб. у бѣдныхъ; оставлялъ и у бѣдныхъ бабъ въ деревняхъ.

Зато хоронили его какъ святого. Всѣ бѣдняки заперли лавки и бѣжали за гробомъ. У евреевъ есть мальчики, которые при похоронахъ распѣваютъ псалмы, но запрещается провожать иновѣрца этими псалмами. Тутъ передъ гробомъ, во время процессіи, ходили мальчики и громко распѣвали эти псалмы. Во всѣхъ синагогахъ молились за его душу, также колокола *всѣхъ* церквей звонили все время процессіи. Былъ хоръ военной музыки, да еще еврейскіе музыканты пошли къ сыну усопшаго, просить, какъ чести, позволенія играть во все время процессіи. Всѣ бѣдные принесли кто 10, кто 5 коп., а богатые евреи да и много и приготовили великолѣпный, огромный вѣнокъ свѣжихъ цвѣтовъ съ бѣлыми и черными лентами по сторонамъ, гдѣ золотыми буквами были вычислены его главныя заслуги, такъ, напр., учрежденіе больницы и т. п. — я не могла разобрать, что тамъ, да и развѣ возможно вычислить его заслуги?

Надъ его могилой держали рѣчь пасторъ и еврейскій раввинъ, и оба плакали, а онъ себѣ лежалъ въ старенькомъ, истертомъ вицъ-мундирѣ, старымъ платкомъ была обвязана его голова, эта милая голова, и казалось, онъ спалъ, такъ свѣжъ былъ цвѣтъ его лица...

II.

Единичный случай.

Единичный случай, скажутъ. Что жъ, господа, я опять виноватъ: опять вижу въ единичномъ случаѣ чуть

не начало разрѣшенія всего вопроса... ну хоть того же самаго «еврейскаго вопроса», которымъ я озаглавилъ мою вторую главу этого «Дневника». Кстати, почему я назвалъ старичка доктора «общечеловѣкомъ»? Это былъ не общечеловѣкъ, а скорѣе общій человѣкъ. Этотъ городъ М. — это большой губернскій городъ въ западномъ краѣ, и въ этомъ городѣ множество евреевъ, есть нѣмцы, русскіе, конечно, поляки, литовцы, — и всѣ-то, всѣ эти народности признали праведнаго старичка каждая за своего. Самъ же онъ былъ протестантъ, и именно нѣмецъ, вполнѣ нѣмецъ: манера какъ онъ купилъ и отослалъ бѣдному еврею корову — это чисто нѣмецкій вицъ. Сперва озадачилъ того: «чѣмъ уплатишь?» И ужъ, конечно, бѣднякъ, продавая послѣднюю козу, чтобъ уплатить «благодѣтелю», не ропталъ ни мало, а, напротивъ, горько страдалъ въ душѣ, что всего-то коза стоитъ 4 цѣлковыхъ, а вѣдь и «бѣдному работающему на нихъ всѣхъ бѣдняковъ старичку тоже вѣдь жить надо, а что такое четыре цѣлковыхъ за всѣ-то его благодѣянія семейству?» Ну, а старичекъ себѣ на умѣ, посмѣивается, а сердце горитъ у него: «вотъ же я ему, бѣдняку, нашъ нѣмецкій вицъ покажу!» И вѣдь какъ, должно быть, хорошо смѣялся про себя, когда повели къ еврею корову, какъ прибодрился духомъ, и, пожалуй, всю ту ночь, можетъ быть, провозился въ нищей лачугѣ какой-нибудь бѣдной еврейки-родильницы. А вѣдь восьмидесятилѣтнему старичку хорошо бы и поспать ночку, попокоить старыя, усталыя кости. Если бъ я былъ живописецъ, я именно бы написалъ этотъ «жанръ», эту ночь у еврейки-родильницы. Я ужасно люблю реализмъ въ искусствѣ, но у иныхъ современныхъ реалистовъ нашихъ *нѣтъ нравственнаго центра* въ ихъ картинахъ, какъ выразился на-дняхъ одинъ могучій поэтъ и тонкій художникъ, говоря со мной о картинѣ Семирадскаго. Тутъ, въ предлагаемомъ мною сюжетѣ для «жанра», мнѣ кажется, былъ бы этотъ центръ. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первыхъ, идеальная, невозможная, смраднѣйшая нищета бѣдной еврейской хаты. Тутъ можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати: юморъ вѣдь есть остроуміе глубокаго чувства, и мнѣ очень нравится это опредѣленіе. Съ тонкимъ чувствомъ и умомъ можно много взять художнику въ одной уже перетасовкѣ ролей всѣхъ этихъ нищихъ предметовъ и домашней утвари въ бѣдной хатѣ, и этой *забавной* перетасовкой сразу оцарапать вамъ сердце. Да и освѣщеніе можно бы сдѣлать интересное: на кривомъ столѣ догораетъ оплывшая сальная свѣчка, а сквозь единствен-

ное, заиндивѣвшее и обледенѣлое оконце уже брезжетъ разсвѣтъ новаго дня, новаго труднаго дня для бѣдныхъ людей. Трудныя родильницы часто родятъ на разсвѣтѣ: всю ночь промучаются, а къ утру родятъ. Вотъ усталый старичекъ, на мигъ оставивъ мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленокъ нѣтъ, ни тряпки нѣтъ (бываетъ этакая бѣдность, господа, клянусь вамъ, бываетъ, чистѣйшій реализмъ, — реализмъ, такъ сказать, доходящій до фантастическаго), и вотъ праведный старичекъ снялъ свой старенькій вицъ-мундирчикъ, снялъ съ плечъ рубашку и разрываетъ ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бѣдный новорожденный еврейчикъ копошится передъ нимъ на постели, христіанинъ принимаетъ еврейчика въ свои руки и обвиваетъ его рубашкой съ плечъ своихъ. Разрѣшеніе еврейскаго вопроса, господа: восьмидесятилѣтній обнаженный и дрожащій отъ утренней сырости торсъ доктора можетъ занять видное мѣсто въ картинѣ, не говорю уже про лицо старика и про лицо молодой, измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденнаго и на продѣлки съ нимъ доктора. Все это видитъ сверху Христосъ, и докторъ знаетъ это: «этотъ бѣдный жидокъ вырастетъ и можетъ снимстъ и самъ съ плеча рубашку и отдастъ христіанину, вспоминая разсказъ о рожденіи своемъ» — съ наивной и благородной вѣрой думаетъ старикъ про себя. Сбудется ли это? Вѣроятнѣе всего что нѣтъ, но вѣдь сбыться можетъ, а на землѣ лучше и дѣлать-то нечего, какъ вѣрить въ то, что *это* сбыться можетъ и сбудется. А докторъ въ правѣ вѣрить, потому что ужъ на немъ сбылось: «исполнилъ я, исполнитъ и другой; чѣмъ я лучше другого?» подкрѣпляетъ онъ себя аргументомъ. Усталая старуха еврейка, — мать родильницы, въ лохмотьяхъ суетится у печки. Еврей, выходившій за вязанкой щепокъ, отворяетъ дверь хаты и мерзлый паръ клубомъ врывается на мигъ въ комнату. На полу, на войлочной подстилкѣ крѣпко спятъ два малолѣтнихъ еврейчика. Однимъ словомъ, аксессуаръ могъ бы выйти хорошій. Даже тридцать копеекъ мѣдью на столѣ, отсчитанныя докторомъ на супъ родильницѣ, могли бы составить деталь: мѣдный столбикъ трехкопеечниковъ, методически сложенныхъ, отнюдь не разбросанныхъ. Даже перламутръ могъ бы быть написанъ какъ и въ картинѣ Семирадскаго, въ которой удивительно написанъ кусокъ перламутра: докторамъ вѣдь дарятъ же иногда (чтобы не платитъ много деньгами) хорошенькія вещицы, и вотъ перламутровая докторская сигарочница лежитъ тутъ же подлѣ мѣдной кучки. Нѣтъ, ничего,

картинка бы вышла съ «нравственнымъ центромъ». Приглашаю написать.

Единственный случай! Года два тому назадъ откуда-то (забылъ) съ юга Россіи писали про какого-то доктора, только что вышедшаго утромъ въ жаркій день изъ купальни, освѣжившагося, ободрившагося и поспѣшавшаго поскорѣе домой напиться кофею, а потому и не захотѣвшаго помочь тутъ же вытащенному изъ воды утопленнику, несмотря на приглашеніе толпы. Его, кажется, за это судили. А вѣдь это, можетъ быть, былъ человѣкъ образованный и новыхъ идей, прогрессистъ, но «разумно» требовавшій новыхъ общихъ законовъ и правъ для всѣхъ, пренебрегая единичными случаями. Полагавшій, можетъ быть, что единичные случаи даже скорѣе вредятъ, отдаляя общее рѣшеніе вопроса, и что въ отношеніи единичныхъ случаевъ «чѣмъ хуже, тѣмъ лучше». Но безъ единичныхъ случаевъ не осуществишь и общихъ правилъ. Этотъ общій человѣкъ, хоть и единичный случай, а соединилъ же надъ гробомъ своимъ весь городъ. Эти рускія бабы и бѣдныя еврейки цѣловали его ноги въ гробу вмѣстѣ, тѣснились около него вмѣстѣ, плакали вмѣстѣ. Пятьдесятъ восемь лѣтъ служенія человѣчеству въ этомъ городѣ, пятьдесятъ восемь лѣтъ неустанной любви соединили всѣхъ хоть разъ надъ гробомъ его въ общемъ восторгѣ и въ общихъ слезахъ. Провожаетъ его весь городъ, звучатъ колокола *всѣхъ* церквей, поются молитвы на всѣхъ языкахъ. Пасторъ со слезами говоритъ свою рѣчь надъ раскрытой могилой. Раввинъ стоитъ въ сторонѣ, ждетъ, и какъ кончилъ пасторъ, смѣняетъ его и говоритъ свою рѣчь и льетъ тѣ же слезы. Да вѣдь въ это мгновеніе почти разрѣшенъ хоть бы этотъ самый «еврейскій вопросъ»! Вѣдь пасторъ и раввинъ соединились въ общей любви, вѣдь они почти обнялись надъ этой могилой въ виду христіанъ и евреевъ. Что въ томъ, что, разойдясь, каждый примется за старые предразудки: капля точитъ камень, а вотъ эти-то «общіе человѣки» побѣждаютъ міръ, соединяя его; предразсудки будутъ блѣднѣть съ каждымъ единичнымъ случаемъ и, наконецъ, вовсе исчезнутъ. Про старичка останутся легенды, пишетъ г-жа Л., тоже еврейка и тоже плакавшая надъ «милой головой» человѣколюбца. А легенды — ужъ это первый шагъ къ дѣлу, это живое воспоминаніе и неустанное напоминаніе объ этихъ «побѣдителяхъ міра», которымъ принадлежитъ земля. А увѣровавъ въ то, что это дѣйствительно побѣдители, и что такіе дѣйствительно «наслѣдятъ землю», вы уже почти соединились во всемъ. Все это очень

просто, но мудрено кажется одно: именно убѣдиться въ томъ, что вотъ безъ этихъ-то единицъ никогда не соберете всего числа, сейчасъ все разсыплется, а вотъ эти-то все соединятъ. Эти мысль даютъ, эти вѣру даютъ, живой опытъ собою представляютъ, а стало быть, и доказательство. И вовсе нечего ждать, пока всѣ станутъ такими же хорошими, какъ и они, или очень многіе: нужно очень немного такихъ, чтобъ спасти міръ, до того они сильны. А если такъ, то какъ же не надѣяться?

III.

Нашимъ корреспондентамъ.

Новочеркаскъ. Ю. Г. О штундѣ высылайте.

* * *

Г-жу NN, предлагающую извѣщать о событіяхъ изъ крестьянской жизни и изъ земской дѣятельности края, просятъ приступить къ обѣщанному.

* * *

Всѣхъ, приславшихъ намъ объявленія о своихъ изданіяхъ для напечатанія въ „Дневникѣ", покорнѣйше просимъ на этотъ разъ извинить насъ: мы не могли исполнить порученій за недостаткомъ мѣста.

АПРѢЛЬ.

Глава первая.

I.

Война. Мы всѣхъ сильнѣе.

«Война! Объявлена война», — восклицали у насъ двѣ недѣли назадъ. «Будетъ ли война?» спрашивали тутъ же другіе. «Объявлена, объявлена!» отвѣчали имъ. «Да, объявлена, но будетъ ли?» продолжали тѣ спрашивать...

И, право, были такіе вопросы, можетъ быть, есть и теперь. И это не отъ одной только долгой дипломатической проволочки разувѣрились такъ люди, тутъ другое, тутъ инстинктъ. Всѣ чувствуютъ, что началось что-то окончательное, что наступаетъ какой-то конецъ чего-то прежняго, долгаго, длиннаго прежняго, и дѣлается шагъ къ чему-то совсѣмъ уже новому, къ чему-то преломляющему прежнее на-двое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шагъ этотъ дѣлаетъ Россія! Вотъ въ этомъ-то и невѣріе «премудрыхъ» людей. Инстинктивное предчувствіе есть, а невѣріе продолжается: «Россія! Но какъ же она можетъ, какъ она смѣетъ? Готова ли она? Готова ли внутренно, нравственно, не только матеріально? Тамъ Европа, легко сказать — Европа! А Россія, что такое Россія? И на такой шагъ?»

Но народъ вѣритъ, что онъ готовъ на новый обновляющій и великій шагъ. Это самъ народъ поднялся на войну, съ царемъ во главѣ. Когда раздалось царское слово, народъ хлынулъ въ церкви, и это по всей землѣ русской. Когда читали царскій манифестъ, народъ крестился, и всѣ *поздравляли* другъ друга съ войной. Мы

это сами видѣли своими глазами, слышали, и все это даже здѣсь, въ Петербургѣ. И опять начались тѣ же дѣла, тѣ же факты, какъ и въ прошломъ году. Крестьяне въ волостяхъ жертвуютъ по силѣ своей деньги, подводы, и вдругъ, эти тысячи людей, какъ одинъ человѣкъ, восклицаютъ: «да что жертвы, что подводы, мы всѣ пойдемъ воевать!» — Здѣсь, въ Петербургѣ, являются жертвователи на раненыхъ и больныхъ воиновъ, даютъ суммы по нѣсколько тысячъ, а записываются *неизвѣстными*. Такихъ фактовъ множество, будутъ десятки тысячъ подобныхъ фактовъ, и никого ими не удивишь. Они означаютъ лишь, что весь народъ поднялся за истину, за святое дѣло, что весь народъ поднялся на войну и идетъ. О, мудрецы и эти факты отрицать будутъ, какъ и прошлогодніе; мудрецы все еще, какъ и недавно, продолжаютъ смѣяться надъ народомъ, хотя и замѣтно притихли ихъ голоса. Почему же они смѣются, откуда въ нихъ столько самоувѣренности? А вотъ именно потому-то и продолжаютъ они смѣяться, что все еще почитаютъ себя силой, той самой силой, безъ которой ничего не подѣлаешь. А между тѣмъ сила-то ихъ приходитъ къ концу. Близятся они къ страшному краху, и когда разразится надъ ними крахъ, пустятся и они говорить другимъ языкомъ, но всѣ увидятъ, что они бормочутъ чужія слова и съ чужого голоса и отвернутся отъ нихъ и обратятъ свое упованіе туда, гдѣ царь и народъ его съ нимъ.

Намъ нужна эта война и самимъ; не для однихъ лишь «братьевъ-славянъ», измученныхъ турками, подымаемся мы, а и для собственнаго спасенія: война освѣжитъ воздухъ, которымъ мы дышимъ и въ которомъ мы задыхались, сидя въ немощи растлѣнія и въ духовной тѣснотѣ. Мудрецы кричатъ и указываютъ, что мы погибаемъ и задыхаемся отъ нашихъ собственныхъ внутреннихъ неустройствъ, а потому не войны желать намъ надо, а, напротивъ, долгаго міра, чтобы мы изъ звѣрей и тупицъ могли обратиться въ людей, научились порядку, честности и чести: — «тогда и идите помогать вашимъ братьямъ-славянамъ» — заканчиваютъ они, въ одинъ хоръ, свою пѣсню. Любопытно въ такомъ случаѣ, въ какомъ видѣ представляютъ они себѣ тотъ процессъ, посредствомъ котораго они сдѣлаются лучше? И какимъ образомъ сами-то они пріобрѣтутъ себѣ честь явнымъ безчестіемъ? Любопытно, наконецъ, какъ и чѣмъ оправдаютъ они свой разрывъ съ всеобщимъ и повсемѣстнымъ чувствомъ народнымъ? Нѣтъ, видно правда, что истина покупается лишь мученичествомъ. Милліоны людей движутся и страдаютъ и отходятъ безслѣдно какъ бы предназначенные никогда

не понять истину. Они живутъ чужою мыслью, ищутъ готоваго слова и примѣра, схватываются за подсказанное дѣло. Они кричатъ, что за нихъ авторитеты, что за нихъ Европа. Они свистятъ на не согласныхъ съ ними, на всѣхъ презирающихъ лакейство мысли и вѣрящихъ въ свою собственную и народа своего самостоятельность. И что же, на самомъ-то дѣлѣ эти массы кричащихъ людей предназначены послужить собою лишь коснымъ средствомъ для того, чтобъ развѣ единицы лишь изъ нихъ приблизились сколько-нибудь къ истинѣ, или, по крайней мѣрѣ, получили бы о ней хоть предчувствіе. Вотъ эти-то единицы и ведутъ потомъ всѣхъ за собою, овладѣваютъ движеніемъ, родятъ идею и оставляютъ ее въ наслѣдство этимъ мечущимся массамъ людей. Такія единицы уже были и у насъ. Нѣкоторые изъ насъ уже ихъ понимаютъ, даже многіе. Но мудрецы все еще продолжаютъ смѣяться и все еще вѣрить въ себя, что они великая сила. «Погуляютъ и воротятся», говорятъ они теперь про наши войска, перешедшія границу, говорятъ даже вслухъ. «Не бывать войнѣ, какая война, гдѣ ужъ намъ воевать: просто военная прогулка и маневры, съ тратой сотенъ милліоновъ, для поддержанія чести». Вотъ ихъ интимный взглядъ на дѣло. Да и интимный ли?

Да, если бъ могло такъ случиться, что мы будемъ побиты, или хотя и побьемъ врага, но подъ давленіемъ обстоятельствъ замиримъ пустяками, — о, тогда мудрецы восторжествуютъ. И какой, какой опять начнется свистъ и гамъ и цинизмъ на нѣсколько лѣтъ, какая опять вакханалія самооплеванія, пощечинъ и самодразненія — и это не для вызова къ воскресенію и силѣ, а именно ради торжества собственнаго безчестія, безличности и безсилія. И новый нигилизмъ начнетъ, точь-въ-точь какъ и прежній, съ отрицанія народа русскаго и самостоятельности его. А главное, пріобрѣтетъ столько силы и такъ укрѣпится, что несомнѣнно начнетъ даже вслухъ помыкать святыней Россіи. И опять молодежь оплюетъ свои семейства и домы, и побѣжитъ отъ своихъ стариковъ, твердящихъ въ зубрежку безконечныя общія мѣста и старыя, надоѣвшія всѣмъ слова о европейскомъ величіи и объ обязанности нашей быть какъ можно безличнѣе. А главное — старая пѣсня, старыя слова и — надолго новаго ничего! Нѣтъ, намъ нужна война и побѣда. Съ войной и побѣдой придетъ новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня какъ прежде, — да что какъ прежде, какъ до сихъ поръ, господа!

Но надо быть на все готовымъ, и что же: если предположить даже самый худшій, самый даже невозможно

худшій исходъ для начавшейся теперь войны, то хоть и много вынесемъ скверпаго, уже надоѣвшаго до смерти стараго горя, но колоссъ все же не будетъ расшатанъ и рано ли, поздно ли, а возьметъ все свое. Это не надежда только, это полная увѣренность, и въ этой невозможности расшатать колоссъ — вся наша сила передъ Европой, гдѣ всѣ теперь чуть не сплошь боятся, что расшатается ихъ старое зданіе, и обрушатся на нихъ потолки. Колоссъ этотъ есть народъ нашъ. И начало теперешней *народной* войны, и всѣ недавнія предшествовавшія ей обстоятельства показали лишь наглядно всѣмъ, кто смотрѣть умѣетъ, всю народную цѣлость и свѣжесть нашу и до какой степени не коснулось народныхъ силъ нашихъ то растлѣніе, котоpое загноило мудрецовъ нашихъ. И какую услугу оказали намъ эти мудрецы передъ Европой! Они такъ недавно еще кричали на весь міръ, что мы бѣдны и ничтожны; они насмѣшливо увѣряли всѣхъ, что духа народнаго нѣтъ у насъ вовсе, потому что и *народа* нѣтъ вовсе, потому что и народъ нашъ и духъ его изобрѣтены лишь фантазіями доморощенныхъ московскихъ мечтателей; что восемьдесятъ милліоновъ мужиковъ русскихъ суть всего только милліоны косныхъ, пьяныхъ податныхъ единицъ; что никакого соединенія царя съ народомъ нѣтъ, что это лишь въ прописяхъ, что все, напротивъ, расшатано и проѣдено нигилизмомъ; что солдаты наши бросятъ ружья и побѣгутъ какъ бараны; что у насъ нѣтъ ни патроновъ, ни провіанта, и что мы, въ заключеніе, сами видимъ, что расхрабрились и зарвались не въ мѣру и изо всѣхъ силъ ждемъ только предлога, какъ бы отступить безъ послѣдней степени позорныхъ пощечинъ, которыхъ «даже и намъ уже нельзя выносить», и молимъ, чтобъ предлогъ этотъ намъ выдумала Европа. Вотъ въ чемъ клялись мудрецы наши, и что же: на нихъ почти и сердиться нельзя, это ихъ взглядъ и понятія, кровные взглядъ и понятія. И дѣйствительно, да, мы бѣдны, да, мы жалки во многомъ; да, дѣйствительно у насъ столько нехорошаго, что мудрецъ, и особенно если онъ *нашъ* «мудрецъ», не могъ «измѣнить» себѣ и не могъ не воскликнуть: «капутъ Россіи и жалѣть нечего!» Вотъ эти-то родныя мысли мудрецовъ нашихъ и облетѣли Европу, и особенно черезъ европейскихъ корреспондентовъ, нахлынувшихъ къ намъ наканунѣ войны изучить насъ на мѣстѣ, разсмотрѣть насъ своими европейскими взглядами и измѣрить наши силы своими европейскими мѣрками. И, само собою, они слушали однихъ лишь «премудрыхъ и разумныхъ» нашихъ. Народную силу, народный духъ всѣ проглядѣли, и облетѣла Европу вѣсть, что гибнетъ Россія, что ничто Россія,

ничто была, ничто и есть и въ ничто обратится. Дрогнули сердца исконныхъ враговъ нашихъ и ненавистниковъ, которымъ мы два вѣка ужъ досаждаемъ въ Европѣ, дрогнули сердца многихъ тысячъ жидовъ европейскихъ и милліоновъ вмѣстѣ съ ними жидовствующихъ «христіанъ»; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россія все перенесетъ, все, до самой срамной и послѣдней пощечины, но не пойдетъ на войну — до того, дескать, сильно ея «миролюбіе». Но Богъ насъ спасъ, наславъ на нихъ на всѣхъ слѣпоту; слишкомъ ужъ они повѣрили въ погибель и въ ничтожность Россіи, а главное-то и проглядѣли. Проглядѣли они весь русскій народъ, какъ живую силу, и проглядѣли колоссальный фактъ: союзъ царя съ народомъ своимъ! Вотъ *только это* и проглядѣли они! Кромѣ того, не могли они никакъ понять и повѣритъ тому, что царь нашъ дѣйствительно миролюбивъ и дѣйствительно такъ жалѣетъ кровь человѣческую: они думали, что все это у насъ изъ «политики». Не видятъ они ничего даже и теперь: они кричатъ, что у насъ вдругъ, послѣ царскаго манифеста появился «патріотизмъ». Да развѣ это патріотизмъ, развѣ это единеніе царя съ народомъ на великое дѣло есть *только* патріотизмъ? Въ томъ-то и главная наша сила, что они совсѣмъ не понимаютъ Россіи, ничего не понимаютъ въ Россіи! Они не знаютъ, что мы непобѣдимы ничѣмъ въ мірѣ, что мы можемъ, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобѣдимыми именно единеніемъ нашего духа народнаго и сознаніемъ народнымъ. Что мы не Франціи, которая вся въ Парижѣ, что мы не Европа, которая вся зависитъ отъ биржъ своей буржуазіи и отъ «спокойствія» своихъ пролетаріевъ, покупаемаго уже послѣдними усиліями тамошнихъ правительствъ и всего лишь на часъ. Не понимаютъ они и не знаютъ, что если мы *захотимъ*, то насъ не побѣдятъ ни жиды всей Европы вмѣстѣ, ни милліоны ихъ золота, ни милліоны ихъ армій, что если мы захотимъ, то насъ нельзя заставить сдѣлать то, чего мы не пожелаемъ, и что нѣтъ такой силы на всей землѣ. Бѣда только въ томъ, что надъ словами этими засмѣются не только въ Европѣ, но и у насъ, и не только наши мудрецы и разумные, а даже и настоящіе русскіе люди интеллигентныхъ слоевъ нашихъ — до того мы еще не понимаемъ самихъ себя и всю исконную силу нашу, до сихъ поръ еще, слава Богу, не надломившуюся. Не понимаютъ эти хорошіе люди, что у насъ, въ нашей необозримой и своеобразной въ высшей степени не похожей на Европу странѣ, даже тактика военная (столь общая вещь!), можетъ быть, совсѣмъ не похожая на европейскую, что основы евро-

пейской тактики — деньги и ученыя организаціи шестисотъ тысячныхъ войсковыхъ нашествій могутъ споткнуться о землю нашу и наткнуться у насъ на новую и невѣдомую имъ силу, основы которой лежатъ въ природѣ безконечной земли русской и въ природѣ всеединяющагося духа русскаго. Но пусть *пока* еще не знаютъ этого у насъ столь многіе и хорошіе люди — (не знаютъ и робѣютъ). Но зато знаютъ это цари наши, и чувствуетъ это народъ нашъ. Александръ I зналъ про эту своеобразную силу нашу, когда говорилъ, что отраститъ себѣ бороду и уйдетъ въ лѣса съ народомъ своимъ, но не положитъ меча и не покорится волѣ Наполеона. И ужъ, конечно, о такую силу разбилась бы вся Европа вмѣстѣ, потому что не хватитъ у нея на такую войну ни денегъ, ни единства организаціи. Когда у насъ всѣ наши русскіе люди узнаютъ о томъ, что мы такъ сильны, тогда и мы добьемся того, что воевать уже не будемъ, тогда въ насъ увѣруетъ и впервые *откроетъ* насъ, какъ когда-то Америку, Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихняго открыли сами себя и чтобъ интеллигенція наша поняла, что ей нельзя уже болѣе разъединяться и разрывать съ народомъ своимъ...

II.

Не всегда война бичъ, иногда и спасеніе.

Но мудрецы наши схватились и за другую сторону дѣла: они проповѣдуютъ о человѣколюбіи, о гуманности, они скорбятъ о пролитой крови, о томъ, что мы еще больше озвѣрѣемъ и осквернимся въ войнѣ и тѣмъ еще болѣе отдалимся отъ внутренняго преуспѣянія, отъ вѣрной дороги, отъ науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но много тутъ и ошибки въ разсужденіяхъ этихъ, а главное — довольно ужъ намъ этихъ буржуазныхъ нравоученій! Подвигъ самопожертвованія кровью своею за все то, что мы почитаемъ святымъ, конечно, нравственнѣе всего буржуазнаго катехизиса. Подъемъ духа націи ради великодушной идеи — есть толчокъ впередъ, а не озвѣрѣніе. Конечно, мы можемъ ошибаться въ томъ, что считаемъ великодушной идеей; но если то, что мы почитаемъ святынею — позорно и порочно, то мы не избѣгаемъ кары отъ самой природы: позорное и порочное несетъ само въ себѣ смерть и рано ли, поздно ли, само собою казнитъ себя. Война, напримѣръ, изъ-за пріобрѣтенія богатствъ, изъ-за потребности ненасытной биржи, хотя въ

основѣ своей и выходитъ изъ того же общаго всѣмъ народамъ закона развитія своей національной личности, но бываетъ тотъ предѣлъ, который въ этомъ развитіи переходить нельзя, и за которымъ всякое пріобрѣтеніе, всякое развитіе значитъ уже излишекъ, несетъ въ себѣ болѣзнь, а за ней и смерть. Такъ Англія, если бъ встала въ теперешней восточной борьбѣ за Турцію, забывъ уже окончательно, изъ-за торговыхъ выгодъ своихъ, стоны измученнаго человѣчества — безъ сомнѣнія, подняла бы сама на себя мечь, который, рано ли, поздно ли, а опустился бы ей самой на голову. Наоборотъ: что святѣе и чище подвига такой войны, которую предпринимаетъ теперь Россія? Скажутъ, что вѣдь и Россія, хоть и вправду идетъ лишь освобождать измученныя племена и возрождать ихъ самостоятельность, но вѣдь тѣмъ самымъ, въ этихъ же племенахъ, пріобрѣтетъ потомъ себѣ же союзниковъ, а, стало быть, все это, разумѣется, составляетъ тотъ же самый законъ развитія національной личности, къ которому стремится и Англія. А такъ какъ замыселъ «панславизма» колоссальностью своей, безъ сомнѣнія, можетъ пугать Европу, то ужъ по одному закону самосохраненія Европа несомнѣнно въ правѣ остановить насъ, точно такъ же, впрочемъ, какъ и мы въ правѣ идти впередъ, нисколько не останавливаясь передъ ея страхомъ и руководясь, въ движеніи нашемъ, лишь политическою предусмотрительностью и благоразуміемъ. Такимъ образомъ ничего нѣтъ въ этомъ ни святого, ни позорнаго, а есть лишь какъ бы вѣковѣчный животный инстинктъ народовъ, которому подчиняются безразлично всѣ еще недостаточно и неразумно развитыя племена на землѣ. Тѣмъ не менѣе накопившееся сознаніе, наука и гуманность, рано ли, поздно ли, непремѣнно должны ослабить вѣковѣчный и звѣрскій инстинктъ неразумныхъ націй и вселить, напротивъ, во всѣхъ народахъ желаніе мира, международнаго единенія, и человѣколюбиваго преуспѣянія. А стало быть, надо все-таки проповѣдывать миръ, а не кровь».

Святыя слова! Но въ настоящемъ случаѣ они какъ-то не прикладываются къ Россіи, или чтобъ еще лучше выразиться,—Россія составляетъ собою, въ теперешній историческій моментъ всей Европы, какъ бы нѣкоторое исключеніе, что и дѣйствительно такъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Россія, столь безкорыстно и правдиво ополчившаяся теперь на спасеніе и на возрожденіе угнетенныхъ племенъ, впослѣдствіи и усилится ими же, то все же, и въ этомъ даже случаѣ, явитъ собою самый исключительный примѣръ, котораго ужъ никакъ не ожидаетъ Европа, мѣряя на свой аршинъ: усилясь, хотя бы даже чрезмѣрно,

союзомъ своимъ съ освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу съ мечемъ, не захватитъ и не отниметъ у нея ничего, какъ бы непремѣнно сдѣлала Европа, если бъ нашла возможность вновь соединиться вся противъ Россіи, и какъ дѣлали въ Европѣ всѣ націи, во всю жизнь свою, чуть только получала какая-инбудь изъ нихъ возможность усилиться насчетъ своей сосѣдки. (И это съ самыхъ дикихъ первобытныхъ временъ Европы вплоть до современной намъ и еще столь недавней Франко-прусской войны, и куда дѣвалась тогда вся ихняя цивилизація: бросилась самая ученая и просвѣщенная изъ всѣхъ націй на другую, столь же ученую и просвѣщенную, и, воспользовавшись случаемъ, загрызла ее какъ дикій звѣрь, выпила ея кровь, выжала изъ нея соки въ видѣ милліардовъ дани и отрубила у нея цѣлый бокъ въ видѣ двухъ самыхъ лучшихъ провинцій! Да, вправду, виновата ли Европа, если послѣ этого не можетъ понять назначенія Россіи? Имъ ли, гордымъ, ученымъ и сильнымъ, понять и допустить хоть въ фантазіи, что Россія предназначена и создана, можетъ быть, для ихъ же спасенія и что она только, можетъ быть, произнесетъ, наконецъ, это слово спасенія!). О да, да, конечно — мы не только ничего не захватимъ у нихъ и не только ничего не отнимемъ, но именно тѣмъ самымъ обстоятельствомъ, что чрезмѣрно усилимся (союзомъ любви и братства, а не захватомъ и насиліемъ) — тѣмъ самымъ и получимъ, наконецъ, возможность не обнажатъ меча, а, напротивъ, въ спокойствіи силы своей, явить собою примѣръ уже искренняго мира, международнаго всеединенія и безкорыстія. Мы первые объявимъ міру, что не черезъ подавленіе личностей иноплеменныхъ намъ національностей хотимъ мы достигнуть собственнаго преуспѣянія, а, напротивъ, видимъ его лишь въ свободнѣйшемъ и самостоятельнѣйшемъ развитіи всѣхъ другихъ націй и въ братскомъ единеніи съ ними, восполняясь одна другою, прививая къ себѣ ихъ органическія особенности и удѣляя имъ и отъ себя вѣтви для прививки, сообщаясь съ ними душой и духомъ, учась у нихъ и уча ихъ и такъ до тѣхъ поръ, когда человѣчество, восполнясь міровымъ общеніемъ народовъ до всеобщаго единства, какъ великое и великолѣпное древо, осѣнитъ собою счастливую землю! О, пускай смѣются надъ этими «фантастическими» словами наши теперешніе «общечеловѣки» и самооплевники наши, но мы не виноваты, если вѣримъ тому, то есть идемъ рука въ руку вмѣстѣ съ народомъ нашимъ, который именно вѣритъ тому. Спросите народъ, спросите солдата: для чего они подымаются, для чего идутъ и чего желаютъ въ

начавшейся войнѣ, — и всѣ скажутъ вамъ, какъ единъ человѣкъ, что идутъ, чтобъ Христу служить и освободить угнетенныхъ братьевъ, и ни одинъ изъ нихъ не думаетъ о захватѣ. Да, мы тутъ, именно въ теперешней же войнѣ, и докажемъ всю нашу идею о будущемъ предназначеніи Россіи въ Европѣ, именно тѣмъ докажемъ, что, освободивъ славянскія земли, не пріобрѣтемъ изъ нихъ себѣ ни клочка (какъ мечтаетъ уже Австрія для себя), а, напротивъ, будемъ надзирать за ихъ же взаимнымъ согласіемъ и оборонять ихъ свободу и самостоятельность, хотя бы отъ всей Европы. А если такъ, то идея наша свята, и война наша вовсе не «вѣковѣчный и звѣрскій инстинктъ неразумныхъ націй», а именно первый шагъ къ достиженію того вѣчнаго міра, въ который мы имѣемъ счастье вѣрить, къ достиженію *воистину* международнаго единенія и *воистину* человѣколюбиваго преуспѣянія! Итакъ, не всегда надо проповѣдывать одинъ только миръ, и не въ мирѣ одномъ, во что бы то ни стало, спасеніе, а иногда и въ войнѣ оно есть.

III.

Спасаетъ ли пролитая кровь?

«Но кровь, но вѣдь все-таки кровь», — наладили мудрецы, и, право же, всѣ эти казенныя фразы о крови — все это подчасъ только наборъ самыхъ ничтожнѣйшихъ высокихъ словъ для извѣстныхъ цѣлей. Биржевики, напримѣръ, чрезвычайно любятъ теперь толковать о гуманности. И многіе, толкующіе теперь о гуманности, суть лишь торгующіе гуманностью. А между тѣмъ крови, можетъ быть, еще больше бы пролилось безъ войны. Повѣрьте, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если не во всѣхъ почти (кромѣ развѣ войнъ междоусобныхъ) — война есть процессъ, которымъ, *именно,* съ наименьшимъ пролитіемъ крови, съ наименьшею скорбью и съ наименьшей тратой силъ, достигается международное спокойствіе и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальныя отношенія между націями. Разумѣется, это грустно, но что же дѣлать, если это такъ. Ужъ лучше разъ извлечь мечъ, чѣмъ страдать безъ срока. И чѣмъ лучше теперешній миръ между цивилизованными націями — войны? Напротивъ, скорѣе миръ, долгій миръ звѣритъ и ожесточаетъ человѣка, а не война. Долгій миръ всегда родитъ жестокость, трусость и грубый, ожирѣлый эгоизмъ, а главное — умственный застой. Въ долгій миръ

жирѣютъ лишь одни эксплоататоры народовъ. Налажено, что миръ родитъ богатство — но вѣдь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болѣзнями богатства, сама передаетъ заразу и остальнымъ девяти десятымъ, хотя и безъ богатства. Заражается же она развратомъ и цинизмомъ. Отъ излишняго скопленія богатства въ однѣхъ рукахъ рождается у обладателей богатства грубость чувствъ. Чувство изящнаго обращается въ жажду капризныхъ излишествъ и ненормальностей. Страшно развивается сладострастіе. Сладострастіе родитъ жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души. Иной сладострастникъ, падающій въ обморокъ при видѣ крови изъ обрѣзаннаго пальца, не проститъ бѣдняку и заточитъ его въ тюрьму за ничтожнѣйшій долгъ. Жестокость же родитъ усиленную, слишкомъ трусливую заботу о самообезпеченіи. Эта трусливая забота о самообезпеченіи всегда, въ долгій миръ, подъ конецъ обращается въ какой-то паническій страхъ за себя, сообщается всѣмъ слоямъ общества, родитъ страшную жажду накопленія и пріобрѣтенія денегъ. Теряется вѣра въ солидарность людей, въ братство ихъ, въ помощь общества, провозглашается громко тезисъ: «всякій за себя и для себя»; бѣднякъ слишкомъ видитъ, что такое богачъ, и какой онъ ему братъ, и вотъ — всѣ уединяются и обособляются. Эгоизмъ умерщвляетъ великодушіе. Лишь искусство поддерживаетъ еще въ обществѣ высшую жизнь и будитъ души, засыпающія въ періоды долгаго мира. Вотъ отчего и выдумали, что искусство можетъ процвѣтать лишь во время долгаго мира, а между тѣмъ тутъ огромная невѣрность: искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается потому во время долгаго мира, что идетъ въ разрѣзъ съ грузнымъ и порочнымъ усыпленіемъ душъ, и, напротивъ, созданіями своими, всегда въ эти періоды, взываетъ къ идеалу, рождаетъ протестъ и негодованіе. волнуетъ общество и нерѣдко заставляетъ страдать людей, жаждущихъ проснуться и выйти изъ зловонной ямы. Въ результатѣ же оказывается, что буржуазный долгій миръ, все-таки, въ концѣ концовъ, всегда почти зарождаетъ самъ потребность войны, выноситъ ее самъ изъ себя какъ жалкое слѣдствіе, но уже не изъ-за великой и справедливой цѣли, достойной великой націи, а изъ-за какихъ-нибудь жалкихъ биржевыхъ интересовъ, изъ-за новыхъ рынковъ, нужныхъ эксплоататорамъ, изъ-за пріобрѣтенія новыхъ рабовъ, необходимыхъ обладателямъ золотыхъ мѣшковъ, — словомъ, изъ-за причинъ, не оправдываемыхъ даже потребностью самосохраненія, а, напротивъ, именно

свидѣтельствующихъ о капризномъ, болѣзненномъ состояніи національнаго организма. Интересы эти и войны, за нихъ предпринимаемыя, развращаютъ и даже совсѣмъ губятъ народы, тогда какъ война изъ-за великодушной цѣли, изъ-за освобожденія угнетенныхъ, ради безкорыстной и святой идеи, — такая война лишь очищаетъ зараженный воздухъ отъ скопившихся міазмовъ, лѣчитъ душу, прогоняетъ позорную трусость и лѣнь, объявляетъ и ставитъ твердую цѣль, даетъ и уясняетъ идею, къ осуществленію которой призвана та или другая нація. Такая война укрѣпляетъ каждую душу сознаніемъ самопожертвованія, а духъ всей націи сознаніемъ взаимной солидарности и единенія всѣхъ членовъ, составляющихъ націю. А главное, сознаніемъ исполненнаго долга и совершеннаго хорошаго дѣла: «не совсѣмъ же мы упали и развратились, есть же и въ насъ человѣческое!» И посмотрите, съ чего начинали свою проповѣдь эти столь недавніе наши проповѣдники миролюбія и гуманности: они прямо начинали съ самой безчеловѣчной жестокости. Они сами не хотѣли и другихъ удерживали помочь мученикамъ, взывавшимъ къ намъ. Они, повидимому, столь гуманные и чувствительные, хладнокровно и съ насмѣшкой отрицали необходимость для насъ самопожертвованія и духовнаго подвига. Они желали столкнуть Россію на самую пошлую и недостойную великой націи дорогу, не говоря уже объ ихъ презрѣніи къ народу, признавшему въ славянскихъ мученикахъ братьевъ своихъ, а стало быть, объ ихъ надменномъ разрывѣ съ волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое «европейское» просвѣщеніе. Любимымъ тезисомъ ихъ было: «врачу, исцѣлися самъ». «Вы лѣзете исцѣлять и спасать другихъ, а у самихъ даже школъ не устроено» — выставляли они на видъ. Что жъ, мы и идемъ исцѣляться. Школы важное дѣло, конечно, но школамъ надобенъ духъ и направленіе, — вотъ мы и идемъ теперь запасаться духомъ и добывать здоровое направленіе. И добудемъ, особенно если Богъ побѣду пошлетъ. Мы воротимся съ сознаніемъ совершеннаго нами безкорыстнаго дѣла, съ сознаніемъ того, что славно послужили человѣчеству кровью своей, съ сознаніемъ обновленной силы нашей и энергіи нашей— и все это вмѣсто столь недавняго позорнаго шатанія мысли нашей, вмѣсто мертвящаго застоя нашего въ заимствованномъ безъ толку европеизмѣ. Главное же, пріобщимся къ народу и соединимся съ нимъ тѣснѣе, — ибо у него и въ немъ одномъ найдемъ исцѣленіе отъ двухвѣковой болѣзни нашей, отъ двухвѣкового непроизводительнаго слабосилія нашего.

Да и вообще можно сказать, что если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дѣло какъ долгій миръ, вмѣсто пользы обществу, обращается ему же во вредъ. Это вообще можно примѣнить даже и ко всей Европѣ. Недаромъ же не проходило поколѣнія въ исторіи европейской, съ тѣхъ поръ какъ мы ее запомнимъ, безъ войны. Итакъ, видно и война необходима для чего-нибудь, цѣлительна, облегчаетъ человѣчество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практикѣ выходитъ, кажется, такъ, и именно потому, что для зараженнаго организма и такое благое дѣло, какъ миръ, обращается во вредъ. Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшаго и великодушнаго принципа, а не для матеріальнаго интереса, не для жаднаго захвата, не изъ гордаго насилія. Такія войны только сбивали націи на ложную дорогу и всегда губили ихъ. Не мы, такъ дѣти наши увидятъ, чѣмъ кончитъ Англія. Теперь для всѣхъ въ мірѣ уже «время близко». Да и пора.

IV.

Мнѣніе „Тишайшаго“ царя о Восточномъ вопросѣ.

Мнѣ сообщили одну выписку изъ одного сочиненія, изданнаго въ Кіевѣ въ прошломъ году: «Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ и патріархѣ Никонѣ, по запискамъ архидіакона Павла Алеппскаго». Соч. Ив. Оболенскаго, Кіевъ, 1876 г. (стр. 90—91). Страница изъ сочиненія чужого, но она столь характерна и столь любопытна въ теперешнюю нашу минуту, а самое сочиненіе, вѣроятно, еще такъ мало извѣстно въ общей массѣ публики, что я рѣшился помѣстить эти нѣсколько строкъ въ «Дневникѣ». Это мнѣніе царя Алексѣя Михаиловича о Восточномъ вопросѣ, — тоже «Тишайшаго» царя, но жившаго еще два вѣка тому назадъ, и его тогдашнія слезы о томъ, что онъ не можетъ быть царемъ Освободителемъ.

Говорили, что на Св. Пасху (1656 г.) государь, христосуясь съ греческими купцами, бывшими въ Москвѣ, сказалъ между прочимъ къ нимъ: „Хотите ли вы и ждете ли вы, чтобы я освободилъ васъ изъ плѣна и выкупилъ?“ И когда они отвѣчали: „Какъ можетъ быть иначе? какъ намъ не желать этого?“ — онъ прибавилъ: „Такъ, — поэтому, когда вы возвратитесь въ свою сторону, просите всѣхъ монаховъ и епископовъ молить Бога и совершать литургію за меня, чтобъ

ихъ молитвами дана была мнѣ мощь отрубить голову ихъ врагу". И, проливъ при этомъ обильныя слезы, онъ сказалъ потомъ, обратившись къ вельможамъ: „Мое сердце сокрушается о порабощеніи этихъ бѣдныхъ людей, которые стонутъ въ рукахъ враговъ нашей вѣры; Богъ призоветъ меня къ отчету въ день суда, *если, имѣя возможность освободить ихъ, я пренебрегу этимъ.* — Я не знаю, какъ долго будетъ продолжаться это дурное состояніе государственныхъ дѣлъ, но со времени моего отца и предшественниковъ его къ намъ не переставали приходить постоянно съ жалобой на угнетеніе поработителей патріархи, епископы, монахи и простые бѣдняки, изъ которыхъ ни одинъ не приходилъ иначе, какъ только преслѣдуемый суровою печалью и убѣгая отъ жестокости своихъ господъ; *и я боюсь вопросовъ, которые мнѣ предложитъ Творецъ въ тотъ день: и порѣшилъ въ своемъ умѣ, если Богу угодно, что потрачу всѣ свои войска и свою казну, пролью свою кровь до послѣдней капли, но постараюсь освободить ихъ*". На все это вельможи отвѣтили ему: „*Господи, даруй по желанію сердца твоего*"

Глава вторая.

Сонъ смѣшного человѣка.

ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

I.

Я смѣшной человѣкъ. Они меня называютъ теперь сумасшедшимъ. Это было бы повышеніе въ чинѣ, если бъ я все еще не оставался для нихъ такимъ же смѣшнымъ, какъ и прежде. Но теперь ужъ я не сержусь, теперь они всѣ мнѣ милы, и даже когда они смѣются надо мной — и тогда чѣмъ-то даже особенно милы. Я бы самъ смѣялся съ ними, — не то что надъ собой, а ихъ любя, если бъ мнѣ не было такъ грустно, на нихъ глядя. Грустно потому, что они не знаютъ истины, а я знаю истину. Охъ какъ тяжело одному знать истину! Но они этого не поймутъ. Нѣтъ, не поймутъ.

А прежде я тосковалъ очень оттого, что казался смѣшнымъ. Не казался, а былъ. Я всегда былъ смѣшонъ, и знаю это, можетъ быть, съ самаго моего рожденія. Можетъ быть, я уже семи лѣтъ зналъ, что я смѣшонъ. Потомъ я учился въ школѣ, потомъ въ университетѣ и что же — чѣмъ больше я учился, тѣмъ больше я научался тому, что я смѣшонъ. Такъ что для меня вся моя университетская наука какъ бы для того только и существовала подъ конецъ, чтобы доказывать и объяснять мнѣ, по мѣрѣ того какъ я въ нее углублялся, что я смѣшонъ. По-

добно какъ въ наукѣ, шло и въ жизни. Съ каждымъ годомъ наростало и укрѣплялось во мнѣ то же самое сознаніе о моемъ смѣшномъ видѣ во всѣхъ отношеніяхъ. Надо мной смѣялись всѣ и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о томъ, что если былъ человѣкъ на землѣ, больше всѣхъ знавшій про то, что я смѣшонъ, такъ это былъ самъ я, и вотъ это-то было для меня всего обиднѣе, что они этого не знаютъ, но тутъ я самъ былъ виноватъ: я всегда былъ такъ гордъ, что ни за что и никогда не хотѣлъ никому въ этомъ признаться. Гордость эта росла во мнѣ съ годами, и если бъ случилось такъ, что я хоть передъ кѣмъ бы то ни было позволилъ бы себѣ признаться, что я смѣшной, то, мнѣ кажется, я тутъ же, въ тотъ же вечеръ, раздробилъ бы себѣ голову изъ револьвера. О, какъ я страдалъ въ моемъ отрочествѣ о томъ, что я не выдержу и вдругъ какъ-нибудь признаюсь самъ товарищамъ. Но съ тѣхъ поръ какъ я сталъ молодымъ человѣкомъ, я хоть и узнавалъ съ каждымъ годомъ все больше и больше о моемъ ужасномъ качествѣ, но почему-то сталъ немного спокойнѣе Именно почему-то, потому что я и до сихъ поръ не могу опредѣлить почему. Можетъ быть, потому, что въ душѣ моей наростала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже безконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убѣжденіе въ томъ, что на свѣтѣ вездѣ *все равно*. Я очень давно предчувствовалъ это, но полное убѣжденіе явилось въ послѣдній годъ какъ-то вдругъ. Я вдругъ почувствовалъ, что мнѣ *все равно* было бы, существовалъ ли бы міръ, или если бъ нигдѣ ничего не было. Я сталъ слышать и чувствовать всѣмъ существомъ моимъ, что *ничего при мнѣ не было*. Сначала мнѣ все казалось, что зато было многое прежде, но потомъ я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-по-малу я убѣдился, что и никогда ничего не будетъ. Тогда я вдругъ пересталъ сердиться на людей, и почти сталъ не примѣчать ихъ. Право, это обнаруживалось даже въ самыхъ мелкихъ пустякахъ: я, напримѣръ, случалось, иду по улицѣ и натыкаюсь на людей. И не то чтобъ отъ задумчивости: о чемъ мнѣ было думать, я совсѣмъ пересталъ тогда думать: мнѣ было все равно. И добро бы я разрѣшилъ вопросы; о, ни одного не разрѣшилъ, а сколько ихъ было? Но мнѣ стало *все равно*, и вопросы всѣ удалились.

И вотъ, послѣ того ужъ, я узналъ истину. Истину я узналъ въ прошломъ ноябрѣ, и именно третьяго ноября, и съ того времени я каждое мгновеніе мое помню. Это было въ мрачный, самый мрачный вечеръ, какой

только можетъ быть. Я возвращался тогда въ одиннадцатомъ часу вечера домой и именно, помню, я подумалъ, что ужъ не можетъ быть болѣе мрачнаго времени. Даже въ физическомъ отношеніи. Дождь лилъ весь день, и это былъ самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, съ явною враждебностью къ людямъ, а тутъ вдругъ, въ одиннадцатомъ часу, пересталъ, и началась страшная сырость, сырѣе и холоднѣе, чѣмъ когда дождь шелъ, и ото всего шелъ какой-то паръ, отъ каждаго камня на улицѣ и изъ каждаго переулка, если заглянуть въ него въ самую глубь, подальше, съ улицы. Мнѣ вдругъ представилось, что если бъ потухъ вездѣ газъ, то стало бы отраднѣе, а съ газомъ грустнѣе сердцу, потому что онъ все это освѣщаетъ. Я въ этотъ день не обѣдалъ и съ ранняго вечера просидѣлъ у одного инженера, а у него сидѣли еще двое пріятелей. Я все молчалъ и, кажется, имъ надоѣлъ. Они говорили о чемъ-то вызывающемъ и вдругъ даже разгорячились. Но имъ было все равно, я это видѣлъ, и они горячились только такъ. Я имъ вдругъ и высказалъ это: «Господа, вѣдь вамъ, говорю, все равно». Они не обидѣлись, а всѣ надо мной засмѣялись. Это оттого, что я сказалъ безъ всякаго упрека, и просто потому, что мнѣ было все равно. Они и увидѣли, что мнѣ все равно, и имъ стало весело.

Когда я на улицѣ подумалъ про газъ, то взглянулъ на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванныя облака, а между ними бездонныя черныя пятна. Вдругъ я замѣтилъ въ одномъ изъ этихъ пятенъ звѣздочку и сталъ пристально глядѣть на нее. Это потому, что эта звѣздочка дала мнѣ мысль: я положилъ въ эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два мѣсяца назадъ, и какъ я ни бѣденъ, а купилъ прекрасный револьверъ и въ тотъ же день зарядилъ его. Но прошло уже два мѣсяца, а онъ все лежалъ въ ящикѣ; но мнѣ было до того все равно, что захотѣлось, наконецъ, улучить минуту, когда будетъ нетакъ все равно, для чего такъ — не знаю. И, такимъ образомъ, въ эти два мѣсяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думалъ, что застрѣлюсь. Я все ждалъ минуты. И вотъ теперь эта звѣздочка дала мнѣ мысль, и я положилъ, что это будетъ *непремѣнно* уже въ эту ночь. А почему звѣздочка дала мысль — не знаю.

И вотъ, когда я смотрѣлъ на небо, меня вдругъ схватила за локоть эта дѣвочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спалъ на дрожкахъ извозчикъ. Дѣвочка была лѣтъ восьми, въ платочкѣ и въ одномъ платьишкѣ, вся мокрая, но я запомнилъ особенно

ея мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мнѣ особенно мелькнули въ глаза. Она вдругъ стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но какъ-то отрывисто выкрикивала какія-то слова, которыя не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью въ ознобѣ. Она была отчего-то въ ужасѣ и кричала отчаянно: «мамочка! мамочка!» Я обернулъ было къ ней лицо, но не сказалъ ни слова и продолжалъ идти, но она бѣжала и дергала меня, и въ голосѣ ея прозвучалъ тотъ звукъ, который у очень испуганныхъ дѣтей означаетъ отчаяніе. Я знаю этотъ звукъ. Хоть она и не договаривала слова, но я понялъ, что ея мать гдѣ-то помираетъ или что-то тамъ съ ними случилось, и она выбѣжала позвать кого-то, найти что-то, чтобъ помочь мамѣ. Но я не пошелъ за ней, и, напротивъ, у меня явилась вдругъ мысль прогнать ее. Я сначала ей сказалъ, чтобъ она отыскала городового. Но она вдругъ сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бѣжала сбоку и не покидала меня. Вотъ тогда-то я топнулъ на нее и крикнулъ. Она прокричала лишь: «баринъ, баринъ!..» но вдругъ бросила меня и стремглавъ перебѣжала улицу: тамъ показался тоже какой-то прохожій, и она, видно, бросилась отъ меня къ нему.

Я поднялся въ мой пятый этажъ. Я живу отъ хозяевъ, и у насъ номера. Комната у меня бѣдная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диванъ, столъ, на которомъ книги, два стула и покойное кресло, старое — престарое, но зато вольтеровское. Я сѣлъ, зажегъ свѣчку и сталъ думать. Рядомъ, въ другой комнатѣ, за перегородкой, продолжался содомъ. Онъ шелъ у нихъ еще съ третьяго дня. Тамъ жилъ отставной капитанъ, а у него были гости — человѣкъ шесть стрюцкихъ, пили водку и играли въ штоссъ старыми картами. Въ прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое изъ нихъ долго таскали другъ друга за волосы. Хозяйка хотѣла жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочихъ жильцовъ у насъ въ номерахъ всего одна маленькая ростомъ и худенькая дама, изъ полковыхъ, пріѣзжая, съ тремя маленькими и заболѣвшими уже у насъ въ номерахъ дѣтьми. И она и дѣти боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а съ самымъ маленькимъ ребенкомъ былъ отъ страху какой-то припадокъ. Этотъ капитанъ, я навѣрно знаю, останавливаетъ иной разъ прохожихъ на Невскомъ и проситъ на бѣдность. На службу его не принимаютъ, но, странное дѣло (я вѣдь къ тому и разсказываю это), капитанъ во весь мѣсяцъ, съ тѣхъ поръ какъ живетъ у насъ, не возбудилъ

во мнѣ никакой досады. Отъ знакомства я, конечно, каждую ночь не сплю до самаго разсвѣта и вотъ уже этакъ годъ. Я просиживаю всю ночь у стола въ креслахъ и ничего не дѣлаю. Книги читаю я только днемъ. Сижу уклонился съ самаго начала, да ему и самому скучно со мной стало съ перваго же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы ихъ тамъ ни было — мнѣ всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, ихъ не слышу, — до того о нихъ забываю. Я вѣдь и даже не думаю, а такъ, какія-то мысли бродятъ, а я ихъ пускаю на волю. Свѣчка сгораетъ въ ночь вся. Я сѣлъ у стола тихо, вынулъ револьверъ и положилъ передъ собою. Когда я его положилъ, то, помню, спросилъ себя: «такъ ли?», и совершенно утвердительно отвѣтилъ себѣ: «такъ». То есть застрѣлюсь. Я зналъ, что ужъ въ эту ночь застрѣлюсь навѣрно, но сколько еще просижу до тѣхъ поръ за столомъ — этого не зналъ. И ужъ, конечно бы, застрѣлился, если бъ не та дѣвочка.

II.

Видите ли: хоть мнѣ и было все равно, но вѣдь больто я, напримѣръ, чувствовалъ. Ударь меня кто, и я бы почувствовалъ боль. Такъ точно и въ нравственномъ отношеніи: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовалъ бы жалость, такъ же какъ и тогда, когда мнѣ было еще въ жизни не все равно. Я и почувствовалъ жалость давеча: ужъ ребенку-то я бы непремѣнно помогъ. Почему жъ я не помогъ дѣвочкѣ? А изъ одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдругъ возникъ тогда передо мной вопросъ, и я не могъ разрѣшить его. Вопросъ былъ праздный, но я разсердился Разсердился вслѣдствіе того вывода, что если я уже рѣшилъ, что въ нынѣшнюю ночь съ собой покончу, то, стало быть, мнѣ все на свѣтѣ должно было стать теперь, болѣе чѣмъ когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдругъ почувствовалъ, что мнѣ не все равно, и я жалѣю дѣвочку? Я помню, что я ее очень пожалѣлъ; до какой-то даже странной боли и совсѣмъ даже невѣроятной въ моемъ положеніи. Право, я не умѣю лучше передать этого тогдашняго моего мимолетнаго ощущенія, но ощущеніе продолжалось и дома, когда уже я засѣлъ за столомъ, и я очень былъ раздраженъ, какъ давно уже не былъ. Разсужденіе текло за разсужденіемъ. Представлялось яснымъ, что если я человѣкъ, и еще не нуль, и пока не обратился въ нуль, то живу, а слѣдственно могу страдать, сердиться и ощущать стыдъ за свои поступки. Пусть. Но вѣдь если

я убью себя, напримѣръ, черезъ два часа, то что мнѣ дѣвочка и какое мнѣ тогда дѣло и до стыда, и до всего на свѣтѣ? Я обращаюсь въ нуль, въ нуль абсолютный. И неужели сознаніе о томъ, что я сейчасъ *совершенно* не буду существовать, а стало быть, и ничто не будетъ существовать, не могло имѣть ни малѣйшаго вліянія ни на чувство жалости къ дѣвочкѣ, ни на чувство стыда послѣ сдѣланной подлости? Вѣдь я потому-то и затопалъ и закричалъ дикимъ голосомъ на несчастнаго ребенка, что «дескать, не только вотъ не чувствую жалости, но если и безчеловѣчную подлость сдѣлаю, то теперь могу, потому что черезъ два часа все угаснетъ». Вѣрите ли, что потому закричалъ? Я теперь почти убѣжденъ въ этомъ. Яснымъ представлялось, что жизнь и міръ теперь какъ бы отъ меня зависятъ. Можно сказать даже такъ, что міръ теперь какъ бы для меня одного и сдѣланъ: застрѣляюсь я, и міра не будетъ, по крайней мѣрѣ для меня. Не говоря уже о томъ, что, можетъ быть, и дѣйствительно ни для кого ничего не будетъ послѣ меня, и весь міръ, только лишь угаснетъ мое сознаніе, угаснетъ тотчасъ какъ призракъ, какъ принадлежность лишь одного моего сознанія, и упразднится, ибо, можетъ быть, весь этотъ міръ и всѣ эти люди — я-то самъ одинъ и есть. Помню, что сидя и разсуждая, я обертывалъ всѣ эти новые вопросы, тѣснившіеся одинъ за другимъ, совсѣмъ даже въ другую сторону и выдумывалъ совсѣмъ ужъ новое. Напримѣръ, мнѣ вдругъ представилось одно странное соображеніе, что если бъ я жилъ прежде на лунѣ, или на Марсѣ, и сдѣлалъ бы тамъ какой-нибудь самый срамный и безчестный поступокъ, какой только можно себѣ представить, и былъ тамъ за него поруганъ и обезчещенъ такъ, какъ только можно ощутить и представить лишь развѣ иногда во снѣ, въ кошмарѣ, и если бъ, очутившись потомъ на землѣ, я продолжалъ бы сохранять сознаніе о томъ, что сдѣлалъ на другой планетѣ, и кромѣ того зналъ бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря съ земли на луну, — было бы мнѣ *все равно* или нѣтъ? Ощущалъ ли бы я за тотъ поступокъ стыдъ или нѣтъ? Вопросы были праздные и лишніе, такъ какъ револьверъ лежалъ уже передо мною, и я всѣмъ существомъ моимъ зналъ, что *это* будетъ навѣрно, но они горячили меня, и я бѣсился. Я какъ бы уже не могъ умереть теперь, чего-то не разрѣшивъ предварительно. Однимъ словомъ, эта дѣвочка спасла меня, потому что я вопросами отдалилъ выстрѣлъ. У капитана же, между тѣмъ, стало тоже все утихать: они кончили въ карты, устраивались спать, а пока ворчали и лѣниво доругивались. Вотъ

тутъ-то я вдругъ и заснулъ, чего никогда со мной не случалось прежде, за столомъ въ креслахъ. Я заснулъ совершенно мнѣ непримѣтно. Сны, какъ извѣстно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется съ ужасающею ясностью, съ ювелирски-мелочною отдѣлкой подробностей, а черезъ другое перескакиваешь, какъ бы не замѣчая вовсе, напримѣръ, черезъ пространство и время. Сны, кажется, стремитъ не разсудокъ, а желаніе, не голова, а сердце, а между тѣмъ, какія хитрѣйшія вещи продѣлывалъ иногда мой разсудокъ во снѣ! Между тѣмъ съ нимъ происходятъ во снѣ вещи совсѣмъ непостижимыя. Мой братъ, напримѣръ, умеръ пять лѣтъ назадъ. Я иногда его вижу во снѣ: онъ принимаетъ участіе въ моихъ дѣлахъ, мы очень заинтересованы, а между тѣмъ, я вѣдь вполнѣ, во все продолженіе сна, знаю и помню, что братъ мой померъ и схороненъ. Какъ же я не дивлюсь тому, что онъ хоть и мертвый, а все-таки тутъ подлѣ меня и со мной хлопочетъ? Почему разумъ мой совершенно допускаетъ все это? Но довольно. Приступаю ко сну моему. Да, мнѣ приснился тогда этотъ сонъ, мой сонъ третьяго ноября! Они дразнятъ меня теперь тѣмъ, что вѣдь это былъ только сонъ. Но неужели не все равно, сонъ или нѣтъ, если сонъ этотъ возвѣстилъ мнѣ Истину? Вѣдь если разъ узналъ Истину и увидѣлъ ее, то вѣдь знаешь, что она Истина и другой нѣтъ и не можетъ быть, спите вы или живете. Ну, и пусть сонъ и пусть, но эту жизнь, которую вы такъ превозносите, я хотѣлъ погасить самоубійствомъ, а сонъ мой, сонъ мой, — о, онъ возвѣстилъ мнѣ новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III.

Я сказалъ, что заснулъ незамѣтно, и даже какъ бы продолжая разсуждать о тѣхъ же матеріяхъ. Вдругъ приснилось мнѣ, что я беру револьверъ, и, сидя, наставляю его прямо въ сердце, — въ сердце, а не въ голову; я же положилъ прежде непремѣнно застрѣлиться въ голову и именно въ правый високъ. Наставивъ въ грудь, я подождалъ секунду или двѣ, и свѣчка моя, столъ и стѣна передо мною вдругъ задвигались и заколыхались. Я поскорѣе выстрѣлилъ.

Во снѣ вы падаете иногда съ высоты, или рѣжутъ васъ, или бьютъ, но вы никогда не чувствуете боли, кромѣ развѣ если сами какъ-нибудь, дѣйствительно, ушибетесь въ кровати: тутъ вы почувствуете боль и всегда

почти отъ боли проснетесь. Такъ и во снѣ моемъ все во мнѣ сотряслось и все вдругъ потухло, и стало кругомъ меня ужасно черно. Я какъ будто ослѣпъ и онѣмѣлъ, и вотъ я лежу на чемъ-то твердомъ, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сдѣлать ни малѣйшаго движенія. Кругомъ ходятъ и кричатъ, баситъ капитанъ, визжитъ хозяйка, — и вдругъ опять перерывъ, и вотъ уже меня несутъ въ закрытомъ гробѣ. И я чувствую, какъ колыхается гробъ, и разсуждаю объ этомъ, и вдругъ меня въ первый разъ поражаетъ идея, что вѣдь я умеръ, совсѣмъ умеръ, знаю это и не сомнѣваюсь, не вижу и не движусь, а между тѣмъ чувствую и разсуждаю. Но я скоро мирюсь съ этимъ и, по обыкновенію, какъ во снѣ, принимаю дѣйствительность безъ спору.

И вотъ меня зарываютъ въ землю. Всѣ уходятъ, я одинъ, совершенно одинъ. Я не движусь. Всегда, когда я прежде на яву представлялъ себѣ какъ меня похоронятъ въ могилѣ, то собственно съ могилой соединялъ лишь одно ощущеніе сырости и холода. Такъ и теперь я почувствовалъ, что мнѣ очень холодно, особенно концамъ пальцевъ на ногахъ, но больше ничего не почувствовалъ.

Я лежалъ и, странно, — ничего не ждалъ, безъ спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — часъ или нѣсколько дней, или много дней. Но вотъ вдругъ, на лѣвый закрытый глазъ мой упала просочившаяся черезъ крышу гроба капля воды, за ней черезъ минуту другая, затѣмъ черезъ минуту третья, и такъ далѣе и такъ далѣе, все черезъ минуту. Глубокое негодованіе загорѣлось вдругъ въ сердцѣ моемъ, и вдругъ я почувствовалъ въ немъ физическую боль: «Это рана моя», подумалъ я, «это выстрѣлъ, тамъ пуля»... А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глазъ. И я вдругъ воззвалъ, не голосомъ, ибо былъ недвижимъ, но всѣмъ существомъ моимъ къ Властителю всего того, что совершалось со мною:

— Кто бы Ты ни былъ, но если Ты есть, и если существуетъ что-нибудь разумнѣе того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здѣсь. Если же Ты мстишь мнѣ за неразумное самоубійство мое — безобразіемъ и нелѣпостью дальнѣйшаго бытія, то знай, что никогда и никакому мученію, какое бы ни постигло меня, не сравниться съ тѣмъ презрѣніемъ, которое я буду молча ощущать, хотя бы въ продолженіе милліоновъ лѣтъ мученичества!..

Я воззвалъ и смолкъ. Цѣлую почти минуту продол-

жалось глубокое молчаніе, и даже еще одна капля упала, но я зналъ, я беспредѣльно и нерушимо зналъ и вѣрилъ, что непремѣнно сейчасъ все измѣнится. И вотъ вдругъ разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я былъ взятъ какимъ-то темнымъ и неизвѣстнымъ мнѣ существомъ, и мы очутились въ пространствѣ. Я вдругъ прозрѣлъ: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись въ пространствѣ уже далеко отъ земли. Я не спрашивалъ того, который несъ меня, ни о чемъ, я ждалъ и былъ гордъ. Я увѣрялъ себя, что не боюсь, и замиралъ отъ восхищенія при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все такъ, какъ всегда во снѣ, когда перескакиваешь черезъ пространство и время и черезъ законы бытія и разсудка, и останавливаешься лишь на точкахъ, о которыхъ грезитъ сердце. Я помню, что вдругъ увидалъ въ темнотѣ одну звѣздочку. «Это Сиріусъ?» — спросилъ я, вдругъ не удержавшись, ибо я не хотѣлъ ни о чемъ спрашивать. — «Нѣтъ, это та самая звѣзда, которую ты видѣлъ между облаками, возвращаясь домой»,— отвѣчало мнѣ существо, уносившее меня. Я зналъ, что оно имѣло какъ бы лякъ человѣческій. Странное дѣло, я не любилъ это существо, даже чувствовалъ глубокое отвращеніе. Я ждалъ совершеннаго небытія и съ тѣмъ выстрѣлилъ себѣ въ сердце. И вотъ я въ рукахъ существа, конечно, не человѣческаго, но которое *есть*, существуетъ: «А, стало быть, есть и за гробомъ жизнь!» — подумалъ я съ страннымъ легкомысліемъ сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубинѣ: «Если надо *быть* снова, — подумалъ я, — и жить опять по чьей-то неустранимой волѣ, то не хочу, чтобъ меня побѣдили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказалъ я вдругъ моему спутнику, не удержавшись отъ унизительнаго вопроса, въ которомъ заключалось признаніе, и ощутивъ, какъ уколъ булавки, въ сердцѣ моемъ униженіе мое. Онъ не отвѣтилъ на вопросъ мой, но я вдругъ почувствовалъ, что меня не презираютъ, и надо мной не смѣются, и даже не сожалѣютъ меня, и что путь нашъ имѣетъ цѣль, неизвѣстную и таинственную, и касающуюся одного меня. Страхъ наросталъ въ моемъ сердцѣ. Что-то нѣмое, но съ мученіемъ сообщалось мнѣ отъ моего молчащаго спутника и какъ бы проницало меня. Мы неслись въ темныхъ и невѣдомыхъ пространствахъ. Я давно уже пересталъ видѣть знакомыя глазу созвѣздія. Я зналъ, что есть такія звѣзды въ небесныхъ пространствахъ, отъ которыхъ

лучи доходятъ на землю лишь въ тысячи и милліоны лѣтъ. Можетъ быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждалъ чего-то въ страшной измучившей мое сердце тоскѣ. И вдругъ какое-то знакомое и въ высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидѣлъ вдругъ наше солнце! Я зналъ, что это не могло быть *наше солнце*, породившее *нашу* землю, и что мы отъ нашего солнца на безконечномъ разстояніи, но я узналъ почему-то всѣмъ существомъ моимъ, что это совершенно такое же солнце, какъ и наше, повтореніе его и двойникъ его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгомъ въ душѣ моей: родная сила свѣта, того же, который родилъ меня, отозвалась въ моемъ сердцѣ и воскресила его, и я ощутилъ жизнь, прежнюю жизнь, въ первый разъ послѣ моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, какъ наше, — вскричалъ я, — то гдѣ же земля? — И мой спутникъ указалъ мнѣ на звѣздочку, сверкавшую въ темнотѣ изумруднымъ блескомъ. Мы неслись прямо къ ней.

— И неужели возможны такія повторенія во вселенной, неужели таковъ природный законъ?.. И если это тамъ земля, то неужели она такая же земля, какъ и наша... совершенно такая же, несчастная, бѣдная, но дорогая и вѣчно любимая, и такую же мучительную любовь рождающаявъ себѣ въ самыхъ неблагодарныхъ даже дѣтяхъ своихъ, какъ и наша?.. — вскричалъ я, сотрясаясь отъ неудержимой, восторженной любви къ той родной прежней землѣ, которую я покинулъ. Образъ бѣдной дѣвочки, которую я обидѣлъ, промелькнулъ передо мною.

— Увидишь все, — отвѣтилъ мой спутникъ, и какая-то печаль послышалась въ его словѣ.

Но мы быстро приближались къ планетѣ. Она росла въ глазахъ моихъ, я уже различалъ океанъ, очертанія Европы, и вдругъ странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорѣлось въ сердцѣ моемъ. Какъ можетъ быть подобное повтореніе и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставилъ, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрѣломъ въ сердце мое погасилъ мою жизнь. Но никогда, никогда не переставалъ я любить ту землю, и даже въ ту ночь, разставаясь съ ней, я, можетъ быть, любилъ ее мучительнѣе, чѣмъ когда-либо. Есть ли мученіе на этой новой землѣ? На нашей землѣ мы истинно можемъ любить лишь съ мученіемъ и только черезъ мученіе! Мы иначе не умѣемъ любить и не знаемъ иной

любви. Я хочу мученія, чтобъ любить. Я хочу, я жажду, въ сію минуту, цѣловать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставилъ, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..

Но спутникъ мой уже оставилъ меня. Я вдругъ, совсѣмъ какъ бы для меня незамѣтно, сталъ на этой другой землѣ въ яркомъ свѣтѣ солнечнаго, прелестнаго какъ рай дня. Я стоялъ, кажется, на одномъ изъ тѣхъ островов, которые составляютъ на нашей землѣ Греческій Архипелагъ, или гдѣ-нибудь на прибрежьѣ материка, прилегающаго къ этому Архипелагу. О, все было точно такъ же, какъ у насъ, но, казалось, всюду сіяло какимъ-то праздникомъ и великимъ, святымъ и достигнутымъ, наконецъ, торжествомъ. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало ихъ съ любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокія, прекрасныя деревья стояли во всей роскоши своего цвѣта, а безчисленные листочки ихъ, я убѣжденъ въ томъ, привѣтствовали меня тихимъ, ласковымъ своимъ шумомъ, и какъ бы выговаривали какія-то слова любви. Мурава горѣла яркими ароматными цвѣтами. Птички стадами перелетали въ воздухѣ и, не боясь меня, садились мнѣ на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконецъ, я увидѣлъ и узналъ людей счастливой земли этой. Они пришли ко мнѣ сами, они окружили меня, цѣловали меня. Дѣти солнца, дѣти своего солнца, — о, какъ они были прекрасны! Никогда я не видывалъ на нашей землѣ такой красоты въ человѣкѣ. Развѣ лишь въ дѣтяхъ нашихъ, въ самые первые годы ихъ возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблескъ красоты этой. Глаза этихъ счастливыхъ людей сверкали яснымъ блескомъ. Лица ихъ сіяли разумомъ и какимъ-то восполнившимся уже до спокойствія сознаніемъ, но лица эти были веселы; въ словахъ и голосахъ этихъ людей звучала дѣтская радость. О, я тотчасъ же, при первомъ взглядѣ на ихъ лица, понялъ все, все! Это была земля, не оскверненная грѣхопаденіемъ, на ней жили люди не согрѣшившіе, жили въ такомъ же раю, въ какомъ жили, по преданіямъ всего человѣчества, и наши согрѣшившіе прародители, съ тою только разницею, что вся земля здѣсь была повсюду однимъ и тѣмъ же раемъ. Эти люди, радостно смѣясь, тѣснились ко мнѣ и ласкали меня; они увели меня къ себѣ, и всякому изъ нихъ хотѣлось успокоить меня. О, они не разспрашивали меня ни о чемъ, но какъ бы все уже знали, такъ мнѣ казалось, и имъ хотѣлось согнать поскорѣе страданіе съ лица моего.

IV.

Видите ли что, опять-таки: Ну, пусть это былъ только сонъ! Но ощущеніе любви этихъ невинныхъ и прекрасныхъ людей осталось во мнѣ нарѣки, и я чувствую, что ихъ любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видѣлъ ихъ самъ, ихъ позналъ и убѣдился, я любилъ ихъ, я страдалъ за нихъ потомъ. О, я тотчасъ же понялъ, даже тогда, что во многомъ не пойму ихъ вовсе; мнѣ, какъ современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрѣшимымъ то, напримѣръ, что они, зная столь много, не имѣютъ нашей науки. Но я скоро понялъ, что знаніе ихъ восполнялось и питалось иными проникновеніями, чѣмъ у насъ на землѣ, и что стремленія ихъ были тоже совсѣмъ иныя. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились къ познанію жизни, такъ какъ мы стремимся сознать ее, потому что жизнь ихъ была восполнена. Но знаніе ихъ было глубже и выше, чѣмъ у нашей науки, ибо наука наша ищетъ объяснить что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобъ научить другихъ жить; они же и безъ науки знали, какъ имъ жить, и это я понялъ, но я не могъ понять ихъ знанія. Они указывали мнѣ на деревья свои, и я не могъ понять той степени любви, съ которою они смотрѣли на нихъ, точно они говорили съ себѣ подобными существами. И знаете, можетъ быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили съ ними! Да, они нашли ихъ языкъ, и убѣжденъ, что тѣ понимали ихъ. Такъ смотрѣли они и на всю природу, — на животныхъ, которыя жили съ ними мирно, не нападали на нихъ, и любили ихъ, побѣжденныя ихъ же любовью. Они указывали мнѣ на звѣзды и говорили о нихъ со мною о чемъ-то, чего я не могъ понять, но я убѣжденъ, что они какъ бы чѣмъ-то соприкасались со небесными звѣздами, не мыслью только, а какимъ-то живымъ путемъ. О, эти люди и не добивались, чтобъ я понималъ ихъ, они любили меня и безъ того, но зато я зналъ, что и они никогда не поймутъ меня, а потому почти и не говорилъ имъ о нашей землѣ. Я лишь цѣловалъ при нихъ ту землю, на которой они жили, и безъ словъ обожалъ ихъ самихъ, и они видѣли это и давали себя обожать, не стыдясь, что я ихъ обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, въ слезахъ, порою цѣловалъ ихъ ноги, радостно зная въ сердцѣ своемъ, какою силой любви они мнѣ отвѣчаютъ. Порою я спрашивалъ себя въ удивленіи: какъ могли они, все время, не оскорбить такого какъ я и ни разу не возбудить въ такомъ какъ я чувства рев-

ности и зависти? Много разъ я спрашивалъ себя, какъ могъ я, хвастунъ и лжецъ, не говорить имъ о моихъ познаніяхъ, о которыхъ, конечно, они не имѣли понятія, не желалъ удивить ихъ ими, или хотя бы только изъ любви къ нимъ? — Они были рѣзвы и веселы какъ дѣти. Они блуждали по своимъ прекраснымъ рощамъ и лѣсамъ, они пѣли свои прекрасныя пѣсни, они питались легкою пищею, плодами своихъ деревьевъ, медомъ лѣсовъ своихъ и молокомъ ихъ любившихъ животныхъ. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У нихъ была любовь и рождались дѣти, но никогда я не замѣчалъ въ нихъ порывовъ того *жестокаго* сладострастія, которое постигаетъ почти всѣхъ на нашей землѣ, всѣхъ и всякаго, и служитъ единственнымъ источникомъ почти всѣхъ грѣховъ нашего человѣчества. Они радовались являвшимся у нихъ дѣтямъ какъ новымъ участникамъ въ ихъ блаженствѣ. Между ними не было ссоръ и не было ревности, и они не понимали даже, что это значитъ. Ихъ дѣти были дѣтьми всѣхъ, потому что всѣ составляли одну семью. У нихъ почти совсѣмъ не было болѣзней, хоть и была смерть; но старики ихъ умирали тихо, какъ бы засыпая, окруженные прощавшимися съ ними людьми, благословляя ихъ, улыбаясь имъ и сами напутствуемые ихъ свѣтлыми улыбками. Скорби, слезъ при этомъ я не видалъ, а была лишь умножившаяся какъ бы до восторга любовь, но до восторга спокойнаго, восполнившагося, созерцательнаго. — Подумать можно было, что они соприкасались еще съ умершими своими даже и послѣ ихъ смерти, и что земное единеніе между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивалъ ихъ про вѣчную жизнь, но видимо были въ ней до того убѣждены безотчетно, что это не составляло для нихъ вопроса. У нихъ не было храмовъ, но у нихъ было какое-то насущное, живое и безпрерывное единеніе съ Цѣлымъ вселенной; у нихъ не было вѣры, зато было твердое знаніе, что когда восполнится ихъ земная радость до предѣловъ природы земной, тогда наступитъ для нихъ, и для живущихъ и для умершихъ, еще большее расширеніе соприкосновенія съ Цѣлымъ вселенной. Они ждали этого мгновенія съ радостью, но не торопясь, не страдая по немъ, а какъ бы уже имѣя его въ предчувствіяхъ сердца своего, о которыхъ они сообщали другъ другу. По вечерамъ, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. Въ этихъ пѣсняхъ они передавали всѣ ощущенія, которыя доставилъ имъ отходящій день, славили его и прощались съ нимъ. Они славили природу, землю, море, лѣса. Они

любили слагать пѣсни другъ о другѣ, и хвалили другъ друга какъ дѣти; это были самыя простыя пѣсни, но онѣ выливались изъ сердца и проницали сердца. Да и не въ пѣсняхъ однѣхъ, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь въ томъ, что любовались другъ другомъ. Это была какая-то влюбленность другъ въ друга, всецѣлая, всеобщая. Иныхъ же ихъ пѣсенъ, торжественныхъ и восторженныхъ, я почти не понималъ вовсе. Понимая слова, я никогда не могъ проникнуть во все ихъ значеніе. Оно оставалось какъ бы недоступно моему уму, зато сердце мое какъ бы проникалось имъ безотчетно и все болѣе и болѣе. Я часто говорилъ имъ, что я все это давно уже прежде предчувствовалъ, что вся эта радость и слава сказывалась мнѣ еще на нашей землѣ зовущею тоскою, доходившею подчасъ до нестерпимой скорби; что я предчувствовалъ всѣхъ ихъ и славу ихъ въ снахъ моего сердца и въ мечтахъ ума моего, что я часто не могъ смотрѣть, на землѣ нашей, на заходящее солнце безъ слезъ... Что въ ненависти моей къ людямъ нашей земли заключалась всегда тоска: зачѣмъ я не могу ненавидѣть ихъ, не любя ихъ, зачѣмъ не могу не прощать ихъ, а въ любви моей къ нимъ тоска: зачѣмъ не могу любить ихъ, не ненавидя ихъ? Они слушали меня, и я видѣлъ, что они не могли представить себѣ то, что я говорю, но я не жалѣлъ, что имъ говорилъ о томъ: я зналъ, что они понимаютъ всю силу тоски моей о тѣхъ, кого я покинулъ. Да, когда они глядѣли на меня своимъ милымъ проникнутымъ любовью взглядомъ, когда я чувствовалъ, что при нихъ и мое сердце становилось столь же невиннымъ и правдивымъ, какъ и ихъ сердца, то и я не жалѣлъ, что не понимаю ихъ. Отъ ощущенія полноты жизни мнѣ захватывало духъ, и я молча молился на нихъ.

О, всѣ теперь смѣются мнѣ въ глаза и увѣряютъ меня, что и во снѣ нельзя видѣть такія подробности, какія я передаю теперь, что во снѣ моемъ я видѣлъ или прочувствовалъ лишь одно ощущеніе, порожденное моимъ же сердцемъ въ бреду, а подробности уже самъ сочинилъ, проснувшись. И когда я открылъ имъ, что, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ такъ было — Боже, какой смѣхъ они подняли мнѣ въ глаза, и какое я имъ доставилъ веселье! О, да, конечно, я былъ побѣжденъ лишь однимъ ощущеніемъ того сна, и оно только одно уцѣлѣло въ до крови раненномъ сердцѣ моемъ: но зато, дѣйствительные образы и формы сна моего, т. е. тѣ, которые я въ самомъ дѣлѣ видѣлъ въ самый часъ моего сновидѣнія, были восполнены до такой гармоніи, были до того

обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не въ силахъ былъ воплотить ихъ въ слабыя слова наши, такъ что они должны были какъ бы стушеваться въ умѣ моемъ, а, стало быть, и дѣйствительно, можетъ быть, я самъ, безсознательно, принужденъ былъ сочинить потомъ подробности и ужъ, конечно, исказивъ ихъ, особенно при такомъ страстномъ желаніи моемъ поскорѣе и хоть сколько-нибудь ихъ передать. Но зато какъ же мнѣ не вѣрить, что все это было? Было, можетъ быть, въ тысячу разъ лучше, свѣтлѣе и радостнѣе, чѣмъ я разсказываю? Пусть это сонъ, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вамъ секретъ: все это, быть можетъ, было вовсе не сонъ! Ибо тутъ случилось нѣчто такое, нѣчто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во снѣ. Пусть сонъ мой породило сердце мое, но развѣ одно сердце мое въ силахъ было породить ту ужасную правду, которая потомъ случилась со мной? Какъ бы могъ я ее одинъ выдумать или пригрезить сердцемъ? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный умъ мой могли возвыситься до такого откровенія правды! О, судите сами: я до сихъ поръ скрывалъ, но теперь доскажу и эту правду. Дѣло въ томъ, что я... развратилъ ихъ всѣхъ!

V.

Да, да, кончилось тѣмъ, что я развратилъ ихъ всѣхъ! Какъ это могло совершиться — не знаю, но помню ясно. Сонъ пролетѣлъ черезъ тысячелѣтія и оставилъ во мнѣ лишь ощущеніе цѣлаго. Знаю только, что причиною грѣхопаденія былъ я. Какъ скверная трихина, какъ атомъ чумы, заражающій цѣлыя государства, такъ и я заразилъ собой всю эту счастливую, безгрѣшную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, можетъ быть, началось *невинно*, съ шутки, съ кокетства, съ любовной игры, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, съ атома, но этотъ атомъ лжи проникъ въ ихъ сердца и понравился имъ. Затѣмъ быстро родилось сладострастіе, сладострастіе породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже другъ противъ друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыдъ и стыдъ возвели въ добродѣтель. Родилось понятіе о чести, и въ каждомъ союзѣ поднялось свое знамя. Они стали мучить животныхъ, и животныя удалились отъ нихъ въ лѣса и стали имъ врагами.

Началась борьба за разъединеніе, за обособленіе, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разныхъ языкахъ. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мученія и говорили, что Истина достигается лишь мученіемъ. Тогда у нихъ явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братствѣ и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрѣли справедливость и предписали себѣ цѣлые кодексы, чтобъ сохранить ее, а для обезпеченія кодексовъ поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о томъ, что потеряли, даже не хотѣли вѣрить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смѣялись даже надъ возможностью этого прежняго ихъ счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себѣ въ формахъ и образахъ, но, странное и чудесное дѣло: утративъ всякую вѣру въ бывшее счастье, назвавъ его сказкой, они до того захотѣли быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали передъ желаніями сердца своего, какъ дѣти, обоготворили это желаніе, настроили храмовъ и стали молиться своей же идеѣ, своему же «желанію», въ то же время вполнѣ вѣруя въ неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если бъ только могло такъ случиться, чтобъ они возвратились въ то невинное и счастливое состояніе, которое они утратили, и если бъ кто вдругъ имъ показалъ его вновь и спросилъ ихъ: хотятъ ли они возвратиться къ нему? — то они навѣрно бы отказались. Они отвѣчали мнѣ: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы *знаемъ* это и плачемъ объ этомъ, и мучимъ себя за это сами, и истязаемъ себя и наказываемъ больше, чѣмъ даже, можетъ быть, тотъ милосердный Судья, Который будетъ судить насъ, и имени Котораго мы не знаемъ. Но у насъ есть наука, и черезъ нее мы отыщемъ вновь Истину, но примемъ ее уже сознательно. Знаніе выше чувства, сознаніе жизни — выше жизни. Наука дастъ намъ премудрость, премудрость откроетъ законы, а знаніе законовъ счастья — выше счастья». Вотъ что говорили они, и послѣ словъ такихъ каждый возлюбилъ себя больше всѣхъ, да и не могли они иначе сдѣлать. Каждый сталъ столь ревнивъ къ своей личности, что изо всѣхъ силъ старался лишь унизить и умалить ее въ другихъ; и въ томъ жизнь свою полагалъ. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнѣйшимъ, съ тѣмъ только, чтобъ тѣ помогали имъ давить еще слабѣйшихъ, чѣмъ они сами. Явились праведники, которые приходили къ этимъ людямъ со слезами и говорили имъ объ ихъ гор-

дости, о потерѣ мѣры и гармоніи, объ утратѣ ими стыда. Надъ ними смѣялись или побивали ихъ каменьями. Святая кровь лилась на порогахъ храмовъ. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: какъ бы всѣмъ вновь такъ соединиться, чтобъ каждому, не переставая любить себя больше всѣхъ, въ то же время не мѣшать никому другому, и жить такимъ образомъ всѣмъ вмѣстѣ какъ бы и въ согласномъ обществѣ. Цѣлыя войны поднялись изъ-за этой идеи. Всѣ воюющіе твердо вѣрили въ то же время, что наука, премудрость и чувство самосохраненія заставятъ, наконецъ, человѣка соединиться въ согласное и разумное общество, а потому, пока для ускоренія дѣла, «премудрые» старались поскорѣе истребить всѣхъ «непремудрыхъ» и не понимающихъ ихъ идею, чтобъ они не мѣшали торжеству ея. Но чувство самосохраненія стало быстро ослабѣвать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для пріобрѣтенія всего прибѣгалось къ злодѣйству, а если оно не удавалось — къ самоубійству. Явились религіи съ культомъ небытія и саморазрушенія ради вѣчнаго успокоенія въ ничтожествѣ. Наконецъ, эти люди устали въ безсмысленномъ трудѣ, и на ихъ лицахъ появилось страданіе, и эти люди провозгласили, что страданіе есть красота, ибо въ страданіи лишь мысль. Они воспѣли страданіе въ пѣсняхъ своихъ. Я ходилъ между ними, ломая руки, и плакалъ надъ ними, но любилъ ихъ, можетъ быть, еще больше чѣмъ прежде, когда на лицахъ ихъ еще не было страданія, и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбилъ ихъ оскверненную ими землю еще больше, чѣмъ когда она была раемъ, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любилъ горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а о нихъ я плакалъ, жалѣя ихъ. Я простиралъ къ нимъ руки, въ отчаяніи обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорилъ имъ, что все это сдѣлалъ я, я одинъ; что это я имъ принесъ развратъ, заразу и ложь! Я умолялъ ихъ, чтобъ они распяли меня на крестѣ, я училъ ихъ какъ сдѣлать крестъ. Я не могъ, не въ силахъ былъ убить себя самъ, но я хотѣлъ принять отъ нихъ муки, я жаждалъ мукъ, жаждалъ, чтобъ въ этихъ мукахъ пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смѣялись надо мной и стали меня считать подъ конецъ за юродиваго. Они справдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконецъ, они объявили мнѣ, что я становлюсь имъ опасенъ и что они посадятъ меня въ сумасшедшій домъ, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла въ мою

душу съ такою силой, что сердце мое стѣснилось, и я почувствовалъ, что умру, и тутъ... ну, вотъ тутъ я и проснулся.

Было уже утро, т. е. еще не разсвѣло, но было около шестого часу. Я очнулся въ тѣхъ же креслахъ, свѣчка моя догорѣла вся, у капитана спали, и кругомъ была рѣдкая въ нашей квартирѣ тишина. Первымъ дѣломъ, я вскочилъ въ чрезвычайномъ удивленіи; никогда со мной не случалось ничего подобнаго, даже до пустяковъ и мелочей: никогда еще не засыпалъ я, напримѣръ, такъ въ моихъ креслахъ. Тутъ вдругъ, пока я стоялъ и приходилъ въ себя, — вдругъ мелькнулъ передо мной мой револьверъ, готовый, заряженный, — но я въ одинъ мигъ оттолкнулъ его отъ себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднялъ руки и воззвалъ къ вѣчной Истинѣ; не воззвалъ, а заплакалъ; восторгъ, неизмѣримый восторгъ поднималъ все существо мое. Да, жизнь, и — проповѣдь! О проповѣди я порѣшилъ въ ту же минуту и ужъ, конечно, на всю жизнь! Я иду проповѣдывать, а хочу проповѣдывать, — что? Истину, ибо я видѣлъ ее, видѣлъ своими глазами, видѣлъ всю ея славу!

И вотъ съ тѣхъ поръ я и проповѣдую! Кромѣ того — люблю всѣхъ, которые надо мной смѣются, больше всѣхъ остальныхъ. Почему это такъ, — не знаю и не могу объяснить, но пусть такъ и будетъ. Они говорятъ, что я ужъ и теперь сбиваюсь, т. е. коль ужъ и теперь сбился такъ, что жъ дальше-то будетъ? Правда истинная: Я сбиваюсь и, можетъ быть, дальше пойдетъ еще хуже. И ужъ, конечно, собьюсь нѣсколько разъ, пока отыщу, какъ проповѣдывать, т. е. какими словами и какими дѣлами, потому что это очень трудно исполнить. Я вѣдь и теперь все это какъ день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А, между тѣмъ, вѣдь всѣ идутъ къ одному и тому же, по крайней мѣрѣ, всѣ стремятся къ одному и тому же, отъ мудреца до послѣдняго разбойника, только разными дорогами. Старая это Истина, но вотъ что тутъ новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видѣлъ Истину, я видѣлъ и знаю, что люди могутъ быть прекрасны и счастливы, не потерявъ способности жить на землѣ. Я не хочу и не могу вѣрить, чтобы зло было нормальнымъ состояніемъ людей. А вѣдь они всѣ только надъ этой вѣрой-то моей и смѣются. Но какъ мнѣ не вѣровать: Я видѣлъ Истину, — не то что изобрѣлъ умомъ, а видѣлъ, видѣлъ, и *живой образъ* ея наполнилъ душу мою навѣки. Я видѣлъ ее въ такой восполненной цѣ-

лости, что не могу повѣрить, чтобъ ея не могло быть у людей. Итакъ, какъ же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже нѣсколько разъ, и буду говорить даже, можетъ быть, чужими словами, но не надолго: живой образъ того, что я видѣлъ, будетъ всегда со мной и всегда меня поправитъ и направитъ. О, я бодръ, я свѣжъ, я иду, иду, и хотя бы тысячу лѣтъ. Знаете, я хотѣлъ даже скрыть, въ началѣ, что я развратилъ ихъ всѣхъ, но это была ошибка, — вотъ уже первая ошибка! Но Истина шепнула мнѣ, что я *лгу*, и охранила меня и направила: Но какъ устроить рай — я не знаю, потому что не умѣю передать словами. Послѣ сна моего потерялъ слова. По крайней мѣрѣ, всѣ главныя слова, самыя нужныя. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видѣлъ воочію, хотя и не умѣю пересказать, что я видѣлъ. Но вотъ этого насмѣшники и не понимаютъ: «Сонъ, дескать, видѣлъ, бредъ, галлюцинацію». Эхъ! Неужто это премудро? А они такъ гордятся! Сонъ? Что такое сонъ? А наша-то жизнь не сонъ? Больше скажу: Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (вѣдь ужъ это-то я понимаю!) — ну, а я все-таки буду проповѣдывать. А, между тѣмъ, такъ это просто: въ одинъ бы день, *въ одинъ бы часъ* — все бы сразу устроилось! Главное — люби другихъ какъ себя, вотъ что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчасъ найдешь какъ устроиться. А между тѣмъ вѣдь это только — старая истина, которую билiонъ разъ повторяли и читали, да вѣдь не ужилась же! «Сознаніе жизни выше жизни, знаніе законовъ счастья — выше счастья» — вотъ съ чѣмъ бороться надо! И буду. Если только всѣ захотятъ, то сейчасъ все устроится.

А ту маленькую дѣвочку я отыскалъ... И пойду! И пойду!

Освобожденіе подсудимой Корниловой.

---

22 апрѣля сего года, въ здѣшнемъ окружномъ судѣ вторично рѣшалось дѣло подсудимой Корниловой съ новымъ составомъ суда и присяжныхъ засѣдателей. Прежній приговоръ суда, состоявшійся еще въ прошломъ году, былъ кассированъ сенатомъ за недостаточно произведенной медицинской экспертизой. Можетъ быть,

большинство моихъ читателей очень помнитъ объ этомъ дѣлѣ. Молодая мачеха (тогда еще несовершеннолѣтняя), въ беременномъ состояніи, въ злобѣ на мужа, попрекавшаго ее прежней женой, и послѣ жестокой съ нимъ ссоры, выбросила свою шестилѣтнюю падчерицу, дочь своего мужа отъ прежней жены, изъ окошка, изъ четвертаго этажа ($5^1/_2$ саж. высоты), при чемъ случилось почти чудо: ребенокъ не разбился, не сломалъ и не повредилъ себѣ ничего и скоро очнулся; теперь же живъ и здоровъ. Это звѣрское дѣйствіе молодой женщины сопровождалось такой безсмыслицей и загадочностью всѣхъ ея остальныхъ поступковъ, что само собою являлось соображеніе: въ здравомъ ли умѣ она дѣйствовала? И не была ли она, напримѣръ, хотъ подъ аффектомъ своего беременнаго состоянія? Проснувшись утромъ, когда уже мужъ ушелъ на работу, она дала выспаться ребенку; потомъ одѣла ее, обула и напоила кофеемъ. Затѣмъ отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянувъ даже изъ окна внизъ, чтобъ посмотрѣть, что сталось съ ребенкомъ, она затворила окно, одѣлась и отправилась въ участокъ. Тамъ объявила о происшедшемъ, отвѣчала на вопросы грубо и странно. Когда ей, уже нѣсколько часовъ спустя, возвѣстили, что ребенокъ остался живъ, она, не обнаруживъ ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно замѣтила, какъ бы въ задумчивости: «какая живучая». Затѣмъ въ продолженіе почти полутора мѣсяца, въ двухъ тюрьмахъ, въ которыхъ ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдругъ все разомъ прошло: всѣ остальные четыре мѣсяца до разрѣшенія отъ бремени и все остальное время, на первомъ судѣ и послѣ суда, начальница женскаго отдѣленія тюрьмы не могла ею нахвалиться: явился характеръ ровный, тихій, ласковый, ясный. Впрочемъ, я все это уже описывалъ прежде. Однимъ словомъ, прежній приговоръ былъ кассированъ, а затѣмъ состоялся новый, 22 апрѣля, которымъ Корнилова была оправдана.

Я былъ въ залѣ суда и вынесъ много впечатлѣній. Жаль только, что нахожусь въ полной невозможности передать ихъ и буквально принужденъ ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о дѣлѣ единственно потому, что прежде много писалъ о немъ, а стало быть, считаю не лишнимъ сообщить читателямъ и объ исходѣ его. Судъ продолжался вдвое долѣе прежняго раза. Составъ присяжныхъ засѣдателей былъ особенно замѣчателенъ. Призвана была новая свидѣтельница — начальница женскаго отдѣленія тюрьмы. Пока-

заніе ея о характерѣ Корниловой было очень вѣско и въ ея пользу. Замѣчательно очень было показаніе мужа подсудимой: съ чрезвычайною честностью онъ не скрылъ ничего, ни ссоръ, ни обидъ съ его стороны, оправдывалъ жену, говорилъ сердечно, прямо, откровенно. Онъ всего только крестьянинъ, правда, носящій нѣмецкое платье, читающій книги и получающій тридцать рублей ежемѣсячнаго жалованья. Затѣмъ замѣчателенъ былъ подборъ экспертовъ. Приглашено было шесть человѣкъ, — все извѣстности и знаменитости въ медицинѣ; изъ нихъ давали показанія пятеро: трое заявили не колеблясь, что болѣзненное состояніе, свойственное беременной женщинѣ, весьма *могло* повліять на совершеніе преступленія и въ данномъ случаѣ. Одинъ лишь докторъ Флоринскій съ этимъ мнѣніемъ былъ не согласенъ, но, къ счастью, онъ не психіатръ, и мнѣніе его прошло безъ всякаго значенія. Послѣднимъ показывалъ извѣстный нашъ психіатръ Дюковъ. Онъ говорилъ почти около часу, отвѣчая на вопросы прокурора и предсѣдателя суда. Трудно представить себѣ болѣе тонкое пониманіе души человѣческой и болѣзненныхъ ея состояній. Поражало тоже богатство и разнообразіе многолѣтнихъ и чрезвычайно любопытныхъ наблюденій. Что до меня, то я выслушалъ нѣкоторыя изъ показаній эксперта рѣшительно съ восхищеніемъ. Мнѣніе эксперта было вполнѣ въ пользу подсудимой: онъ *утвердительно* и *доказательно* заключилъ о несомнѣнномъ, по его мнѣнію, болѣзненномъ состояніи души подсудимой, во время совершенія ею страшнаго преступленія.

Кончилось тѣмъ, что самъ прокуроръ, несмотря на свою грозную рѣчь — отказался отъ обвиненія въ преднамѣренности, т. е. отъ самой главной злобы обвиненія. Защитникъ подсудимой, присяжный повѣренный Люстигъ, тоже чрезвычайно ловко отбилъ нѣсколько обвиненій, а одно, важнѣйшее, — долгую будто бы ненависть мачехи къ падчерицѣ, — привелъ къ полному нулю, осязательно обнаруживъ въ немъ лишь коридорную сплетню. Затѣмъ, послѣ длинной рѣчи предсѣдателя, присяжные удалились и менѣе чѣмъ черезъ четверть часа вынесли оправдательный приговоръ, произведшій почти восторгъ въ многочисленной публикѣ. Многіе крестились, другіе поздравляли другъ друга, жали другъ другу руки. Мужъ оправданной увелъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой, и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ, почти послѣ годового отсутствія, съ впечатлѣніемъ огромнаго вынесеннаго ею урока на всю жизнь и явнаго Божьяго перста во всемъ этомъ

дѣлѣ, — хотя бы только начиная съ чудеснаго спасенія ребенка.

Къ моимъ читателямъ.

Прибѣгаю къ чрезвычайному снисхожденію моихъ читателей. Въ прошломъ году, изъ-за моей поѣздки лѣтомъ въ Эмсъ для лѣченія болѣзни, я принужденъ былъ выдать №№ «Дневника» за іюль и августъ мѣсяцы вмѣстѣ, въ одномъ выпускѣ, 31-го августа, конечно, въ удвоенномъ числѣ листовъ. Въ нынѣшнемъ же году, по усилившейся еще болѣе моей болѣзни, я принужденъ выдать и майскій № съ іюньскимъ вмѣстѣ, въ одномъ выпускѣ, въ концѣ іюня или въ самыхъ первыхъ числахъ іюля. Затѣмъ іюльскій и августовскій №№, какъ и въ прошломъ году, выйдутъ тоже въ августѣ. Съ сентября же мѣсяца №№ «Дневника» начнутъ опять выдаваться аккуратно въ послѣднее число каждаго мѣсяца.

Уѣзжая изъ Петербурга по приговору докторовъ, я заявляю, что хотя въ Петербургѣ помѣщеніе редакціи и будетъ закрыто до самаго сентября, тѣмъ не менѣе всѣ иногородніе подписчики и читатели, *равно какъ и всѣ петербургскіе*, въ случаѣ надобности, могутъ обращаться *письменно* въ редакцію совершенно какъ и прежде. Письма эти будутъ немедленно доставлены завѣдующимъ редакціей, и всякая жалоба, всякое недоумѣніе и проч. будутъ попрежнему въ скорѣйшемъ времени удовлетворены. Равно всѣ письма на мое имя будутъ немедленно мнѣ доставлены. На этотъ счетъ сдѣланы редакціей самыя точныя распоряженія. Подписка попрежнему можетъ продолжаться: подписавшіеся будутъ немедленно удовлетворены.

Не знаю, извинятъ ли меня мои читатели и подписчики «Дневника писателя»? При такомъ непредвидѣнномъ обстоятельствѣ какъ усложненіе болѣзни, трудно было угадать все это впередъ. Огромное большинство читателей моихъ относилось доселѣ ко мнѣ весьма доброжелательно, въ чемъ я увѣренъ по твердымъ фактамъ. Осмѣливаюсь ждать этой доброты и теперь.

МАЙ—ІЮНЬ.

Глава первая.

I.

Изъ книги предсказаній Іоанна Лихтенбергера, 1528 года.

Мнѣ сообщили одинъ престранный документъ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказаніе о нынѣшнихъ событіяхъ и о нынѣшней войнѣ. Одинъ изъ нашихъ молодыхъ ученыхъ нашелъ въ Лондонѣ, въ королевской библіотекѣ, одинъ старый фоліантъ, «книгу предсказаній», «Prognosticationes» Іоанна Лихтенбергера, изданіе 1528 года, на латинскомъ языкѣ. Экземпляръ рѣдкій и даже, можетъ быть, единственный въ свѣтѣ. Въ туманныхъ картинахъ изображается въ этой книгѣ будущность Европы и человѣчества. Книга мистическая. Помѣщаю лишь тѣ строки, которыя мнѣ сообщили, *и лишь какъ фактъ*, не лишенный нѣкотораго любопытства.

Послѣ предсказаній о французской революціи (1789 г.) и о Наполеонѣ первомъ, который именуется въ книгѣ великимъ орломъ (aquila grandis), говорится далѣе о грядущихъ европейскихъ событіяхъ такъ:

Post haec veniet altera aquila quae ignem fovebit in gremio sponsae Christ et erunt tres adulteri unusque legitimus qui alios vorabit.

Exsurget aquila grandis in Oriente, aquicolae occidentales moerebunt. Tria regna comportabit. Ipsa est aquila grandis, quae dormiet annis multis, refutata resurget et

contremiscere faciet aquicolas occidentales in terra Virginis et alios montes Superbissimos; et volabit ad meridiem recuperando amissa. Et amore charitatis inflammabit Deus aquilam orientalem volando ad ardua alis duabus fulgens in montibus christianitatis.

(Послѣ сего придетъ другой орелъ, который огонь возбудитъ въ лонѣ невѣсты Христовой, и будутъ трое побочныхъ и одинъ законный, который другихъ пожретъ.

Возстанетъ орелъ великій на Востокѣ, островитяне западные восплачутъ. Три царства захватитъ. Сей есть орелъ великій, который спитъ годы многіе, пораженный возстанетъ и трепетать заставитъ водяныхъ жителей западныхъ въ землѣ дѣвы и другія вершины прегордыя, и полетитъ къ югу, чтобъ возвратить потерянное. И любовью милосердія воспламенитъ Богъ орла восточнаго, да летитъ на трудное, крылами двумя сверкая на вершинахъ христіанства.)

Конечно, темновато, но согласитесь однако, что «великій орелъ восточный, который спитъ годы многіе, *пораженный* (NB. не война ли наша съ Европой 22 года назадъ?) возстанетъ и трепетать заставитъ водяныхъ жителей западныхъ», — согласитесь, что это какъ будто и похоже на теперешнее, конечно, если только не брать въ соображеніе нашихъ европействующихъ мудрецовъ, какъ бы все еще трепещущихъ передъ «водяными жителями», обратно пророчеству, тогда какъ уже орелъ полетѣлъ, «сверкая двумя крылами». Но трепещутъ лишь мудрецы, а не орелъ. Далѣе: «водяные жители западные въ землѣ дѣвы», если приложить пророчество Іоанна Лихтенбергера къ современнымъ событіямъ, очевидно, означаютъ собою Англію. Но въ такомъ случаѣ почему же «земля дѣвы»? Въ 1528 году еще не было королевы Елизаветы. Не означаетъ ли аллегорія Лихтенбергера землю (острова Великобританіи), не подвергавшуюся ни разу нашествію, въ томъ смыслѣ, въ какомъ выразился когда-то Наполеонъ о европейскихъ столицахъ, подвергавшихся его нашествію: «Столица, подвергавшаяся нашествію, похожа на дѣвицу, потерявшую свою дѣвственность». — Но орелъ, по пророчеству, трепетать заставитъ и другія «вершины прегордыя», полетитъ къ югу, чтобъ возвратить потерянное, и — что всего замѣчательнѣе — «любовью милосердія воспламенитъ Богъ орла восточнаго, да летитъ на трудное, крылами двумя сверкая на вершинахъ христіанства». Согласитесь, что ужъ это-то нѣчто даже очень подходящее. Развѣ не милосердіемъ воспламеняясь къ угнетеннымъ и измученнымъ, взлетѣлъ нашъ орелъ? Развѣ не милосердіе Христово двинуло весь на-

родъ нашъ «на дѣло трудное» и въ прошломъ и въ нынѣшнемъ году? Кто станетъ это отрицать? Этотъ народъ, эти солдаты, взятые изъ народа незнающаго хорошенько молитвъ, подымали однакоже въ Крыму, подъ Севастополемъ, раненыхъ французовъ и уносили ихъ на перевязку *прежде*, чѣмъ своихъ русскихъ: «Тѣ пусть полежатъ и подождутъ; русскаго-то всякій подыметъ, а французикъ-то чужой, его напередъ пожалѣть надо». Развѣ тутъ не Христосъ, и развѣ не Христовъ духъ въ этихъ простодушныхъ и великодушныхъ, шутливо сказанныхъ словахъ? Итакъ, развѣ не духъ Христовъ въ народѣ нашемъ, — темномъ, но добромъ, невѣжественномъ, но не варварскомъ. Да, Христосъ его сила, наша русская теперь сила, когда орелъ полетѣлъ «на дѣло трудное». И что значитъ одинъ какой-нибудь анекдотъ о Севастопольскихъ солдатикахъ сравнительно съ тысячами проявленій духа Христова и «огня милосердія» въ народѣ нашемъ, наяву и воочію, въ наше время, хотя и до сихъ поръ изо всѣхъ силъ стараются мудрецы задавить мысль и похоронить фактъ участія народа нашего, духомъ и сердцемъ его, въ теперешнихъ судьбахъ Россіи и Востока? И не указывайте на «звѣрство и тупость» народа, на невѣжественность его и неразвитость, при которыхъ онъ будто бы не въ силахъ понять того, что теперь происходитъ. Сущность дѣла онъ понимаетъ превосходно, будьте увѣрены, онъ четыре уже столѣтія какъ ее понимаетъ. Вотъ теперешнихъ дипломатовъ не понялъ бы вовсе, если бъ о нихъ узналъ; но вѣдь кто жъ ихъ пойметъ? Да, великій народъ нашъ былъ взращенъ какъ звѣрь, претерпѣлъ мученія еще съ самаго начала своего, за всю свою тысячу лѣтъ, такія, какихъ ни одинъ народъ въ мірѣ не вытерпѣлъ бы, разложился бы и уничтожился, а нашъ только окрѣпъ и сплотился въ этихъ мученіяхъ. Не корите же его за «звѣрство и невѣжество», господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сдѣлали. Напротивъ, вы ушли отъ него, двѣсти лѣтъ назадъ, покинули его и разъединили съ собой, обратили его въ податную единицу и въ оброчную для себя статью, и росъ онъ, господа просвѣщенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный какъ звѣрь въ берлогу свою, но съ нимъ былъ его Христосъ и съ нимъ однимъ дожилъ онъ до великаго дня, когда двадцать лѣтъ тому назадъ, сѣверный орелъ, воспламененный огнемъ милосердія, взмахнулъ и расправилъ свои крылья и осѣнилъ его этими крылами... Да, звѣрства въ народѣ много, но не указывайте на него. Это звѣрство — тина вѣковъ, она вычистится. И не

то бѣда, что есть еще звѣрство; бѣда въ томъ, если звѣрство вознесено будетъ какъ добродѣтель. Я видалъ и разбойниковъ, страшно много надѣлавшихъ звѣрства и павшихъ развращенною и ослабѣвшею волею своею ниже всего низкаго; но эти развращенные и столь упавшіе звѣри — знали, по крайней мѣрѣ про себя, что они звѣри, и чувствовали, сколь упали они, и въ минуты чистыя и свѣтлыя, которыя и звѣрямъ посылаетъ Богъ, — сами умѣли осудить себя, хотя часто не въ силахъ уже были подняться. Другое дѣло, когда звѣрство воздвигается надъ всѣми, какъ идолъ, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродѣтельными. Лордъ Биконсфильдъ, а за нимъ и всѣ Биконсфильды, и наши и европейскіе, зажали уши себѣ и закрыли глаза на звѣрства и муки, которымъ подвергаютъ цѣлыя племена людей, и измѣнили Христу — ради «интересовъ цивилизаціи» и ради того, что измученныя племена называются славянами, то есть несутъ въ себѣ нѣчто новое, а стало быть, ихъ тѣмъ болѣе надо задавить совсѣмъ до корня, и тоже ради интересовъ старой загнившей цивилизаціи. Вотъ это такъ звѣрство — образованное и вознесенное какъ добродѣтель, и кланяются ему какъ идолу, и на Западѣ, и у насъ еще въ Россіи. А «блаженнѣйшій папа, непогрѣшимый намѣстникъ Божій», отходя къ Богу, въ послѣдніе дни свои на землѣ, — развѣ не пожелалъ онъ побѣды туркамъ и мучителямъ христіанства надъ русскими, ополчившимися во имя Христа за христіанство, — за то только, что, по его *непогрѣшимому* опредѣленію, турки все же лучше русскихъ еретиковъ, не признающихъ папу? Развѣ это не звѣрство, не варварство? Да, пророчество Іоанна Лихтенбергера сильно подходитъ къ настоящей минутѣ. И не разумѣть ли намъ уже и папу въ числѣ другихъ-то «вершинъ прегордыхъ». которыхъ заставитъ трепетать взмахнувшій крылами орелъ? Кстати, чтобъ покончить съ пророчествомъ: что же разумѣлъ Іоаннъ Лихтенбергеръ, говоря о томъ, что «придетъ орелъ, который огонь возбудитъ въ лонѣ невѣсты Христовой, и будутъ три побочныхъ и одинъ законный, который другихъ пожретъ?» На религіозномъ и мистическомъ языкѣ подъ выраженіемъ «невѣста Христова» всегда разумѣлась вообще церковь. Кто же трое побочныхъ и одинъ законный? Казалось, должно бы тутъ разумѣть, т. е. если ужъ его принимать за предсказателя, три исповѣданія: католицизмъ, протестанство и... какое же третье-то изъ незаконныхъ? И какое же законное-то?

Но оставимъ Іоанна Лихтенбергера. Серьезно гово-

рить обо всемъ этомъ трудно; все это лишь мистическая аллегорія, хотя бы и похожая нѣсколько на правду.

И мало ли бываетъ совпаденій? Правда, все это написано и напечатано въ 1528 году и это очень любопытно. Въ то время, должно быть, часто являлись подобныя сочиненія, и хотя время это еще только предшествовало войнамъ великой протестантской реформаціи, но уже протестантовъ, реформаторовъ и пророковъ было много. Извѣстно тоже, что потомъ, особенно въ протестантскихъ арміяхъ, всегда появлялись изступленные «пророки» изъ самихъ сражавшихся, предсказатели и конвульсіонеры. Если я сообщилъ эту латинскую выписку изъ старой книги (несомнѣнно существующей, — повторяю это), то единственно какъ знаменательный фактъ. Не какъ чудо, да и не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснѣе бываетъ весьма часто то, что происходитъ въ дѣйствительности. Мы видимъ дѣйствительность всегда почти такъ, какъ *хотимъ* ее видѣть, какъ сами, *предвзято*, желаемъ растолковать ее себѣ. Если же подчасъ вдругъ разберемъ и въ видимомъ увидимъ не то, что хотѣли видѣть, а то, что есть *въ самомъ дѣлѣ*, то прямо принимаемъ то, что увидѣли, за чудо, и это весьма не рѣдко, а подчасъ, клянусь, повѣримъ скорѣе чуду и невозможности, чѣмъ дѣйствительности, чѣмъ истинѣ, *которую не желаемъ видѣть*. И такъ всегда бываетъ на свѣтѣ, въ томъ вся исторія человѣчества.

II.

Объ анонимныхъ ругательныхъ письмахъ.

Я за границу не поѣхалъ и нахожусь теперь въ Курской губерніи. Мой докторъ, узнавъ, что я имѣю случай провести лѣто въ деревнѣ, да еще въ такой губерніи, какъ Курская, прописалъ мнѣ пить въ деревнѣ Ессентукскую воду и прибавилъ, что это будетъ для меня несравненно полезнѣе Эмса, къ водѣ котораго я-де уже привыкъ. Долгомъ считаю заявить, что я получилъ весьма много писемъ отъ моихъ читателей съ самымъ сочувственнымъ выраженіемъ ихъ ко мнѣ участія по поводу моего объявленія о болѣзни. И вообще, къ слову скажу, за все время изданія моего «Дневника» я получилъ и продолжаю получать много писемъ, подписанныхъ

и анонимныхъ, столь для меня лестныхъ и столь одобрявшихъ и поддерживавшихъ меня въ трудѣ моемъ, что, прямо скажу, я никогда не разсчитывалъ на такое всеобщее сочувствіе и никогда не считалъ себя достойнымъ того. Эти письма я берегу какъ драгоцѣнность и — что тутъ пригворнаго, если я заявлю объ этомъ печатно? Неужто дурно, что я цѣню и дорожу общимъ вниманіемъ? Но, скажутъ, вы теперь хвалитесь, хвастаетесь. Пусть скажутъ это, я знаю про себя, что это не хвастовство, что я заявляю лишь мою благодарность, мое искреннее чувство, и слишкомъ ужъ не молодъ, чтобъ не понимать, какъ раздражаю иныхъ господъ моимъ заявленіемъ. Но и господъ этихъ, кажется, у меня тоже слишкомъ немного. Изъ нѣсколькихъ сотъ писемъ, полученныхъ мною за эти полтора года изданія «Дневника», по крайней мѣрѣ сотня (но навѣрно больше) было анонимныхъ, но изъ этихъ ста анонимныхъ писемъ лишь два письма были абсолютно враждебныя. Есть не согласные со мной въ убѣжденіяхъ, тѣ прямо излагаютъ свои возраженія, но всегда серьезно, искренно, безъ малѣйшихъ личностей, и въ подписаныхъ, и въ анонимныхъ письмахъ, и я лишь жалѣю, что, по множеству получаемыхъ писемъ, никакъ не могу всѣмъ отвѣтить. Но эти два письма — исключенія, и написаны не для возраженія, а для ругательства. И вотъ, эти-то господа сочинители этихъ писемъ и будутъ раздражены моимъ заявленіемъ благодарности. Послѣднее изъ этихъ писемъ какъ разъ касается моего объявленія о болѣзни. Мой анонимный корреспондентъ разсердился не на шутку: какъ, дескать, я осмѣлился объявить печатно о такомъ частномъ, личномъ дѣлѣ, какъ моя болѣзнь, и въ письмѣ ко мнѣ написалъ на мое объявленіе свою пародію, весьма неприличную и грубую. Но, отлагая главную цѣль письма — ругательство, я невольно заинтересовался вопросомъ, именно: если я, напримѣръ, поставленъ въ необходимость, по разстроенному здоровью, уѣхать лѣчиться, а потому принужденъ не выдать майскій № «Дневника» своевременно, а вмѣстѣ съ іюньскимъ, и такъ какъ я каждый разъ, въ каждомъ выпускѣ «Дневника», объявлялъ о времени выхода слѣдующаго номера, — то мнѣ и показалось, что прямое, голословное, безо всякихъ объясненій объявленіе о томъ, что слѣдующій выпускъ «Дневника» выйдетъ вмѣстѣ съ іюньскимъ, было бы нѣсколько безцеремоннымъ, и почему же было не объявить причину, изъ-за которой такъ вышло? И развѣ, въ объявленіи моемъ, такъ ужъ много я расписалъ о моей болѣзни? Но все это, конечно, пустяки, и если бъ дѣло

лишь шло отъ человѣка серьезно шокированнаго въ своемъ чувствѣ литературнаго и общественнаго приличія, то получился бы любопытный, хотя отчасти, пожалуй, и почтенный экземпляръ господина, стоящаго, можетъ быть, и внѣ литературы, не изъ безкорыстной любви къ ней, такъ сказать, сгорающаго почтеннымъ огнемъ соблюденія литературныхъ приличій, и хоть доводящаго свои стремленія до щепетильности, тѣмъ не менѣе выводящаго ихъ изъ источника уважаемаго и любопытнаго, — такъ что я, изъ одной только деликатности, не могъ бы отказать такому аноним въ своего рода уваженіи. Но ругательства все испортили: ясное дѣло, что въ нихъ-то и была вся цѣль. И ужъ, безъ сомнѣнія, припоминать все это здѣсь и не стоило бы; но мнѣ давно хотѣлось сказать слова два вообще объ анонимныхъ письмахъ, т. е. собственно о ругательныхъ анонимныхъ письмахъ, и я радъ, что набрелъ на случай.

Дѣло въ томъ, что мнѣ давно казалось, что въ наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь исполненное перемѣнъ и столь мало кого удовлетворяющее (да такъ и должно быть) — непремѣнно должно было развестись чрезвычайное множество людей, такъ сказать, обойденныхъ, позабытыхъ, оставленныхъ безъ вниманія и досадующихъ: «зачѣмъ, дескать, вездѣ *они*, а не я, зачѣмъ не обращаютъ и на меня вниманія». Въ этомъ состояніи личнаго раздраженія и неудовлетвореннаго, такъ сказать, идеала, иной господинъ готовъ подчасъ взять спичку и идти зажигать, — до того это чувство мучительно, я это очень понимаю, и, чтобъ осуждать это, надо вооружиться скорѣе гуманностью, чѣмъ негодованіемъ. Но зажигать спичкой уже крайность и, такъ сказать, удѣлъ натуръ могучихъ, Байроновскихъ. Къ счастью, есть выходы, не столь ужасные для натуръ не столь могучихъ. Такой выходъ — просто напакостить, ну, тамъ наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить. Однимъ словомъ, я сталъ давно уже подозрѣвать, и подозрѣваю до сихъ поръ, что наше время должно быть непремѣнно временемъ хотя и великихъ реформъ и событій, это безспорно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и усиленныхъ анонимныхъ писемъ ругательнаго характера. Что касается литературы, то тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: анонимныя ругательныя письма составляютъ, такъ сказать, неотъемлемую часть современной русской литературы и сопровождаютъ ее по всѣмъ направленіямъ, — и кто только изъ издателей и писателей не получаетъ ихъ, я даже справлялся кой въ какихъ изданіяхъ, и въ одномъ изъ нихъ — именно

въ одномъ изъ тѣхъ, которыя пошли вдругъ, произвели впечатлѣніе быстрое, внезапное, и угодили публикѣ въ такой степени, что сами даже на такой успѣхъ не разсчитывали, — въ этомъ изданіи, одинъ изъ ближайшихъ участниковъ его повѣдалъ мнѣ, что они получаютъ такое множество ругательныхъ анонимныхъ писемъ, что ужъ и не читаютъ ихъ вовсе, а только распечатываютъ. Онъ было хотѣлъ разсказать мнѣ иныя изъ такихъ посланій въ подробности, но съ первыхъ же словъ залился неудержимымъ смѣхомъ. Да такъ и должно быть; наши неопытные анонимы и не подозрѣваютъ еще, кажется, что чѣмъ ругательнѣе ихъ письма, тѣмъ они невиннѣе и безвреднѣе. Черта хорошая: она обозначаетъ, что наши анонимы хоть и горячи, но все же безъ выдержки и не понимаютъ, что чѣмъ вѣжливѣе, чѣмъ достойнѣе тонъ язвительнаго анонимнаго письма, тѣмъ оно будетъ злѣе и сильнѣе подѣйствуетъ. Іезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у насъ, во-второй, *высшій* фазисъ свой не вступило это дѣло, а, стало быть, находится еще въ самомъ только началѣ и, стало быть, есть всего лишь плодъ перваго необузданнаго пыла, а не плодъ обдуманнаго, строго воспитаннаго злобнаго чувства. Это не испанское, такъ сказать, мщеніе, готовое принести для достиженія цѣли своей даже великія жертвы и научившееся выдержкѣ. Нашъ анонимный ругатель далеко еще не тотъ таинственный незнакомецъ изъ драмы Лермонтова «Маскарадъ» — колоссальное лицо, получившее отъ какого-то офицерика когда-то пощечину и удалившееся въ пустыню тридцать лѣтъ обдумывать свое мщеніе. Нѣтъ, дѣйствуетъ пока все еще та же славянская природа наша, которой всего бы только поскорѣй выругаться, да тѣмъ и покончить (а чего добраго, такъ даже тутъ же и помириться), и согласитесь, что все это въ одномъ смыслѣ отрадно, ибо и тутъ, стало быть, все это, такъ сказать, юно, молодо, свѣжо, въ родѣ какъ бы весна жизни, хотя, надо сознаться, препакостная. Долгомъ считаю присовокупить еще наблюденіе: кажется, наше молодое поколѣніе, т. е. слишкомъ юное, подростки, анонимныхъ ругательныхъ писемъ не пишутъ. Я получаю отъ молодежи множество писемъ и всѣ подписанныя. Не подписанныя изъ нихъ только тѣ, которыя выражаютъ сличкомъ уже дружескія чувства. Не согласные же со мною въ чемъ-нибудь изъ молодежи всегда подписываются. (Анонимное же ругательное письмо слишкомъ легко узнать и слишкомъ, ясно, по многимъ признакамъ и пріемамъ, что оно не изъ молодого поколѣнія идетъ, не отъ юнаго подростка.) Итакъ, моло-

дежь наша, очевидно, понимаетъ, что, во-первыхъ, можно написать весьма даже рѣзкое письмо, но что подпись подъ такимъ письмомъ придастъ выраженіямъ чрезвычайную цѣну, и что весь характеръ такого письма измѣнится къ лучшему черезъ подпись, которая придастъ ему духъ прямодушія, мужества, готовности постоять и отвѣтить за свои убѣжденія, да и самая рѣзкость выраженій покажетъ лишь горячку убѣжденія, а не желаніе оскорбить. Итакъ, ясное дѣло, что не подписывающійся ругатель желаетъ, главное, выругаться площадными ругательствами, желаетъ доставить себѣ, прежде всего, это именно удовольствіе, а другой цѣли не имѣетъ. И, вѣдь, самъ онъ знаетъ, что дѣлаетъ пакость и что самъ себѣ вредитъ, т. е. силѣ письма своего, но ужъ такова потребность выругаться. Эту черту, т. е. эту потребность, надо замѣтить, ибо она все еще предоминируетъ въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ. И пусть не смѣются надо мной, что я вѣрю, что такая черта у насъ *предоминируетъ;* я убѣжденъ, что не преувеличиваю, и что мы стоимъ теперь на этой именно точкѣ развитія, такъ сказать, въ массѣ нашей. Къ тому же сообразите и то, что можно во всю жизнь не написать ни одного анонимнаго ругательнаго письма, а между тѣмъ, всю жизнь носить въ себѣ душу анонимнаго ругателя; а вѣдь это тоже важное соображеніе. И что въ томъ, что я, въ полтора года, получилъ всего лишь два ругательныхъ письма; это лишь доказываетъ мою невинность и непримѣтность, равно какъ и малый кругъ моей дѣятельности, а сверхъ того, и то, что я имѣю дѣло лишь съ порядочными людьми. Другіе же дѣятели, болѣе моего примѣтные (а, стало быть, уже потому одному болѣе моего виновные) и, сверхъ того, принужденные дѣйствовать по самому роду и характеру изданій своихъ въ чрезвычайно расширенномъ кругѣ дѣйствія, получаютъ ругательныхъ писемъ, можетъ быть, по двѣсти, а не по два въ полтора года. Однимъ словомъ, я убѣжденъ, что европейская цивилизація чрезвычайно мало привила къ намъ гуманности и что у насъ людей, желающихъ выругаться быстро и непосредственно, въ каждомъ случаѣ, который имъ чуть-чуть не понравится, даже, можетъ быть, до того не мало, что страшно сказать; а желающихъ выругаться — при томъ же и безнаказанно, анонимно и безопасно, изъ-за двери, еще того больше, и вотъ какъ разъ анонимное письмо даетъ эту возможность: письмо не прибьешь и письмо не краснѣетъ.

Въ старину у насъ европейской чести не было, наши

бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно, и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но зато у нихъ была своя честь, хоть и не въ европейской формѣ, но не менѣе чѣмъ тамъ священная и серьезная, и изъ-за этой чести бояринъ пренебрегалъ иной разъ всѣмъ состояніемъ своимъ, положеніемъ своимъ при дворѣ, даже царскою милостью. Но, съ перемѣною костюма и съ введеніемъ европейской шпаги, началась у насъ новая европейская честь и — въ цѣлые два вѣка не принялась серьезно, такъ что старое забыли и оплевали, а новое приняли недовѣрчиво и скептически. Приняли, такъ сказать, механически, а душевно позабыли, что значитъ честь, и сердечную потребность къ ней утратили и это, страшно признаться, за весьма, можетъ быть, малыми исключеніями.

Въ эти два вѣка нашего европейскаго и шпажнаго, такъ сказать, періода, честь и совѣсть, странно даже сказать, сохранилась наиболѣе и даже цѣликомъ въ нашемъ народѣ, до котораго почти и не коснулся шпажный періодъ нашей исторіи. Пусть народъ грязенъ, невѣжественъ, варварственъ, пусть смѣются надъ моимъ предположеніемъ безъ малѣйшаго снисхожденія, но во всюмою жизнь я вынесъ убѣжденіе, что народъ нашъ несравненно чище сердцемъ высшихъ нашихъ сословій и что умъ его далеко не настолько раздвоенъ, чтобъ рядомъ съ самою свѣтлою идеею лелѣять тутъ же, тотчасъ же, и самый гаденькій антитезъ ея, какъ сплошь да рядомъ въ интеллигенціи нашей, да еще оставаться съ обѣими этими идеями, не зная которой изъ нихъ вѣровать и отдать преимущество на практикѣ, да еще называть это состояніе ума и души свое — богатствомъ развитія, благами европейскаго просвѣщенія, и хоть и умирать при такомъ богатствѣ отъ скуки и отвращенія, но въ то же время изъ всѣхъ силъ смѣяться надъ простымъ, не тронутымъ еще чужою цивилизаціей, народомъ нашимъ за наивность и прямодушіе его вѣрованій... Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый изъ народа постыдится иныхъ мыслей и побужденій иного нашего «высшаго дѣятеля», я увѣренъ въ томъ, и съ отвращеніемъ отвернется отъ большей части дѣлъ нашихъ интеллигентныхъ людей. Я увѣренъ, что онъ не понимаетъ и долго еще не пойметъ, что можно наединѣ, за дверями, когда никто не подглядываетъ, дѣлать про себя пакости и считать ихъ вполнѣ дозволительными, нравственно дозволенными, единственно потому, что нѣтъ свидѣтелей и никто не подглядываетъ, — а между тѣмъ эта черта до

ужаса часто практикуется въ интеллигентномъ сословіи нашемъ, да еще безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, и даже, напротивъ, весьма часто съ высшимъ удовлетвореніемъ ума и высшихъ свойствъ просвѣщеннаго духа. По понятіямъ народа, то, что пакостно на міру, пакостно и за дверями. Между тѣмъ мы на народъ-то и смотримъ именно какъ на пахабника, пакостника, обскурантнаго ругателя и находящаго лишь наслажденіе въ ругательствѣ. Кстати припомнить, тѣмъ болѣе, что это уже давно прошло и измѣнилось. Во времена моей юности было у военныхъ людей, въ огромномъ большинствѣ ихъ, убѣжденіе, что русскій солдатъ, какъ вышедшій изъ народа, чрезвычайно любитъ говорить пахабности, ругатель и сквернословъ. А потому, чтобъ быть популярными, иные командиры, на ученіяхъ, напримѣръ, позволяли себѣ такъ ругаться, съ такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснѣли отъ этихъ ругательствъ, а потомъ, у себя въ казармахъ, старались забыть высказанное начальствомъ, и на того, который припоминалъ, вскрикивали всею артелью. *Я бывалъ самъ лично тому свидѣтелемъ.* А командиры-то какъ довольны были въ душѣ, что вотъ, дескать, какъ они поддѣлались подъ духъ русскаго солдата! Да чего, — даже Гоголь въ «Перепискѣ съ друзьями» совѣтовалъ пріятелю, распекая крѣпостного мужика всенародно, употреблять непремѣнно крѣпкія слова, и даже приводилъ какія именно: т. е. именно тѣ изъ нихъ, которыя садче, въ которыхъ какъ можно больше бы оказывалось, такъ сказать, нравственной пахабности, чѣмъ наружной, утонченности чтобъ въ ругательствѣ больше было. Между тѣмъ, народъ русскій хоть и ругается, къ сожалѣнію, крѣпкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, въ самой незначительной даже своей долѣ (повѣрятъ ли тому?), а главное (и безспорно), ругается онъ скорѣе машинально, чѣмъ съ нравственною утонченностью, скорѣе по привычкѣ, чѣмъ съ умысломъ, и вотъ это-то, послѣднее-то, т. е. съ умысломъ, случается лишь въ чрезвычайно рѣдкихъ экземплярахъ у бродягъ, пропоицъ и всякихъ стрюцкихъ, презираемыхъ народомъ. Народъ хоть и ругается по привычкѣ, но самъ знаетъ, что эта привычка скверная, и осуждаетъ ее. Такъ что отучить народъ отъ ругательствъ, по-моему, есть просто дѣло механической отвычки, а не нравственнаго усилія. Вообще эта идея о народѣ нашемъ, какъ о любителѣ подлыхъ ругательствъ, по-моему мнѣнію, укоренилась въ интеллигентномъ слоѣ нашемъ, главное, уже тогда, когда произошелъ окончательный, нравственный разрывъ его съ народомъ, кон-

чившійся, какъ извѣстно, со стороны интеллигентнаго слоя нашего современнымъ непониманіемъ народа. Тогда-то явилось много и другихъ всякихъ ошибочныхъ идей о нашемъ народѣ. Пусть не повѣрятъ мнѣ и свидѣтельству моему, что народъ нашъ вовсе не такой ругатель, какъ до сихъ поръ его представляли себѣ и описывали, пусть: я вѣдь убѣжденъ, что свидѣтельство мое оправдается. Тѣ же надежды, которыя возлагаю я на народъ, возлагаю я и на юное поколѣніе наше. Народъ и юное поколѣніе интеллигенціи нашей сойдутся вмѣстѣ вдругъ и во многомъ и гораздо ближе и успѣшнѣе поймутъ другъ друга, чѣмъ то было въ наше время и въ наше поколѣніе. Въ молодежи нашей есть серьезность, и, дай только Богъ, чтобъ она была умнѣе направлена. Кстати о молодежи: одинъ весьма молодой человѣкъ прислалъ мнѣ недавно въ письмѣ весьма рѣзкое возраженіе на одну тему, на какую — умолчу, и подписался подъ своимъ рѣзкимъ (но отнюдь не невѣжливымъ) письмомъ en toutes tettres, да еще выставилъ адресъ. Я пригласилъ его къ себѣ объясниться. Онъ пришелъ и поразилъ меня своею горячностью и серьезностью своего отношенія къ дѣлу. Кой въ чемъ онъ со мной согласился и ушелъ въ раздумьѣ. Замѣчу еще, что, какъ мнѣ кажется, юное поколѣніе наше гораздо лучше умѣетъ спорить. чѣмъ старики, т. е. собственно въ манерѣ спора, они выслушиваютъ и даютъ говорить — и это именно оттого, что для нихъ разъясненіе дѣла дороже ихъ самолюбія. Уходя. онъ пожалѣлъ о рѣзкости письма своего, и все это вышло у него съ неподдѣльнымъ достоинствомъ. Руководителей нѣтъ у нашей молодежи, вотъ что! А ужъ какъ она въ нихъ нуждается, какъ часто она устремлялась съ восторгомъ во слѣдъ людей, хотя и не стоившихъ того, но чуть-чуть если искреннихъ! И каковы или каковъ долженъ быть этотъ будущій руководитель — тамъ кто бы онъ ни былъ? Да и пошлетъ ли еще намъ такихъ людей наша русская судьба — вотъ вопросы!

III.

Планъ обличительной повѣсти изъ современной жизни.

А вѣдь я объ анонимномъ ругателѣ еще не кончилъ. Дѣло въ томъ, что этакій человѣкъ можетъ пред-

ставить собою чрезвычайно серьезный литературный типъ, въ романѣ или повѣсти. Главное, тутъ можно и надо взглянуть съ иной уже точки зрѣнія, съ точки общей, гуманной и согласить ее съ русскимъ характеромъ вообще и съ современною текущею причинностью появленія у насъ этого типа въ особенности. Въ самомъ дѣлѣ, чуть-чуть вы начнете работать надъ этимъ характеромъ, какъ тотчасъ сознаетесь, что у насъ безъ такихъ людей теперь и не можетъ быть, или еще ближе — что только подобнаго рода людей мы, скорѣе всего, и ожидать должны въ наше время, и что если ихъ сравнительно еще мало, то это именно по особой милости Божіей. Въ самомъ дѣлѣ, все это народъ взросшій въ нашихъ недавнихъ шаткихъ семействахъ, у недовольныхъ скептическихъ отцовъ, передавшихъ дѣтямъ одно равнодушіе ко всему насущному и много, много что какое-то неопредѣленное безпокойство насчетъ чего-то грядущаго, страшно фантастическаго, но во что, однакоже, наклонны увѣровать даже эти такъ называемые *готовые* реалисты и холодные ненавистники нашего настоящаго. Да сверхъ того передавшихъ имъ, разумѣется, скептическій безсильный смѣхъ, хотя и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало ли возросло за послѣднія двадцать, двадцать пять лѣтъ дѣтей, у этихъ гадкихъ завистниковъ, прожившихъ послѣднія выкупныя и оставившихъ дѣтямъ нищету и завѣтъ подлости — развѣ мало такихъ семействъ? И вотъ молодой человѣкъ вступаетъ, положимъ, на службу. Фигуры нѣтъ, «остроумія нѣтъ», связей никакихъ. Есть природный умъ, который, впрочемъ, у всякаго есть, но такъ какъ онъ у него воспитанъ прежде всего на безцѣльномъ зубоскальствѣ, вотъ ужъ двадцать пять лѣтъ принимающемся у насъ за либерализмъ, то ужъ, конечно, нашъ герой свой умъ немедленно принимаетъ за геній. О, Боже, какъ не оказаться безграничному самолюбію, когда человѣкъ выросъ безъ малѣйшей нравственной выдержки. И сначала онъ куражится ужасно, ужасно, но такъ какъ въ немъ все-таки умъ (я для типа предпочитаю взять человѣка нѣсколько умнѣе средины людей чѣмъ глупѣе, ибо только въ этихъ двухъ случаяхъ и возможно появленіе такого типа), то онъ скоро догадывается, что зубоскальство все же вещь отрицательная и до положительнаго ни до чего не доведетъ. И что если довольствовался имъ его батюшка, то вѣдь потому, что тотъ былъ все же старый колпакъ, хоть и либеральный человѣкъ, ну, а онъ, сынокъ, все же геній, и только вотъ покамѣстъ проявить себя затрудняется. О, онъ, конечно. готовъ на всякую

самую положительную подлость въ душѣ, «ибо почему же не употребить подлость въ дѣло? Да и кто можетъ доказать въ нашъ вѣкъ, что подлость есть подлость» и т. д. и т. д. — Однимъ словомъ, онъ вѣдь взросъ на этихъ готовыхъ вопросахъ. Но онъ скоро догадывается, что нынѣ, чтобъ даже и подлость-то употребить въ дѣло надо ждать долгой вакансіи, да къ тому же отъ нравственной готовности на подлость до дѣла даже и ему, пожалуй, далеко, и надо предварительно еще, такъ сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь онъ поглупѣе, онъ бы мигомъ устроился: «высшія поползновенія долой и примоститься поскорѣе къ тому-то или къ такому-то, да ужъ и тянуть за ними лямку послушно и убѣжденно и — въ концѣ карьера». Но самолюбіе-то, убѣжденіе-то въ своей геніальности пока еще долго мѣшаетъ: не можетъ онъ даже и въ мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу свою съ судьбой такого-то иль такого-то: «Нѣтъ-съ, мы пока еще въ оппозиціи, а если они захотятъ меня, то пусть сами придутъ — поклонятся». И вотъ онъ ждетъ пока кто-нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждетъ, а между тѣмъ, подъ бокомъ у него такой-то уже шагнулъ выше его, другой уже примостился, а третій уже сѣлъ ему въ начальники, — этотъ третій, которому онъ же, тамъ, въ ихъ «высшемъ училищѣ», изобрѣлъ прозвище и пустилъ на него эпиграмму въ стихахъ, когда рукописный училищный журналъ издавалъ и слылъ тамъ за генія. «Нѣтъ-съ, это обидно! Нѣтъ, зачѣмъ же не я, а онъ? И вездѣ-то, вездѣ-то все занято! Нѣтъ, думаетъ онъ, тутъ не моя карьера, да и что служить, служатъ мѣшки, мое поприще литература»,—и вотъ онъ начинаетъ разсылать по редакціямъ свои произведенія, сначала incognito, потомъ съ обозначеніемъ полнаго имени. Ему, разумѣется, не отвѣчаютъ; въ нетерпѣніи онъ пускается лично обивать пороги редакцій. При случаѣ получая обратно рукопись, позволяетъ себѣ даже поострить, желчно позубоскальничать, такъ сказать, сердце сорвать, но все это не помогаетъ. «Нѣтъ, видно и тутъ все занято», думаетъ онъ, скорбно усмѣхаясь. Главное, его все мучитъ роковая забота отыскивать вездѣ и вездѣ какъ можно больше людей хуже себя. О, онъ бы и понять никогда не могъ, какъ это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вотъ тогда-то онъ и натыкается въ первый разъ на мысль пустить въ какую-нибудь редакцію, изъ тѣхъ, гдѣ его наиболѣе обидѣли, злобное неподписанное письмецо. Написалъ, пустилъ, повторилъ въ другой разъ — понравилось. Но послѣдствій все-таки никакихъ, все попрежнему кру-

гомъ его глухо, нѣмо и слѣпо. «Нѣтъ, что жъ эта за карьера», рѣшаетъ онъ окончательно и рѣшаетъ, наконецъ, «примоститься». Онъ выбираетъ *лицо* — именно своего начальника — директора, тутъ, можетъ быть, какъ-нибудь помогаютъ ему и случай и связишки. И Поприщинъ у Гоголя началъ вѣдь съ того, что отличился чинкою перьевъ и былъ вытребованъ для сей цѣли въ квартиру его превосходительства, гдѣ и увидалъ директорскую дочку, для которой очинилъ два пера. Но время Поприщиныхъ прошло, да и перьевъ теперь не чинятъ, да и не можетъ измѣнить нашъ герой своему характеру: не перья въ его головѣ, а самыя дерзкія мечты. Короче, въ самый короткій срокъ, онъ уже убѣжденъ, что плѣнилъ директорскую дочку и что та по немъ изнываетъ. «Ну вотъ и карьера», думаетъ онъ, «да и къ чему бы годились женщины, если бъ нельзя было черезъ нихъ сдѣлать умному человѣку карьеру: въ этомъ, въ сущности, весь женскій вопросъ и заключается, если реально-то обсудить его. А главное, и не стыдно: мало ли кто выходилъ на дорогу черезъ женщинъ?» Но — но тутъ какъ разъ подвертывается, какъ и у Поприщина, адъютантъ! Поприщинъ поступилъ по-своему характеру: онъ сошелъ съ ума на мечтѣ о томъ, что онъ Испанскій король. И какъ натурально! Что могло оставаться приниженному Поприщину, безъ связей, безъ карьеры, безъ смѣлости и безъ всякой иниціативы, да еще въ то петербургское время, какъ не броситься въ самое отчаянное мечтаніе и повѣрить ему? Но нашъ Поприщинъ, современный намъ Поприщинъ — ни за что въ мірѣ не въ состояніи повѣрить, что онъ такой же самый Поприщинъ, какъ и первоначальный, только повторившійся тридцать лѣтъ спустя. Въ душѣ его громы и молніи, презрѣніе и сарказмы и — и вотъ онъ бросается тоже въ мечту, но въ другую. Онъ вспоминаетъ, что на свѣтѣ могутъ быть анонимныя письма и что они уже разъ употреблены имъ, и — вотъ онъ рискуетъ свое письмецо, но уже не въ журнальную редакцію, а почище-съ: онъ чувствуетъ, что вступаетъ въ новый практическій фазисъ. О, какъ онъ запирается въ своей каморкѣ отъ своей хозяйки, какъ трепещетъ, чтобъ за нимъ не подглядѣли, но онъ строчитъ, строчитъ, измѣняя почеркъ, создаетъ четыре страницы клеветъ и ругательствъ, перечитываетъ съ наслажденіемъ и — просидѣвъ ночь, къ разсвѣту запечатываетъ письмо и адресуетъ — къ жениху адъютанту. Почеркъ онъ измѣнилъ, онъ не боится. Вотъ онъ разсчитываетъ часы, вотъ теперь письмо должно дойти — это жениху объ его невѣстѣ, — о, тотъ, конечно, откажется, онъ испугается, вѣдь

это же не письмо, а «шедёвръ»! И молодой нашъ другъ изо всѣхъ силъ знаетъ, что онъ подленькій негодяй; но онъ этому только радъ: «Нынѣ-де время раздвоенія мысли и широкости, нынѣ прямолинейной мыслью не проживешь».

Разумѣется, письмо не оказало дѣйствія, свадьба состоялась, но начало сдѣлано, и герой нашъ какъ бы попалъ на свою карьеру. Его обуялъ своего рода миражъ, какъ и Поприщина. Съ жаромъ бросается онъ въ новую дѣятельность, въ анонимныя письма. Онъ вывѣдываетъ про своего генерала, онъ соображаетъ, онъ изливаетъ все, что накопилось въ немъ за цѣлые годы неудовлетворенной службы, раздраженнаго самолюбія, желчи, зависти. Онъ критикуетъ всѣ дѣйствія генерала, онъ осмѣиваетъ его самымъ безпощаднымъ образомъ, и это въ нѣсколькихъ письмахъ, въ цѣломъ рядѣ писемъ. И какъ ему это сначала нравится! И поступки-то генерала, и жену-то его, и любовницу, и глупость всего ихъ вѣдомства — все, все изобразилъ онъ въ своихъ письмахъ. Мало-по-малу онъ кидается даже въ государственныя соображенія, онъ компануетъ письмо къ министру, въ которомъ предлагаетъ измѣнить Россію, уже не церемонясь. «Нѣтъ, министръ не можетъ не поразиться, геній поразитъ его и письмо дойдетъ, пожалуй, до... До такого то есть лица, что... Однимъ словомъ, куражъ, «mon enfant, и когда станутъ розыскивать автора, тутъ-то я разомъ и объявлюсь, такъ сказать, уже безъ застѣнчивости». Однимъ словомъ, онъ упивается своими произведеніями и поминутно воображаетъ, какъ распечатываются его письма и что затѣмъ происходитъ на лицахъ тѣхъ лицъ... Въ такомъ расположеніи духа онъ позволяетъ себѣ иногда даже и пошалить: для шутки пишетъ къ инымъ самымъ смѣшнымъ даже лицамъ, не пренебрегаетъ какимъ-нибудь даже Егоромъ Егоровичемъ, своимъ старичкомъ столоначальникомъ, котораго и вправду чуть не сводитъ съ ума, анонимно увѣривъ его, что его супруга завела любовную связь съ мѣстнымъ частнымъ приставомъ (главное, что тутъ наполовину могло быть и правды). Такъ проходитъ нѣкоторое время, но... но вдругъ странная идея осѣняетъ его, — именно: что вѣдь онъ, Поприщинъ, не болѣе какъ Поприщинъ, тотъ же самый Поприщинъ, но только въ милліонъ разъ подлѣе, и что всѣ эти пасквили изъ-за угла, все это анонимное могущество его, есть въ сущности миражъ и больше ничего, да еще самый гаденькій миражъ, самый поскудненькій и позорный, хуже даже чѣмъ мечта объ испанскомъ престолѣ. А тутъ какъ разъ случилось обстоятельство уже серьезное, — не позорное ка-

кое-нибудь: «что позоръ, позоръ вздоръ, позора боятся лишь аптекари», а дѣйствительно страшное обстоятельство, въ самомъ дѣлѣ страшное. Дѣло въ томъ, что хоть разсудокъ и былъ у него, но все же онъ не удержался и во время своего упоенія новой карьерой, именно послѣ-то письмеца къ министру, сболтнулъ о своихъ письмахъ — кому же? Нѣмкѣ, хозяйкѣ своей, — ну, конечно, не все, она бы и не поняла всего, конечно, чуть-чуть, такъ, отъ избытка лишь сердца; но каково же было его изумленіе, когда, черезъ мѣсяцъ, тихоня-чиновникъ другого вѣдомства, проживавшій у той же хозяйки въ отдаленной комнаткѣ, злобно-молчаливый человѣчекъ, вдругъ разсердившись на что-то, намекнулъ ему, проходя мимо въ коридорѣ, на то, что онъ, — то есть вотъ онъ, чиновникъ-тихоня, — есть «человѣкъ нравственный, и анонимныхъ писемъ, по примѣру нѣкоторыхъ господъ, не пишетъ». Каково! Сначала онъ не такъ испугался, мало того, проэкзаменовавъ чиновника — а для того нарочно и даже унизительно помирившись съ нимъ, — онъ убѣдился, что тотъ ничего почти не знаетъ. Но... ну, а если знаетъ? Къ тому же въ департаментѣ давно уже начался слухъ о томъ, что кто-то пишетъ начальству по городской почтѣ ругательства и что это непремѣнно кто-то изъ своихъ. Несчастный начинаетъ задумываться, даже не спитъ по ночамъ. Однимъ словомъ, можно особенно ярко выставить его душевныя муки, его мнительность, его промахи. Наконецъ, онъ почти уже совсѣмъ убѣжденъ, что всѣ все знаютъ, что ему только не говорятъ до времени; что же объ исключеніи его изъ службы, то это уже рѣшено, что этимъ, конечно, не ограничатся, — однимъ словомъ, онъ почти сходитъ съ ума. И вотъ разъ сидитъ онъ въ департаментѣ, и почти безпредѣльное негодованіе подымаетъ его сердце на все и на всѣхъ: «О злые, проклятые люди, думаетъ онъ, ну можно ли такъ притворяться! Вѣдь они знаютъ же, что *это я*, знаютъ всѣ до единаго, вѣдь они объ этомъ шепотомъ говорятъ другъ съ другомъ, когда я прохожу мимо, знаютъ и бумагу, которая обо мнѣ тамъ въ кабинетѣ приготовлена и... и всѣ притворяются! Всѣ скрываютъ отъ меня! Имъ хочется насладиться, увидѣть, какъ меня потащутъ... Такъ нѣтъ же! Нѣтъ же!» И вотъ онъ, часъ спустя, случайно относитъ какую-то бумагу въ кабинетъ его превосходительства. Онъ входитъ, кладетъ почтительно бумагу на столъ, генералъ занятъ и не обращаетъ вниманія, онъ повертывается, чтобъ неслышно выйти, берется за замокъ и — вдругъ, такъ, какъ падаютъ въ бездну, бросается къ ногамъ его превосходительства, за секунду и не подозрѣвая о томъ, что бро-

сится: «Все равно погибать, лучше ужъ самъ сознаюсь!» «Только потише, ваше превосходительство, только, пожалуйста, потише, ваше превосходительство! Чтобъ тамъ не услыхалъ насъ кто-нибудь, а я вамъ все разскажу, все разскажу!» — умоляетъ онъ, какъ безумный, изумленнаго его превосходительство, сложа передъ нимъ по-дурацки руки. И вотъ, отрывочно, безсвязно, весь дрожа, глупо признается во всемъ, къ вящшему изумленію его превосходительства, совсѣмъ ничего и не подозрѣвавшаго. Но вѣдь и тутъ герой нашъ выдержалъ характеръ вполнѣ, — ибо для чего онъ бросился къ ногамъ генерала? Конечно, отъ болѣзни, конечно, отъ мнительности, но *главное и отъ того,* что онъ, — и струсившій, и уничтоженный и себя во всемъ обвиняющій, — а все же мечталъ попрежнему, какъ всеупоенный самомнѣніемъ дурачекъ, что, можетъ быть, его превосходительство, выслушавъ его, и все же, такъ сказать, пораженный его геніемъ, — раскроетъ обѣ руки свои, которыми онъ столь много подписываетъ на пользу отечества бумагъ, и заключитъ его въ свои объятія: «Неужели, дескать, ты до того доведенъ былъ, несчастный, но даровитый молодой человѣкъ! О, это я, я во всемъ виноватъ, я просмотрѣлъ тебя! Беру всю вину на себя. О, Боже мой, вотъ до чего принуждена доходить наша талантливая молодежь изъ-за вины нашихъ старыхъ порядковъ и предразсудковъ! Но прійди, прійди на грудь мою, и — вмѣстѣ со мною раздѣли постъ мой и мы... и мы перевернемъ департаментъ!» Но такъ не случилось, и потомъ, долго спустя, въ позорѣ и въ униженіи, вспоминая о пинкѣ носкомъ генеральскаго сапога, пришедшагося ему прямо тогда въ лицо, онъ почти искренно обвинялъ судьбу и людей: «Разъ, дескать, въ жизни моей я раскрылъ людямъ мои объятія вполнѣ, и что же удостоился получить?» Финалъ ему можно придумать какой-нибудь самый натуральный и современный, напримѣръ, его, уже выгнаннаго изъ службы, нанимаютъ въ фиктивный бракъ, за сто руб., при чемъ послѣ вѣнца онъ въ одну сторону, а она въ другую къ своему лабазнику: «и мило и благородно», какъ выражается частный приставъ у Щедрина о подобномъ же случаѣ.

Однимъ словомъ, мнѣ кажется, что типъ анонимнаго ругателя — весьма недурная тема для повѣсти. И серьезная. Тутъ, конечно бы, нуженъ Гоголь, но... я радъ, по крайней мѣрѣ, что случайно набрелъ на идею. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ попробую вставить въ романъ.

Глава вторая.

I.

Прежніе земледѣльцы — будущіе дипломаты.

Но куда я удалился отъ дѣла? Я началъ съ того, что я въ деревнѣ и радъ тому. Давненько-таки я не живалъ въ русской деревнѣ. Но о деревнѣ потомъ, а здѣсь лишь вставлю, что я уже потому, между прочимъ, радъ, что я въ деревнѣ, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся тамъ нашихъ русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ наше, столь народное, столь единительное и патріотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русскихъ, ждешь русскихъ, желаешь и требуешь русскихъ, въ такое время слишкомъ тяжело видѣть за границей, куда вотъ ужъ двадцать лѣтъ, ежегодно экспатрируется и гдѣ колонизируется наша интеллигенція, — претвореніе чисто-русскаго, сырого и превосходнаго, можетъ быть, матеріала въ жалкую международную дрянь, обезличенную, безъ характера, безъ народности и безъ отечества. Я не про отцовъ говорю, — отцы неисправимы и Богъ съ ними, — а про ихъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ они губятъ за границей. Отцы же даже отъявленнымъ нашимъ русскимъ европейцамъ становятся, наконецъ, смѣшны. Г. Буренинъ, отправившійся корреспондентомъ на войну, разсказываетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ забавную встрѣчу съ однимъ изъ нашихъ европейцевъ сороковыхъ годовъ, «въ сѣдыхъ почтенныхъ кудряхъ», проживающимъ постоянно за границей, но пріѣхавшимъ нарочно на войну посмотрѣть на «зрѣлище борьбы» (разумѣется, съ самаго почтительнаго разстоянія) и разострившимся въ вагонѣ надъ всѣмъ, надъ чѣмъ вотъ уже сорокъ лѣтъ острятъ эти господа, т. е. надъ русскимъ духомъ, надъ славянофилами и проч. и проч. Онъ потому-де живетъ за границей, что у насъ въ Россіи «все еще нечего дѣлать серьезному и порядочному человѣку». (NB: Я привожу цитаты на память.) Одна изъ удачнѣйшихъ остротъ его состояла въ томъ, что «уже сдѣлано распоряженіе по желѣзнымъ дорогамъ, привезти въ особомъ вагонѣ, въ виду вступленія нашихъ войскъ въ Болгарію и обновленія славянства — тѣнь Хомякова». Но этому сѣдокудрому господину можно бы было замѣтить, что самъ онъ тоже очень

похожъ на тѣнь какого-нибудь, можетъ быть, и весьма почтеннаго западно-либеральнаго говорильщика сороковыхъ годовъ, но который теперь, если бъ столько лѣтъ спустя и доживъ до сѣдыхъ кудрей, повторялъ бы то же самое, на чемъ остановился въ своихъ сороковыхъ годахъ, то ужъ, конечно, даже будь онъ хоть самъ Грановскій, казался бы непремѣнно точь-въ-точь такимъ же самымъ шутомъ, какъ и этотъ господинъ, извѣщавшій о распоряженіи доставить по желѣзной дорогѣ на театръ войны тѣнь Хомякова и о томъ, что въ нашей Россіи все еще нечего дѣлать порядочному человѣку.

Эмигрировали изъ Россіи (я удерживаю это слово) двадцать лѣтъ назадъ наиболѣе помѣщики, и съ тѣхъ поръ эмиграція продолжается съ каждымъ годомъ. Конечно, въ этомъ числѣ много и не помѣщиковъ, были всякіе, но, въ огромномъ большинствѣ, если не всѣ, — болѣе или менѣе ненавидящіе Россію, иные нравственно, вслѣдствіе убѣжденія, «что въ Россіи такимъ порядочнымъ и умнымъ, какъ они, людямъ, нечего дѣлать», другіе уже просто ненавидя ее безо всякихъ убѣжденій, такъ сказать, натурально, физически: за климатъ, за поля, за порядки, за освобожденнаго мужика, за русскую исторію, однимъ словомъ, за все, за все ненавидя. Замѣчу, что такая ненависть можетъ быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатіи равнодушная. А тутъ какъ разъ почувствовались въ рукахъ выкупныя и, сверхъ того, ужасно многихъ озарило убѣжденіе, что съ освобожденіемъ крестьянъ все погибло — и деревня, и землевладѣніе, и дворянство, и Россія. Правда и то, что съ освобожденіемъ крестьянъ сельскій трудъ остался безъ достаточной организаціи и обезпеченія, и личное землевладѣніе натурально струсило и сконфузилось такъ, какъ ни въ какой историческій переворотъ не могло бы случиться больше. Вотъ и пустились помѣщики продавать и продавать и часть ихъ (слишкомъ не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себѣ въ оправданіе, но не могутъ же они утаить, и передъ согражданами, и передъ дѣтьми своими, что главная причина ихъ эмигрированія была тоже и приманка эгоистическаго «ничего-недѣланья». И вотъ съ тѣхъ поръ русская личная поземельная собственность въ полнѣйшемъ хаосѣ, продается и покупается, мѣняетъ своихъ владѣтелей поминутно, мѣняетъ даже видъ свой, обезлѣсивается, — и во что обратится она, за кѣмъ останется она окончательно, изъ кого составится окончательное обновленное русское землевладѣльческое сословіе въ какую форму преобразится оно въ концѣ концовъ — все это трудно предсказать, а между тѣмъ, если хотите,

въ этомъ главнѣйшій вопросъ русской будущности. Это ужъ какой-то законъ природы, не только въ Россіи, но и во всемъ свѣтѣ: кто въ странѣ владѣютъ землей, тѣ и хозяева той страны, во всѣхъ отношеніяхъ. Такъ бывало вездѣ и всегда. Но у насъ, скажутъ, сверхъ того община, — вотъ, значитъ, и хозяева. Но... вопросъ объ общинѣ развѣ изъ рѣшенныхъ у насъ окончательно? Развѣ пятнадцать лѣтъ назадъ онъ не вошелъ у насъ тоже въ новый фазисъ, какъ и все остальное? Но объ этомъ обо всемъ потомъ, а заключу пока мою мысль голословно: если въ странѣ владѣніе землей *серьезное,* то и все въ этой странѣ будетъ серьезно, во всѣхъ то есть отношеніяхъ, и въ самомъ общемъ и въ частностяхъ. Хлопочутъ, напримѣръ, у насъ о просвѣщеніи, о народныхъ школахъ, а я вотъ вѣрю только тому, что школы тогда только примутся у насъ серьезно и основательно, когда землевладѣніе и земледѣліе наше организуются у насъ серьезно и основательно, и что скорѣе не отъ школы получится хорошее земледѣліе, а, напротивъ, отъ хорошаго лишь земледѣлія (т. е. отъ правильнаго землевладѣнія) получится хорошая школа, но никакъ не раньше. Параллельно же съ этимъ примѣромъ и все: и порядки, и законы, и нравственность и даже самый умъ націй, и все, наконецъ, всякое правильное отправленіе національнаго организма организуется лишь тогда, когда въ странѣ утвердится прочное землевладѣніе. То же самое можно сказать и о характерѣ землевладѣнія: будь характеръ аристократическій, будь демократическій, но каковъ характеръ землевладѣнія, таковъ и весь характеръ націи.

Но теперь пока наши бывшіе помѣщики гуляютъ за границей, по всѣмъ городамъ и водамъ Европы, набивая цѣны въ ресторанахъ, таская за собой, какъ богачи, гувернантокъ и боннъ при своихъ дѣтяхъ, которыхъ водятъ въ кружевахъ и англійскихъ костюмахъ, съ голыми ножками, на показъ Европѣ. А Европа-то смотритъ и дивится: «Вотъ вѣдь сколько у нихъ тамъ богатыхъ людей, и, главное, столь образованныхъ, столь жаждущихъ европейскаго просвѣщенія. Это вѣдь изъ-за деспотизма имъ до сихъ поръ не выдавали заграничныхъ паспортовъ, и вдругъ сколько у нихъ оказалось землевладѣтелей и капиталистовъ и удалившихся отъ дѣлъ рантьеровъ, — да больше чѣмъ даже во Франціи, гдѣ столько рантьеровъ!» И разскажите Европѣ, растолкуйте ей, что это чисто-русское явленіе, что никакого тутъ нѣтъ рантьерства, а, напротивъ, пожираніе основныхъ своихъ фондовъ, сжиганіе свѣчки съ обоихъ концовъ, то Европа, конечно, не повѣритъ этому, невозможному у ней, явленію, да и не пой-

метъ его вовсе. И вѣдь, главное, эти сибариты, слоняющіеся по германскимъ водамъ и по берегамъ швейцарскихъ озеръ, эти Лукуллы, проживающіеся въ ресторанахъ Парижа — вѣдь сами они знаютъ и съ нѣкоторою даже болью все же предчувствуютъ, что вѣдь фонды-то они свои, наконецъ, проѣдятъ, и что дѣтямъ ихъ, вотъ этимъ самымъ херувимчикамъ въ англійскихъ костюмчикахъ, придется, можетъ быть, просить по Европѣ милостыню (и будутъ просить милостыню!) или обратиться въ французскихъ и нѣмецкихъ рабочихъ (и обратятся въ французскихъ и нѣмецкихъ рабочихъ!). Но думаютъ они, «après nous le déluge, да и кто виноватъ: виноваты все тѣ же наши русскіе порядки, наша неуклюжая Россія, въ которой порядочному человѣку до сихъ поръ еще ничего сдѣлать нельзя». Вотъ какъ они думаютъ, а либеральнѣйшіе изъ нихъ, тѣ, которые могутъ назваться высшими и чистѣйшими западниками сороковыхъ годовъ, тѣ прибавляютъ еще, можетъ быть, про себя: «Ну что жъ, что дѣти останутся безъ состоянія, зато унаслѣдуютъ идею, благородную закваску истиннаго и священнаго образа мыслей. Воспитанные вдали отъ Россіи, они не будутъ знать поповъ и глупое слово: «Отечество». Они поймутъ, что отечество есть предразсудокъ и даже самый пагубнѣйшій изъ всѣхъ существующихъ въ мірѣ. Изъ нихъ выйдутъ благородные общечеловѣческіе умы. Мы и только мы, русскіе, положимъ начало этимъ новымъ умамъ. Именно тѣмъ, что проживаемъ за границей наши выкупныя, мы полагаемъ основаніе новому, грядущему международному гражданству, которое, рано ли, поздно ли, а обновитъ Европу, и вся честь зато намъ, потому что мы начали раньше всѣхъ». Впрочемъ, такъ говорятъ лишь «сѣдокудрые», т. е. еще очень немногіе, ибо много ли передовыхъ-то? Болѣе же практическіе, и даже изъ «сѣдокудрыхъ» *не столь благородные*, въ концѣ концовъ, все еще надѣются на «связишки»: «Мы-то здѣсь проживаемся, это правда, да вѣдь и наживаемъ же что-нибудь все-таки, ну, тамъ знакомства, связишки, которыя потомъ въ «Отечествѣ»-то, и пригодятся. Къ тому же хоть и въ либеральномъ духѣ воспитываемъ дѣтокъ, да вѣдь все жъ джентльменами, — а въ этомъ вѣдь и все главное. Будутъ они витать въ сферахъ исключительныхъ и высшихъ, а либерализмъ въ высшихъ сферахъ всегда обозначалъ и сопровождалъ у насъ джентльменство, ибо джентльменскій либерализмъ для высшаго-то, такъ сказать, консерватизма и полезенъ, это всегда у насъ различать умѣли. И что жъ, мы дѣтей растимъ за границей и — какъ разъ, значитъ, готовимъ ихъ въ дипломаты. Что

за прелесть здѣсь всѣ эти мѣста при посольствахъ, при консульствахъ и какая бездна-бездная этихъ милѣйшихъ мѣстечекъ, и какъ восхитительно дотированныхъ! Вотъ и хватитъ на нашихъ дѣтишекъ: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая: знай знакомься съ русскими за границей, изъ тѣхъ, кто попорядочнѣе, а изъ тѣхъ, кто накуралесятъ да защитить себя консула просятъ — мы тѣхъ свысока обернемъ, поначальственнѣе, и слушать-то не станемъ: «не вѣримъ вамъ, дескать, безпорядки производите сами, все еще воображаете себя въ миломъ отечествѣ, тогда какъ здѣсь мѣсто чистое. Изъ-за васъ непріятности получай, да и стоитъ еще изъ-за такого, какъ вы, иноземное начальство безпокоить; вы только посмотрите на себя въ зеркало, до чего вы дошли-съ!» Вотъ и вся служба въ этомъ! Однимъ словомъ, сумѣютъ и наши дѣточки выйти въ люди, да-съ, были бы только связи — вотъ что первѣе всего надо родительскому сердцу наблюсти, а прочее все приложится по востребованію».

Итакъ, всѣ не столь благородные изъ проживающихся за границей болѣе или менѣе разсчитываютъ на связишки. Но вѣдь что такое связи? Ну, хоть и значатъ что-нибудь, но вѣдь эта *матерія* ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мѣшало, кромѣ связей, запасти себѣ — ну хоть немножко знанія Россіи и собственнаго ума, хоть на всякій случай. Теперь же, именно въ эпоху реформъ и новыхъ началъ, у насъ какъ нарочно всѣ собственнымъ умомъ хотятъ жить, всѣ того захотѣли: — идея, безспорно, просвѣщенная, но то бѣда, что никогда еще у насъ не бывало столь мало собственнаго ума какъ теперь, при общемъ желаніи имѣть его. Почему это такъ— рѣшать не возьмусь, да и трудно, но одну изъ причинъ, почему херувимчики наши, безспорно, будутъ дурачками — основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на нее. А впрочемъ все то же самое, о чемъ я говорилъ и въ прошломъ году. Причина — русскій языкъ, т. е. недостатокъ русскаго, отечественнаго языка отъ воспитанія за границей, съ гувернантками и боннами иностранками. Это у насъ и всегда водилось, и прежде, т. е. недостатокъ этотъ, но никогда какъ теперь, когда столько херувимчиковъ взростетъ за границей. Положимъ, они готовятся въ дипломаты, а дипломатическій языкъ, извѣстно, французскій языкъ: русскій же языкъ довольно знать лишь и грамматически. Но такъ ли это? Вопросъ этотъ хоть и до пошлости старый, а между тѣмъ онъ до того

еще нерѣшенный, что недавно даже въ печати о немъ заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочиненій г. Тургенева на французскомъ языкѣ. Выражено было даже мнѣніе, что «не все ли равно г. Тургеневу сочинять на французскомъ или на русскомъ языкѣ и что тутъ такого запрещеннаго?» Запрещеннаго, конечно, нѣтъ ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русскаго языка, какъ Тургеневъ, и если у него такая фантазія, то почему же не писать на французскомъ, да и къ тому же если онъ французскій языкъ почти какъ русскій знаетъ. И потому о Тургеневѣ ни слова, но... но я вижу, что я рѣшительно повторяюсь и прошлаго года говорилъ рѣшительно то же самое, на ту же самую тему, и въ этихъ же заграничныхъ мѣсяцахъ, толкуя съ загранично-русской маменькой о вредѣ французскаго языка для ея херувимчиковъ. Но маменька готовитъ теперь херувимчиковъ въ дипломаты и вотъ собственно лишь по поводу дипломатіи-то, хоть и непріятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

— Но вѣдь дипломатическій языкъ французскій, — прерываетъ меня маменька на этотъ разъ, не давъ мнѣ даже и начать. Увы, она съ прошлаго года приготовилась, она третируетъ меня свысока. — Такъ, сударыня, отвѣчаю я, возраженіе ваше сильное, и я согласенъ съ вами безспорно. Но, во-первыхъ, вѣдь что я говорилъ о знаніи русскаго языка, надо приложить и къ французскому, вѣдь не правда ли? Вѣдь, чтобы выразить богатство своего организма на французскомъ языкѣ, надо и французскій языкъ усвоить себѣ богатѣйшимъ образомъ. Ну, такъ знайте же, есть такая тайна природы, законъ ея, по которому только тѣмъ языкомъ можно владѣть въ совершенствѣ, съ какимъ родился, т. е. какимъ говоритъ тотъ народъ, которому принадлежите вы. Вы морщитесь, я васъ обидѣлъ, вы смотрите насмѣшливо. Вы машете ручкой и увѣряете меня, что слышали это еще прошлаго года, и что я повторяюсь. Хорошо-съ, я вамъ уступаю, да и тема эта не *дамская*. Я вамъ просто-запросто уступлю и соглашусь съ вами, что можно и русскому усвоить себѣ французскій языкъ въ совершенствѣ, но съ огромнымъ условіемъ: родиться во Франціи, вырасти въ ней и съ самаго перваго часа своей жизни преобразиться въ француза. О, вы развеселились, вы уже улыбаетесь, но замѣтьте однако, сударыня, что это даже и для васъ не совсѣмъ возможно будетъ исполнить касательно вашего херувимчика, несмотря даже на всѣ удобства, т. е. эмиграцію, выкупныя, парижскую бонну и проч. и проч. Къ тому же возьмите въ соображеніе и природные, такъ ска-

зать, дары, потому что нельзя же вѣдь сравнивать г. Тургенева и вашего, напримѣръ, херувимчика относительно этихъ даровъ. Много ль, скажите, родится Тургеневыхъ-то... Ахъ нѣтъ, нѣтъ, что я! Я опять ошибся, сболтнулъ: изъ вашего херувимчика выйдетъ навѣрно Тургеневъ, или даже три Тургенева разомъ, оставимъ это, но... — «Но,—прерываете вы вдругъ меня,—вѣдь дипломаты и безъ того всѣ умны, такъ зачѣмъ же ужъ такъ хлопотать объ умѣ? Повѣрьте, были бы только связи. Mon mari...» — Вы совершенно правы, сударыня,—перебиваю и я поскорѣе, были бы связи, и, оставляя вашего супруга какъ можно болѣе въ сторонѣ, все-таки прибавлю, что къ связямъ не худо бы хоть немного ума. И во-первыхъ, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только, что они и до дипломатіи были умные люди, а повѣрьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатовъ замѣчательно глупыхъ людей. — «Ахъ нѣтъ, вотъ ужъ извините,—прерываете вы меня въ нетерпѣніи,—дипломаты всѣ всегда умные, и всѣ на превосходныхъ мѣстахъ, и это самая благородная служба!». «Сударыня, сударыня, — восклицаю я, — вы говорите: связи и знаніе языковъ, но вѣдь связи только мѣсто доставятъ, а тамъ, потомъ... Ну, представьте себѣ: вашъ херувимчикъ взростаетъ въ ресторанахъ Европы, кутитъ съ молодыми кокотками въ товариществѣ заграничныхъ виконтовъ и нашихъ русскихъ графовъ, но вѣдь потомъ... Вотъ онъ знаетъ всѣ языки, и уже потому одному никакого. Не имѣя же своего языка, онъ естественно схватываетъ обрывки мыслей и чувствъ всѣхъ націй, умъ его, такъ сказать, сбалтывается еще съ молоду въ какую-то бурду, изъ него выходитъ международный межеумокъ съ коротенькими, недоконченными идейками, съ тупою прямолинейностью сужденія. Онъ дипломатъ, но для него исторія націй слагается какъ-то по-шутовски. Онъ не видитъ, даже не подозрѣваетъ того, чѣмъ живутъ націи и народы, какіе законы въ организмѣ ихъ и есть ли въ этихъ законахъ цѣлое, усматривается ли общій международный законъ. Онъ готовъ выводить всѣ событія міра изъ того только, что такая-то, напримѣръ, королева разсердила фаворитку такого-то короля, вотъ и произошла отъ того война двухъ королевствъ. Позвольте, я буду съ вашей точки зрѣнія судить. Пусть связи... Но вѣдь для пріобрѣтенія связей нуженъ характеръ, нужна, такъ сказать, любезность характера, мягкость, доброта и въ то же время твердость, настойчивость... Дипломатъ, вѣдь, долженъ быть плѣнителенъ, такъ сказать, плѣнять, побѣждать, не правда ли? Ну, такъ повѣрите ли вы или нѣтъ, когда я

вамъ прямо и въ высшей степени опредѣленно скажу, что безъ знанія натуральнаго своего языка, безъ обладанія имъ, нельзя даже выровнять себѣ и характера, особенно если херувимчикъ хорошо и богато одаренъ отъ природы. У него начнутъ же въ свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будутъ давить, такъ сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себѣ выраженія, а безъ богатыхъ, усвоенныхъ съ дѣтства, готовыхъ формъ выраженія, т. е. безъ языка, безъ развитія его, безъ утонченностей его, безъ обладанія оттѣнками его — сынъ вашъ будетъ вѣчно недоволенъ собою; обрывки мыслей перестанутъ его удовлетворять, накопляющійся въ умѣ и въ сердцѣ матеріалъ потребуетъ основательнаго уже выраженія... Молодой человѣкъ станетъ озабоченъ, разсѣянъ, безпредметно задумчивъ, потомъ брюзгливъ, несносенъ, потомъ разстроитъ свое здоровье, даже желудокъ, можетъ быть, вѣрите ли тому...».

Но вижу, вижу, вы покатились со смѣху, я опять увлекся, согласенъ (а, вѣдь, Боже, какую я правду говорю!), но позвольте мнѣ закончить, позвольте мнѣ вамъ напомнить, что я давеча вамъ уступилъ, я съ вами согласился, для виду, что дипломаты все же умные люди, но вы меня до того довели, сударыня, что я принужденъ теперь не скрыть отъ васъ даже самую секретнѣйшую подкладку взгляда моего на этотъ предметъ. Именно, сударыня, мнѣ какъ нарочно, нѣсколько уже разъ въ жизни приходило на мысль, что въ дипломатіи, т. е. во всеобщей дипломатіи, всѣхъ народовъ и всего девятнадцатаго столѣтія, чрезвычайно даже мало было умныхъ людей. Даже поражаетъ. Напротивъ, скудоуміе этого сословія въ исторіи Европы нынѣшняго столѣтія... то есть, видите ли, всѣ они умны, болѣе или менѣе, это безспорно, всѣ остроумны, но умы-то это какіе! Проникалъ ли хоть одинъ изъ этихъ умовъ въ сущность вещей, понималъ ли, предчувствовалъ ли таинственные законы, ведущіе къ чему-то неизвѣстному, странному, страшному — но теперь уже очевидному, почти воочію совершающемуся въ глазахъ тѣхъ, которые чуть-чуть умѣютъ предчувствовать? Нѣтъ-съ, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума въ этомъ столь почтенномъ и фаворизированномъ сословіи! (Я ужъ, конечно, говоря такъ, исключаю Россію и все отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, въ этомъ дѣлѣ «особъ-статья»). Напротивъ, во все столѣтіе являлись дипломатическіе умы, положимъ, прехитрѣйшіе, интриганы, съ претензіей на реальнѣйшее пониманіе вещей, а, между тѣмъ, дальше своего носу и текущихъ интере-

ссвъ (да еще самыхъ поверхностныхъ и ошибочныхъ) никто изъ нихъ ничего не усматривалъ! Порванныя ниточки какъ бы тамъ связать, заплаточку на дырочку положить, «пѣну подбить, вызолотить, за новое сойдетъ» — вотъ наше дѣло, вотъ наша работа! И всему тому есть причины — и главнѣйшая, по-моему — разъединеніе началъ, разъединеніе съ народомъ и обособленіе дипломатическихъ умовъ въ слишкомъ ужъ, такъ сказать, великосвѣтской и отвлеченной отъ человѣчества сферѣ. Ну, возьмите, напримѣръ, графа Кавура — это ль былъ не умъ, это ли не дипломатъ? Я потому и беру его, что за нимъ уже рѣшена геніальность, да къ тому же и потому еще, что онъ умеръ. Но что жъ онъ сдѣлалъ, посмотрите: о, онъ достигъ своего, объединилъ Италію и что же вышло: 2000 лѣтъ носила въ себѣ Италія міровую и объединяющую міръ идею — не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцію кабинетнаго ума, а реальную, органическую, плодъ жизни націи, плодъ міровой жизни: это было объединеніе всего міра — сначала древне-римское, потомъ папское. Народы, взроставшіе и преходившіе въ эти два съ половиной тысячелѣтія въ Италіи, понимали, что они носители міровой идеи, а не понимавшіе чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство — все облекалось и проникалось этимъ же міровымъ значеніемъ. О, положимъ, что міровая эта идея тамъ, подъ конецъ, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя врядъ ли такъ?), но, вѣдь, что жъ, наконецъ, получилось вмѣсто-то нея, съ чѣмъ поздравить теперь-то Италію, чего достигла она лучшаго-то послѣ дипломатіи графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевствьицо, потерявшее всякое міровое поползновеніе, промѣнявшее его на самое изношенное, буржуазное начало, — тридцатое повтореніе этого начала со времени первой французской революціи — королевство вседовольное своимъ единствомъ, ровно ничего не означающимъ, единствомъ механическимъ, а не духовнымъ (т. е. не прежнимъ міровымъ единствомъ), и сверхъ того, въ неоплатныхъ долгахъ, и сверхъ того, именно вседовольное своею второстепенностью. Вотъ что получилось, вотъ созданіе графа Кавура! Однимъ словомъ, современный дипломатъ есть именно «великій звѣрь на малыя дѣла!» Князь Меттернихъ считался однимъ изъ самыхъ глубокихъ и тончайшихъ дипломатовъ въ мірѣ и ужъ безспорно имѣлъ всеевропейское вліяніе. А, между тѣмъ, въ чемъ была его идея, какъ понялъ онъ свой вѣкъ, въ его время лишь начинавшійся, какъ предчувствовалъ онъ грядущее будущее? Увы, онъ со всѣми основными идеями начинавша-

гося столѣтія рѣшилъ справиться полицейскимъ порядкомъ и вполнѣ былъ увѣренъ въ успѣхѣ! Посмотримъ теперь на князя Бисмарка, вотъ этотъ такъ ужъ, безспорно, геній, но...

— Finissons, monsieur, — строго прерываетъ меня маменька съ видомъ глубоко и свысока оскорбленнаго достоинства. Я, разумѣется, тотчасъ же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понятъ. конечно, съ маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такія темы, и я далъ страшнаго маху. Но съ кѣмъ можно-то теперь заговаривать о дипломатіи, вотъ вѣдь вопросъ? А вѣдь какая интереснѣйшая тема какъ разъ въ наше время! Но...

II.

Дипломатія передъ міровыми вопросами.

И какая серьезная тема! Ибо что такое теперь наше время? Всѣ, кто одарены мудростью, говорятъ, что наше время есть время по преимуществу дипломатическое, время рѣшенія всѣхъ міровыхъ судебъ одной лишь дипломатіей. Утверждаютъ, что будто бы гдѣ-то теперь у насъ идетъ война. И я даже слышалъ о томъ, что идетъ война, но мнѣ говорятъ, и я читаю вездѣ, что если и есть тамъ что-то и гдѣ-то въ родѣ войны, то все это навѣрно не такъ понимается... По крайней мѣрѣ, рѣшено, что эта война ничему не помѣшаетъ, т. е. никакимъ здравымъ отправленіямъ націи, совмѣщающимся, по послѣднимъ взглядамъ всего того, что называется вообще «премудростью», преимущественно и даже единственно въ одной лишь дипломатіи; и что самыя даже эти военныя прогулки, маневры и проч. всегда, впрочемъ, необходимые,— въ истинномъ смыслѣ вещей составляютъ не болѣе, какъ лишь одинъ изъ фазисовъ высшей дипломатіи и ничего болѣе. Такъ и надо вѣровать. Съ моей стороны я очень наклоненъ этому вѣрить, ибо все это очень успокоительно, но вотъ, однако, что любопытно и что ужасно какъ выдается: у насъ, напримѣръ, загорѣлся Восточный вопросъ, загорѣлся онъ и во всей Европѣ тотчасъ же, какъ и у насъ, даже раньше, — и это ужасно понятно: всѣ и даже не дипломаты (и даже особенно если не-дипломаты) — всѣ знаютъ давнымъ давно, что Восточный вопросъ — есть, такъ сказать, одинъ изъ міровыхъ вопросовъ, одинъ

изъ главнѣйшихъ *отдѣловъ* мірового и ближайшаго разрѣшенія судебъ человѣческихъ, новый грядущій фазисъ этихъ судебъ. Извѣстно, что тутъ дѣло не только одного Востока Европы касается, не только славянъ, русскихъ и турокъ, или тамъ спеціально болгаръ какихъ-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливовъ, входовъ и выходовъ, а гораздо глубже, основнѣе, стихійнѣе, насущнѣе, существеннѣе, первоначальнѣе. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатіи такъ много дѣла. Но какое же, однако, дѣло у дипломатіи? — вотъ мой вопросъ! Чѣмъ она-то (по преимуществу теперь) въ Восточномъ вопросѣ занята? Дѣло дипломатіи (а иначе она и дипломатіей бы не была), дѣло ея теперь — конфисковать Восточный вопросъ во всѣхъ отношеніяхъ и поскорѣй увѣрить всѣхъ, кого слѣдуетъ, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что все это только такъ, маневрики и прогулочки — я даже, если только можно, то увѣрить, что Восточный вопросъ не только не начинался, но и никогда его не бывало на свѣтѣ, не существовало, а только туману лѣтъ сто назадъ напустили, изъ видовъ, и тоже дипломатическихъ, такъ вотъ и лежитъ этотъ нерастолкованный туманъ до сихъ поръ. Откровенно скажу, что этому можно бы даже и повѣрить, если бъ тутъ какъ разъ не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вотъ бѣда!), ибо дипломатія никогда и ни за что не берется за такія загадки, мало того, отворачивается отъ нихъ съ презрѣніемъ, ибо считаетъ ихъ недостойными высшихъ умовъ фантазіями. Эту загадку можно бы формулировать въ такомъ видѣ: почему это всегда такъ происходитъ, и особенно въ послѣднее время, съ половины, т. е., девятнадцатаго столѣтія, и чѣмъ далѣе тѣмъ нагляднѣе и осязательнѣе, почему — чуть лишь дѣло коснется въ мірѣ до чего-нибудь мірового, всеобщаго, какъ тотчасъ же, рядомъ съ однимъ поднявшимся гдѣ-нибудь міровымъ вопросомъ, подымаются параллельно тому и *всѣ остальные* міровые вопросы, такъ что мало, напримѣръ, теперь Европѣ одного поднявшагося мірового вопроса, Восточнаго, нѣтъ, она рядомъ съ нимъ нежданно-негаданно вдругъ поднимаетъ во Франціи вопросъ и тоже міровой католическій? И католическій вопросъ не потому только, что вотъ-де умретъ скоро папа, то Франція, какъ представительница католичества, должна позаботиться о томъ, чтобъ отнюдь не исчезло и не измѣнилось ничего въ установившейся вѣками организаціи католичества, а и потому еще, что католичество принято тутъ видимо за общее знамя соединенія всего стараго порядка вещей, за всѣ

девятнадцать вѣковъ, — соединенія противъ чего-то новаго и грядущаго, насущнаго и рокового, противъ грозящаго вселенной обновленія новымъ порядкомъ вещей, противъ соціальнаго, нравственнаго и кореннаго переворота во всей западно-европейской жизни, или, по крайней мѣрѣ, если и не совершится обновленіе это, то противъ страшнаго потрясенія и колоссальной революціи, которая несомнѣнно грозитъ потрясти всѣ царства буржуазіи во всемъ мірѣ, вездѣ гдѣ они организовались и процвѣли, по шаблону французскому 1789 года, грозитъ сковырнуть ихъ прочь и встать на ихъ мѣсто. Кстати, на минутку отступлю отъ темы и сдѣлаю одно необходимое nota bene, ибо предчувствую какъ смѣшно покажется инымъ мудрецамъ, особенно либеральнымъ, что я, въ самомъ разгарѣ девятнадцатаго столѣтія, называю Францію державою католической, представительницей католичества! А потому въ разъясненіе моей мысли и объявлю пока голословно, что Франція есть именно такая страна, которая, если бъ въ ней не оставалось даже ни единаго человѣка, вѣрящаго не только въ папу, но даже въ Бога, все-таки будетъ продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, такъ сказать, всего католическаго организма, знаменемъ его, и это пребудетъ въ ней чрезвычайно долгое время, даже до невѣроятности, до того, можетъ быть, времени, когда Франція перестанетъ быть Франціей и обратится во что-нибудь другое. Мало того: и соціализмъ-то самый начнется въ ней по католическому шаблону, съ католической организаціей и закваской, не иначе — до такой степени эта страна есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамѣстъ укажу лишь, напримѣръ, на то: почему это такъ вдругъ подтолкнуло маршала Макъ-Магона возбудить и поднять, ни съ того, ни съ сего, именно католическій вопросъ? Этотъ храбрый генералъ (впрочемъ, почти вездѣ побѣжденный, а въ дипломатіи отличившійся коротенькой фразой «j'y suis et j'y reste») — этотъ генералъ вовсе не изъ такихъ, кажется, дѣятелей, чтобъ въ состояніи былъ *сознательно* поднять что-либо въ этомъ родѣ. А вотъ началъ же, поднялъ же самый капитальный изъ староевропейскихъ вопросовъ, и именно въ томъ видѣ, въ какомъ и должно было ему подняться, — но, главное: почему, почему именно какъ разъ въ ту минуту поднять, какъ на другомъ концѣ міра загорѣлся другой міровой вопросъ, Восточный вопросъ? Почему вопросъ къ вопросу жмется, почему одинъ другой вызываетъ, тогда какъ, казалось бы, между ними и связи-то нѣтъ? Да и

не одни эти два вопроса поднялись вмѣстѣ: съ Восточнымъ поднялись и еще вопросы, поднимутся и еще и еще, если онъ правильно разовьется. Однимъ словомъ, всѣ главнѣйшіе вопросы Европы и человѣчества въ нашъ вѣкъ начали подниматься всегда одновременно. И вотъ одновременность-то эта и поражаетъ. Условіе-то это непремѣнно всѣмъ вопросамъ являться вмѣстѣ и составляетъ загадку! Но для чего я это все говорю. А вотъ именно въ виду того, что дипломатія на такіе именно вопросы и смотритъ съ презрѣніемъ. Она не только не признаетъ никакихъ подобныхъ совпаденій, но и думать-то о нихъ не желаетъ. Миражи, дескать, вздоры и пустяки: «нѣтъ этого всего ничего, а просто маршалу Макъ-Магону, а пуще его супругѣ чего-то захотѣлось, вотъ все и вышло». А потому, несмотря на то, что самъ же я провозгласилъ, начиная этотъ отдѣлъ главы, что время наше по преимуществу дипломатическое, а прочее все миражъ — самъ же я принужденъ этому не повѣрить первый. Нѣтъ, тутъ загадка! Нѣтъ, тутъ рѣшаетъ дѣло не одна дипломатія, а и еще что-то другое. И, признаюсь, я чрезвычайно смущенъ этимъ выводомъ; я такъ наклоненъ былъ вѣрить въ дипломатію, а всѣ эти новые вопросы — все это только новыя хлопоты и больше ничего...

III.

Никогда Россія не была столь могущественною, какъ теперь, — рѣшеніе не дипломатическое.

Въ самомъ дѣлѣ, я вотъ предложилъ одинъ вопросъ и пока лишь развилъ его голословно. Но всегда мнѣ представлялся, и еще задолго до этого теперешняго вопроса (т. е. вопроса о совокупности появленія разомъ всѣхъ міровыхъ вопросовъ, чуть лишь одинъ изъ нихъ подымается), еще другой вопросъ, несравненно простѣйшій и естественнѣйшій, но на который, именно потому что онъ такъ простъ и естественъ, люди мудрости и не обращаютъ почти никакого вниманія. Вотъ этотъ другой вопросъ: Да, пусть дипломатія есть и была, всегда и вездѣ, рѣшительницей всѣхъ основныхъ и важнѣйшихъ вопросовъ человѣчества, и будетъ впредь; но всегда ли окончательное рѣшеніе европейскихъ вопросовъ отъ нея зависитъ? Не бываетъ ли, напротивъ, такого фазиса, такой точки въ каждомъ вопросѣ, когда уже нельзя раз-

рѣшить его всѣмъ извѣстнымъ успокоительнымъ способомъ, дипломатическимъ, т. е. заплаточками. И хоть и безспорно, что всѣ міровые вопросы, съ точки зрѣнія дипломатическаго, а стало быть и здраваго смысла, всегда объясняются не болѣе какъ тѣмъ, что такимъ-то вотъ державамъ захотѣлось расширенія границъ, или лично чего-то захотѣлось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной дамѣ и проч. и проч. (пусть, это безспорно, я это ужъ уступлю, ибо здѣсь премудрость), — но все-таки не бываетъ ли въ извѣстный моментъ, даже вотъ и при этихъ-то самыхъ реальныхъ причинахъ и ихъ объясненіяхъ, такой точки въ ходѣ дѣлъ, такого фазиса, когда появляются вдругъ какія-то странныя другія силы, положимъ, и непонятныя и загадочныя, но которыя овладѣваютъ вдругъ всѣмъ, захватываютъ все разомъ въ совокупности и влекутъ неотразимо, слѣпо, въ родѣ какъ бы подъ гору, а, пожалуй, такъ и въ бездну? Въ сущности я хотѣлъ бы только узнать: всегда ли такъ ужъ надѣется на себя и на средства свои дипломатія, что никакихъ подобныхъ силъ, и точекъ, и фазисовъ не боится вовсе, а, пожалуй, такъ и не предполагаетъ ихъ вовсе? Увы, кажется, что всегда, а потому: какъ я повѣрю ей и довѣрюсь ей, и могу ли принять ее за окончательную рѣшительницу судебъ столь блажнаго и безпутнаго еще человѣчества!

Увы, въ пространной исторіи Кайданова есть одна величайшая изъ фразъ. Это именно, когда онъ, въ Новой Исторіи, приступилъ къ изложенію французской революціи и появленію Наполеона I. Фраза эта есть начало главы и она осталась въ моей памяти на всю жизнь; вотъ она: «Глубокая тишина царствовала во всей Европѣ, когда Фридрихъ Великій закрывалъ навѣки глаза свои; но никогда подобная тишина не предшествовала такой великой бурѣ!» — Скажите, что знаете вы выше изъ фразъ? Въ самомъ дѣлѣ, кто тогда въ Европѣ, т. е. когда Фридрихъ Великій закрывалъ навѣки глаза свои, могъ бы предузнать, хотя бы самымъ отдаленнымъ образомъ, что произойдетъ съ людьми и съ Европой въ теченіе слѣдующаго тридцатилѣтія? Я не говорю про какихъ-нибудь тамъ обыкновенныхъ людей, или даже писателей, журналистовъ, профессоровъ. Всѣ они, какъ извѣстно, сбились тогда съ толку: Шиллеръ написалъ, напримѣръ, тогда дифирамбъ на открытіе національнаго собранія; путешествовавшій по Европѣ молодой Карамзинъ смотрѣлъ съ умилительнымъ дрожаніемъ сердца на то же событіе, а въ Петербургѣ, у насъ, еще задолго передъ симъ красовался мраморный бюстъ Вольтера.

Нѣтъ, я обращаюсь прямо къ самой высшей премудрости, прямо къ всерѣшителямъ судебъ человѣческихъ, т. е. къ самимъ дипломатамъ съ вопросомъ: предугадывали ли они тогда хоть что-нибудь изъ того, что въ слѣдующее тридцатилѣтіе произойдетъ?

Но вѣдь вотъ что ужасно: если бъ я спросилъ объ этомъ дипломатовъ (и замѣтьте, всѣ почти европейскіе дипломаты учились по «Кайдашкѣ») — и если бъ они удостоили меня выслушать, то навѣрно отвѣтили бы съ высокомѣрнымъ смѣхомъ, что «*случайностей* предвидѣть нельзя, и что вся мудрость состоитъ лишь въ томъ, чтобы ко всякимъ случайностямъ быть готовымъ».

Каково-съ! Нѣтъ, я вамъ скажу: это отвѣтъ типическій, и хотя я самъ его выдумалъ, потому что ни одного дипломата не безпокоилъ вопросами (да и не смѣю), но весь ужасъ мой въ томъ, что я вѣдь увѣренъ, что мнѣ именно такъ отвѣтили бы, а потому я и назвалъ сей отвѣтъ типическимъ. Ибо что такое, скажите, были эти событія конца прошлаго вѣка въ глазахъ дипломатовъ — какъ не *случайности?* Были и есть. А Наполеонъ, напримѣръ, — такъ ужъ архи-случайность, и не явись Наполеонъ, умри онъ тамъ, въ Корсикѣ, трехъ лѣтъ отроду отъ скарлатины — и третье сословіе человѣчества, буржуазія, не потекло бы съ новымъ своимъ знаменемъ въ рукахъ измѣнять весь ликъ всей Европы (что продолжается и до сихъ поръ), а такъ бы и осталось сидѣть тамъ у себя въ Парижѣ, да, пожалуй, и замерло бы въ самомъ началѣ!

Дѣло въ томъ, что мнѣ кажется, что и нынѣшній вѣкъ кончится въ Старой Европѣ чѣмъ-нибудь колоссальнымъ, т. е., можетъ быть, чѣмъ-нибудь хотя и не буквально похожимъ на то, чѣмъ кончилось восемнадцатое столѣтіе, но все же настолько же колоссальнымъ, — стихійнымъ, и страшнымъ, и тоже съ измѣненіемъ лика міра сего — по крайней мѣрѣ, на Западѣ Старой Европы. И вотъ, если наши премудрые будутъ утверждать, что нельзя же предугадать *случайностей* и т. д., мало того: если имъ даже и въ голову что-нибудь объ этомъ финалѣ не заходило, то...

Однимъ словомъ: заплаточки заплаточки и заплаточки!

Ну, что же, будемъ благоразумны, будемъ ждать. Заплаточки, вѣдь, если хотите, вещь тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тѣмъ болѣе, что заплаточками, напр., обмануть врага можно. Вотъ у насъ теперь война, и если бъ случилось, что Австрія повернулась бы къ намъ враждебно, то «заплаточкой» ее

какъ разъ можно ввести въ обманъ, въ который сама же она съ удовольствіемъ втюрится, ибо что такое Австрія? Сама-то она чуть не на ладанъ дышитъ, развалиться хочетъ, точно такой же «больной человѣкъ», какъ и Турція, да, можетъ быть, и еще того плоше. Это образецъ всевозможныхъ дуализмовъ, всевозможныхъ внутри себя враждебныхъ соединеній, народностей, идей, всевозможныхъ несогласій и противорѣчивыхъ направленій: тутъ и венгры, тутъ и славяне, тутъ и нѣмцы, тутъ и царство жидовъ... Ну, а теперь, благодаря ухаживанію за ней дипломатіи, она и впрямь, пожалуй, можетъ вздумать о себѣ, что она — могущество, которое и дѣйствительно много значитъ и многое можетъ сдѣлать въ общемъ рѣшеніи судебъ. Такой обманъ воображенія, возбужденный именно посредствомъ ухаживанія и заплаточекъ для рѣшенія славянскихъ судебъ, выгоденъ, ибо можетъ на время отвлечь врага, а къ моменту рѣшенія, когда онъ вдругъ увидитъ, что его никто не боится, и что онъ вовсе не могущество — можетъ поразить его упадкомъ духа, попросту сконфузить. Другое дѣло Англія: это нѣчто посерьезнѣе, къ тому же теперь страшно озабоченное въ самыхъ основныхъ своихъ начинаніяхъ. Эту заплаточками и ухаживаніями не усыпишь. Что ни толкуй ей, а вѣдь она ни за что и никогда не повѣритъ тому, что огромная, сильнѣйшая теперь нація въ мірѣ, вынувшая свой могучій мечъ и развернувшая знамя великой идеи и уже перешедшая черезъ Дунай, можетъ въ самомъ дѣлѣ пожелать разрѣшить тѣ задачи, за которыя взялась она, себѣ въ явный ущербъ, и единственно въ ея, Англіи, пользу. Ибо всякое улучшеніе судебъ славянскихъ племенъ есть, *во всякомъ случаѣ*, явный для Англіи ущербъ, и заплаточками тутъ ни за что и никого не умаслишь: не повѣрятъ! Просто ничему въ Англіи не повѣрятъ. Да и какими аргументами убѣдить ее? «Я вотъ, дескать, немножко *начну*, но не кончу». Но вѣдь въ политикѣ начало дѣла есть все, ибо начало, естественно, рано ли, поздно ли, приведетъ къ концу. Что въ томъ что окончаніе завершится не сегодня, все равно завершится завтра. Однимъ словомъ, они не повѣрятъ, а потому надо бы и намъ англичанамъ не вѣрить, или какъ можно меньше вѣрить, разумѣется, про себя. Хорошо бы намъ тоже догадаться, что Англія въ самомъ критическомъ теперь положеніи, въ которомъ когда-либо находилась. Это критическое ея положеніе, можетъ быть формулировано точнѣйшимъ образомъ въ одномъ словѣ: *Уединеніе*, ибо никогда еще, можетъ быть, Англія не была въ такомъ страшномъ уединеніи какъ теперь. О, какъ бы она рада

была теперь найти въ Европѣ союзъ, какой-нибудь entente cordiale. Но бѣда ея въ томъ, что не было еще момента въ Европѣ, когда бы труднѣе было составить союзъ. Ибо именно теперь въ Европѣ все поднялось одновременно, всѣ міровые вопросы разомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ міровыя противорѣчія, такъ что каждому народу и государству *страшно много собственнаго дѣла у себя дома.* А такъ какъ англійскій интересъ не міровой, а давно уже отъ всего и всѣхъ отъединенный и единственно касающійся одной только Англіи, то, на время по крайней мѣрѣ, она и останется въ чрезвычайномъ уединеніи. О, разумѣется, ей можно бы было согласиться даже и съ преслѣдующими другую цѣль изъ взаимныхъ выгодъ: «Я, дескать, тебѣ то доставлю, а ты мнѣ это». — Но по характеру-то теперешнихъ заботъ европейскихъ трудно въ этомъ родѣ entente cordiale составить, по крайней мѣрѣ въ данную минуту, и придется долго ждать, пока потомъ, въ будущемъ развитіи, найдется такой моментъ, что можно будетъ и ей куда-нибудь съ своимъ союзомъ примазаться. Кромѣ того, Англіи прежде всего надобенъ союзъ выгодный, т. е. такой, при которомъ она возьметъ все, а сама отплатитъ, по-возможности, *ничѣмъ.* Ну, вотъ именно такого-то выгоднаго союза теперь всего болѣе не предвидится, и Англія въ уединеніи. О, если бъ этимъ уединеніемъ мы могли удачно воспользоваться! Но тутъ другое восклицаніе: «О, если бъ мы были менѣе скептиками и могли увѣровать въ то, что есть міровые вопросы и что не миражъ они!» Главное то, что у насъ, въ Россіи, очень большая часть интеллигенціи нашей всегда какъ-то видитъ и принимаетъ Европу не реально, какъ она есть теперь, а всегда какъ-то заднимъ числомъ, съ запаздываніемъ. Въ будущность не заглядываютъ, а наклонны судить болѣе по прошедшему, даже по давнопрошедшему.

А, между тѣмъ, міровые вопросы существуютъ дѣйствительно, и какъ бы это въ нихъ-то не вѣрить, да еще намъ-то? Два изъ нихъ уже поднялись и влекутся уже не человѣческою премудростью, а стихійною своею силою, основною, органическою своею потребностью, и не могутъ уже остаться безъ разрѣшенія, несмотря на всѣ разсчеты дипломатіи. Но есть и третій вопросъ, и тоже міровой, и тоже подымается и почти уже поднялся. Вопросъ этотъ, въ частности, можно назвать германскимъ, а въ сущности, въ цѣломъ, какъ нельзя болѣе всеевропейскимъ, и какъ нельзя сильнѣе слитъ онъ органически съ судьбой всей Европы и всѣхъ остальныхъ міровыхъ вопросовъ. Казалось бы однако на видъ, что ничего не можетъ быть

спокойнѣе и безмятежнѣе, какъ теперь Германія: въ спокойствіи грозной силы своей она смотритъ, наблюдаетъ и ждетъ. Всѣ болѣе или менѣе въ ней нуждаются, всѣ болѣе или менѣе отъ нея зависятъ. И однако... все это миражъ! Вотъ то-то и есть, что у всѣхъ теперь въ Европѣ свое дѣло, у каждаго объявилось по собственному своему самоважнѣйшему вопросу, по вопросу такой важности, какъ само почти существованіе, какъ вопросъ о томъ, быть или не быть. Вотъ этакій самый вопросъ нашелся и у Германіи, и какъ разъ въ ту минуту, какъ поднялись и другіе міровые вопросы — и вотъ это-то состояніе Европы, прибавлю, забѣгая впередъ, какъ не надо болѣе выгодно для Россіи въ данный моментъ! Ибо никогда она не была столь нужна Европѣ и могущественнѣе въ глазахъ ея, и, между тѣмъ, столь отъединеннѣе отъ поднявшихся въ ней, въ этой Старой Европѣ, самыхъ капитальныхъ и страшныхъ, но *своихъ*, ей только, Старой Европѣ, а не Россіи, свойственныхъ вопросовъ. И никогда союзъ Россіи не цѣнился бы выше, какъ теперь, въ Европѣ, никогда еще она не могла себя съ большею радостью поздравить съ тѣмъ, что она не Старая Европа, а Новая, что она сама по себѣ, свой особый и могучій міръ, для котораго именно теперь наступилъ моментъ вступить въ новый и высшій фазисъ своего могущества и болѣе чѣмъ когда-нибудь стать независимою отъ прочихъ, *ихнихъ*, роковыхъ вопросовъ, которыми старая, дряхлая Европа связала себя!

Глава третья.

I.

Германскій міровой вопросъ. Германія страна протестующая.

Но мы заговорили про Германію, про теперешнюю задачу ея, теперешній ея роковой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и міровой вопросъ. Какая же это задача? И почему эта задача лишь теперь обращается для Германіи въ столь хлопотливый вопросъ, а не прежде, не недавно, не годъ назадъ, или даже не два мѣсяца назадъ?

Задача Германіи одна, и прежде была, и всегда. Это ея *протестантство*, — не та единственно формула этого протестантства, которая опредѣлилась при Лютерѣ, а все-

гдашнее ея протестантство, всегдашній *протестъ* ея — противъ римскаго міра, начиная съ Арминія, противъ всего, что было Римомъ и римской задачей, и потомъ противъ всего, что отъ древняго Рима перешло къ новому Риму и ко всѣмъ тѣмъ народамъ, которые восприняли отъ Рима его идею, его формулу и стихію, къ наслѣдникамъ Рима и ко всему, что составляетъ это наслѣдство. Я убѣжденъ, что нѣкоторые изъ читателей, прочтя это, вскинутъ плечами и засмѣются: «ну, можно ли, дескать, въ девятнадцатомъ столѣтіи, въ вѣкъ новыхъ идей и науки, толковать о католичествѣ и протестантствѣ, какъ будто мы еще въ среднихъ вѣкахъ! И если еще есть, пожалуй, религіозные люди и даже фанатики, то сохранились какъ археологическая рѣдкость, сидятъ по опредѣленнымъ мѣстамъ и угламъ, осужденные и всѣми осмѣянные, а главное, въ самомъ маломъ числѣ, въ видѣ ничтожной мизерной кучки отсталыхъ людей. Итакъ, можно ли ихъ считать за что-нибудь въ такомъ высшемъ дѣлѣ, какъ міровая политика?».

Но я не религіозный *протестъ* разумѣю, я не останавливаюсь на временныхъ формулахъ идеи древне-римской, равно какъ и вѣковѣчнаго германскаго противъ нея протеста. Я беру лишь основную идею, начавшуюся еще двѣ тысячи лѣтъ тому и которая съ тѣхъ поръ не умерла, хотя постепенно перевоплощалась въ разные виды и формулы. Теперь именно весь этотъ крайній западно-европейскій міръ, — именно унаслѣдовавшій римское наслѣдство, мучится родами новаго перевоплощенія этой унаслѣдованной древней идеи, и это для тѣхъ, кто умѣетъ смотрѣть, до того наглядно, что и объясненій не проситъ.

Древній Римъ первый родилъ идею всемірнаго единенія людей и первый думалъ (и твердо вѣрилъ) практически ее выполнить въ формѣ всемірной монархіи. Но эта формула пала предъ христіанствомъ — формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейскаго человѣчества, изъ нея составилась его цивилизація, для нея одной лишь оно и живетъ. Пала лишь идея всемірной *римской* монархіи и замѣнилась новымъ идеаломъ всемірнаго же единенія во Христѣ. Этотъ новый идеалъ раздвоился на восточный, то есть идеалъ совершенно духовнаго единенія людей, и на западно-европейскій, римско-католическій, папскій, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощеніе идеи и совершилось по-своему, но утративъ свое христіанское, духовное начало и подѣлившись имъ съ древне-римскимъ наслѣдствомъ. Римскимъ папствомъ было про-

возглашено, что христіанство и идея его, безъ всемірнаго владѣнія землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, безъ осуществленія на землѣ новой всемірной римской монархіи, во главѣ которой будетъ уже не римскій императоръ, а папа, — осуществимо быть не можетъ. И вотъ началась опять попытка всемірной монархіи совершенно въ духѣ древне-римскаго міра, но уже въ другой формѣ. Такимъ образомъ, въ восточномъ идеалѣ — сначала духовное единеніе человѣчества во Христѣ, а потомъ ужъ, въ силу этого духовнаго соединенія всѣхъ во Христѣ, и несомнѣнно вытекающее изъ него правильное государственное и соціальное единеніе, тогда какъ по римскому толкованію наоборотъ: сначала заручиться прочнымъ государственнымъ единеніемъ въ видѣ всемірной монархіи, а потомъ ужъ, пожалуй, и духовное единеніе подъ началомъ папы, какъ владыки міра сего.

Съ тѣхъ поръ эта попытка въ римскомъ мірѣ шла впередъ и измѣнялась безпрерывно. Съ развитіемъ этой попытки самая существенная часть христіанскаго начала почти утратилось вовсе. Отвергнувъ, наконецъ, христіанство духовно, наслѣдники древне-римскаго міра отвергли и папство. Прогремѣла страшная французская революція, которая въ сущности была не болѣе какъ послѣднимъ видоизмѣненіемъ и перевоплощеніемъ той же древне-римской формулы всемірнаго единенія. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Былъ даже моментъ, когда для всѣхъ націй, унаслѣдовавшихъ древне-римское призваніе, наступило почти отчаяніе. О, разумѣется, та часть общества, которая выиграла для себя съ 1789 г. политическое главенство, т. е. буржуазія — восторжествовала и объявила, что далѣе и не надо идти. Но зато всѣ тѣ умы, которые по вѣковѣчнымъ законамъ природы обречены на вѣчное міровое безпокойство, на исканіе новыхъ формулъ идеала и новаго слова, необходимыхъ для развитія человѣческаго организма, — всѣ тѣ бросились ко всѣмъ униженнымъ и обойденнымъ, ко всѣмъ не получившимъ доли въ новой формулѣ всечеловѣческаго единенія, провозглашенной французской революціей 1789 г. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединенія людей уже не въ виду распредѣленія равенства и правъ жизни для какой-нибудь одной четверти человѣчества, оставляя остальныхъ лишь сырымъ матеріаломъ и эксплоатируемымъ средствомъ для счастья этой четверти человѣчества, а напротивъ: всеединенія людей на основаніяхъ всеобщаго уже равенства, при участіи всѣхъ и

каждаго въ пользованіи благами міра сего, какія бы они тамъ ни оказались. Осуществить же это рѣшеніе положили *всякими* средствами, т. е. отнюдь уже не средствами христіанской цивилизаціи, и не останавливаясь ни передъ чѣмъ.

При чемъ же тутъ все это время, всѣ эти двѣ тысячи лѣтъ была Германія? Характернѣйшая, существеннѣйшая черта этого великаго, гордаго и особаго народа, съ самой первой минуты его появленія въ историческомъ мірѣ, состояла въ томъ, что онъ никогда не хотѣлъ соединиться, въ призваніи своемъ и въ началахъ своихъ, съ крайне-западнымъ міромъ, т. е. со всѣми преемниками древне-римскаго призванія. Онъ *протестовалъ* противъ этого міра всѣ двѣ тысячи лѣтъ, и хоть и не представилъ (и никогда не представлялъ еще) Новаго Слова, своего строго формулированнаго идеала взамѣнъ древне-римской идеи, но, кажется, всегда былъ убѣжденъ, внутри себя, что въ состоянія представить это Новое Слово и повести за собой человѣчество. Онъ бился съ римскимъ міромъ еще во времена Арминія, затѣмъ во времена римскаго христіанства онъ болѣе чѣмъ кто-нибудь бился за верховную власть съ новымъ Римомъ. Наконецъ, протестовалъ самымъ сильнымъ и могучимъ образомъ, выводя новую формулу протеста уже изъ самыхъ духовныхъ, стихійныхъ основъ германскаго міра: онъ провозгласилъ свободу изслѣдованія и воздвигъ знамя Лютера. Разрывъ былъ страшный и міровой, формула протеста нашлась и восполнилась, — хотя все еще отрицательная, хотя все еще новое и *положительное* Слово сказано еще не было.

И вотъ германскій духъ, сказавъ это Новое Слово протеста — на время какъ бы замеръ, и произошло это совершенно параллельно съ такимъ же ослабленіемъ прежняго строго формулированнаго единства силъ и въ его противникѣ. Крайне-западный міръ подъ вліяніемъ открытія Америки, новой науки и новыхъ началъ искалъ переродиться въ новую истину, въ новый фазисъ. Когда наступила первая попытка этого перевоплощенія во-время французской революціи, германскій духъ былъ въ большомъ смущеніи и на-время потерялъ было самость свою и вѣру въ себя. Онъ ничего не могъ сказать противъ новыхъ идей крайне-западнаго европейскаго міра. Лютерово Протестантство уже отжило свое время давно, идея же свободнаго изслѣдованія давно уже принята была всемірной наукой. Огромный организмъ Германіи почувствовалъ болѣе чѣмъ кто-нибудь, что онъ не имѣетъ, такъ сказать, плоти и формы для своего выраженія. Вотъ

тогда-то въ немъ родилась настоятельная потребность сплотиться хотя бы только наружно въ единый стройный организмъ, въ виду новыхъ грядущихъ фазисовъ его вѣчной борьбы съ крайне-западнымъ міромъ Европы. Тутъ надо замѣтить весьма любопытное совпаденіе: оба всегдашніе враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство въ ней, въ одно и то же время (или почти), схватываются и исполняютъ очень схожую между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайне-западнаго міра, т. е. обновленіе человѣческаго общества на новыхъ соціальныхъ началахъ — эта формула, почти все наше столѣтіе провозглашавшаяся лишь мечтателями, научными представителями ея, всякими идеалистами и фантазерами, вдругъ въ послѣдніе годы измѣняетъ свой видъ и ходъ своего развитія и рѣшаетъ: оставить пока теоретическое опредѣленіе и возсозданіе своей задачи и приступить прямо прежде всякихъ мечтаній къ практическому шагу задачи, т. е. прямо начать борьбу: а для того — положить начало соединенію во единую организацію всѣхъ будущихъ бойцовъ новой идеи, т. е. всему *четвертому*, обойденному въ 1789 году сословію людей, всѣмъ неимущимъ, всѣмъ рабочимъ, всѣмъ нищимъ, и, уже устроивъ это соединеніе, поднять знамя новой и неслыханной еще всемірной революціи. Явилась Интернаціоналка, международныя сношенія всѣхъ нищихъ міра сего, сходки, конгрессы, новые порядки, законы, — однимъ словомъ, положено *по всей старой западной Европѣ* основаніе новому status in statu, грядущему поглотить собою старый, владычествующій въ крайне-западной Европѣ, порядокъ міра сего. И вотъ, въ то время какъ это совершалось у противника, геній Германіи понялъ, что и германская задача, прежде всякаго дѣла и начинанія, прежде всякой попытки Новаго Слоза противъ перевоплотившагося изъ старой древне-католической идеи противника — закончить собственное политическое единеніе, завершить возсозданіе собственнаго политическаго организма и, возсоздавъ его, тогда только стать лицомъ къ лицу съ вѣковѣчнымъ врагомъ своимъ. Такъ и случилось: завершивъ свое объединеніе, Германія бросилась на противника и вступила съ нимъ въ новый періодъ борьбы, начавъ ее желѣзомъ и кровью. Дѣло желѣзомъ кончено, теперь предстоитъ его кончить духовно, существенно. И вотъ вдругъ теперь для Германіи является новая забота, новый неожиданный поворотъ дѣла, страшно усложняющій задачу. Какая же это задача и въ чемъ этотъ новый поворотъ дѣла?

II.

Одинъ геніально-мнительный человѣкъ.

Эта задача, эта новая *внезапная* забота Германіи, если хотите, давно уже просилась наружу, а теперь все дѣло въ томъ, что она слишкомъ ужъ вдругъ выскочила на видъ вслѣдствіе внезапнаго клерикальнаго переворота во Франціи. Формулировать ее можно отчасти въ видѣ такого сомнѣнія: «Да объединился ли онъ, полно, Германскій организмъ въ одно цѣлое, не раздробленъ ли онъ, напротивъ, попрежнему, несмотря на геніальныя усилія предводителей Германіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ, — мало того: объединился ли онъ хотя бы только лишь политически, не миражъ ли и это, несмотря на франко-прусскую войну и провозглашенную послѣ нея новую, неслыханную прежде, Германскую имперію?».

Вся мудренность этого вопроса заключается, главное, въ томъ, что его, почти до самаго послѣдняго времени, не предполагали даже и существующимъ, по крайней мѣрѣ среди огромнѣйшаго большинства германцевъ. Самоупоеніе, гордость и совершенная вѣра въ свое необъятное могущество чуть не опьянили всѣхъ нѣмцевъ поголовно послѣ франко-германской войны. Народъ, необыкновенно рѣдко побѣждавшій, но зато до странности часто побѣждаемый, — этотъ народъ вдругъ побѣдилъ такого врага, который почти всѣхъ всегда побѣждалъ! А такъ какъ ясно было, что онъ и не могъ не побѣдить вслѣдствіе образцоваго устройства своей безчисленной арміи и своеобразнаго пересозданія ея на совершенно новыхъ началахъ, и, кромѣ того, имѣя столь геніальныхъ предводителей во главѣ, то, разумѣется, германецъ и не могъ не возгордиться этимъ до опьяненія. Тутъ ужъ нечего брать въ соображеніе всегдашнюю самодовольную хвастливость всякаго нѣмца — исконную черту нѣмецкаго характера. Съ другой стороны, изъ такъ недавно еще раздробленнаго политическаго организма вдругъ появилось такое стройное цѣлое, что германецъ не могъ и тутъ усомниться и вполнѣ повѣрилъ, что объединеніе завершилось, и что для Германскаго организма наступилъ новый блестящій и великій фазисъ развитія. Итакъ, не только явилась гордость и шовинизмъ, но явилось почти легкомысліе; и ужъ какіе тутъ могутъ быть вопросы, — не только для какого-нибудь воинственнаго лавочника

или сапожника, но даже для профессора или министра? Но однакоже все-таки оставалась кучка нѣмцевъ, очень скоро, почти сейчасъ же послѣ франко-прусской войны, начавшихъ сомнѣваться и задумываться. Во главѣ замѣчательнѣйшихъ членовъ этой кучки, безспорно, стоялъ князь Бисмаркъ.

Еще не успѣли выйти германскія войска изъ Франціи, какъ онъ уже ясно увидѣлъ, что слишкомъ мало было сдѣлано «кровью и желѣзомъ» и что надо было, имѣя передъ собою такихъ размѣровъ цѣль, сдѣлать, по крайней мѣрѣ, вдвое больше, пользуясь случаемъ. Правда, военныхъ выгодъ осталось все же безмѣрно больше на сторонѣ Германіи и это еще надолго. Франція, послѣ уступки Эльзаса и Лотарингіи, стала такой маленькой, по земельному объему, страной для великой державы, что одно или два удачныхъ для Германіи сраженія, въ случаѣ новой войны, и германскія войска тотчасъ же будутъ въ центрѣ Франціи и въ стратегическомъ отношеніи Франція пропала. Но, однако, вѣрны ли побѣды, можно ли надѣяться на эти два побѣдоносныя сраженія навѣрно? Въ франко-прусскую войну нѣмцы побѣдили-то собственно вѣдь не французовъ, а только Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франціи будутъ войска столь плохо устроенныя и командуемыя, не всегда же будутъ и узурпаторы, которые, нуждаясь въ своихъ генералахъ и чиновникахъ изъ династическихъ интересовъ, принуждены будутъ допускать у себя такія плачевныя упущенія, при которыхъ не можетъ существовать правильное войско. Не всегда же будетъ повторяться и Седанъ, ибо Седанъ въ сущности только случай и вышелъ лишь потому, что Наполеону нельзя уже было воротиться въ Парижъ императоромъ иначе, какъ по милости короля Прусскаго. Не всегда тоже будутъ и столь мало даровитые генералы, какъ Макъ-Магонъ, или такіе измѣнники, какъ Базенъ. Опьяненные столь неслыханнымъ для нихъ торжествомъ, нѣмцы, конечно, всѣ до единаго, могли увѣровать въ то, что это все они сдѣлали одними своими талантами, но въ сомнѣвающейся кучкѣ могли думать иное, особенно послѣ того, когда побѣжденный врагъ, еще столь разстроенный и потрясенный, вдругъ уплатилъ три милліарда контрибуціи разомъ и не поморщился. Это ужъ, конечно, очень огорчило князя Бисмарка.

Съ другой стороны, для сомнѣвающейся кучки предстоялъ и другой вопросъ, можетъ быть, еще важнѣйшій: совсѣмъ ли завершилось политическое и гражданское объединеніе внутри организма? Для всѣхъ почти въ Европѣ, и, кажется, въ особенности у насъ въ Россіи, въ этомъ

доселѣ еще никто не сомнѣвался. Вообще мы, русскіе, приняли все то, что приключилось въ послѣднія десять — пятнадцать лѣтъ въ Германіи, за нѣчто уже окончательное, въ высшей степени не случайное, а натуральное, за такое, что уже и не должно измѣниться. Совершившіеся факты намъ внушили необыкновенное почтеніе. А между тѣмъ въ глазахъ столь геніальныхъ людей, какъ князь Бисмаркъ, врядъ ли все, чему слѣдовало, приняло свою окончательную прочность. То, что можетъ казаться теперь прочнымъ, то, можетъ быть, всего только еще фантазія. Трудно предположить, чтобъ столь долгая привычка къ политическому разъединенію исчезла у нѣмцевъ такъ вдругъ, какъ выпитый стаканъ воды. Нѣмецъ упоренъ уже по своей природѣ. Нынѣшнее поколѣніе нѣмцевъ къ тому же было подкуплено успѣхами, опьянено гордостью и сдержано желѣзной рукой предводителей. Но въ весьма, можетъ, недалекомъ будущемъ, когда эти предводители отойдутъ въ другой міръ и уступятъ мѣсто другимъ, поднимутся, можетъ быть, прижатые на-время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вѣроятно, что тогда утратится энергія перваго порыва соединенія, напротивъ, возродится вновь энергія оппозиціи, которая и пошатнетъ то, что было сдѣлано. Явится стремленіе къ распаденію, къ обособленію, и именно тогда, когда на западѣ ужъ совсѣмъ оправится отъ удара страшный врагъ, который и теперь уже не спитъ и не дремлетъ, и даже извѣстно съ чего начнетъ. А тутъ вдобавокъ и самый, такъ сказать, законъ природы: Германія вѣдь все-таки въ Европѣ страна *серединная:* какъ бы она ни была сильна — съ одной стороны Франція, съ другой Россія. Правда, русскіе пока вѣжливы. Но что если они вдругъ догадаются, что не они нуждаются въ союзѣ съ Германіей, а что Германія нуждается въ союзѣ съ Россіей, мало того: *что зависимость отъ союза съ Россіей есть, повидимому, роковое назначеніе Германіи, съ франко-прусской войны особенно.* То-то и есть, что въ слишкомъ сильную почтительность Россіи даже и такой убѣжденный въ своей силѣ человѣкъ, какъ князь Бисмаркъ, не въ состояніи вѣрить. Правда. до послѣдняго внезапнаго приключенія во Франціи, измѣнившаго вдругъ весь видъ дѣла, князь Бисмаркъ все еще надѣялся, что чрезвычайная вѣжливость Россіи еще долго непоколебима, и вотъ вдругъ это приключеніе Однимъ словомъ, случилось нѣчто необычайное.

Необычайное для всѣхъ, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось, что геній его все это «приключеніе» предвидѣлъ заранѣе. Не геній ли его, скажите, не геніальный ли глазъ подмѣтилъ главнаго врага столь задолго?

Почему именно онъ такъ возненавидѣлъ католицизмъ, почему онъ такъ гналъ и преслѣдовалъ все, что исходило изъ Рима (т. е. отъ папы), — вотъ уже столько лѣтъ? Почему онъ такъ дальновидно озаботился заручиться итальянскимъ *союзомъ* (такъ можно выразиться), — какъ не для того, чтобъ съ помощью итальянскаго правительства раздавить папское начало въ мірѣ, когда придетъ срокъ выбирать новаго папу. Не католическую вѣру онъ гналъ, а римское начало этой вѣры. О, безъ сомнѣнія, онъ дѣйствовалъ какъ нѣмецъ, какъ протестантъ, онъ дѣйствовалъ противъ основной стихіи крайне-западнаго, всегда враждебнаго Германіи міра, но все же очень и очень многіе изъ геніальнѣйшихъ и либеральныхъ мыслителей Европы смотрѣли на этотъ походъ великаго Бисмарка противъ столь ничтожнаго папы, какъ на борьбу слона съ мухой. Иные объясняли все это даже странностью генія, капризами геніальнаго человѣка. Но дѣло въ томъ, что геніальный политикъ *сумѣлъ* оцѣнить, можетъ быть единый въ мірѣ изъ политиковъ, какъ сильно еще римское начало само въ себѣ и среди враговъ Германіи и какимъ страшнымъ цементомъ можетъ оно служить въ будущемъ для соединенія всѣхъ этихъ враговъ воедино. Онъ сумѣлъ догадаться, что, можетъ быть, у одной лишь римской идеи можетъ найтись такое знамя, которое въ роковую (а въ глазахъ Бисмарка и неизбѣжную) минуту сплотитъ всѣхъ уже раздавленныхъ имъ враговъ Германіи опять въ одно страшное цѣлое. И вотъ геніальная догадка вдругъ оправдалась: всѣ партіи въ побѣжденной Франціи, изъ тѣхъ, которыя могли начать движеніе противъ Германіи, — всѣ эти партіи были раздроблены, ни одна изъ нихъ не могла восторжествовать и захватить во Франціи власть. Соединиться тоже онѣ никакъ не могли, имѣя каждая въ виду противоположныя цѣли задачъ своихъ,— и вотъ знамя папы и іезуитовъ соединяетъ все. Врагъ возсталъ, и врагъ этотъ уже не Франція, а самъ папа. Это папа, предводительствующій всѣмъ и всѣми, кому завѣщана римская идея, и идущій броситься на Германію. Но чтобы яснѣе изложить случившееся, взглянемъ пристальнѣе въ лагерь противниковъ Германіи.

III.

И сердиты, и сильны.

Папа умираетъ. Онъ очень скоро умретъ. Все католичество, принимающее Христа въ образѣ римской

идеи — давно уже въ страшномъ волненіи. Подходитъ роковая минута. Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идеѣ. Можетъ именно случиться, что новый папа, подъ давленіемъ правительствъ всей Европы, будетъ избранъ «не свободно», и провозглашенный папой согласится отказаться навѣки, и въ принципѣ, отъ земного владѣнія, отъ сана земного государя, отъ котораго не отказался Пій IX (напротивъ, въ самую роковую минуту, когда отъ него отнимали и Римъ, и послѣдній кусокъ земли, и оставляли ему въ собственность лишь одинъ Ватиканъ, въ эту самую минуту онъ, какъ нарочно, провозгласилъ свою непогрѣшимость, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тезисъ: что безъ земного владѣнія христіанство не можетъ уцѣлѣть на землѣ, — т. е., въ сущности, провозгласилъ себя владыкой міра, а предъ католичествомъ поставилъ, уже догматически, прямую цѣль всемірной монархіи, къ которой и повелѣлъ стремиться во славу Божію и Христа на землѣ). О, конечно, онъ ужасно насмѣшилъ тогда всѣхъ остроумныхъ людей: «сердитъ, да не силенъ — Хлестакову братъ». И вотъ, вдругъ, если ново-избранный папа будетъ подкупленъ, если даже самъ конклавъ, подъ давленіемъ всей Европы, принужденъ будетъ войти въ соглашеніе съ противниками римской идеи, — ну, тогда ей и смерть. Ибо разъ, правильно-избранный, а стало быть, непогрѣшимый папа откажется въ принципѣ отъ сана земного государя, — то, стало быть, и впредь навѣки такъ и останется. Съ другой стороны, если ново-избранный конклавомъ папа твердо и на всю вселенную объявитъ, что онъ ни отъ чего не хочетъ отказываться, а пребудетъ въ прежней идеѣ вполнѣ, и начнетъ съ анафемы на всѣхъ враговъ Рима и римскаго католичества, то тогда правительства Европы могутъ его не признать, а стало быть, и въ этомъ случаѣ можетъ произойти такое роковое потрясеніе въ римской церкви, послѣдствія котораго могутъ быть неисчислимы и непредвидимы.

О, не правда ли, что для политиковъ и дипломатовъ почти всей Европы — все это весьма смѣшно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный въ Ватиканѣ, представлялъ собою, въ послѣдніе годы, въ ихъ глазахъ такое ничтожество, которымъ стыдно было и заниматься. Такъ размышляли чрезвычайно многіе передовые люди Европы, особенно изъ остроумныхъ и либеральнѣйшихъ. Папа, издающій аллокуціи и силлабусы, принимающій богомольцевъ, проклинающій и умирающій — въ глазахъ ихъ похожъ былъ на шута для ихъ увеселенія. Мысль о томъ, что огромнѣйшая идея міра, идея, вышедшая изъ

главы діавола во время искушенія Христова въ пустынѣ, идея, живущая въ мірѣ уже органически тысячу лѣтъ — эта идея такъ-таки возьметъ и умретъ въ одну минуту — эта мысль принималась за несомнѣнную. Ошибка, конечно, тутъ заключалась въ религіозномъ значеніи этой идеи, въ томъ, что два значенія были перемѣшаны вмѣстѣ: «Такъ какъ-де рѣдко кто вѣритъ на свѣтѣ въ Бога, особенно по римскому толкованію, а во Франціи такъ даже не вѣритъ въ него и народъ, а развѣ одно только высшее сословіе, да и то не вѣритъ, а только ломается, — то, стало быть, какую же силу можетъ имѣть, въ нашъ образованный вѣкъ, папа и римское католичество?» — вотъ въ чемъ увѣрены даже и теперь остроумные люди. Но идея религіозная и идея папская въ сущности различны. Вотъ эта-то папская идея вдругъ въ наши дни, всего только два мѣсяца назадъ, разомъ проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франціи радикальнѣйшій политическій переворотъ, надѣла на всю Францію узду и рабски повлекла ее за собой.

Во Франціи за послѣдніе годы образовалось парламентское большинство изъ республиканцевъ, и вели они свои дѣла порядочно, чисто, спокойно, безъ потрясеній. Улучшили армію, дали для нея громадныя суммы не споря, но и не думали о войнѣ, и всѣ понимали, и во Франціи и въ Европѣ, что если есть вполнѣ миролюбивая партія, то ужъ, конечно, это они, республиканцы. Предводители ихъ отличались сдержанностью и необычнымъ еще у нихъ благоразуміемъ. Въ сущности, однако, все это люди отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпѣтые и ужасно безсильные люди. Это либеральные, сѣдые, но молодящіеся старички, воображающіе себя молодыми. Они остановились на идеяхъ первой французской революціи, т. е. на торжествѣ третьяго сословія, и въ полномъ смыслѣ слова суть воплощеніе буржуазіи. Это совершенно та же іюльская монархія, но съ тою лишь разницей, что она называется республикой и что нѣтъ короля (т. е. ужъ, разумѣется, «тирана»). Все, что они внесли новаго — это провозглашеніе въ 1848 году всеобщей подачи голосовъ, котораго такъ боялось іюльское королевское правительство и изъ котораго не только не вышло ничего опаснаго, а, напротивъ, очень даже много, для буржуазіи, полезнаго. Очень тоже пригодилась потомъ эта идея правительству Наполеона III. Но старички удовлетворены были ею въ высшей степени, и ихъ, какъ дѣтей, тѣшитъ, что они республиканцы. Слово «республика» у нихъ что-то комически-идеальное. Казалось бы, эта невинная партія могла вполнѣ удовлетворить

идеи — давно уже въ страшномъ волненіи. Подходитъ роковая минута. Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идеѣ. Можетъ именно случиться, что новый папа, подъ давленіемъ правительствъ всей Европы, будетъ избранъ «не свободно», и провозглашенный папой согласится отказаться навѣки, и въ принципѣ, отъ земного владѣнія, отъ сана земного государя, отъ котораго не отказался Пій IX (напротивъ, въ самую роковую минуту, когда отъ него отнимали и Римъ, и послѣдній кусокъ земли, и оставляли ему въ собственность лишь одинъ Ватиканъ, въ эту самую минуту онъ, какъ нарочно, провозгласилъ свою непогрѣшимость, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тезисъ: что безъ земного владѣнія христіанство не можетъ уцѣлѣть на землѣ, — т. е., въ сущности, провозгласилъ себя владыкой міра, а предъ католичествомъ поставилъ, уже догматически, прямую цѣль всемірной монархіи, къ которой и повелѣлъ стремиться во славу Божію и Христа на землѣ). О, конечно, онъ ужасно насмѣшилъ тогда всѣхъ остроумныхъ людей: «сердитъ, да не силенъ — Хлестакову братъ». И вотъ, вдругъ, если ново-избранный папа будетъ подкупленъ, если даже самъ конклавъ, подъ давленіемъ всей Европы, принужденъ будетъ войти въ соглашеніе съ противниками римской идеи, — ну, тогда ей и смерть. Ибо разъ, правильно-избранный, а стало быть, непогрѣшимый папа откажется въ принципѣ отъ сана земного государя, — то, стало быть, и впредь навѣки такъ и останется. Съ другой стороны, если ново-избранный конклавомъ папа твердо и на всю вселенную объявитъ, что онъ ни отъ чего не хочетъ отказываться, а пребудетъ въ прежней идеѣ вполнѣ, и начнетъ съ анафемы на всѣхъ враговъ Рима и римскаго католичества, то тогда правительства Европы могутъ его не признать, а стало быть, и въ этомъ случаѣ можетъ произойти такое роковое потрясеніе въ римской церкви, послѣдствія котораго могутъ быть неисчислимы и непредвидимы.

О, не правда ли, что для политиковъ и дипломатовъ почти всей Европы — все это весьма смѣшно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный въ Ватиканѣ, представляль собою, въ послѣдніе годы, въ ихъ глазахъ такое ничтожество, которымъ стыдно было и заниматься. Такъ размышляли чрезвычайно многіе передовые люди Европы, особенно изъ остроумныхъ и либеральнѣйшихъ. Папа, издающій аллокуціи и силлабусы, принимающій богомольцевъ, проклинающій и умирающій — въ глазахъ ихъ похожъ былъ на шута для ихъ увеселенія. Мысль о томъ, что огромнѣйшая идея міра, идея, вышедшая изъ

главы діавола во время искушенія Христова въ пустынѣ, идея, живущая въ мірѣ уже органически тысячу лѣтъ — эта идея такъ-таки возьметъ и умретъ въ одну минуту — эта мысль принималась за несомнѣнную. Ошибка, конечно, тутъ заключалась въ религіозномъ значеніи этой идеи, въ томъ, что два значенія были перемѣшаны вмѣстѣ: «Такъ какъ-де рѣдко кто вѣритъ на свѣтѣ въ Бога, особенно по римскому толкованію, а во Франціи такъ даже не вѣритъ въ него и народъ, а развѣ одно только высшее сословіе, да и то не вѣритъ, а только ломается, — то, стало быть, какую же силу можетъ имѣть, въ нашъ образованный вѣкъ, папа и римское католичество?» — всѣ въ чемъ увѣрены даже и теперь остроумные люди. Но идея религіозная и идея папская въ сущности различны. Вотъ эта-то папская идея вдругъ въ наши дни, всего только два мѣсяца назадъ, разомъ проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франціи радикальнѣйшій политическій переворотъ, надѣла на всю Францію узду и рабски повлекла ее за собой.

Во Франціи за послѣдніе годы образовалось парламентское большинство изъ республиканцевъ, и вели они свои дѣла порядочно, чисто, спокойно, безъ потрясеній. Улучшили армію, дали для нея громадныя суммы не споря, но и не думали о войнѣ, и всѣ понимали, и во Франціи и въ Европѣ, что если есть вполнѣ миролюбивая партія, то ужъ, конечно, это они, республиканцы. Предводители ихъ отличались сдержанностью и необычнымъ еще у нихъ благоразуміемъ. Въ сущности, однако, все это люди отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпѣтые и ужасно безсильные люди. Это либеральные, сѣдые, но молодящіеся старички, воображающіе себя молодыми. Они остановились на идеяхъ первой французской революціи, т. е. на торжествѣ третьяго сословія, и въ полномъ смыслѣ слова суть воплощеніе буржуазіи. Это совершенно та же іюльская монархія, но съ тою лишь разницей, что она называется республикой и что нѣтъ короля (т. е. ужъ, разумѣется, «тирана»). Все, что они внесли новаго — это провозглашеніе въ 1848 году всеобщей подачи голосовъ, котораго такъ боялось іюльское королевское правительство и изъ котораго не только не вышло ничего опаснаго, а, напротивъ, очень даже много, для буржуазіи, полезнаго. Очень тоже пригодилась потомъ эта идея правительству Наполеона III. Но старички удовлетворены были ею въ высшей степени, и ихъ, какъ дѣтей, тѣшитъ, что они республиканцы. Слово «республика» у нихъ что-то комически-идеальное. Казалось бы, эта невинная партія могла вполнѣ удовлетворить

Францію, т. е. городскую буржуазію и землевладѣльцевъ. Но оказалось напротивъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему республика всегда казалась во Франціи правительствомъ неблагонадежнымъ. И если республиканцы не были всегда ненавидимы, то всегда были презираемы за безсиліе ихъ огромнымъ большинствомъ буржуазіи. Если не прямо презираемы, то всегда не уважаемы. Народъ тоже въ нихъ почти никогда не вѣрилъ. Дѣло въ томъ, что каждый разъ, съ воцареніемъ во Франціи республики, все во Франціи какъ бы теряло свою прочность и самоувѣренность. Всегда до сихъ поръ республика была лишь какой-то временной срединой — между соціальными попытками самаго страшнаго размѣра и какимъ-нибудь, иногда самымъ наглымъ, узурпаторомъ. И такъ какъ это почти всегда случалось, то такъ и привыкло на нее смотрѣть общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда всѣ начинали чувствовать себя какъ бы въ междуцарствіи, и какъ бы благоразумно ни правили республиканцы, но буржуазія всегда при нихъ увѣрена, что рано ли, поздно ли, а грянетъ красный бунтъ или опять наступитъ какая-нибудь монархія. Кончилось тѣмъ, что монархическое правленіе буржуазія полюбила гораздо больше, чѣмъ республику, несмотря даже на то, что монархія, какъ, напримѣръ, Наполеона III, выражала даже какъ бы попытки войти въ соглашеніе съ соціалистами, тогда какъ ужъ никто на свѣтѣ не можетъ быть враждебнѣе соціалистамъ, какъ чистые республиканцы: для республиканцевъ было бы только слово республика, а соціалисты ищутъ не слова, а одного лишь дѣла. По принципамъ соціалистовъ все равно — республика, монархія ли, французы ли они будутъ, или станутъ нѣмцами, и, право, даже, если бъ вышло какъ-нибудь такъ, что имъ могъ бы пригодиться самъ папа, то они провозгласили бы и папу. Они прежде всего ищутъ *своего дѣла*, т. е. торжества четвертаго сословія и равенства въ распредѣленіи правъ въ пользованіи благами жизни, а подъ какимъ знаменемъ — это ужъ какъ тамъ придется, все равно, хоть подъ самымъ деспотическимъ.

Замѣчательно, что князь Бисмаркъ ненавидитъ соціализмъ не меньше папства, и что германское правительство, въ самое послѣднее время особенно, стало какъ-то слишкомъ бояться соціалистической пропаганды. Безъ сомнѣнія, это потому, что соціализмъ обезличиваетъ національное начало и подъѣдаетъ національность въ самомъ корнѣ, а принципъ національности есть основная, есть главная идея всего германскаго объединенія, всего

того, что совершилось въ Германіи въ послѣдніе годы. Но очень можетъ быть, что князь Бисмаркъ смотритъ еще глубже, а именно: соціализмъ есть сила грядущая для всей западной Европы, и єсли папство когда-нибудь будетъ покинуто и отброшено правительствами міра сего, то весьма и весьма можетъ случиться, что оно бросится въ объятія соціализма и соединится съ нимъ воедино. Папа выйдетъ ко всѣмъ нищимъ пѣшъ и босъ, и скажетъ, что все, чему они учатъ и чего хотятъ, давно уже есть въ Евангеліи, что до сихъ поръ лишь время не наступало имъ про это узнать, а теперь наступило, и что онъ, папа, отдаетъ имъ Христа и вѣритъ въ муравейникъ. Римскому католичеству (слишкомъ ужъ ясно это) нуженъ не Христосъ, а всемірное владычество: «Вамъ-де надо единеніе противъ врага — соединитесь подъ моею властью, ибо я одинъ *всеміренъ* изъ всѣхъ властей и властителей міра, и пойдемъ вмѣстѣ». Эту картину, вѣроятно, предвидитъ князь Бисмаркъ, ибо онъ одинъ изъ всѣхъ дипломатовъ возымѣлъ настолько зоркій взглядъ, чтобъ провидѣть живучесть римской идеи и всю ту энергію, съ которою она готова себя отстоять, не различая уже средствъ. Жить ей хочется адски, а убить ее трудно, это змѣя! — вотъ что понимаетъ во всей силѣ одинъ лишь князь Бисмаркъ — главный врагъ папства и римской идеи!

Но молодящіеся старички, французскіе республиканцы, этого не въ состояніи были понять. Клерикаловъ они ненавидѣли изъ одного уже либерализма, но считали папу безсильнымъ и презрѣннымъ, а римскую идею совсѣмъ отжившею. Они не догадались даже ужиться съ страшною клерикальною партіею, хотя бы только политически, чтобъ придать себѣ больше крѣпости. По крайней мѣрѣ, они могли бы не раздражать пока клерикаловъ, не затрогивать ихъ, съ такимъ нарочнымъ задоромъ, и даже могли бъ пообѣщать нѣкоторое содѣйствіе въ ближайшемъ будущемъ при выборѣ новаго папы. Но они именно сдѣлали все противоположное — или отъ идеальной честности своихъ убѣжденій, или просто по легкомыслію. Послѣднее время они особенно стали гнать клерикаловъ, и какъ разъ въ ту минуту, когда папству лишь только и оставалась что одна Франція какъ поддержка, иначе выходилъ страшный шансъ умереть папству вмѣстѣ съ Піемъ IX. Ибо кто, въ случаѣ нужды, могъ бы въ Европѣ обнажить мечъ за «свободу» избранія папы и за свободу избраннаго папы? Да и мечъ этотъ долженъ быть сильный и могучій. Другого выбора не оставалось кромѣ Франціи и ея милліонной арміи.

И вотъ Франція-то и во главѣ враговъ! Правда, маршалъ Макъ-Магонъ послушенъ, но онъ въ тискахъ и выпутаться самъ не умѣетъ: большинство палаты республиканское и либеральное и ни одна изъ партій не въ силахъ замѣстить его. Однимъ словомъ, сковырнуть республиканское большинство невозможно, и вотъ вдругъ клерикалы, — эти презираемые и безсильные клерикалы, выручаютъ маршала Макъ-Магона и проявляютъ на весь міръ такое могущество, какого никто отъ нихъ не ожидалъ болѣе. Они даютъ знать партіямъ, что имъ можно соединиться лишь подъ клерикальнымъ знаменемъ, и тѣ, пораженныя очевидностью, разомъ съ ними соглашаются. Въ самомъ дѣлѣ: и у легитимистовъ, и у бонапартистовъ самый главный и ближайшій врагъ ихъ — все это же республиканское большинство. Если каждая изъ этихъ партій будетъ работать для себя порознь, то ничего не достигнетъ, а, соединившись вмѣстѣ, эти партіи могутъ составить силу и все побороть, и республиканцевъ разогнать. А тамъ уже, когда раздавятъ республику, можно будетъ каждой партіи позаботиться о себѣ, и ужъ, разумѣется, каждая изъ нихъ тѣмъ больше будетъ имѣть шансовъ на успѣхъ, чѣмъ больше она угодитъ клерикаламъ. Клерикалы все это разсчитали математически, соединеніе произошло, и клерикальное большинство сената разрѣшило Макъ-Магону разогнать республиканцевъ.

IV.

Черное войско. — Мнѣніе легіоновъ какъ новый элементъ цивилизаціи.

Проявивъ такую внезапную силу и ловкость, клерикалы несомнѣнно пойдутъ далѣе. Они объявятъ въ рѣшительную для себя минуту войну Германіи — и вотъ что немедленно понялъ князь Бисмаркъ! Главное они уже сдѣлали: Макъ-Магонъ уже согласился бросить Францію въ политику приключеній. Имъ ли остановиться передъ дальнѣйшимъ? Не жалѣть же имъ Фринцію; Франція какъ и все на свѣтѣ имъ нужна, пока лишь можетъ приносить имъ пользу. О, они бы могли ее пожалѣть: это страна — единственная ихъ надежда и служила имъ столько вѣковъ! Но теперь именно пришла для нихъ самая роковая минута въ цѣлое тысячелѣтіе, и коль подвернулась Франція, — то отчего же не высосать и ея соки, хотя бы до убіенія ея, и не рискнуть самымъ ея

существованіемъ! Надо взять у нея все, что она можетъ дать, а главное, нельзя мѣшкать ни минуты: немного позже и для нихъ будетъ несомнѣнно поздно. Такъ что именно теперь надобно попробовать отбить Бисмарка, ибо если кто будетъ вредить при избраніи папы, то ужъ, конечно, онъ. А вдобавокъ, Бисмаркъ именно въ эту минуту какъ нарочно одинъ, — безъ союзниковъ: Россія (вся надежда его) — занята теперь на Востокѣ. Наконецъ, если удастся смирить Бисмарка, хотя бы даже на время, то надо какъ можно скорѣй и заранѣе положить основаніе *будущему:* надо воспользоваться удавшимся моментомъ и, разъ навсегда, создать изъ Франціи уже прочную для себя союзницу, на все готовую и послушную, а для того произвести въ ней переворотъ уже *серьезный,* радикальный и вѣковой. Безъ сомнѣнія, во всемъ этомъ много риску, но колебаться могутъ другіе, а не отцы іезуиты. Главное въ томъ, что имъ и нѣтъ другого выбора въ данный моментъ, какъ рисковать и рисковать... Ограничиться однимъ совершившимся во Франціи клерикальнымъ переворотомъ, безъ войны съ Германіей и безъ *серьезной* революціи во Франціи, имъ положительно невозможно. Дѣла ихъ именно дошли до такого положенія. Имъ надо все или ничего, если же взять мало, ограничиться какимъ-нибудь тамъ вліяніемъ въ правительствѣ, то все равно это не принесло бы имъ ни малѣйшей пользы, ибо нужды-то ихъ теперь большія! А потому они и должны рѣшиться на самый открытый и наглый рискъ, ибо имъ надо взять весь va-banque. Если, на случай, рискъ не удастся и Францію, напримѣръ, нѣмцы побѣдятъ и раздавятъ опять, то вѣдь, все равно — имъ, клерикаламъ, хуже того какъ теперь (т. е. если бъ они сидѣли смирно и не начали переворота), не будетъ: они останутся при томъ же, при чемъ были до начала «приключенія», т. е. въ состояніи сквернѣйшемъ, но которое ухудшиться уже не можетъ. Франція другое дѣло: если побѣждена будетъ опять, то несомнѣнно погибнетъ. Но таковъ ли іезуиты народъ, чтобъ передъ этимъ остановиться: они знаютъ, что если побѣдитъ Франція, то они получатъ *все,* и ужъ до того укрѣпятся во Франціи, что ихъ и не выведешь. А для этого у нихъ есть свои особыя средства, во Франціи еще неслыханныя.

Всякіе другіе революціонеры, даже изъ самыхъ ярыхъ или красныхъ, произведя переворотъ, все же сообразуются, хоть отчасти, съ чѣмъ-то общимъ, прежде даннымъ и даже законнымъ. Революціонеры же іезуиты не могутъ дѣйствовать законно, а именно *необычайно.*

Эта черная армія стоитъ внѣ человѣчества, внѣ гражданства, внѣ цивилизаціи и исходитъ вся изъ одной себя. Это status in statu, это армія папы, ей надо лишь торжества *одной своей* идеи, — а затѣмъ пусть гибнетъ все, что на пути ей мѣшаетъ, пусть гибнутъ и вянутъ всѣ остальныя силы, пусть умираетъ все не согласное съ ними — цивилизація, общество, наука! Имъ несомнѣнно необходимо обработать Францію въ новомъ и уже окончательномъ видѣ, если случай будетъ на ихъ сторонѣ, и вымести изъ нея весь *соръ* ужъ такимъ помеломъ, о какомъ до сихъ поръ никто и не слыхивалъ, съ тѣмъ чтобъ и не пахло больше никакимъ сопротивленіемъ, и дать странѣ новый организмъ, подъ строжайшей опекой іезуитовъ, на вѣки вѣчные.

Все это съ перваго взгляда можетъ показаться весьма нелѣпымъ. Во французскихъ газетахъ (и въ нашихъ) всѣ благонамѣренные люди сильно увѣрены, что клерикалы непремѣнно сломаютъ себѣ ногу на слѣдующихъ выборахъ во французскую палату. Французскіе республиканцы, въ невинности душевной, совершенно тоже убѣждены, что вся activité dévorante новоразосланныхъ префектовъ и мэровъ ровно ничего не добьется, а будутъ выбраны все прежніе республиканцы, которые и составятъ прежнее большинство и немедленно скажутъ veto всѣмъ замысламъ Макъ-Магона; затѣмъ клерикалы будутъ выгнаны, а можетъ быть, и самъ Макъ-Магонъ вмѣстѣ съ ними. Но увѣренность эта весьма неосновательна, и навѣрно клерикалы на этотъ счетъ не слишкомъ-то озабочены. Дѣло именно въ томъ, что наивные и чистые сердцемъ старички все еще, несмотря на долгій опытъ, не понимаютъ, кажется, въ полной силѣ, съ какимъ народомъ они имѣютъ дѣло. Ибо чуть-чуть выборы окажутся для клерикаловъ невыгодными, то они разгонятъ и новую палату, несмотря на всѣ конституціонныя и законныя права ея. Возразятъ мнѣ, что это будетъ незаконно, а потому невозможно. Это такъ, но вѣдь что имъ законы, этой черной арміи? Они навѣрно (и есть уже факты, о томъ свидѣтельствующіе) внушатъ столь послушному маршалу Макъ-Магону отчаянную рѣшимость употребить въ дѣло одно средство такое, которое и во Франціи еще ни разу не было употреблено, именно: *военный деспотизмъ*. Воскликнутъ, что это старое средство, что его уже нѣсколько разъ употребляли, напримѣръ, Наполеоны! И, однако, я осмѣлюсь замѣтить, что все это было не то: это средство, *во всей его откровенности, дѣйствительно* не употреблялось во Франціи еще ни разу. Маршалъ Макъ-Магонъ, заручившись

преданностью арміи, можетъ разогнать новое грядущее собраніе представителей Франціи, *если оно пойдетъ противъ него,* просто штыками, а затѣмъ прямо объявить всей странѣ, что *такъ захотѣла армія.* Какъ римскій императоръ упадка имперіи, онъ можетъ затѣмъ объявить, что отнынѣ «будетъ сообразоваться лишь съ мнѣніемъ легіоновъ». Тогда настанетъ всеобщее осадное положеніе и военный деспотизмъ, — и вотъ увидите, увидите, что это ужасно многимъ во Франціи понравится! И повѣрьте, что если будетъ надобность, то явятся и плебесциты, которые *большинствомъ голосовъ во всей Франціи* дозволятъ войну и дадутъ потребныя деньги. Въ недавней рѣчи своей къ войскамъ маршалъ Макъ-Магонъ говорилъ именно въ этомъ смыслѣ, и войска приняли его весьма сочувственно. Сомнѣній нѣтъ, что армія больше на его сторонѣ. Къ тому же теперь онъ уже такъ далеко зашелъ, что ему и нельзя остановиться, иначе онъ никакъ не останется на своемъ мѣстѣ, тогда какъ вся его политика и весь онъ выражаются въ одномъ словѣ: «J'y suis et j'y reste», то есть: «Сѣлъ и не сойду». Дальше этой фразы онъ, какъ извѣстно, не пошелъ и ужъ, конечно, для торжества этого тезиса рискнетъ, пожалуй, даже существованіемъ Франціи. Готовность къ подобному риску онъ уже разъ доказалъ въ франко-прусскую войну, когда, подъ вліяніемъ бонапартистовъ, рѣшился сознательно лишить Францію ея арміи изъ преданности къ династіи Наполеона. Клерикалы же навѣрно обезпечили ему его: «j'y suis et j'y reste». Разъ соединивъ партіи подъ своимъ знаменемъ, т. е. бонапартистовъ и легитимистовъ, они навѣрно уже сумѣли ловко *указать* Макъ-Магону, что вѣдь въ случаѣ нужды можно и совсѣмъ обойтись безъ Шамбора и безъ Бонапарта, и вовсе не надо будетъ ихъ призывать, ни въ какомъ даже случаѣ, а просто бы самому ему, маршалу Макъ-Магону, остаться диктаторомъ и безсмѣннымъ правителемъ, то есть ужъ не на семь лѣтъ, а навсегда. Вотъ такимъ образомъ и осуществится тезисъ: «j'y suis et j'y reste», — было бы только согласіе арміи; согласіе же Франціи впослѣдствіи неминуемо, ибо твердая диктаторская рука, во главѣ власти, очень и очень многимъ придется по вкусу. Подобныя льстивыя *указанія* навѣрно уже были произнесены. Можетъ быть, усомнятся въ томъ, что такой человѣкъ, какъ Макъ-Магонъ, можетъ все это предпринять и исполнить. Но, во-первыхъ, онъ первую половину дѣла предпринялъ и исполнилъ, и половину, нисколько не легчайшую относительно проявленія рѣшимости, чѣмъ вторая будущая. А во-вторыхъ, —

вотъ такіе-то именно люди, сами по себѣ вовсе не предпріимчивые, если вдругъ подпадутъ подъ чье-нибудь верховное и рѣшительное вліяніе, то могутъ обнаружить огромную и роковую рѣшимость, — и не то чтобы отъ большого генія, а именно отъ противоположной причины. Главное, тутъ не соображеніе, а просто толчекъ, и если ужъ ихъ разъ хорошенько толкнуть, то они и прутъ въ одну точку, до тѣхъ поръ пока или пробьютъ лбомъ стѣну или сломаютъ себѣ рога.

V.

Довольно непріятный секретъ.

Все это совершенно понимаютъ въ Германіи. По крайней мѣрѣ, всѣ офиціозные органы печати, находящіеся подъ вліяніемъ князя Бисмарка, прямо увѣрены въ неминуемой войнѣ. Кто на кого бросится первый и когда именно, — неизвѣстно, но война очень и очень можетъ загорѣться. Конечно, гроза можетъ еще пройти мимо. Вся надежда, если маршалъ Макъ-Магонъ вдругъ, какъ нѣкогда Аяксъ испугается всего, что взялъ на себя, и остановится въ недоумѣніи среди дороги. Но тогда онъ самъ рискуетъ погибнуть, и невѣроятно, чтобъ онъ не понималъ этого. А шансъ недоумѣнія среди дороги хоть и возможенъ, но врядъ ли на него можно твердо понадѣяться. Пока князь Бисмаркъ слѣдитъ за всѣмъ, что происходитъ во Франціи, съ лихорадочнымъ вниманіемъ; онъ наблюдаетъ и ждетъ. Для него гроза именно въ томъ, что не въ тотъ моментъ началось это дѣло, какъ онъ ожидалъ. Теперь же связаны руки. Всего же хлопотливѣе то, что открылись болячки, которыя до сихъ поръ тщательно прятались. Про главную болячку всѣхъ нѣмцевъ я уже говорилъ, — это боязнь, что Россія вдругъ догадается о томъ, какъ она могущественна и какую силу можетъ имѣть теперь, именно въ настоящій моментъ, ея рѣшающее слово, а главное — что *«зависимость отъ союза съ Россіей есть, повидимому, роковое назначеніе Германіи, особенно съ франко-прусской войны»*. Этотъ нѣмецкій секретъ можетъ вдругъ теперь обнаружиться — и для нѣмцевъ будетъ это конфузно. Какъ ни искренно пріязненна къ намъ была политика Германіи за послѣдніе годы, но секретъ-то все-таки соблюдался всѣми нѣмцами. Особенно печать дѣйствовала въ этомъ смыслѣ. До сихъ поръ нѣмцы всегда имѣли спо-

койный и гордый видъ, прямо свойственный могуществу, не нуждающемуся ни въ чьей помощи. Но теперь, конечно, слабое мѣсто должно выйти наружу. Ибо если клерикальная Франція рѣшится на роковую борьбу, то Францію мало уже просто побѣдить, или лишь отбить ея нападеніе, если она бросится, а надо ужъ навѣки ее обезсилить, такъ-таки придавить, пользуясь случаемъ — вотъ задача! А такъ какъ у Франціи къ тому же милліонъ слишкомъ войска, то чтобъ дѣло это покончить навѣрно, надо несомнѣнно *обезпечить* его, иначе нечего и приниматься. А обезпеченія другого нѣтъ, какъ заручиться рѣшающимъ словомъ Россіи. Однимъ словомъ, непріятнѣе всего, что все это выходитъ такъ внезапно. Всѣ прежніе разсчеты спутались, и теперь уже событія командуютъ разсчетами, а не разсчеты властвуютъ надъ событіями. Франція можетъ начать сегодня-завтра, лишь чуть-чуть управится у себя внутри. Она бросилась въ политику приключеній, что для всѣхъ очевидно, а если такъ, то гдѣ приключенія остановятся, гдѣ ихъ стѣна и граница? Это очень непріятно: такъ еще недавно нѣмцы имѣли такой независимый видъ, и особенно въ послѣдній годъ. Вспомнимъ, что въ этотъ годъ и Россія старалась разсмотрѣть въ Европѣ друзей своихъ, и нѣмцы знали про заботы Россіи и имѣли самый приличный случаю торжественный видъ. Конечно, всякое славянское движеніе всегда нѣсколько Германію безпокоило, но можно даже прямо сказать, что въ объявленіи Россіей войны два мѣсяца назадъ даже, можетъ быть, заключалось для Германіи нѣчто почти пріятное: «Нѣтъ, ужъ теперь-то они никакъ не догадаются — думали въ Германіи два мѣсяца назадъ — что это мы въ нихъ нуждаемся, теперь они, напротивъ, стоя передъ Дунаемъ — «нѣмецкой рѣкой», вполнѣ убѣждены, что сами они ужасно въ насъ нуждаются, и что въ концѣ войны не обойдется безъ нашего вѣскаго слова. И это хорошо, что русскіе такъ думаютъ, это намъ въ будущемъ пригодится». Сомнѣній нѣтъ, что навѣрно о насъ такъ думали весьма многіе тонкіе нѣмцы; вся печать ея такъ думала и писала и — вдругъ теперь это клерикальное настроеніе все переворотило на другую сторону: «О, теперь они догадаются, теперь обо всемъ догадаются! А кромѣ того надо, чтобъ Россія какъ можно скорѣе кончила на Востокѣ и освободилась. Но оказать на нее давленіе весьма невыгодно. Развѣ сама испугается Англіи и Австріи, но врядъ ли. Соединиться же съ Англіей и Австріей для давленія на Россію — нечего и думать: они потомъ не помогутъ, а Россія разсердится. Стран-

ное положеніе! Ужъ не помочь ли Россіи, чтобъ она кончила поскорѣе? Это можно сдѣлать и не обнажая меча, а лишь давленіемъ политическимъ, на Австрію, напримѣръ...» — вотъ какъ раздумываютъ теперь тѣ же политики, и очень, очень можетъ случиться, что все это такъ именно и есть въ самомъ дѣлѣ.

Однимъ словомъ, мнѣ хотѣлось высказать лишь мое убѣжденіе, мою вѣру, что Россія не только сильна и могущественна, какъ всегда была, но теперь, особенно теперь, она самая сильная изъ всѣхъ странъ Европы, и что никогда ея рѣшающее слово не могло цѣниться въ Европѣ такъ вѣско, какъ въ данный моментъ. Пусть Россія сама занята на Востокѣ, но одно лишь рѣшающее слово ея на вѣсахъ европейской политики можетъ покачнуть теперь вѣсы по ея волѣ и желанію. Конечно, и сама Англія теперь понимаетъ, что въ виду *возможности* весьма хлопотливыхъ новыхъ событій въ крайне-западной Европѣ, — и она, пожалуй, потеряетъ въ глазахъ русскихъ двѣ трети своего престижа, и что поймутъ же, наконецъ, даже самые мнительные изъ русскихъ, что она отнюдь не рискнетъ на войну въ случаѣ сильной рѣшимости Россіи продолжать свое дѣло, и скорѣе станетъ разсчитывать на дѣлежъ наслѣдства послѣ «больного человѣка», чѣмъ рѣшится начать открытую войну за него въ такую и безъ того хлопотливую минуту въ Европѣ. Въ самомъ дѣлѣ, случись такъ, что и впрямь что-нибудь разыграется въ Западной Европѣ неожиданное и роковое, то никогда Англія не рѣшится слишкомъ всецѣло ввязаться въ такое хлопотливое дѣло, столь несходное съ обычнымъ характеромъ ея интересовъ, и ужъ навѣрно приметъ лишь зорко наблюдательное положеніе, выжидая, по обычаю своему, удобный моментъ, когда можно будетъ пронюхать гдѣ-нибудь какой-нибудь дѣлежъ добычи, чтобы немедленно къ нему примазаться. Затѣвать же теперь (т. е. до окончанія разъясненій крайне-западныхъ событій) съ Россіею что-нибудь слишкомъ серьезное будетъ ужъ слишкомъ для нея не разсчетливо. Съ другой стороны, Австрія, оставшись *одна* — что можетъ сдѣлать? Да и невѣроятно, чтобы клерикальное усложненіе дѣла въ крайне-западной Европѣ не смутило и ее хоть отчасти. И она, конечно, ждетъ, какъ и всѣ дальнѣйшей развязки событій, такъ что и у ней, какъ у всѣхъ, отчасти связаны руки. У всѣхъ связаны, а у одной только Россіи распутаны. Вотъ ужъ и разыгралось значитъ нѣчто *непредвидѣнное* въ нашу пользу. Ну, какъ не разсчитывать на *непредвидѣнное* въ рѣшеніи судебъ человѣческихъ?

Міромъ управляетъ Богъ и законы его, и если и впрямь разразится надъ Европой что-либо новое и усложненное, то значитъ, рано ли поздно ли, а тому непремѣнно надо было совершиться. Но дай Богъ, чтобы я ошибся, дай Богъ, чтобы новая грядущая туча разсѣялась и всѣ предчувствія мои оказались лишь «пылкими» моими же фантазіями, — фантазіями ничего не понимающаго въ политикѣ человѣка. Все дѣло въ томъ: правы ли всѣ офиціозные органы печати въ Германіи, ожидающіе и пророчащіе войну? Съ другой стороны, министры Макъ-Магона изо всѣхъ силъ, прежде всякихъ обвиненій, увѣрятъ французовъ и весь свѣтъ, что Франція не начнетъ войны. Согласитесь, что все это, по крайней мѣрѣ, подозрительно и что разрѣшеніе сомнѣній можетъ послѣдовать, уже по самому ходу дѣла, весьма и весьма въ непродолжительномъ времени. Но что если такъ много теперь зависитъ отъ «мнѣнія легіоновъ»? Худо, если до того дойдетъ. тогда конецъ Франціи. Впрочемъ, съ ней только съ одной это и можетъ случиться, и ни съ кѣмъ больше въ цѣломъ мірѣ. Но дай Богъ, чтобъ и съ ней не случилось: начинъ нехорошъ, примѣръ будетъ очень ужъ нехорошъ.

Глава четвертая.

I.

Любители турокъ.

А вѣдь у насъ теперь объявилось довольно много любителей турокъ — конечно, по поводу войны съ ними. Прежде я не помню ни разу во всю мою жизнь, чтобы кто-нибудь начиналъ разговоръ съ тѣмъ, чтобъ восхищаться турками. Теперь же очень часто слышу про ихъ защитниковъ и даже самъ встрѣчался съ такими, и очень даже горячатся. Тутъ, разумѣется, потребность отличиться оригинальностью. Но вотъ, однакоже, любители ученые, учителя, профессора.

— Мусульманскій міръ внесъ въ христіанскій науку. Христіанскій міръ потопалъ во мракѣ невѣжества, когда у арабовъ уже сіяла наука.

Тутъ, видите ли, причиною невѣжества христіанство. Тутъ Бокль, тутъ даже Дреперъ. Выходитъ, стало быть, обратно, что мусульманство есть свѣтъ, а христіанство начало тьмы. Какая уединенная логика! Оттого-то, вѣроятно, магометанство такъ и просвѣщено въ настоящее вре-

мя сравнительно съ христіанствомъ. Что жъ они свой свѣточъ-то потушили такъ рано

— Да, но у нихъ однако монотеизмъ, а у христіанъ...

Это превознесеніе мусульманъ за монотеизмъ, т. е. за чистоту ученія о единствѣ Божіемъ, будто бы высшую сравнительно съ ученіемъ христіанства, — это конекъ очень многихъ любителей турокъ. Но тутъ главное въ томъ, что эти любители порвали съ народомъ и не понимаютъ его. Разорвавъ съ народомъ, они успѣли уже составить себѣ иныя удивительныя понятія о томъ, что у русскаго простолюдина происходитъ въ головѣ. Между тѣмъ у русскаго простолюдина, «ничего не смыслящаго въ дѣлѣ вѣры и не знающаго молитвъ» — какъ привыкли говорить о немъ, — весьма часто, если не всегда, составляется однако въ умѣ и въ душѣ весьма своеобразное, но вѣрное и вполнѣ удовлетворяющее его убѣжденіе о томъ, во что онъ вѣруетъ, хотя въ то же время, конечно, рѣдкій изъ простолюдиновъ сумѣетъ изложить свои вѣрованія словами отчетливо и въ послѣдовательности. Этому, порвавшему съ народомъ, «интеллигентному» русскому удивительно было бы услышать, что этотъ безграмотный мужикъ вполнѣ и незыблемо вѣруетъ въ Божіе единство, въ то, что Богъ единъ и нѣтъ другого Бога такого, какъ Онъ. В ь то же время русскій мужикъ знаетъ и благоговѣйно вѣруетъ (всякій русскій мужикъ это знаетъ), что Христосъ, истинный Богъ его, родился отъ Бога Отца и воплотился отъ Дѣвы Маріи. Прежде всего интеллигентный русскій, порвавшій съ народомъ, не захочетъ допустить даже возможности того, чтобъ русскій мужикъ, ничему не учившійся, могъ имѣть такія знанія: «Онъ такъ необразованъ, такъ теменъ, его ничему не учатъ, гдѣ его учитель?» Онъ не пойметъ никогда, что учитель мужика, «въ дѣлѣ вѣры его» — это сама почва, это вся земля русская, что вѣрованія эти какъ бы рождаются вмѣстѣ съ нимъ и укрѣпляются въ сердцѣ его вмѣстѣ съ жизнью. Но всего невѣроятнѣе иному русскому мыслителю то, какъ можетъ русскій простолюдинъ не сбиться въ своихъ понятіяхъ! Самъ давно уже утративъ всякое понятіе о томъ, что такое непосредственная великая теплая вѣра народа, но онъ уже не можетъ допустить, чтобъ, благоговѣйно вѣруя въ великую христіанскую тайну воплощенія Сына Божія, простолюдинъ могъ въ то же время оставаться при самомъ строжайшемъ монотеизмѣ. Скорѣе же онъ припишетъ эту твердость столь *непосредственныхъ* убѣжденій русскаго простолюдина — непривычкѣ размышлять, привычкѣ къ путаницѣ понятій отъ лѣности и отупѣнія мысли, отъ отсутствія всякой критики въ умѣ его; «пла-

чевное» же состояніе ума его припишетъ забитости, нуждѣ, разврату, крѣпостному состоянію и проч. На томъ и стоитъ русскій ученый, *изучающій* русскій народъ. Совершенно тѣмъ же процессомъ могло произойти и осужденіе православныхъ русскихъ за поклоненіе, напримѣръ, иконамъ. Иной лютеранскій пасторъ ни за что не можетъ понять, какъ можно, вѣруя въ истиннаго Бога, поклоняться въ то же время «доскѣ», изображенію святого, и допустить, чтобъ изъ этого не вышло идолопоклонства. Русскій интеллигентный человѣкъ всего чаще согласенъ въ этомъ сужденіи съ пасторомъ. Между тѣмъ нѣтъ *ни одного* русскаго мужика, или бабы, которые, поклоняясь иконѣ, въ то же время *хоть сколько-нибудь* смѣшивали «доску» съ самимъ Богомъ, несмотря на то, что православный народъ въ то же время вѣруетъ въ чудотворность иныхъ иконъ. Но нѣтъ ни *одного русскаго,* который чудотворную силу иконы приписалъ бы самой иконѣ, а не соизволенію Божію. А это уже совсѣмъ другое. Вотъ этого-то воззрѣнія русскаго простолюдина ни пасторъ, ни разорвавшій съ народомъ русскій ни за что не допустятъ, да и не повѣрятъ, что такъ оно есть.

Вспомнили бы, однако, Магометовъ рай, чтобы уже совсѣмъ восполнить свое убѣжденіе о чистотѣ турецкихъ понятій о единствѣ Божіемъ. Все это я, разумѣется, говорю не затѣмъ, чтобъ затѣять съ почитателями турецкаго монотеизма богословскій споръ, и ужъ, конечно, не затѣвалъ его. Вѣдь почитатели эти хлопочутъ больше о *здравыхъ* понятіяхъ народа, а самимъ-то имъ, пожалуй, и все равно, кто бы какъ ни вѣрилъ. Вотъ потому-то я и свелъ этотъ вопросъ лишь на народное о немъ понятіе.

II.

Золотой фракъ. Прямолинейные.

Кромѣ любителей турокъ объявилось очень много людей съ потребностью *особливаго мнѣнія:* «Все вздоръ, нѣтъ никакого движенія; адресы вздоръ, это не по-русски; санитарные отряды вздоръ, это не по-русски. Сантиментальничаніе. Славянъ выдумали, болгаръ выдумали, турки лучше болгаръ, все вздоръ. Я люблю турокъ»...

Это не то, чтобъ изъ какихъ-нибудь злокачественно-тонкихъ видовъ высшей политики. «Высшая политика»

кровь проливавшимъ», это правда, но вѣдь они только людей насмѣшатъ и себѣ повредятъ. Выгода же нравственная будетъ неисчислима. Развѣется тоска цинизма, явится уваженіе къ честному подвигу...

— И къ кулаку.

— Тутъ не одни кулачные бойцы, тутъ есть почти еще дѣти, чистыя сердцемъ дѣти. Онъ только что произведенъ, онъ бросается впередъ на подвигъ, съ мыслью о томъ, что скажетъ о немъ, тамъ, далеко, его мать, сестра, съ которыми онъ только что простился... Неужели это только смѣшно и сантиментально? Наконецъ, почему не допустить въ этихъ герояхъ высшаго сознанія. Онъ понимаетъ, что Россія взяла задачу трудную, что задача эта можетъ и еще усложниться Они всѣ видятъ теперь, что Россія не съ одной ужъ Турціей ведетъ войну, что турецкими арміями руководятъ англійскіе генералы, что англійскіе офицеры воздвигаютъ многочисленнѣйшія укрѣпленія на англійскія деньги, что флотъ англійскій ободряетъ Турцію продолжать войну, что, наконецъ, чуть ли не явились (въ Азіатской Турціи) уже англійскія войска.. Они знаютъ все это и бросаются почти на смерть, понимая, что пришло время сослужить Россіи вѣрную службу. Я уже не говорю про болгаръ, про угнетенныхъ «братьевъ славянъ», мучимыхъ, обижаемыхъ. Къ стыду нашему, эта тема уже устарѣла... но не въ ихъ сердцахъ. Неужели вы не предполагаете во многихъ изъ нихъ высшаго сознанія, что они идутъ служить человѣчеству, угнетеннымъ, оскорбленнымъ...

— Служитъ человѣчеству кулакомъ!

— Позвольте, кстати, вамъ разсказать одинъ анекдотъ. Я уже передавалъ однажды, что въ Москвѣ, въ одномъ изъ пріютовъ, гдѣ наблюдаютъ маленькихъ болгарскихъ дѣтей сиротскъ, привезенныхъ къ намъ въ Россію послѣ тамошняго разгрома, есть одна больная дѣвочка, лѣтъ 10, которая видѣла (и не можетъ забыть) какъ турки, при ней, содрали кожу съ ея живого отца. Ну, такъ въ этомъ же пріютѣ есть и другая больная болгарка, тоже лѣтъ десяти, и мнѣ о ней недавно разсказали. У ней странная болѣзнь: постепенный, все большій и большій упадокъ силъ и безпрерывный позывъ ко сну. Она все спитъ, но сонъ нисколько ее не укрѣпляетъ, а даже напротивъ. Болѣзнь очень серьезная. Теперь эта дѣвочка, можетъ быть, уже умерла. У ней тоже одно воспоминаніе, котораго она не можетъ выносить. Турки взяли ея маленькаго брата, ребенка двухъ-трехъ лѣтъ, сначала выкололи ему иголкой глаза, а потомъ посадили на колъ. Ребеночекъ страшно и долго кричалъ, пока умеръ,—фактъ

этотъ совершенно вѣрный. Ну, вотъ этого и не можетъ забыть дѣвочка, все это они сдѣлали при ней, на ея глазахъ. Природа, можетъ быть, и посылаетъ такимъ, пораженнымъ сердечно, сонъ, потому что они не могли бы долго оставаться наяву съ такимъ безпрерывнымъ воспоминаніемъ предъ собою. Теперь представьте себѣ, что вы бы тамъ были сами въ ту минуту, какъ они прокалывали ребенку глаза. Скажите, неужели вы бы не бросились остановить ихъ, даже и кулакомъ?

— Да, но все же кулакъ.

— Да вы не бейте ихъ, если хотите, вы только ятаганы-то у нихъ отнимите! Неужели и этого нельзя сдѣлать силой?

А кстати, неужели есть у насъ даже такіе любители турокъ, которые и ятагановъ-то у нихъ не желали бы отобрать? Не думаю и не вѣрю, чтобъ были.

ІЮЛЬ—АВГУСТЪ.

Глава первая.

I.

Разговоръ мой съ однимъ московскимъ знакомымъ. — Замѣтка по поводу новой книжки.

Выдавъ въ Петербургѣ мой запоздавшій май-іюньскій выпускъ «Дневника» и возвращаясь затѣмъ въ Курскую губернію, я, проѣздомъ черезъ Москву, поговорилъ кой о чемъ съ однимъ изъ моихъ давнихъ московскихъ знакомыхъ, съ которымъ вижусь рѣдко, но мнѣніе котораго глубоко цѣню. Разговора я въ цѣломъ не привожу, хотя я узналъ при этомъ кое-что весьма любопытное изъ текущаго, чего и не подозрѣвалъ. Но, разставаясь съ моимъ собесѣдникомъ, я, между прочимъ, упомянулъ, что хочу сдѣлать, пользуясь случаемъ, маленькій крюкъ по дорогѣ, изъ Москвы полтораста верстъ въ сторону, чтобы посѣтить мѣста перваго моего дѣтства и отрочества, — деревню, принадлежавшую когда-то моимъ родителямъ, но давно уже перешедшую во владѣніе одной изъ нашихъ родственницъ. Сорокъ лѣтъ я тамъ не былъ и столько разъ хотѣлъ туда съѣздить, но все никакъ не могъ, несмотря на то, что это маленькое и незамѣчательное мѣсто оставило во мнѣ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь и гдѣ все полно для меня самыми дорогими воспоминаніями.

Вотъ у насъ есть такія воспоминанія и такія мѣста, и у всѣхъ насъ были. Любопытно: что у нынѣшней молодежи, у нынѣшнихъ дѣтей и подростковъ будетъ дра-

гоцѣннаго въ ихъ воспоминаніяхъ, и будетъ ли? Главное, что именно? Какого рода?

Что святыя воспоминанія будутъ и у нынѣшнихъ дѣтей, сомнѣнія, конечно, быть не можетъ, иначе прекратилась бы живая жизнь. Безъ святого и драгоцѣннаго, унесеннаго въ жизнь изъ воспоминаній дѣтства, не можетъ и жить человѣкъ. Иной, повидимому, о томъ и не думаетъ, а все-таки эти воспоминанія безсознательно да сохраняетъ. Воспоминанія эти могутъ быть даже тяжелыя, горькія, но вѣдь и прожитое страданіе можетъ обратиться впослѣдствіи въ святыню для души. Человѣкъ и вообще такъ созданъ, что любитъ свое прожитое страданіе. Человѣкъ, кромѣ того, уже по самой необходимости наклоненъ отмѣчать какъ бы точки въ своемъ прошедшемъ, чтобы по нимъ потомъ оріентироваться въ дальнѣйшемъ и выводить по нимъ хотя бы нѣчто цѣлое, для порядка и собственнаго назиданія. При этомъ самыя сильнѣйшія и вліяющія воспоминанія почти всегда тѣ, которыя остаются изъ дѣтства. А потому и сомнѣнія нѣтъ, что воспоминанія и впечатлѣнія, и, можетъ быть, самыя сильныя и святыя, унесутся и нынѣшними дѣтьми въ жизнь. Но что именно будетъ въ этихъ воспоминаніяхъ, что именно унесутъ они съ собою въ жизнь, какъ именно оформируется для нихъ этотъ дорогой запасъ — все это, конечно, и любопытный и серьезный вопросъ. Если бъ можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него отвѣтъ, то можно бы было утолить много современныхъ тревожныхъ сомнѣній, и, можетъ быть, многіе бы радостно увѣровали въ русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но бѣда въ томъ, что никогда еще не было эпохи въ нашей русской жизни, которая столь менѣе представляла бы данныхъ для предчувствованія и предузнанія всегда загадочнаго нашего будущаго, какъ теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было болѣе расшатано, разложено, болѣе неразсортировано и неоформлено, какъ теперь. Гдѣ вы найдете теперь такія «Дѣтства и Отрочества», которыя бы могли быть возсозданы въ такомъ стройномъ и отчетливомъ изложеніи, въ какомъ представилъ, напримѣръ, намъ *свою* эпоху и свое семейство графъ Левъ Толстой, или какъ въ «Войнѣ и Мирѣ» его же? Всѣ эти поэмы теперь *не болѣе лишь, какъ историческія картины давно-прошедшаго.* О, я вовсе не желаю сказать, что это были такія прекрасныя картины, отнюдь я не желаю ихъ повторенія въ наше время, и совсѣмъ не про то говорю. Я говорю лишь объ ихъ *характерѣ*, о закончен-

ности, точности и опредѣленности ихъ характера, — качества, благодаря которымъ и могло появиться такое ясное и отчетливое изображеніе эпохи, какъ въ обѣихъ поэмахъ графа Толстого. Нынѣ этого нѣтъ, нѣтъ опредѣленности, нѣтъ ясности. Современное русское семейство становится все болѣе и болѣе *случайнымъ* семействомъ. Именно *случайное семейство* — вотъ опредѣленіе современной русской семьи. Старый обликъ свой она какъ-то вдругъ потеряла, какъ-то внезапно даже, а новый... въ силахъ ли она будетъ создать себѣ новый, желанный и удовлетворяющій русское сердце обликъ? Иные, и столь серьезные даже люди, говорятъ прямо, что русскаго семейства теперь «вовсе нѣтъ». Разумѣется, все это говорится лишь о русскомъ интеллигентномъ семействѣ, т. е. высшихъ сословій, не народномъ. Но, однако, народное-то семейство — развѣ теперь оно не вопросъ тоже?

— Вотъ что безспорно, — сказалъ мнѣ мой собесѣдникъ, — безспорно то, что въ весьма непродолжительномъ времени въ народѣ явятся новые вопросы, да и явились уже — куча вопросовъ, страшная масса все новыхъ, никогда не бывавшихъ, до сихъ поръ въ народѣ неслыханныхъ, и все это естественно. Но кто отвѣтитъ на эти вопросы народу? Кто готовъ у насъ отвѣчать на нихъ, и кто первый выищется, кто ждетъ уже и готовится? Вотъ вопросъ, нашъ вопросъ, да еще самой первой важности.

И ужъ, конечно, первой важности. Столь крутой переломъ жизни, какъ реформа 19-го февраля, какъ всѣ потомъ реформы, а главное, грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновеніе съ нею), все это, безспорно, родитъ и родило уже вопросы, потомъ, пожалуй, оформируетъ ихъ, объединитъ, дастъ имъ устойчивость и — въ самомъ дѣлѣ, кто отвѣтитъ на эти вопросы? Ну, кто всего ближе стоитъ къ народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвѣчаетъ на вопросы народа давно уже. Кромѣ иныхъ, еще горящихъ огнемъ ревности о Христѣ священниковъ, часто незамѣтныхъ, никому неизвѣстныхъ, именно потому что ничего не ищутъ для себя, а живутъ лишь для паствы, — кромѣ этихъ, и увы, весьма, кажется, немногихъ, остальные, если ужъ очень потребуются отъ нихъ отвѣты — отвѣтятъ на вопросы, пожалуй, еще доносомъ на нихъ. Другіе до того отдаляютъ отъ себя паству несоразмѣрными ни съ чѣмъ поборами, что къ нимъ и не придетъ никто спрашивать. На эту тему можно бы и много прибавить, но прибавимъ потомъ. Затѣмъ, одни изъ ближайшихъ къ народу — это сельскіе учителя. Но къ чему годятся и къ чему готовы наши сельскіе учителя? Что представила до сихъ поръ эта.

лишь начинающаяся, впрочемъ, но столь важная по значенію въ будущемъ новая корпорація, и на что она въ состояніи отвѣтить? На это лучше не отвѣчать. Остаются, стало быть, отвѣты случайные, — по городамъ, на станціяхъ, на дорогахъ, на улицахъ, на рынкахъ, отъ прохожихъ, отъ бродягъ и, наконецъ, отъ прежнихъ помѣщиковъ (о начальствѣ само собою не упоминаю). О, отвѣтовъ, конечно, будетъ множество, пожалуй, еще больше чѣмъ вопросовъ, — отвѣтовъ добрыхъ и злыхъ, глупыхъ и премудрыхъ, но главный характеръ ихъ, кажется, будетъ тотъ, что каждый отвѣтъ родитъ еще по три новыхъ вопроса, и пойдетъ это все crescendo. Въ результатѣ хаосъ, но хаосъ бы еще хорошо: скороспѣлыя разрѣшенія задачъ хуже хаоса.

— А главное, — нечего и говорить объ этомъ. Вынесутъ.

Конечно, вынесутъ, и безъ насъ вынесутъ, и безъ отвѣтчиковъ и при отвѣтчикахъ. Могуча Русь и не то еще выносила. Да и не таково назначеніе и цѣль ея, чтобъ зря повернулась она съ вѣковой своей дороги, да и размѣры ея не тѣ. Кто вѣритъ въ Русь, тотъ знаетъ, что вынесетъ она *все* рѣшительно, даже и вопросы, и останется въ сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, какъ и была до сихъ поръ, и, сколь ни измѣнился бы, пожалуй, обликъ ея, но измѣненія облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто вѣритъ въ Русь, тому даже стыдно это. Ея назначеніе столь высоко, и ея внутреннее предчувствіе этого назначенія столь ясно (особенно теперь, въ нашу эпоху, въ теперешнюю минуту главное), что тотъ, кто вѣруетъ въ это назначеніе, долженъ стоять выше всѣхъ сомнѣній и опасеній. «Здѣсь терпѣніе и вѣра святыхъ», какъ говорится въ священной книгѣ.

Въ то утро я только что увидалъ, въ первый разъ, объявленіе въ газетахъ о выходѣ отдѣльно восьмой и послѣдней части «Анны Карениной», отвергнутой редакціей «Русскаго Вѣстника», въ которомъ печатался весь романъ съ самой первой части. Всѣмъ извѣстно было тоже, что отвергнута эта послѣдняя, восьмая часть за разногласіе ея съ направленіемъ журнала и убѣжденіями редакторовъ, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопросъ и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положилъ купить и, прощаясь съ моимъ собесѣдникомъ, спросилъ его о ней, зная, что ему давно уже извѣстно ея содержаніе. Онъ засмѣялся.

— Самая невиннѣйшая вещь, какая только можетъ быть!—отвѣчалъ онъ.—Вовсе не понимаю, зачѣмъ «Русскій Вѣстникъ» не помѣстилъ ее. При томъ же авторъ предоставлялъ имъ право на какія угодно оговорки и выноски, если они съ нимъ не согласны. А потому прямо и сдѣлали бы выноску, что вотъ, дескать, авторъ...

Я, впрочемъ, не впишу сюда содержанія этой выноски, предлагавшейся моимъ собесѣдникомъ, тѣмъ болѣе, что и высказалъ онъ ее, все еще продолжая смѣяться. Но въ концѣ онъ прибавилъ уже серьезно:

— Авторъ «Анны Карениной», несмотря на свой огромный художественный талантъ, есть одинъ изъ тѣхъ русскихъ умовъ, которые видятъ ясно лишь то, что стоитъ прямо передъ ихъ глазами, а потому и прутъ въ эту точку. Повернуть же шею направо иль налѣво, чтобъ разглядѣть и то, что стоитъ въ сторонѣ, они, очевидно, не имѣютъ способности: имъ нужно для того повернуться всѣмъ тѣломъ, всѣмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорятъ совершенно противоположное, такъ какъ во всякомъ случаѣ они всегда строго искренни. Этотъ перевертъ можетъ и совсѣмъ не совершиться, но можетъ совершиться и черезъ мѣсяцъ, и тогда почтенный авторъ съ такимъ же задоромъ закричитъ, что и добровольцевъ надо посылать и корпій щипать, и будетъ говорить все, что мы говоримъ...

Книжку эту я купилъ и потомъ прочелъ, и нашелъ ее вовсе не столь «невинною». И такъ какъ я, несмотря на все мое отвращеніе пускаться въ критику современныхъ мнѣ литераторовъ и ихъ произведеній — рѣшилъ непремѣнно поговорить о ней въ «Дневникѣ» (даже, можетъ быть, въ этомъ же выпускѣ) — то и счелъ не лишнимъ вписать сюда и мой разговоръ съ моимъ собесѣдникомъ, у котораго и прошу потому извиненія за мою нескромность...

II.

Жажда слуховъ и того, что „скрываютъ“.— Слово скрываютъ можетъ имѣть будущность, а потому и надобно принять мѣры заранѣе. — Опять о случайномъ семействѣ.

Эти «мѣста моего дѣтства», куда я собирался съѣздить, — отъ Москвы всего полтораста верстъ, изъ коихъ сто сорокъ по желѣзной дорогѣ; но употребить на эти полтораста верстъ пришлось почти десять часовъ. Мно-

жество остановокъ, пересаживаній, а на одной станціи приходится ждать этого пересаживанія три часа. И все это при всѣхъ непріятностяхъ русской желѣзной дороги, при небрежнѣйшемъ и почти высокомѣрномъ отношеніи къ вамъ и къ нуждамъ вашимъ кондукторовъ и «начальства». Всѣмъ давно извѣстна формула русской желѣзной дороги: «не дорога создана для публики, а публика для дороги». Нѣтъ такого желѣзнодорожника, съ кондуктора до директора включительно, который бы сомнѣвался въ этой аксіомѣ и не посмотрѣлъ бы на васъ съ насмѣшливымъ удивленіемъ, если бъ вы стали утверждать передъ нимъ, что дорога создана для публики. А главное, и слушать не будутъ.

Кстати, въ это лѣто я изъѣздилъ до четырехъ тысячъ верстъ, по крайней мѣрѣ, и вездѣ по дорогѣ меня особенно поражалъ этотъ разъ народъ; вездѣ народъ говорилъ про войну. Ничто не могло сравниться съ тѣмъ интересомъ и съ тѣмъ жаднымъ любопытствомъ, съ которымъ простонародье выслушивало и разспрашивало про войну. Въ вагонахъ я замѣтилъ даже нѣсколькихъ мужиковъ, читавшихъ газеты, большею частью, вслухъ. Случалось садиться рядомъ съ ними: какой-нибудь мѣщанинъ оглядитъ васъ осторожно сначала, и особенно коль увидитъ у васъ или подлѣ васъ газету, — немедленно и чрезвычайно вѣжливо освѣдомится: откуда вы? И коль отвѣтите, что изъ Москвы, или изъ Петербурга (а еще интереснѣе для него, если съ юга, изъ Одессы, напримѣръ), то непремѣнно спроситъ: «Что слышно про войну?». Затѣмъ, чуть-чуть вы вселите въ него довѣрчивость вашимъ отвѣтомъ и готовностью отвѣчать ему, онъ тотчасъ, впрочемъ опять таки съ осторожностью, мѣняетъ любопытный видъ на таинственный, приближается къ вамъ и спрашиваетъ, уже понижая голосъ: «А нѣтъ ли, дескать, чего особеннаго?», то есть, пообсобеннѣе чѣмъ въ газетахъ, того, дескать, что скрываютъ? При этомъ прибавлю, что недовольныхъ на правительство за объявленіе войны въ народѣ нѣтъ никого, даже въ самыхъ злорадныхъ типахъ, а злорадные есть, но тутъ особеннаго рода злорадство: проходишь, напримѣръ, во время остановки по платформѣ станціи и вдругъ услышишь: «семнадцать тысячъ нашихъ легло, только что сейчасъ была телеграмма!» Смотришь—ораторствуетъ какой-нибудь паренекъ, лицо у него выражаетъ какое-то зловѣщее упоеніе, и вовсе не то, чтобъ онъ былъ радъ, что нашихъ легло семнадцать тысячъ, нѣтъ, тутъ другое, тутъ въ родѣ того какъ если бъ вдругъ погорѣлъ человѣкъ, все сгорѣло — изба, деньги, скотъ: «смотрите, дескать, на меня, православные хри-

стіане, все пропало, въ лохмотьяхъ, одинъ какъ перстъ!». Въ эти минуты тоже бываетъ у этакого какая-то слабость злораднаго самоупоенія въ лицѣ. Но насчетъ «семнадцати тысячъ» было и другое: «телеграмма, дескать, такая есть, только ее задерживаютъ, скрываютъ, еще не пущаютъ... видѣли, сами читали...» — вотъ смыслъ. Я не утерпѣлъ, вдругъ подошелъ къ кучкѣ и сказалъ, что все вздоръ, слухи глупые, не могли побить семнадцати тысячъ нашихъ, все благополучно. Паренекъ (какъ будто изъ мѣщанства, а то и мужикъ, пожалуй) нѣсколько хотя и сконфузился, но не очень: «мы, дескать, люди темные, не свои слова говоримъ, такъ слышали», толпа быстро разошлась, къ тому же зазвенѣлъ и звонокъ. Любопытно мнѣ теперь потому, что происходило это девятнадцатаго іюля, часовъ въ пять пополудни. Наканунѣ же, восемнадцатаго, было Плевненское дѣло. Какая тутъ могла быть еще телеграмма, даже кому бы то ни было, а не то что среди поѣзда желѣзной дороги? Конечно, случайное совпаденіе. Не думаю, впрочемъ, чтобъ парень былъ самъ распускатель и выдумщикъ ложныхъ слуховъ, вѣрнѣе всего, что онъ въ самомъ дѣлѣ отъ кого-нибудь слышалъ. Надо думать, что фабрикантовъ ложныхъ слуховъ, и уже, конечно, злыхъ слуховъ, о неудачахъ и несчастьяхъ развелось по Россіи въ это лѣто чрезвычайное множество и ужъ, конечно, съ цѣлями, а не то что изъ одного простого вранья.

Въ виду горячаго патріотическаго настроенія народа въ эту войну, въ виду той *сознательности* о значеніи и задачахъ этой войны, которая обнаружилась въ народѣ нашемъ еще съ прошлаго года, въ виду пламенной и благоговѣйной вѣры народа въ своего царя — всѣ эти задержки и секреты въ извѣстіяхъ съ театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не можетъ, конечно, ни требовать, ни желать, чтобъ сообщались стратегическіе планы, цифры войскъ раньше дѣла, военные секреты и проч., но, по крайней мѣрѣ, то, что узнаютъ вѣнскія газеты раньше нашихъ — можно бы знать и намъ раньше ихъ[1].

Сидя на станціи, на которой приходилось ждать три часа для пересадки на другой поѣздъ, я былъ въ предурномъ расположеніи духа и на все досадовалъ. Отъ нечего дѣлать мнѣ пришло вдругъ на мысль изслѣдовать: почему я досадую, и не было ли тутъ, кромѣ общихъ причинъ, какой-нибудь случайной, ближайшей? Я не-

[1] Теперь все это, въ самомъ важномъ, поправлено: почти ни одного дня не остается публика безъ депешъ главнокомандующаго.

долго искалъ и вдругъ засмѣялся, найдя эту причину. Дѣло заключалось въ одной недавней встрѣчѣ моей, въ вагонѣ, за двѣ станціи передъ этой. Въ вагонъ вдругъ вошелъ одинъ джентльменъ, совершенный джентльменъ, очень похожій на типъ русскихъ джентльменовъ, скитающихся за границей. Онъ вошелъ, ведя съ собой маленькаго своего сына, мальчика лѣтъ восьми, никакъ не болѣе, даже, можетъ быть, менѣе. Мальчикъ былъ премило одѣтъ въ самый модный европейскій дѣтскій костюмчикъ, въ прелестную курточку, изящно обутъ, бѣлье батистовое. Отецъ видимо о немъ заботился. Вдругъ мальчикъ, только что сѣли, говоритъ отцу: «папа, дай папироску!» Папа тотчасъ же идетъ въ карманъ, вынимаетъ перламутровую папиросочницу, вынимаетъ двѣ папироски, одну для себя, другую — для мальчика, и оба, съ самымъ обыкновеннымъ видомъ, прямо свидѣтельствующимъ, что между ними ужъ и давно такъ, закуриваютъ. Джентльменъ погружается въ какую-то думу, а мальчикъ смотритъ въ окошко вагона, куритъ и затягивается. Онъ выкурилъ свою папироску очень скоро, затѣмъ, не прошло и четверти часа, вдругъ опять: «папа, дай папироску», — и опять оба вновь закуриваютъ и, въ продолженіе двухъ станцій, которыя они просидѣли со мною въ одномъ вагонѣ, мальчикъ выкурилъ, по крайней мѣрѣ, четыре папироски. Никогда я еще не видалъ ничего подобнаго и былъ очень удивленъ. Слабая, нѣженькая, совсѣмъ не сформировавшаяся грудка такого маленькаго ребенка пріучена уже къ такому ужасу. И откуда могла явиться такая неестественно-ранняя привычка? Разумѣется глядя на отца: дѣти такъ переимчивы; но развѣ отецъ можетъ допустить своего младенца къ такой отравѣ? Чахотка, катарръ дыхательныхъ путей, каверны въ легкихъ, вотъ что неотразимо ожидаетъ несчастнаго мальчика — тутъ девять изъ десяти шансовъ, это всѣмъ извѣстно, и именно отецъ-то и развиваетъ въ своемъ младенцѣ неестественно-преждевременную привычку! Что хотѣлъ доказать этимъ этотъ джентльменъ, — я не могу себѣ представить: пренебреженіе ли къ предразсудкамъ, новую ли идею провести, что все, что прежде запрещалось — вздоръ, а, напротивъ, все дозволено?—Понять не могу. Случай этотъ такъ и остался для меня неразъясненнымъ, почти чудеснымъ Никогда въ жизни я не встрѣчалъ такого отца и, вѣроятно, не встрѣчу. Удивительные въ наше время попадаются отцы! Я, впрочемъ, тотчасъ пересталъ смѣяться. Разсмѣялся я тому только, что такъ скоро отыскалъ причину моего сквернаго расположенія духа. Тутъ, хотя впрочемъ безъ прямой связи

съ событіемъ, припомнился мнѣ вчерашній мой разговоръ съ моимъ собесѣдникомъ о томъ: что унесутъ дорогого и святого изъ своего дѣтства въ жизнь современныя дѣти, потомъ напомнилась моя мысль о *случайности* современнаго семейства... и вотъ я вновь погрузился въ весьма непріятныя соображенія.

Спросятъ: что такое эта *случайность* и что я подъ этимъ словомъ подразумѣваю? Отвѣчаю: случайность современнаго русскаго семейства, по-моему, состоитъ въ утратѣ современными отцами всякой общей идеи, въ отношеніи къ своимъ семействамъ, общей для всѣхъ отцовъ, связующей ихъ самихъ между собою, въ которую бы они сами вѣрили и научили бы такъ вѣрить дѣтей своихъ, передали бы имъ эту вѣру въ жизнь. Замѣтьте еще: эта идея, эта вѣра — можетъ быть, даже пожалуй, ошибочная, такъ что лучшія изъ дѣтей впослѣдствіи сами бы отъ нея отказались, по крайней мѣрѣ, исправили бы ее для своихъ уже дѣтей, но все же самое присутствіе этой общей, связующей общество и семейство идеи — есть уже начало порядка, т. е. нравственнаго порядка, конечно, подверженнаго измѣненію, прогрессу, поправкѣ, положимъ, такъ — но порядка. Тогда какъ въ наше время этого-то порядка и нѣтъ, ибо нѣтъ ничего общаго и связующаго, во что бы всѣ отцы вѣрили, а есть на мѣсто того или: во 1-хъ, поголовное и сплошное отрицаніе прежняго (но зато лишь отрицаніе и ничего положительнаго); во 2-хъ, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько головъ столько умовъ, — попытки, раздробившіяся на единицы и лица, безъ опыта, безъ практики, даже безъ полной вѣры въ нихъ ихъ изобрѣтателей. Попытки эти иногда даже и съ прекраснымъ началомъ, но невыдержанныя, незаконченныя, а иногда такъ и совсѣмъ безобразныя, въ родѣ огульнаго допущенія всего того что прежде запрещалось, на основаніи принципа, что все старое глупо, и это даже до самыхъ глупѣйшихъ выходокъ, до позволенія, напримѣръ, курить табакъ семилѣтнимъ дѣтямъ. Наконецъ, въ 3-хъ, лѣнивое отношеніе къ дѣлу, вялые и лѣнивые отцы, эгоисты: «э, пусть будетъ, что будетъ, чего намъ заботиться, пойдутъ дѣти, какъ и всѣ, во что-нибудь выровняются, надоѣдаютъ только они очень, хотя бы ихъ вовсе и не было!» Такимъ образомъ, въ результатѣ — безпорядокъ, раздробленность и *случайность* русскаго семейства,—а надежда— почти что на одного Бога: «авось, дескать, пошлетъ намъ какую-нибудь общую идейку, и мы вновь соединимся!».

Такой порядокъ, конечно, родитъ безотрадность, а безотрадность еще пуще родитъ лѣность, а у горячихъ — ци-

ническую, озлобленную лѣность. Но есть и теперь много совсѣмъ не лѣнивыхъ, а, напротивъ, очень даже прилежныхъ отцовъ. Большею частью это отцы съ идеями. Одинъ, наслушавшись, положимъ, весьма даже не глупыхъ вещей и прочтя двѣ-три умныя книги, вдругъ сводитъ все воспитаніе и всѣ обязанности свои къ семейству на одинъ бифштексъ: «Бифштексъ съ кровью и кончено, Либихъ, дескать» и т. д. Другой, пречестнѣйшій человѣкъ самъ по себѣ, въ свое время даже блиставшій остроуміемъ, уже согналъ три няньки отъ своихъ младенцевъ: «невозможно съ этими шельмами, запретилъ настрого, вдругъ вхожу вчера въ дѣтскую и что же, представьте себѣ, слышу: Лизочку укладываетъ въ люльку, а сама се Богородицѣ учитъ и креститъ: помилуй, дескать, Господи, папу, маму .. вѣдь настрого запретилъ! Рѣшаюсь на англичанку, да выйдетъ ли лучше-то?». Третій, едва пятнадцатилѣтнему своему мальчишкѣ, самъ подыскиваетъ уже любовницу: «а то, знаете, эти дѣтскія ужасныя привычки разовьются, али пойдетъ какъ-нибудь на улицу, да болѣзнь скверную схватитъ... нѣтъ, ужъ лучше обезпечитъ ему этотъ пунктъ заранѣ»... Четвертый доводитъ своего семнадцатилѣтняго мальчика до самыхъ передовыхъ «идей», а тотъ самымъ естественнымъ образомъ (ибо что можетъ выйти изъ иныхъ познаній раньше жизни и опыта?) сводитъ эти передовыя мысли (нерѣдко очень хорошія) на то, что «если нѣтъ ничего святого, то, стало быть, можно дѣлать всякую пакость». Положимъ, въ этомъ случаѣ отцы горячи, но вѣдь у многихъ ли изъ нихъ эта горячка оправдывается чѣмъ-нибудь серьезнымъ, мыслью, страданіемъ? Много ль у насъ такихъ-то? Большею вѣдь частью одно либеральное подхихикиваніе съ чужого голоса, и вотъ, ребенокъ уноситъ въ жизнь, сверхъ всего, и комическое воспоминаніе объ отцѣ, комическій образъ его.

Но это «прилежные» и ихъ не такъ много; несравненно больше лѣнивыхъ. Всякое переходное и разлагающееся состояніе общества порождаетъ лѣность и апатію, потому что лишь очень немногіе, въ такія эпохи, могутъ ясно видѣть передъ собою и не сбиваться съ дороги. Большинство же путается, теряетъ нитку и, наконецъ, махаетъ рукой: «э, чтобъ васъ! Какія тамъ еще обязанности, когда и сами-то никто ничего толкомъ не умѣетъ сказать! Прожить бы только какъ-нибудь самому-то, а то что тутъ еще обязанности». И вотъ эти лѣнивые, если только богаты, исполняютъ даже все *какъ слѣдуетъ:* одѣваютъ дѣтей хорошо, кормятъ хорошо, нанимаютъ гувернантокъ, потомъ учителей, дѣти ихъ, наконецъ, вступаютъ, пожа-

луй въ университетъ, но... отца тутъ не было, семейства не было, юноша вступаетъ въ жизнь одинъ какъ перстъ, сердцемъ онъ не жилъ, сердце его ничѣмъ не связано съ его прошедшимъ, съ семействомъ, съ дѣтствомъ. И еще вотъ что: вѣдь это только богатенькіе, у нихъ былъ достатокъ, а много ли достаточныхъ-то? Большинство, страшное большинство — вѣдь все бѣдные, а потому при лѣности отцовъ къ семейству дѣтки уже въ высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцовъ отражаются въ ихъ сердцахъ съ дѣтства мрачными картинами, воспоминаніями иногда самаго отравляющаго свойства. Дѣти вспоминаютъ до глубокой старости малодушіе отцовъ, ссоры въ семействахъ, споры, обвиненія, горькіе упреки и даже проклятія на нихъ, на лишніе рты, и, что хуже всего, вспоминаютъ иногда подлость отцовъ, низкіе поступки изъ-за достиженія мѣстъ, денегъ, гадкія интриги и гнусное раболѣпство. И долго потомъ въ жизни, можетъ, всю жизнь, человѣкъ склоненъ слѣпо обвинять этихъ прежнихъ людей, ничего не вынеся изъ своего дѣтства, чѣмъ бы могъ онъ смягчить эту грязь воспоминаній и правдиво, реально, а стало быть и *оправдательно* взглянуть на тѣхъ прошлыхъ, старыхъ людей, около которыхъ такъ уныло протянулись его первые годы. Но это еще лучшія изъ дѣтей, а вѣдь большинство-то ихъ уноситъ съ собою въ жизнь не одну лишь грязь *воспоминаній*, а и самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьетъ себѣ этой грязью въ дорогу, чтобъ употребить ее потомъ въ дѣло и уже не съ скрежетомъ страданія, какъ его родители, а съ легкимъ сердцемъ: «Всѣ, дескать, ходятъ въ грязи, объ идеалахъ бредятъ только одни фантазеры, а съ грязнотцой-то и лучше»..

«Но что же вы хотите? Какія это такія воспоминанія должны бы были они унести изъ дѣтства для очистки грязи своихъ семействъ и для *оправдательнаго*, какъ вы говорите, взгляда на отцовъ своихъ?» Отвѣчаю: Что же я могу сказать одинъ, если въ цѣломъ обществѣ нѣтъ на это отвѣта? Общаго нѣтъ ничего у современныхъ отцовъ, сказалъ я, связующаго ихъ самихъ нѣтъ ничего. Великой мысли нѣтъ (утратилась она), великой вѣры нѣтъ въ ихъ сердцахъ въ такую мысль. А только подобная великая вѣра и въ состояніи породить *прекрасное* въ воспоминаніяхъ дѣтей, — и даже какъ: несмотря даже на самую лютую обстановку ихъ дѣтства, бѣдность и даже самую нравственную грязь, окружавшую ихъ колыбели! О, есть такіе случаи, что даже самый падшій изъ отцовъ, но еще сохранившій въ душѣ своей хотя бы только отдаленный прежній образъ великой мысли и великой вѣры

въ нее, могъ и успѣвалъ пересаждать въ воспріимчивыя и жаждущія души своихъ жалкихъ дѣтей это сѣмя великой мысли и великаго чувства, и былъ прощенъ потомъ своими дѣтьми всѣмъ сердцемъ за одно это благодѣяніе, несмотря ни на что остальное. Безъ зачатковъ положительнаго и прекраснаго нельзя выходить человѣку въ жизнь изъ дѣтства, безъ зачатковъ положительнаго и прекраснаго нельзя пускать поколѣніе въ путь. Посмотрите, развѣ современные отцы, изъ горячихъ и прилежныхъ, не вѣрятъ въ это? О, они вполнѣ вѣрятъ, что безъ связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя взрастить поколѣніе и пустить его въ жизнь! Но сами-то они всѣ вмѣстѣ утратили цѣлое, потеряли общее, разбились по частямъ; соединились лишь въ отрицательномъ, да и то кое-какъ, и раздѣлились всѣ въ положительномъ, а въ сущности и сами даже не вѣрятъ себѣ ни въ чемъ, ибо говорятъ съ чужого голоса, примкнули къ чуждой жизни и къ чуждой идей и потеряли всякую связь съ родной русской жизнью.

Впрочемъ, повторяю, этихъ горячихъ немного, лѣнивыхъ безконечно больше. Кстати, помните ли вы процессъ Джунковскихъ? Этотъ процессъ очень недавній и разсматривался въ Калужскомъ окружномъ судѣ всего лишь 10 іюня текущаго года. На него, среди грома текущихъ событій, весьма можетъ быть, немногіе и обратили вниманіе. Я прочелъ его въ газетѣ «Новое Время» и не знаю, былъ ли онъ перепечатанъ еще гдѣ-нибудь. Это — дѣло о перемышльскихъ землевладѣльцахъ маіорѣ Александрѣ Афонасьевѣ Джунковскомъ, 50 лѣтъ, и женѣ его Екатеринѣ Петровой Джунковской, 40 лѣтъ, обвиняемыхъ въ жестокомъ обращеніи съ малолѣтними дѣтьми ихъ Николаемъ, Александромъ и Ольгою... Здѣсь своевременно будетъ замѣтить, что дѣти, о которыхъ идетъ рѣчь, были въ слѣдующемъ возрастѣ: Николай — тринадцати лѣтъ, Ольга — двѣнадцати и Александръ — одиннадцати лѣтъ. Прибавлю еще, забѣгая впередъ, что судъ оправдалъ подсудимыхъ.

Въ этомъ процессѣ весьма, по-моему, рѣзко выступаетъ многое типичное изъ нашей дѣйствительности, а, между тѣмъ, что всего болѣе въ немъ поразительно — это чрезвычайная обыкновенность, обыденность его. Чувствуешь, что именно такихъ русскихъ семействъ необыкновенное теперь множество, — конечно, не въ этомъ самомъ видѣ, конечно, не вездѣ такія случайности, какъ *чесаніе пятокъ* (о чемъ будетъ ниже), но суть-то дѣла, основная-то черта множества подобныхъ семействъ одна и та же. Это именно типъ «лѣниваго семейства», о кото-

ромъ я сейчасъ только говорилъ. Если не цѣлый, не правильный очень типъ (особенно судя по инымъ весьма исключительнымъ и характернымъ подробностямъ), то все-таки замѣчательная особь этого типа. Но пусть читатели судятъ сами. Подсудимые были преданы суду по опредѣленію московской судебной палаты; припомнимъ же это обвиненіе. Перепечатываю ихъ «Новаго Времени» такъ, какъ оно было тамъ изложено, т. е. въ сжатомъ видѣ.

III.

Дѣло родителей Джунковскихъ съ родными дѣтьми.

Обвиняемые Джунковскіе, обладая извѣстнымъ достаткомъ и имѣя надлежащее число прислуги, поставили дѣтей своихъ: Николая, Александра и Ольгу, въ совершенно иныя отношенія къ себѣ, чѣмъ другихъ дѣтей. Они не только не держали себя съ ними и не ласкали ихъ какъ родители, но, оставивъ безъ присмотра, давали имъ плохое содержаніе, помѣщеніе, одежду, постели и столъ, принуждали къ занятіямъ въ родѣ чесанія пятокъ и т. п., возбуждая и поддерживая такимъ образомъ въ нихъ неудовольствіе и раздраженіе, доведшее ихъ до поступка съ умершею сестрою, о чемъ будетъ сказано ниже. Все это не могло не имѣть дурного вліянія на здоровье дѣтей. Такъ, напримѣръ, изъ дѣла видно, что Ольга страдаетъ падучею болѣзнью; кромѣ того, не способствуя ни надзоромъ, ни попеченіями своими нравственному развитію дѣтей, подсудимые прибѣгали къ мѣрамъ, которыя нельзя признать кроткими мѣрами исправленія родителями своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Такъ, обвиняемые запирали дѣтей на продолжительное время въ сортиръ, оставляли дома въ холодной комнатѣ и почти безъ пищи, или посылали обѣдать и спать въ комнатѣ прислуги, ставя ихъ такимъ образомъ въ общество лицъ, мало способныхъ содѣйствовать ихъ исправленію, наконецъ, часто били чѣмъ попало, даже кулаками, сѣкли розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей, и съ такою жестокостью, что страшно было смотрѣть и что (по показанію мальчика Александра) спина ребенка болѣла пять дней отъ одной изъ такихъ экзекуцій. Подобные побои были послѣдствіемъ не всегда какой-нибудь хотя бы маловажной шалости, но и просто такъ себѣ — по желанію. Служившая прачкою у Джунковскихъ солдатка Сергѣева между прочимъ объяснила, что обвиняемые не любили дѣтей Николая, Александра и Ольгу, которые спали отдѣльно отъ другихъ дѣтей, внизу, въ одной комнатѣ, на полу на войлокѣ, одѣвались чѣмъ попало (было одно рваное одѣяло), ѣли людское кушанье, такъ что всегда были голодны. Одѣвали ихъ плохо: лѣтомъ въ разныя рубашки, а зимою въ полушубки. Джунковская была для этихъ дѣтей хуже мачехи; она била ихъ, особенно Александра, чѣмъ попало, а то такъ просто кулаками. Когда сѣкла Николая, то страшно было глядѣть. Дѣти хотя и были шаловливы, но какъ дѣти. Имъ доставалось больше всего по

вечерамъ, когда они чесали матери пятки, что продолжалось по часу и болѣе — пока мать не уснетъ. Это дѣлала раньше прислуга, въ томъ числѣ и Сергѣева, которая, наконецъ, отказалась, потому что рука отекала! Изъ показанія Усачковой оказывается, что Александръ и Ольга валялись на полу, на грязныхъ подушкахъ, „вообще ихъ держали грязно — въ свиномъ логовищѣ чище чѣмъ у нихъ". Жившій у Джунковскихъ, въ качествѣ учителя, по августъ 1875 года, дворянинъ Любимовъ утверждалъ, что Николая, Ольгу и Александра содержали плохо и имъ иногда приходилось ходить босикомъ. Въ показаніи дѣвицы Шишовой (кандидатка Николаевскаго института), бывшей у дѣтей подсудимыхъ гувернанткою, по августъ 1874 года, которое было прочитано на судѣ, вслѣдствіе неявки свидѣтельницы, — значится, что Джунковская — женщина эгоистичная, не ласкавшая никогда, равно какъ и мужъ ея, дѣтей Александра и Николая. Отсутствіе вообще порядка въ домѣ подсудимыхъ и равнодушное отношеніе къ дѣтямъ Шишова объясняетъ какою-то небрежностью обвиняемыхъ ко всему и даже въ отношеніи себя; дѣла ихъ были постоянно запутаны, и они жили постоянно въ хлопотахъ и не умѣли хозяйничать. Джунковская, старавшаяся, чтобы ее ничто не безпокоило, поручала мужу наказывать дѣтей, что имъ и было исполняемо, и хотя при экзекуціяхъ свидѣтельница не присутствовала, но тѣмъ не менѣе удостовѣряетъ, что „никакой жестокости въ наказаніяхъ не было"..,Случалось,—продолжаетъ педагогичка Шишова,—что Джунковская или я даже за шалости запирали дѣтей въ комнату, гдѣ стоялъ ватерклозетъ, но эта комната не холоднѣе другихъ въ квартирѣ и отапливались". Шишова и сама наказывала дѣтей ременною плеткою, „но только она была маленькая". При свидѣтельницѣ никогда не случалось, чтобы дѣтямъ не давали ѣсть по нѣсколько дней.

Затѣмъ мальчики Николай и Александръ дали слѣдователю сдержанныя показанія, изъ которыхъ, однако, видно, что ихъ сѣкли розгами, ременною плетью, которою гоняютъ лошадь, а также и хворостиною, употреблявшеюся въ дѣло и учителемъ Любимовымъ. Однажды у Александра пять дней болѣла спина послѣ того, какъ мать высѣкла его за то, что онъ изъ кухни принесъ сестрѣ Ольгѣ картофелю для завтрака.

Джунковскій въ оправданіе свое ссылался на полнѣйшую испорченность своихъ дѣтей, въ подтвержденіе чего привелъ слѣдующій случай: когда умерла его старшая дочь Екатерина, мальчики Николай и Александръ въ то время, когда сестра ихъ лежала на столѣ, — нарѣзавъ въ саду прутьевъ, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натѣшимся надъ тобою за то, что ты на насъ жаловалась.

На судѣ обвиняемые не признали себя виновными.

Подсудимый увѣрялъ, что тратитъ на воспитаніе своихъ дѣтей болѣе, чѣмъ позволяютъ его средства, но что онъ такъ несчастливъ, что не достигъ своей цѣли, и что дѣти дѣлаются все хуже и хуже.

Старшій сынъ (Николай) до отдачи въ гимназію былъ хорошимъ мальчикомъ, но побывъ въ гимназіи, выучился тамъ воровать: до поступленія въ гимназію онъ зналъ молитвы, но потомъ забылъ ихъ по той причинѣ, что объявилъ себя католикомъ и вслѣдствіе этого не учился Закону Божію, между тѣмъ было представлено метрическое свидѣтельство, въ которомъ сказано, что Николай — православнаго вѣроисповѣданія.

Въ послѣднемъ своемъ словѣ Джунковская высказала, что она

нанимала къ дѣтямъ нѣсколько гувернантокъ, но, къ несчастью, все ошибалась въ нихъ, также какъ и въ учителѣ; но что въ настоящее время отецъ самъ занимается съ дѣтьми, и она надѣется, что дѣти совершенно исправятся.

Вотъ этотъ процессъ. Подсудимые, какъ сказано выше, были оправданы. Еще бы нѣтъ? И замѣчательно не то, что ихъ оправдали, а то, что ихъ предали подъ судъ и судили. Кто и какой судъ можетъ обвинить ихъ и за что? О, конечно, есть такой судъ, который можетъ ихъ обвинить и ясно указать за что, но не уголовный же судъ съ присяжными засѣдателями, судящій по написанному закону. А въ написанныхъ законахъ нигдѣ нѣтъ статьи, ставящей преступленіемъ лѣнивое, неумѣлое и безсердечное отношеніе отцовъ къ дѣтямъ. Иначе пришлось бы осудить полъ-Россіи, — куды, гораздо больше. Да и что такое безсердечное отношеніе? Вотъ если бы жестокія истязанія, какія-нибудь ужасныя, безчеловѣчныя. Но мнѣ помнится, какъ адвокатъ, въ процессѣ Кронеберга, обвинявшагося въ безчеловѣчномъ обращеніи съ своимъ младенцемъ, раскрылъ сводъ законовъ и прочелъ статью о жестокомъ обращеніи, жестокихъ истязаніяхъ и проч., имѣя въ виду доказать, что кліентъ его не подходитъ ни подъ одну изъ этихъ статей, въ которыхъ ясно и точно опредѣлено, что надо считать жестокими и безчеловѣчными истязаніями. И, помню, эти опредѣленія жестокихъ истязаній были до того жестоки, что рѣшительно похожи были на истязанія болгаръ баши-бузуками, и если не сажаніе на колъ и ремни изъ спины, то разломанныя ребра, руки, ноги и не знаю еще что, такъ что какая-нибудь ременная плетка да еще маленькая, по показанію дѣвицы Шишовой, — рѣшительно не можетъ подойти къ статьѣ свода законовъ и составить пунктъ обвиненія. «Сѣкли, дескать, розгой». Да кто жъ не сѣчетъ дѣтей розгой? Девять десятыхъ Россіи сѣчетъ. Подъ уголовный-то законъ уже никакъ нельзя подвести. «Сѣкли, дескать, ни за что, ни про что, за картофель». Нѣтъ-съ, не за картофель, — отвѣтилъ бы г. Джунковскій, а тутъ ужъ все вмѣстѣ сошлось, за развратъ, за то, что они, изверги, сѣкли умершую дочь Екатерину по лицу. — «Въ сортиръ, дескать, запирали». Да вѣдь сортиръ топленый, такъ чего же вамъ больше, карцеръ всегда карцеръ. «За то, дескать, что людской пищей кормили, и посылали спать чуть не въ свиной хлѣвъ, на какой-то подстилкѣ, съ однимъ рванымъ одѣяломъ?» «А это тоже за наказаніе-съ, и при томъ, рваное — не рваное, а я и безъ того трачу на обученіе дѣтей свыше моихъ средствъ и надѣюсь, что закону нечего считать въ моемъ карманѣ средства мои».

«За то, дескать, что вы не ласкали дѣтей?» «Но позвольте, покажите мнѣ такую статью свода законовъ, которая повелѣвала бы мнѣ, подъ страхомъ уголовнаго наказанія, ласкать дѣтей, да еще шалуновъ, безсердечныхъ, дрянныхъ воришекъ и изверговъ»... «За то, наконецъ, что вы избрали не ту систему воспитанія вашихъ дѣтей?» «А какую систему воспитанія предписываетъ уголовный законъ, подъ страхомъ уголовнаго наказанія? Да и вовсе это не дѣло закона»...

Однимъ словомъ, я хочу сказать, что тащить это дѣло Джунковскихъ въ уголовный судъ было невозможно. Да такъ и случилось: они были оправданы, изъ обвиненія ихъ ничего не вышло. А между тѣмъ, читатель чувствуетъ, что изъ этого дѣла можетъ выйти, а можетъ быть ужъ и вышла цѣлая трагедія. О, тутъ дѣло другого суда, но какого же?

Какого? Да вотъ хоть бы, напримѣръ, дѣвица Шишова, педагогичка, — она даетъ свое показаніе и уже произноситъ въ немъ приговоръ. Замѣтимъ, что эта г. Шишова, хоть и сѣкла сама дѣтей ременной плеткой («только она была маленькая»), но, кажется, весьма умная женщина. Невозможно опредѣлить точнѣе и умнѣе характеръ Джунковскихъ, какъ она его опредѣляетъ. Г-жа Джунковская — *женщина эгоистичная*, говоритъ она. Домъ Джунковскихъ *въ безпорядкѣ... по небрежности обвиняемыхъ ко всему и даже въ отношеніи себя.* Дѣла ихъ постоянно запутаны, живутъ они постоянно въ хлопотахъ; не умѣютъ хозяйничать, мучаются, а между тѣмъ всего болѣе ищутъ покоя: Джунковская, безпрерывно *старавшаяся, чтобы ее ничто не безпокоило,* даже дѣтей поручала наказывать мужу... Однимъ словомъ, г. Шишова унесла съ собой изъ дома Джунковскихъ то мнѣніе, что эти люди — безсердечные эгоисты, а главное — лѣнивые эгоисты. Все отъ лѣни, и сердца у нихъ лѣнивыя. Отъ лѣни, конечно, и вѣчный безпорядокъ въ домѣ, безпорядокъ и въ дѣлахъ, а между тѣмъ ничего они такъ не ищутъ, какъ покоя: «Э, чтобъ васъ, только бы прожить!» Отчего же ихъ лѣность, отчего ихъ апатія — Богъ знаетъ! Тяжело ли имъ среди современнаго хаоса жизни, въ которомъ такъ трудно что-нибудь понять? Или такъ мало отвѣтила современная жизнь на ихъ духовныя стремленія, на ихъ желанія, вопросы? Или, наконецъ, отъ непониманія кругомъ происходящаго разложились и ихъ понятія и уже больше не собрались, и наступило разочарованіе? Не знаю, не знаю; но, повидимому, это люди имѣющіе образованіе, можетъ быть, нѣкогда, да и теперь, пожалуй, любившіе прекрасное и высокое. Чесаніе

пятокъ тутъ ничему не могло бы противорѣчить. Чесаніе пятокъ — это именно что-то въ родѣ какъ бы лѣниваго, апатичнаго разочарованія, лѣнивое дорлотерство, жажда уединенія, покоя, теплоты. Тутъ нервы, — и именно не столько лѣнь, сколько эта жажда покоя и уединенія, т. е. скорѣе отъединенія отъ всѣхъ долговъ и обязанностей. Да, тутъ, конечно, эгоизмъ, а эгоисты капризны и трусливы передъ долгомъ: въ нихъ вѣчное, трусливое отвращеніе связать себя какимъ-нибудь долгомъ. Замѣтьте, что вѣчное и страстное желаніе этого освобожденія себя отъ всякаго долга почти всегда рождаетъ и развиваетъ въ эгоистѣ, наоборотъ, убѣжденіе, что всѣ, кто бы ни сталкивался съ ними, ему должны что-то, какъ бы обложены относительно его какимъ-то долгомъ, данью, податью. Какъ ни безсмысленно это мечтаніе, но оно, наконецъ, укореняется и переходитъ въ раздражительное недовольство всѣмъ міромъ и въ горькое, нерѣдко озлобленное чувство ко всему и ко всѣмъ. Неисполненіе этихъ фантастическихъ долговъ принимается, наконецъ, сердцемъ какъ обида — такъ что вы никогда во всю жизнь не вообразите, за что иной такой эгоистъ постоянно на васъ сердится и злобится. Это озлобленное чувство рождается даже и къ собственнымъ дѣтямъ, — о, къ дѣтямъ даже по-преимуществу. Дѣти — это именно предназначенныя жертвы этого капризнаго эгоизма, къ тому же они всѣхъ ближе подъ рукою, а всего пуще то, что никакого контроля: «мои, дескать, дѣти, собственныя!» Не удивляйтесь же, что это ненавистное чувство, вѣчно раздражаемое напоминаніемъ неисполненнаго относительно дѣтей долга, раздражаемое вѣчнымъ торчаніемъ передъ вами этихъ маленькихъ новыхъ личностей, требующихъ отъ васъ всего и дерзко (увы, не дерзко, а по-дѣтски!) не понимающихъ, что вамъ такъ нуженъ вашъ покой, и считающихъ этотъ покой ни во что, — не удивляйтесь, говорю я, что это ненавистное чувство даже къ собственнымъ дѣтямъ можетъ переродиться, наконецъ, въ настоящую месть, а подъ поощреніемъ и подстреканіемъ безнаказанности — даже въ звѣрство. Да, лѣность и всегда порождаетъ звѣрство, заканчивается звѣрствомъ. И звѣрство это не отъ жестокости, а именно отъ лѣни. Сердца эти не жестокія, а именно лѣнивыя сердца. И вотъ эта, столь любящая покой дама, даже до чесанія пятокъ возлюбившая его, озлобившаяся, наконецъ, на то, что лишь у ней, *у ней лишь одной* нѣтъ никакого покоя, потому что все кругомъ ея въ безпорядкѣ и требуетъ ея безпрерывнаго присутствія и вниманія, — эта дама вскакиваетъ, наконецъ, съ постели, хватаетъ хворостину и

сѣчетъ, сѣчетъ собственнаго ребенка, неутолимо, ненасытно, злорадно, такъ что «страшно было глядѣть», какъ показываетъ прислуга, и за что, изъ-за чего: за то, что мальчикъ принесъ голодной маленькой сестрѣ (страдающей падучей болѣзнью) изъ кухни немного картофелю, — т. е. сѣчетъ его за хорошее чувство, за то, что не развратилось и не очерствѣло еще сердце ребенка. «Все равно, дескать, я запретила, а ты принесъ, такъ вотъ же, не дѣлай свое хорошее, а дѣлай мое дурное». Нѣтъ-съ, вѣдь это истерика. Дѣти спятъ въ грязи, «въ свиномъ логовищѣ чище», съ однимъ прорваннымъ одѣяломъ на троихъ: «пусть, такъ имъ и надо, думаетъ родная мать, не даютъ они мнѣ покоя!» И не потому думаетъ она такъ, что сердце у ней жестокое, нѣтъ, сердце у ней, можетъ быть, весьма доброе и хорошее отъ природы, да вотъ покоя-то ей никакъ не даютъ, достигнуть-то его она всю жизнь не можетъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, а тутъ эти дѣти («зачѣмъ они! Зачѣмъ они появились!») растутъ, шалятъ и требуютъ каждодневно все больше и больше труда и вниманія! Нѣтъ, если ужъ тутъ и истерика, то цѣлыми годами накопленная. Рядомъ съ этою болѣзненною (доведенною до болѣзненности) матерью семейства, стоитъ предъ судомъ отецъ, г. Джунковскій. Что жъ, можетъ быть, онъ и очень хорошій человѣкъ, кажется, человѣкъ образованный, вовсе не циникъ, напротивъ, сознающій отцовскій долгъ свой, до огорченія сердца его сознающій. Вотъ онъ чуть не со слезами жалуется въ судѣ на малолѣтнихъ дѣтей, онъ простираетъ руки: «я сдѣлалъ для нихъ все, все, я нанималъ учителей, гувернантокъ, и тратилъ на нихъ болѣе, чѣмъ позволяли мнѣ средства, но они изверги, они стали воровать, они сѣкли мертвую сестру по лицу!» Однимъ словомъ, онъ считаетъ себя вполнѣ правымъ. Дѣти стоятъ тутъ же, подлѣ; замѣчательно, что они дали «показанія сдержанныя, осторожныя», т. е. мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтобъ это отъ одного лишь страха родителей, къ которымъ все-таки придется воротиться. Напротивъ, казалось бы, тотъ фактъ, что ихъ отца уже судятъ за жестокое обращеніе съ ними, долженъ бы ихъ ободрить. Просто, имъ неловко было судиться съ отцомъ, стоять подлѣ него и свидѣтельствовать противъ него, тогда какъ онъ, не думая о будущемъ и о томъ, какія чувства останутся въ сердцѣ этихъ дѣтей отъ этого дня, не подозрѣвая даже о томъ, что они унесутъ въ свое будущее изъ этого дня, — онъ обвиняетъ ихъ и разоблачаетъ все ихъ дурное, всѣ постыдные поступки ихъ, жалуется суду, публикѣ, обществу. Но онъ вѣритъ, что

онъ правъ, а г-жа Джунковская вѣритъ даже и въ будущность, и вполнѣ, вполнѣ! Она объявляетъ суду, что *все* отъ дурныхъ учителей и гувернантокъ, что она разочаровалась въ нихъ, а что теперь, когда вотъ мужъ ея примется за обученіе и воспитаніе дѣтей, то дѣти «совершенно исправятся» (такъ! такъ!). Дай имъ Богъ, однако.

Кстати, замѣтимъ кое-что объ этихъ шалостяхъ маленькихъ Джунковскихъ.

То, что они сѣкли розгами по лицу мертвую сестру, за то, что она когда-то на нихъ жаловалась, конечно, возмутительно и омерзительно. Но постараемся быть безпристрастнѣе и, клянусь вамъ, увидимъ, что даже и это лишь дѣтская шалость, именно, — это дѣтская «фантастичность». Тутъ что-нибудь отъ воображенія дѣтей, а не отъ развращеннаго сердца. Дѣтское воображеніе даже по природѣ своей, и особенно въ извѣстномъ возрастѣ, чрезвычайно воспріимчиво и наклонно къ фантастическому. И особенно въ тѣхъ семействахъ, въ которыхъ хоть и тѣсно живутъ люди, такъ что каждый торчитъ у другого на виду, но дѣти все-таки отъединены въ особую кучку — заботами, вѣчнымъ недосугомъ отцовъ: «учиться, за книгу, не шалить!» только и слышатъ они и сидятъ за своими книжонками, по опредѣленнымъ угламъ, не смѣя даже болтнуть ногой. Въ свиномъ своемъ хлѣвѣ, по ночамъ, засыпая, или сидя за скучными уроками или запертые въ сортиръ маленькіе Джунковскіе могли пріучить себя къ страннымъ мечтаніямъ — и къ добрымъ и сердечнымъ, и къ озлобленнымъ, или просто по-дѣтски, къ сказочнымъ, фантастическимъ: «вотъ, дескать, былъ бы я побольше, пошелъ бы на войну, а тамъ бы пріѣхалъ сюда; учителишка спросилъ бы: гдѣ вы были? Какъ смѣли уѣхать изъ класса? А я бы вынулъ изъ кармана Георгій и повѣсилъ въ петлицу, тутъ бы онъ испугался и бросился на колѣни!» Когда умерла сестра, кто-нибудь изъ нихъ троихъ, грѣясь подъ уголкомъ своего рваного одѣяла, могъ, засыпая, придумать: «а знаешь, Николя, вѣдь Богъ-то ее нарочно наказалъ за то, что она злая была, жаловалась. Она теперь видитъ сверху, хотѣла бы пожаловаться, да нельзя уже. Давайте ее завтра розгами сѣчь, пусть она смотритъ сверху, видитъ и злится, что нельзя пожаловаться!» Клянусь вамъ, что ребятишки, можетъ быть, черезъ нѣсколько дней раскаялись въ сердцахъ своихъ въ томъ, что они сдѣлали такую гнусную глупость. Дѣтскія сердца мягки. На этотъ счетъ я знаю вотъ какой маленькій случай. Умерла одна мать у семерыхъ дѣтей. Одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ семи или

восьми, увидя мертвую маму, стала ужасно рыдать. Она такъ плакала, что ее унесли въ дѣтскую почти въ истерикѣ и не знали чѣмъ утѣшить. Дура приживалка, случившаяся тутъ, вдругъ сказала ей, утѣшая: «не плачь, что ты ужъ такъ плачешь-то, вѣдь она тебя не любила, она тебя, помнишь, наказала, въ углу-то ты стояла, помнишь!» Дурѣ думалось сдѣлать лучше: вотъ, дескать, перестанетъ и успокоится ребенокъ — и достигла вѣдь цѣли: дѣвочка вдругъ перестала плакать. Мало того, и на другой день, и на похоронахъ имѣла какой-то холодный, подобранный, обиженный видъ: «она, дескать, меня не любила». Ей понравилась мысль, что она была обиженная, загнанная, нелюбимая. Ей Богу, это случилось съ ребенкомъ по восьмому году. Но дѣтская «фантастичность» не продолжалась долго: черезъ нѣсколько дней ребенокъ такъ опять затосковалъ о матери, что сдѣлался боленъ, и никогда потомъ, во всю жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери безъ благоговѣйнаго чувства. За проступокъ маленькихъ Джунковскихъ съ мертвою сестрою ихъ, безъ сомнѣнія, слѣдовало наказать, и строго, но поступокъ этотъ — дѣтскій, глупый, фантастическій, именно дѣтскій и вовсе не означаетъ развращенія сердецъ. Шалость же мальчика Николая въ гимназіи, объявившаго себя католикомъ, чтобы не учиться Закону Божію, есть въ высшей степени лишь дѣтская шалость: это классный вывертъ передъ товарищами: «вотъ, дескать, вы учитесь Закону, а я избавился, надулъ ихъ всѣхъ, благо фамилія моя похожа на польскую». Тутъ рѣшительно одно только *школьничество* — глупое, скверное, за которое слѣдуетъ строжайше наказать, но не слѣдуетъ отчаяваться за мальчика, не слѣдуетъ вѣрить, что онъ уже до того развращенъ, что сталъ мошенникомъ. Но Джунковскій отецъ, кажется, вѣритъ тому: не жаловался бы онъ такъ плачевно на судѣ, если бы не вѣрилъ.

У насъ въ судахъ случается, что когда подсудимые бываютъ оправданы (и особенно когда они, очевидно, виновны, но отпущены лишь милосердіемъ суда), то предсѣдатель суда, объявляя подсудимому свободу, говоритъ ему иногда при этомъ назиданіе на тему: какъ именно ему слѣдуетъ принять это оправданіе, что вынести изъ всего этого въ жизнь, какъ избѣжать въ дальнѣйшемъ повторенія бѣды. Предсѣдатель суда говоритъ въ такомъ случаѣ отъ лица какъ бы всего общества, государства; слова эти важныя, назиданіе верховное. Можетъ быть, подсудимымъ Джунковскимъ объявлено было ихъ оправданіе безъ всякаго особаго, въ такомъ родѣ, внушенія, — этого я не знаю, но я просто самъ воображаю себѣ: что

могъ бы имъ сказать предсѣдатель суда, отпуская ихъ. И вотъ что, мнѣ кажется, онъ бы могъ имъ сказать:

IV.

Фантастическая рѣчь предсѣдателя суда.

«Подсудимые, вы оправдены, но вспомните, что кромѣ этого суда есть другой судъ, — судъ собственной вашей совѣсти. Сдѣлайте же такъ, чтобъ и этотъ судъ оправдалъ васъ, хотя бы впослѣдствіи. Вы объявили, что намѣрены теперь сами заняться воспитаніемъ и обученіемъ дѣтей вашихъ: если бъ вы раньше взялись за это, то не было бы, вѣроятно, и сегодняшняго суда вашего здѣсь съ дѣтьми вашими. Но боюсь: имѣете ли вы достаточно силъ въ себѣ для исполненія добраго намѣренія вашего? Не достаточно лишь рѣшиться на такое дѣло, надо спросить себя: достанетъ ли ревности и терпѣнія на исполненіе его? Не хочу и не смѣю сказать про васъ, что вы родители безсердечные, ненавистники дѣтей вашихъ. Да и ненавидѣть дѣтей своихъ вещь въ сущности почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидѣть же столь малыхъ еще дѣтей, — вещь безразсудная и даже смѣшная. Но лѣность, но равнодушіе, но лѣнивая отвычка отъ исполненія такой первѣйшей естественной и высшей гражданской обязанности, какъ воспитаніе собственныхъ дѣтей, дѣйствительно могутъ породить даже нелюбовь къ нимъ, почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести къ нимъ, особенно по мѣрѣ ихъ возрастанія, по мѣрѣ все возрастающихъ природныхъ требованій ихъ, по мѣрѣ вашего сознанія о томъ, что для нихъ много надо сдѣлать, много потрудиться, а стало быть, много имъ пожертвовать изъ собственнаго вседовольнаго отъединенія и покоя. Къ тому же, все возрастающія шалости оставленныхъ въ пренебреженіи дѣтей и укорененіе въ нихъ дурныхъ привычекъ, видимое извращеніе умовъ и сердецъ ихъ могутъ вселить, наконецъ, прямое отвращеніе къ нимъ даже и въ родительскихъ сердцахъ. Въ горячихъ, слезныхъ жалобахъ вашихъ на пороки вашихъ дѣтей мы всѣ услышали здѣсь и увидѣли глубокую, неподдѣльную горесть вашу, горесть несчастнаго и оскорбленнаго своими дѣтьми отца. Но подумайте, однако, немного и разсудите: изъ чего имъ было

и сдѣлаться лучше? Выяснилось, напримѣръ, на судѣ, что за лѣность ихъ и за шалости вы ихъ запирали на нѣсколько иногда часовъ въ сортиръ. Конечно: карцеръ есть карцеръ, да и сортиръ вашъ *отапливался*, стало быть, не было тутъ жестокаго истязанія, но вѣдь такъ ли однако? Сидя тамъ, чувствуя унизительное и срамное положеніе свое, ребенокъ могъ ожесточаться, въ головѣ его могли проходить самыя фантастическія извращенныя и циническія мечты; онъ могъ окончательно потерять любовь, любовь къ родному гнѣзду и къ вамъ даже, родителямъ его, ибо ему могло казаться, что вы уже совершенно не дорожите ни чувствами его къ вамъ, ни человѣческимъ его достоинствомъ, а у ребенка, даже у самаго малаго, есть тоже и уже сформировавшееся человѣческое достоинство, замѣтьте это себѣ. О томъ, что эти мысли, а главное — сильныя, хотя и дѣтскія впечатлѣнія эти онъ унесетъ потомъ въ жизнь и проноситъ ихъ въ сердцѣ своемъ, можетъ быть, до самой могилы, вы, кажется, совсѣмъ не подумали. Да и сдѣлали ли вы сами-то хоть что-нибудь предварительно, чтобъ избѣжать этой обижающей ребенка необходимости сажать его въ такое мѣсто, и тѣмъ позорить его и издѣваться надъ нимъ? Вѣдь впослѣдствіи, въ жизни, онъ этотъ вопросъ непремѣнно подыметъ и поставитъ передъ собой. Вы утверждаете, что вы сдѣлали для дѣтей своихъ *все*, и какъ будто сами убѣждены въ этомъ, но я не вѣрю тому, что вы сдѣлали все; и когда вы съ такимъ огорченнымъ чувствомъ произносили это, я убѣжденъ былъ, что въ васъ самихъ было уже большое сомнѣніе насчетъ этого самаго пункта. Вы увѣряете, что нанимали учителей и тратили свыше средствъ вашихъ. Безъ сомнѣнія, учитель необходимъ для дѣтей, и, пригласивъ учителя, вы поступили, конечно, какъ ревностный отецъ: но нанять учителя для преподаванія дѣтямъ наукъ не значитъ, конечно, *сдать* ему дѣтей, такъ сказать, съ плечъ долой, чтобъ отвязаться отъ нихъ, и чтобъ они больше ужъ васъ не безпокоили. А вы, кажется, именно это-то и сдѣлали и думали, что, заплативъ деньги, уже совершенно все сдѣлали, и даже болѣе чѣмъ *все* — «свыше средствъ». Между тѣмъ, увѣряю васъ, что вы сдѣлали лишь наименьшее изъ того, что могли бы сдѣлать для нихъ; вы лишь откупались отъ долга и отъ обязанности родительской деньгами, а думали, что уже все совершили. Вы забыли, что ихъ маленькія дѣтскія души требуютъ безпрерывнаго и неустаннаго соприкосновенія съ вашими родительскими душами, требуютъ, чтобъ вы были для нихъ, такъ сказать, всегда духовно на горѣ, какъ предметъ любви, великаго

нелицемѣрнаго уваженія и прекраснаго подражанія. Наука наукой, а отецъ передъ дѣтьми всегда долженъ быть какъ бы добрымъ, нагляднымъ примѣромъ всего того нравственнаго вывода, который умы и сердца ихъ могутъ почерпнуть изъ науки. Сердечная, всегда наглядная для нихъ забота ваша о нихъ, любовь ваша къ нимъ согрѣли бы какъ теплымъ лучемъ все посѣянное въ ихъ душахъ и плодъ вышелъ бы, конечно, обильный и добрый. Но, кажется, ничего не посѣявъ сами, и сдавъ ихъ чуждому семьѣ вашей сѣятелю, — вы потребовали уже жатвы и, непривычные къ этому дѣлу, потребовали этой жатвы слишкомъ рано; не получивъ же ее, озлобились и ожесточились... на малютокъ, на собственныхъ дѣтей вашихъ, и тоже рано, слишкомъ рано!

«Все оттого, что воспитаніе дѣтей есть трудъ и долгъ, — для иныхъ родителей сладкій, несмотря на гнетущія даже заботы, на слабость средствъ, на бѣдность даже, для другихъ же, и даже для очень многихъ достаточныхъ родителей, — это самый гнетущій трудъ и самый тяжелый долгъ. Вотъ потому и стремятся они откупиться отъ него деньгами, если есть деньги. Если же и деньги не помогаютъ, или, какъ у многихъ, ихъ и вовсе нѣтъ, то прибѣгаютъ обыкновенно къ строгости, къ жестокости, къ истязанію, къ розгѣ. Я вамъ скажу что такое розга. Розга есть въ семействѣ продуктъ лѣни родительской, неизбѣжный результатъ этой лѣни. Все, что можно бы сдѣлать трудомъ и любовью, неустанной работой надъ дѣтьми и съ дѣтьми, все, чего можно бы было достигнуть разсудкомъ, разъясненіемъ, внушеніемъ, терпѣніемъ, воспитаніемъ и примѣромъ, — всего того слабые, лѣнивые, но нетерпѣливые отцы полагаютъ всего чаще достигнуть розгой: «не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю». Каковъ же результатъ выходитъ? Ребенокъ хитрый, скрытный, непремѣнно покорится и обманетъ васъ, и розга ваша не исправитъ, а только развратитъ его. Ребенка слабаго, трусливаго и сердцемъ нѣжнаго — вы забьете. Наконецъ, ребенка добраго, простодушнаго, съ сердцемъ прямымъ и открытымъ — вы сначала измучаете, а потомъ ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно дѣтскому сердцу отрываться отъ тѣхъ, кого оно любитъ; но если оно уже оторвется, то въ немъ зарождается страшный, неестественно-ранній цинизмъ, ожесточеніе и извращается чувство справедливости. Все это, конечно, въ томъ только случаѣ, если жестокость происходитъ отъ эгоизма родителей, и если хозяинъ нивы, не посѣявъ самъ, потребуетъ съ нея доброй жатвы. Въ такихъ случаяхъ, жестокость и не-

справедливость идутъ со стороны отцовъ усиливаясь, безъ удержу, и это всего чаще. «Не дѣлай свое хорошее, а дѣлай мое дурное!» — вотъ, наконецъ, что становится девизомъ и ребенка наказываютъ даже за доброе дѣло, за картофель, который онъ принесъ сестрѣ изъ кухни: какъ же не ожесточиться сердцу и какъ не извратиться понятіямъ? Не будучи жестокими и даже любя ихъ, вы наказывали ихъ вашимъ пренебреженіемъ къ нимъ, униженіемъ ихъ: они спали въ нечистой комнатѣ на какой-то подстилкѣ, ѣли пищу не съ вашего стола, а со слугами. И, конечно, вы думали, что они, наконецъ, почувствуютъ вину свою и исправятся. Въ противномъ случаѣ, надо бы было предположить, что вы дѣлали такъ отъ ненависти къ нимъ, отъ мести къ нимъ, чтобы имъ сдѣлать зло? Но судъ не захотѣлъ такъ заключить и приписалъ поступки ваши ошибочному разсчету воспитателя. Но вотъ теперь вы сами собираетесь воспитывать и учить ихъ: трудное это дѣло, несмотря на то, что супругѣ вашей кажется оно легкимъ.

«Дѣтей вашихъ нѣтъ въ залѣ, я приказалъ ихъ вывести, а потому я могу коснуться до самаго главнаго въ этомъ предстоящемъ вамъ трудномъ дѣлѣ. Самое главное въ немъ то, что предстоитъ многое простить съ обѣихъ сторонъ. Они должны простить вамъ горькія, тяжелыя впечатлѣнія ихъ дѣтскихъ сердецъ, ожесточеніе свое, пороки свои. Вы же должны простить имъ вашъ эгоизмъ, ваше пренебреженіе къ нимъ, извращеніе чувствъ вашихъ къ нимъ, жестокость вашу и то, наконецъ, что вы сидѣли здѣсь и судились за нихъ. Говорю такъ потому, что не себя обвините вы во всемъ этомъ, выйдя изъ залы суда, а непремѣнно ихъ, я увѣренъ въ этомъ! Итакъ, начиная ваше трудное дѣло воспитанія дѣтей вашихъ, спросите сами себя: можете ли вы обвинить за всѣ эти проступки и преступленія ваши, не ихъ, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успѣете въ трудѣ вашемъ! Значитъ, Богъ очистилъ взглядъ вашъ и просвѣтлилъ вашу совѣсть. Если же не можете, то лучше и не принимайтесь за ваше намѣреніе.

«Второе, что предстоитъ вамъ тяжелаго въ вашемъ трудѣ, это побороть, истребить въ ихъ сердцахъ и измѣнить въ нихъ слишкомъ многія прежнія впечатлѣнія и воспоминанія. Но тутъ надо столь многое заставить забыть и столь многое вновь создать, что недоумѣваю: какимъ путемъ этого достигнете? О, если научитесь любить ихъ, то, конечно, всего достигнете. Но вѣдь даже и любовь есть трудъ, даже и любви надобно учиться. вѣрите ли вы тому? Вѣрите ли вы, наконецъ, убѣждены ли вы, что

васъ не остановятъ и не побѣдятъ, въ прекрасномъ предпріятіи вашемъ, иныя самыя мелкія, самыя первоначальныя, самыя пошлыя обыденныя заботы, о которыхъ вы, можетъ быть, теперь и не думаете, но которыя однако могутъ составить наиважнѣйшее препятствіе добрымъ начинаніямъ вашимъ. Всякій ревностный и разумный отецъ знаетъ, напримѣръ, сколь важно воздерживаться передъ дѣтьми своими въ обыденной семейной жизни отъ извѣстной, такъ сказать, халатности семейныхъ отношеній, отъ извѣстной распущенности ихъ и разнузданности, воздерживать себя отъ дурныхъ и безобразныхъ привычекъ, а главное — отъ невниманія и пренебреженія къ дѣтскому ихъ мнѣнію о васъ самихъ, къ непріятному, безобразному и комическому впечатлѣнію, которое можетъ зародиться въ нихъ столь часто при созерцаніи нашей безшабашности въ семейномъ быту. Вѣрите ли вы, что ревностный отецъ даже долженъ иногда совсѣмъ перевоспитать себя для дѣтей своихъ. О, если родители добры, если любовь ихъ къ дѣтямъ ревностна и горяча, то дѣти многое простятъ имъ и многое забудутъ потомъ не только изъ комическаго и безобразнаго, но даже не осудятъ ихъ безапелляціонно за иныя совсѣмъ уже дурныя дѣла ихъ; напротивъ, сердца ихъ непремѣнно найдутъ смягчающія обстоятельства. Но совсѣмъ другое можетъ случиться въ семействахъ несогласныхъ и ожесточенныхъ. Ваша супруга, какъ оказалось на судѣ, имѣетъ болѣзненную привычку заставлять чесать себѣ передъ сномъ ноги. Служанка засвидѣтельствовала, что эта обязанность была для нея даже мучительна, что «затекали руки». Представьте же себѣ этого мальчика, вашего сына, котораго вмѣсто служанки заставляютъ чесать? О, если бъ мать любила его искренно и сердечно, и онъ бы увѣренъ былъ въ томъ, то онъ бы и теперь, да и всегда потомъ, вспоминалъ объ этой немощи дорогого ему человѣка съ добродушною улыбкою, хотя, можетъ быть, злился бы и досадовалъ въ тѣ минуты, когда его заставляли чесать. Но воображаю, какъ онъ смотрѣлъ, и что онъ чувствовалъ, что заходило ему въ голову, когда онъ сидѣлъ по часу и болѣе надъ смѣшнымъ занятіемъ передъ существомъ, не любившимъ его, которое вотъ-вотъ вскочитъ и начнетъ сѣчь его ни за что, ни про что. Тогда требованіе отъ него этой услуги несомнѣнно должно было казаться ему унижающимъ его, пренебрежительнымъ къ нему и презрительнымъ. Не могъ не сознавать онъ, или, лучше сказать, не почувствовать, что матери своей онъ не нуженъ какъ сынъ, что какъ сына она его презираетъ, забываетъ, посылаетъ

спать на какую-то подстилку, а если вспоминаетъ о немъ, то для того лишь, чтобъ бить его, но что онъ нуженъ, стало быть, ей не какъ сынъ, а всего только какъ какая-то чесалка! И вы же жалуетесь послѣ того, что они развратились, что они безсердечные изверги, «что научились воровать!». Напрягите немного ваше воображеніе, вообразите сына вашего въ будущемъ уже тридцати, положимъ, лѣтъ и подумайте, съ какимъ отвращеніемъ, съ какимъ озлобленнымъ чувствомъ и презрѣніемъ припомнитъ онъ этотъ эпизодъ своего дѣтства... Что онъ будетъ помнить о немъ до могилы, въ томъ нѣтъ сомнѣнія. Онъ не проститъ, онъ возненавидитъ свои воспоминанія, свое дѣтство, проклянетъ свое бывшее родное гнѣздо и тѣхъ, кто былъ съ нимъ въ этомъ гнѣздѣ! Эти воспоминанія предстоитъ вамъ теперь непремѣнно искоренить, непремѣнно пересоздать, надо заглушить ихъ иными новыми сильными и святыми впечатлѣніями, — какой огромный трудъ! Страшно подумать! Нѣтъ: дѣло, предпринимаемое вами, гораздо, гораздо труднѣе, чѣмъ кажется вашей супругѣ!

«Не сердитесь, не обижайтесь словами моими. Говоря вамъ я исполняю непремѣнную обязанность. Я говорю отъ лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дѣти, вы современная Россія, онѣ будущая: что же будетъ съ Россіей, если русскіе отцы будутъ уклоняться отъ своего гражданскаго долга и станутъ искать уединенія, или, лучше сказать, отъединенія, лѣниваго и циническаго, отъ общества, народа своего и самыхъ первѣйшихъ къ нимъ обязанностей. Всего ужаснѣе то, что это такъ распространено: вы не одни такіе, хотя другіе впадаютъ въ тѣ же ошибки, какъ вы, можетъ быть и подъ другими формулами. Но внушительнѣе всего то, что вы не только еще не худшіе, но даже многимъ лучшіе изъ современныхъ отцовъ, ибо все же въ сердцахъ вашихъ не умерло сознаніе вашего долга, хотя вы и не исполняли его. Абсолютнаго отрицанія долга въ васъ нѣтъ. Вы не холодные эгоисты, а, напротивъ, раздраженные — на себя ли, на дѣтей ли вашихъ, не стану опредѣлять того, но вы оказались способными принять къ сердцу вашъ неуспѣхъ и глубоко огорчиться имъ? Итакъ, да поможетъ вамъ Богъ въ рѣшеніи вашемъ исправить вашъ неуспѣхъ. Ищите же любви и копите любовь въ сердцахъ вашихъ. Любовь столь всесильна, что перерождаетъ и насъ самихъ. Любовью лишь купимъ сердца дѣтей нашихъ, а не однимъ лишь естественнымъ правомъ надъ ними. Да и самая природа изъ всѣхъ обязанностей нашихъ наиболѣе помогаетъ намъ въ обязанностяхъ передъ дѣтьми, сдѣ-

лавъ такъ, что дѣтей нельзя не любить. Да и какъ не любить ихъ? Если уже перестанемъ дѣтей любить, то кого же послѣ того мы сможемъ полюбить и что станется тогда съ нами самими? Вспомните тоже, что лишь для дѣтей и для ихъ золотыхъ головокъ Спаситель нашъ обѣщалъ намъ «сократить времена и сроки». Ради нихъ сократится мученіе перерожденіе человѣческаго общества въ совершеннѣйшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся, наконецъ, страданія и недоумѣнія цивилизаціи нашей!

«А теперь ступайте, вы оправданы»...

Глава вторая.

I.

Опять обособленіе. Восьмая часть „Анны Карениной".

У насъ очень многіе теперь изъ интеллигентныхъ русскихъ повадились говорить: «какой народъ? Я самъ народъ». Въ восьмой части «Анны Карениной», Левинъ, излюбленный герой автора романа, говоритъ про себя, что онъ *самъ народъ*. Этого Левина я какъ-то, прежде говоря объ «Аннѣ Карениной», назвалъ «чистый сердцемъ Левинъ». Продолжая вѣрить въ чистоту его сердца попрежнему, я не вѣрю, что онъ — народъ; напротивъ, вижу теперь, что и онъ съ любовью норовитъ въ обособленіе. Убѣдился я въ этомъ прочитавъ вотъ ту самую восьмую часть «Анны Карениной», о которой я заговорилъ въ началѣ этого іюль-августовскаго дневника моего. Левинъ, какъ фактъ, есть, конечно, не дѣйствительно существующее лицо, а лишь вымыселъ романиста. Тѣмъ не менѣе этотъ романистъ — огромный талантъ, значительный умъ и весьма уважаемый интеллигентною Россіею человѣкъ, — этотъ романистъ изображаетъ въ этомъ идеальномъ, т. е. придуманномъ лицѣ, частью и собственный взглядъ свой на современную нашу русскую дѣйствительность, что ясно каждому, прочитавшему его замѣчательное произведеніе. Такимъ образомъ, судя объ несуществующемъ Левинѣ, мы будемъ судить и о дѣйствительномъ уже взглядѣ одного изъ самыхъ значительныхъ современныхъ русскихъ людей на текущую русскую дѣятельность. А это уже предметъ для сужденія серь-

езный даже и въ наше столь гремучее время, столь полное огромныхъ потрясающихъ и быстро смѣняющихся дѣйствительныхъ фактовъ. Взглядъ этотъ столь значительнаго русскаго писателя, и именно на столь интересное для всѣхъ русскихъ дѣло, какъ всеобщее національное движеніе всѣхъ русскихъ людей за послѣдніе два года по «восточному вопросу», выразился точно и окончательно именно въ этой восьмой и послѣдней части его произведенія, отвергнутой редакціей «Русскаго Вѣстника» по несходству убѣжденій автора съ ея собственными и появившейся весьма недавно отдѣльной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понялъ, заключается главное въ томъ, что, во 1-хъ, все это такъ называемое національное движеніе нашимъ народомъ отнюдь не раздѣляется, и народъ вовсе даже не понимаетъ его; во 2-хъ, что все это нарочно поддѣлано, сперва извѣстными лицами, а потомъ поддержано журналистами изъ выгодъ, чтобъ заставить болѣе читать ихъ изданія; въ 3-хъ, что всѣ добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы; въ 4-хъ, что весь этотъ такъ называемый подъемъ русскаго національнаго духа за славянъ былъ не только поддѣланъ извѣстными лицами и поддержанъ продажными журналистами, но и поддѣланъ вопреки, такъ сказать, самыхъ основъ .. и, наконецъ, въ 5-хъ, что всѣ варварства и неслыханныя истязанія, совершенныя надъ славянами, не могутъ возбуждать въ насъ, русскихъ, непосредственнаго чувства жалости и что «такого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ *нѣтъ и не можетъ быть*». Послѣднее выражено окончательно и категорически.

Такимъ образомъ, «чистый сердцемъ Левинъ» ударился въ обособленіе и разошелся съ огромнымъ большинствомъ русскихъ людей. Взглядъ его, впрочемъ, вовсе не новъ и не оригиналенъ. Онъ слишкомъ бы пригодился и пришелся по вкусу многимъ, почти такъ же думавшимъ людямъ прошлою зимой у насъ въ Петербургѣ и людямъ далеко не послѣднимъ по общественному положенію, а потому и жаль, что книжка нѣсколько запоздала. Отчего произошло столь мрачное обособленіе Левина и столь угрюмое отъединеніе въ сторону — не могу опредѣлить. Правда, это человѣкъ горячій, «безпокойный», всеанализирующій и, если строго судить, ни въ чемъ себѣ не вѣрующій. Но все-таки человѣкъ этотъ «сердцемъ чистый», и я стою на томъ, хотя трудно и представить себѣ, какими таинственными, а подчасъ и смѣшными путями можетъ проникнуть иной разъ самое неестественное, самое выдѣланное и самое безобразное чувство въ иное въ

высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочемъ, замѣчу еще, что хотя и утверждаютъ многіе, и даже я самъ ясно вижу (какъ и сообщилъ выше), что, въ лицѣ Левина, авторъ во многомъ выражаетъ свои собственные убѣжденія и взгляды, влагая ихъ въ уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда при томъ художественностью, но лицо самого Левина, такъ, какъ изобразилъ его авторъ, я все же съ лицомъ самого автора отнюдь не смѣшиваю. Говорю это, находясь въ нѣкоторомъ горькомъ недоумѣніи, потому что хотя очень многое изъ выраженнаго авторомъ, въ лицѣ Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, какъ художественно изображеннаго типа, но все же не того ожидалъ я отъ такого автора!

II.

Признанія славянофила.

Да, не того. Здѣсь я принужденъ выразить нѣкоторыя чувства мои, хотя и положилъ было, начиная прошлаго года издавать мой «Дневникъ», что литературной критики у меня не будетъ. Но чувства не критика, хотя бы и высказалъ я ихъ по поводу литературнаго произведенія. Въ самомъ дѣлѣ, я пишу мой «Дневникъ», т. е. записываю мои впечатлѣнія по поводу всего, что наиболѣе поражаетъ меня въ текущихъ событіяхъ, — и вотъ я, почему-то, намѣренно предписываю самъ себѣ придуманную обязанность непремѣнно скрывать и, можетъ быть, самыя сильнѣйшія изъ переживаемыхъ мною впечатлѣній, лишь потому только, что они касаются русской литературы. Конечно, въ основѣ этого рѣшенія была и вѣрная мысль, но буквенное исполненіе этого рѣшенія не вѣрно, я вижу это, уже потому только, что тутъ буква. Да и литературное-то произведеніе, о которомъ я умолчалъ до сихъ поръ, для меня уже не просто литературное произведеніе, а цѣлый *фактъ* уже иного значенія. Я, можетъ быть, выражусь слишкомъ наивно, но однакоже рѣшаюсь сказать вотъ что: этотъ *фактъ* впечатлѣнія отъ романа, отъ выдумки, отъ поэмы совпалъ въ душѣ моей, нынѣшней весною, съ огромнымъ фактомъ объявленія теперь идущей войны, и оба факта, оба впечатлѣнія, нашли въ умѣ моемъ дѣйствительную связь между собою и поразительную для меня точку обоюднаго соприкосновенія. Вмѣсто того чтобъ смѣяться надо мною, выслушайте меня лучше.

Я во многомъ убѣжденій чисто славянофильскихъ, хотя, можетъ быть, и не вполнѣ славянофилъ. Славянофилы до сихъ поръ понимаются различно. Для иныхъ, даже и теперь, славянофильство, какъ въ старину, напримѣръ, для Бѣлинскаго, означаетъ лишь квасъ и рѣдьку. Бѣлинскій, *дѣйствительно*, дальше не заходилъ въ пониманіи славянофильства. Для другихъ (и, замѣтимъ, для весьма многихъ, чуть не для большинства даже самихъ славянофиловъ) славянофильство означаетъ стремленіе къ освобожденію и объединенію всѣхъ славянъ подъ верховнымъ началомъ Россіи — началомъ, которое можетъ быть даже и не строго-политическимъ. И наконецъ, для третьихъ славянофильство, кромѣ этого объединенія славянъ подъ началомъ Россіи, означаетъ и заключаетъ въ себѣ духовный союзъ всѣхъ вѣрующихъ въ то, что великая наша Россія, во главѣ объединенныхъ славянъ, скажетъ всему міру, всему европейскому человѣчеству и цивилизаціи его свое новое, здоровое и еще неслыханное міромъ слово. Слово это будетъ сказано во благо и во истину уже въ соединеніе всего человѣчества новымъ, братскимъ, всемірнымъ союзомъ, начала котораго лежатъ въ геніи славянъ, а преимущественно въ духѣ великаго народа русскаго, столь долго страдавшаго, столь много вѣковъ обреченнаго на молчаніе, но всегда заключавшаго въ себѣ великія силы для будущаго разъясненія и разрѣшенія много горькихъ и самыхъ роковыхъ недоразумѣній западно-европейской цивилизаціи. Вотъ къ этому-то отдѣлу убѣжденныхъ и вѣрующихъ принадлежу и я.

Тутъ трунить и смѣяться опять-таки нечего: слова эти старыя, вѣра эта давнишняя, и уже одно то, что не умираетъ эта вѣра и не умолкаютъ эти слова, а, напротивъ, все больше и больше крѣпнутъ, расширяютъ кругъ свой и пріобрѣтаютъ себѣ новыхъ адептовъ, новыхъ убѣжденныхъ дѣятелей — ужъ одно это могло бы заставить, наконецъ, противниковъ и пересмѣшниковъ этого *ученія* взглянуть на него хоть немного серьезнѣе и выйти изъ пустой, закаменѣвшей въ себѣ, враждебности къ нему. Но объ этомъ пока довольно. Дѣло въ томъ, что весною поднялась наша великая война для великаго подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на всѣ временныя неудачи, отдѣляющія разрѣшеніе дѣла, а будетъ-таки доведенъ до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полнаго и вожделѣннаго конца именно въ теперешнюю войну. Подвигъ этотъ столь великъ, цѣль войны столь невѣроятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена противъ нашего *коварства*, должна не

вѣрить тому, о чемъ объявляли мы ей начиная войну и всячески, всѣми силами должна вредить намъ и, соединившись съ врагомъ нашимъ, хотя и не явнымъ, не формальнымъ политическимъ союзомъ, — враждовать съ нами и воевать съ нами, хотя бы тайно, въ ожиданіи явной войны. И все, конечно, отъ объявленныхъ намѣреній и цѣлей нашихъ! «Великій восточный орелъ взлетѣлъ надъ міромъ, сверкая двумя крылами на вершинахъ христіанства»; не покорять, не пріобрѣтать, не расширять границы онъ хочетъ, а освободить, возстановить угнетенныхъ и забитыхъ, дать имъ новую жизнь для блага ихъ и человѣчества. Вѣдь какъ ни считай, какимъ скептическимъ взглядомъ ни смотри на это дѣло, а въ сущности цѣль вѣдь эта, эта самая, и вотъ этому-то и не хочетъ повѣрить Европа. И, повѣрьте, что не столько пугаетъ ее предполагаемое усиленіе Россіи, какъ именно то, что Россія способна предпринимать такія задачи и цѣли. Замѣтьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европѣ столь непривычнымъ, столь вышедшимъ изъ международныхъ обычаевъ, что поступокъ Россіи естественно принимается Европой не только какъ за варварство «отставшей, звѣрской и не просвѣщенной» націи, способной *на низость и глупость* загѣять въ нашъ вѣкъ что-то въ родѣ прежде-бывшихъ въ темныя вѣка крестовыхъ походовъ, но даже и за безнравственный фактъ, опасный Европѣ и угрожающій будто бы ея великой цивилизаціи. Взгляните, кто насъ любитъ въ Европѣ теперь особенно? Даже *друзья* наши, отъявленные, форменные, такъ сказать, друзья, и тѣ откровенно объявляютъ, что *рады нашимъ неудачамъ*. Пораженіе русскихъ милѣе имъ собственныхъ ихнихъ побѣдъ, веселитъ ихъ, льститъ имъ. Въ случаѣ же удачъ нашихъ эти друзья давно уже согласились между собою употребить всѣ силы, чтобъ изъ удачъ Россіи извлечь себѣ выгодъ еще больше, чѣмъ извлечетъ ихъ для себя сама Россія...

Но и объ этомъ послѣ. Заговорилъ я, главное, о впечатлѣніи, которое должны были ощутить въ себѣ всѣ вѣрующіе въ будущее великое, общечеловѣческое значеніе Россіи, нынѣшнею весною, послѣ объявленія этой войны. Эта неслыханная война, за слабыхъ и угнетенныхъ, для того чтобъ дать жизнь и свободу, а не отнять ихъ, — эта давно уже теперь неслыханная въ мірѣ цѣль войны для всѣхъ нашихъ вѣрующихъ явилась вдругъ, какъ фактъ, торжественно и знаменательно подтверждавшій вѣру ихъ. Это была уже не мечта, не гаданіе, а дѣйствительность, *начавшая совершаться*.

«Если уже начало совершаться, то дойдетъ и до конца, до того великаго новаго слова, которое Россія, во главѣ союза славянъ, скажетъ Европѣ. И даже самое слово это уже начало сказываться, хотя Европа еще далеко не понимаетъ его и долго будетъ не вѣрить ему». Вотъ какъ думали «вѣрующіе». Да, впечатлѣніе было торжественное и знаменательное, и, разумѣется, вѣра вѣрующихъ должна была еще больше закалиться и окрѣпнуть. Но, однакоже, начиналось дѣло столь важное, что и для нихъ настали тревожные вопросы: «Россія и Европа! Россія обнажаетъ мечъ противъ турокъ, но кто знаетъ, можетъ быть, столкнется и съ Европой — не рано ли это? Столкновеніе съ Европой — не то, что съ турками и должно совершиться не однимъ мечемъ», такъ всегда понимали вѣрующіе. Но готовы ли мы къ другому-то столкновенію? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у насъ-то понимаютъ ли всѣ его? Вотъ мы, вѣрующіе, пророчествуемъ, напримѣръ, что лишь Россія заключаетъ въ себѣ начала разрѣшить всеевропейскій роковой вопросъ низшей братіи, безъ боя и безъ крови, безъ ненависти и зла, но что скажетъ она это слово, когда уже Европа будетъ залита своею кровью, такъ какъ раньше никто не услышалъ бы въ Европѣ наше слово, а и услышалъ бы, то не понялъ бы его вовсе. Да, мы, вѣрующіе, въ это вѣримъ, но, однако, что пока отвѣчаютъ намъ у насъ же, наши же русскіе? Намъ отвѣчаютъ они, что все это лишь изступленныя гаданія, конвульсьонерство, бѣшеныя мечты, припадки, и спрашиваютъ отъ насъ доказательствъ, твердыхъ указаній и совершившихся уже фактовъ. Что же укажемъ мы имъ, пока, для подтвержденія нашихъ *пророчествъ?* Освобожденіе ли крестьянъ, — фактъ, который еще столь мало понятъ у насъ въ смыслѣ степени проявленія русской духовной силы? Прирожденность ли намъ и естественность братства нашего, все яснѣе и яснѣе выходящаго въ наше время наружу изъ подъ всего, что давило его вѣками, и несмотря на соръ и грязь, которая встрѣчаетъ его теперь, грязнитъ и искажаетъ черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажемъ это; намъ опять отвѣтятъ, что всѣ эти факты опять-таки наше конвульсьонерство, бѣшеная мечта, а не факты, и что толкуются они многоразлично и сбивчиво и доказательствомъ ничему, покамѣстъ, служить не въ силахъ. Вотъ что отвѣтятъ намъ чуть не всѣ, а между тѣмъ мы, столь непонимающіе самихъ себя и столь мало вѣрующіе въ себя, мы — сталкиваемся съ Европой! Европа — но вѣдь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, го-

спода, какъ дорога намъ, мечтателямъ-славянофиламъ, по-вашему, ненавистникамъ Европы — эта самая Европа, эта «страна святыхъ чудесъ!» Знаете ли вы, какъ дороги намъ эти «чудеса» и какъ любимъ и чтимъ, болѣе чѣмъ братски любимъ и чтимъ мы великія племена, населяющія ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучаютъ и волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и *родной* намъ страны, какъ пугаютъ насъ мрачныя тучи, все болѣе и болѣе заволакивающія ея небосклонъ? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ея! Нѣтъ, намъ дорога эта страна — будущая мирная побѣда великаго христіанскаго духа, сохранившагося на Востокѣ... И въ опасеніи столкнуться съ нею въ текущей войнѣ, мы всего болѣе боимся, что Европа не пойметъ насъ, и попрежнему, повсегдашнему, встрѣтитъ насъ высокомѣріемъ, презрѣніемъ и мечемъ своимъ, все еще какъ дикихъ варваровъ, недостойныхъ говорить передъ нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажемъ или покажемъ ей, чтобъ она насъ поняла? У насъ, повидимому, еще такъ мало чего-нибудь, что могло бы быть ей *понятно* и за что бы она насъ уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающагося «новаго слова» она долго, слишкомъ долго еще не пойметъ. Ей надо фактовъ *теперь* понятныхъ, понятныхъ на ея *теперешній* взглядъ. Она спроситъ насъ: «Гдѣ ваша цивилизація? Усматривается ли строй экономическихъ силъ вашихъ въ томъ хаосѣ, который видимъ мы всѣ у васъ. Гдѣ *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?»

III.

„Анна Каренина", какъ фактъ особаго значенія.

И вотъ тогда же, т. е. нынѣшней же весною, разъ вечеромъ, мнѣ случилось встрѣтиться на улицѣ съ однимъ изъ любимѣйшихъ мною нашихъ писателей. Встрѣчаемся мы съ нимъ очень рѣдко, въ нѣсколько мѣсяцевъ разъ, и всегда случайно, все какъ-нибудь на улицѣ. Это одинъ изъ виднѣйшихъ членовъ тѣхъ пяти или шести нашихъ беллетристовъ, которыхъ принято, всѣхъ вмѣстѣ, называть почему-то «плеядою». По крайней мѣрѣ,

критика, вслѣдъ за публикой, отдѣлила ихъ особо, передъ всѣми остальными беллетристами, и такъ это пребываетъ уже довольно давно, — все тотъ же пятокъ, «плеяда» не расширяется. Я люблю встрѣчаться съ этимъ милымъ и любимымъ моимъ романистомъ, и люблю ему доказывать, между прочимъ, что не вѣрю и не хочу ни за что повѣрить, что онъ устарѣлъ, какъ онъ говоритъ, и болѣе уже ничего не напишетъ. Изъ краткаго разговора съ нимъ я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. Въ этотъ разъ было о чемъ говорить, война уже начиналась. Но онъ тотчасъ же и прямо заговорилъ объ «Аннѣ Карениной». Я тоже только что успѣлъ прочитать седьмую часть, которою закончился романъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Собесѣдникъ мой на видъ человѣкъ не восторженный. На этотъ разъ, однако, онъ поразилъ меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнѣнія объ «Аннѣ Карениной».

— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у насъ, изъ писателей, можетъ поравняться съ этимъ? А въ Европѣ — кто представитъ хоть что-нибудь подобное? Было ли у нихъ, во всѣхъ ихъ литературахъ, за всѣ послѣдніе годы, и далеко раньше того, произведеніе, которое бы могло стать рядомъ?

Меня поразило, главное, то въ этомъ приговорѣ, который я и самъ вполнѣ раздѣлялъ, что это указаніе на Европу какъ разъ пришлось къ тѣмъ вопросамъ и недоумѣніямъ, которые столь многимъ представлялись тогда сами собой. Книга эта прямо приняла въ глазахъ моихъ размѣръ факта, который бы могъ отвѣчать за насъ Европѣ, того искомаго факта, на который мы могли бы указать Европѣ. Разумѣется, возопятъ смѣясь, что это — всего лишь только литература, какой-то романъ, что смѣшно такъ преувеличивать и съ романомъ являться въ Европу. Я знаю, что возопятъ и засмѣются, но не безпокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я самъ знаю, что это пока всего лишь только романъ, что это только одна капля того, чего нужно, но главное тутъ дѣло для меня въ томъ, что эта капля уже есть, дана, дѣйствительно существуетъ, взаправду, а, стало быть, если она уже есть, если геній русскій могъ родить этотъ *фактъ*, то, стало быть, онъ не обреченъ на безсиліе, можетъ творить, можетъ давать *свое*, можетъ начать *свое* собственное слово и договорить его, когда придутъ времена и сроки. При томъ это далеко не капля только. О, я и тутъ не преувеличиваю: я очень знаю, что не только въ одномъ какомъ-нибудь членѣ этой плеяды, но и во всей-то плеядѣ не найдете того, строго говоря, что называется ге-

ніальною, творящею силою. Безспорныхъ геніевъ, съ безспорнымъ «новымъ словомъ» во всей литературѣ нашей было всего только три: Ломоносовъ, Пушкинъ и частью Гоголь. Вся же плеяда эта (и авторъ «Анны Карениной» въ томъ числѣ) вышла прямо изъ Пушкина, одного изъ величайшихъ русскихъ людей, но далеко еще не понятаго и не растолкованнаго. Въ Пушкинѣ двѣ главныя мысли — и обѣ заключаютъ въ себѣ прообразъ всего будущаго назначенія и всей будущей цѣли Россіи, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — *всемірность* Россіи, ея отзывчивость и дѣйствительное, безспорное и глубочайшее родство ея генія съ геніями всѣхъ временъ и народовъ міра. Мысль эта выражена Пушкинымъ не какъ одно только указаніе, ученіе или теорія, не какъ мечтаніе или пророчество, но исполнена *имъ на дѣлѣ,* заключена вѣковѣчно въ геніальныхъ созданіяхъ его и доказана ими. Онъ человѣкъ древняго міра, онъ и германецъ, онъ и англичанинъ, глубоко сознающій геній свой, тоску своего стремленія («Пиръ во время чумы»), онъ и поэтъ Востока. Всѣмъ этимъ народамъ онъ сказалъ и заявилъ, что русскій геній знаетъ ихъ, понялъ ихъ, соприкоснулся имъ, какъ родной, что онъ можетъ *перевоплощаться* въ нихъ во всей полнотѣ, что лишь одному только русскому духу дана всемірность, дано назначеніе въ будущемъ постигнуть и объединить все многоразличіе національностей и снять всѣ противорѣчія ихъ. Другая мысль Пушкина, это поворотъ его къ народу и упованіе единственно на силу его, завѣтъ того, что лишь въ народѣ и въ одномъ только народѣ обрѣтемъ мы всецѣло весь нашъ русскій геній и сознаніе назначенія его. И это, опять-таки, Пушкинъ не только указалъ, но и совершилъ первый, на дѣлѣ. Съ него только начался у насъ настоящій сознательный поворотъ къ народу, немыслимый еще до него съ самой реформы Петра. Вся теперешняя *плеяда* наша работала лишь по его указаніямъ, *новаго* послѣ Пушкина ничего не сказала. Всѣ зачатки ея были въ немъ, указаны имъ. Да къ тому же она разработала лишь самую малую часть имъ указаннаго. Но зато, то что они сдѣлали, разработано ими съ такимъ богатствомъ силъ, съ такою глубиною и отчетливостью, что Пушкинъ, конечно, призналъ бы ихъ. «Анна Каренина» — вещь, конечно, не новая по идеѣ своей, не неслыханная у насъ доселѣ. Вмѣсто нея мы, конечно, могли бы указать Европѣ прямо на источникъ, т. е. на самого Пушкина, какъ на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русскаго генія и права его на величайшее мі-

ровое, общечеловѣческое и всеединящее значеніе въ будущемъ. (Увы, сколько бы мы ни указывали, а нашихъ долго еще не будутъ читать въ Европѣ, а и станутъ читать, то долго еще не поймутъ и не оцѣнятъ. Да и оцѣнить еще они совсѣмъ не въ силахъ, не по скудости способностей, а потому, что мы для нихъ совсѣмъ другой міръ, точно съ луны сошли, такъ что имъ даже самое существованіе наше допустить трудно. Все это я знаю, и объ «указаніи Европѣ» говорю лишь въ смыслѣ нашего собственнаго убѣжденія въ нашемъ правѣ передъ Европой на самостоятельность нашу.) Тѣмъ не менѣе «Анна Каренина» есть совершенство какъ художественное произведеніе, подвернувшееся какъ разъ кстати, и такое, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху не можетъ сравниться, а во-вторыхъ, и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, наше *свое* родное, а именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ, что составляетъ уже наше національное «новое слово» или, по крайней мѣрѣ, начало его, — такое слово, котораго именно не слыхать въ Европѣ и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ея гордость. Я не могу пуститься здѣсь въ литературную критику и скажу лишь небольшое слово. Въ «Аннѣ Карениной» проведенъ взглядъ на виновность и преступность человѣческую. Взяты люди въ ненормальныхъ условіяхъ. Зло существуетъ прежде нихъ. Захваченные въ круговоротъ лжи, люди совершаютъ преступленіе и гибнутъ неотразимо: какъ видно, мысль на любимѣйшую и стариннѣйшую изъ европейскихъ темъ. Но какъ однакоже рѣшается такой вопросъ въ Европѣ? Рѣшается онъ тамъ повсемѣстно двоякимъ образомъ. Первое рѣшеніе: законъ данъ, написанъ, формулированъ, составлялся тысячелѣтіями. Зло и добро опредѣлено, взвѣшено, размѣры и степени опредѣлялись исторически мудрецами человѣчества, неустанной работой надъ душой человѣка и высшей научной разработкой надъ степенью единительной силы человѣчества въ общежитіи. Этому выработанному кодексу повелѣвается слѣдовать слѣпо. Кто не послѣдуетъ, кто преступитъ его,— тотъ платитъ свободою, имуществомъ, жизнью, платитъ буквально и безчеловѣчно. «Я знаю», говоритъ сама ихъ цивилизація, «что это и слѣпо, и безчеловѣчно, и невозможно, такъ какъ нельзя выработать окончательную формулу человѣчества въ серединѣ пути его, но такъ какъ другого исхода нѣтъ, то и слѣдуетъ держаться того, что написано, и держаться буквально и безчеловѣчно; не будь этого — будетъ хуже. Съ тѣмъ вмѣстѣ, несмотря на всю

ненормальность и нелѣпость устройства того, что называемъ мы нашей великой европейской цивилизаціей, тѣмъ не менѣе пусть силы человѣческаго духа пребываютъ здравы и невредимы, пусть общество не поколеблется въ вѣрѣ, что оно идетъ къ совершенству, пусть не смѣетъ думать, что затемнился идеалъ прекраснаго и высокаго, что извращается и коверкается понятіе о добрѣ и злѣ, что нормальность безпрерывно смѣняется условностью, что простота и естественность гибнутъ, подавляемыя безпрерывно накопляющеюся ложью!» Другое рѣшеніе обратное: «Такъ какъ общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать отвѣта съ единицъ людскихъ за послѣдствія. Стало быть, преступникъ безотвѣтственъ, и преступленія пока не существуетъ. Чтобы покончить съ преступленіями и людскою виновностью, надо покончить съ ненормальностью общества и склада его. Такъ какъ лѣчить существующій порядокъ вещей долго и безнадежно, да и лѣкарствъ не оказалось, то слѣдуетъ разрушить все общество и смести старый порядокъ какъ бы метлой. За тѣмъ начать все новое, на иныхъ началахъ, еще неизвѣстныхъ, но которыя все же не могутъ быть хуже теперешняго порядка, напротивъ, заключаютъ въ себѣ много шансовъ успѣха. Главная надежда на науку». Итакъ вотъ это второе рѣшеніе: ждутъ будущаго муравейника, а пока зальютъ міръ кровью. Другихъ рѣшеній о виновности и преступности людской западно-европейскій міръ не представляетъ.

Во взглядѣ же русскаго автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейникъ, никакое торжество «четвертаго сословія», никакое уничтоженіе бѣдности, никакая организація труда не спасутъ человѣчество отъ ненормальности, а слѣдственно и отъ виновности и преступности. Выражено это въ огромной психологической разработкѣ души человѣческой, съ страшной глубиною и силою, съ небывалымъ доселѣ у насъ реализмомъ художественнаго изображенія. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится въ человѣчествѣ глубже, чѣмъ предполагаютъ лѣкаря-соціалисты, что ни въ какомъ устройствѣ общества не избѣгнете зла, что душа человѣческая останется та же, что ненормальность и грѣхъ исходятъ изъ нея самой и что, наконецъ, законы духа человѣческаго столь еще неизвѣстны, столь невѣдомы наукѣ, столь неопредѣленны и столь таинственны, что нѣтъ и не можетъ быть еще ни лѣкарей, ни даже судей *окончательныхъ*, а есть Тотъ, который говоритъ: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ». Ему одному лишь извѣстна *вся* тайна міра сего и окончательная судьба чело-

вѣка. Человѣкъ же пока не можетъ браться рѣшать ничего съ гордостью своей непогрѣшности, не пришли еще времена и сроки. Самъ судья человѣческій долженъ знать о себѣ, что онъ не судья окончательный, что онъ грѣшникъ самъ, что вѣсы и мѣра въ рукахъ его будутъ нелѣпостью, *если* самъ онъ, держа въ рукахъ мѣру и вѣсы, не преклонится передъ закономъ неразрѣшимой еще тайны и не прибѣгнетъ къ единственному выходу — къ Милосердію и Любви. А чтобъ не погибнуть въ отчаяніи отъ непониманія путей и судебъ своихъ, отъ убѣжденія въ таинственной и роковой неизбѣжности зла, человѣку именно указанъ исходъ. Онъ геніально намѣченъ поэтомъ въ геніальной сценѣ романа еще въ предпослѣдней части его, въ сценѣ смертельной болѣзни героини романа, когда преступники и враги вдругъ преображаются въ существа высшія, въ братьевъ, все простившихъ другъ другу, въ существа, которыя сами, взаимнымъ всепрощеніемъ, сняли съ себя ложь, вину и преступность, и тѣмъ разомъ сами оправдали себя съ полнымъ сознаніемъ, что получили право на то. Но потомъ, въ концѣ романа, въ мрачной и страшной картинѣ паденія человѣческаго духа, прослѣженнаго шагъ за шагомъ, въ изображеніи того неотразимаго состоянія, когда зло, овладѣвъ существомъ человѣка, связываетъ каждое движеніе его, парализируетъ всякую силу сопротивленія, всякую мысль, всякую охоту борьбы съ мракомъ, падающимъ на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщенія принимаемыхъ душой вмѣсто свѣта, — въ этой картинѣ столько назиданія для судьи человѣческаго, для держащаго мѣру и вѣсы, что, конечно, онъ воскликнетъ, въ страхѣ и недоумѣніи: «нѣтъ, не всегда мнѣ отмщеніе и не всегда азъ воздамъ», и не поставитъ безчеловѣчно въ вину мрачно павшему преступнику того, что онъ пренебрегъ указаннымъ вѣковѣчно свѣтомъ исхода и уже *сознательно* отвергъ его. Къ буквѣ, по крайней мѣрѣ, не прибѣгнетъ...

Если у насъ есть литературныя произведенія такой силы мысли и исполненія, то почему у насъ не можетъ быть *впослѣдствіи* и *своей* науки, и своихъ рѣшеній экономическихъ, соціальныхъ, почему намъ отказываетъ Европа въ самостоятельности, въ нашемъ *своемъ собственномъ* словѣ, — вотъ вопросъ, который рождается самъ собою. Нельзя же предположить смѣшную мысль, что природа одарила насъ лишь однѣми литературными способностями. Все остальное есть вопросъ исторіи, обстоятельствъ, условій времени. Такъ могли бы разсудить наши, по крайней мѣрѣ, европейцы, въ ожиданіи пока разсудятъ европейскіе европейцы...

IV.

Помѣщикъ, добывающій вѣру въ Бога отъ мужика.

Теперь, когда я выразилъ мои чувства, можетъ быть, поймутъ, какъ подѣйствовало на меня отпаденіе такого автора, отъединеніе его отъ русскаго всеобщаго и великаго дѣла и парадоксальная неправда, возведенная имъ на народъ въ его несчастной восьмой части, изданной имъ отдѣльно. Онъ просто отнимаетъ у народа все его драгоцѣннѣйшее, лишаетъ его главнаго смысла его жизни. Ему бы несравненно пріятнѣе было, если бъ народъ нашъ не подымался повсемѣстно сердцемъ своимъ за терпящихъ за вѣру братій своихъ. Въ этомъ только смыслѣ онъ и отрицаетъ явленіе, несмотря на очевидность его. Конечно, все это выражено лишь въ фиктивныхъ лицахъ героевъ романа, но, повторяю это, слишкомъ видно рядомъ съ ними и самого автора. Правда, книжка эта искренняя, говоритъ авторъ отъ души. Даже самыя щекотливыя вещи (а тамъ есть *щекотливыя* вещи) улеглись въ ней совсѣмъ какъ бы невзначай, такъ что, несмотря на всю ихъ щекотливость, вы ихъ принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малѣйшей кривизны. Тѣмъ не менѣе, книжку эту я все-таки считаю вовсе не столь невинною. Теперь она, разумѣется, не имѣетъ и не можетъ имѣть никакого вліянія, кромѣ какъ развѣ поддакнетъ еще разъ нѣкоторой отмежеванной кучкѣ. Но такой фактъ, что такой авторъ такъ пишетъ, очень грустенъ. Это для будущаго грустно. А впрочемъ, примусь лучше за дѣло: мнѣ хочется возразить, укажу на то, что меня особенно поразило.

Прежде, впрочемъ, разскажу про Левина, — очевидно, главнаго героя романа; въ немъ выражено положительное, какъ бы въ противоположность тѣхъ ненормальностей, отъ которыхъ погибли или пострадали другія лица романа, и онъ, видимо, къ тому и предназначался авторомъ, чтобы все это въ немъ выразить. И, однакоже, Левинъ все еще не совершененъ, все еще чего-то недостаетъ ему и этимъ надо было заняться и разрѣшить, чтобъ ужъ никакихъ сомнѣній и вопросовъ Левинъ болѣе собою не представлялъ. Читатель впослѣдствіи пойметъ причину, почему я на этомъ останавливаюсь, не переходя прямо къ главному дѣлу.

Левинъ счастливъ, романъ кончился къ пущей славѣ

его, но ему недостаетъ еще внутренняго, духовнаго мира. Онъ мучается вѣковѣчными вопросами человѣчества: о Богѣ, о вѣчной жизни, о добрѣ и злѣ и проч. Онъ мучается тѣмъ, что онъ не вѣрующій и что не можетъ успокоиться на томъ, на чемъ всѣ успокаиваются, т. е. на интересѣ, на обожаніи собственной личности или собственныхъ идеаловъ, на самолюбіи и проч. Признакъ великодушія, не правда ли? Но отъ Левина и ожидать нельзя было меньше. Оказывается кстати, что Левинъ много прочиталъ: ему знакомы и философы, и позитивисты, и просто естественники. Но ничто не удовлетворяетъ его, а, напротивъ, еще больше запутываетъ, такъ что онъ, въ свободное по хозяйству время, убѣгаетъ въ лѣса и рощи, сердится, даже не столь цѣнитъ свою Кити, сколько бы надо цѣнить. И вотъ вдругъ онъ встрѣчаетъ мужика, который, передавая ему о двухъ, различныхъ нравственною стороною своею мужикахъ, Митюхѣ и Ѳоканычѣ, выражается такъ:

—... Митюхѣ какъ не выручить! Этотъ нажметъ да свое выберетъ. Онъ хрестьянина не пожалѣетъ, а дяля Ѳоканычъ развѣ станетъ драть шкуру съ человѣка? Гдѣ въ долгъ, гдѣ и спуститъ. Анъ и не доберетъ, тоже человѣкомъ.

— Да зачѣмъ же онъ будетъ спускать?

— Да такъ, значитъ — люди разные: одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ, — а Ѳоканычъ — правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнитъ.

— Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ? — почти вскрикнулъ Левинъ.

— Извѣстно какъ, по правдѣ, по Божью. Вѣдь люди разные. Вотъ хоть васъ взять, тоже не обидите человѣка.

— Да, да, прощай! — проговорилъ Левинъ, задыхаясь отъ волненія, и, повернувшись, взялъ свою палку и быстро пошелъ прочь къ дому.

. . . . . .

Онъ, впрочемъ, побѣжалъ опять въ лѣсъ, легъ подъ осинами и началъ думать почти въ какомъ-то восторгѣ. Слово было найдено, всѣ вѣковѣчныя загадки разрѣшены и это однимъ простымъ словомъ мужика: «Жить для души, Бога помнить». Мужикъ, разумѣется, не сказалъ ему ничего новаго, все это онъ давно уже самъ зналъ; но мужикъ все же навелъ его на мысль и подсказалъ ему рѣшеніе въ самый щекотливый моментъ. За симъ наступаетъ рядъ разсужденій Левина весьма вѣрныхъ и мѣтко выраженныхъ. Мысль Левина та: къ чему искать умомъ того, что уже *дано* самою жизнью, съ чѣмъ родится каждый человѣкъ и чему (поневолѣ даже) долженъ слѣдовать и слѣдуетъ каждый человѣкъ. Съ совѣстью, съ понятіемъ о добрѣ и злѣ каждый человѣкъ рождается, стало

быть, рождается прямо и съ цѣлью жизни: жить для добра и не любить зла. Рождается съ этимъ и мужикъ и баринъ, и французъ, и русскій, и турокъ — всѣ чтутъ добро (NB. хотя многіе ужасно по-своему). Я же, говоритъ Левинъ, хотѣлъ все это познать математикой, наукой, разумомъ, или ждалъ чуда, между тѣмъ это дано мнѣ даромъ, рождено со мною. А что оно дано даромъ, то этому есть прямыя доказательства: всѣ на свѣтѣ понимаютъ, или могутъ понять, что надо *любить ближняго какъ самого себя*. Въ этомъ знаніи, въ сущности, и заключается весь *законъ* человѣческій, какъ и объявлено намъ Самимъ Христомъ. Между тѣмъ, это значеніе прирожденно, стало быть, послано даромъ, ибо разумъ ни за что не могъ бы дать такое знаніе, — почему? Да потому, что «любить ближняго», если судить по разуму, выйдетъ неразумно.

— Откуда взялъ я это? (спрашиваетъ Левинъ). Разумомъ, что ли, дошелъ я до того, что надо любить ближняго и не душить его? Мнѣ сказали это въ дѣтствѣ, *и я радостно повѣрилъ*, потому что мнѣ сказали то, что̀ было у меня въ душѣ. А кто открылъ это? Не разумъ. Разумъ открылъ борьбу за существованіе и законъ, требующій того, чтобы душить всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ открыть разумъ, потому что это неразумно.

Далѣе представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми. Дѣти стали жарить малину въ чашкахъ на свѣчахъ и лить себѣ молоко фонтаномъ въ ротъ. Мать, заставъ ихъ на дѣлѣ, стала имъ внушать, что если они испортятъ посуду и разольютъ молоко, то не будетъ у нихъ ни посуды, ни молока. Но дѣти, очевидно, не повѣрили, потому что не могли себѣ и представить «всего объема того, чѣмъ они пользуются, а потому не могли представить себѣ, что то, что они разрушаютъ, есть то самое, чѣмъ они живутъ».

„Это все само собой", думали они, „интереснаго и важнаго въ этомъ ничего нѣтъ, потому что это всегда было и будетъ. И всегда все одно и то же. Объ этомъ намъ думать нечего, это готово; а намъ хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вотъ мы выдумали въ чашку положить малину и жарить ее на свѣчкѣ, а молоко лить фонтаномъ прямо въ ротъ другъ другу. Это весело и ново, и ничѣмъ не хуже, чѣмъ пить изъ чашекъ".

„Развѣ не то же самое дѣлаемъ мы, дѣлалъ я: разумомъ отыскивая значеніе силъ природы и смыслъ жизни человѣка?" — продолжалъ Левинъ.

„И развѣ не то же дѣлаютъ всѣ теоріи философскія, путемъ мысли, страннымъ, несвойственнымъ человѣку, приводя его къ знанію того, что онъ давно знаетъ, и такъ вѣрно знаетъ, что безъ того жить бы не могъ. Развѣ не видно ясно въ развитіи теоріи каждаго философа, что онъ впередъ знаетъ такъ же несомнѣнно, какъ и мужикъ Ѳедоръ, и

ничуть не яснѣе его, главный смыслъ жизни, и только сомнительнымъ умственнымъ путемъ хочетъ вернуться къ тому, что всѣмъ извѣстно.

„Ну-ка, пустить однихъ дѣтей, чтобъ они сами пріобрѣли, сдѣлали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы съ голоду померли. Ну-ка, пустите насъ съ нашими страстями, мыслями, безъ понятія о единомъ Богѣ и Творцѣ! Или безъ понятія того, что есть добро, безъ объясненія зла нравственнаго.

„Ну-ка, безъ этихъ понятій постройте что-нибудь!

„Мы только разрушаемъ, потому что духовно сыты. Именно дѣти!“

Однимъ словомъ, сомнѣнія кончились, и Левинъ увѣровалъ, — во что? Онъ еще этого строго не опредѣлилъ, но онъ уже вѣруетъ. Но вѣра ли это? Онъ самъ себѣ радостно задаетъ вопросъ: «Неужели это вѣра?» Надобно полагать, что еще нѣтъ. Мало того: врядъ ли у такихъ, какъ Левинъ, и можетъ быть окончательная вѣра. Левинъ любитъ себя называть народомъ, но это баричъ, московскій баричъ средне-высшаго круга, историкомъ котораго и былъ по преимуществу графъ Л. Толстой. Хоть мужикъ и не сказалъ Левину ничего новаго, но все же онъ его натолкнулъ на идею, а съ этой идеи и началась вѣра. Ужъ въ этомъ-то одномъ Левинъ могъ бы увидать, что онъ не совсѣмъ народъ и что нельзя ему говорить про себя: я самъ народъ. Но объ этомъ послѣ. Я хочу только сказать, что вотъ эти, какъ Левинъ, сколько бы ни прожили съ народомъ или подлѣ народа, но народомъ вполнѣ не сдѣлаются, мало того — во многихъ пунктахъ такъ и не поймутъ его никогда вовсе. Мало одного самомнѣнія или акта воли, да еще столь причудливой, чтобъ захотѣть и стать народомъ. Пусть онъ помѣщикъ, и работящій помѣщикъ, и работы мужицкія знаетъ, и самъ коситъ и телѣгу запрячь умѣетъ, и знаетъ, что къ сотовому меду огурцы свѣжіе подаются. Все-таки въ душѣ его, какъ онъ ни старайся, останется оттѣнокъ чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайствомъ* — тѣмъ самымъ праздношатайствомъ, физическимъ и духовнымъ, которое, какъ онъ ни крѣпись, а все же досталось ему по наслѣдству и которое ужъ, конечно, видитъ во всякомъ баринѣ народъ, благо, не нашими глазами смотритъ. Но и объ этомъ потомъ. А вѣру свою онъ разрушитъ опять, разрушитъ самъ, долго не продержится: выйдетъ какой-нибудь новый сучекъ и разомъ все рухнетъ. Кити пошла и споткнулась, такъ вотъ зачѣмъ она споткнулась? Если споткнулась, значитъ, и не могла не споткнуться; слишкомъ ясно видно, что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно, что все тутъ зависѣло отъ законовъ, которые могутъ быть строжайше опредѣлены. А если такъ,

то, значитъ, всюду наука. Гдѣ же Промыселъ? Гдѣ же роль его? Гдѣ же отвѣтственность человѣческая? А если нѣтъ Промысла, то какъ же я могу вѣрить въ Бога и т. д. и т. д. Берите прямую линію и пустите въ безконечность. Однимъ словомъ, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе онъ не былъ бы современнымъ русскимъ интеллигентнымъ бариномъ, да еще средне-высшаго дворянскаго круга.

Онъ доказываетъ это блистательно всего какой-нибудь часъ спустя по пріобрѣтеніи вѣры; онъ доказываетъ, что русскій народъ вовсе не чувствуетъ того, что могутъ чувствовать вообще люди, онъ разрушаетъ душу народа самымъ всевластнымъ образомъ, мало того,—объявляетъ, что самъ не чувствуетъ никакой жалости къ человѣческому страданію. Онъ объявляетъ, что «непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть» — т. е. не только у него, но и у всѣхъ русскихъ не можетъ быть; я, дескать, самъ народъ. Слишкомъ уже они дешево цѣнятъ русскій народъ. Старые, впрочемъ, оцѣнщики. Не прошло и часу по пріобрѣтеніи вѣры, какъ пошла опять жариться малина на свѣчкѣ.

Глава третья.

I.

Раздражительность самолюбія.

Прибѣжали дѣти и объявили Левину, что пріѣхали гости, — «одинъ вотъ такъ размахиваетъ руками». Оказывается, что гости изъ Москвы. Левинъ сажаетъ ихъ подъ деревьями, приноситъ имъ сотоваго меду съ свѣжими огурцами, и гости тотчасъ же принимаются за медъ и за Восточный вопросъ. Все происходитъ, видите ли, прошлаго года, — помните: Черняевъ, добровольцы, пожертвованія. Разговоръ быстро разгорается, потому что всѣ неудержимо стремятся къ главному. Собесѣдники, кромѣ дамъ, во-первыхъ одинъ изъ Москвы профессорчикъ, человѣкъ милый, но глуповатый. Затѣмъ слѣдуетъ человѣкъ (съ тѣмъ онъ выставленъ) огромнаго ума и познаній, Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ, единоутробный братъ Левина. Характеръ этотъ проведенъ въ романѣ искусно, и подъ конецъ понятенъ (сороковыхъ годовъ человѣкъ). Сергѣй Ивановичъ только что бросился, все-

цѣло и съ азартомъ, въ славянскую дѣятельность, и комитетомъ на него много возложено, такъ что трудно и представить себѣ, вспоминая прошлое лѣто, какъ онъ могъ бросить дѣло и пріѣхать на цѣлыя двѣ недѣли въ деревню. Правда, въ такомъ случаѣ не было бы и разговора на пчельникѣ о народномъ движеніи, а стало быть, и всей восьмой части романа, которая для одного этого разговора и написана. Видите ли, этотъ Сергѣй Ивановичъ, мѣсяца два или три передъ тѣмъ, издалъ въ Москвѣ какую-то ученую книгу о Россіи, которую давно готовилъ и на которую возлагалъ большія надежды, но книга вдругъ лопнула, и лопнула со срамомъ, никто-то о ней ничего не сказалъ, прошла незамѣченная. И вотъ тутъ-то Сергѣй Ивановичъ и бросился въ славянскую дѣятельность, и съ такимъ жаромъ, какого отъ него и ожидать нельзя было. Выходитъ, стало быть, что бросился не натурально; весь его жаръ къ славянамъ — ambition rentrée, не болѣе, и вы ясно предчувствуете, что Левинъ уже и не можетъ не остаться надъ такимъ побѣдителемъ. Сергѣй Ивановичъ и въ прежнихъ частяхъ проведенъ былъ въ комическомъ видѣ весьма искусно; въ восьмой же части становится уже окончательно яснымъ, что онъ и задуманъ-то былъ единственно для того, чтобы въ концѣ романа послужить пьедесталомъ для величія Левина. Но лицо очень удачное.

Зато изъ неудачнѣйшихъ лицъ — это старый князь. Онъ тутъ же сидитъ и толкуетъ о Восточномъ вопросѣ. Неудачный и во всемъ романѣ, а не то что въ одномъ Восточномъ вопросѣ. Это одно изъ положительныхъ лицъ романа, предназначенныхъ выразить собою положительную красоту, — ну, разумѣется, не грѣша противъ реализма: онъ и съ слабостями, и чуть ли не съ смѣшными сторонами, но зато почтенный, почтенный. Онъ и добросердъ романа, онъ и здравомыслъ, но не фонвизинскій какой-нибудь здравомыслъ, который какъ уже заладитъ — такъ точно оселъ ученый: одно здравомысліе и ничего болѣе. Нѣтъ, тутъ и юморъ, и вообще человѣческія стороны. Забавное же въ томъ, что этотъ старый человѣкъ предназначенъ выражать собою остроуміе. Пройдя школу жизни, отецъ многочисленныхъ, хотя уже и пристроенныхъ дѣтей, онъ, подъ старость, взираетъ на все кругомъ него съ тихою улыбкою мудреца, но съ улыбкою, далеко, однако, не столь кроткою и безобидною. Онъ дастъ совѣтъ, но берегитесь игры ума его: отбреетъ. И вотъ вдругъ тутъ случилось одно несчастье: предназначенный къ остроумію здравомыслъ, Богъ знаетъ отчего, вышелъ вовсе неостроуменъ, а, напротивъ, даже и по-

шловатъ. Правда, онъ все порывается, равно какъ и во весь романъ, сказать что-нибудь остроумное, но такъ и остается при одномъ желаніи, ровнешенько ничего не выходитъ. Читатель изъ деликатности готовъ, наконецъ, зачесть ему эти попытки и, такъ сказать, потуги остроумія за самое остроуміе, но гораздо хуже то, что это же самое лицо, въ восьмой, отдѣльно вышедшей части романа, предназначено выразить вещи, положимъ, опять таки не остроумныя (въ этомъ старый князь твердо выдерживаетъ свой характеръ), но зато вещи циническія и хульныя на часть нашего общества и на народъ нашъ. Вмѣсто добросерда является какой-то клубный отрицатель какъ русскаго народа, такъ и всего, что въ немъ есть хорошаго. Слышится клубное раздраженіе, стариковская желчь. Впрочемъ, политическая теорія стараго князя нисколько не нова. Это стотысячное повтореніе того, что мы и безъ него поминутно слышимъ:

— Вотъ и я, — сказалъ князь. — Я жилъ за границей, читалъ газеты и, признаюсь, еще до болгарскихъ ужасовъ никакъ не понималъ, почему всѣ русскіе такъ вдругъ полюбили братьевъ славянъ, а я никакой къ нимъ любви не чувствую? Я очень огорчался, думалъ, что я уродъ (Это, видите ли, онъ острить: вообразить только, что онъ думаетъ про себя, что онъ уродъ!), или что такъ Карлсбадъ на меня дѣйствуетъ (сугубая острота). Но, пріѣхавъ сюда, я успокоился (еще бы!), я вижу, что и кромѣ меня есть люди, интересующіеся только Россіей, а не братьями славянами...

Вотъ она гдѣ глубина-то! Надо интересоваться *только* Россіей. Такъ что вспоможеніе славянамъ прямо признается не русскимъ дѣломъ; признавалъ бы онъ его русскимъ дѣломъ — не говорилъ бы онъ, что надо интересоваться *только* Россіей, такъ какъ интересоваться славянами само собою означало бы тогда интересоваться самой Россіей и назначеніемъ ея. Характеръ воззрѣнія князя состоитъ, стало быть, въ узости пониманія русскихъ интересовъ. Этого какъ не слыхать, это тысячу разъ услышишь, а въ иныхъ сферахъ такъ только это и слышишь. Но вотъ, однакоже, нѣчто гораздо злокачественнѣе; это разговоръ, который былъ за нѣсколько минутъ прежде. Старый князь спрашиваетъ Сергѣя Ивановича:

—...ради Христа, объясните мнѣ, Сергѣй Ивановичъ, куда ѣдутъ всѣ эти добровольцы, съ кѣмъ они воюютъ?..

— Съ турками, — спокойно улыбаясь, отвѣчалъ Сергѣй Ивановичъ...

— Да кто же объявилъ войну туркамъ? Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна съ мадамъ Шталь?

Вотъ и проговорился. Вы понимаете, что онъ къ тому и велъ, и для этого, можетъ быть, и пріѣхалъ по-

скорѣе изъ Карлсбада. Но это вопросъ уже другого сорта, и то, что князь объ этомъ заговорилъ, какъ будто даже и не хорошо. Конечно, и это идея не новая, но зачѣмъ же она опять повторяется? Прошлой зимой и очень даже многіе, кому надо было, утверждали, что кто-то въ Россіи объявилъ войну туркамъ. Это выставляли; но идейка походила, погуляла и назадъ воротилась къ изобрѣтателямъ. Потому что ровно никто въ Россіи прошлаго года не объявлялъ войны туркамъ и утверждать это—по меньшей мѣрѣ *преувеличеніе*. Правда, Сергѣй Ивановичъ далѣе отшучивается, но наивный и честный Левинъ, какъ настоящій enfant terrible, прямо высказываетъ то, что у князя на умѣ.

— Никто не объявлялъ войны, а люди сочувствуютъ страданіямъ ближнихъ и желаютъ помочь имъ, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ.

— Но князь говоритъ не о помощи, — сказалъ Левинъ, заступаясь за тестя, — а о войнѣ. Князь говоритъ, что частные люди не могутъ принимать участія въ войнѣ безъ разрѣшенія правительства.

Видите ли теперь, о чемъ заботится Левинъ? Дѣло ставится уже совсѣмъ прямо, разъяснено сверхъ того глупой выходкой Катавасова. Вотъ что говоритъ Левинъ далѣе:

— Да моя теорія та: война, съ одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дѣло, что ни одинъ человѣкъ, не говорю уже христианинъ, не можетъ лично взять на свою отвѣтственность начало войны, а можетъ только правительство, которое призвано къ этому и приводится къ войнѣ неизбѣжно. Съ другой стороны, и по наукѣ, и по здравому смыслу, въ государственныхъ дѣлахъ, въ особенности въ дѣлѣ войны, граждане отрекаются отъ своей личной воли.

Сергѣй Ивановичъ и Катавасовъ съ готовыми возраженіями заговорили въ одно время.

— Въ томъ-то и штука, батюшка, что могутъ быть случаи, когда правительство не исполняетъ воли гражданъ, и тогда общество заявляетъ свою волю, — сказалъ Катавасовъ.

Но Сергѣй Ивановичъ, очевидно, не одобрялъ этого возраженія...

Однимъ словомъ, указывается и поддерживается, что дѣйствительно кѣмъ-то была въ Россіи объявлена война туркамъ прошлаго года, мимо правительства. Съ его умомъ, Левинъ могъ бы догадаться, что Катавасовъ дурачекъ, что Катавасовыхъ вездѣ найдешь, что прошлогоднее движеніе было именно противоположно идеямъ Катавасовыхъ, потому что было русское, національное, настоящее наше, а не игра въ какую-то оппозицію. Но Левинъ стоитъ на своемъ, онъ ведетъ свое обвиненіе до конца; дорога ему не истина, а то, что онъ придумалъ. Вотъ какими разсужденіями заканчиваетъ онъ свои мысли на этотъ счетъ:

...Онъ (Левинъ) говорилъ вмѣстѣ съ Михайлычемъ и народомъ, выразившимъ свою мысль въ преданіи о призваніи варяговъ: „Княжите и владѣйте нами. Мы радостно обѣщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не мы судимъ и рѣшаемъ". А теперь народъ, по словамъ Сергѣя Ивановича, *отрекался отъ того, купленнаго такой дорогой цѣной, раба.*

Ему хотѣлось еще сказать, что если общественное мнѣніе есть непогрѣшимый судья, то почему революція, коммуна не такъ же законны, какъ и движеніе въ пользу славянъ?..

Слышите? И никакія соображенія не сбиваютъ этихъ господъ съ толку, никакіе самые очевидные факты. Я сказалъ уже, что лучше, если бъ князь и Левинъ такихъ обвиненій совсѣмъ не дѣлали; но кто же не видитъ, что одинъ — оскорбленное самолюбіе, а другой — парадоксалистъ. Впрочемъ, можетъ быть, и Левинъ оскорбленное самолюбіе, потому что неизвѣстно чѣмъ можетъ вдругъ оскорбляться самолюбіе людей! А между тѣмъ, дѣло ясное, обвиненіе вздорное, да и не можетъ быть такого обвиненія, потому что оно вовсе не можетъ существовать. Не тѣ были вовсе факты.

II.

Tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu.

Война была объявлена Турціи, въ прошломъ году, не Россіей и не въ Россіи, а въ славянскихъ земляхъ, славянскими владѣтельными князьями, т. е. государями, княземъ Миланомъ Сербскимъ и княземъ Николаемъ Черногорскимъ, ополчившимися на Турцію за неслыханныя притѣсненія, звѣрства, грабежи и избіенія подвластныхъ ей славянъ, въ томъ числѣ герцеговинцевъ, вынужденныхъ, наконецъ, этими самыми звѣрствами возстать противъ притѣснителей. Неслыханныя истязанія и избіенія, которымъ подверглись герцеговинцы, стали извѣстны всей Европѣ. Извѣстія объ этихъ ужасахъ проникли и къ намъ въ Россію, въ интеллигентную публику и, наконецъ, въ народъ. По неслыханности своей они проникли всюду. Получались свѣдѣнія, что сотни тысячъ людей, старики, беременныя женщины, оставленныя на произволъ дѣти, бросили свои жилища и устремились вонъ изъ Турціи, въ сосѣднія земли, куда попало, безъ хлѣба, безъ крова, безъ одежды, въ послѣднемъ животномъ страхѣ самосохраненія. Князья, Церковь, предстоятели Церкви, возвысили за несчастныхъ голосъ и стали сбирать для

нихъ подаяніе. Началъ подавать имъ и нашъ народъ, жертвы стекались въ опредѣленныя мѣста, въ редакціи журналовъ, въ отдѣлы бывшихъ славянскихъ комитетовъ — и въ этомъ вовсе ничего не было незаконнаго, противоправительственнаго или безнравственнаго. Напротивъ, смѣло можно сказать, что было лишь одно хорошее. Что же до славянскихъ князей, затѣявшихъ войну съ Турціею, то ни Россія и никто въ Россіи въ этомъ не были виноваты. Правда, одинъ изъ этихъ владѣтелей, именно князь Миланъ Сербскій, былъ владѣтелемъ не вполнѣ независимымъ; напротивъ, обязанъ былъ султану нѣкоторой вассальной подчиненностью, такъ что въ одной изъ русскихъ газетъ его горько упрекали за то, что онъ, такъ сказать, бунтовщикъ, и чтобъ ужъ совершенно сконфузить и пристыдить его, написали, что онъ возсталъ противъ своего «сюзерена». Но все это опять таки было собственнымъ дѣломъ князя Милана, за которое ему одному и слѣдуетъ отвѣчать. Россія же и никто въ Россіи войны прошлаго года не объявляли, а стало быть, ровно ничѣмъ передъ султаномъ не согрѣшили. А пожертвованія, между тѣмъ, все стекались да стекались, но это уже совсѣмъ другое. Но вотъ вдругъ одинъ изъ русскихъ генераловъ, на то время безъ занятій, человѣкъ еще не старый, всего только генералъ-маіоръ, но уже нѣсколько извѣстный по прежнимъ довольно успѣшнымъ дѣйствіямъ своимъ въ Средней Азіи, отправился, по своей собственной охотѣ, въ Сербію и предложилъ князю Милану свои услуги. На службу онъ былъ принятъ и зачисленъ, но вовсе не главнокомандующимъ сербскою арміей, какъ пронесся было у насъ о томъ слухъ въ Россіи, долго державшійся. Вотъ тутъ-то и начались русскіе добровольцы, которые, впрочемъ, несомнѣнно и прежде были, т. е. до Черняева; вмѣстѣ съ тѣмъ усилились сборы пожертвованій, на которыя поднялась вся Россія. Всѣхъ добровольцевъ, за весь прошлый годъ, было не Богъ знаетъ сколько, очень не много тысячъ, но провожала ихъ въ Сербію рѣшительно вся Россія, и особенно народъ, настоящій народъ, а не стрюцкіе, какъ особенно настаиваетъ на томъ озлобленный Левинъ; стрюцкими онъ считаетъ и добровольцевъ. Но это было не такъ, дѣло это не въ углу происходило, дѣло это всѣмъ извѣстно, всѣ могли видѣть и убѣдиться и всѣ, т. е. вся Россія, рѣшили, что дѣло это — хорошее дѣло. Со стороны народа объявилось столько благороднаго, умилительнаго и основательнаго, что все прошлогоднее движеніе это, русскаго народа въ пользу славянъ, несомнѣнно останется одною изъ лучшихъ страницъ въ его исторіи. Впро-

чемъ, защищать народъ противъ Левиныхъ, доказывать Левинымъ, что это были не стрюцкіе и не воздыхатели, а, напротивъ, сознающіе свое дѣло люди — доказывать все это, по-моему, совершенно лишнее и не нужное, мало того — даже для народа и унизительное. Главное же въ томъ, что все это происходило открыто, у всѣхъ на виду: объявлялись факты поражающіе, характерные, которые записались, запомнились и не забудутся, и оспорены быть уже не могутъ. Но о народѣ потомъ, что же до добровольцевъ, то какъ не случиться въ ихъ числѣ, рядомъ съ высочайшимъ самоотверженіемъ въ пользу ближняго (NB. Кирѣевъ), и просто удальству, прыти, гульбѣ и пр. и пр. Все произошло, какъ всегда и вездѣ происходитъ. Правда, не сочтено еще, сколько и изъ этихъ гулякъ-пьяницъ, заболтавшихся людей, если только такіе были въ числѣ добровольцевъ, положили тамъ далеко животъ свой за великодушное дѣло, а потому и на нихъ нечего бы было столь порицательно и даже ругательно возставать. Но утверждать, что прошлогодніе добровольцы были *сплошь* гуляки, пьяницы и люди потерянные — по меньшей мѣрѣ не имѣетъ смысла, ибо, опять таки повторяю, дѣло это не въ углу происходило и всѣ могли видѣть. Но, во всякомъ случаѣ, объявленія войны, въ прошломъ году, сосѣдней державѣ, кѣмъ-нибудь изъ русскихъ помимо правительства, положительно не было. Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна и не могли бы объявить войну туркамъ, если бъ даже и хотѣли. Мало того, они даже добровольцевъ не подымали, никого не заманивали, не нанимали, а всякій шелъ *добровольно вполнѣ*, что рѣшительно всѣмъ извѣстно. Но что помогали они добровольцамъ и сверхъ того посылали въ славянскія земли деньги для помощи несчастнымъ, измученнымъ и изувѣченнымъ, и, сверхъ того, помогали деньгами же возставшимъ ихъ защищать, — это было, о, это было, и даже вмѣстѣ съ самымъ ревностнымъ пожеланіемъ, чтобъ кровопійцы турки сломали себѣ шею,— да, это въ высшей степени было! Но весь вопросъ въ томъ: объявленіе ли это войны? Если же нѣтъ, то запрещено все это или нѣтъ правительствомъ, т. е. запрещено ли помогать сражающимся за христіанъ деньгами и желать, чтобъ турки сломали себѣ шею. Опять таки никакъ не думаю, чтобъ было запрещено, ибо дѣло это было открытое, всѣ видѣли, всѣ участвовали, а добровольцы получали свои заграничные паспорты отъ правительства же. Я не знаю, впрочемъ, можетъ быть, и есть такой законъ, «что частные люди не могутъ *принимать участія* въ войнѣ безъ разрѣшенія правительства», т. е. не могутъ

вступать безъ особаго разрѣшенія правительства въ службу къ иноземнымъ государямъ. Можетъ быть, дѣйствительно, существуетъ какой-нибудь такой законъ, очень старый, но еще не отмѣненный; но правительство всегда могло бы и само воспользоваться этимъ закономъ, чего же тутъ Левину-то? Ему-то что во всемъ этомъ? Между тѣмъ, онъ именно этимъ-то и волнуется...

— Pardon, monsieur, mais il me semble que tout ce qui n'est pas expressement défendu est permis.

— Au contraire, m-r: tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu.

То есть по-русски:

— Да, но мнѣ кажется, что все, что не особенно настойчиво запрещено, то можно бы считать дозволеннымъ.

— Совсѣмъ напротивъ-съ: все то, что не особенно настойчиво дозволено, надо несомнѣнно считать уже запрещеннымъ.

Это краткій комическій разговоръ человѣка порядка съ человѣкомъ безпорядка, происходившій во Франціи. Но вѣдь этотъ толковникъ порядка и поставленъ у порядка, онъ объяснитель и защитникъ его, онъ уже такое лицо. А Левину-то что? Что онъ-то за спеціалистъ въ этомъ родѣ? Онъ все боится, чтобъ не потерялось какое-то право. А, между тѣмъ, весь народъ, сочувствуя угнетеннымъ христіанамъ, совершенно зналъ, что онъ правъ, что онъ ничего не дѣлаетъ противъ воли Царя своего, и сердцемъ своимъ былъ заодно съ Царемъ своимъ. Да, онъ зналъ это. Такъ точно думали и тѣ, которые снаряжали добровольцевъ. Ни одинъ не утѣшалъ себя, хотя бы втайнѣ, смѣшною мыслью, что онъ ведетъ дѣло противъ воли правительства. Царскаго слова ждали съ терпѣніемъ и съ великою надеждою, и всѣ предчувствовали его впередъ и въ немъ не ошиблись. Обвиненіе въ объявленіи войны есть, однимъ словомъ, обвиненіе фантастическое, которое пало само собою и которое нельзя поддерживать.

Но Левинъ и князь отъ этого обвиненія сами выгораживаютъ народъ. Они прямо отрицаютъ участіе народа въ прошлогоднемъ движеніи, но зато прямо утверждаютъ, что народъ не понималъ ничего, да и не могъ понимать, что все было искусственно возбуждено журналистами для пріобрѣтенія подписчиковъ и нарочно поддѣлано Рагозовыми и проч., и проч.

— Личныя мнѣнія тутъ ничего не значатъ, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ. — Нѣтъ дѣла до личныхъ мнѣній, когда вся Россія — народъ выразилъ свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народъ *и знать не знаетъ*, — сказалъ князь.

— Нѣтъ, папа... Какъ же нѣтъ? А въ воскресенье въ церкви? — сказала Долли, прислушавшаяся къ разговору...

— Да что же въ воскресенье въ церкви? Священнику *велѣли* прочесть. Онъ прочелъ. Они *ничего не поняли*, вздыхали, *какъ при всякой проповѣди*, — продолжалъ князь. — Потомъ имъ сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло въ церкви, ну, они *вынули по копейкѣ* и дали. А на что, — *они сами не знаютъ*.

Это мнѣніе нелѣпое, идущее прямо противъ факта, и въ устахъ князя оно легко объясняется: оно исходитъ отъ одного изъ прежнихъ опекуновъ народа, отъ прежняго крѣпостника, который не могъ, какъ бы ни былъ онъ добръ, не презирать своихъ рабовъ и не считать себя безмѣрно выше ихъ пониманіемъ; «повздыхали, дескать, и ничего не поняли». Но вотъ мнѣніе Левина, онъ, по крайней мѣрѣ, выставленъ не прежнимъ крѣпостникомъ.

— Мнѣ не нужно спрашивать, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ, — мы видѣли и видимъ сотни людей, которые бросаютъ все, чтобы послужить правому дѣлу, приходятъ со всѣхъ концовъ Россіи и прямо и ясно выражаютъ свою мысль и цѣль. Они приносятъ свои гроши, или сами идутъ, и прямо говорятъ зачѣмъ. Что же это значитъ?

— Значитъ, по-моему, — сказалъ начинавшій горячиться Левинъ, — что въ восьмидесятимилліонномъ народѣ всегда найдутся не сотни какъ теперь, а десятки тысячъ людей, *потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы — въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію*...

— Я тебѣ говорю, что не сотни и не люди безшабашные, а лучшіе представители народа! — сказалъ Сергѣй Ивановичъ съ такимъ раздраженіемъ, какъ будто онъ защищалъ послѣднее свое достояніе. — А пожертвованія? Тутъ ужъ прямо весь народъ выражаетъ свою волю.

— Это слово „народъ" такъ неопредѣленно, — сказалъ Левинъ. — Писаря волостные, учителя и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть, знаютъ о чемъ идетъ дѣло. Остальные же 80 милліоновъ, какъ Михайлычъ, не только не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о чемъ имъ надо бы выражать свою волю. Какое же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

Да и вообще надо бы здѣсь замѣтить, разъ навсегда, что слово «воля народа» въ прошлогоднемъ движеніи его вовсе неумѣстно, да и ровно ни къ чему не служитъ, потому что ничего точно не обозначаетъ. Прошлаго года не воля народа обозначилась, а великое состраданіе его, во-первыхъ, во-вторыхъ, ревность о Христѣ, а въ-третьихъ, собственное какъ бы покаяніе его, въ родѣ какъ бы говѣнія — право, этакъ можно бы выразиться. Я это поясню ниже, но теперь прибавлю, что весьма радъ, въ устахъ Левина, такимъ выраженіямъ про прошлогоднихъ добровольцевъ, какъ *пойти въ шайку Пугачева* и проч. По крайней мѣрѣ, эти мысли я уже никакъ теперь не могу

приписать автору, чему и радъ ужасно, ибо ясно понимаю, что авторъ вступилъ въ свои права художника: онъ слишкомъ почувствовалъ, что разгорячившійся ипохондрикъ Левинъ, какъ имъ же созданное художественное лицо, и не могъ въ данный моментъ спора не выдержать свой характеръ, т. е. не закончить оскорбительнѣйшимъ ругательствомъ свой отзывъ какъ о добровольцахъ, такъ и о народѣ, ихъ провожавшемъ. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ обвиненіе народа, за прошлогоднее движеніе его, въ глупости и въ тупости дѣйствительно существовало и ходило, а намекъ насчетъ шаекъ Пугачева дѣйствительно тоже наклевывался, то я здѣсь, кстати, и рѣшаюсь, по возможности въ самыхъ краткихъ словахъ, попробовать разъяснить: какимъ образомъ надобно понимать загадку *сознательности* прошлогодняго всенароднаго движенія нашего на помощь славянамъ? Ибо изъ этого дѣйствительно составили цѣлую загадку въ извѣстныхъ кружкахъ: «какъ, дескать, народъ только вчера услыхалъ о славянахъ, ничего-то онъ не знаетъ, ни географіи, ни исторіи и на-вотъ — вдругъ полѣзъ на стѣну за славянъ, полюбились они ему такъ вдругъ очень!» За эту тему, кромѣ извѣстныхъ кружковъ, ухватились и сѣдые старички, какъ старый князь, въ клубахъ, и встъ обрадовался ей, какъ видно, и Левинъ, такъ какъ ею очень можно поддержать и предлагаемое имъ объясненіе объ искусственной поддѣлкѣ движенія извѣстными людьми для извѣстныхъ цѣлей. Правда, выставляется Сергѣй Ивановичъ какъ бы защитникомъ противъ Левина сознательности народнаго движенія, но защищаетъ онъ дѣло свое плохо, тоже горячится, и вообще, какъ я уже и сказалъ, выставленъ въ комическомъ видѣ. Между тѣмъ, дѣло это о сознательности и толковости народнаго чувства въ пользу угнетенныхъ христіанъ до того ясно, до того точно можетъ быть опредѣлено, что я не могъ не соблазниться, чтобъ не выставить на видъ: какъ надо, по-моему, понимать это дѣло для избѣжанія путаницы и, въ особенности, *загадокъ?*

III.

О безошибочномъ знаніи необразованнымъ и безграмотнымъ русскимъ народомъ главнѣйшей сущности Восточнаго вопроса.

Съ самаго начала народа русскаго и его государства, съ самаго крещенія земли русской, начали устремляться

изъ нея паломники во святыя земли, ко Гробу Господню, на Аѳонъ и проч. Еще во время крестовыхъ походовъ ходилъ въ Іерусалимъ одинъ игуменъ русскій и былъ ласково принятъ королемъ Іерусалимскимъ «Балдвиномъ», что прекрасно описалъ въ хожденіи своемъ. Затѣмъ паломничество на Востокъ, ко святымъ мѣстамъ, не прекращалось и до нашихъ дней. Изъ русскихъ же монаховъ есть и теперь въ Россіи весьма многіе, жившіе на Аѳонѣ. Такимъ образомъ, темный и совершенно необразованный русскій народъ, т. е. самые даже простые деревенскіе мужики, совершенно не зная исторіи и географіи, знаютъ однакоже отлично, и уже очень давно, что святыми мѣстами и всѣми тамошними восточными христіанами овладѣли нечестивые агаряне, магометане, турки, и что жить христіанамъ по всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело. Знаетъ объ этомъ русскій народъ съ сокрушеніемъ сердца; а такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хожденія ко святымъ мѣстамъ онъ издревле еще высоко цѣнилъ. Сердцемъ его всегда влекло туда, — черта историческая. Люди безъ гроша, старики, отставные солдаты, старыя бабы, совершенно не зная географіи, уходили изъ селеній своихъ съ нищенскими котомками своими за плечами, и дѣйствительно, иногда послѣ безчисленныхъ бѣдствій, достигали святыхъ земель. Когда же возвращались на родину, то разсказы ихъ объ ихъ странствованіяхъ благоговѣйно выслушивались. Да и вообще разсказы про «божественное» очень любитъ русскій народъ. Мужики, дѣти ихъ, въ городахъ мѣщане, купцы даже, этихъ разсказовъ заслушиваются, съ умиленіемъ и воздыханіемъ. Напримѣръ, вопросъ: кто читалъ Четьи-Минеи? Въ монастырѣ кто-нибудь, изъ свѣтскихъ профессоръ какой-нибудь по обязанности, или какой-нибудь старикашка-чудакъ, который постится и ходитъ ко всенощной. Да и достать ихъ трудно: надо купить, а попробуйте попросите почитать на время въ приходѣ — не дадутъ. И вотъ, вѣрите ли вы тому, что по всей землѣ русской чрезвычайно распространено знаніе Четьи-Минеи — о, не всей, конечно, книги, — но распространенъ духъ ея, по крайней мѣрѣ, почему же такъ? А потому, что есть чрезвычайно много разсказчиковъ и разсказчицъ о Житіяхъ Святыхъ. Разсказываютъ они изъ Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единаго лишняго слова отъ себя, и ихъ заслушиваются. Я самъ въ дѣтствѣ слышалъ такіе разсказы прежде еще, чѣмъ научился читать. Слышалъ я потомъ эти разсказы даже въ острогахъ у разбойниковъ, и разбойники слушали и воздыхали. Эти раз-

сказы передаются не по книгамъ, а заучились изустно. Въ этихъ разсказахъ, и въ разсказахъ про святыя мѣста, заключается для русскаго народа, такъ сказать, нѣчто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притѣснители, получали нерѣдко странное и неудержимое желаніе идти странствовать, очиститься трудомъ, подвигомъ, исполнить давно данное обѣщаніе. Если не на Востокъ, не въ Іерусалимъ, то устремлялись ко святымъ мѣстамъ русскимъ, въ Кіевъ, къ Соловецкимъ чудотворцамъ. Некрасовъ, создавая своего великаго «Власа», какъ великій художникъ, не могъ и вообразить его себѣ иначе, какъ въ веригахъ, въ покаянномъ скитальчествѣ. Черта эта въ жизни народа нашего — историческая, на которую невозможно не обратить вниманія, даже и потому только, что ея нѣтъ болѣе ни въ одномъ европейскомъ народѣ. Что изъ нея выйдетъ — сказать трудно, тѣмъ болѣе, что и къ нашему народу надвигаются, черезъ школы и грамотность, просвѣщеніе и несомнѣнно новые вопросы, которые могутъ многое измѣнить. Но пока ею, и только ею одною, то есть этою только чертою и возможно объяснить всю *загадку сознательности* прошлогодняго движенія народа нашего въ пользу «братьевъ-славянъ», какъ выражались прошлаго года офиціально, а теперь какъ выражаются почти въ насмѣшку. Про славянъ дѣйствительно народъ нашъ почти ничего не зналъ, не только одинъ на тысячу, какъ выражется Левинъ, но на много тысячъ одинъ какой-нибудь, можетъ быть, слышалъ, какъ-нибудь мелькомъ, что есть тамъ какіе-то сербы, черногорцы, болгары, единовѣрцы наши. Но зато народъ нашъ, почти весь, или *въ чрезвычайномъ большинствѣ*, слышалъ и знаетъ, что есть православные христіане подъ игомъ Магометовымъ, страдаютъ, мучаются и что даже самыя святыя мѣста, Іерусалимъ, Аѳонъ, принадлежатъ иновѣрцамъ. Онъ даже двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ могъ слышать объ истязуемыхъ восточныхъ христіанахъ и о порабощенныхъ святыхъ мѣстахъ, когда покойный Государь начиналъ свою войну съ Турціей, а потомъ съ Европой, кончившуюся Севастополемъ. Тогда тоже, въ началѣ войны, пронеслось сверху слово о святыхъ мѣстахъ, которое народъ могъ тоже съ тѣхъ поръ запомнить. Кромѣ того, еще задолго до прошлогодняго подъема нашего въ пользу славянъ, начались истязанія этихъ славянъ, и почти годъ какъ объ этомъ уже говорили и писали въ Россіи, и я самъ слышалъ, какъ въ народѣ уже спрашивали даже тогда еще: «правда ли, что турокъ опять подымается?» Кромѣ того (хотя это и отдаленное соображеніе), но мнѣ кажется,

что и время какъ бы всему этому способствовало, т. е. прошлогоднему движенію. Довольно давно уже, относительно говоря, какъ послѣдовало у насъ освобожденіе крестьянъ, и вотъ прошли эти годы — и что же увидѣлъ въ средѣ своей народъ? Увидѣлъ онъ, между прочимъ, увеличившееся пьянство, умножившихся и усилившихся кулаковъ, кругомъ себя нищету, на себѣ нерѣдко звѣриный образъ, — многихъ, о, многихъ, можетъ быть, брала уже за сердце какая-то скорбь, покаянная скорбь, скорбь самообвиненія, исканія лучшаго, святого... И вотъ вдругъ раздается голосъ объ угнетеніи христіанъ, объ мученіяхъ за Церковь, за вѣру, о христіанахъ, полагающихъ голову за Христа и идущихъ на крестъ, — (такъ какъ если бы они согласились отречься отъ Креста и принять магометанство, то были бы всѣ пощажены и награждены, — это-то уже, конечно, народу было извѣстно). Поднялись воззванія къ пожертвованіямъ, затѣмъ пронесся слухъ про русскаго генерала, поѣхавшаго помогать христіанамъ, затѣмъ начались добровольцы, — все это потрясло народъ. Именно потрясло, какъ я выразился выше, какъ бы *призывомъ къ покаянію, къ говѣнью.* Кто не могъ идти самъ, принесъ свои гроши, но добровольцевъ всѣ провожали, всѣ, вся Россія. Старый князь, сидя въ Карлсбадѣ, не могъ понять этого движенія и воротился въ самый разгаръ его съ юморомъ на устахъ. Но вѣдь что же могъ понять въ Россіи и въ русскомъ человѣкѣ этотъ клубный старичекъ? Умный Левинъ могъ бы понять гораздо болѣе его, но его сбило съ толку соображеніе, что народъ не знаетъ исторіи и географіи, а главное, досада на то, что какіе-то Рагозовы объявляютъ войну даже не спросясь его. Но объявленія войны не было, а со стороны народа было какъ бы всеобщее умиленное покаяніе, жажда принять участіе въ чемъ-то святомъ, въ дѣлѣ Христовомъ, за ревнующихъ о крестѣ его, — вотъ все что было. Такъ что движеніе-то было и покаянное и въ то же время историческое. Замѣтьте себѣ, что, говоря про эту историческую черту народа русскаго, т. е. про ревность его къ «дѣлу Божію», ко святымъ мѣстамъ, къ угнетенному христіанству и вообще ко всему *покаянному, божественному,* я вѣдь вовсе не думаю хвалить за это русскій народъ: я не хвалю и не хулю, я только констатирую фактъ, *которымъ многое объяснить можно.* Что же дѣлать, что у насъ есть такая *историческая* черта? Я не знаю, что изъ нея выйдетъ, но, очень можетъ быть, что-нибудь и выйдетъ. Въ жизни народовъ все важнѣйшее слагается всегда сообразно съ ихъ важнѣйшими и характернѣйшими національными особенностями. Пока,

напримѣръ, у насъ, изъ вышеуказанной исторической черты народа нашего, выходитъ, можетъ быть, *каждый разъ*, въ войну Россіи съ султаномъ, сознательно-національное отношеніе народа нашего ко всякой такой войнѣ, такъ что нечего дивиться горячему участію народа къ такой войнѣ, собственно потому только, что онъ не знаетъ исторіи и географіи. Что надо знать ему онъ знаетъ. О, нашъ народъ безграмотный невѣжда, это безспорно, и ему даже въ нравственномъ отношеніи можно бы насказать множество превосходныхъ и просвѣщеннѣйшихъ вещей насчетъ столь застарѣлой въ немъ, древней исторической черты его. Этимъ русскимъ людямъ можно было бы разъяснить, что всѣ ихъ странствованія, паломничества — суть только узкое пониманіе ихъ долга и обязанностей; что нечего ходить за хорошимъ такъ далеко, что лучше было бы, если бъ онъ бросилъ пьянство, обратилъ вниманіе на умноженіе своего благосостоянія, на прикопленіе экономическихъ силъ, не билъ жену, обратилъ вниманіе на школы, на шоссейныя дороги и проч., однимъ словомъ — хоть чѣмъ бы нибудь способствовалъ, чтобъ Россія, его отечество, стала, наконецъ, походить на другія «просвѣщенныя европейскія государства». Можно бы внушить, наконецъ, паломнику, что хожденія его по святымъ мѣстамъ Богу вовсе не надобны, потому, главное, что ни ему самому, ни семейству его и никому пользы никакой не приносятъ, а что, напротивъ, приносятъ даже вредъ, ибо странствующій, уходя надолго, оставляетъ свой домъ, родину, въ сущности для цѣли эгоистической, для спасенія души своей, тогда какъ Богу несравненно было бы пріятнѣе, если бъ онъ употребилъ свой праздный досугъ на какую-нибудь пользу ближнему: посидѣлъ бы на огородѣ, присмотрѣлъ бы за телятами и проч., и проч. Однимъ словомъ, можно бы наговорить много прекраснаго; но что же, однако, дѣлать, если такъ именно сложилась эта историческая черта и исканіе добраго приняло въ народѣ нашемъ *почти что одну эту форму*, то есть форму *покаянную*, въ паломническомъ или жертвенномъ видѣ? По крайней мѣрѣ, въ ожиданіи «просвѣщенія», умный Левинъ могъ бы зачесть народу эту *историческую черту его*. Онъ могъ бы понять, по крайней мѣрѣ, что многіе добровольцы и народъ, провожавшій ихъ, дѣйствовали изъ побужденія хорошаго, думали дѣло сдѣлать доброе (въ этомъ нельзя же не согласиться!), а стало быть, во всякомъ случаѣ, это были хорошіе представители народа, конечно, не «блиставшіе просвѣщеніемъ», но и не потерянные же люди, не безшабашные, не стрюцкіе, не заболтавшіеся, а, напротивъ

даже, можетъ быть, лучшіе люди изъ народа. Дѣло это было ведено прямо, какъ Христово дѣло, а у многихъ, у очень многихъ въ тайникахъ души ихъ — именно какъ очистительное и покаянное дѣло. И не одинъ-то изъ всего этого народа не чувствовалъ себя за это дѣло виноватымъ передъ Царемъ своимъ! Напротивъ, зналъ, что милосердымъ сердцемъ своимъ Царь-Освободитель заодно съ народомъ своимъ. Воли царевой, слова его всѣ ждали въ умиленіи и надеждѣ, а мы, мы, сидя по угламъ нашимъ, радовались еще про себя, что великій народъ русскій оправдалъ великую и вѣчную надежду нашу на него. А потому могло ли быть, хоть съ какой-нибудь стороны, примѣнено къ нему и къ его благородному и кроткому движенію — сравненіе съ шайкой Пугачева, съ коммуной и проч.! Именно только раздраженный до сотрясенія ипохондрикъ Левинъ могъ провозгласить это. Вотъ что значитъ обидчивость!

IV.

Сотрясеніе Левина. Вопросъ: имѣетъ ли разстояніе вліяніе на человѣколюбіе? Можно ли согласиться съ мнѣніемъ одного плѣннаго турка о гуманности нѣкоторыхъ нашихъ дамъ? Чему же, наконецъ, насъ учатъ наши учители?

Но сотрясеніе идетъ еще далѣе: Левинъ прямо и настойливо провозглашаетъ, что состраданія къ мученіямъ славянъ, что «*непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть*». Сергѣй Ивановичъ говоритъ:

..Тутъ нѣтъ объявленія войны, а просто выраженіе человѣческаго, христіанскаго чувства. Убиваютъ братьевъ, единокровныхъ и единовѣрцевъ. Ну, положимъ, даже не братьевъ, не единовѣрцевъ, а просто дѣтей, женщинъ, стариковъ; чувство возмущается, и русскіе люди бѣгутъ, чтобъ помочь прекратить эти ужасы. Представь себѣ, что ты бы шелъ по улицѣ и увидѣлъ бы, что пьяные бьютъ женщину или ребенка: я думаю, ты не сталъ бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человѣку, а ты бы бросился на него и защитилъ бы обижаемаго.

— Но не убилъ бы, — сказалъ Левинъ.

— Нѣтъ, ты бы убилъ.

— Я не знаю. Если бы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному; *но впередъ сказать я не могу*. И такого не-

посредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть.

— Можетъ быть, для тебя нѣтъ. Но для другихъ оно есть, — недовольно хмурясь, сказалъ Сергѣй Ивановичъ. — Въ народѣ живы преданія о православныхъ людяхъ, страдающихъ подъ игомъ „нечестивыхъ Агарянъ". Народъ услыхалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ.

— Можетъ быть, — уклончиво сказалъ Левинъ, — но я не вижу; *я самъ народъ*, и я не чувствую этого.

И опять: «я самъ народъ». Повторю еще разъ: всего только два часа тому, какъ этотъ Левинъ и вѣру-то свою получилъ отъ мужика, по крайней мѣрѣ тотъ надоумилъ его, какъ вѣрить. Я не восхваляю мужика и не унижаю Левина, да и судить не берусь теперь, кто изъ нихъ лучше вѣрилъ, и чье состояніе души было выше и развитѣе, ну и проч., и проч. Но вѣдь согласитесь сами, повторяю это, что ужъ изъ одного этого факта Левинъ могъ бы догадаться, что есть же нѣкоторая *существенная* разница между нимъ и народомъ. И вотъ онъ говоритъ: «я самъ народъ». А почему онъ такъ увѣренъ въ томъ, что онъ самъ народъ? А потому, что запрячь телѣгу умѣетъ и знаетъ, что огурцы съ медомъ ѣсть хорошо. Вотъ вѣдь люди! И какое самомнѣніе, какая гордость, какая заносчивость!

Но все же не въ томъ главное. Левинъ увѣряетъ, что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ *нѣтъ и не можетъ быть*. Ему возражаютъ, что «народъ услыхалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ», а онъ отвѣчаетъ: «Можетъ быть, но я не вижу; я самъ народъ, *и я не чувствую этого!*».

То есть состраданія? Замѣтьте, что споръ Левина съ Сергѣемъ Ивановичемъ о состраданіи и о непосредственномъ чувствѣ къ угнетенію славянъ ведется уклончиво и какъ бы съ намѣреніемъ, чтобъ кончить побѣдою Левина. Сергѣй Ивановичъ споритъ, напримѣръ, изо всѣхъ силъ, что если бъ Левинъ шелъ и увидѣлъ, что пьяные бьютъ женщину, то онъ бы бросился освободить ее! «Но не убилъ бы!» возражаетъ Левинъ. — Нѣтъ, ты бы убилъ, — настаиваетъ Сергѣй Ивановичъ, и ужъ, конечно, говоритъ вздоръ, потому что кто жъ, помогая женщинѣ, которую бьютъ пьяные, убьетъ пьяныхъ? Можно освободить и не убивая. А главное, дѣло вовсе идетъ не о дракѣ на улицѣ, сравненіе невѣрно и неоднородно. Говорятъ о славянахъ, объ истязаніяхъ, пыткахъ и убійствахъ, которымъ они подвергаются, и Левинъ слишкомъ знаетъ, что онъ говоритъ о славянахъ. Стало быть, когда онъ говоритъ, что онъ не знаетъ, помогъ ли бы онъ, что

онъ не видитъ и *ничего не чувствуетъ* и проч. и проч., то именно заявляетъ, что не чувствуетъ состраданія къ мученіямъ славянъ (а не къ мученіямъ прибитой пьяными женщины), и настаиваетъ, что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть, а не къ угнетенію пьяной женщины. Да такъ онъ буквально и выражается.

Здѣсь довольно любопытный психологическій фактъ. Книга вышла всего $2^1/_2$ мѣсяца назадъ а $2^1/_2$ мѣсяца назадъ уже совершенно извѣстно было, что всѣ безчисленные разсказы о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ — совершенная истина, — истина, засвидѣтельствованная теперь тысячью свидѣтелей и очевидцевъ всѣхъ націй. То, что мы узнали въ эти полтора года объ истязаніяхъ славянъ пересиливаетъ фантазію всякаго самаго болѣзненнаго и изступленнаго воображенія. Извѣстно во-первыхъ, что убійства эти не случайныя, а систематическія, нарочно возбуждаемыя и всячески поощряемыя. Истребленія людей производятся тысячами и десятками тысячъ. Утонченности въ мученіяхъ таковы, что мы не читали и не слыхивали ни о чемъ еще подобномъ прежде. Съ живыхъ людей сдирается кожа въ глазахъ ихъ дѣтей; въ глазахъ матерей подбрасываютъ и ловятъ на штыкъ ихъ младенцевъ, производится насильничанье женщинъ, и въ моментъ насилія онъ прокалываетъ ее кинжаломъ, а главное, мучатъ въ пыткахъ младенцевъ и ругаются надъ ними. Левинъ говоритъ, что онъ не чувствуетъ *ничего* (!), и азартно утверждаетъ, что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть. Но смѣю увѣрить г. Левина, что оно можетъ быть, и что я самъ былъ тому уже неоднократно свидѣтелемъ. Я видѣлъ, напримѣръ, одного господина, который о своихъ чувствахъ говорить не любитъ, но который, услышавъ, какъ одному двухлѣтнему мальчику, въ глазахъ его сестры, прокололи иголкой глаза и потомъ посадили на колъ, такъ что ребенокъ все-таки не скоро умеръ и еще долго кричалъ, — услышавъ про это, этотъ господинъ чуть не сдѣлался боленъ, всю ту ночь не спалъ и два дня послѣ того находился въ тяжеломъ и разбитомъ состояніи духа, мѣшавшемъ его занятіямъ. Смѣю увѣрить при этомъ г. Левина, что господинъ этотъ человѣкъ честный и безспорно-порядочный, далеко не стрюцкій и ужъ отнюдь не членъ шайки Пугачева. Я хотѣлъ только заявить, что непосредственное чувство къ истязаніямъ славянъ существовать можетъ, и даже самое сильное, и даже во всѣхъ классахъ общества. Но Левинъ настаиваетъ, что его *не можетъ и быть*, и что самъ онъ

ничего не чувствуетъ. Это для меня загадка. Конечно, есть просто безчувственные люди, грубые, съ развитіемъ извращеннымъ. Но вѣдь Левинъ, кажется, не таковъ, онъ выставленъ человѣкомъ вполнѣ чувствительнымъ. Не дѣйствуетъ ли здѣсь просто разстояніе? Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ли въ иныхъ натурахъ этой *психологической* особенности: «Самъ, дескать, не вижу, происходитъ далеко, ну вотъ ничего и не чувствую». Кромѣ шутокъ, представьте, что на планетѣ Марсъ есть люди, и что тамъ выкалываютъ глаза младенцамъ. Вѣдь, можетъ быть, и не было бы намъ на землѣ жалко, по крайней мѣрѣ такъ ужъ очень жалко? То же самое, пожалуй, можетъ быть, и на землѣ при очень большихъ разстояніяхъ: «Э, дескать, въ другомъ полушаріи, не у насъ!» То есть хоть онъ и не выговариваетъ это прямо, но такъ чувствуетъ, т. е. *ничего* не чувствуетъ. Въ такомъ случаѣ, если разстояніе, дѣйствительно, такъ вліяетъ на гуманность, то рождается самъ собою новый вопросъ: на какомъ разстояніи кончается человѣколюбіе? А Левинъ, дѣйствительно, представляетъ большую загадку въ человѣколюбіи: онъ прямо утверждаетъ, что онъ *не знаетъ*, убилъ ли бы онъ:

Если бы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но впередъ сказать я не могу.

Значитъ, не знаетъ, что бы онъ сдѣлалъ! А между тѣмъ это человѣкъ чувствительный, и вотъ, какъ чувствительный-то человѣкъ, онъ и боится убить... турку. Представимъ себѣ такую сцену: стоитъ Левинъ уже на мѣстѣ, тамъ съ ружьемъ и со штыкомъ, а въ двухъ шагахъ отъ него турокъ сладострастно приготовляется выколоть иголкой глаза ребенку, который уже у него въ рукахъ. Семилѣтняя сестренка мальчика кричитъ и какъ безумная бросается вырвать его у турка. И вотъ Левинъ стоитъ въ раздумьѣ и колеблется:

— Не знаю что сдѣлать. Я ничего не чувствую. Я самъ народъ. Непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть.

Нѣтъ, серьезно, что бы онъ сдѣлалъ, послѣ всего того, что намъ высказалъ? Ну какъ бы не освободить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчасъ же изъ рукъ злодѣя турка?

— Да, вырвать, но вѣдь, пожалуй, придется больно толкнуть турка?

— Ну и толкни!

— Толкни! А какъ онъ не захочетъ отдать ребенка и выхватитъ саблю? Вѣдь придется, можетъ быть, убить турку?

— Ну и убей!

— Нѣтъ, какъ можно убить! Нѣтъ, нельзя убить турку. Нѣтъ, ужъ пусть онъ лучше выколетъ глазки ребенку и замучаетъ его, а я уйду къ Кити.

Вотъ какъ долженъ поступить Левинъ, это прямо выходитъ изъ его убѣжденій и изъ всего того, что онъ говоритъ. Онъ прямо говоритъ, что *не знаетъ*, помогъ ли бы онъ женщинѣ или ребенку, если бы приходилось убить при этомъ турку. А турокъ ему жаль ужасно.

— Двадцать лѣтъ тому назадъ мы бы молчали (говоритъ Сергѣй Ивановичъ), а теперь слышенъ голосъ русскаго народа, который готовъ встать какъ одинъ человѣкъ и готовъ жертвовать собой для угнетенныхъ братьевъ; это великій шагъ и задатокъ силы.

— Но вѣдь не жертвовать только, а убивать турокъ, — робко сказалъ Левинъ. — Народъ жертвуетъ и готовъ жертвовать для своей души, а не для убійства...

То есть, другими словами: «возьми, дѣвочка, деньги, жертву для души нашей, а ужъ братишкѣ пусть выколютъ глазки. Нельзя же турку убивать»...

И потомъ дальше уже говоритъ самъ авторъ про Левина:

...Онъ не могъ согласиться съ тѣмъ, чтобы десятки людей, въ числѣ которыхъ и братъ его, имѣли право, на основаніи того, что имъ разсказали сотни приходившихъ изъ столицы краснобаевъ-добровольцевъ, говорить, что они съ газетами выражаютъ волю и мысль народа, и такую мысль, *которая выражается въ мщеніи и убійствѣ*.

Это несправедливо: *мщенія* нѣтъ никакого. У насъ и теперь ведется война съ этими кровопійцами, и мы слышимъ только о самыхъ гуманныхъ фактахъ со стороны русскихъ. Смѣло можно сказать, что немногія изъ европейскихъ армій поступили бы съ такимъ непріятелемъ такъ, какъ поступаетъ теперь наша. Недавно только, въ двухъ или трехъ изъ нашихъ газетъ, была проведена мысль, что не полезнѣе ли бы было, и именно для уменьшенія звѣрствъ, ввести репрессаліи съ отъявленно-уличенными въ звѣрствахъ и мучительствахъ турками? Они убиваютъ плѣнныхъ и раненыхъ послѣ неслыханныхъ истязаній, въ родѣ отрѣзыванія носовъ и другихъ членовъ. У нихъ объявились спеціалисты истребленія грудныхъ младенцевъ, мастера, которые, схвативъ грудного ребенка за обѣ ножки, разрываютъ его сразу пополамъ на потѣху и хохотъ своихъ товарищей баши-бузуковъ. Эта изолгавшаяся, исподлившаяся нація отпирается отъ звѣрствъ, совершенныхъ ею. Министры султана увѣряютъ, что не можетъ быть умерщвленія плѣнныхъ, ибо «коранъ запрещаетъ это». Еще недавно человѣколюбивый императоръ Германскій съ негодованіемъ отвергъ

офиціальную и лживую, повсемѣстную жалобу турокъ на русскія будто бы жестокости и объявилъ, что не вѣритъ имъ. Съ этой подлой націей нельзя бы, кажется, поступать по-человѣчески, но мы поступаемъ по-человѣчески. Осмѣлюсь выразить даже мое личное мнѣніе, что къ репрессаліямъ противъ турокъ, уличенныхъ въ убійствѣ плѣнныхъ и раненыхъ, лучше бы не прибѣгать. Врядъ ли это уменьшило бы ихъ жестокости. Говорятъ, они и теперь, когда ихъ берутъ въ плѣнъ, смотрятъ испуганно и недовѣрчиво, *твердо убѣжденные*, что имъ сейчасъ станутъ отрѣзать головы. Пусть уже лучше великодушное и человѣколюбивое веденіе этой войны русскими не омрачится репрессаліями. Но выкалывать глаза младенцамъ нельзя допускать, а для того, чтобы пресѣчь навсегда злодѣйство, надо освободить угнетенныхъ накрѣпко, а у тирановъ вырвать оружіе разъ навсегда. Не безпокойтесь, когда ихъ обезоружатъ, они будутъ дѣлать и продавать халаты и мыло, какъ наши казанскіе татары, о чемъ уже я и говорилъ, но чтобы вырвать изъ рукъ ихъ оружіе, надо вырвать его въ бою. Но бой не мщеніе, Левинъ можетъ быть за турка спокоенъ.

Левинъ могъ бы быть и прошлаго года за турка спокоенъ. Развѣ онъ не знаетъ русскаго человѣка, русскаго солдата? Вонъ, пишутъ, что солдатъ хоть и колетъ изверга турку въ бою, но что видѣли, какъ съ плѣннымъ туркой онъ уже не разъ дѣлился своимъ солдатскимъ раціономъ, кормилъ его, жалѣлъ его. И повѣрьте, что солдатикъ зналъ все про турка, зналъ, что попался бы онъ самъ къ нему въ плѣнъ, то этотъ же самый плѣнный турокъ отрѣзалъ бы ему голову и вмѣстѣ съ другими головами сложилъ бы изъ нихъ полумѣсяцъ, а въ срединѣ полумѣсяца сложилъ бы срамную звѣзду изъ другихъ частей тѣла. Все это знаетъ солдатикъ и все-таки кормитъ измученнаго въ бою и захваченнаго въ плѣнъ турку: «человѣкъ тоже, хоть и не хрестьянинъ». Корреспондентъ англійской газеты, видя подобные случаи, выразился: «это армія джентльменовъ». И Левинъ лучше многихъ другихъ могъ бы знать, что это, дѣйствительно, армія джентльменовъ. Когда болгары въ иныхъ городахъ спрашивали его высочество главнокомандующаго, какъ имъ поступать съ имуществомъ бѣжавшихъ турокъ, то онъ отвѣчалъ имъ: «имущество собрать и сохранить до ихъ возвращенія, поля ихъ убрать и хлѣбъ сохранить, взявъ треть въ вознагражденіе за трудъ». Это тоже слова джентльмена, и, повторяю, Левинъ могъ бы быть спокоенъ за турокъ: гдѣ тутъ мщеніе, гдѣ репрессаліи? Сверхъ того, Левинъ, столь тонко знающій русское обще-

ство, могъ бы тоже сообразить, что турокъ спасетъ еще нашъ ложный европеизмъ и наше нелѣпое, выдѣланное и прямолинейное сантиментальничанье, столь нерѣдкое въ нашемъ образованномъ обществѣ. Слыхалъ ли Левинъ про нашихъ дамъ, которыя провозимымъ въ вагонахъ плѣннымъ туркамъ бросаютъ цвѣты, выносятъ дорогого табаку и конфектъ? Писали, что одинъ турокъ, когда тронулся опять поѣздъ, громко харкнулъ и энергически плюнулъ въ самую группу гуманныхъ русскихъ дамъ, махавшихъ отходящему поѣзду вслѣдъ платочками. Конечно, трудно согласиться вполнѣ съ мнѣніемъ этого безчувственнаго турка, и Левинъ можетъ разсудить, что тутъ со стороны ласкавшихъ турокъ дамъ нашихъ — лишь истерическое сантиментальничаніе и ложный либеральный европеизмъ: «вотъ, дескать, какъ мы гуманны и какъ мы европейски развиты, и какъ мы умѣемъ это выказать!». Но, однако, самъ-то Левинъ: развѣ не ту же прямолинейность, не то же сантиментальное европейничанье онъ самъ проповѣдуетъ и высказываетъ? Убиваютъ турокъ на войнѣ, въ честномъ бою, не *мстя* имъ, а единственно *потому*, что иначе никакъ нельзя вырвать у нихъ изъ рукъ ихъ безчестное оружіе. Такъ было и прошлаго года. А если не вырвать у нихъ оружіе и — чтобъ не убивать ихъ, уйти, то они вѣдь тотчасъ же опять станутъ вырѣзывать груди у женщинъ и прокалывать младенцамъ глаза. Какъ же быть? Дать лучше прокалывать глаза, чтобъ только не убить какъ-нибудь турку? Но вѣдь это извращеніе понятій, это тупѣйшее и грубѣйшее сантиментальничаніе, это изступленная прямолинейность, это самое полное извращеніе природы. Къ тому же, принужденный убивать турку солдатъ самъ несетъ жизнь свою въ жертву, да еще терпитъ мученія и истязанія. Для мщенія ли, для убійства ли одного только поднялся русскій народъ? И когда бывало это, чтобъ помощь убиваемымъ, истребляемымъ цѣлыми областями, насилуемымъ женщинамъ и дѣтямъ и за которыхъ уже въ цѣломъ свѣтѣ совершенно некому заступиться — считалась бы дѣломъ грубымъ, смѣшнымъ, почти безнравственнымъ, жаждой мщенія и кровопійства! И что за безчувственность рядомъ съ сантиментальностью! Вѣдь у Левина у самого есть ребенокъ, мальчикъ, вѣдь онъ же любитъ его, вѣдь когда моютъ въ ваннѣ этого ребенка, такъ вѣдь это въ домѣ въ родѣ событія; какъ же не искровенить ему сердце свое, слушая и читая объ избіеніяхъ массами, о дѣтяхъ съ проломленными головами, ползающихъ около изнасилованныхъ своихъ матерей, убитыхъ, съ вырѣзанными грудями. Такъ было въ одной

болгарской церкви, гдѣ нашли двѣсти такихъ труповъ, послѣ разграбленія города. Левинъ читаетъ все это и стоитъ въ задумчивости:

— Кити весела и съ аппетитомъ сегодня кушала, мальчика вымыли въ ваннѣ, и онъ сталъ меня узнавать: какое мнѣ дѣло, что тамъ въ другомъ полушаріи происходитъ; *непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть* — потому что я *ничего* не чувствую.

Этимъ ли закончилъ Левинъ свою эпопею? Его ли хочетъ выставить намъ авторъ какъ примѣръ правдиваго честнаго человѣка? Такіе люди какъ авторъ «Анны Карениной», — суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики ихъ. Чему жъ они насъ учатъ?

СЕНТЯБРЬ.

Глава первая.

I.

Несчастливцы и неудачники.

Трудно представить себѣ болѣе несчастныхъ людей, какъ французскіе республиканцы и ихъ французская республика Вотъ уже скоро сто лѣтъ тому, какъ въ первый разъ появилось на свѣтъ это учрежденіе, и съ тѣхъ поръ каждый разъ (теперь уже въ третій), когда ловкіе узурпаторы конфисковали республику въ свою пользу, никто-то не вставалъ серьезно ее защищать, кромѣ какой-нибудь кучки. Всенародной сильной поддержки ни въ одинъ разъ не было. Да и въ тѣ сроки, когда приходилось ей существовать, рѣдко кто ее считалъ за дѣло окончательное, а не переходное. Тѣмъ не менѣе, нѣтъ людей болѣе убѣжденныхъ въ сочувствіи къ нимъ страны, какъ французскіе республиканцы.

Впрочемъ, въ первыя двѣ попытки создать во Франціи республику, въ прошломъ столѣтіи и въ 1848 г., все же могли быть, особенно въ началѣ попытокъ, нѣкоторыя основанія у тогдашнихъ республиканцевъ разсчитывать на сочувствіе къ нимъ страны. Но у нынѣшнихъ, у теперешнихъ республиканцевъ, — вотъ тѣхъ самыхъ, которыхъ въ самомъ скоромъ времени предназначено конфисковать, вмѣстѣ съ ихъ республикой, кому-то въ свою пользу, казалось бы, не могло быть никакихъ уже надеждъ на твердую будущность, даже и въ случаѣ нѣкотораго сочувствія къ нимъ страны (очень, впрочемъ, нетвердаго, такъ какъ и существуютъ-то они теперь лишь

отрицательно, по пословицѣ: на безрыбьѣ и ракъ рыба). А между тѣмъ, наканунѣ почти вѣрнаго своего паденія, они убѣждены въ полной побѣдѣ. И однако, что это за несчастные были люди и что за несчастная была эта послѣдняя третья республика, которую хотя и призналъ покойникъ Тьеръ, но именно какъ рака на безрыбьѣ! Вспомнимъ только, какъ явилась эта третья республика на свѣтъ. Почти двадцать лѣтъ эти республиканцы ждали «славной» минуты, когда рухнетъ узурпаторъ и когда ихъ опять «позоветъ страна». И что же случилось: захвативъ власть послѣ Седана, эти неудачники принуждены были взвалить себѣ на плечи страшную войну, которой не хотѣли, но которою наградилъ ихъ тотъ же узурпаторъ, уѣзжая курить свои папироски въ прелестный замокъ Вильгельмсгёге. И если злился на нихъ этотъ коварный узурпаторъ, гуляя по аллеямъ садовъ нѣмецкаго замка, за то, что они захватили опять его власть, то навѣрно и усмѣхался про себя, минутами, ехидной усмѣшкою при мысли о томъ, какъ отмстилъ онъ имъ, сваливъ на ихъ слабыя плечи свою вину. Потому что, какъ бы тамъ ни было, а все-таки Франція обвиняла потомъ скорѣе ихъ, чѣмъ его, — по крайней мѣрѣ, болѣе ихъ, чѣмъ его, — въ томъ, что они продолжали безнадежную войну, не сумѣли замирить тотчасъ же какъ приняли власть, отдали двѣ большія провинціи, три милліарда, разорили страну, сражались неумѣло, распоряжались на-авось, безпорядочно и безъ контроля, въ чемъ до сихъ поръ обвиняютъ бывшаго тогдашняго диктатора Гамбетту, ни въ чемъ однако не виноватаго, а, напротивъ, сдѣлавшаго все, что только можно было сдѣлать при страшныхъ тогдашнихъ обстоятельствахъ. Однимъ словомъ, это обвиненіе въ неумѣлости республиканцевъ и въ загубленіи ими страны держалось и держится даже теперь очень серьезно и твердо. Пусть всѣ понимаютъ, что первая причина бѣды былъ императоръ Наполеонъ, «но они-то, дескать, зачѣмъ не сумѣли поправить дѣла, если взялись за него? Мало того — испортили его какъ нельзя вообразить хуже» — вотъ обвиненіе! Мало того: рядомъ съ обвиненіемъ пало на нихъ даже что-то презрительное и смѣшное при мысли, въ какой просакъ попались они въ самомъ началѣ, какъ захватили власть, и, однако, что другое они могли тогда сдѣлать? Не принять этой войны, замирить съ самаго начала по принятіи ими власти послѣ Седана, было совсѣмъ невозможно: нѣмцы и тогда потребовали бы уступки территоріи и денегъ, и что же бы сталось съ республиканцами, если бъ они замирили на такихъ условіяхъ?

Ихъ прямо обвинили бы въ малодушіи, въ безславіи страны, въ томъ, что они, «имѣя еще армію», не сопротивлялись, а позорно сдались. Хорошо было бы клеймо на ихъ новой республикѣ! А такъ какъ для нихъ республика и ея возстановленіе во Франціи были гораздо дороже спасенія страны, составляли все, то они принуждены были воевать, почти явно предчувствуя, что придутъ къ еще большему позору въ концѣ войны. Значитъ, и спереди былъ позоръ, и сзади стоялъ позоръ — положеніе не только несчастное, не только трагическое, но въ нѣкоторомъ отношеніи даже и комическое, ибо не въ такомъ совсѣмъ видѣ воображали они воцариться послѣ тирана!

Этотъ комизмъ усугубился еще болѣе тѣмъ, что воцарились они все-таки съ самымъ легкимъ сердцемъ, несмотря ни на что, то есть не то чтобъ они не горевали о Франціи — о, между ними есть превосходные люди по чувствамъ и даже истинные слуги отечества, въ томъ случаѣ, если оно будетъ называться республикой. Даже, можетъ быть, есть и такихъ, одинъ или другой, которые даже республику готовы поставить на второй планъ, была бы лишь счастлива Франція (хотя врядъ ли, впрочемъ, такіе есть, именно развѣ одинъ или другой, а не больше). Но дѣло въ томъ, что все-таки они, чуть лишь замирили съ нѣмцами и расположились править страной уже на покоѣ, какъ тотчасъ же вообразили себѣ, что страна въ нихъ влюбилась безповоротно и что это по крайней мѣрѣ. Вотъ что было комично! Рѣшительно у всякаго французскаго республиканца есть роковое и губящее его убѣжденіе, что достаточно только одного слова «республика», достаточно лишь только назвать страну республикой, какъ тотчасъ же она станетъ навѣки счастливою. Всѣ неудачи республики они всегда приписываютъ лишь внѣшнимъ мѣшающимъ обстоятельствамъ, существованію узурпаторовъ, злыхъ людей, и ни разу не подумали о невѣроятной слабости тѣхъ корней, которыми скрѣпляется республика съ почвой Франціи и которые въ цѣлыя сто лѣтъ не могли окрѣпнуть и проникнуть въ нее глубже. Сверхъ того, республиканцы ни разу еще въ эти шесть лѣтъ не подумали, что комическое положеніе ихъ, унаслѣдованное ими послѣ Наполеона III, все еще продолжается и теперь и что если прошла старая бѣда, то близится новая, подобная старой, которая непремѣнно поставитъ ихъ уже въ *самое* комическое положеніе, въ такое, при которомъ они уже и держаться во Франціи будутъ не въ состояніи, и это въ самомъ ближайшемъ, можетъ быть, будущемъ. Этотъ

грядущій комизмъ состоитъ въ томъ, что эта будущая бѣда, все такъ же, какъ и прежняя, заключается въ исполненіи ими высокаго долга службы отечеству *сознательно* ему на пагубу, кромѣ того, все такъ же, какъ и прежняя, совершенно неотразима и составляетъ почти точь-въ-точь такой же просакъ, въ какой они попались и въ 1871 году, и, наконецъ, къ довершенію досады — все такъ же, какъ и прежняя бѣда, досталась имъ по наслѣдству все отъ того же Наполеона III, котораго они такъ ненавидятъ и котораго память такъ проклинаютъ. Въ самомъ дѣлѣ: кто теперь самый ревностный послѣдователь французской республики и самый сочувствующій учрежденію ея человѣкъ въ цѣломъ мірѣ? Безспорно, князь Бисмаркъ. До тѣхъ поръ, пока существуетъ во Франціи республика, невозможна война «возмездія». Вообразить только, что республиканцы могли бы рѣшиться вновь объявить войну нѣмцамъ! Князь Бисмаркъ это понимаетъ. А, между тѣмъ, ясно какъ день, что огромный, сорокамилліонный организмъ Франціи не можетъ оставаться вѣчно въ постыдной опекѣ Германіи. Язвы залѣчатся, потрясеніе забудется, прибудутъ новыя силы, нарастетъ здоровье, создадутся средства, войска, — и можетъ ли страна, которая столь долго первенствовала между націями политически, — не захотѣть опять прежней роли, прежняго положенія въ Европѣ? Эта минута, можетъ быть, теперь уже вовсе не далека; избытокъ внутреннихъ силъ долженъ непремѣнно стремить ихъ вырваться изъ опеки Бисмарка и возвратить себѣ всю прежнюю *независимость* (теперь еще Францію никакъ нельзя назвать независимою). И вотъ вся Франція, съ перваго новаго шагу своего, натолкнулась бы лбомъ на свою республику. Опять-таки повторю: вообразить только, что теперешніе республиканцы могли бы захотѣть въ чемъ-нибудь сгрубить князю Бисмарку, и до того, чтобъ даже рискнуть на войну съ нимъ? Во-первыхъ, кто за ними и пойдетъ-то, если бъ даже сама Франція хотѣла войны, а во-вторыхъ, неизбѣжно представляющееся соображеніе: ну что если нѣмцы ихъ опять разобьютъ? Вѣдь тогда уже конецъ республикѣ во Франціи окончательный, потому, что ихъ же и обвинитъ Франція за неуспѣхъ и навѣки уже прогонитъ, забывъ, что сама же захотѣла «возмездія» и первенствующаго прежняго положенія... А скрѣпись республиканцы, не слушай новыхъ голосовъ и криковъ, не объявляй войну — это значило бы идти противъ стремленія страны, и тогда страна опять-таки смѣстила бы ихъ и отдалась бы первому явившемуся ловкому предводителю. Однимъ словомъ, и сзади Се-

данъ и впереди Седанъ! Между тѣмъ, они навѣрно объ этомъ совсѣмъ еще не начинали думать, несмотря на то, что новый порывъ страны, можетъ быть, очень близокъ. Никогда не думали и о томъ, что въ сущности они не болѣе какъ «протеже» князя Бисмарка и что Франція съ каждымъ годомъ вѣдь должна понимать это все болѣе и болѣе, и именно по мѣрѣ возстановленія и нарастанія силъ своихъ, а стало быть, и презирала бы ихъ все болѣе и болѣе, сначала про себя и не столь отчетливо, а потомъ гораздо отчетливѣе и, наконецъ, уже вслухъ, а не про себя только.

Но комическаго вида республиканцы не признаютъ. Это люди патетическіе. Напротивъ, именно теперь они ободрились, послѣ того какъ Макъ-Магонъ, президентъ «республики», прогналъ ихъ съ мѣста и заперъ до новыхъ октябрьскихъ выборовъ палату. Теперь они «угнетенные», а потому и чувствуютъ себя въ ореолѣ; они ждутъ, что вся Франція вдругъ запоетъ марсельезу и закричитъ: «on assassine nos frères!» (убиваютъ братій нашихъ!) извѣстный крикъ всѣхъ прежде бывшихъ парижскихъ уличныхъ революцій, послѣ котораго толпы бросались обыкновенно строить баррикады. Во всякомъ случаѣ они ждутъ «законности», т. е. что страна, въ негодованіи на маршала Макъ-Магона, наклевывающагося будущаго узурпатора, выберетъ вновь въ палату все прежнее республиканское большинство да еще сверхъ того прибавитъ новыхъ республиканскихъ депутатовъ, и тогда вновь собравшаяся палата скажетъ строгое veto маршалу, и тотъ, испугавшись законности, подожметъ хвостъ и стушуется. Въ силѣ этой «законности» они непоколебимо увѣрены, — и не по скудости способностей, а потому, что эти добрые люди слишкомъ ужъ люди своей партіи, слишкомъ долго тянули все одну и ту же канитель и слишкомъ долго просидѣли въ одномъ углу. Они слишкомъ долго страдали за возлюбленную свою республику, а потому и увѣрены въ возмездіи. Къ удивленію, и у насъ въ Россіи многія наши газеты вѣрятъ въ ихъ близкое торжество и въ неминуемую побѣду ихъ «законности». Но чѣмъ обезпечена эта законность, если Макъ-Магонъ не удостоитъ ей подчиниться, о чемъ и объявилъ уже странѣ въ удивительномъ своемъ манифестѣ. Негодованіемъ, гнѣвомъ страны? Но маршалъ тотчасъ найдетъ многочисленнѣйшихъ послѣдователей въ этой же самой странѣ, какъ и всегда это бывало въ подобныхъ случаяхъ во Франціи. Что же тогда дѣлать? Баррикады строить? Но при нынѣшнемъ ружьѣ и при нынѣшней артиллеріи прежнія баррикады невозможны. Да

Франція и не захочетъ ихъ строить, если бъ даже и дѣйствительно она хотѣла республики. Утомленная и измученная столѣтней политической неурядицей, она самымъ прозаическимъ образомъ разсчитаетъ гдѣ сила и силѣ покорится. Сила теперь въ *легіонахъ*, и страна предчувствуетъ это. Весь вопросъ, стало быть, въ томъ: за кого легіоны?

II.

Любопытный характеръ.

О легіонахъ, какъ о новой силѣ, грядущей занять свое мѣсто въ европейской цивилизаціи, я уже писалъ въ май-іюньскомъ дневникѣ моемъ, то есть задолго до манифеста маршала-президента, — и вотъ все такъ и случилось, какъ мнѣ тогда показалось. Въ этомъ удивившемъ всѣхъ манифестѣ маршалъ хоть и обѣщаетъ слѣдовать законности, обѣщаетъ миръ и проч., но тутъ же, сейчасъ же, прямо говоритъ, что если страна не согласится съ его мнѣніемъ и пришлетъ ему съ предстоящихъ выборовъ прежнее республиканское большинство, то и онъ, въ свою очередь, принужденъ будетъ не согласиться съ мнѣніемъ страны и не подчиниться ея выборамъ. Такой удивительный поступокъ маршала долженъ же чѣмъ-нибудь мотивироваться. Не могъ бы онъ говорить такимъ языкомъ и тономъ съ страной (Франція не деревня какая-нибудь), если бъ не былъ твердо увѣренъ въ силѣ и успѣхѣ. А потому ясно уже теперь, что вся его надежда на армію, въ которой онъ совершенно увѣренъ. И дѣйствительно, во время лѣтнихъ путешествій по Франціи маршала, его во многихъ, слишкомъ, кажется, во многихъ городахъ и провинціяхъ встрѣчали довольно двумысленно, но армія и флотъ обнаружили вездѣ совершенную преданность и привѣтствовали маршала сочувственными криками. Сомнѣнія нѣтъ, что въ добрыхъ и даже, такъ сказать, неповинныхъ чувствахъ маршала нельзя сомнѣваться. Если онъ и поступилъ такъ не по обычаю, прямо объявивъ впередъ, что не послушается законнаго мнѣнія страны, если та сама его не послушается, то, конечно, лишь потому, что онъ желаетъ, по-своему, принесть странѣ благоденствіе и увѣренъ въ томъ, что принесетъ его. Итакъ, не въ нравственныхъ качествахъ маршала надобно сомнѣваться, а въ нѣкоторыхъ развѣ другихъ... И дѣйствительно, маршалъ, кажется, одинъ изъ такихъ характеровъ, которые не могутъ не

быть въ чьей-нибудь опекѣ, и съ этой стороны характеръ этотъ представляетъ собою нѣкоторыя замѣчательныя особенности. Вопросъ, напримѣръ: для кого онъ теперь работаетъ? Для кого такъ старается и для кого такъ рискуетъ? Сомнѣнія нѣтъ, что онъ кругомъ въ опекѣ, а, между тѣмъ, я увѣренъ въ томъ (впрочемъ, это все-таки личное мое мнѣніе), что лишь одинъ онъ, во всей Европѣ, даже до сихъ поръ совершенно убѣжденъ, что онъ ровно ни въ чьей опекѣ не состоитъ, а дѣйствуетъ самъ по себѣ. Ловкіе люди, овладѣвшіе имъ, вѣроятно, и поддерживаютъ въ немъ сами это убѣжденіе до времени и поддакиваютъ ему изо всѣхъ силъ, между тѣмъ направляя его безповоротно куда имъ угодно. Все это, конечно, потому, что они отлично знаютъ свойства подобныхъ характеровъ и ихъ самолюбій. Но такихъ ловкихъ людей можно найти только въ одной партіи, правда, въ огромнѣйшей и въ сильнѣйшей — въ клерикальной. Остальныя всѣ политическія партіи во Франціи не отличаются ловкостью. Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ: если маршалъ въ опекѣ, то въ чьей? Вотъ теперь совершенно извѣстно, что бонапартисты ужасно заволновались, что кандидатовъ они выставили множество, что самъ маршалъ покровительствуетъ ихъ кандидатамъ, что въ побѣдѣ на выборахъ они увѣрены, увѣрены и въ арміи, что императорскій принцъ уже переѣхалъ на континентъ, говорили даже, что поѣдетъ въ Парижъ. Но неужели однакоже повѣрить, что маршалъ Макъ-Магонъ, столь увѣренный въ себѣ президентъ «республики», беретъ на себя такую обузу хлопотъ и опасностей единственно, чтобъ воцарить императорскаго принца? Мнѣ кажется (и опять-таки это совершенно личное мое мнѣніе), мнѣ кажется, что нѣтъ. Развѣ, впрочемъ, есть тамъ совершенно особыя какія-нибудь комбинаціи. — напримѣръ, какой-то слухъ, пронесшійся по газетамъ, съ мѣсяцъ назадъ, что императорскій принцъ будто бы помолвленъ съ дочерью маршала и проч. Но если нѣтъ такихъ особенныхъ секретныхъ комбинацій, если особенныхъ соглашеній и договоровъ еще не существуетъ, то мнѣ кажется, что маршалъ наклоненъ скорѣе осчастливить страну въ *свою* пользу, чѣмъ въ чью-нибудь, и если поддерживаетъ бонапартистскихъ кандидатовъ, то увѣренный, что они все-таки всѣхъ надежнѣе, а что всѣхъ ихъ потомъ онъ направитъ какъ ему угодно. Богъ знаетъ какія у подобнаго ума могли зародиться мысли. Недаромъ же одинъ епископъ, въ привѣтственной рѣчи маршалу, уже вывелъ ему, что онъ происходитъ по женской линіи отъ Карла Великаго. Однимъ словомъ, нѣсколько лѣтъ президент-

ства, можетъ быть, дѣйствительно заронили въ душу его нѣкоторыя раздражающія и фантастическія впечатлѣнія. Къ тому же это и военный человѣкъ. Впрочемъ, всѣ эти разсужденія лишь мечтательныя попытки разъяснить загадочный характеръ. Истина же пока въ томъ, что маршалъ въ рукахъ клерикаловъ, и что они его направляютъ, хотя онъ, безъ сомнѣнія, думаетъ, что это онъ ихъ направляетъ, и что они въ рукахъ его, а не онъ въ ихъ рукахъ. Но они, конечно, ужъ не въ его рукахъ, и судьба Франціи, въ настоящій моментъ, рѣшительно, кажется, зависитъ отъ нихъ и *отъ нихъ однихъ*. Сомнѣнія нѣтъ, что все еще продолжается страшная подземная интрига, и хотя вся Европа давно уже, и съ самаго начала знала, что клерикалы въ настоящемъ западно-европейскомъ движеніи играютъ большую роль, но, кажется, тѣ все-таки до сихъ поръ скрываютъ и успѣли скрыть, *какого объема и какой силы эта ихъ роль*, лавируютъ и прячутся за другихъ до времени, за маршала, напримѣръ, за бонапартистовъ, и такъ продолжится дѣло до тѣхъ поръ, пока они не достигнутъ задуманной цѣли. Въ сущности имъ все равно: маршалъ ли успѣетъ, или императорскій принцъ. Симпатій личныхъ у нихъ нѣтъ и не должно быть. Для нихъ лишь задача одна: чтобъ Франція какъ можно скорѣе обнажила свой мечъ и ринулась на Германію. И вотъ для этой-то цѣли они и раздавили республиканцевъ, неспособныхъ стать за папу. Теперь же тихо и ловко выжидаютъ: за кѣмъ будетъ больше шансовъ? Если дѣйствительно императорскій принцъ представитъ имъ больше шансовъ въ способности объявить войну, то, можетъ быть, они за него уцѣпятся и проведутъ его въ Парижъ, уже не думая о Макъ-Магонѣ. Но пока они, кажется, все еще держатся маршала. Кстати, недавно еще, говорятъ, маршалъ въ разговорѣ вслухъ упомянулъ: «Про меня распространяютъ, что я хочу уничтожить республиканскія учрежденія, и забываютъ, конечно, что я, принимая президентство республики, далъ слово ихъ сохранить». Слова эти могутъ подтвердить вполнѣ догадку о нравственной невинности маршала, несмотря на всѣ обвиненія республиканцевъ. Какъ честному и военному человѣку, ему, стало быть, дорого его честное слово, и ужъ, конечно, онъ ему не измѣнитъ. Но если онъ сохранитъ республику и въ то же время прогонитъ республиканцевъ, то значитъ имѣетъ въ виду продолжать республику безъ республиканцевъ. Надо думать, что такова дѣйствительно политическая программа его и что его увѣрили, что она совершенно возможна Эта программа, вмѣстѣ съ тезисомъ: J'y suis et j'y reste

(сѣлъ и не сойду) составляетъ, очевидно, циклъ всѣхъ его политическихъ убѣжденій вплоть до 1880 года, когда кончается срокъ его президентству, а стало быть, и честному слову его. Но тогда уже начнется мечта: «Благодарная страна, видя, что онъ оставляетъ президентство, предложитъ ему, за спасеніе ея отъ демагоговъ, другую новую должность, ну хоть Карла Великаго, и тогда все пойдетъ опять какъ по маслу». Само собою при этомъ, что движущіе его хитрые люди, въ томъ случаѣ, если онъ въ самомъ дѣлѣ пожелаетъ исполнить свое честное слово и сохранить республиканскія учрежденія, промѣняютъ его тотчасъ же на Бонапарта, если сохраненная республика, хотя бы и безъ республиканцевъ, помѣшаетъ ихъ дальнѣйшимъ планамъ. Въ виду того они, кажется, и склонили его, на всякій случай, поддерживать бонапартистскія кандидатуры, увѣривъ его, что это для него хорошо. Во всякомъ случаѣ, онъ продолжаетъ быть въ такой твердой опекѣ, что уже изъ нея не выскочитъ. Однимъ словомъ, міръ ожидаютъ какія-то большія и совершенно новыя событія, предчувствуется появленіе легіоновъ, огромное движеніе католичества. Здоровье папы, пишутъ, «удовлетворительно». Но бѣда, если смерть папы совпадетъ съ выборами во Франціи или произойдетъ вскорѣ послѣ нихъ. Тогда Восточный вопросъ можетъ разомъ переродиться во всеевропейскій...

III.

То да не то. Ссылка на то, о чемъ я писалъ еще три мѣсяца назадъ.

Я изложилъ эту мысль мою довольно подробно въ лѣтнемъ май-іюньскомъ «Дневникѣ» моемъ, но на главное мѣсто этой статьи моей, т. е., что весь ключъ теперешнихъ и грядущихъ событій всей Европы *лежитъ въ католическомъ заговорѣ* и въ предстоящемъ, несомнѣнномъ и огромномъ движеніи католичества, совпадающемъ съ чрезвычайно близкою, по всей вѣроятности, смертью папы и выборамъ папы новаго, — на это главное мѣсто статьи моей, кажется, никто не обратилъ вниманія, и статья прошла (въ печати) безслѣдно.

Между тѣмъ, теперь я еще сильнѣе и увѣреннѣе держусь того же мнѣнія, чѣмъ два мѣсяца назадъ. Съ тѣхъ поръ было столько событій, подтвердившихъ мнѣ мою догадку, что я уже не могу сомнѣваться теперь въ

ся справедливости. Съ тѣхъ поръ и газеты, наши и иностранныя, стали поговаривать какъ будто на эту же тему, но все еще какъ бы не рѣшаясь проговорить окончательный выводъ. Вотъ что говорили недавно «Московскія Вѣдомости» въ превосходной передовой статьѣ своей («Московскія Вѣдомости» № 235). Они цитуютъ, между прочимъ, мнѣніе корреспондентовъ англійскихъ газетъ:

Кореспонденты англійскихъ газетъ пускаются въ весьма откровенныя объясненія. Ключъ европейской политики, по ихъ толкованію, въ рукахъ Германіи, и Германія именно расположена еще тверже держаться Россіи, чѣмъ прежде, по разсчетамъ весьма понятнымъ. Во-первыхъ, въ Берлинѣ увидѣли, что неудачи русской стратегіи оживили и ободрили Австрію, которая, какъ полагаютъ, все еще питаетъ нѣкоторую досаду противъ Пруссіи. Затѣмъ главные враги Германіи — Франція и католицизмъ, и обѣ эти силы все свое сочувствіе отдаютъ на сторону Турціи. Въ началѣ восточныхъ замѣшательствъ Франція, правда, нѣсколько кокетничала съ Россіей, но если тогда и было въ странѣ нѣкоторое сочувствіе къ намъ, то оно теперь не только охладѣло, но совершенно повернулось на сторону турокъ. Что касается воинствующаго католицизма, то онъ не только теперь, но и съ самаго начала рѣшительно и со страстью, какъ всѣмъ извѣстно, взялъ подъ свою защиту правовѣрную Турцію противъ схизматической Россіи. Неприличіе рьяныхъ клерикаловъ дошло до того, что одинъ изъ нихъ отзывался съ нѣкоторою нѣжностью о Коранѣ, такъ что даже ультрамонтанская „Germania“ нашла нужнымъ умѣрить подобныя выходки замѣчаніемъ, что хотя и должно радоваться побѣдамъ турокъ надъ ненавистными русскими, но неловко выражать прямо сочувствіе исламу. Такъ какъ mot d'ordre католицизма замѣчательно совпадаетъ съ перемѣной общественнаго мнѣнія Франціи въ пользу турокъ, и такъ какъ Австрія, тоже католическая, имѣетъ интересы противные Россіи, то въ Берлинѣ естественно опасаются возможности такой католической и антипрусской лиги, въ которую могли бы потомъ быть привлечены ультрамонтанскіе и сепаратистскіе интересы Южной Германіи и „даже Англія“. Такъ толкуютъ англійскіе корреспонденты, но несомнѣнно что Англіи принадлежитъ главная роль въ интригахъ.

Итакъ, мы попрежнему остаемся наединѣ съ Турціей.

Все это превосходно и, однако, все еще это не то, не настоящее объясняющее и послѣднее слово, которое, къ удивленію, никто какъ будто не хочетъ высказать, даже какъ будто еще и не предчувствуетъ въ надлежащей полнотѣ. Въ этой статьѣ заговорили однако уже и о *воинствующемъ католицизмѣ*, и о значеніи католицизма въ глазахъ Бисмарка, и о теперешнемъ вліяніи его на Францію, и, наконецъ, даже *о лигѣ*, о томъ, что въ Берлинѣ *естественно опасаются возможности такой католической и антипрусской лиги, въ которую могли бы потомъ быть привлечены ультрамонтанскіе и сепаратистскіе интересы Южной Германіи и «даже Англія»*. Но вотъ о лигѣ-то, о *заговорѣ*-то католическомъ я и говорилъ еще два мѣсяца слиш-

комъ передъ тѣмъ, какъ теперь заговорили, но я сказалъ тогда и послѣднее заключительное слово мое, то есть, что въ заговорѣ-то этомъ все дѣло и заключается, что отъ него теперь все въ Европѣ и зависитъ, и что даже самая Восточная война можетъ въ самомъ скоромъ времени обратиться во всеевропейскую, единственно вслѣдствіе этого огромнаго заговора умирающаго римскаго католичества. Между тѣмъ, въ этихъ «мнѣніяхъ корреспондентовъ» и во всей превосходной статьѣ «Московскихъ Вѣдомостей» все еще какъ будто не хотятъ допустить эту мысль, и даже вмѣсто того утверждаютъ, что «Англіи, несомнѣнно, принадлежитъ главная роль въ интригахъ» и что *мы «попрежнему остаемся наединѣ съ Турціей»*. Но такъ ли это? Наединѣ ли? Не предстоитъ ли, напротивъ, въ самомъ ближайшемъ будущемъ, что мы вдругъ очутимся не наединѣ съ Турціей, а наединѣ со всей Европой.

Въ самомъ дѣлѣ, что же такое этотъ «воинствующій католицизмъ», который начали уже замѣчать и признавать всѣ въ настоящихъ событіяхъ, откуда такая воинственность и даже «до страсти», съ которою католицизмъ взялъ подъ свою «защиту» правовѣрную Турцію противъ схизматической Россіи? Неужто все изъ-за того только, «что Россія страна схизматическая»? Католичеству въ настоящее время столько хлопотъ и насущныхъ заботъ, что обо всѣхъ этихъ древнихъ церковныхъ препираніяхъ ему некогда бы и думать. А главное, откуда эта «лига католическая», которой такъ боятся въ Берлинѣ? Вотъ объ этомъ-то обо всемъ я и распространился два слишкомъ мѣсяца назадъ, желая объяснить это. И выводъ мой былъ тотъ, что эта лига, которую теперь уже признаютъ и другіе, есть твердый и строго организованный католическій *заговоръ* въ видахъ обновленія римскаго свѣтскаго владычества, существующій въ настоящую минуту во всей Европѣ, что заговоръ этотъ будетъ имѣть громадное вліяніе на всѣ текущія событія Европы, и что, стало быть, ключъ ко всѣмъ современнымъ *интригамъ* лежитъ не тамъ и не здѣсь, и не въ одной только Англіи, а именно въ этомъ несомнѣнномъ всемірномъ католическомъ заговорѣ!

Воинствующій католицизмъ беретъ яростно «и со страстью» противъ насъ сторону турокъ. И даже въ Англіи, даже въ Венгріи нѣтъ столь яростныхъ ненавистниковъ Россіи въ настоящую минуту, какъ эти воинствующіе клерикалы. Не то что какой-нибудь прелатъ, а самъ папа, громко, въ собраніяхъ Ватиканскихъ, съ радостью говорилъ о «побѣдахъ турокъ» и предрекалъ

Россіи «страшную будущность». Этотъ умирающій старикъ, да еще «глава христіанства» не постыдился высказать всенародно, что каждый разъ съ веселіемъ выслушиваетъ о пораженіи русскихъ. Эта страшная ненависть станетъ совершенно понятною, если признать, что римское католичество дѣйствительно теперь «воинствуетъ» и дѣйствительно на дѣлѣ, *т. е. мечемъ*, ведетъ теперь въ Европѣ войну противъ страшныхъ и роковыхъ враговъ своихъ. Но кто теперь въ Европѣ самый страшный врагъ римскаго католичества, т. е. свѣтской монархіи папы? Безспорно, князь Бисмаркъ. Самый Римъ былъ отнятъ у папы въ ту самую минуту величія Германіи и Бисмарка, въ которую Германія раздавила главнаго тогдашняго защитника папства, Францію, и тѣмъ тотчасъ же развязала руки королю итальянскому, немедленно и занявшему Римъ. Съ тѣхъ поръ вся забота католичества состояла въ томъ, чтобъ отыскать врага и соперника Германіи и князю Бисмарку. Самъ же князь Бисмаркъ, съ своей стороны, отлично понимаетъ, во всей широтѣ, и давно уже, что римское папское католичество, кромѣ того что есть вѣчный врагъ протестантской Германіи, столько вѣковъ протестовавшей противъ Рима и идеи его во всѣхъ ея видахъ, и противъ всѣхъ союзниковъ ея, покровителей и послѣдователей, но и понимаетъ сверхъ того, что католичество есть именно *теперь*, т. е. въ самую важную минуту для объединенной Германіи — самый вреднѣйшій элементъ изъ всѣхъ мѣшающихъ этому объединенію ея, т. е. завершенію зданія, надъ которымъ во всю жизнь такъ много потрудился князь Бисмаркъ. И кромѣ того въ Берлинѣ опасаются «возможности» такой католической и антипрусской лиги, въ которую могли бы потомъ быть привлечены ультрамонтанскіе и сепаратистскіе интересы Южной Германіи, — въ Берлинѣ, кромѣ того, опасаются, и давно уже предвидѣли, что католичество, рано ли, поздно ли, а непремѣнно послужитъ поводомъ къ будущему подъему Франціи на унизившую, побѣдившую и разорившую ее Германію, и что поводъ этотъ римское католичество подастъ первѣе и скорѣе всѣхъ другихъ, и что, стало быть, самая важнѣйшая опасность объединенной Германіи кроется именно въ римскомъ католичествѣ, а не въ чемъ другомъ. И берлинское предвидѣніе это выходило изъ естественно представлявшагося и естественно необходимаго соображенія, что, во-первыхъ, во всемъ мірѣ у папства нѣтъ теперь другого защитника кромѣ все той же Франціи, что на ея лишь мечъ она единственно можетъ разсчитывать, *если только этотъ мечъ она успѣетъ опять*

твердо захватить въ свою руку, и во-вторыхъ, что римское католичество есть еще далеко не раздавленный врагъ, что врагъ этотъ тысячелѣтній, что жить этому врагу хочется страстно, чо живучесть его феноменальна, что силъ у него еще множество и что столь огромная историческая идея, какъ свѣтская папская власть, не можетъ угаснуть въ одну минуту. Однимъ словомъ, въ Берлинѣ не только сознали врага, но и силу его. Въ Берлинѣ не презираютъ враговъ своихъ прежде боя.

Но если католичеству такъ хочется жить, и надобно жить, и если мечъ, который могъ бы его защитить, лишь въ рукахъ одной Франціи, то выходитъ ясно, что Римъ и не уступитъ изъ рукъ Францію, особенно если дождется удобной минуты. Эта удобная минута наступила весною, — это русская война съ турками, Восточный вопросъ. Въ самомъ дѣлѣ: кто главнѣйшій союзникъ Германіи? Разумѣется, Россія. Это отлично понимаютъ въ Римѣ. Вотъ почему такъ и обрадовался папа русскимъ «неудачамъ». Значитъ, главнѣйшій союзникъ самаго страшнаго врага папской власти отвлеченъ теперь отъ своего исконнаго союзника, Германіи, войной, а стало быть, Германія теперь одна, — стало быть, и наступила именно та минута, которую такъ давно ожидало католичество: когда же, какъ не теперь, всего удобнѣе разжечь застарѣлую ненависть и бросить Францію въ войну возмездія на Германію?

Къ тому же какъ разъ подходятъ и другіе роковые сроки для католичества, такъ что медлить уже нельзя ему ни минуты. Приближается неизбѣжно скорая смерть папы и избраніе новаго, и въ Римѣ слишкомъ хорошо знаютъ, что князь Бисмаркъ употребитъ весь свой умъ и всѣ свои силы, чтобы нанести послѣдній и самый страшный ударъ папской власти, повліявъ изъ всѣхъ силъ на избраніе новаго папы, но такъ, чтобы обратить его изъ свѣтскаго владыки и государя не болѣе какъ въ простого патріарха, и если можно, то съ его же и согласія, и такимъ образомъ, раздѣливъ католичество на двѣ враждебныя части — добиться его распаденія и разрушенія всѣхъ замысловъ, претензій и надеждъ его уже навѣки. А потому какъ же ему не спѣшить противъ Бисмарка всѣми мѣрами? И вотъ, опять-таки, какъ разъ тутъ подвертывается Восточный вопросъ! О, теперь уже можно пріискать для Франціи и союзниковъ, которыхъ она нигдѣ столько лѣтъ не могла найти, теперь можно сплотить даже цѣлую коалицію. Пусть вся Европа обольется кровью, но зато восторжествуетъ папа, а для римскихъ исповѣдниковъ Христа это все.

Вотъ они и начали работать. Прежде всего, надо было добиться, чтобы Франція стала за нихъ. Какъ это сдѣлать? Они уже сдѣлали. Теперь уже всѣ политики Европы и вся европейская печать признаютъ, что майскій переворотъ во Франціи произведенъ клерикалами, но, опять-таки повторяю, всѣ какъ будто еще не признаютъ за этимъ фактомъ того основного значенія, которое оно заключаетъ въ себѣ. Всѣ какъ будто рѣшили, мѣсяца четыре назадъ, что клерикалы произвели переворотъ во Франціи для того только, чтобы получить себѣ въ ней болѣе простору, извѣстныя выгоды, льготы, расширеніе правъ. Тогда какъ невозможно и представить себѣ, чтобы переворотъ былъ затѣянъ не съ самыми радикальными цѣлями, т. е., чтобы добиться (въ видахъ близкихъ смутъ, по смерти папы, въ римской Церкви) скорѣйшей и неотложной войны Франціи съ Германіей, именно войны! И увидите, чѣмъ бы ни кончилось дѣло, а они добьются своего, добьются войны, въ которой, если восторжествуетъ Франція, то, можетъ быть, и папа добьется вновь свѣтской власти.

Они сдѣлали удивительно ловкое дѣло, и, главное, выбрали такую минуту, когда все какъ будто сошлось для ихъ успѣха. Начать имъ надо было съ того, чтобы прогнать республиканцевъ, которые ни за что бы не поддержали папу и никогда бы не рѣшились войну съ Германіей. Они ихъ прогнали. Надо было, сверхъ того, заставить маршала Макъ-Магона сдѣлать непоправимую ошибку (именно непоправимую), чтобы направить его уже на безповоротный путь; онъ и сдѣлалъ эту ошибку: онъ прогналъ республиканцевъ и объявилъ на всю Францію, что они уже не воротятся. Итакъ, начало уже положено твердое, и клерикалы пока спокойны: они знаютъ, что если Франція пришлетъ опять въ палату республиканское большинство, то маршалъ отошлетъ его назадъ. Гамбетта объявилъ, что маршалу придется или покориться рѣшенію страны, или оставить мѣсто. Такъ рѣшили за нимъ и всѣ республиканцы, но они забыли, что девизъ маршала: J'y suis et j'y reste (сѣлъ и не сойду), и онъ не сойдетъ съ мѣста. Ясно, что вся надежда маршала на преданность легіоновъ. Преданностью же легіоновъ маршалу или кому бы то ни было хотять воспользоваться и клерикалы. Былъ бы только окончательно завершенъ для нихъ государственный переворотъ, а они уже его направятъ по-своему. Вѣроятнѣе всего, что такъ и сбудется: они будутъ подлѣ узурпатора, они будутъ направлять его. А если бы даже и не были, то дѣло даже и безъ нихъ пошло бы теперь уже

само собою, благо, на настоящую точку ими поставлено, совершился бы только государственный поворотъ: они знаютъ, какое колоссальное впечатлѣніе произведетъ на князя Бисмарка *всякая государственная перемѣна во Франціи.* Онъ еще въ 1875 году стремился объявить войну Франціи, боясь ея каждогодняго усиленія. Республиканцы, которыхъ онъ протежировалъ, не посмѣли бы начать съ нимъ войну сами ни подъ какимъ бы даже предлогомъ, и отчасти онъ былъ спокоенъ доселѣ, видя ихъ во главѣ враждебнаго государства, несмотря даже на каждогоднее усиленіе его. Но зато всякій новый переворотъ во Франціи естественно заставитъ его до крайности взволноваться. И въ какую минуту: когда Германія оставлена безъ естественнаго своего союзника, Россіи, когда Австрія (тоже старый соперникъ Германіи), въ которой такъ много враждебныхъ Германіи католическихъ элементовъ, такъ вдругъ сознала себѣ всю цѣну, и когда Англія, съ самаго начала Восточной войны, съ такимъ раздражительнымъ нетерпѣніемъ ждетъ и ищетъ себѣ въ Европѣ союзника! Ну что если Франція, должны разсуждать въ Берлинѣ, — съ своимъ будущимъ новымъ правительствомъ во главѣ и около котораго снуютъ клерикалы, направляютъ его и владѣютъ имъ — что, если Франція вдругъ догадается, что если уже быть войнѣ возмездія, то никогда она не найдетъ болѣе удобной минуты, какъ теперь, чтобы начать ее, и такихъ значительныхъ союзниковъ, какъ теперь, чтобы поддержать ее! А что если какъ разъ къ тому случаю умретъ папа (что такъ возможно)? Что если клерикалы заставятъ новое французское правительство заявить князю Бисмарку, что взгляды его на избраніе новаго папы съ мнѣніемъ Франціи не согласны (а это уже непремѣнно случится, если будутъ прогнаны республиканцы)? Что если новое французское правительство при томъ догадается, что если ему удастся (въ видахъ возможности найти въ Европѣ могучихъ союзниковъ) отвоевать хоть одну изъ отнятыхъ у Франціи въ 1871 году провинцій, то этимъ оно упрочитъ свою власть и вліяніе въ странѣ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ на двадцать? Нѣтъ, какъ тутъ не волноваться!

А, главное, тутъ и еще одно маленькое обстоятельство нѣмецъ заносчивъ и гордъ, нѣмецъ не потерпитъ непокорности. До сихъ поръ Франція была въ полной и послушной опекѣ Германіи, давала отчетъ на запросы ея чуть не въ каждомъ движеніи своемъ, должна была объясняться и извиняться за каждую прибавленную дивизію въ войскѣ, за каждую батарею, и вдругъ теперь

эта Франція осмѣлиться поднять голову! Такъ что клерикалы, пожалуй, смѣло могутъ разсчитывать, что чуть ли не самъ князь Бисмаркъ первый и начнетъ войну. Хотѣлъ же онъ ее начать въ 1875 году. Не начать войну — значитъ, упустить изъ рукъ Францію уже навѣки. Правда, въ 1875 году было не то, что теперь, но если Австрія будетъ на сторонѣ Германіи, то.... Однимъ словомъ, въ недавнемъ свиданіи верховныхъ министровъ Германіи и Австріи, вѣроятно, говорили не объ одномъ лишь Восточномъ вопросѣ. И если есть теперь въ мірѣ государство въ самомъ выгодномъ внѣшне-политическомъ положеніи, то это именно Австрія!

IV.

О томъ, что думаетъ теперь Австрія.

Но скажутъ: въ Австріи волненія, половина Австріи не хочетъ того, чего хочетъ ея правительство. Въ Венгріи манифестаціи, Венгрія такъ и рвется противъ русскихъ за турокъ. Открытъ какой-то даже заговоръ, англо-мадьяро-польскій. Съ другой стороны славянскіе элементы ея территоріи хоть и за правительство въ настоящую минуту, но и на нихъ правительство Австріи посматриваетъ косо и подозрительно, даже, можетъ быть, косѣе, чѣмъ на венгерцевъ. А если такъ, то можно ли сказать, что Австрія, въ данную минуту, въ самомъ выгодномъ политическомъ положеніи, въ какомъ только можетъ находиться европейское государство?

Да это правда. Правда, что католическая работа идетъ несомнѣнно въ Австріи. Клерикалы дальновидны, имъ ли не понять теперешняго значенія этой страны, имъ ли упустить случай. И уже, разумѣется, они не упускаютъ случая разжечь въ этой католической и «христіаннѣйшей» землѣ всевозможныя волненія, подъ всевозможными до неузнаваемости предлогами, видами и формами. Только вотъ что: кто знаетъ, можетъ быть, въ Австріи, хотя и дѣлаютъ, конечно, видъ, что очень сердятся на эти волненія, но въ сущности, пожалуй, и не очень на нихъ сердятся, можетъ быть, даже совсѣмъ напротивъ: берегутъ эти волненія *на всякій случай* въ видахъ того, что они могутъ пригодиться въ ближайшемъ будущемъ... Всего очевиднѣе, впрочемъ, то, что Австрія, хотя и чувствуетъ себя въ самомъ счастливомъ политическомъ положеніи, но, въ видахъ текущихъ событій, на *дальнюю* и очень

опредѣленную политику еще, можетъ быть, не рѣшилась, а только еще присматривается и ждетъ: что повелитъ ей сдѣлать *благоразуміе?* Если же и рѣшилась на что-нибудь, то развѣ на политику *ближайшую,* да и то условно. Вообще она въ самомъ блаженномъ состояніи духа, рѣшается не спѣша, ждетъ, зная, что ее всѣ ждутъ и что всѣ въ ней нуждаются, прицѣливается на добычу, которую выбираетъ сама, и сладостно облизывается въ видахъ близкихъ и уже неминуемыхъ благъ.

На недавнихъ свиданіяхъ канцлеровъ обоихъ нѣмецкихъ государствъ, можетъ быть, очень много было затронуто «условнаго». По крайней мѣрѣ, австрійскимъ правительствомъ было уже объявлено у себя во всеуслышаніе, что ничто на Востокѣ не произойдетъ и не разрѣшится внѣ интересовъ Австріи — мысль чрезвычайно обширная. Такимъ образомъ, даже и не дотронувшись до меча, Австрія уже увѣрена, что будетъ имѣть знатное участіе въ русскихъ успѣхахъ, если таковые окажутся. И можетъ быть, еще знатнѣйшее, если таковые совсѣмъ не окажутся. И это еще слѣдуя только ближайшей политикѣ! А въ дальнѣйшей? Всѣ уже и теперь такъ въ ней нуждаются, ищутъ ея мнѣнія, ея нейтралитета, обѣщаютъ, дарятъ уже ее, можетъ быть, и это только за то, что она сидитъ и говоритъ: «Гм». Но не можетъ же эта держава, столь сознающая, конечно, теперь себѣ цѣну, не разсчитывать и на шансы дальнѣйшей своей политики, которая никому еще неизвѣстна, несмотря даже на дружескія свиданія канцлеровъ, я увѣренъ въ томъ. Увѣренъ даже, что до самаго послѣдняго и самаго рокового момента эта политика никому не будетъ извѣстна — что будетъ совершенно по преданіямъ и традиціямъ исконной политики Австріи. И жадно, жадно, можетъ быть, теперь присматривается она къ Франціи, ждетъ судьбы ея, ждетъ новыхъ интереснѣйшихъ фактовъ, и, главное, въ самомъ самодовольнѣйшемъ расположеніи духа. Но нельзя ей, однако, и не волноваться: можетъ быть, очень скоро придется ей рѣшиться даже на самую дальнѣйшую политику и уже безповоротно: волненіе, конечно, въ ея положеніи пріятное, но сильное. Вѣдь понимаетъ же она, и, можетъ быть, очень тонко, что при всякомъ теперешнемъ переворотѣ во Франціи (столь близкомъ и столь возможномъ), при всякомъ даже новомъ правительствѣ во Франціи (только бы не опять республиканскомъ), шансы столкновенія Германіи съ Франціей *рѣшительно неизбѣжны,* и даже въ томъ случаѣ, если бъ новые правители Франціи и сами не пожелали войны, а, напротивъ, стремились бы изо всѣхъ силъ сохранить прежній миръ.

О, Австрія, можетъ быть, лучше всѣхъ способна постигнуть, что есть такіе моменты въ жизни націй, когда уже не воля и не разсчетъ ихъ влекутъ къ извѣстному дѣйствію, а сама судьба.

Я позволю себѣ теперь вдаться въ одну фантастическую мечту (и, конечно, только мечту). Я позволю представить себѣ, какъ думаетъ Австрія въ настоящую горячую и неопредѣленную минуту объ этой самой своей *дальнѣйшей* политикѣ, на которую, она, конечно, еще не рѣшилась, такъ какъ и факты не всѣ еще ясно обозначились, но однако кто-то уже стучится въ дверь, она видитъ это, кто-то непремѣнно хочетъ войти даже и ручку замка уже повернулъ, но дверь еще не отворилась, и кто войдетъ еще никому неизвѣстно. Во Франціи загадка, тамъ она и разрѣшится, а пока Австрія сидитъ и *думаетъ*, да и какъ ей не думать; если обнажатся мечи, если Германія и Франція бросятся другъ на друга уже окончательно, то за кого она тогда станетъ, съ кѣмъ она тогда будетъ? Вотъ самый *дальнѣйшій* вопросъ, а между тѣмъ, такъ скоро, можетъ быть, придется ей дать на него отвѣтъ!

Такъ какъ же ей не знать теперь себѣ цѣну: вѣдь за кого она вынетъ мечъ, тотъ и восторжествуетъ. Что говорено на свиданіи канцлеровъ обѣихъ нѣмецкихъ имперій никому неизвѣстно, но намеки-то между ними ужъ навѣрно были. Какъ не быть намекамъ. Можетъ быть, и яснѣе что-нибудь было сказано и *предложено*, чѣмъ только намеки. Однимъ словомъ, подарковъ и гостинцевъ обѣщано ей множество и это несомнѣнно, такъ что она совершенно увѣрена, что останься она въ союзѣ съ Германіей, въ случаѣ войны ея съ Франціей, то получится за это... *много*. И всего только за какой-нибудь *нейтралитетъ*, за то только, что посидитъ какія-нибудь полгода смирно на мѣстѣ, въ ожиданіи награды за доброе свое поведеніе,—вотъ что вѣдь всего пріятнѣе! Потому что дѣятельнаго участія ея противъ Франціи, я думаю, никакому канцлеру отъ нея не добиться, ужъ Австрія-то такой ошибки не сдѣлаетъ: не пойдетъ она добивать на смерть Францію, напротивъ, можетъ быть, защититъ ее въ самую послѣднюю роковую минуту дипломатическимъ предстательствомъ, и тѣмъ обезпечитъ себѣ и еще награду. Нельзя же ей остаться *совсѣмъ безъ Франціи* въ дружескихъ объятіяхъ у такого гиганта, въ какого вырастетъ, послѣ второй побѣды надъ Франціею, Германія. Пожалуй, вдругъ обниметъ ее потомъ гигантъ, да такъ сожметъ, невзначай, разумѣется, что раздавитъ какъ муху. А тутъ еще и другой восточный гигантъ,

направо у ней, встанетъ, наконецъ, совсѣмъ съ своего вѣкового ложа...

— «Хорошее поведеніе — хорошая вещь», можетъ быть, думаетъ теперь про себя Австрія, «но ..» Однимъ словомъ, въ воображеніи ея не можетъ не мелькнуть и другая мечта, самая, впрочемъ, фантастическая:

«Переворотъ во Франціи можетъ начаться даже нынѣшней осенью, и, можетъ быть, скоро, очень скоро кончится. Если пропадетъ республика, или останется въ какомъ-нибудь номинально-нелѣпомъ видѣ, то, можетъ быть, зимою же успѣютъ произойти съ Германіей несогласія. Клерикалы объ этомъ ужъ постараются, тѣмъ болѣе, что папа навѣрно умретъ къ тому времени, и тогда избраніе его тотчасъ же подастъ предлогъ къ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ. Но и не умри папа, возможность недоразумѣній и столкновеній останется во всей силѣ. И если только Германія твердо рѣшится, то къ веснѣ же и начнется война. На другомъ концѣ Европы зимняя кампанія противъ Турціи, кажется, тоже неизбѣжна, такъ что союзникъ Германіи къ веснѣ все еще будетъ занятъ. Итакъ, если загорится война возмездія, то Франція тотчасъ же найдетъ двухъ союзниковъ: Англію и Турцію.

«Германія, стало быть, будетъ одна... съ Италіею, т. е. почти все равно что одна. О, конечно, Германія заносчива и могуча. Но вѣдь и Франція успѣла оправиться: у ней войска милліонъ, и все же Англія хоть какая-нибудь да помощь: надо будетъ охранять отъ ея флота нѣмецкіе приморскіе города, стало быть, все же оставить войско, артиллерію, оружіе, припасы. Все же это хоть чѣмъ-нибудь да ослабитъ Германію. «Однимъ словомъ, шансовъ, чтобъ сразиться съ успѣхомъ, у Франціи и безъ меня довольно», думаетъ Австрія, — «по крайней мѣрѣ, вдвое больше, чѣмъ было въ семидесятомъ году, такъ какъ Франція навѣрно не сдѣлаетъ теперь тогдашнихъ ошибокъ. Затѣмъ, разбита ли будетъ Франція или нѣтъ, а я все-таки мое получу на Востокѣ: ничего на Востокѣ не разрѣшится въ противность интересамъ Австріи. Это уже рѣшено и подписано. Но... что, если я, въ самую-то рѣшительную минуту, благоразумно сохранивъ за собой всю свободу рѣшенія, возьму да и стану за Францію, да и мечъ еще выну!»

Въ самомъ дѣлѣ, что тогда выйдетъ?

Австрія очутится разомъ между тремя врагами: Италіей, Германіей и Россіей. Но Россія будетъ страшно занята своей войной и ей будетъ не до нападеній. Италіи можно, во всякомъ случаѣ, не очень ужъ бояться.

Остается одна Германія, но если она и вышлетъ на Австрію силу, то хоть и ослабитъ тѣмъ себя, но, ужъ, конечно, не очень большую силу, потому что ей понадобятся всѣ силы ея на Францію. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшись только Австрія на союзъ съ Франціей, и Франція бросится на Германію, можетъ быть, ужъ сама первая, если бъ даже Германія и не захотѣла драться. Франція, Австрія, Англія и Турція противъ Германіи съ Италіей— это страшная коалиція! Успѣхъ очень и очень можетъ быть возможенъ. А при успѣхѣ, Австрія можетъ вдругъ воротить все утраченное при Садовой, даже ухъ какъ болѣе того. Затѣмъ, на Востокѣ выгодъ своихъ и всего уже ей обѣщаннаго она тоже никакъ не потеряетъ. А главное, несомнѣнно выиграетъ въ своемъ вліяніи въ католической Германіи. Будь побѣждена Германія, даже и не побѣждена, а только воротись она не совсѣмъ удачно съ войны — и единство Германіи сильно и вдругъ покачнется. Въ южной католической Германіи явится сепаратизмъ, о которомъ, сверхъ того, постараются изо всѣхъ силъ клерикалы и которымъ Австрія уже, конечно, воспользуется . . . даже до того, что, можетъ быть, явятся тогда двѣ Германіи, двѣ объединенныя Германскія имперіи, католическая и протестантская. А засимъ, усилившись тогда нѣмецкимъ элементомъ, Австрія могла бы посягнуть и на свой «дуализмъ», поставить Венгрію въ прежнія, древнія и почтительныя къ себѣ отношенія, а затѣмъ, разумѣется, распорядиться ужъ и съ своими славянами, и этакъ какъ-нибудь ужъ навѣки!.. Однимъ словомъ, выгоды могли бы быть неисчислимы! Даже и въ томъ, наконецъ, случаѣ, если Германія останется побѣдительницей, можетъ быть, не будетъ еще такой побѣды, такъ какъ не можетъ же она побѣдить такую сильную коалицію такъ *окончательно,* какъ въ 1871 году, а, напротивъ, навѣрно сама натретъ себѣ бока. Стало быть, миръ можетъ быть заключенъ безъ особенно страшныхъ послѣдствій. «И такъ, за кого же стать? Гдѣ лучше, съ кѣмъ выгоднѣе?»

Въ виду настоящаго хода дѣлъ въ Европѣ такіе радикальные вопросы про себя — въ Австріи несомнѣнны...

V.

Кто стучится въ дверь? Кто войдетъ? Неизбѣжная судьба.

Когда я начиналъ эту главу, еще не было тѣхъ фактовъ и сообщеній, которые теперь вдругъ наполнили всю

европейскую прессу, такъ что все, что я написалъ въ этой главѣ еще гадательно, подтвердилось теперь почти точнѣйшимъ образомъ. «Дневникъ» мой явится въ свѣтъ еще въ будущемъ мѣсяцѣ, 7 октября, а теперь всего 29 сентября, и мои, такъ сказать, «прорицанія», на которыя я рѣшился въ этой главѣ, какъ бы рискуя, окажутся отчасти уже устарѣлыми и совершившимися фактами, съ которыхъ я скопировалъ мои «прорицанія». Но осмѣлюсь напомнить читателямъ «Дневника» мой лѣтній май-іюньскій выпускъ. Почти все, что я написалъ въ немъ о ближайшемъ будущемъ Европы, теперь уже подтвердилось или *начинаетъ подтверждаться*. И, однако, я слышалъ тогда еще мнѣнія о той статьѣ: ее назвали (правда, частные люди) «изступленнымъ бѣснованіемъ», фантастическимъ преувеличеніемъ. Надъ силою и значеніемъ клерикальнаго разговора просто смѣялись, да и заговора совсѣмъ не признавали. Я, впрочемъ, еще недѣли двѣ всего тому назадъ слышалъ мнѣніе отъ «компетентнаго» лица, что фактъ смерти и избранія новаго папы совершенно ничтоженъ и пройдетъ въ Европѣ безслѣдно. Но даже теперь уже извѣстно, какую важность придаетъ ему Бисмаркъ и о чемъ было говорено въ Берлинѣ съ Криспи. Я написалъ въ май-іюньскомъ «Дневникѣ» моемъ, что геній князя Бисмарка постигъ, еще съ самой франко-прусской войны, что самый страшный врагъ новообъединенной Германіи есть римскій католицизмъ, который прежде всего послужитъ предлогомъ къ великой войнѣ «возмездія», которая и охватитъ всю Европу. Это нашли нелѣпымъ, и проч. и проч. И это все потому, что я написалъ объ этомъ тогда, когда еще никто, ни у насъ, ни въ европейской прессѣ и не думалъ объ этихъ вещахъ заботиться, несмотря на Восточную войну, уже гремѣвшую въ мірѣ и заботившую всѣхъ. Всѣмъ тогда представлялось, что такъ однимъ Востокомъ и кончится. Впрочемъ, и теперь, можетъ быть, еще никто не вѣритъ въ *неминуемость* европейской войны въ ближайшемъ будущемъ. Напротивъ, недавно еще серьезно обращали вниманіе на мнѣніе компетентныхъ англичанъ (рѣчь Нордскота), что можно еще до зимы замирить. Такъ что, пожалуй, я напрасно считаю мою настоящую главу заранѣе устарѣлою: хотя факты уже обозначились, хотя огромное ихъ значеніе уже выходитъ наружу, хотя надъ всей Европой уже несомнѣнно носится что-то роковое, страшное и, главное, близкое, но несмотря на эти обозначившіеся факты, я увѣренъ, очень многіе найдутъ и теперь мои объясненія этихъ фактовъ опять таки ложными и смѣшными, фантастическими и преувеличенными, потому что всѣ принимаютъ происхо-

дящее теперь за несравненно меньшее и мельчайшее, чѣмъ оно есть въ самомъ дѣлѣ. Тутъ, какъ разъ, напримѣръ, подойдутъ во Франціи выборы, и Франція вдругъ пришлетъ въ палату прежнее республиканское большинство, что очень можетъ случиться, и вотъ, я почти въ томъ увѣренъ, всѣ закричатъ, что все кончилось благополучно, что небо расчистилось, столкновеній никакихъ, что Макъ-Магонъ повинился, *безсильные* клерикалы позорно стушевались и въ Европѣ опять миръ и «законность». Всѣ *измышленія* мои въ этой главѣ покажутся опять лишь продуктомъ досужаго воображенія. Опять скажутъ, что я фактамъ, положимъ, и совершившимся, придалъ значеніе не точное, а, главное, такое, какого *нигдѣ имъ не придаютъ*. Но подождемъ опять событій и увидимъ тогда, гдѣ была болѣе точная и вѣрная дорога. А для памяти, попробую, въ заключеніе, еще разъ обозначить точки и вѣхи этой уже открывающейся передъ всѣми дороги и на которую, волей неволей, а, кажется, предназначено всѣмъ вступить. Дѣлаю это для памяти, чтобъ потомъ можно было провѣрить. Впрочемъ, это только простая и заключительная перечень этой же главы.

1) Дорога начинается и идетъ изъ Рима, изъ Ватикана, гдѣ умирающій старикъ, глава толпы окружающихъ его іезуитовъ, намѣтилъ ее ужъ давно. Когда же загорѣлся Восточный вопросъ, іезуиты поняли, что наступило самое удобное время. По намѣченной дорогѣ своей они ворвались во Францію, произвели въ ней государственный переворотъ и поставили ее въ такое положеніе, что близкая война ея съ Германіей почти неминуема, даже если бъ она и не желала начать ее. Все это задолго раньше того понималъ и провидѣлъ князь Бисмаркъ. По крайней мѣрѣ, кажется, только онъ одинъ, и еще, можетъ быть, за нѣсколько лѣтъ до настоящей минуты, разглядѣлъ и постигъ своего важнѣйшаго врага и всю ту огромную для всего міра важность той послѣдней битвы за существованіе свое, которую несомнѣнно задастъ всему свѣту *умирающее навѣки папское католичество* въ самомъ ближайшемъ будущемъ.

2) Эта роковая борьба въ настоящую минуту уже завершается, а послѣдняя битва близится съ страшною быстротою. Франція была выбрана и презназначена для страшнаго боя, и бой будетъ. Бой неминуемъ, это вѣрно. Впрочемъ, еще есть малый шансъ, что будетъ отложенъ, но лишь на самое короткое время. Но во всякомъ случаѣ, *неминуемъ и близокъ*.

3) Только что бой начнется, какъ тотчасъ же и обратится во всеевропейскій. Восточный вопросъ и восточ-

ный бой, силою судебъ, сольется тоже съ всеевропейскимъ боемъ. Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ эпизодовъ этого боя будетъ окончательное рѣшеніе Австріи, которой сторонѣ отдать ей свой мечъ? Но самая существенная и важная часть этой послѣдней и роковой борьбы будетъ состоять, съ одной стороны, въ томъ, что ею разрѣшится тысячелѣтній вопросъ римскаго католичества и что, волею Провидѣнія, на его мѣсто станетъ возрожденное Восточное христіанство. Такимъ образомъ, нашъ русскій Восточный вопросъ раздвинется въ міровой и вселенскій, съ чрезвычайнымъ предназначеннымъ значеніемъ, хотя бы и совершилось это предназначеніе и передъ слѣпыми глазами, не признающими его, до послѣдней минуты способными не видѣть явнаго и не разумѣть смысла предназначеннаго. Наконецъ —

4) (И пусть это назовутъ самымъ гадательнымъ и фантастическимъ изъ всѣхъ предреканій моихъ, согласенъ заранѣе): Я увѣренъ, что бой окончится въ пользу Востока, въ пользу Восточнаго союза, что Россіи бояться нечего, если Восточная война сольется съ всеевропейскою, и что даже и лучше будетъ, если такъ расширится дѣло. О, безспорно, страшное будетъ дѣло, если прольется столько драгоцѣнной человѣческой крови! Но утѣшеніе въ томъ, по крайней мѣрѣ, соображеніи, что эта проліянная кровь несомнѣнно спасетъ Европу отъ вдесятеро большаго изліянія крови, если бъ дѣло отдалилось и еще разъ затянулось. Тѣмъ болѣе, что великая борьба эта несомнѣнно окончится быстро. Но зато разрѣшится окончательно столько вопросовъ (римско-католическій вмѣстѣ съ судьбою Франціи, германскій, восточный, магометанскій), столько уладится дѣлъ совершенно неразрѣшимыхъ въ прежнемъ ходѣ событій, до того измѣнится ликъ Европы, столько начнется новаго и прогрессивнаго въ отношеніяхъ людей, что, можетъ быть, нечего страдать духомъ и слишкомъ пугаться этого послѣдняго судорожнаго движенія старой Европы наканунѣ несомнѣннаго и великаго обновленія ея...

Наконецъ, прибавлю еще соображеніе: если взять за правило, что обо всѣхъ міровыхъ событіяхъ, даже самой огромной важности на самый поверхностный взглядъ, надо непремѣнно судить по принципу: «нынче какъ вчера, а завтра какъ сегодня», то не явно ли будетъ, что правило это рѣшительно ляжетъ въ разрѣзъ съ исторіей націи и человѣчества. Между тѣмъ, это именно предписывается такъ называемымъ реальнымъ и трезвымъ здравомысліемъ, такъ что осмѣивается и освистывается чуть не всякій, который осмѣлился бы помыслить, что завтра дѣ-

ло явится для всѣхъ глазъ, можетъ быть, совсѣмъ въ иной формѣ, чѣмъ въ какой тянулось все наканунѣ. Даже теперь, напримѣръ, когда уже пришли факты, не кажется ли даже очень многимъ, что клерикальное движеніе есть самая мелкая мелочь, что Гамбетта скажетъ рѣчь, и все возстановится по-вчерашнему, что война наша съ Турціей, очень и очень можетъ быть, кончится къ зимѣ, и тогда опять попрежнему начнется биржевая игра, желѣзнодорожное дѣло, возвысится рубль, покатимъ за границу и проч. и проч. Немыслимость продолженія стараго порядка дѣлъ — была явною въ Европѣ истиною, для передовыхъ умовъ ея, наканунѣ первой европейской революціи, начавшейся въ концѣ прошлаго столѣтія съ Франціи. Между тѣмъ, кто въ цѣломъ мірѣ, даже наканунѣ созванія Генеральныхъ Штатовъ, могъ бы предвидѣть и предсказать ту форму, въ которую воплотится это дѣло почти на другой же день, какъ началось оно... А уже когда воплотилось оно, кто могъ, напримѣръ, предсказать Наполеона I, въ сущности бывшаго какъ бы предназначеннымъ завершителемъ перваго историческаго фазиса того же самаго дѣла, которое началось въ 1789 году? Мало того, во время Наполеона I, можетъ быть, всякому въ Европѣ казалось, что появленіе его есть рѣшительная и совершенно внѣшняя случайность, нимало не связанная съ тѣмъ самымъ міровымъ закономъ, по которому предназначено было измѣниться, съ конца прошлаго столѣтія, всему прежнему лику міра сего...

Да, и теперь кто-то стучится, кто-то, новый человѣкъ, съ новымъ словомъ — хочетъ отворить дверь и войти.. Но кто войдетъ — вотъ вопросъ: совсѣмъ новый человѣкъ, или опять похожій на всѣхъ насъ, старыхъ человѣчковъ?

Глава вторая.

I.

Ложь ложью спасается.

Однажды Донъ-Кихотъ, столь извѣстный рыцарь печальнаго образа, самый великодушный изъ всѣхъ рыцарей, бывшихъ въ мірѣ, самый простой душою и одинъ изъ самыхъ великихъ сердцемъ людей, скитаясь съ своимъ вѣрнымъ оруженосцемъ Санхой въ погонѣ за приключеніями, вдругъ былъ объятъ нѣкоторымъ недоумѣні-

емъ, которое заставило его долго думать. Дѣло въ томъ, что часто великіе древніе рыцари, начиная съ Амадиса Галльскаго, исторіи которыхъ уцѣлѣли въ правдивѣйшихъ книгахъ, именуемыхъ рыцарскими романами (для пріобрѣтенія коихъ Донъ-Кихотъ не пожалѣлъ продать нѣсколько лучшихъ акровъ своего маленькаго помѣстья), — часто эти рыцари, во время полезныхъ всему міру и славныхъ странствованій своихъ, встрѣчали вдругъ и неожиданно цѣлыя арміи, во сто даже тысячъ воиновъ, насылаемыхъ на нихъ злою силою, злыми волшебниками, имъ завидовавшими и мѣшавшими имъ всячески достигнуть великой цѣли ихъ и соединиться, наконецъ, съ ихъ прекрасными дамами. Обыкновенно происходило такъ, что рыцарь, встрѣчая такую чудовищную и злую армію, обнажалъ свой мечъ, призывалъ въ духовную помощь себѣ имя своей дамы и затѣмъ врубался одинъ въ самую средину враговъ, которыхъ и уничтожалъ всѣхъ, до единаго человѣка. Кажется бы, дѣло ясное, но Донъ-Кихотъ вдругъ задумался, и надъ чѣмъ же: ему показалось вдругъ невозможнымъ, чтобы одинъ рыцарь, какой бы онъ силы ни былъ и даже если бы махалъ своимъ побѣдоноснымъ мечемъ цѣлыя сутки безъ всякой усталости, могъ за разъ уложить сто тысячъ враговъ, и это въ одномъ сраженіи. Чтобы убить каждаго человѣка, — нужно все-таки время, чтобы убить сто тысячъ людей, — нужно огромное время, и какъ ни махай мечемъ, а въ нѣсколько какихъ-нибудь часовъ, и заразъ, одному этого не сдѣлать. Между тѣмъ въ этихъ правдивыхъ книгахъ повѣствуется, что дѣло кончалось именно въ одно сраженіе. Какъ же это могло происходить?

— Я разрѣшилъ это недоумѣніе, другъ мой Санхо,— сказалъ, наконецъ, Донъ-Кихотъ. — Такъ какъ всѣ эти великаны, всѣ эти злые волшебники, были нечистая сила, то и армія ихъ носила такой же волшебный и нечистый характеръ. Я полагаю, что эти арміи состояли не совсѣмъ изъ такихъ же людей, какъ мы, напримѣръ. Люди эти были лишь навожденіе, созданіе волшебства и, по всей вѣроятности, тѣла ихъ не походили на наши, а были болѣе похожи на тѣла, какъ, напримѣръ, у слизняковъ, червей, пауковъ. Такимъ образомъ, крѣпкій и острый мечъ рыцаря, въ могучей его рукѣ, упадая на эти тѣла, проходилъ по нимъ мгновенно, почти безъ всякаго сопротивленія, какъ по воздуху. А если такъ, то дѣйствительно онъ могъ однимъ взмахомъ пройти по тремъ или четыремъ тѣламъ, и даже по десяти, если тѣ стояли въ тѣсной кучѣ. Понятно послѣ того, что дѣло чрезвычайно ускорялось, и рыцарь дѣйствительно могъ истреблять, въ

нѣсколько часовъ, цѣлыя арміи этихъ ароповъ и другихъ чудищъ...

Здѣсь подмѣчена великимъ поэтомъ и сердцевѣдцемъ одна изъ глубочайшихъ и таинственнѣйшихъ сторонъ человѣческаго духа. О, это книга великая, не такая, какія теперь пишутъ; такія книги посылаются человѣчеству по одной въ нѣсколько сотъ лѣтъ. И такихъ подмѣченныхъ глубочайшихъ сторонъ человѣческой природы найдете въ этой книгѣ на каждой страницѣ. Взять уже то, что этотъ Санхо, олицетвореніе здраваго смысла, благоразумія, хитрости, золотой средины, попалъ въ друзья и спутники къ самому сумасшедшему человѣку въ мірѣ; именно онъ, а не кто другой! Все время онъ обманываетъ его, надуваетъ какъ ребенка и въ то же время вполнѣ вѣритъ въ его великій умъ, до нѣжности очарованъ великостью сердца его, вполнѣ вѣритъ во всѣ фантастическіе сны великаго рыцаря и ни разу, во все время, не сомнѣвается, что тотъ завоюетъ ему, наконецъ, островъ! Какъ бы желалось, чтобъ съ этими великими произведеніями всемірной литературы основательно знакомилось наше юношество. Чему учатъ теперь въ классахъ литературы — не знаю, но знакомство съ этой величайшей и самой грустной книгой изъ всѣхъ, созданныхъ геніемъ человѣка, несомнѣнно возвысило бы душу юноши великою мыслью, заронило бы въ сердце его великіе вопросы и способствовало бы отвлечь его умъ отъ поклоненія вѣчному и глупому идолу средины, вседовольному самомнѣнію и пошлому благоразумію. Эту самую грустную изъ книгъ не забудетъ взять съ собою человѣкъ на послѣдній судъ Божій. Онъ укажетъ на сообщенную въ ней глубочайшую и роковую тайну человѣка и человѣчества. Укажетъ на то, что величайшая красота человѣка, величайшая чистота его, цѣломудріе, простодушіе, незлобивость, мужество и, наконецъ, величайшій умъ, — все это нерѣдко (увы, такъ часто даже обращается ни во что, проходитъ безъ пользы для человѣчества и даже обращается въ посмѣяніе человѣчествомъ единственно потому, что всѣмъ этимъ благороднѣйшимъ и богатѣйшимъ дарамъ, которыми даже часто бываетъ награжденъ человѣкъ, не доставало одного только послѣдняго дара — именно: *генія*, чтобъ управить всѣмъ богатствомъ этихъ даровъ и всѣмъ могуществомъ ихъ,—управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастическій и сумасшедшій путь дѣятельности, во благо человѣчества! Но генія, увы, отпускается на племена и народы такъ мало, такъ рѣдко, что зрѣлище той злой ироніи судьбы, которая столь часто обрекаетъ дѣятельность иныхъ благороднѣйшихъ людей и пламенныхъ

друзей человѣчества, — на свистъ и смѣхъ и на побіеніе камнями, единственно за то, что тѣ, въ роковую минуту, не сумѣли прозрѣть въ истинный смыслъ вещей и отыскать ихъ *новое слово,* это зрѣлище напрасной гибели столь великихъ и благороднѣйшихъ силъ — можетъ довести дѣйствительно до отчаянія иного друга человѣчества, возбудить въ немъ уже не смѣхъ, а горькія слезы и навсегда озлобить сомнѣніемъ дотолѣ чистое и вѣрующее сердце его...

Впрочемъ, я хотѣлъ только указать на ту любопытнѣйшую черту, которую, вмѣстѣ съ сотней другихъ же глубокихъ наблюденій, подмѣтилъ и указалъ Сервантесъ въ сердцѣ человѣческомъ. Самый фантастическій изъ людей, до помѣшательства увѣровавшій въ самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдругъ впадаетъ въ сомнѣніе и недоумѣніе, почти поколебавшее всю его вѣру. И любопытно, что могло поколебать: не нелѣпость его основного помѣшательства, не нелѣпость существованія скитающихся для блага человѣчества рыцарей, не нелѣпость тѣхъ волшебныхъ чудесъ, которыя о нихъ разсказаны въ «правдивѣйшихъ книгахъ», нѣтъ, а самое, напротивъ, посторонное, второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастическій человѣкъ вдругъ *затосковалъ о реализмѣ!* Не актъ появленія волшебныхъ армій смущаетъ его: о, это не подвержено сомнѣнію, и какъ же бы могли эти великіе и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если бъ не посылались на нихъ всѣ эти испытанія, если бъ не было завистливыхъ великановъ и злыхъ волшебниковъ? Идеалъ странствующаго рыцаря столь великъ, столь прекрасенъ и полезенъ и такъ очаровалъ сердце благороднаго донъ-Кихота, что отказаться вѣрить въ него совсѣмъ уже стало для него невозможностью, стало равносильно измѣнѣ идеалу, долгу, любви къ Дульцинеѣ и къ человѣчеству. (Когда онъ отказался, когда онъ излѣчился отъ своего помѣшательства и *поумнѣлъ,* возвратясь послѣ второго своего похода, въ которомъ онъ былъ побѣжденъ умнымъ и здравомыслящимъ цирюльникомъ Караско, отрицателемъ и сатирикомъ, онъ тотчасъ же умеръ, тихо, съ грустною улыбкою, утѣшая плачущаго Санхо, любя весь міръ всею великою силой любви, заключенной въ святомъ сердцѣ его, и понимая, однако, что ему уже нечего болѣе въ этомъ мірѣ дѣлать.) Нѣтъ, но смутило его лишь то, самое вѣрное, однако, и математическое соображеніе, что какъ бы ни махалъ рыцарь мечемъ и сколь бы ни былъ онъ силенъ, все же нельзя побѣдить армію во сто тысячъ въ нѣсколько часовъ, даже въ день, избивъ всѣхъ до по-

слѣдняго человѣка. Между тѣмъ, въ правдивыхъ книгахъ это написано. Стало быть, написана ложь. А если ужъ разъ ложь, то и все ложь. Какъ же спасти *истину?* И вотъ онъ придумываетъ для спасенія истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнѣе первой, грубѣе и нелѣпѣе, придумываетъ сотни тысячъ навожденныхъ людей съ тѣлами слизняковъ, но зато по которымъ острый мечъ рыцаря можетъ вдесятеро удобнѣе и скорѣе ходить, чѣмъ по обыкновеннымъ человѣческимъ. *Реализмъ*, стало быть, удовлетворенъ, *правда спасена,* и вѣрить въ первую, въ главную мечту, можно уже безъ сомнѣній — и все, опять таки, единственно благодаря второй уже гораздо нелѣпѣйшей мечтѣ, придуманной лишь для спасенія *реализма* первой.

Спросите самихъ себя: не случалось ли съ вами сто разъ, можетъ быть, такого же обстоятельства въ жизни? Вотъ вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой выводъ, убѣжденіе или внѣшній какой-нибудь фактъ, поразившій васъ, женщину, наконецъ, околдовавшую васъ. Вы устремляетесь за предметомъ любви вашей всѣми силами вашей души. Правда, какъ ни ослѣплены вы, какъ ни подкуплены сердцемъ, но если есть въ этомъ предметѣ любви вашей ложь, *навожденіе,* что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили въ немъ вашей страстностью, вашимъ первоначальнымъ порывомъ — единственно, чтобъ сдѣлать изъ него вашего идола и поклониться ему — то ужъ, разумѣется, вы втайнѣ это чувствуете про себя, сомнѣніе тяготитъ васъ, дразнитъ умъ, ходитъ по душѣ вашей и мѣшаетъ жить вамъ покойно съ излюбленной вашей мечтой. И что жъ, не помните ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чѣмъ вы тогда вдругъ утѣшились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, можетъ быть, грубой, но которой вы съ любовью поспѣшили повѣрить, потому только, что она разрѣшала первое сомнѣніе ваше?

II.

Слизняки, принимаемые за людей. Что намъ выгоднѣе: когда знаютъ о насъ правду, или когда говорятъ о насъ вздоръ?

Въ наше время чуть не вся Европа влюбилась въ турокъ, болѣе или менѣе. Прежде, напримѣръ, ну хоть годъ назадъ, хоть и старались въ Европѣ отыскать въ

туркахъ какія-то національныя великія силы, но въ то же время почти всѣ про себя понимали, что дѣлаютъ они это единственно изъ ненависти къ Россіи. Не могли же они въ самомъ дѣлѣ не понимать, что въ Турціи нѣтъ и не можетъ быть силъ правильнаго и здороваго національнаго организма, мало того, — что и организма-то, можетъ быть, уже не осталось никакого, — до того онъ расшатанъ, зараженъ и сгнилъ; что турки азіатская орда, а не правильное государство. Но теперь, съ тѣхъ поръ какъ Турція въ войнѣ съ Россіею, мало-по-малу укрѣпилось и установилось, въ иныхъ мѣстахъ въ Европѣ, даже уже дѣйствительное и серьезное убѣжденіе, что нація эта не только организмъ, но и имѣющій большую силу, которая, въ свою очередь, обладаетъ свойствомъ развитія и дальнѣйшаго прогресса. Эта мечта плѣняетъ многіе европейскіе умы все болѣе и болѣе, а, наконецъ, даже и къ намъ перешла: и у насъ въ Россіи заговорили иные о какихъ-то неожиданныхъ національныхъ силахъ, которыя вдругъ проявила Турція. Но въ Европѣ укрѣпилась эта мечта опять таки изъ ненависти къ Россіи, у насъ же — изъ малодушія и страшной поспѣшности пессимистскихъ заключеній, которыя всегда были свойствомъ интеллигентныхъ классовъ нашего общества, чуть только лишь начинались гдѣ-нибудь и въ чемъ-нибудь наши «неудачи»! Въ Европѣ случилось то же самое, что произошло въ поврежденномъ умѣ Донъ-Кихота, но лишь въ формѣ обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тотъ, чтобъ спасти *истину*, выдумалъ людей съ тѣлами слизняковъ, эти же, чтобъ спасти свою основную мечту, столь ихъ утѣшающую, о ничтожности и безсиліи Россіи,—сдѣлали изъ настоящаго уже слизняка организмъ человѣческій, одаривъ его плотью и кровью, духовною силою и здоровьемъ. О Россіи же самыя образованныя европейскія государства со страстью распространяютъ теперь совершенныя нелѣпости. Въ Европѣ и прежде насъ мало знали, даже до того, что всегда надо было удивляться, что столь просвѣщенные народы такъ мало интересуются изучить тотъ народъ, который они же такъ ненавидятъ и котораго постоянно боятся. Эта скудость европейскихъ о насъ познаній и даже нѣкоторая невозможность Европы понять насъ во многихъ пунктахъ, все это въ нѣкоторомъ отношеніи было для насъ до сихъ поръ отчасти и выгодно. А потому вреда не будетъ и теперь. Пусть они кричатъ у себя о «позорной слабости Россіи, какъ военной державы», вопреки свидѣтельству десятковъ ихъ же корреспондентовъ съ самаго поля войны, удивлявшихся боевой способности, рыцарской и высочайшей дисципли-

нѣ русскаго солдата и офицера; пусть самыя возможныя, хотя бы и значительныя, ошибки русскаго штаба въ началѣ войны, они считаютъ не только непоправимыми, но и органически всегдашними недостатками нашего войска и націи (забывъ, какъ часто мы ихъ бивали въ битвахъ за всѣ послѣднія два столѣтія). Пусть, наконецъ, *самыя серьезнѣйшія* изъ ихъ политическихъ изданій сообщаютъ Европѣ за точную истину, объ огромномъ бунтѣ народа, предводимаго нигилистами, на Выборгской сторонѣ въ Петербургѣ, и о вытребованныхъ русскимъ начальствомъ двухъ полкахъ по желѣзной дорогѣ изъ Динабурга, для спасенія Петербурга, — пусть это все говорятъ они въ слѣпой своей злобѣ. Повторяю, намъ это даже выгодно, такъ какъ сами они не вѣдаютъ что творятъ. Вѣдь ужъ, конечно, имъ бы хотѣлось возбудить у себя повсемѣстно къ намъ ненависть, «какъ къ опаснымъ противникамъ ихъ цивилизаціи», — и вотъ они же представляютъ насъ въ упадшемъ видѣ, въ смѣшномъ до позора слабосиліи какъ военной державы и какъ государственнаго организма. Но вѣдь кто такъ слабъ и ничтоженъ, тотъ можетъ ли возбуждать опасенія и противъ себя коалиціи? А имъ именно нужно настроить противъ насъ свое общество. Стало быть, во вредъ же себѣ говорятъ, а коли такъ, то приносятъ намъ не вредъ, а пользу. Мы же подождемъ конца.

Но вобразимъ только, что къ нимъ дошло бы самое полное, точное и истинное свѣдѣніе о всей силѣ духа, чувства и непоколебимой вѣры народа русскаго въ справедливость великаго дѣла, за которое обнажилъ мечъ Государь его, и въ несомнѣнное торжество этого дѣла, рано или поздно? Вообразить, что въ Европѣ поняли, наконецъ, что война эта для Россіи есть національная война въ высшей степени, и что народъ нашъ вовсе не мертвая и бездушная масса, каъ они всегда представляютъ его себѣ, а могущественный и сознающій свое могущество организмъ, сплоченный весь какъ одинъ человѣкъ и нераздѣльный сердцемъ и волею съ своею арміею, — о, какой бы страхъ и какое повсемѣстное волненіе возбудило бы у нихъ это свѣдѣніе! И ужъ, конечно, это скорѣе способствовало бы къ дѣйствительной и явной уже коалиціи противъ насъ Европы, чѣмъ столь любезныя имъ клеветы на наше слабосиліе и паденіе. Нѣтъ, ужъ пусть они лучше вѣрятъ бунту на Выборгской. Насъ же только ободритъ, что они тому вѣрятъ.

Но въ Европѣ все это понятно, и понятно отъ чего это происходитъ. Но какъ у насъ-то могутъ колебаться, волноваться и даже вѣрить въ какія-то новыя, вдругъ от-

крывшіяся, жизненныя силы турецкой націи? Чѣмъ проявила она эту силу? Фанатизмомъ? Но фанатизмъ мертвечина, а не сила, у насъ сто разъ проповѣдовали это самые же эти люди, которые вѣрятъ теперь въ турецкія силы. Говорятъ про турецкія побѣды. Но турки отразили, разъ и другой, лишь наши атаки, а это побѣды, такъ сказать, отрицательныя, а не положительныя. Мы, сидя въ Севастополѣ, отразили разъ приступъ французовъ и англичанъ съ страшною для нихъ потерею людей, но Европа, однакоже, не кричала тогда о нашей побѣдѣ. Мы цѣлые два послѣдніе мѣсяца были гораздо слабѣе силами чѣмъ турки, и что жъ они не воспользовались этимъ, что жъ не вытѣснили насъ за Балканы, не прогнали за Дунай? Напротивъ, мы вездѣ удержали наши главныя позиціи и вездѣ отразили турокъ. Бывало, что семь или восемь нашихъ баталіоновъ разбивали ихнихъ двадцать, какъ недавно случилось подъ Церковной. Убѣжденные въ силѣ турокъ указываютъ, однако, на ихъ ружья, которыя лучше нашихъ, и даже на ихъ артиллерію, которая будто бы лучше нашей. Но они не хотятъ припомнить, что мы въ сущности воюемъ не съ одними турками, а и съ европейскими державами, что множество англичанъ служатъ офицерами въ турецкомъ войскѣ, что вооружены турки на европейскія деньги, что европейская дипломатія во многомъ стала поперекъ нашей дороги съ самаго начала войны, лишивъ насъ помощи естественныхъ союзниковъ нашихъ, лишивъ насъ даже настоящихъ дорогъ нашихъ въ Турцію. Кромѣ того Европа, ненавистью къ намъ, несомнѣнно ободрила и фанатизмъ турокъ. Въ Европѣ открылся, наконецъ, заговоръ цѣлыхъ шаекъ, уже организованныхъ, съ оружіемъ, съ деньгами, чтобъ броситься внезапно въ тылъ нашей арміи. Въ довершеніе тамъ состряпали недавно и заемъ для турокъ, въ огромный ущербъ своему карману, и невозможный заемъ этотъ состоялся единственно потому, что въ Европѣ такъ полюбили мечту о томъ, что Турція не государство слизняковъ, а дѣйствительно съ такою же плотью и кровью, какъ и европейскіе государственные организмы. И это когда же, когда кровь цѣлыхъ провинцій Турціи лилась рѣкою, когда открытъ даже правильный заговоръ между самими правителями Турціи съ цѣлью истребить болгаръ всѣхъ до единаго? Турки воюютъ съ нами, кормя и поддерживая свое войско такими реквизиціями припасовъ, лошадей и скота съ болгаръ, которыя не могутъ не разорить до тла эту богатѣйшую провинцію Турціи. И этимъ-то разорителямъ и умертвителямъ собственной страны просвѣщенные англичане дали взаймы денегъ, повѣрили ихъ

экономической состоятельности! Но пусть, пусть все это такъ, тамъ все-таки это понятно. Но у насъ-то какъ же признаютъ турокъ силой? Разореніе до тла собственной земли и истребленіе въ корень всего христіанскаго населенія страны — развѣ это сила? Да силы такой и до конца войны имъ не хватитъ. Первый оборотъ дѣла въ нашу пользу — и все это фантастическое зданіе ихъ военной и національной силы рухнетъ мгновенно и заразъ, и разсѣется какъ истинный призракъ, вмѣстѣ даже съ ихъ фанатизмомъ, который вылетитъ какъ изъ отвореннаго клапана паръ.

Нѣкоторые умные люди проклинаютъ теперь у насъ славянскій вопросъ, и на словахъ и печатно: «Дались, дескать, намъ эти славяне и всѣ эти фантазіи объ объединеніи славянъ! И кто намъ навалилъ этихъ славянъ на шею, и для чего: на вѣчную распрю съ Европой, на вѣчную ея подозрительность къ намъ, ненависть, и теперь и въ будущемъ! Да будутъ же прокляты славянофилы!» и т. д. и т. д. Но эти восклицающіе умные люди, кажется, имѣютъ совершенно ложныя свѣдѣнія и о славянахъ и о Восточномъ вопросѣ, а многіе такъ совсѣмъ даже и не интересовались имъ до самой послѣдней минуты. А потому спорить съ ними нельзя. И вѣдь дѣйствительно имъ неизвѣстно, что Восточный вопросъ (т. е. и славянскій вмѣстѣ) вовсе не славянофилами выдуманъ, да и никѣмъ не выдуманъ, а самъ родился и уже очень давно — родился раньше славянофиловъ, раньше насъ, раньше васъ, раньше даже Петра Великаго и Русской имперіи. Родился онъ при первомъ сплоченіи великорусскаго племени въ единое русское государство, т. е. вмѣстѣ съ царствомъ Московскимъ. Восточный вопросъ есть исконная идея Московскаго царства, которую Петръ Великій призналъ въ высшей степени и, оставляя Москву, перенесъ съ собою въ Петербургъ. Петръ въ высшей степени понималъ ея органическую связь съ русскимъ государствомъ и съ русской душой. Вотъ почему идея не только не умерла въ Петербургѣ, но прямо признана была какъ бы *русскимъ назначеніемъ* всѣми преемниками Петра. Вотъ почему ее нельзя оставить и нельзя ей измѣнить. Оставить славянскую идею и отбросить безъ разрѣшенія задачу о судьбахъ Восточнаго христіанства (NB. сущность Восточнаго вопроса) — значитъ, все равно что сломать и вдребезги разбить всю Россію, а на мѣсто ея выдумать что-нибудь новое, но только уже совсѣмъ не Россію. Это было бы даже и не революціей, а просто уничтоженіемъ, а потому и немыслимо даже, потому что нельзя же уничтожить такое цѣлое и вновь переродить

его совсѣмъ въ другой организмъ. Идею эту не видятъ и не признаютъ теперь развѣ ужъ самые слѣпые изъ русскихъ европейцевъ, да вмѣстѣ съ ними, и къ стыду ихъ, биржевики. Биржевиками я называю здѣсь условно всѣхъ вообще теперешнихъ русскихъ, которымъ, кромѣ своего кармана, нѣтъ никакой въ Россіи заботы, а потому взирающихъ и на Россію единственно съ точки зрѣнія интересовъ своего кармана. Они кричатъ теперь хоромъ о торговомъ застоѣ, о биржевомъ кризисѣ, о паденіи рубля. Но если бъ эти биржевики наши были настолько дальновидны, чтобъ понимать кое-что внѣ своей сферы, то они бы и сами догадались, что если бъ Россія не начала теперешнюю войну, то было бы имъ же хуже. Чтобъ были «дѣла», даже биржевыя, надо чтобъ нація жила въ самомъ дѣлѣ, то есть настоящею живою жизнью и исполняя свое естественное назначеніе, а не была бы гальванизированнымъ трупомъ, въ рукахъ жидовъ и биржевиковъ. — Если бъ мы не начали теперешней войны послѣ всѣхъ циническихъ и обидныхъ намъ вызововъ враговъ нашихъ, и если бъ мы не помогли истязуемымъ мученикамъ, то сами же себя стали бы презирать. А самопрезрѣніе, нравственное паденіе, и за нимъ цинизмъ,— мѣшаютъ даже «дѣламъ». Націи живутъ великимъ чувствомъ и великою всѣхъ единящею и все освѣщающею мыслью, соединеніемъ съ народомъ, наконецъ, когда народъ невольно признаетъ верхнихъ людей съ нимъ заодно, изъ чего рождается національная сила — вотъ чѣмъ живутъ націи, а не одной лишь биржевой спекуляціей и заботой о цѣнѣ рубля. Чѣмъ богаче духовно нація, тѣмъ она и матеріально богаче... А впрочемъ, что жъ я — какія старыя слова говорю!

III.

Легкій намекъ на будущаго интеллигентнаго русскаго человѣка. Несомнѣнный удѣлъ будущей русской женщины.

Есть теперь странныя недоумѣнія и странныя заботы. Положительно есть русскіе люди, *боящіеся* даже русскихъ успѣховъ и русскихъ побѣдъ. Не потому боятся они, что желаютъ зла русскимъ, напротивъ — они скорбятъ о всякой русской неудачѣ сердечно, они хорошіе русскіе, но они боятся и удачъ, и побѣдъ русскихъ, — «потому-де, что явится послѣ побѣдоносной войны самоувѣренность, самовосхваленіе, шовинизмъ, застой». Но вся ошибка этихъ

добрыхъ людей въ томъ, что они всегда видѣли русскій прогрессъ единственно въ самооплеваніи. Да самонадѣянность-то намъ, можетъ быть, и всего нужнѣе теперь! Самоуваженіе намъ нужно, наконецъ, а не самооплеваніе. Не безпокойтесь: застоя не будетъ. Война освѣтитъ столько новаго и заставитъ столько измѣнить стараго, что вы бы никогда не добились того самооплеваніемъ и поддразниваньемъ, которыя обратились въ послѣднее время лишь въ простую забаву. Зато обнаружится и многое такое, что прежде считалось даже умниками-обличителями нашими лишь мелочью, смѣшными пустяками и даже послѣднимъ дѣломъ, но что, однакоже, составляетъ главнѣйшую нашу сущность дѣла во всемъ. Да и не намъ, не намъ предаваться шовинизму и самоупоенію! Гдѣ и когда это случалось въ русскомъ обществѣ! Утверждающіе это просто не знаютъ русской исторіи. О нашемъ самоупоеніи много говорили послѣ Севастополя: самоувѣренность-де насъ тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество не было у насъ менѣе самоувѣренно и даже болѣе въ разложеніи, какъ въ эпоху предъ Севастополемъ.

Кстати замѣчу: изъ писавшихъ о нашемъ самоупоеніи и дразнившихъ насъ имъ послѣ Севастополя было нѣсколько новыхъ молодыхъ писателей, обратившихъ тогда на себя большое вниманіе общества и возбудившихъ въ немъ горячее сочувствіе къ ихъ обличеніямъ. И, однако, къ этимъ истинно желавшимъ добра обличителямъ присоединилось тогда тотчасъ же столько нахальнаго и грязнаго народу, явилось столько свистопляски, столько людей совсѣмъ не понимавшихъ въ чемъ сущность дѣла, а, между тѣмъ, воображавшихъ себя спасителями Россіи, мало того — явилось въ ихъ числѣ столько даже откровенныхъ враговъ Россіи, что они, подъ конецъ, сами повредили тому дѣлу, къ которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имѣли успѣхъ, единственно потому, что чистые сердцемъ русскіе люди, дѣйствительно жаждавшіе тогда повсемѣстно обновленія и новаго слова — не разобрали въ нихъ негодяевъ, людей бездарныхъ и безъ убѣжденій, и даже продажныхъ. Напротивъ, думали, что они-то и за Россію, за ея интересы, за обновленіе, за народъ и общество. Кончилось тѣмъ, что огромное большинство русскихъ людей, наконецъ, разочаровалось и отвернулось отъ нихъ,— а за тѣмъ уже пришли биржевики и желѣзнодорожники... Теперь этой ошибки, кажется, не повторится, потому что несомнѣнно явятся новые люди, уже съ новою мыслью и съ новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуваженія, но и не побоятся не плыть за старымъ. Не побоятся и умниковъ: они будутъ скромны, но будутъ уже многое знать, по опыту и уже на дѣлѣ, изъ того, что и не снилось мудрецамъ нашимъ. По опыту и на дѣлѣ они научатся уважать русскаго человѣка и русскій народъ. Это-то познаніе они ужъ навѣрно принесутъ съ собою, и въ немъ-то и будетъ состоять ихъ главная точка опоры. Они не станутъ сваливать всѣхъ нашихъ бѣдъ и всѣхъ *неумѣній* нашихъ единственно лишь на свойства русскаго человѣка и русской натуры, что обратилось уже въ казенный пріемъ у нашихъ умниковъ, потому что это и покойно и ума не требуетъ. Они первые засвидѣтельствуютъ собою, что русскій духъ и русскій человѣкъ, въ этихъ ста тысячахъ взваленныхъ на нихъ обвиненій, не виноваты нисколько, что тамъ, гдѣ только есть возможность прямого доступа русскому человѣку, тамъ русскій человѣкъ сдѣлаетъ свое дѣло не хуже другого. О, эти новые люди поймутъ, наконецъ, несмотря на всю свою скромность, какъ часто наши умники, даже и чистѣйшіе сердцемъ и желающіе истинной пользы, — садились между двухъ стульевъ, желая отыскать корень зла. Къ этимъ-то новымъ людямъ, которые несомнѣнно явятся послѣ войны, примкнетъ много живыхъ силъ изъ народа и русской молодежи. Они и до войны уже объявлялись, но мы все еще ихъ не могли тогда замѣтить, и когда мы всѣ здѣсь ожидали увидѣть лишь зрѣлище цинизма и растлѣнія, они тамъ явили зрѣлище такого сознательнаго самоотверженія, такого искренняго чувства, такой полной вѣры въ то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здѣсь лишь дивились: откуда взялось все это? Нѣкоторые иностранные корреспонденты иностранныхъ газетъ упрекали нѣкоторыхъ русскихъ офицеровъ за то, что они самолюбивы, карьеристы, рвутся къ отличіямъ, забывая главную цѣль: любовь къ родинѣ и къ тому дѣлу, которому взялись служить. Но если и есть у насъ такіе офицеры, то все же этимъ корреспондентамъ не дурно было бы узнать и о той молодежи, или о тѣхъ, незамѣтныхъ даже по чину своему офицерахъ, скромныхъ слугахъ отечества и праваго дѣла, которые умирали вмѣстѣ съ своими солдатами доблестно, съ полнымъ самоотверженіемъ, вовсе уже не для награды, не для красы и не для карьеры, а потому только, что были великія сердца, великіе христіане и *незамѣтные* великіе русскіе люди, которыхъ такъ много, чуть не до послѣдняго солдата, въ нашемъ войскѣ. Замѣтьте тоже, что, говоря о грядущемъ новомъ человѣкѣ, я вовсе не указываю лишь на однихъ нашихъ воиновъ,

въ ожиданіи того, когда они воротятся. Явятся и безчисленные другіе — *всѣ тѣ, которые прежде такъ жаждали вѣрить въ русскаго человѣка,* но не могли проявиться, и идти противъ всеобщаго, царившаго наружу, отрицанія и пессимизма. Но теперь, созерцая съ какой *вѣрой* въ свои силы проявился русскій человѣкъ *тамъ,* они поневолѣ ободрятся и повѣрятъ, что есть настоящія русскія силы и здѣсь; откуда тамошнія-то взялись, какъ не отсюда же? А ободрившись, сплотятся и скромно, но твердо примутся уже за настоящее дѣло, не боясь ничьихъ громкихъ и звонкихъ словъ. И все такихъ старыхъ, старыхъ словъ! А умные старички наши все еще до сихъ поръ увѣрены, что они-то и есть самые новые и *молодые* люди и что говорятъ самыя новыя слова!

Но главное и самое спасительное обновленіе русскаго общества выпадетъ, безспорно, на долю русской женщины. Послѣ нынѣшней войны, въ которую такъ высоко, такъ свѣтло, такъ свято проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомнѣваться въ томъ высокомъ удѣлѣ, который ожидаетъ ее несомнѣнно между нами. Наконецъ-то, падутъ вѣковые предразсудки и «варварская» Россія покажетъ, какое мѣсто отведетъ она у себя «матушкѣ» и «сестрицѣ» русскаго солдата, самоотверженницѣ и мученицѣ за русскаго человѣка. Ей ли, этой ли женщинѣ, столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать въ полномъ равенствѣ правъ съ мужчиной по образованію, по занятіямъ, по должностямъ, тогда какъ на нее-то мы и возлагаемъ всѣ надежды наши теперь, послѣ подвига ея, въ духовномъ обновленіи и въ нравственномъ возвышеніи нашего общества! Это уже будетъ стыдно и неразумно, тѣмъ болѣе, что не совсѣмъ отъ насъ это и зависѣть будетъ теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей мѣсто, сама перешагнула тѣ ступени, гдѣ доселѣ ей полагался предѣлъ. Она доказала, какой высоты она можетъ достигнуть и что можетъ совершить. Впрочемъ, говоря такъ, я говорю про *русскую женщину,* а не про тѣхъ чувствительныхъ дамъ, которыя кормили турокъ конфектами. Въ добротѣ къ туркамъ, конечно, нѣтъ худа, но все же вѣдь это не то, что совершили тамъ *тѣ женщины;* а потому *эти* всего только русскія *старыя* барыни, а *тѣ* — *новыя* русскія женщины. Но и не про тѣхъ однѣхъ женщинъ говорю я, которыя тамъ подвизаются въ дѣлѣ Божіемъ и въ служеніи человѣчеству; тѣ своимъ появленіемъ только доказали намъ, что въ Русской землѣ много великихъ сердцемъ женщинъ, готовыхъ на общественный трудъ и на самоотверженіе, — потому что, опять-таки, от-

куда же тѣ-то взялись, какъ не отсюдова же? Но о русской женщинѣ и о несомнѣнномъ ближайшемъ жребіи ея въ нашемъ обществѣ я хотѣлъ бы поговорить побольше и особо, а потому и возвращусь еще къ этой темѣ въ слѣдующемъ октябрьскомъ «Дневникѣ» моемъ.

ОКТЯБРЬ.

Глава первая.

I.

Къ читателю.

По недостатку здоровья, особенно мѣшающему мнѣ издавать «Дневникъ» въ точные опредѣленные сроки, я рѣшаюсь, на годъ или на два, прекратить мое изданіе. Дѣлаю это съ чрезвычайнымъ сожалѣніемъ, потому что и не ожидалъ, начиная прошлаго года «Дневникъ», что буду встрѣченъ читателями съ такимъ сочувствіемъ. Сочувствіе это продолжалось все время, до послѣдняго дня. Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всѣхъ обращавшихся ко мнѣ письмами: изъ писемъ этихъ я узналъ много новаго. И вообще изданіе «Дневника», въ продолженіе этихъ двухъ лѣтъ, многому меня самого научило, и во многомъ еще тверже укрѣпило. Но, къ сожалѣнію, я рѣшительно принужденъ остановиться. Съ декабрьскимъ выпускомъ изданіе окончится. Авось ни я, ни читатели не забудемъ другъ друга до времени.

II.

Старое всегдашнее военное правило.

О нашихъ военныхъ ошибкахъ въ нынѣшнюю кампанію говорили и писали и въ Европѣ, и въ Россіи. Продолжаютъ разсуждать и теперь. Вѣрная и полная

оцѣнка нашихъ военныхъ дѣйствій, конечно, принадлежитъ лишь будущему, т. е., по крайней мѣрѣ, можетъ состояться лишь по окончаніи войны; но нѣкоторые факты выступаютъ уже и теперь съ достаточною полнотою, чтобъ произнести о нихъ болѣе или менѣе точное сужденіе. Не о военныхъ ошибкахъ нашихъ возьмусь судить я, малокомпетентный въ этомъ дѣлѣ человѣкъ (хотя малокомпетентные-то, кажется, всѣхъ болѣе у насъ теперь горячатся). Я лишь хочу указать на одинъ современный фактъ (а не на ошибку), который доселѣ былъ военной наукой мало разъясненъ, мало наблюдаемъ, не успѣлъ быть оцѣненъ въ своей *современной* сущности, который можно было угадывать лишь въ теоріи, но который практически никогда не былъ подтвержденъ, вплоть до нынѣшней войны. Этому роковому, до нынѣшней войны практически не подтвержденному въ военномъ дѣлѣ факту суждено было, какъ нарочно, проявиться въ самой полной своей силѣ и въ самой окончательной своей точности, неминуемо въ нынѣшнюю кампанію, потому что этотъ чисто военный фактъ какъ разъ подошелъ къ національному военному характеру турокъ или, лучше сказать: къ главному отличительному свойству ихъ военнаго характера. Мало того, можно даже такъ заключить, что фактъ этотъ и не разъяснился бы, пожалуй, безъ турокъ, по крайней мѣрѣ, въ Европѣ, несмотря на недавнія войны (и такія огромныя войны какъ франко-прусская война), онъ еще не былъ разъясненъ, не успѣлъ опредѣлиться. Теперь, послѣ рокового опыта текущей войны, онъ, разумѣется, войдетъ въ военное искусство и будетъ оцѣненъ по своему значенію. Но въ текущую войну *роковое* для насъ заключалось въ томъ, что русская армія, такъ сказать, наткнулась на этотъ неразъясненный во всемъ практическомъ своемъ значеніи военный фактъ, и что предназначено было разъяснять его намъ, русскимъ, съ огромнымъ ущербомъ для насъ, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока смыслъ его не выяснился для насъ вполнѣ. Между тѣмъ, очень многіе, и у насъ, и въ Европѣ, наклонны до сихъ поръ считать этотъ огромный ущербъ, который мы понесли отъ этого неразъясненнаго факта, — единственно лишь нашей военной ошибкой, тогда какъ тутъ было нѣчто роковое и неминуемое, а не ошибка, и будь на нашемъ мѣстѣ, напримѣръ, хоть германское войско, то и оно бы ссадило себѣ на этомъ фактѣ бока... хотя, можетъ быть, скорѣе оцѣнило бы его и поспѣшнѣе приняло мѣры. Я хочу только сказать, что не всѣ наши ошибки теперешней кампаніи — суть въ самомъ дѣлѣ ошибки и что важнѣйшая

изъ этихъ ошибокъ постигла бы и любую европейскую армію на нашемъ мѣстѣ. Повторяю, мы наткнулись на неразъясненный военный фактъ и до разъясненія его понесли ущербъ, — а это нельзя считать безусловной ошибкой. Но что же это за фактъ?

Когда я въ моей юности слушалъ курсъ высшихъ военныхъ и инженерныхъ наукъ въ Главномъ Инженерномъ Училищѣ, тогда существовало у насъ одно убѣжденіе, считавшееся непреложнымъ, одна инженерная аксіома. (Впрочемъ, поспѣшу оговориться въ скобкахъ: я такъ давно оставилъ инженерное и военное дѣло, что не претендую ни на малѣйшую въ этомъ смыслѣ компетентность. Я поступилъ въ Главное Инженерное Училище и слушалъ въ немъ шестилѣтній курсъ въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ; затѣмъ, кончивъ курсъ и оставивъ училище, прослужилъ инженеромъ лишь годъ, вышелъ въ отставку и занялся литературой. Тотлебенъ вышелъ тремя или четырьмя годами прежде меня. Кауфмана я помню въ офицерскихъ классахъ. Съ младшимъ Кауфманомъ я былъ въ одно время еще въ кондукторскихъ. Радецкій, Петрушевскій и Іолшинъ были всего лишь однимъ классомъ старше меня. Изъ моихъ же одноклассныхъ товарищей удалились съ прямого пути на путь шаткій и неопредѣленный всего только трое: я, писатель Григоровичъ и живописецъ Трутовскій. Однимъ словомъ, все это было очень давно.) Эта инженерная аксіома состояла въ томъ, что нѣтъ и не можетъ быть крѣпости неприступной, т. е. какъ бы ни была искусно укрѣплена и оборонена крѣпость, но въ концѣ концовъ она должна быть взята, и что, стало быть, военное искусство атаки крѣпости всегда превышаетъ средства и искусство ея обороны. Разумѣется, все это лишь вообще и теоретически: отвлеченно разсматривается лишь существенное свойство обоихъ инженерныхъ искусствъ, атаки и обороны крѣпостей. Разумѣется тоже, что нѣтъ правила безъ исключеній; и у насъ указывалось тогда на нѣкоторыя существующія крѣпости, которыя будто бы были неприступны. Гибралтаръ, напримѣръ, о которомъ, впрочемъ, мы знали лишь по слухамъ. Но въ научномъ смыслѣ все-таки никакой Гибралтаръ не могъ и не долженъ былъ считаться неприступнымъ, и аксіома, что искусство атаки крѣпости всегда превышаетъ средства и искусство ея обороны — оставалось непоколебимо.

О, другое дѣло на практикѣ. Иная крѣпость, напримѣръ, можетъ получить характеръ неприступной твердыни (не будучи таковою) потому только, что она, по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ, можетъ слишкомъ

долго задержать передъ собою главныя силы непріятеля, истощить эти силы и такимъ образомъ сослужить службу, больше которой и нельзя требовать. Тотлебенъ, напримѣръ, навѣрно зналъ, что Севастополь все-таки возьмутъ, наконецъ, и не могутъ не взять, какъ бы онъ ни защищалъ его. Но союзники уже навѣрно не знали и не предполагали, начиная осаду, что Севастополь потребуетъ отъ нихъ такихъ напряженій силы. Напротивъ, вѣроятно, полагали, что Севастополь займетъ ихъ мѣсяца на два и войдетъ лишь какъ мимоходный эпизодъ въ обширный планъ тѣхъ безчисленныхъ ударовъ, которые они готовились нанести Россіи и кромѣ взятія Севастополя. И вотъ именно Севастополь-то и сослужилъ службу неприступной твердыни, хотя и былъ взятъ подъ конецъ. Долгой, неожиданной для нихъ геніальной защитой Тотлебена, силы союзниковъ, военныя и финансовыя, были истощены и потрясены до того, что по взятіи Севастополя о дальнѣйшихъ ударахъ нечего было и думать, и враги наши желали мира, по крайней мѣрѣ, не менѣе нашего! А такія ли условія мира предложили бы они намъ, если бы удалось имъ взять Севастополь черезъ два мѣсяца! Такимъ образомъ и *не надо* абсолютно неприступныхъ крѣпостей; — при искусной защитѣ и при доблестной стойкости защитниковъ и далеко не неприступная крѣпость можетъ сломить силы враговъ. Тѣмъ не менѣе, какъ ни геніальна была защита Севастополя, но, повторяю это, онъ, все-таки, рано ли, поздно ли, долженъ былъ пасть, потому что, при извѣстномъ равенствѣ силъ обоихъ противниковъ, сила атаки всегда превышаетъ силу обороны (т. е. опять-таки въ научномъ смыслѣ говоря, а не въ практическомъ, ибо отъ иныхъ твердынь, дѣйствительно, уходили иногда атакующіе, послѣ даже долгой осады ихъ и не по неприступности ихъ, а разсчитывали лишь сдѣлать другой ударъ, въ другомъ мѣстѣ и съ меньшимъ ущербомъ силъ, если только такой исходъ могъ представиться).

III.

Тоже правило, только въ новомъ видѣ.

И вотъ этотъ военный фактъ, эта, такъ сказать, военная аксіома, въ нынѣшнюю нашу войну съ турками вдругъ какъ бы поколебались и чѣмъ же, — не «долго-

временнымъ» фортификаціоннымъ укрѣпленіемъ, не неприступною твердынею грозной крѣпости, а летучимъ, полевымъ, много что «временнымъ» фортификаціоннымъ укрѣпленіемъ. Прежде полевыя укрѣпленія и въ счетъ не шли, это была лишь полевая фортификація. Полевая фортификація лишь укрѣпляла мѣстность боя, но неприступною никогда ее не могла сдѣлать. У насъ подъ Бородинымъ были воздвигнуты редуты и оказали свою пользу, т. е. укрѣпили мѣстность, но все-таки были взяты и хоть съ ущербомъ для непріятеля, но все-таки въ тотъ же день были взяты, въ день битвы.

И вотъ подъ Плевной произошло что-то совсѣмъ уже новое. Рядъ простыхъ полевыхъ, много что *временныхъ* (не очень тоже важная вещь въ прежнее время) укрѣпленій придаетъ мѣстности значеніе неприступной твердыни, которую прежними средствами и взять нельзя, которая уже потребовала отъ насъ двойныхъ, тройныхъ усилій, чѣмъ предполагалось вначалѣ, и которая до сихъ поръ еще не взята. Будь весь этотъ грозный рядъ укрѣпленій съ прежними средствами защиты — устоялъ ли бы онъ противъ энергическаго, блистательнаго, безпримѣрнаго натиска русскихъ? Конечно, нѣтъ: сослужилъ бы свое дѣло, затруднилъ бы атаку, но 50,000 русскихъ, конечно, при такомъ беззавѣтномъ натискѣ, какъ 30 августа, овладѣли бы редутами и разбили бы пятидесятитысячную армію Османа-паши, т. е. дѣло завершилось бы при равномъ числѣ войскъ и не потребовалось бы никакихъ подкрѣпленій. Теперь же, послѣ двухъ неудавшихся штурмовъ, оказалось необходимымъ увеличить нашу армію вдвое, и это по крайней мѣрѣ, и это только первый шагъ къ достиженію цѣли.

Въ чемъ же дѣло? Уже, конечно, въ теперешнемъ ружьѣ. Турокъ, закрывшись наскоро набросанною насыпью, можетъ выпустить въ атакующихъ такую массу пуль, что не невѣроятно, если и вся штурмующая колонна, не дойдя еще и до гласиса, будетъ истреблена, до послѣдняго человѣка. О, конечно, можно взять всю Плевну совершенно прежними средствами, т. е. прежней фронтальной атакой безъ фортификаціонныхъ работъ. вотъ точно такъ же, какъ были взяты редуты подъ Бородинымъ. *И наши русскіе это бы сдѣлали!* Можетъ быть, ни одна армія въ Европѣ не рѣшилась бы сдѣлать это, а они бы сдѣлали. Только вотъ бѣда: оказалось изъ опыта, что для этого навѣрно надо положить русскихъ десятками тысячъ, такъ что, овладѣвъ редутами фронтальной атакой, мы, при равномъ въ началѣ числѣ войскъ съ Османомъ, оказались бы, подъ самый конецъ, столь обезсилен-

ными численно, что уже не могли бы сдержать Османа, который бы потерялъ въ десять разъ меньше нашего за своими насыпями. Итакъ, послѣ двухъ страшныхъ неудавшихся приступовъ выяснилась, наконецъ, необходимость: во-первыхъ, увеличить вдвое нашу силу, затѣмъ, съ помощью Тотлебена, приступить къ инженернымъ работамъ, къ чему-то даже похожему на атаку сильнѣйшихъ, долговременныхъ крѣпостей, затѣмъ къ обложенію Плевны, къ занятію дорогъ, къ пресѣченію сообщеній, подвозовъ къ непріятелю. Однимъ словомъ, рядъ весьма обыкновенныхъ полевыхъ временныхъ укрѣпленій сослужилъ врагу нашему роль первоклассной крѣпости. И хоть возьмутъ Плевну (что навѣрно), то есть рѣрнѣе сказать, хоть и возьмутъ Османа, когда онъ пойдетъ напроломъ, чтобы выйти изъ собственной западни и не умереть въ ней съ голоду (а бросившись напроломъ *откроется*, и изъ защищавшагося *перейдетъ самъ въ роль атакующаго*, въ этомъ-то и все для насъ дѣло), чѣмъ разомъ потеряетъ всѣ выгоды смертоноснаго и непреоборимаго огня за закрытыми укрѣпленіями, — тѣмъ не менѣе, въ результатѣ все-таки выйдетъ то, что Плевна уже сослужила свое дѣло врагу нашему, остановила первоначальное побѣдоносное шествіе русскихъ, принудила на двойныя, тройныя усилія и растраты (къ чему даже и въ Европѣ уже считали Россію неспособной, и кто знаетъ, можетъ быть, и безъ такого страшнаго для себя результата въ концѣ. Османъ все же вѣдь надѣется хоть половину-то своей арміи урвать у русскихъ и убѣжать вмѣстѣ съ нею, а тамъ опять гдѣ-нибудь окопаться и опять воздвигнуть новую Плевну (если только ему дадутъ все это устроить; но вѣдь всякому позволительно надѣяться, а Османъ человѣкъ энергичный и гордый.

Даже такъ можно сказать: если у обороняющагося есть шанцевый инструментъ и хоть десятка два тысячъ солдатъ, съ теперешнимъ ружьемъ, то рядъ этихъ простыхъ прежнихъ полевыхъ укрѣпленій, которыхъ можно въ одну ночь разбросать по избранной мѣстности сколько угодно — назавтра усилитъ эти теперешніе два десятка тысячъ войска до силы пятидесяти или шестидесяти-тысячной арміи, съ которою, если обстоятельства не благопріятствуютъ при томъ маневрированію, вы уже и не знаете что дѣлать. Такимъ образомъ — этотъ рядъ легкихъ укрѣпленій оказывается иной разъ даже лучше для защищающагося, чѣмъ самая грозная и неприступная крѣпость, потому что эту крѣпость обороняющійся, отступая, какъ бы переноситъ съ собою въ другое любое мѣсто,

былъ бы шанцевый инструментъ. Вы у него возьмете ее, наконецъ, положимъ при штурмѣ тысячи солдатъ, а назавтра васъ встрѣчаетъ такая же крѣпость на вашемъ пути, если только успѣетъ уйти отъ васъ врагъ. Не одна Плевна теперь въ Турціи, а всякая турецкая армія, всякій даже отрядъ окапывается, и выставляетъ наутро русскому изъ-за окоповъ свои смертоносныя ружья: «Подходи-ка, дескать, въ двойныхъ силахъ, да теряй войска вдесятеро, чѣмъ ты разсчитывалъ въ началѣ войны». Атакующему остается, чтобъ поравняться силами съ атакованнымъ, стать напротивъ него и тоже окопаться. Но этого нельзя, онъ атакующій, онъ пришелъ, чтобы атаковать и идти впередъ. Онъ не можетъ сидѣть за укрѣпленіями, онъ пришелъ штурмовать укрѣпленія... Знающіе люди поймутъ, что я говорю лишь теоретически, говорю объ атакѣ и оборонѣ вообще, отбрасывая всѣ другія случайности войны, измѣняющія поминутно ходъ дѣла, колеблющія его въ ту или другую сторону. Я хочу только выразить формулу, что *при нынѣшнемъ ружьѣ*, съ помощью полевыхъ укрѣпленій, всякій обороняющійся, *въ какой бы-то ни было сторонѣ Европѣ*, получилъ вдругъ страшный перевѣсъ силъ передъ атакующимъ. Сила обороны *пересиливаетъ* теперь силу атаки и обороняющемуся несомнѣнно выгоднѣе воевать чѣмъ атакующему. Вотъ тотъ фактъ, до сихъ поръ въ военномъ дѣлѣ неразъясненный, въ достаточной полнотѣ, и даже совсѣмъ *неожиданный*, на который намъ, русскимъ, суждено было наткнуться и его разъяснить къ огромному нашему ущербу. И это вовсе не наша *ошибка*, а лишь новый военный фактъ, вдругъ вышедшій наружу и вдругъ разъяснившійся...

VI.

Самыя огромныя военныя ошибки иногда могутъ быть совсѣмъ не ошибками.

Ну вотъ, скажутъ мнѣ, какой вы тутъ новый фактъ открыли? Развѣ не знали мы до начала кампаніи, что такое новое ружье и его смертоносная сила? Да и не новое оно, а давно уже старое, такъ что мы не только могли, но и должны были еще въ Петербургѣ разсчитать и приготовиться къ его страшному дѣйствію, особенно за закрытымъ укрѣпленіемъ. То-то и есть, что

на дѣлѣ не такъ выходитъ, какъ кажется въ теоріи, и что мы, дѣйствительно, *не могли* разсчитать и приготовиться. Легко это кажется лишь тѣмъ штатскимъ людямъ, которые, сидя въ своихъ кабинетахъ, критикуютъ теперь наши военныя дѣйствія. Я вѣдь не отрицаю ошибокъ, замѣтьте себѣ, я вѣдь признаю, что онѣ есть и быть должны, я только этотъ одинъ *фактъ* не хочу считать безусловно нашей ошибкой и объявляю, что до нынѣшней войны онъ былъ фактомъ неразъясненнымъ и даже неизвѣстнымъ *во всей своей подавляющей силѣ*. О, безъ сомнѣнія, можно было разсчитать и заранѣе знать, что при нынѣшнемъ ружьѣ оборонющійся, закрывшись самымъ легкимъ укрѣпленіемъ, можетъ принесть вреда атакующему даже *вдвое* болѣе, чѣмъ прежде; узнать и разсчитать — это дѣло легкое и даже никакой военной науки не требуетъ. Но вотъ что было уже несравненно труднѣе разсчитать и предузнать — именно: что при нынѣшнемъ ружьѣ обороняющійся, закрывшись укрѣпленіемъ, нанесетъ вреда не *вдвое* противъ прежняго, а, по крайней мѣрѣ, *впятеро*, а при такой энергической оборонѣ, которую мы встрѣтили у турокъ (и на которую намъ слишкомъ извинительно было не разсчитывать), такъ и *вдесятеро*. Фактъ-то былъ положимъ, извѣстенъ, но сила его, размѣры его были неизвѣстны. Неизвѣстно было, что нынѣшнее ружье хоть и усилило нападающаго, но защищающагося усилило *несравненно больше*. Эта *чрезмѣрность*-то усиленія не была намъ извѣстна, и вотъ *чрезмѣрность*-то эта и составляетъ новый, неожиданный фактъ, на который мы наткнулись.

Не была извѣстна и не могла быть извѣстна, потому что нигдѣ, до теперешней войны съ турками, она не открывалась въ такой полнотѣ. Повѣрьте, что будь на нашемъ мѣстѣ германская армія, то и она бы *наткнулась* на этотъ фактъ и натерла бы себѣ бока порядочно. Повторяю, можетъ быть, ранѣе нашего оцѣнила бы и усвоила все значеніе факта, и мѣры бы приняла. Но тутъ ужъ свойства народнаго духа: нѣмецъ осторожнѣе и осмотрительнѣе, въ иныхъ случаяхъ, русскаго, но русскій солдатъ обладаетъ зато такой самоотверженной дисциплиной, такимъ полнымъ самопожертвованіемъ, такой силой энергіи, стойкости и напора, что, право, трудно рѣшить: что еще лучше-то въ военномъ дѣлѣ, то или другое? Естественно, что наши компетентные люди, зная русскаго солдата, могли не очень задумываться вначалѣ, прежде опыта надъ силой новаго ружья, даже за укрѣпленіями, и хотя бы оно *не только вдвое, но и втрое* было страшнѣе прежняго ружья — могли не столь бояться

его. А оказалось, что новое ружье за укрѣпленіями *впятеро* и даже *вдесятеро* сильнѣе прежняго ружья, но въ этомъ можно убѣдиться *единственно лишь* изъ практики... А практики въ этомъ случаѣ до сихъ поръ еще въ европейскихъ войнахъ не было. Да съ появленіемъ новаго ружья еще много фактовъ не разъяснилось и даже самыхъ казалось бы простѣйшихъ. Мы, напримѣръ, только и ожили теперь, когда прибыли къ нашему войску берданки, а пустили войско вначалѣ съ другимъ ружьемъ, медленнымъ и недальнобойнымъ. Это уже была безспорная ошибка. Но тотъ фактъ, на который я указываю, не былъ ошибкой: предвидѣть его нельзя было во всей полнотѣ, разсчитать тоже нельзя было въ точности прежде практики.

Франко-прусская война, между двумя народами столь высокими по образованію, столь равными по силѣ открытій, изобрѣтеній, столь равными по вооруженію (у французовъ было еще лучше ружье, чѣмъ у нѣмцевъ, и нѣмцы принуждены были его принять, не откладывая дѣла, въ самый моментъ войны) — эта франко-прусская война, принесшая столь много новаго въ военное искусство и почти произведшая въ немъ переворотъ, не разъяснила, однакоже, *нашего* факта *ни мало*. А могла бы разъяснить. Но случились особыя обстоятельства, тому помѣшавшія, и побѣдитель Франціи до сихъ поръ, до самой турецкой войны, оставался въ невѣдѣніи, что побѣжденный имъ французъ имѣлъ колоссальное средство въ своихъ рукахъ, чтобъ остановить напоръ нѣмцевъ въ 1871 году, но не прибѣгнулъ къ этому средству лишь по особымъ обстоятельствамъ, сдѣлавшимъ то, что средство это и не могло тогда войти французу въ голову. Нѣмецъ побѣдилъ вовсе не французовъ, а лишь французскіе тогдашніе порядки, сначала наполеоновскаго режима, а потомъ республиканскаго хаоса. Въ началѣ войны французская армія, національный характеръ которой — фронтальная атака грудью, была страшно изумлена и подавлена нравственно тѣмъ, что вмѣсто перехода черезъ Рейнъ и вторженія въ Германію она принуждена защищать свою территорію у себя дома. Произошло нѣсколько сраженій, въ которыхъ побѣдили нѣмцы. Но мысль о томъ, что съ ихъ великолѣпнымъ Шаспо можно бы сразу выдвинуть, чтобъ остановить страшный натискъ врага, нѣсколько страшнѣйшихъ Плевнъ — не приходила французу вовсе въ голову. Онъ все рвался грудью впередъ, и до самаго Седана не хотѣлъ вѣрить, что онъ побѣжденъ. Послѣдовалъ Седанъ, а затѣмъ регулярныя арміи, въ большинствѣ своемъ, по соображеніямъ вовсе не воен-

нымъ, были устранены отъ дѣла. Осталась защита Парижа съ сумасшедшимъ Трошю. Гамбетта вылетѣлъ изъ Парижа на воздушномъ шарѣ, descendit du Ciel (сошелъ съ неба) въ одномъ департаментѣ (какъ пишетъ о немъ одинъ историкъ), объявилъ диктатуру и началъ набирать новыя арміи. Эти новыя арміи мало похожи были на настоящее войско и составлены изъ всякаго сброду не по винѣ, однако, Гамбетты. Сами они писали тогда же, что большинство ихъ солдатъ не умѣло даже зарядить ружья и прицѣлиться, да и не заботилось о томъ, не хотѣло воевать, а хотѣло покоя. Пошла зима, стужа, голодъ. Гдѣ имъ было догадаться, что можно вдругъ стать втрое, вчетверо сильнѣе врага, съ ружьемъ Шаспо и съ шанцевымъ инструментомъ? Да и былъ ли у нихъ шанцевый инструментъ? Помѣшала тоже осада Парижа, имѣвшая смыслъ скорѣе рѣшающе-политическій, чѣмъ военный. Однимъ словомъ, французы *новымъ* страшнымъ военнымъ фактомъ не воспользовались, да и сами не узнали его силы. Съ теперешней нашей турецкой войной фактъ выяснился *во всей полнотѣ*, и ужъ, конечно, политическіе и военные люди Германіи съ безпокойствомъ намотали его себѣ на усъ. Въ самомъ дѣлѣ, если фактъ этотъ войдетъ въ науку, въ тактику всѣхъ армій, то, можетъ быть, и французы имъ воспользуются, когда Германія опять на нихъ бросится. И если французы, отбросивъ свои военные предразсудки (что очень трудно дѣлается), — вполнѣ усвоятъ убѣжденіе, выведенное изъ турецкой нашей войны: что защита, съ новымъ ружьемъ и шанцевымъ инструментомъ, несравненно сильнѣе теперь атаки и требуетъ отъ атакующаго удвоенныхъ силъ, то выйдетъ слѣдующее соображеніе: у французовъ войска милліонъ, но есть общее военное правило, что атакованному несравненно легче совокупить всѣ свои силы, если онъ воюетъ у себя дома, даже если бъ государство было и при такихъ невыгодныхъ военныхъ границахъ какъ Россія, но что атакующій, если бъ имѣлъ (чего никогда не бываетъ) даже хоть два милліона войска, то никакъ онъ не можетъ войти въ атакованную землю болѣе чѣмъ съ шестью или съ семью стами тысячами войска. Вообразите же теперь, что этотъ весь милліонъ защищающихся прибѣгнетъ при томъ къ шанцевому инструменту съ такою же энергіей и широкостью пріема, какъ теперь турки, вообразите при томъ талантливаго полководца и превосходныхъ инженеровъ, — тогда вѣдь Германіи пришлось бы послать во Францію даже не милліонъ, а minimum полтора. Объ этомъ навѣрно кто-нибудь теперь въ Германіи думаетъ.

V.

Мы лишь наткнулись на фактъ, а ошибки не было. Двѣ арміи — двѣ противоположности. Настоящее положеніе дѣлъ.

Именно туркамъ суждено было открыть новый фактъ во всей полнотѣ! Другіе народы, другія арміи долго бы не открыли его *практически* въ *такой* полнотѣ. Турки слишкомъ давно уже не нападаютъ на Европу сами и привыкли именно къ защитѣ. Это и есть главная національная черта турецкой арміи. За укрѣпленіями турокъ выносливъ, энергиченъ, въ нынѣшнюю же войну Европа какъ нарочно ободрила его, помогла ему оружіемъ, инженерами, въ огромномъ размѣрѣ деньгами и, наконецъ, подстреканіями и натравливаніемъ на насъ возбудила въ немъ фанатизмъ. Было кому надоумить его, если бъ даже онъ и не зналъ факта, но фактъ какъ разъ сошелся съ его національнымъ духомъ. Сразу понялъ онъ, что такое шанцевый инструментъ при скорострѣльномъ ружьѣ и какой чрезмѣрный перевѣсъ силы пріобрѣтаетъ теперь защита, съ помощью его, надъ атакой. И какъ нарочно суждено было нарваться на это русскимъ, — т. е. той именно арміи, которая, по старинной вѣковой привычкѣ, усвоила себѣ атаку рьянымъ напоромъ, грудью, всѣмъ вмѣстѣ, товариществомъ, обращаясь изъ тысячи вдругъ какъ бы въ одно существо... Вотъ изъ двухъ-то этихъ обратныхъ другъ другу противоположностей и выяснилась новая аксіома во всей полнотѣ. Повторю еще разъ: еще можно было предвидѣть и разсчитать, что сила новаго ружья за закрытымъ шанцемъ превышаетъ вдвое, и даже втрое усиліе атакующаго. Надѣясь на стойкость и неслыханную энергію русскаго солдата, мы могли смотрѣть на это *вдвое* и *втрое* — съ презрѣніемъ (и долго смотрѣли такъ), но оказалось, не вдвое, не втрое, а вдесятеро. Этого нельзя было предвидѣть и даже, несмотря уже на практику, усвоить скоро.

Штатскимъ военнымъ, разумѣется, все это будетъ смѣшно. Да и факта, опять-таки, никакого они не признаютъ вовсе: «Должны-де были предугадать и кончено. Всѣмъ извѣстно, что ружье Пибоди даетъ десять, двѣнадцать выстрѣловъ въ минуту, ну и должны были понять, что съ такимъ ружьемъ, сидя за укрѣпленіемъ, турокъ побьетъ атакующую колонну до послѣдняго человѣка». Но въ теоріи, прежде опыта, повторяю опять, нельзя было

узнать это во всей полнотѣ. Есть удивительно простыя вещи, которыхъ самые геніальные полководцы не могли заранѣе предугадать. Одинъ французскій военный историкъ горько упрекаетъ Наполеона I за то, что тотъ, имѣя у себя, въ пятнадцатомъ году, 170-тысячную армію (всего на всего) и зная отлично, что уже ни солдата болѣе не достанетъ отъ Франціи — до того она была истощена двадцатилѣтними войнами, рѣшился однакоже самъ напасть на враговъ, т. е. на внѣшнюю войну, а не на внутреннюю. Этотъ историкъ силится доказать, что если бъ онъ и побѣдилъ при Ватерлоо, то это бы нисколько не спасло его отъ окончательнаго разгрома въ ту же кампанію, въ виду подавляющаго численнаго превосходства силъ коалиціи. Вся ошибка Наполеона состояла, говоритъ этотъ историкъ, въ томъ, что онъ, попрежнему еще, считалъ французскаго солдата стоющимъ двухъ нѣмецкихъ; и если бъ это было, дѣйствительно, правдой, то, конечно, онъ бы тѣмъ восполнилъ недостатокъ силъ, съ которыми выходилъ на бой со всею Европой. Но въ пятнадцатомъ году это было уже не такъ, критикуетъ историкъ: нѣмцы въ двадцать лѣтъ научились сражаться и выровняли своихъ солдатъ до того, что нѣмецкій солдатъ совершенно равнялся французскому. Итакъ, и геніальный Наполеонъ сдѣлалъ такую простую бы, кажется, ошибку, не догадался о томъ, что уже долженъ былъ давно знать и что такъ ясно бросалось въ глаза его критику. Но критиковать легко, и легко быть великимъ полководцемъ сидя на диванѣ. Замѣчательно то, что и Наполеонъ и мы *ошиблись* на весьма сходномъ пунктѣ, т. е. ошибочно придали чрезмѣрное значеніе нѣкоторымъ національнымъ особенностямъ нашихъ войскъ.

Въ заключеніе повторю еще и еще разъ, что все сказанное имѣетъ смыслъ лишь вообще, имѣетъ смыслъ лишь научный (вѣрный или невѣрный — объ этомъ пусть всякій судитъ какъ хочетъ). Но на практикѣ результаты могутъ чрезвычайно измѣняться. Такъ, напримѣръ, турки дали же намъ въ началѣ войны перейти за Дунай и явиться за Балканами, сдавали же они свои крѣпости и города и бѣжали же передъ нами, вовсе не думая о шанцевомъ инструментѣ и о значеніи своего ружья Пибоди. И фанатизму въ нихъ тогда еще, кажется, не было. Въ *чемъ дѣло,* они сами-то, по-настоящему, узнали вполнѣ лишь подъ Плевной. Тутъ-то они въ первый разъ догадались о всѣхъ современныхъ выгодахъ атакуемаго въ тактическомъ отношеніи. Но можетъ случиться, что Плевна будетъ взята черезъ недѣлю, а съ нею и *весь* Османъ, т. е. ни одного солдата, можетъ быть,

не удастся ему съ собой увести, если онъ пойдетъ на пробой. Затѣмъ, вдругъ, напримѣръ, можетъ явиться у турокъ прежній упадокъ духа, забудутъ и объ Адріанополѣ и о Софіи, шанцевый инструментъ побросаютъ, убѣгая передъ русскимъ натискомъ безъ оглядки, однимъ словомъ — многое можетъ случиться; но все это вовсе не измѣнитъ значенія новой аксіомы, въ ея общемъ смыслѣ, т. е. что при теперешнихъ средствахъ сила обороны превышаетъ силу атаки не попрежнему, а *чрезмѣрно*. Возьмемъ еще примѣръ: гдѣ-нибудь ведется война и генералъ затворился съ своимъ отрядомъ въ сильной крѣпости. Разсчитавъ всѣ данныя, т. е. средства провіанта, помѣщенія и силу крѣпостныхъ верковъ, инженерная наука можетъ (мнѣ кажется) опредѣлить почти до точности: сколько времени крѣпость могла бы сопротивляться и тѣмъ принести несомнѣнную пользу своему государству, задержавъ въ самое горячее время подъ стѣнами своими вдвое, напримѣръ, сильнѣйшаго атакующаго непріятеля? Положимъ, этотъ срокъ шесть или семь мѣсяцевъ, и вотъ вдругъ генералъ, затворившійся въ этой крѣпости, сдаетъ ее на капитуляцію, по своимъ особеннымъ соображеніямъ, не черезъ 7 мѣсяцевъ, а черезъ два? Но вѣдь это нимало, нисколько не нарушаетъ первоначальнаго научнаго разсчета о возможности защищаться семь мѣсяцевъ. Однимъ словомъ, практика можетъ измѣнять дѣло съ безконечными варіантами. Тѣмъ не менѣе аксіома о *чрезмѣрности* перевѣса (даже и не снившейся никому и нигдѣ прежде до теперешней нашей войны съ турками) силы обороны передъ силой атаки при теперешнихъ средствахъ вооруженія — остается во всей силѣ. (Подчеркну еще разъ: не перевѣсъ силы нельзя было намъ предвидѣть, а такую *чрезмѣрность* его.)

Но теперь практика уже на нашей сторонѣ, и мы больше *такой* ошибки не сдѣлаемъ. Теперь тамъ Тотлебенъ; что онъ дѣлаетъ, намъ въ точности неизвѣстно, но геніальный инженеръ найдетъ, можетъ быть, средство (не только въ частномъ случаѣ, но и вообще) потрясти *аксіому*, уничтожить *чрезмѣрность* и уравновѣсить двѣ силы (атаки и обороны) какимъ-нибудь новымъ геніальнымъ открытіемъ. На его дѣйствія внимательно и жадно смотритъ Европа и ждетъ не однихъ политическихъ выводовъ, но и научныхъ. Однимъ словомъ, нашъ военный горизонтъ просіялъ и надеждъ опять много. Въ Азіи кончилось большой побѣдой. Балканская же армія наша многочисленна и великолѣпна, духъ ея вполнѣ на высотѣ своей цѣли. Русскій народъ (т. е. народъ)

весь, какъ одинъ человѣкъ, хочетъ, чтобъ великая цѣль войны за христіанство была достигнута. Нельзя матерямъ не плакать надъ своими дѣтьми, идущими на войну: война народная. Это отрицаютъ иные, не вѣрятъ, набираютъ факты противорѣчащіе, а вотъ такія напримѣръ, извѣстія, мелкимъ шрифтомъ, въ газетахъ такъ и остаются почти непримѣченными:

«Со станціи Бирзулы пишутъ въ «Одесскій Вѣстникъ», что 3 октября черезъ эту станцію провезено въ дѣйствующую армію 2,800 выздоровѣвшихъ солдатъ. Съ ними было 6 выздоровѣвшихъ раненыхъ офицеровъ. Замѣчательно, что изъ числа раненыхъ *ни одинъ* не пожелалъ воспользоваться своимъ правомъ и остаться въ запасныхъ войскахъ. Всѣ спѣшили и спѣшатъ на мѣсто войны». («Моск. Вѣдомости», № 251.)

Какъ вамъ нравится такое свѣдѣніе? Вѣдь ужъ, кажется, такіе факты свидѣтельствуютъ о характерѣ дѣла! Какъ же утверждать послѣ нихъ, что нынѣшняя война не имѣетъ народнаго характера и что народъ въ сторонѣ? Но такихъ фактовъ не одинъ, а множество. Всѣ они соберутся и просіяютъ и войдутъ въ исторію... Къ счастью, большинство этихъ фактовъ засвидѣтельствовано многочисленнѣйшими европейскими очевидцами, и теперь уже ихъ нельзя измѣнить, подтасовать и представить въ биржевомъ или въ *римско-клерикальномъ* видѣ...

Глава вторая.

I.

Самоубійство Гартунга и всегдашній вопросъ нашъ: кто виноватъ?

Всѣ русскія газеты толковали недавно (и до сихъ поръ толкуютъ) о самоубійствѣ генерала Гартунга, въ Москвѣ, во время засѣданія окружного суда, четверть часа спустя послѣ прослушанія имъ обвинительнаго надъ нимъ приговора присяжныхъ. А потому, я думаю, что всѣ читатели «Дневника» уже знаютъ болѣе или менѣе объ этомъ чрезвычайномъ и трагическомъ происшествіи, и подробно объяснять его мнѣ уже нечего. Общій смыслъ въ томъ, что человѣкъ, въ значительномъ чинѣ и круга высшаго, сходится съ бывшимъ портнымъ, а потомъ процентщикомъ и дисконтеромъ Зайфлебеномъ, и не потому

только, что принужденъ былъ занимать у него деньги, а даже какъ бы и дружественно, принимаетъ, напримѣръ, на себя обязанность его душеприказчика и, повидимому, очень охотно. Затѣмъ, по смерти Занфтлебена, происходитъ нѣсколько вопіющихъ вещей: пропадаетъ вексельная книга неизвѣстно куда; векселя, бумаги и документы, съ совершеннымъ нарушеніемъ порядка, предписаннаго закономъ, отвозятся Гартунгомъ къ себѣ на квартиру. Гартунгъ, какъ оказывается, вступаетъ въ соглашеніе съ одной частью наслѣдниковъ въ ущербъ другой (хотя, можетъ быть, и не подозрѣваетъ того самъ). Затѣмъ къ нему врывается одинъ изъ наслѣдниковъ, и бѣдному душеприказчику уже на дѣлѣ приходится узнать, что онъ попалъ въ такое общество, въ какое и не ожидалъ. Затѣмъ начинаются обвиненія уже прямо, — въ кражѣ векселей, вексельной книги, въ перепискѣ векселей, въ исчезновеніи документовъ, слишкомъ на сто или даже на двѣсти тысячъ рублей имущества... Затѣмъ начинается судъ. Прокуроръ даже радъ суду и тому, что генералъ сидитъ рядомъ съ простолюдиномъ и тѣмъ даетъ поводъ русской Ѳемидѣ произнести торжество равенства передъ закономъ сильныхъ и высшихъ съ малыми и ничтожными.

Судъ, однакоже, идетъ весьма нормальнымъ порядкомъ (что бы ни говорили объ этомъ), и въ концѣ концовъ присяжные выносятъ почти неминуемое обвиненіе, въ томъ числѣ и о Гартунгѣ, смыслъ котораго: «виновенъ и похитилъ». Судъ удаляется составить приговоръ, но генералъ Гартунгъ дождаться его не захотѣлъ: выйдя въ другую комнату, онъ, говорятъ, сѣлъ къ столу и схватилъ обѣими руками бѣдную свою голову; за тѣмъ вдругъ раздался выстрѣлъ: онъ умертвилъ себя, принесеннымъ съ собой и заряженнымъ заранѣ револьверомъ, ударомъ въ сердце. На немъ нашли тоже заранѣ заготовленную записку, въ которой онъ «клянется *всемогущимъ Богомъ*», что ничего въ этомъ дѣлѣ не похитилъ и враговъ своихъ прощаетъ. Такимъ образомъ, онъ умеръ въ сознаніи своей невинности и въ сознаніи своего джентльменства.

И вотъ эта-то смерть и взволновала всѣхъ въ Москвѣ и всѣ газеты во всей Россіи. Говорятъ, и судьи и прокуроръ вышли изъ своихъ комнатъ совсѣмъ блѣдные. Присяжные, говорятъ, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже объ «очевидно несправедливомъ рѣшеніи» и однѣ изъ нихъ замѣчали, что наши суды нельзя уже теперь обвинять за мягкіе и потворствующіе приговоры: «вотъ, дескать, примѣръ: палъ невинный».

Другіе справедливо замѣтили, что такимъ торжественнымъ и послѣднимъ словамъ человѣка на землѣ почти невозможно не вѣрить, а, стало быть, почти несомнѣнно можно заключить, что произошла плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо признаться, нѣкоторые изъ отзывовъ газеты были странны: слышалась какая-то фальшь, можетъ быть, горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тутъ скорѣе трагедія (преглубокая), фатумъ русской жизни, чѣмъ съ которой-нибудь стороны ошибка. Или, лучше сказать, тутъ всѣ виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентнаго общества, и характеры, въ этомъ обществѣ выровнявшіеся и создавшіеся, наконецъ, нравы и обычаи нашихъ заимствованныхъ и недостаточно обрусѣвшихъ молодыхъ судовъ. Но вѣдь когда всѣ огуломъ виноваты, значитъ, порознь нѣтъ никого виноватаго. Изъ всѣхъ газетныхъ отзывовъ мнѣ всего болѣе понравился отзывъ «Новаго Времени». Я наканунѣ какъ разъ говорилъ съ однимъ изъ нашихъ тонкихъ юристовъ и знатоковъ русской жизни, и оказалось, что насчетъ этого дѣла у насъ одинъ и тотъ же выводъ, при чемъ мой собесѣдникъ весьма мѣтко указалъ на «трагизмъ» этого дѣла и на причины трагизма. На другой день, въ фельетонѣ Незнакомца, я прочелъ очень многое весьма похожее на то, о чемъ мы только что говорили наканунѣ. А потому, если и скажу теперь нѣсколько словъ, то лишь въ частности и «по поводу».

II.

Русскій джентльменъ. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменомъ.

Дѣло въ томъ, что старые характеры еще не перевелись и, кажется, еще долго не переведутся, потому что на все надобенъ срокъ и вездѣ природа. Я говорю о характерахъ нашего интеллигентнаго общества. Здѣсь, впрочемъ, настойчиво и съ упорствомъ замѣчу: что и не хорошо было бы, если бъ мы вдругъ какъ флюгера измѣнялись, потому что самая противная вещь въ нашихъ интеллигентныхъ характерахъ именно это свойство легковѣсности и безсодержательности. Она напоминаетъ что-то лакейское, лакея, рядящагося въ барское платье. Одна изъ свойствъ, напримѣръ, нашего джентльменничанья, если мы почему-нибудь разъ прикоснулись къ

богатымъ и знатнымъ, и особенно если къ нимъ проникли — это *представительность*, потребность обставить себя широко. Замѣтьте, я лично о Гартунгѣ не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его біографіи; я только хочу отмѣтить нѣсколько штриховъ всѣмъ извѣстнаго характера нашего интеллигентнаго человѣка, говоря вообще, и съ которымъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, могло бы случиться точь-въ-точь то же самое, что и съ генераломъ Гартунгомъ. Человѣкъ, напримѣръ, ничтожный, въ маломъ чинѣ, безъ гроша въ карманѣ, вдругъ попадаетъ въ высшее общество, или хоть почему-либо соприкасается съ нимъ. И вотъ, у бѣдняка ничего не имѣвшаго, кромѣ способности профильтроваться въ высшее общество, вдругъ является своя карета, квартира, въ которой «возможно» жить, лакеи, костюмы, перчатки. Можетъ быть, онъ хочетъ сдѣлать карьеру, выбиться въ люди, но чаще всего бываетъ такъ, что просто подражать хочетъ: всѣ, дескать, такъ живутъ, какъ же я-то? Тутъ какой-то въ немъ стыдъ, котораго никакъ нельзя пересилить, однимъ словомъ: честь и порядочность понимаются какъ-то странно, собственнаго же достоинства не оказывается никакого. Въ параллель этому непониманію такой первѣйшей вещи какъ чувство собственнаго достоинства можно поставить, мнѣ кажется, лишь непониманіе, чуть не всѣмъ интеллигентнымъ европейскимъ вѣкомъ нашимъ, свободы, въ чемъ состоитъ она, — но объ этомъ потомъ. Вторая, и опять таки почти трагическая черта нашего русскаго интеллигентнаго человѣка — это его податливость, его готовность на соглашеніе. О, есть множество кулаковъ, биржевиковъ, противныхъ, но стойкихъ мерзавцевъ: есть даже и хорошіе стойкіе люди, но ихъ мало ужасно, въ большинствѣ же порядочныхъ русскихъ людей царитъ именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не отъ добродушія, равно какъ далеко не отъ трусости, а такъ, деликатность какая-то, или неизвѣстно ужъ что тутъ. Сколько разъ вамъ, напримѣръ, приходилось въ разговорѣ съ упорнымъ, напримѣръ, человѣкомъ, налегавшимъ на васъ и требовавшимъ вашего отзыва — согласиться и уступить ваше мнѣніе, или вашъ даже голосъ въ какомъ-нибудь засѣданіи, хотя вы, можетъ быть, внутри себя и вовсе бы того не желали. Увлекаетъ тоже очень русскаго человѣка слово *всѣ:* «я какъ и всѣ» — «я съ общимъ мнѣніемъ согласенъ», — «всѣ идемъ, ура!» Но есть тутъ и еще странность: русскій человѣкъ самъ себя обольстить, прельстить, увлечь и уговорить очень любитъ. И не хочется ему сдѣлать то и то, пойти, на-

примѣръ, въ душеприказчики къ Зантфтлебену, но уговоритъ себя: «что жъ, дескать, такое, пойду»...

Бываютъ въ этомъ слоѣ интеллигентныхъ русскихъ людей типы, съ нѣкоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно съ тѣми несчастными свойствами русскаго джентльменства, на которыя я сейчасъ намекалъ. Иные изъ нихъ почти невинны, почти Шиллеры; ихъ незнаніе «дѣлъ» придаетъ имъ почти нѣчто трогательное, но чувство чести въ нихъ сильное: онъ застрѣлится, какъ Гартунгъ, если, по своему мнѣнію, потеряетъ честь. Можетъ быть, ихъ даже довольно и числомъ. Но врядъ ли эти люди знаютъ, напримѣръ, когда-нибудь сумму своихъ долговъ. И не то чтобъ всѣ они были кутилы, иные, напротивъ, прекрасные мужья и отцы, но деньги можно мотать и кутилѣ, и прекрасному отцу. Весьма многіе изъ нихъ входятъ въ жизнь съ слабыми остатками прежнихъ родовыхъ имѣній, которыя быстро улетучиваются въ первые дни юности. Затѣмъ бракъ, затѣмъ чинъ, и хорошее казенное мѣстечко, которое такъ себѣ, а все даетъ какой-нибудь доходъ и основаніе въ жизни, нѣчто уже солидное, въ противоположность великосвѣтскому бродяжеству въ прежнюю жизнь. Но долги идутъ безпрерывно, онъ, конечно, платитъ ихъ, потому что онъ джентльменъ, но платитъ новыми долгами. Положительно можно сказать, что многіе изъ нихъ, обдумывая въ иную минуту свое положеніе про себя, наединѣ, могли бы смѣло и съ великимъ благородствомъ произнести: «мы ничего не похищали, и ничего не хотимъ похитить». Между тѣмъ, вотъ какая тутъ мелкая черточка можетъ даже произойти: при случаѣ (ну, очень понадобилось) онъ способенъ взять взаймы даже у няньки дѣтей своихъ какіе-нибудь накопленные ею 10 рублей. Да что же такое, помилуйте, почему же нѣтъ? При томъ старушка-нянька, весьма часто, есть обжившійся близкій и интимный въ домѣ человѣкъ. Она почти членъ семьи, ее ласкаютъ, ей даже самые важные ключи на храненіе передаютъ. Добрый генералъ, ея баринъ, давно уже обѣщалъ ей мѣсто въ богадѣльнѣ на старость, да вотъ только дѣла-то эти все мѣшаютъ ему позаботиться, а давно бы надо тамъ о ней словечко замолвить. А нянька такъ и напомнить страшится, напоминаетъ развѣ одинъ разокъ въ годъ о богадѣльнѣ, все трепещетъ досадить такому нервному и обезпокоенному всегда человѣку, какъ ея генералъ. «Добрые вѣдь они, сами вспомнятъ», думаетъ она подчасъ, укладывая въ постель свои старыя кости; о 10 же рубляхъ и напомнить такъ даже стыдиться, у ней своя совѣсть есть, у старушки. И вотъ вдругъ уми-

раетъ генералъ, и — ни мѣста у старушки, ни десяти рублей. Все это, разумѣется, пустяки и мелочь страшная, но если бъ вдругъ на томъ свѣтѣ напомнили генералу, что нянька-то вѣдь 10 рублей не получила, то онъ бы страшно покраснѣлъ: «какіе десять рублей? Неужто! Ахъ, да вѣдь въ самомъ дѣлѣ, года четыре назадъ! Mais comment, comment, и какъ это могло случиться!» И этотъ долгъ мучилъ бы его сильнѣе, чѣмъ иной даже десятитысячный оставленный имъ на землѣ! Ему было бы ужасно какъ стыдно: «о, повѣрьте, я не хотѣлъ того, повѣрьте, что я даже не думалъ о томъ, забылъ думать!» Но бѣднаго генерала слушали бы тамъ только ангелы (такъ какъ онъ навѣрно попалъ бы въ рай), а нянька все-таки осталась бы безъ десяти рублей на землѣ, и жалко ей ихъ иногда старушкѣ: «ну, да Богъ съ ними, грѣхъ поминать этимъ, а человѣкъ были самый драгоцѣнный, самый какъ ни на есть, праведный баринъ».

И вотъ что еще: если бы этотъ прелестный человѣкъ какъ-нибудь опять очутился на землѣ и воплотился въ прежняго генерала — отдалъ бы онъ 10 рублей нянькѣ или нѣтъ?

Но не все вѣдь они занимаютъ. Вотъ пріятель, благо-р-роднѣйшій Иванъ Петровичъ, проситъ его выдать ему векселей тысячъ на шесть: заложу, дескать, въ банкъ, гдѣ я состою, и дисконтирую, а вотъ тебѣ, дражайшій другъ, встрѣчные на шесть тысячъ. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича онъ часто встрѣчаетъ потомъ въ клубѣ, оба забыли, разумѣется, и думать о выданныхъ векселяхъ, потому что оба суть самый цвѣтъ, такъ сказать, порядочныхъ людей въ нашемъ обществѣ, и вдругъ, черезъ шесть мѣсяцевъ, всѣ шесть тысячъ падаютъ на плечи генералу: «Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство». Ну, вотъ тутъ и бросаются къ людямъ какъ Занфтлебенъ и пишутъ документы, въ сто на сто.

Повѣрьте опять таки, что я, въ изображеніи моемъ, ни одной чертой не претендую обличать покойнаго генерала Гартунга: я его совсѣмъ не зналъ и ничего не слыхалъ о немъ лично. Я только имѣлъ претензію чуть-чуть начертить характеръ одного изъ членовъ этого общества, но который, однако, если бъ попался въ такую же передрягу, какъ генералъ Гартунгъ къ Занфтлебену, то съ нимъ могло бы произойти совершенно то же самое, какъ и съ Гартунгомъ, до самоубійства включительно. А потому, мнѣ кажется, въ дѣлѣ Гартунга нечего ни стыдить судъ, ни стыдиться суду. Тутъ вѣдь фатумъ, трагедія:

генералъ Гартунгъ до самой послѣдней минуты своей считалъ себя не виновнымъ и оставилъ записку...

— Да, но вѣдь вотъ, однакожъ, эта записка, — скажутъ другіе. — Вѣдь невозможно же, чтобы въ такую минуту человѣкъ, да еще вѣрующій, какъ оказывается, могъ солгать. Значитъ, онъ ничего не похитилъ, коли такъ торжественно заявилъ, что не похитилъ. Да и сдѣлки тутъ никакой не могло быть у него даже съ совѣстью: какъ бы ни былъ шатокъ и затемненъ смыслъ человѣка всей этой путаницей, но ужъ коли онъ говоритъ «я не похитилъ», то онъ не можетъ не знать: «похитилъ онъ или не похитилъ?» Это вѣдь просто дѣло рукъ человѣческихъ. Тутъ просто вопросъ: клалъ въ карманъ или не клалъ? Какъ же онъ могъ не знать, если бъ положилъ?

Это совершенно справедливо, но вотъ вѣдь что можетъ тутъ быть, и даже навѣрно: Вѣдь онъ написалъ только про одного себя: «я, дескать, ничего не похитилъ, и не думалъ о похищеніи» — но вѣдь могли похитить другіе.

— Совершенно невозможно, — возразятъ мнѣ: — если онъ далъ похитить другимъ и, зная о томъ какъ опекунъ — смолчалъ, то, стало быть, *и онъ похитилъ* съ другими! Генералъ Гартунгъ не могъ не понимать, что тутъ нѣтъ разницы.

Отвѣчу: во-первыхъ, можно еще оспорить аргументъ, что «если зналъ и далъ похитить, то, стало быть и онъ похитилъ», а во-вторыхъ, тутъ несомнѣнно есть разница. А въ-третьихъ, генералъ Гартунгъ могъ именно написать въ этомъ лишь буквальномъ смыслѣ, о которомъ мы говоримъ: «т. е. я, дескать, лично не бралъ и *не хотѣлъ* брать ровно ничего, сдѣлали другіе и противъ моей воли. Я виновенъ лишь въ слабости, но не въ мошенничествѣ, потому что самъ ничего не хотѣлъ брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сдѣлали другіе»... Онъ именно могъ написать въ этомъ смыслѣ свои роковыя слова, но въ то же время, будучи столь честенъ и благороденъ, ни за что не могъ бы согласиться, что «коли попустилъ украсть, значитъ, самъ укралъ». Онъ къ Богу шелъ, и онъ зналъ, что не хотѣлъ ни украсть, ни попустить, а такъ — само укралось. Да къ тому же замѣтьте, онъ никакъ бы и не могъ разъяснить въ этой запискѣ свои слова пошире: т. е. что виновенъ въ послабленіи, а не въ похищеніи и проч. Не могъ же онъ, джентльменъ, доносить на другихъ, — особенно въ такую торжественную минуту, въ которую онъ «простилъ врагамъ своимъ».

А, наконецъ, и это всего вѣроятнѣе, онъ, можетъ

быть, не могъ въ своемъ сердцѣ сознаться даже и въ послабленіи, въ слабости, въ добродушномъ попущеніи. Тутъ, можетъ быть, была такая сѣть обстоятельствъ, которую онъ до самой послѣдней минуты, включительно, осмыслить не могъ, съ тѣмъ и ушелъ на тотъ свѣтъ. «Похищена-де вексельная книга» — и вотъ толковые люди, которымъ онъ вполнѣ довѣряется, убѣждаютъ его въ самомъ началѣ, что вѣдь это просто пустяки, пропала сама какъ-нибудь, потому что вѣдь никому она и не нужна. Они выводятъ ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вредъ, а не къ пользѣ самимъ даже наслѣдникамъ. (Вѣдь этотъ самый аргументъ представляла же на судѣ потомъ защита, и, кажется, онъ былъ справедливъ.) Въ этомъ смыслѣ могло быть и все остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Вѣдь онъ дѣлъ не зналъ, и его можно было убѣдить во всемъ. «Повѣрьте, дескать, мы тоже благородные люди, мы, какъ и вы, не хотимъ похитить *ничего* у наслѣдниковъ, но дѣла-то у Занфтлебена остались въ такомъ щекотливомъ видѣ, что если тамъ они (наслѣдники) узнаютъ теперь про вексельную книгу и все это, то могутъ прямо насъ обвинить въ мошенничествѣ, а потому надо скрыть отъ нихъ». Эти «безпорядки Занфтлебена», разумѣется, открывались не вдругъ, а постепенно, такъ что Гартунгъ узнавалъ истину, или, лучше сказать, терялъ истину и втягивался въ ложь каждый день постепенно. И вотъ вдругъ къ нему прямо врывается одинъ изъ наслѣдниковъ, и если не кричитъ, что генералъ Гартунгъ воръ, то вѣдь все равно что кричитъ. Онъ вѣдь вошелъ съ торжествомъ, съ побѣдоносной и злой улыбкой и ужъ вполнѣ увѣренный, что теперь смѣетъ сдѣлать въ квартирѣ генерала всякую пакость. И тутъ только генералъ вполнѣ узналъ, въ какую трущобу забился. Потомъ онъ совсѣмъ потерялся, онъ сталъ предлагать компромиссы, сдѣлки и запуталъ, конечно, себя еще болѣе, а обвиняющая сторона жадно вцѣпилась въ новые компрометирующіе его факты насчетъ компромиссовъ и сдѣлокъ. Все пошло въ дѣло. Однимъ словомъ, Гартунгъ умеръ въ сознаніи совершенной своей личной невинности, и ошибки... судебной ошибки, въ строгомъ смыслѣ, никакой не было. Былъ фатумъ, случилось трагедія: слѣпая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтобъ наказать его за *пороки*, столь распространенные въ его обществѣ. Такихъ, какъ онъ, можетъ быть, 10,000, но погибъ одинъ Гартунгъ. Невинный и высокочестный этотъ человѣкъ, съ своей трагической развязкой, конечно, могъ возбудить наибольшую симпатію, изъ всѣхъ этихъ

десяти тысячъ, а судъ надъ нимъ пріобрѣсти наибольшую огласку по Россіи для предупрежденія «порочныхъ»; но врядъ ли судьба, слѣпая богиня, на это именно разсчитывала, поражая его.

III.

Ложь необходима для истины. Ложь на ложь даетъ правду. Правда ли это?

И однако во мнѣ воскресло одно, еще прежнее впечатлѣніе, которымъ хочется подѣлиться, хотя, можетъ быть, очень наивное. Это уже вообще о нашемъ судѣ. Гласный судъ съ присяжными засѣдателями принято считать во всемъ мірѣ чуть не за достигнутое совершенство: «это, такъ сказать, побѣда, высшій плодъ ума». Я вѣрю со всѣми, потому что вамъ скажутъ, напримѣръ: «ну, выдумайте лучше» — и вѣдь вы не выдумаете. Слѣдственно необходимо согласиться уже по тому одному, что нельзя лучше выдумать. А, между тѣмъ, вотъ всходитъ на сцену... то бишь на эстраду, г. прокуроръ. Представимъ, что это человѣкъ превосходный, умный, совѣстливый, образованный, съ христіанскими убѣжденіями и знающій Россію и русскаго человѣка какъ мало въ Россіи знаютъ. Ну-съ, а вотъ этотъ совѣстливѣйшій человѣкъ прямо начинаетъ съ того, что онъ «*даже* радъ, что случилось это преступленіе, потому только что пришла, наконецъ, кара этому злодѣю, вотъ этому подсудимому, потому что если бъ вы только знали, господа присяжные, какая это каналья!» Т. е. онъ, разумѣется, «каналью» не употребитъ, но вѣдь это все равно: онъ самымъ вѣжливѣйшимъ, самымъ мягкимъ и самымъ гуманнымъ образомъ выставитъ его подъ конецъ даже хуже канальи, хуже даже всякой канальи. Скорбя сердцемъ, онъ деликатнѣйшимъ образомъ передаетъ, что вѣдь и мать его была такова, что онъ, наконецъ, не могъ не украсть, потому что самый низкій развратъ увлекалъ его все болѣе и болѣе въ бездну. Сдѣлалъ же онъ все сознательно и преднамѣреннѣйшимъ образомъ. Вспомните, какъ хорошо ему послужилъ пожаръ въ сосѣдней улицѣ въ минуту совершенія имъ преступленія, потому что пожаръ, произведя тревогу, отвлекъ къ себѣ вниманіе и дворниковъ и всего околотка. «О, я, разумѣется, далекъ отъ всякаго *прямого* обвиненія въ поджогѣ, но, господа присяжные, согласитесь, что тутъ странное совпаденіе двухъ обстоятельствъ, неизбѣжно наводящихъ на извѣст-

ную мысль, но я молчу, молчу, — но, конечно, вы этого вора, и убійцу (потому что онъ непремѣнно бы убилъ, если бъ встрѣтилъ кого въ квартирѣ) и, наконецъ, поджигателя, отъявленнаго, доказаннаго поджигателя, — конечно, ужъ вы его ушлете куда-нибудь подальше, и тѣмъ дадите возможность вздохнуть добрымъ людямъ, хозяйкамъ покойно удаляться изъ квартиры за покупкой провизіи, а владѣльцамъ домовъ не трепетать за свое имущество, хотя бы таковое и было застраховано въ томъ или другомъ страховомъ обществѣ. А главное, напрасно я это все вывожу: взгляните на него! Вотъ онъ сидитъ, не смѣя взглянуть въ глаза честнымъ людямъ, и развѣ мало одного простого взгляда, чтобъ убѣдиться, что это и воръ, и убійца, и поджигатель. Объ одномъ лишь торжественно сожалѣю, что ему не удалось сдѣлать десять такихъ же покражъ бѣлья, зарѣзать десять такихъ же хозяекъ и поджечь десять такихъ же домовъ, потому что тогда самая уже колоссальность преступленія потрясла бы граждански-сонливое общество наше и заставила бы его прибѣгнуть, наконецъ, къ самозащитѣ и выйти изъ преступнаго своего гражданскаго усыпленія»...

О, мы знаемъ, что г. прокуроръ будетъ говорить гораздо благороднѣе. Слова наши карикатура и годятся лишь для юмористической воскресной газетки съ куплетами и карикатурами, положимъ. Положимъ, это будетъ даже одно изъ такихъ дѣлъ, которыя возбуждаютъ глубокіе соціальные и гражданскіе вопросы, а главное — въ немъ будутъ психологическія мѣста, а въ психологіи, какъ извѣстно, чрезвычайно бойки прокуроры даже во всей Европѣ. Ну, и что же, все-таки выйдетъ въ заключеніе то же самое, т. е. что жаль, дескать, что не было вмѣсто одного — десяти, тридцати, пятисотъ отравленій, потому что тогда бы содрогнулись ваши сердца, и вы бы встали какъ одинъ человѣкъ и т. д. и т. д.

Но возразятъ мнѣ, что жъ тутъ такого? Положимъ, ужасно много прокуроровъ совсѣмъ не ораторы, но прокуроръ, во-первыхъ, чиновникъ и долженъ дѣйствовать сообразно службѣ своей, и во-вторыхъ, что прокуроры всегда преувеличиваютъ обвиненіе — въ томъ нѣтъ не только ничего предосудительнаго, но, напротивъ, все полезное. Ибо такъ именно и надо. Зато, въ противоположность ему, есть защитникъ подсудимаго, которому позволяется вполнѣ опровергать прокурора. Кромѣ того, даже во всей Европѣ позволяется доказывать, конечно, съ полнѣйшей вѣжливостью, что прокуроръ глупъ, нелѣпъ, подловатъ и что «если кто зажегъ третьяго дня въ 3-й линіи на Васильевскомъ домъ, такъ это именно этотъ са-

мый человѣкъ, потому что онъ какъ разъ въ это самое время былъ на Васильевскомъ Островѣ на именинахъ генерала Михайлова, превосходнѣйшаго и благо-о-р-роднѣйшаго существа, а что онъ зажегъ домъ, то въ этомъ нѣтъ сомнѣнія по тому одному даже (опять психологія), что не подожги онъ этотъ домъ, по враждѣ съ домовладѣльцемъ купцомъ Иваномъ Бородатымъ, то ему бы никогда не могло придти въ голову такое глупое, такое ни на что не похожее и пошлое обвиненіе подсудимаго въ поджигательствѣ для отвода глазъ всей улицы во время совершенія этого мнимаго и несообразнаго ни съ чѣмъ преступленія. Собственный поджогъ его именно и навелъ на мысль». Наконецъ, возьмите и то, что защитнику позволяется дѣлать жесты, проливать слезы, скрежетать зубами, рвать свои волосы, стучать стульями (но не замахиваться ими) и, наконецъ, падать въ обморокъ, если онъ уже очень благороденъ и не можетъ вынести несправедливости, что, впрочемъ, кажется, не позволено прокурору, какъ бы ни былъ онъ благороденъ, потому что какъ-то странно было бы вдругъ упасть навзничь чиновнику въ мундирѣ. Не употребляется это вовсе.

Опять таки все, что я говорю, — карикатура, одна карикатура, и ничего этого не бываетъ, а обходится все на самой благородной ногѣ, я согласенъ (хотя стульями-то стучали и въ обморокъ-то падывали)! Но вѣдь я только хлопочу о сущности дѣла, потому что въ самыхъ благороднѣйшихъ выраженіяхъ доходятъ до того же самаго, какъ и въ неблагороднѣйшихъ.

— Какъ, что вы, — укажутъ мнѣ, — да это-то и надо, именно преувеличеніе-то и надо, съ обѣихъ сторонъ! Присяжный иногда человѣкъ не столь образованный, и къ тому же занятой, у него тамъ своя лавка, дѣла, онъ подчасъ разсѣянъ, а подчасъ такъ и просто не въ силахъ самъ углубиться. А потому именно его надо углубить, показать ему всѣ фазисы дѣла, даже самые невозможные, чтобы онъ уже вполнѣ былъ увѣренъ, что обвиненіемъ все, что только можетъ придти въ голову, уже исчерпано, и что думать надъ этимъ уже больше нечего, равно какъ защитой подведено все, что только возможно и невозможно предположить къ убѣленію подсудимаго, паче горняго снѣга. А потому, тамъ въ особой комнатѣ, сводя итоги, они уже знаютъ, такъ сказать, механически, что должно выскочить, плюсъ или минусъ, такъ что совѣстью, по крайней мѣрѣ, они могутъ быть совершенно спокойны. Въ результатѣ ясно, что все это совершенно необходимо для истины, т. е. и ожесточен-

ное нападеніе и ожесточенная защита, и даже такъ, что ожесточенное-то нападеніе обвинителя, если только взять въ самомъ строгомъ смыслѣ, даже полезнѣе подсудимому, чѣмъ самому обвинителю, такъ что опять-таки ничего нельзя выдумать лучше.

Однимъ словомъ, современный судъ не только побѣда, или высшій плодъ ума, но и самая мудреная вещь. Съ этимъ нельзя не согласиться. Судъ при томъ гласный; стекается публика даже сотнями человѣкъ — и неужели предположить, что они стекаются изъ праздности, для спектакля только? Нѣтъ, конечно: изъ какого бы побужденія ни собирались они, а надо, чтобы уходили съ впечатлѣніемъ высшимъ, сильнымъ, назидательнымъ и цѣлебнымъ. Между тѣмъ, всѣ сидятъ и видятъ; что тутъ, въ основѣ, какая-то ложь — о, не въ судѣ, конечно, не въ значеніи приговора, а просто, напримѣръ, въ иныхъ привычкахъ, съ такою счастливою легкостью воспринятыхъ у Европы и укоренившихся въ нашихъ представителяхъ защиты и обвиненія. Я вотъ ухожу домой и дома про себя думаю: вѣдь Ивана Христофоровича, прокурора, я лично знаю, умнѣйшій и добрѣйшій человѣкъ, а между тѣмъ, вѣдь онъ лгалъ, и зналъ что лгалъ. Дѣло какого-нибудь выговора или двухмѣсячнаго заключенія онъ натянулъ на двадцатилѣтнюю ссылку въ отдаленнѣйшія мѣста. Пусть это даже надо для самой ясности дѣла, но все же онъ лгалъ, лгалъ сознательно, а вѣдь дѣло-то объ шеѣ человѣка идетъ. Какъ же это такъ согласить, особенно если онъ человѣкъ съ талантомъ: вѣдь il en reste toujours quelque chose, особенно если защита плоховата и только стульями умѣетъ стучать. Положимъ, тутъ даже самолюбіе Ивана Христофоровича разыгралось, чисто человѣческая черта, но извинительная ли въ такомъ важномъ дѣлѣ? Куда же тутъ человѣкъ-то дѣвался, высшій-то человѣкъ, гуманный, цивилизованный?

Пусть, пусть, наконецъ, изъ этого-то изъ всего и выходитъ истина, и выходитъ, такъ сказать, механически даже, самымъ хитрѣйшимъ путемъ, но вѣдь сбирающаяся на судъ публика, пожалуй, и впрямь будетъ собираться тогда на зрѣлище, на созерцаніе механическаго и хитрѣйшаго пути, и слушая съ восторгомъ, какъ, напримѣръ, талантливый защитникъ такъ отлично лжетъ противъ совѣсти, она чуть не апплодируетъ ему съ своихъ стульевъ: «какъ, дескать, лжетъ хорошо человѣкъ!» Вѣдь отъ этого зарождается въ массѣ этой публики цинизмъ и фальшь, и укореняются незамѣтно. Жаждутъ уже не истины, а таланта, лишь бы повеселилъ и развлекъ. Тупѣетъ гу-

манное чувство, которое уже не возстановите кувырканіями въ обморокъ. Ну, а представьте, опять таки если лжецъ дѣйствительно съ огромнымъ талантомъ?

Я знаю, что все это лишь праздное съ моей стороны нытье. Но, послушайте, учрежденіе гласнаго присяжнаго суда все же вѣдь не русское, а скопированное съ иностраннаго. Неужели нельзя надѣяться, что русская національность, русскій духъ, когда-нибудь сгладятъ шероховатости, уничтожатъ фальшь... дурныхъ привычекъ, и дѣло пойдетъ уже во всемъ по правдѣ и по истинѣ. Правда, теперь это невозможно: теперь именно защита и обвиненіе блистаютъ этими дурными привычками, ибо одни ищутъ денегъ, а другіе карьеры. Но вѣдь когда-нибудь можно же будетъ прокурору даже защищать подсудимаго, вмѣсто того чтобъ обвинять его, такъ что защитники, если бы захотѣли возразить, что даже и той малой доли обвиненія, которую прокуроръ все же оставилъ на подсудимомъ, нельзя примѣнить къ нему, то присяжные засѣдатели имъ просто бы не повѣрили.

Я даже такъ думаю, что такой пріемъ скорѣе бы и вѣрнѣе гораздо способствовалъ къ отысканію истины, чѣмъ прежній механическій способъ преувеличенія, состоящій въ крайности обвиненія и въ звѣрствѣ защиты? Отвѣтятъ, конечно, что это рѣшительно невозможно, а такъ какъ то же самое и въ Европѣ, то и быть не должно, и что «*чѣмъ механичнѣе, тѣмъ даже и лучше*».

Вотъ этотъ механизмъ-то, этотъ механическій способъ вытаскивать наружу правду, можетъ быть, у насъ и замѣнится... просто правдой. Искусственное преувеличеніе исчезнетъ съ обѣихъ сторонъ. Всякій явится искреннимъ и правдивымъ, а не игрой въ отысканіе истины. На сценѣ будетъ не зрѣлище, не игра, а урокъ, примѣръ, назиданіе. Правда, адвокатамъ будутъ платить гораздо меньше. Но всѣ эти утопіи возможны будутъ, развѣ когда у насъ выростутъ крылья и всѣ обратятся въ ангеловъ. Но вѣдь и судовъ тогда не будетъ...

Глава третья.

I.

Римскіе клерикалы у насъ въ Россіи.

Недавно «Московскія Вѣдомости», № 262, сдѣлали въ своей передовой статьѣ слѣдующее замѣчаніе:

Третьяго дня мы обратили вниманіе на какую-то партію внутри Россіи, дѣйствующую въ согласіи съ ея врагами и готовую помогать туркамъ въ ихъ борьбѣ съ нею, — партію русскихъ англо-мадьяръ, которой ненавистно всякое проявленіе нашего народнаго духа, всякое дѣйствіе нашего правительства въ этомъ духѣ и которая русскій патріотизмъ ставитъ на одну линію съ нигилизмомъ и революціей, — партія, которая питаетъ гнуснѣйшими корреспонденціями враждебную намъ заграничную печать. Едва была сдана наша статья въ печать, какъ телеграмма нашего петербургскаго корреспондента передала намъ сущность обнародованнаго „Правительственнымъ Вѣстникомъ" сообщенія, изобличающаго новыя продѣлки этой партіи. Въ то самое время, когда между Плевной и Орханіе наша армія имѣла блистательные успѣхи, въ Петербургѣ интрига распускаетъ слухи о пораженіи, будто бы понесенномъ этими самыми побѣдоносными войсками, стараясь распространить въ публикѣ уныніе, и старается такъ усердно, что правительство сочло необходимымъ предостеречь публику отъ подобныхъ злоумышленныхъ слуховъ.

«Новое Время» замѣтило по этому поводу на другой же день, вскользь, впрочемъ, что «Московскія Вѣдомости» хватили немножко далеко, и что «Правительственный Вѣстникъ» разумѣлъ, можетъ быть, просто какую-нибудь болтовню въ публикѣ, вовсе не имѣющую такого значенія. (Излагаю мысль «Новаго Времени» своими словами на память.)

Весьма можетъ быть, что и такъ, и что «Правительственный Вѣстникъ» и впрямь говорилъ лишь о какой-нибудь «болтовнѣ». Тѣмъ не менѣе предположеніе «Московскихъ Вѣдом.» имѣетъ несомнѣнное основаніе. Только какіе же тутъ англо-мадьяры, о которыхъ упоминаютъ «Моск. Вѣд.»? У насъ, на нашихъ окраинахъ, да и внутри свои римскіе клерикалы найдутся. Теперь уже не май мѣсяцъ; теперь уже всѣ знаютъ и пишутъ о клерикальномъ всемірномъ заговорѣ, и даже самыя либеральныя изъ нашихъ газетъ согласились, что заговоръ этотъ имѣетъ свою силу. Но странно было бы, если бъ ватиканскій заговоръ миновалъ нашихъ римскихъ клерикаловъ и не употребилъ ихъ въ дѣло. Смута, въ тылу русскихъ армій, чрезвычайно была бы выгодна Ватикану, особенно въ настоящую минуту. Вотъ еще выписка, но уже изъ «Новаго Времени», № 587. «Новое Время», въ отдѣлѣ своемъ: «Среди газетъ и журналовъ», цитируетъ мнѣніе «Голоса», выраженное по поводу нѣкоторыхъ статей въ англійской «Morning Post» и въ нѣкоторыхъ заграничныхъ польскихъ журналахъ. Вотъ эта выписка:

Въ „Morning Post", отъ 22 октября, напечатана любопытная, по своей неожиданности, статья, гдѣ туркофильская газета сообщаетъ о переговорахъ, будто бы начатыхъ уже между Россіей и Германіей, по поводу уступки Германіи Привислянскаго края по Вислу! Само собою, разумѣется, что въ глазахъ „Morning Post" это составляетъ ре-

зультатъ сдѣлки, по которой Германія обязуется помочь „пріобрѣтеніямъ Россіи на Балканскомъ полуостровѣ“. Лондонская газета настойчиво толкуетъ далѣе, что поляки Привислянскаго края вовсе не думаютъ теперь о возстаніи, „не желая попасть еще въ горчайшее рабство“, т. е. во власть пруссакамъ, и что если въ „русской Польшѣ“ произойдутъ какіе-нибудь безпорядки, то они будутъ простымъ послѣдствіемъ „русско-прусскихъ интригъ“... Замѣчательно, что, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, какъ появилась эта статья въ „Morning Post“ о томъ же самомъ предметѣ, хотя и въ нѣсколько другомъ тонѣ, говорилъ „Dziennik Polski“, сообщивъ, будто бы русское правительство, выводя свои войска изъ Привислянскаго края, распространило тамъ воззваніе къ крестьянамъ, приглашая ихъ образовать изъ себя сельскую стражу для наблюденія за панами и для подавленія всякихъ попытокъ къ мятежу. Передавая содержаніе этихъ статей, „Голосъ“ удивляется, съ чего вдругъ стали такъ усердствовать „Dziennik Polski“ и „Morning Post“? Для чего понадобилась имъ нелѣпая басня о русскомъ воззваніи къ привислянскимъ крестьянамъ и о русско-прусскихъ agents provocateurs, будто бы старающихся возбудить „искусственное возстаніе въ „конгрессувкѣ“?

Эти неожиданныя выходки должны же имѣть какую-нибудь цѣль. Газеты, ихъ напечатавшія, вѣроятно, имѣютъ свѣдѣнія, заставляющія ихъ опасаться возникновенія безпорядковъ въ Привислянскомъ краѣ, и стараются заранѣе исказить смыслъ движенія, послѣдствій котораго онѣ, повидимому, опасаются. Пріемъ этотъ не новъ. Онъ уже употреблялся поляками и ихъ западными друзьями въ 1863 году. Одно это воспоминаніе заставляетъ уже признать, что статьи „Dziennik Polski“ и „Morning Post“ не лишены значенія и имѣютъ какую-то таинственную связь съ прежними толками мадьярской печати о сочувствіи поляковъ къ туркамъ и объ ихъ тайномъ желаніи усложнить положеніе Россіи революціонною агитаціей на нашей западной границѣ. Любопытно, что эти статьи совпадаютъ съ извѣстіемъ о кандидатурѣ кардинала Ледоховскаго на папскій престолъ. Мы не принадлежимъ, заявляетъ „Голосъ“, къ числу охотниковъ придавать преувеличенное значеніе всѣмъ фантастическимъ комбинаціямъ, за которыя хватаются недоброжелатели Россіи въ надеждѣ помѣшать благопріятной для нея развязкѣ нынѣшней войны. Въ данномъ же случаѣ, дѣло кажется намъ настолько серьезнымъ, что нельзя уже оставить безъ указанія такой фактъ, какимъ является неожиданное и ничѣмъ, повидимому, не вызванное появленіе статей „Dziennik Polski“ и „Morning Post“.

Стало быть, есть же нѣчто похожее на вѣтви клерикальнаго заговора, можетъ быть, и у насъ? Ужъ одно извѣстіе о кандидатурѣ Ледоховскаго, несомнѣнно польскаго происхожденія, ибо только одна легкомысленная голова польскаго заграничнаго агитатора можетъ серьезно повѣрить, что римскій конклавъ, наполненный такими тонкими умами, въ состояніи былъ бы такъ льститься избраніемъ Ледоховскаго, при чемъ новый папа только бы и дѣлалъ, что занимался возстановленіемъ отчизны, а не римскаго и всемірнаго владычества папъ. Но это въ сторону, а вѣтви клерикальнаго заговора въ

Россіи все-таки ясны. «Новое Время» прибавляетъ къ тому же, что —

настойчивая въ настоящее время полемика „Journal de St.-Pétersbourg“ съ итальянскими клерикальными газетами, по поводу мнимаго угнетенія католицизма въ Польшѣ, какъ будто показываетъ, что существуютъ признаки какой-то агитаціи на нашей западной окраинѣ.

Ну, ужъ вовсе не признаки только. Это, стало быть, именно и есть та *партія*, про котрую говорятъ «Московскія Вѣдомости», что она «дѣйствуетъ въ согласіи съ врагами Россіи... и что ей ненавистно всякое проявленіе нашего народнаго духа, всякое *дѣйствіе нашего правительства въ этомъ духѣ*, и которая русскій патріотизмъ ставитъ на одну доску съ нигилизмомъ и революціей, — партія, которая питаетъ гнуснѣйшими корреспонденціями враждебную намъ печать»...

Да, именно европейскія корреспонденціи изъ Россіи, очень и очень возможно, что ея дѣло, этой партіи. Эта радость о неудачахъ Россіи и легкомысленное визжаніе отъ восторга, что Россія такъ-де вдругъ оказалась «слаба, безъ финансовъ, съ разстроеннымъ войскомъ, съ недовольнымъ и ропчущимъ народомъ, съ нигилизмомъ, подточившимъ общество» — всѣ эти небылицы, несомнѣнно, носятъ на себя печать столь извѣстнаго происхожденія. О, нельзя, чтобъ не нашлись и русскія перья, готовыя писать въ униссонъ съ клериками, но эти корреспонденціи за границу не могутъ быть, кажется, написаны русскими: слишкомъ ужъ было бы это подло. Тѣмъ не менѣе клерикалы, можетъ быть, и не очень стараясь, несомнѣнно направляютъ даже и русскія перья у насъ дома. Они ихъ вовсе, можетъ быть, и не подговариваютъ, и въ сношенія съ ними, *прямыя* и *надлежащія*, не вступаютъ, потому что эти бойкія либеральныя перья принадлежатъ *иногда* честнѣйшимъ людямъ, которые, выслушавъ прямое предложеніе клерикала, можетъ быть, спустили бы его даже съ лѣстницы. Но зато клерикалъ, особенно у насъ обжившійся, отмѣнно знаетъ, что ему и ходить къ бойкому перу не нужно, потому что бойкое русское перо ему и даромъ все напишетъ, — единственно воображая (о, милые!), что это и честно, и либерально. Бойкое перо возмущается, напримѣръ, клерикалами, облѣпившими во Франціи Макъ-Магона, и пишетъ грозныя противъ нихъ статьи. Но въ то же время онъ русскаго римскаго клерикала не только не замѣтитъ, но подчасъ запоетъ ему въ въ самый полный униссонъ. Есть такіе, есть. И хитрые наши римскіе клерикалы даже, можетъ быть, дивятся на нихъ: «Вѣдь охота же имъ этакъ шлепаться между двухъ стульевъ», — киваютъ они гла-

вами своими. «И вѣдь какъ безкорыстно! Правда, надобно же быть до конца либеральнымъ. Вѣдь вотъ они кричитъ, что Россія права даже не имѣетъ освобождать славянъ, да вѣдь за это имъ мало сто тысячъ дать! И все-то это между двухъ стульевъ, поминутно, да поминутно. Какъ имъ не больно только? Заживаетъ, что ли, у нихъ такъ скоро»...

II.

Лѣтняя попытка Старой Польши мириться.

Въ началѣ лѣта эти агитаторы-клерикалы попробовали у насъ сдѣлать демонстрацію даже черезъ русскія изданія. Волки перерядились въ овецъ и заговорили въ тонѣ какъ будто посланниковъ всей польской «эмиграціи» за границей. Они стали предлагать примиреніе: примите, дескать, насъ, мы видимъ тоже, что братство славянъ несомнѣнно, и не хотимъ отстать. Говорили они чрезвычайно нѣжно и выставили резоны:

„У насъ, говорятъ они, есть инженеры, химики, технологи, ремесленники, бухгалтеры, агрономы и т. п.“ Всего этого много въ эмиграціи. Пустите ихъ къ себѣ! „Развѣ — говоритъ житель Литвы, написавшій въ 172 № „Спб. Вѣд.“ статью, — нѣтъ у васъ дѣла для той среды, которая произвела прежде Тенгоборскаго для Россіи, Воловскаго для Франціи? А въ дѣлѣ искусствъ, столь обмягчающихъ нравы и облагораживающихъ характеръ, какъ представителями въ польскомъ обществѣ, въ настоящее всесвѣтно время извѣстны; Броцкій скульпторъ, Матейко живописецъ. Вамъ эти ли люди не нужны? Что же сказать о сонмѣ литераторовъ, публицистовъ, промышленниковъ, фабрикантовъ и всякаго рода дѣятелей? Вамъ эти люди не нужны тоже? („Новое Время“, изъ статьи Костомарова.)

Г-нъ Костомаровъ великолѣпно отвѣтилъ въ «Новомъ Времени» на всѣ эти заискиванія. Сожалѣю, что не имѣю мѣста сдѣлать выписки изъ этой превосходной статьи. Разсужденіями ясными и точными доказываетъ г. Костомаровъ, что все это лишь намъ западня, что наведутъ они къ намъ Конрадовъ Валенродовъ, предателей; что полякъ Старой Польши инстинктивно, слѣпо ненавидитъ Россію и русскихъ. Г-нъ Костомаровъ допускаетъ, однакоже, что есть прекрасные поляки, которые могутъ жить даже въ дружбѣ съ инымъ русскимъ, спасти его въ бѣдѣ, одолжить его. Это, конечно, правда, но чуть только этотъ русскій, хотя бы даже послѣ двадцати лѣтъ дружбы, вдругъ бы выразилъ этому прекрасному

поляку свои политическія убѣжденія насчетъ Польши въ русскомъ духѣ, то этотъ полякъ тотчасъ же, тутъ же, сталъ бы явнымъ или тайнымъ врагомъ своего русскаго друга, на всю жизнь, до конца, непримиримымъ и безграничнымъ. Объ этомъ забылъ прибавить г. Костомаровъ.

Вся эта лѣтняя попытка «примиренія», нашедшая русскихъ защитниковъ и такого могучаго оппонента какъ г. Костомаровъ — есть безспорно клерикальная къ намъ подсылка изъ Европы, отрогъ всеевропейскаго клерикальнаго заговора. О, эти поляки Старой Польши увѣряютъ, что они вовсе не клерикалы, не паписты, не римляне, и что мы давно должны это знать про нихъ. Но вообразить только, что «Старая Польша», эта польская эмиграція — не держится папы въ іезуитскомъ смыслѣ, далека отъ клерикальныхъ фантазій, — о, какая смѣшная мысль! Имъ ли, имъ ли не держаться Ватикана, когда они такъ вполнѣ сознаютъ его силу и всегда сознавали? Вѣдь Ватиканъ не измѣнялъ Старой Польшѣ никогда, а, напротивъ, поддерживалъ изъ всѣхъ силъ всѣ ея фантазіи, когда другія-то государства ихъ уже и слушать не хотѣли! Нѣтъ, они Ватикану не измѣнятъ и Ватиканъ не измѣнитъ имъ. Лѣтняя выходка къ примиренію была сдѣлана именно въ то время, когда вся эмиграція задвигалась противъ русскихъ, когда созидались польскіе легіоны, когда аристократы эмиграціи являлись въ Константинополь съ огромными суммами денегъ (конечно, не своими). Все это примиреніе было одно только коварство, какъ опредѣлилъ его г. Костомаровъ. Кстати: они предлагаютъ намъ своихъ ученыхъ, техниковъ, художниковъ, и говорятъ: «примите ихъ, они ль вамъ не нужны!» Тутъ бы прибавить, что они, вѣротно, считаютъ насъ дикимъ народомъ, и не вѣдаютъ, что у насъ все то, что они предлагаютъ, можетъ быть, и лучше ихняго есть. Но обижаться нечего, а главное: зачѣмъ же они не ѣдутъ? У насъ было нѣсколько поляковъ, которые проявили свой талантъ, и Россія ихъ почитала уважала, ставила на высоту, нисколько не раздѣляя ихъ отъ русскихъ. Къ чему же уговариваться? Пріѣзжайте! Примиритесь и покоритесь сами, но знайте, что никогда не будетъ Старой Польши. Есть Новая Польша, Польша освобожденная царемъ, Польша возрождающаяся и которая, несомнѣнно, можетъ ожидать впереди, въ будущемъ, равной судьбы со всякимъ славянскимъ племенемъ, когда славянство освободится и воскреснетъ въ Европѣ. Но Старой Польши никогда не будетъ, потому что ужиться съ Россіей она не можетъ. Ея идеалъ стать на мѣстѣ

Россіи въ славянскомъ мірѣ. Ея девизъ, обращенный къ Россіи: «Ôtes-toi de là que je m'y mette». Любопытно, что польскій передовой застрѣльщикъ говоритъ лишь объ ученыхъ и художникахъ. Ну, а предводители эмиграціи, аристократы? Вообразить только картину, что Россія поддалась льстивымъ словамъ и объявила, что хочетъ мириться; и вотъ они сидятъ и надменно спрашиваютъ: «какія ваши условія?»

Потому что если вы предлагаете намъ впустить эмигрантовъ въ Россію, а сами они не идутъ, *значитъ они дожидаются условій.* И вотъ, представьте себѣ, что Россія ихъ вдругъ признаетъ за нѣчто, за воюющую сторону, и начнетъ эти переговоры! И вотъ они перебираются въ Россію, магнаты съ перваго же разу фрондируютъ, требуютъ знатныхъ мѣстъ и отличій; затѣмъ тотчасъ же кричатъ на всю Европу, что ихъ обманули, затѣмъ начинаютъ польскій бунтъ... И Россія поддастся на такую бѣду, сдѣлаетъ такую глупость! Разумѣется, поляки не могли вѣрить сами, чтобы такая грубая выходка ихъ могла обмануть Россію. Но на чистыхъ сердцемъ русскихъ сторонниковъ они разсчитывали. Что это дѣло клерикаловъ, клерикальный шагъ въ Россію — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Спросятъ: для чего же этотъ шагъ? А развѣ клерикаламъ не надо зондировать положеніе, путать мысли, скрывать настоящіе свои шаги, пріобрѣтать русскія перья, волновать Русскую Польшу и проч., и проч.? Да мало ли какіе у нихъ могли быть разсчеты!

III.

Выходка „Биржевыхъ Вѣдомостей". Не бойкія, а злыя перья.

Мы говорили сейчасъ про «бойкія перья». Но есть у насъ перья вовсе не бойкія, но отвратительныя. И они тоже (да еще какъ!) свищутъ съ польскими соловьями въ униссонъ, но поляки ихъ даже и не направляютъ; все дѣлается безкорыстно, не вѣдая что творятъ. Тутъ просто злоба, обманутыя надежды и потерпѣвшее самолюбіе. Такова статья «Биржевыхъ Вѣдомостей» (№ 257) о г. Иловайскомъ; хоть бы написать-то сумѣли, а то вѣдь такъ противъ себя и валяютъ!

Всѣмъ извѣстно, что нашъ ученый, г. Иловайскій, былъ арестованъ и оскорбленъ въ Галиціи. Проѣзжая съ ученою цѣлью Галицію, онъ обратился, по ошибкѣ, къ

одному польскому ксендзу съ просьбою указать ему мѣстныя древности. Потомъ онъ уже нашелъ русскаго священника, но злобный ксендзъ тотчасъ же донесъ на него, подъ предлогомъ, что это русскій панславистъ, пропагаторъ и агитаторъ. Г-на Иловайскаго арестовали безо всякой церемоніи, обыскивали, возили изъ тюрьмы въ тюрьму и, наконецъ-то, заступничествомъ одного мѣстнаго ученаго, его препроводили до русской границы. У насъ это тотчасъ же разгласилось: «Московскія Вѣдомости» помѣстили статью. Заговорили наши газеты, но многія безъ особаго жару, а просто какъ о курьезѣ. Фактъ оскорбленія русскаго ученаго, ни за что ни про что, показался, кажется, всѣмъ обыкновеннымъ фактомъ. Самъ г. Иловайскій напечаталъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» тоже нѣсколько строкъ на статьи враждебныхъ газетъ, кроткихъ строкъ, вялыхъ и сонныхъ. Но зато наши биржевики, которымъ вся Россія представляется лишь съ точки зрѣнія своего кармана и которымъ до Россіи ровно никакого нѣтъ дѣла, услужили ей удивительную услугу. Вотъ эта статья «Биржевыхъ Вѣдомостей»:

... Что такое начудилъ г. Иловайскій въ Галиціи? Какую это онъ затѣялъ пропаганду?

Неужели несчастья, переживаемыя теперь Россіей, недостаточны еще для того, чтобы выгнать дурь изъ головы нашихъ закорузлыхъ панславистовъ, и неужели послѣ того, что происходитъ теперь у всѣхъ на глазахъ, у нихъ хватаетъ духа продолжать юродство и скоморошество съ этой всеславянской чепухой, приготовляющей для насъ неисчисляемыя государственныя бѣдствія и всѣмъ намъ давно уже опротивѣвшей?

Пока наши отупѣвшіе отъ ничего-недѣланья панслависты ограничивались пересылкой всеславянскихъ колоколовъ, это ни до кого не касалось, и они могли забавляться этимъ сколько угодно, но когда они вмѣтѣ съ колоколами начинаютъ посылать туда своихъ пономарей для благовѣста — дѣло получаетъ уже совсѣмъ иное значеніе.

Кто же призвалъ и кто уполномочилъ г. Иловайскаго на его панславистскую пропаганду.

Понимаетъ онъ или не понимаетъ, къ какимъ она можетъ привести послѣдствіямъ, въ особенности теперь, въ настоящую минуту? Вы извергаете, господа, ругательства на Клапку за то, что тотъ подстрекаетъ мадьяръ на пособничество туркамъ, — а что же дѣлаете вы сами, что дѣлаетъ г. Иловайскій, подъ видомъ изученія славянскихъ древностей? Что, вамъ мало еще того зла, которое породило ваше прошлогоднее юродство? Чего вы еще хотите? Какую еще новую кашу вы заварить желаете? Чтобы бросить камень въ воду, васъ достанетъ на это, мы это хорошо знаемъ; но вы должны помнить также, что камни, вами бросаемые, приходится иногда вытаскивать всѣми народными силами, добывать ихъ цѣною кровавыхъ жертвъ и народнаго истощенія.

Перестаньте же дурачиться; на все есть свое время. Если до сихъ поръ во всѣхъ благоразумныхъ людяхъ вы возбуждали къ себѣ

только насмѣшку, то теперь къ вамъ не иначе будутъ относиться, какъ съ негодованіемъ.

Эти люди говорятъ о негодованіи! Послушайте, *какъ смѣли* вы написать, не зная дѣла, такъ утвердительно, на всю Россію и на всю Европу (ибо ваша статья имѣла въ Европѣ *свое* значеніе), — какъ смѣли вы написать про г. Иловайскаго: «кто же призвалъ и кто уполномочилъ г. Иловайскаго на его панславистскую пропаганду?» И потомъ, послѣ смѣшного сравненія г. Иловайскаго съ Клапкой: «а что же дѣлаете вы сами, что дѣлаетъ г. Иловайскій, *подъ видомъ изученія славянскихъ древностей*»? Какъ смѣли вы написать объ этомъ такъ *утвердительно*, послѣ того какъ *совершенно знаете*, что все это неправда? Неужто вы думаете, что вамъ позволятъ предавать Россію. Вы спрашиваете о г. Иловайскомъ: «Понимаетъ онъ или не понимаетъ», а я васъ самого спрошу, г. публицистъ: понимаете ли вы, или не понимаете, что вы надѣлали! Вѣдь въ Австріи не спросятъ: какой человѣкъ это писалъ, умный или неумный, образованный или необразованный, знаетъ онъ хоть что-нибудь въ панславизмѣ или ничего не знаетъ и никогда ничего не читалъ о немъ? Вѣдь въ Австріи прямо скажутъ: «стало быть, правда, что Россія посылаетъ агитаторовъ? Если бъ не правда была, какъ могла бы *такъ утвердительно*, съ такимъ жаромъ и такъ укоризненно обращаться къ панславистамъ большая петербургская, ежедневная, независимая газета, въ высшей степени подтверждающая фактъ разсылки эмиссаровъ для агитаторства? Вѣдь писавшій это самъ русскій, скажутъ они, его бы остановилъ патріотизмъ, наконецъ, и побудилъ бы скрыть преступленіе. Но онъ не могъ скрыть истину, потому что негодованіе патріота вылилось наружу на панславистовъ, готовящихъ, стало быть, дѣйствительно страшныя бѣдствія Россіи, своей отчаянной пропагандой и агитаціей въ Австріи и въ славянскихъ земляхъ. Стало быть, намъ нечего извиняться за арестъ какого-то тамъ Иловайскаго, напротивъ, надо усилить аресты и всѣхъ русскихъ въ Австріи держать впредь подъ полицейскимъ надзоромъ. Не намъ просить извиненія, а русское правительство должно просить у насъ извиненія за то, что такъ открыто позволяетъ у себя дѣятельность зловредныхъ политическихъ, направленныхъ противъ Австріи, обществъ, а къ намъ пропускаетъ поминутно массами пропагаторовъ и агитаторовъ, бунтующихъ австрійскихъ славянъ противъ законнаго правительства».

Это несомнѣнно скажутъ въ Австріи и статью вашу несомнѣнно примутъ къ свѣдѣнію въ этомъ самомъ смыслѣ, г. публицистъ. Что же это, не предательство, какъ

вы думаете? Не предаете вы интересы Россіи полякамъ и австрійцамъ? Не поддерживаете вы политическую смуту и не служите ей? Вѣдь вы знаете *навѣрное, вполнѣ, въ точности*, что никакихъ эмиссэровъ не посылалось никѣмъ никогда, какъ же вы смѣли написать про г. Иловайскаго, что онъ ѣздилъ сѣять смуту *подъ видомъ изученія славянскихъ древностей?* Есть ли кто въ Россіи, кто вамъ въ этомъ повѣритъ? Между тѣмъ, вы выражаетесь объ этомъ дѣлѣ такъ утвердительно, какъ будто знаете его, какъ свои пять пальцевъ. Кто же сѣетъ смуту?

Теперь о другомъ: утоливъ вашу злобу, написавъ завѣдомую неправду, вы позволяете еще себѣ надѣяться, послѣ вашего-то поступка столь явнаго предательства русскихъ интересовъ старо-полякамъ и австрійцамъ, и всякой безконечной и вѣчно агитирующей противъ насъ европейской швали, — на сочувствіе къ вамъ русскихъ читателей? Неужели вы такъ низко о нихъ думаете?

И что за тонъ? Что за трепетаніе, что за приниженіе передъ Австріей! «Изволитъ, дескать, она осердиться!» У Гоголя атаманъ говоритъ казакамъ: «милость чужого короля, да и не короля, а милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства». Это атаманъ говоритъ про предателей. Неужели вамъ хочется, чтобы и русскіе, въ трепетѣ животнаго страха за свои интересы и деньги, склонялись точно такъ же передъ какимъ-нибудь желтымъ чоботомъ? Напротивъ, не лучшая ли наша политика съ Австріей, именно теперь, именно въ эту минуту, — политика высшаго общественнаго національнаго достоинства, а не та, которую вы желаете. Вѣдь чѣмъ болѣе мы выкажемъ приниженія, котораго вы такъ желаете, тѣмъ болѣе и въ той же степени укрѣпимъ и усилимъ ея домогательства. Да и чего намъ бояться Австріи, она никогда не въ силахъ будетъ извлечь противъ насъ свой мечъ, если бъ и захотѣла того. Напротивъ, именно теперь настала пора для политики прямой и откровенной, для того, чтобы не вышло потомъ, при окончаніи войны, печальныхъ недоразумѣній. Намъ нечего давать на себя векселя. Точно также мы должны смотрѣть и на Англію. Они должны понять, по крайней мѣрѣ, что мы ихъ не можемъ бояться, и что мы, напротивъ, въ силахъ имъ сдѣлать больше зла, чѣмъ они намъ. Это они должны знать, между тѣмъ они о насъ имѣютъ ложныя свѣдѣнія, укрѣпляемыя вотъ именно такими выходками, какъ «Биржевыхъ Вѣдомостей» Не въ Австріи ли поддерживалось лѣтомъ убѣжденіе, что сила Россіи была миражъ, всѣхъ обманувшій, и что впредь нельзя считать уже Россію силь-

ной военной державой. Вотъ тогда-то и возросъ ея тонъ. Не въ Англіи ль были убѣждены, тоже въ высшихъ сферахъ, что 10.000 человѣкъ англійскаго войска, высаженныя въ Трапезундѣ, порѣшили бы навсегда всю нашу *задачу* на Востокѣ и на Кавказѣ. Мы-то ихъ знаемъ, а они-то насъ, стало быть, не знаютъ. Но плохая услуга Россіи предавать ея интересы недругамъ нашимъ и представлять ее въ трусливомъ и приниженномъ видѣ, тогда какъ этого нѣтъ нисколько и все ложь.

НОЯБРЬ.

Глава первая.

I.

Что значитъ слово „стрюцкіе“?

Въ два года изданія моего «Дневника» я, раза два-три, употребилъ малоизвѣстное слово «стрюцкіе» и получилъ нѣсколько запросовъ изъ Москвы и изъ губерній: «что значитъ слово «стрюцкіе»?» Извиняюсь, что не отвѣтилъ никому до сихъ поръ: все хотѣлъ какъ-нибудь, между строчками, отвѣтить въ «Дневникѣ». Теперь, заканчивая «Дневникъ», отведу нѣсколько строкъ и непонятному петербургскому словцу, и если начинаю съ этой мелочи первую страницу ноябрьскаго выпуска, то именно потому, что, откладывая на послѣднюю страницу, какъ прежде дѣлывалъ, почти всегда не находилъ свободнаго мѣста для «стрюцкихъ» изъ-за другихъ темъ и каждый разъ приходилось откладывать объясненіе опять до слѣдующаго выпуска.

Слово «стрюцкій, стрюцкіе» есть слово простонародное, употребляющееся единственно въ простомъ народѣ и, кажется, только въ Петербургѣ. Такъ что это слово, кажется, и изобрѣтено въ Петербургѣ. Пишу: *кажется*, потому что сколько ни разспрашивалъ людей «компетентныхъ», не могъ ни отъ кого добиться: откуда оно взялось, почему такъ сложились звуки его, употребляется ли оно хоть гдѣ-нибудь въ Россіи кромѣ Петербурга и, наконецъ, — дѣйствительно ли въ Петербургѣ оно изобрѣтено? Что до меня, то мнѣ опять таки «кажется» (утвердительнѣе не могу выразиться), что слово это есть слово

чисто петербургское и изобрѣтено собственно петербургскимъ простонародьемъ, но кѣмъ, когда, давно ли? — не знаю. Означаетъ же оно, по неоднократнымъ разспросамъ моимъ у народа, и, сколько я понялъ, слѣдующее:

«Стрюцкій — есть человѣкъ пустой, дрянной и ничтожный. Въ большинствѣ случаевъ, а можетъ быть и всегда — пьяница, пропойца, потерянный человѣкъ. Кажется, впрочемъ, стрюцкимъ могъ бы быть названъ, въ иныхъ случаяхъ, и не пьяница. Но главныя свойства этого пустого и дрянного пьянчужки, заслужившія ему особое наименованье, выдумку цѣлаго новаго слова,—это, во-первыхъ, пустоголовость, особаго рода вздорность, безмозглость, неосновательность. Это крикливая ничтожность. Кричатъ вечеромъ въ праздникъ на улицѣ пьяные; слышенъ споръ, изступленный зовъ городового; въ сбившейся въ кучу толпѣ ясно отличается чей-то протестующій, взывающій, жалующійся и угрожающій голосъ. Много напускного гнѣва. Вы подходите, освѣдомляетесь, что такое? Въ отвѣтъ смѣются, махаютъ рукой и отходятъ: «пустяки, стрюцкіе!» Слово «стрюцкіе» произносится при этомъ съ пренебреженіемъ, съ презрѣніемъ. Всегда съ презрѣніемъ, и если бъ дѣйствительно этотъ кричащій человѣкъ былъ прибитъ или обиженъ, то и тутъ, кажется, не нашелъ бы сочувствія, а только презрѣніе, потому что онъ лишь «стрюцкій», т. е. все въ немъ вздоръ, и что кричитъ онъ — и то все вздоръ и что прибили его и то вздоръ, самый «нестоящій человѣкъ» какой есть. Прибавлю, что стрюцкіе большею частью въ худомъ платьѣ, одѣты не по сезону, въ прорванныхъ сапогахъ. Прибавлю тоже, что, «кажется», стрюцкимъ обзывается только тотъ, кто въ нѣмецкомъ платьѣ. Впрочемъ, не ручаюсь, но кажется, это такъ.

Второй существенный признакъ пьяницы-пропойцы, называемаго «стрюцкимъ», кромѣ вздорности и неосновательности его, — есть недостаточно-опредѣленное положеніе его въ обществѣ. Мнѣ думается, что человѣкъ, имѣющій деньги, домъ или какое-нибудь имѣніе, мало того, имѣющій чуть-чуть твердое и опредѣленное мѣсто, хотя бы и рабочимъ на фабрикѣ, не могъ бы быть названъ «стрюцкимъ». Но если у него есть и заведеніе, лавка, лавочка или что-нибудь, но ведетъ онъ все это неосновательно, какъ-нибудь, безъ расчета, то онъ можетъ попасть въ стрюцкіе. Итакъ, «стрюцкій» это ничего не стоящій, не могущій нигдѣ ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающій человѣкъ, въ пьяномъ видѣ часто рисующійся фанфаронъ, крикунъ, часто

обиженный и всего чаще потому, что самъ любитъ быть обиженнымъ, призыватель городового, караула, властей— и все вмѣстѣ: пустякъ, вздоръ, мыльный пузырь, возбуждающій презрительный смѣхъ: «Э, пустое, стрюцкій».

Повторяю, мнѣ кажется, это слово есть исключительно петербургское. Но употребляется ли въ другихъ мѣстахъ Россіи — не знаю. Въ простонародьѣ въ Петербургѣ оно очень распространено. Въ Петербургѣ очень много наплывного народа изъ губерній, а потому довольно вѣроятно, что словцо можетъ перейти и въ другія губерніи, если еще не перешло. Войдетъ, можетъ быть, и въ литературу: кажется, и другіе писатели, кромѣ меня, его употребляли. Въ этомъ словѣ для литератора привлекательна сила того оттѣнка презрѣнія, съ которымъ народъ обзываетъ этимъ словомъ именно только вздорныхъ, пустоголовыхъ, кричащихъ, неосновательныхъ, рисующихся въ дрянномъ гнѣвѣ своемъ дрянныхъ людишекъ. Такихъ людишекъ много вѣдь и въ интеллигентныхъ кругахъ, и въ высшихъ кругахъ — не правда ли? Только не всегда пьяницъ и не въ прорванныхъ сапогахъ, но въ этомъ часто все и различіе. Какъ удержаться и не обозвать иногда и этихъ высшихъ «стрюцкими», благо слово готово и соблазнительно тѣмъ оттѣнкомъ презрѣнія, съ которымъ выговариваетъ его народъ?

II.

История глагола „стушеваться“.

Кстати, по поводу происхожденія и употребленія новыхъ словъ. Въ литературѣ нашей есть одно слово: «стушеваться», всѣми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не болѣе трехъ десятковъ лѣтъ существующее; при Пушкинѣ оно совсѣмъ не было извѣстно и не употреблялось никѣмъ. Теперь же его можно найти не только у литераторовъ, у беллетристовъ, во всѣхъ смыслахъ, съ самаго шутливаго и до серьезнѣйшаго, но можно найти и въ научныхъ трактатахъ, въ диссертаціяхъ, въ философскихъ книгахъ; мало того, можно найти въ дѣловыхъ департаментскихъ бумагахъ, въ рапортахъ, въ отчетахъ, въ приказахъ даже; всѣмъ оно извѣстно, всѣ его понимаютъ, всѣ употребляютъ. И однако во всей Россіи есть одинъ только человѣкъ, который знаетъ точное происхожденіе этого слова, время его изобрѣтенія и появленія въ литературѣ. Этотъ человѣкъ — я,

потому что ввелъ и употребилъ это слово въ литературѣ въ первый разъ — я. Появилось это слово въ печати, въ первый разъ, 1 января 1846 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ повѣсти моей: «Двойникъ, приключенія господина Голядкина».

Первая повѣсть моя «Бѣдные люди» была начата мною въ 1844 г., была окончена, стала извѣстна Бѣлинскому и была принята Некрасовымъ для его альманаха «Петербургскій Сборникъ» въ 1845 г. Вышелъ этотъ альманахъ въ концѣ 45-го года. Но въ этомъ же 1845 г. я и началъ лѣтомъ, уже послѣ знакомства съ Бѣлинскимъ, эту вторую мою повѣсть: «Двойникъ, приключенія господина Голядкина». Бѣлинскій, съ самаго начала осени 45 г., очень интересовался этой новой моей работой. Онъ повѣстилъ о ней, еще не зная ея, Андрея Александровича Краевскаго, у котораго работалъ въ журналѣ, съ которымъ и познакомилъ меня и съ которымъ я и уговорился, что эту новую повѣсть «Двойникъ» я, по окончаніи, дамъ ему въ «Отечественныя Записки» для первыхъ мѣсяцевъ наступающаго 46-го года. Повѣсть эта мнѣ положительно не удалась, но идея ея была довольно свѣтлая, и серьезнѣе этой идеи я никогда ничего въ литературѣ не проводилъ. Но форма этой повѣсти мнѣ не удалась совершенно. Я сильно исправилъ ее потомъ, лѣтъ пятнадцать спустя, для тогдашняго «Общаго собранія» моихъ сочиненій, но и тогда опять убѣдился, что эта вещь совсѣмъ неудавшаяся, и если бъ я теперь принялся за эту идею и изложилъ ее вновь, то взялъ бы совсѣмъ другую форму; но въ 46-мъ г. этой формы я не нашелъ и повѣсти не осилилъ.

Тѣмъ не менѣе, кажется, въ началѣ декабря 45-го г., Бѣлинскій настоялъ, чтобъ я прочелъ у него хоть двѣ-три главы этой повѣсти. Для этого онъ устроилъ даже вечеръ (чего почти никогда не дѣлывалъ) и созвалъ своихъ близкахъ. На вечерѣ, помню, былъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, прослушалъ лишь половину того, что я прочелъ, похвалилъ и уѣхалъ, очень куда-то спѣшилъ. Три или четыре главы, которыя я прочелъ, понравились Бѣлинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Бѣлинскій не зналъ конца повѣсти и находился подъ обаяніемъ «Бѣдныхъ людей». Ну вотъ тутъ-то, на этомъ чтеніи, и употреблено было мною, въ первый разъ, слово «стушеваться», столь мигомъ распространившееся. Повѣсть всѣ забыли, она и стоитъ того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили въ литературѣ.

Слово «стушеваться» значитъ исчезнуть, уничтожиться, сойти, такъ сказать, *на нѣтъ*. Но уничтожиться не

вдругъ, не провалившись сквозь землю, съ громомъ и трескомъ, а, такъ сказать, деликатно, плавно, непримѣтно погрузившись въ ничтожество. Похоже на то, какъ бываетъ тѣнь на затушеванной тушью полосѣ въ рисункѣ, съ чернаго постепенно на болѣе свѣтлое и, наконецъ, совсѣмъ на бѣлое, *на нѣтъ*. Должно быть, въ «Двойникѣ» это словцо было мною употреблено удачно въ тѣхъ первыхъ же трехъ главахъ, которыя я прочелъ у Бѣлинскаго, при изображеніи того, какъ умѣлъ кстати исчезнуть со сцены одинъ досадный и хитренькій человѣчекъ (или въ родѣ того, я забылъ). Потому такъ говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумѣнія въ слушателяхъ, напротивъ, всѣми было вдругъ понято и отмѣчено. Бѣлинскій прервалъ меня именно съ тѣмъ, чтобъ похвалить выраженіе. Всѣ слушавшіе тогда (всѣ и теперь живы) тоже похвалили. Очень помню, что похвалилъ и Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ (онъ вѣрно теперь позабылъ). Хвалилъ потомъ очень и Андрей Александровичъ Краевскій. Кромѣ этихъ существуютъ и еще лица, которыя, я думаю, могутъ припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новымъ словцомъ. Но принялось оно и вошло въ литературу не сейчасъ, а весьма постепенно и непримѣтно. Помню, что выйдя, въ 1854 г., въ Сибири изъ острога, я началъ перечитывать всю написанную безъ меня за пять лѣтъ литературу («Записки Охотника», едва при мнѣ начавшіяся, и первыя повѣсти Тургенева я прочелъ тогда разомъ, залпомъ, и вынесъ упоительное впечатлѣніе. Правда, тогда надо мной сіяло степное солнце, начиналась весна, а съ ней совсѣмъ новая жизнь, конецъ каторги, свобода!), — итакъ, начавъ перечитывать, я былъ даже удивленъ, какъ часто стало мнѣ встрѣчаться слово «стушеваться». Потомъ, въ шестидесятыхъ годахъ, оно уже совершенно освоилось въ литературѣ, а теперь, повторяю, я даже въ дѣловыхъ бумагахъ, публикуемыхъ въ газетахъ, его встрѣчаю, и даже въ ученыхъ диссертаціяхъ. И употребляется оно именно въ томъ смыслѣ, въ которомъ я въ первый разъ его употребилъ.

Впрочемъ если я и употребилъ его въ первый разъ въ литературѣ, то изобрѣлъ его все же не я. Словцо это изобрѣлось въ томъ классѣ Главнаго Инженернаго Училища, въ которомъ былъ и я, именно моими однокурсниками. Можетъ быть, и я участвовалъ въ изобрѣтеніи, не помню. Оно само какъ-то выдумалось и само ввелось. Во всѣхъ шести классахъ Училища мы должны были чертить разные планы, фортификаціонные, строительные, военно-архитектурные. Умѣніе хорошо начертить планъ

самому, своими руками, требовалось строго отъ каждаго изъ насъ, такъ что и неимѣвшіе охоты къ рисованію поневолѣ должны были стараться во что бы то ни стало достигнуть извѣстнаго въ этомъ искусства. Баллы, выставляемые за рисунки плановъ, шли въ общій счетъ и вліяли на величину средняго балла. Вы могли выходить изъ верхняго офицерскаго класса на службу превосходнымъ математикомъ, фортификаторомъ, инженеромъ, но если представленные вами рисунки были плоховаты, то выставляемый за нихъ баллъ, идя въ общій расчетъ, до того могъ уменьшить вамъ средній баллъ, что вы могли лишиться весьма значительныхъ льготъ при выпускѣ, напримѣръ, слѣдующаго чина, а потому всѣ старались научиться рисовать хорошо. Всѣ планы чертились и оттушевывались тушью, всѣ старались добиться, между прочимъ, умѣнья хорошо стушевывать данную плоскость, съ темнаго на свѣтлое, на бѣлое и на нѣтъ; хорошая стушевка придавала рисунку щеголеватость. И вдругъ у насъ въ классѣ заговорили: «гдѣ такой-то? — Э, куда-то стушевался!» — Или, напримѣръ, разговариваютъ двое товарищей, одному надо заниматься: «ну,—говоритъ одинъ садящійся за книги другому, — ты теперь стушуйся». Или говоритъ, напримѣръ, верхнеклассникъ новопоступившему изъ низшаго класса: «я васъ давеча звалъ, куда вы изволили стушеваться?» Стушеваться именно означало тутъ удалиться, исчезнуть, и выраженіе взято было именно съ стушеванія, т. е. съ уничтоженія, съ перехода съ темнаго *на нѣтъ*. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь въ нашемъ классѣ, врядъ ли было усвоено другими классами, и когда нашъ классъ оставилъ Училище, то, кажется, съ нимъ оно и исчезло. Года черезъ три я припомнилъ его и вставилъ въ повѣсть.

Написалъ я столь серьезно такое пространное изложеніе исторіи такого неважнаго словца — хотя бы для будущаго ученаго собирателя русскаго словаря, для какого-нибудь будущаго Даля, и если я читателямъ теперь надоѣлъ, то зато будущій Даль меня поблагодаритъ. Ну, такъ пусть для него одного и написано. Если же хотите, то, *для ясности*, покаюсь вполнѣ: мнѣ въ продолженіе всей моей литературной дѣятельности *всего болѣе* нравилось въ ней то, что и мнѣ удалось ввести совсѣмъ новое словечко въ русскую рѣчь, и когда я встрѣчалъ это словцо въ печати, то всегда ощущалъ самое пріятное впечатлѣніе; ну, теперь, стало быть, вы поймете, почему я нашелъ возможнымъ описать такіе пустяки даже въ особой статейкѣ.

Глава вторая.

I.

Лакейство или деликатность?

Извѣстно, что всѣ русскіе интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, т. е. въ тѣхъ случаяхъ, когда они имѣютъ дѣло съ Европой или думаютъ, что на нихъ смотритъ Европа, — хотя бы та, впрочемъ, и не смотрѣла на нихъ вовсе. О, дома, про себя и между собою, мы свое возьмемъ, дома весь европеизмъ по боку — взять лишь, походя, наши отношенія семейныя, гражданскія, чести, долга, въ самомъ огромномъ большинствѣ случаевъ. Да и кто изъ проповѣдующихъ «европейскія» идеи серьезно у насъ въ нихъ вѣритъ? Конечно, лишь люди честные и при этомъ непремѣнно добрые (такъ что и вѣрятъ-то лишь по добротѣ души), но вѣдь много ль у насъ такихъ-то? Если ужъ все говорить, такъ вѣдь у насъ, можетъ быть, нѣтъ ни одного европейца, потому что мы и неспособны быть европейцами. Умы же передовые, биржевые и всячески руководящіе берутъ у насъ съ европейскихъ идей лишь оброкъ, и я думаю, что это у насъ такъ и есть, повсемѣстно. Не говорю, конечно, про людей съ большимъ здравымъ смысломъ: тѣ не вѣрятъ въ европейскія идеи, потому что и вѣрить-то не во что, ибо никогда и ничто на свѣтѣ не отличалось такою неясностью, туманностью, неопредѣленностью и неопредѣлимостью какъ тотъ «*циклъ идей*», который мы нажили себѣ въ двухсотлѣтній періодъ нашего европейничанья, — а въ сущности не циклъ, а хаосъ обрывковъ чувствъ, чужихъ непонятныхъ мыслей, чужихъ выводовъ и чужихъ привычекъ, но особенно словъ, словъ и словъ — самыхъ европейскихъ и либеральныхъ, конечно, но для насъ все же словъ, и только словъ.

Объяснить все это прямо попугайствомъ нельзя. Тоже и лакействомъ мысли нельзя, русскимъ лакействомъ мысли передъ Европой. Лакейства мысли у насъ много и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорѣе наша русская, врожденная намъ деликатность передъ Европой. Скажутъ, что вѣдь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во многихъ случаяхъ — да, но нельзя сказать, чтобъ всегда. (Я, разумѣется, объ руководящихъ плутахъ, о которыхъ замѣтилъ выше, и не говорю: этимъ европейцамъ до Европы ровно никакого дѣла нѣтъ и никогда не бывало. Они,

какъ умные люди, въ мутной водѣ рыбу ловятъ, всѣ два вѣка ловили.)

Вотъ какъ говоритъ, напримѣръ, англичанинъ Гладстонъ о теперешней русской войнѣ съ Турціей:

«Что бы ни говорили о нѣкоторыхъ другихъ главахъ русской исторіи, освобожденіемъ многихъ милліоновъ порабощенныхъ народовъ отъ жестокости и унизительнаго ига Россія окажетъ человѣчеству одну изъ самыхъ блестящихъ услугъ, какія только помнитъ исторія, услугу, которая никогда не изгладится изъ благодарной памяти народовъ».

Какъ вы думаете, откровенно спрашивая, могъ ли бы произнесть такія слова русскій европеецъ? Да никогда въ жизни! Онъ проглотилъ бы языкъ свой прежде, чѣмъ это произнести; онъ отъ деликатности не то что передъ Европой, а передъ самимъ собой покраснѣетъ, если только услышитъ это, или прочтетъ по-русски и у русскаго. Помилуйте, да какъ мы смѣемъ... въ калашный рядъ!. И «*для всего человѣчества*» — это мы-то, русскіе! Да мы еще рыломъ не вышли для этого, у насъ еще рожа крива, чтобъ «освобождать человѣчество». И при этомъ все нелиберальныя такія мысли: «Россія освобождаетъ народы» — какая нелиберальная мысль!

Вотъ искреннее мнѣніе русскаго европейца чистаго типа, и онъ отрубитъ себѣ сначала пальцы, чѣмъ напишетъ то же, что и Гладстонъ. «Гладстону-де можно, пожалуй, такъ сочинять; онъ или не понимаетъ ничего въ Россіи, или себѣ на умѣ сочиняетъ, для дальнѣйшихъ цѣлей» — вотъ что думаетъ европеецъ. А иные изъ нихъ, подобрѣе и погорячѣе, тутъ же, пожалуй, прибавятъ про себя не безъ гордости: «а вѣдь мы, русскіе европейцы, пожалуй, что и либеральнѣе европейскихъ-то европейцевъ, дальше пошли; кто у насъ изъ трезвыхъ умовъ заикнется теперь о какомъ-то «освобожденіи народовъ»? Вотъ ретроградство-то! И Гладстонъ такія вещи говоритъ не стыдясь!»

Какъ это все назвать, господа? Лакействомъ или деликатностью передъ Европою?

Я все стою на томъ, что въ европейскомъ періодѣ нашей исторіи огромную роль играла деликатность. Вѣдь изъ этихъ европейцевъ нашихъ такъ много людей честнѣйшихъ, смѣлыхъ, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и не понимаемой, можетъ быть, самимъ-то рыцаремъ, потому что все же это европейская для него тарабарщина, но все же чести, — людей, которые лично себѣ на ногу наступить не позволятъ. Ну, какъ же прямо такъ-таки и назвать ихъ лакеями? Нѣтъ, деликатность

заѣла насъ, а не лакейство. Опять таки, разумѣется, передъ Европой деликатность: у себя дома мы свое наверстаемъ.

Дамы, восторженно подносившія туркамъ конфекты и сигары, разумѣется, дѣлали это тоже изъ деликатности: «какъ, дескать, мы мило, нѣжно, мягко, гуманно, европейски просвѣщены!». Теперь этихъ дамъ вразумили отчасти нѣкоторые грубые люди, но прежде, до вразумленія, — ну, положимъ, на другой день послѣ того поѣзда турокъ, въ который бросали букетами и конфектами, — что если бъ прибылъ другой поѣздъ съ турками же, а въ немъ тотъ самый баши-бузукъ, о которомъ писали, что особенно отличается умѣніемъ разрывать съ одного маху, схвативъ за обѣ ножки, грудного ребенка на двѣ части, а у матери тутъ же выкроить изъ спины ремень? Да, я думаю, эти дамы встрѣтили бы его визгомъ восторга, готовы бы были отдать ему не только конфекты, но что-нибудь и получше конфектъ, а потомъ, пожалуй, завели бы рѣчь въ дамскомъ своемъ комитетѣ о стипендіи имени его въ мѣстной гимназіи. О, повѣрьте, что деликатность до всего можетъ у насъ дойти, и предположеніе это вовсе не фантастическое. Смотря на себя въ зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюбились въ себя: «какія мы гуманныя, какія мы либеральныя милочки!». И неужели вы думаете, что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тотъ высокомѣрный взглядъ, который бросаетъ иной европеецъ теперь на народъ нашъ и на движеніе его, отрицая во всемъ народѣ нашемъ всякую мысль и движеніе, «кромѣ глупо-кликушечьихъ выходокъ изъ тысячей простонародья какого-нибудь одного дурака», неужели такой взглядъ, возможность такого взгляда, обратившаяся въ дѣйствительность, не стоитъ изображенной выше фантастической картинки!

Деликатность передъ Европой съ нами повсемѣстно. Турецкіе плѣнные потребовали бѣлаго хлѣба, и имъ явился бѣлый хлѣбъ. Турецкіе плѣнные отказались работать. Князь Мещерскій — очевидецъ, повѣствуетъ въ своемъ «Дневникѣ» съ Кавказа, что —

Плѣнные наши выѣхали изъ Тифлиса. Ихъ хотѣли везти на перекладныхъ, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поѣдутъ, ибо не привыкли къ русскимъ телѣгамъ. Вслѣдствіе этого, имъ поданы были почтовыя кареты и рессорные экипажи, съ шестернями лошадей къ каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствіе и, вслѣдствіе огромнаго числа забранныхъ подъ нихъ лошадей, бѣдные проѣзжающіе по Военно-Грузинской дорогѣ будутъ сидѣть трое сутокъ безъ лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему ихъ, назначено 50 коп. суточныхъ, и посадили его не въ

карету, а какъ сажаютъ прислугу въ омнибусъ! Все это гуманность! („Моск. Вѣдом." № 273.)

То есть не гуманность, а именно вотъ та самая деликатность передъ европейскимъ мнѣніемъ о насъ, чуткость, чувствительность: «Европа, дескать, на насъ глядитъ, надо, стало быть, въ полномъ мундирѣ быть и пашамъ кареты подать».

«Московскія Вѣдомости» далѣе, въ другомъ своемъ, 282 номерѣ, передаютъ о цѣломъ воплѣ голосовъ въ Москвѣ, когда увидѣли москвичи всѣ тѣ неслыханныя удобства, съ которыми перевозятъ у насъ плѣнныхъ турокъ:

Всѣ плѣнные рядовые были удобно размѣщены въ вагонахъ третьяго, офицеры — второго класса, а паша занялъ купе первокласснаго вагона. Зачѣмъ для нихъ такія удобства? — слышалось въ публикѣ.— Нашихъ-то гренадеръ, небось, вывезли изъ Москвы въ лошадиныхъ вагонахъ, а для нихъ отпускаютъ особый пассажирскій поѣздъ.

— Что гренадеры, — замѣчаетъ въ толпѣ какой-то купчикъ, — вотъ даже раненыхъ солдатиковъ возили въ товарныхъ вагонахъ и соломки подъ нихъ не успѣли подкладывать. А паша-то какой откормленный, что твой боровъ, въ товарный бы его, пусть бы съ него жиру немного посбавилось.

— Тамъ-то раненыхъ нашихъ прирѣзывали, жилы изъ нихъ тянули, медленнымъ огнемъ жгли, а теперь ихъ холятъ за то...

Такіе голоса (замѣчаютъ далѣе „Моск. Вѣд.") были не единичными, а ими выражалось общее въ народѣ мнѣніе о томъ, что больно видѣть, какъ баши-бузуки и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуется такими большими удобствами сравнительно съ нашими воинами"...

То есть мы, собственно, ничего тутъ особаго не видимъ: деликатность или, такъ сказать, мундиръ деликатности передъ европейскимъ мнѣніемъ, — вотъ и все тутъ; но вѣдь это, такъ сказать, два вѣка у насъ продолжается, такъ ужъ пора попривыкнуть.

Дошло до анекдотовъ, то вотъ и еще анекдотъ. Отмѣтилъ я его въ «Петербургской Газетѣ», а та взяла изъ письма господина В. Крестовскаго, писаннаго съ театра военныхъ дѣйствій, но куда — не знаю. Откудова заимствовано «Петербургской Газетой», тоже не вѣдаю. Говорится такъ:

Въ письмѣ г. Крестовскаго приводится одинъ комическій фактъ:

„Около свиты появился какой-то англичанинъ въ пробковомъ шлемѣ и статскомъ пальто гороховаго цвѣта. Говорятъ, что онъ членъ парламента, пользующійся вакаціоннымъ временемъ для составленія корреспонденцій „съ мѣста военныхъ дѣйствій" въ одну изъ большихъ лондонскихъ газетъ („Times"); другіе же увѣряютъ, что онъ просто любитель, а третьи, что онъ другъ Россіи. Пускай все это такъ, но нельзя не замѣтить, что этотъ „другъ Россіи" ведетъ себя нѣсколько эксцентрично: сидитъ, напримѣръ, въ присутствіи великаго князя въ

то время, когда всѣ стоятъ, не исключая даже и его высочества; за обѣдомъ встаетъ, когда ему вздумается, изъ-за стола, гдѣ сидитъ великій князь, и въ этотъ день обратился даже къ одному знакомому офицеру съ предложеніемъ затянуть на него въ рукава гороховое пальто. Офицеръ окинулъ его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнулся слегка, пожалъ плечами и безпрекословно помогъ одѣть пальто. Конечно, болѣе ничего и не оставалось сдѣлать. Англичанинъ въ отвѣтъ слегка приложился рукою къ своему пробковому шлему".

«Петербургская Газета» назвала этотъ фактъ комическимъ. Къ сожалѣнію, я ровно ничего въ немъ не вижу комическаго, а, напротивъ, очень много досаднаго и портящаго кровь. Къ тому же, въ насъ какъ бы укрѣпилась съ дѣтства вѣра (изъ романовъ и изъ французскихъ водевилей, я думаю), что всякій англичанинъ чудакъ и эксцентрикъ. Но что такое: чудакъ? Не всегда же дуракъ, или такой ужъ наивный человѣкъ, который и догадаться не можетъ, что на свѣтѣ не все же вѣдь одни и тѣ же порядки, какъ гдѣ-то тамъ у него въ углу. Англичане народъ очень, напротивъ, умный и весьма широкаго взгляда. Какъ мореплаватели, да еще просвѣщенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядковъ во всѣхъ странахъ міра. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они открыли юморъ, обозначили его особымъ словомъ и растолковали его человѣчеству. Такому ли человѣку, да еще члену парламента, не знать, гдѣ вставать, гдѣ сидѣть? Да нѣтъ страны, въ которой этикетъ имѣлъ бы большее приложеніе какъ въ Англіи. Придворный, напримѣръ, англійскій этикетъ есть самый сложный и утонченный этикетъ въ мірѣ. Если этотъ англичанинъ членъ парламента, то, конечно, слишкомъ могъ научиться этикету изъ одного того уже, какъ одинъ парламентъ — нижній, сносится съ другимъ — высшимъ. И именно въ томъ смыслѣ: кто передъ кѣмъ можетъ сидѣть, а кто передъ кѣмъ обязанъ вставать. Если онъ при этомъ и членъ высшаго общества, то опять таки нигдѣ нѣтъ такого этикета какъ на пріемахъ, обѣдахъ, балахъ англійской аристократіи во время ихняго лондонскаго сезона. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ другое, если судить по тому, какъ изложенъ анекдотъ. Тутъ англійская гордость, но не просто гордость, а съ *заносчивымъ вызовомъ*. Этотъ «другъ Россіи» не можетъ быть большимъ ея другомъ. Онъ сидитъ, смотритъ на русскихъ офицеровъ и думаетъ: «Господа, я знаю, что вы львы сердцемъ, вы предпринимаете невозможное и исполняете его. Страха передъ врагомъ въ васъ нѣтъ, вы герои, вы Баярды всѣ до единаго, и чувство чести вамъ знакомо вполнѣ. Не могу же я не согласиться съ тѣмъ, что своими глазами вижу. Тѣмъ не

менѣе, я англичанинъ, а вы только русскіе, я европеецъ, а передъ Европой вы обязаны «деликатностью». Какія бы вы львиныя сердца ни носили въ себѣ, а я все-таки высшаго типа человѣкъ, чѣмъ вы. И мнѣ это очень пріятно изучать «деликатность» вашу передо мной, *врожденную* и *неотразимую*, безъ которой русскій не можетъ смотрѣть на иностранца, тѣмъ болѣе на такого иностранца какъ я. Вы думаете, что это все мелочи; да мелочи-то и утѣшаютъ меня, весьма забавляютъ, я поѣхалъ прогуляться, я слышалъ, что вы герои, и пріѣхалъ посмотрѣть на васъ, но ворочусь все-таки съ убѣжденіемъ, что, какъ сынъ Старой Англіи (тутъ у него дрожитъ отъ гордости сердце), я все-таки на свѣтѣ первый человѣкъ, а вы всего лишь второстепенные . . .»

Всего любопытнѣе въ вышеприведенномъ фактѣ послѣднія строки:

«Офицеръ окинулъ его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнулся слегка, пожалъ плечами и безпрекословно помогъ одѣть пальто. *Конечно, болѣе ничего и не оставалось сдѣлать*».

Какъ такъ: «конечно»? Почему болѣе *ничего* не оставалось сдѣлать? Напротивъ, именно можно было сдѣлать совершенно другое, обратное, противоположное: можно было «окинуть его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнуться слегка, пожать плечами» и—отойти мимо, такъ-таки и не дотронувшись до пальто, — вотъ что можно было сдѣлать. Неужели нельзя было замѣтить, что просвѣщенный мореплаватель фокусничаетъ, что тончайшій знатокъ этикета ловитъ минуту удовлетворенія мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было, можетъ быть, спохватиться въ тотъ мигъ, а помѣшала именно наша просвѣщенная «деликатность» — не передъ англичаниномъ этимъ деликатность, не передъ членомъ этимъ парламента въ какомъ-то пробковомъ шлемѣ (какой такой пробковый шлемъ?) — а передъ Европой деликатность, передъ долгомъ европейскаго просвѣщенія «деликатность», въ которой мы взросли, погрязли до потери самостоятельной личности и изъ которой долго намъ не выкарабкаться.

Подвозъ патроновъ въ турецкую армію изъ Англіи и Америки колоссальный; достовѣрно теперь вполнѣ, что турецкій солдатъ въ Плевно тратитъ въ день иной разъ по 500 патроновъ; ни средствъ, ни денегъ не могло быть у турокъ, чтобы такъ вооружить армію. Присутствіе англичанъ и ихъ денегъ въ теперешней войнѣ несомнѣнно. Ихніе пароходы доставляютъ оружіе и все необходимое. А у насъ иныя газеты даже кричатъ изъ «деликатности»:

«Ахъ, не говорите этого, ахъ, не подымайте вы только этого, пусть мы не видимъ, пусть мы не слышимъ, а то просвѣщенные мореплаватели разсердятся и тогда...». Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему о «деликатности».

Даже если есть какіе-нибудь тамъ векселькн и векселечки, выданные нами Европѣ, въ видѣ разныхъ обѣщаній, еще передъ тѣмъ какъ перешли мы Барбошскій мостъ, то несомнѣнно и это должно было произойти изъ «деликатности» нашей, изъ деликатности передъ Европой и передъ обаяніемъ ея. Но о «деликатности» пока оставимъ. Я лишь припомню, что въ началѣ главы, начавъ о деликатности, я прибавилъ: «что вѣдь это всего только передъ Европой, а у себя-то мы всегда свое наверстаемъ». Мнѣ хочется, именно, пользуясь случаемъ, указать, какъ иногда мы у себя наверстать умѣемъ, реваншъ возьмемъ..

II.

Самый лакейскій случай, какой только можетъ быть.

Помните ли, господа, какъ еще лѣтомъ, еще задолго до «Плевны», мы вдругъ вошли въ Болгарію, явились за Балканами и онѣмѣли отъ негодованія. То есть не всѣ, это первымъ дѣломъ надо заявить, даже далеко не половина, а гораздо меньше, — но все же вознегодовавшихъ было значительное число и раздались голоса. Голоса корреспондентовъ изъ арміи и потомъ тотчасъ же голоса въ нашей прессѣ, особенно въ петербургской. Это были горячіе голоса, убѣжденные, полные самаго добродѣтельнаго негодованія...

Все дѣло вышло изъ-за того, что обладатели голосовъ этихъ шли, какъ извѣстно всему міру и особенно намъ, спасать угнетенныхъ, раздавленныхъ и измученныхъ. Еще до объявленія войны я, помню, читалъ въ самыхъ серьезнѣйшихъ изъ нашихъ газетъ, при расчетѣ о шансахъ войны и необходимо предстоящихъ издержекъ, что, конечно, «вступивъ въ Болгарію, намъ придется кормить не только нашу армію, но и болгарское населеніе, умирающее съ голоду». Я это самъ читалъ и могу указать, гдѣ читалъ, и вотъ, послѣ такого-то понятія о болгарахъ, объ этихъ угнетенныхъ, измученныхъ, за которыхъ мы пришли съ береговъ Финскаго залива и всѣхъ русскихъ рѣкъ отдавать свою кровь — вдругъ мы увидѣли прелестные

болгарскіе домики, кругомъ нихъ садики, цвѣты, плоды, скотъ, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, въ довершеніе всего, по три православныхъ церкви на одну мечеть, — это и за вѣру-то угнетенныхъ! «Да какъ они смѣютъ!» загорѣлось мгновенно въ обиженныхъ сердцахъ иныхъ освободителей, и кровь обиды залила ихъ щеки. «И къ тому же мы ихъ спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на колѣнкахъ встрѣчать. Но они не стоятъ на колѣнкахъ, они косятся, даже какъ будто и не рады намъ! Это намъ-то! Хлѣбъ-соль выносятъ, это правда, но косятся, косятся!..»

И поднялись голоса. Послушайте, господа, какъ вы думаете: вдругъ вы получаете или фальшивую или ложно понятую вами телеграмму о томъ, что близкій вамъ человѣкъ, другъ или братъ вашъ, лежитъ больной, гдѣ-то тамъ ограбленъ, или подъ вагонъ попалъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Вы бросаете всѣ дѣла ваши и мчитесь къ несчастному брату, — и вдругъ ничего не бывало: вы встрѣчаете человѣка, который здоровѣе васъ, сидитъ за столомъ и обѣдаетъ, съ крикомъ зоветъ васъ за столъ и хохочетъ о фальшивой вашей тревогѣ, о вышедшемъ qui pro quo. Любите вы иль даже не очень любите этого человѣка, но неужели вы разсердитесь на него за то, что его не ограбили и что онъ не попалъ подъ вагонъ? Главное за то, что у него такія красныя щеки, и что онъ такъ исправно ѣстъ обѣдъ и пьетъ вино? Вѣдь не правда ли, что нѣтъ? Напротивъ, вѣдь вы порадоваться еще должны, что онъ живъ и здоровѣе вашего. Ну, конечно, по человѣчеству немножкно и разсердитесь, — но вѣдь не за то же, что ему не перерѣзало колесами ноги. Вѣдь не пойдете же вы сейчасъ изъ-за стола писать о немъ корреспонденціи и анекдоты, чернить его характеръ, подмѣчать невыгодныя черты... Ну, а вѣдь про болгаръ это дѣлали. «У насъ, дескать, и зажиточный мужикъ такъ не питается, какъ этотъ угнетенный болгаринъ». А другіе такъ вывели потомъ, что русскіе-то и причиной всѣхъ несчастій болгарскихъ: что не грозили бы мы прежде, не зная дѣла, за угнетеннаго болгарина туркѣ и не пришли бы потомъ освобождать этихъ «ограбленныхъ» богачей, такъ жилъ бы болгаринъ до сихъ поръ какъ у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждаютъ.

Я только съ той стороны говорю, что нашу «деликатность» передъ Европой и нашъ просвѣщенный европеизмъ мы таки умѣемъ иногда наверстать по-своему у себя дома, гдѣ Европа не видитъ уже насъ и не смотритъ, да и по русски не понимаетъ. А Болгарія — это вѣдь *дома*. Мы ихъ освобождать пришли, значитъ, все равно что *къ себѣ*

пришли, они *наши*. У него тамъ садъ и имѣніе, такъ вѣдь это имѣніе все равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человѣкъ, да, правда, и власти не имѣю, но все же онъ долженъ *чувствовать* и навѣки быть благодарнымъ, потому что разъ я къ нему вошелъ. — все, что у него есть, это все равно, что *я ему подарилъ*. Отнялъ у его угнетателя турка, а ему возвратилъ. Долженъ же онъ понимать это... А тутъ вдругъ его никто и не угнетаетъ — какая обидная непріятность, не правда ли?

А какое лакейство вмѣсто просвѣщенной-то деликатности, не правда ли? И какой смѣшной случай! Это самое комическое изъ наверстаній *своего* «у себя дома» за тяготу неловкаго мундира европейской деликатности, въ которомъ мы щеголяемъ передъ Европой. Самый лакейскій случай случился съ этими пылкими господами и засталъ *довольно многихъ* изъ насъ совсѣмъ врасплохъ. Это уже посерьезнѣе чѣмъ врасплохъ подать пальто англичанину.

Потомъ все обнаружилось, и истина открылась многимъ изъ вознегодовавшихъ, хотя не всѣмъ, до сихъ поръ не всѣмъ. Обнаружилось, во-первыхъ, что болгаринъ ничѣмъ не виноватъ въ томъ, что онъ трудолюбивъ, и что земля его родитъ во сто кратъ. Во-вторыхъ, въ томъ, что и «косился» — онъ не виноватъ. Взять ужъ одно то, что онъ четыре столѣтія — рабъ, и, встрѣчая новыхъ господъ, не вѣритъ, что они ему братья, а вѣритъ только, что они ему новые господа, да сверхъ того еще боится прежнихъ господъ, и тяжело про себя думаетъ: «А ну какъ тѣ опять вернутся да узнаютъ, что я хлѣбъ-соль подносилъ?» Ну, вотъ отъ этихъ-то внутреннихъ вопросовъ онъ и косился — и вѣдь правъ былъ, вполнѣ угадалъ, бѣдняжка: послѣ того какъ мы, совершивъ нашъ первый молодецкій натискъ за Балканы, вдругъ отретировались, — пришли вѣдь къ нимъ опять турки и что только имъ отъ нихъ было — теперь уже достояніе всемірной исторіи! Эти красивые домики, эти посѣвы, сады, скотъ — все это было разграблено, обращено въ пепелъ и стерто съ лица земли. Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысячъ истреблялись болгары огнемъ и мечемъ, дѣти ихъ разрывались на части и умирали въ мукахъ, обезчещенныя жены и дочери были или избиты послѣ позора, или уведены въ плѣнъ на продажу, а мужья, — вотъ тѣ самые, которые встрѣчали русскихъ, да сверхъ того и тѣ самые, которые никогда не встрѣчали русскихъ, но къ которымъ *могли* когда-нибудь придти русскіе, всѣ они поплатились за русскихъ на висѣлицахъ и на кострахъ.

Ихъ прибивали мучившіе ихъ скоты на ночь за уши гвоздями къ забору, а на утро вѣшали всѣхъ до единаго, заставляя одного изъ нихъ вѣшать прочихъ, и онъ, повѣсивъ десятка два виновныхъ, кончалъ тѣмъ, что самъ обязанъ былъ повѣситься въ заключеніе при общемъ смѣхѣ мучившихъ ихъ, сладострастныхъ къ мученіямъ скотовъ, называемыхъ турецкою націей, и которыми столь восхищались потомъ иныя изъ деликатнѣйшихъ барынь нашихъ...

NB. Кстати, еще недавно, уже въ половинѣ ноября, писали изъ Пиргоса о новыхъ звѣрствахъ этихъ изверговъ. Когда, во время горячей бывшей тамъ стычки, турки временно оттѣснили нашихъ такъ, что мы не успѣли захватить нашихъ раненыхъ солдатъ и офицеровъ, и потомъ въ тотъ же день къ вечеру опять наши воротились на прежнее мѣсто, то нашли своихъ раненыхъ солдатъ и офицеровъ обокраденными, голыми, съ отрѣзанными носами, ушами, губами, съ вырѣзанными животами, и, наконецъ, обгорѣлыми въ сожженныхъ турками скирдахъ соломы и хлѣба, куда они предварительно перенесли живыхъ нашихъ раненыхъ. Репрессаліи, конечно, жестокая вещь, тѣмъ болѣе, что въ сущности ни къ чему не ведутъ, какъ и сказалъ уже я разъ въ одномъ изъ предыдущихъ выпусковъ «Дневника», но строгость съ начальствомъ этихъ скотовъ была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслухъ и даже на всю Европу — (пруссаки навѣрно бы сдѣлали такъ, потому что они даже съ французами такъ точно дѣлали по причинамъ въ десять разъ меньше уважительнымъ, чѣмъ тѣ, которыя имѣемъ мы противъ воюющихъ съ нами скотовъ), — что если усмотрятся совершенныя звѣрства, то ближайшіе начальники тѣхъ турокъ, которые совершили звѣрства, въ случаѣ взятія ихъ въ плѣнъ, будутъ судимы на мѣстѣ военнымъ судомъ и подвержены смертной казни разстрѣляніемъ. Это, можетъ быть, и имѣло бы нѣкоторое вліяніе на офицеровъ и пашей турецкихъ. (NB. Мнѣ кажется, всегда можно бы было узнать, сейчасъ или потомъ, кто изъ турецкихъ начальниковъ командовалъ, напримѣръ, атакой у Пиргоса.) Такой сюрпризъ, вмѣсто рессорныхъ экипажей, можетъ быть, вразумилъ бы многихъ изъ нихъ. Теперь же этотъ самый «начальникъ», попавшись въ плѣнъ и видя, какъ его встрѣчаютъ послѣ звѣрствъ его, прямо воображаетъ, что онъ безмѣрно выше «поганаго русскаго». Европейской деликатности нашей и страху нашему передъ Европой, повѣрьте, этотъ турокъ никогда не повѣритъ, да и не пойметъ этого вовсе, да и не во-

образитъ этой причины вовсе. Деликатный страхъ передъ Европой есть чисто русское дѣло и изобрѣтеніе и не можетъ быть понятъ никогда и никѣмъ. А потому, «если ты такъ кланяешься мнѣ», разсуждаетъ турецкій начальникъ, «послѣ того какъ я, можетъ быть, брату твоему родному вчера еще носъ отрѣзать позволилъ, то, значитъ, ты самъ чувствуешь себя передо мною низшимъ, а меня высшимъ передъ собой человѣкомъ. Но точно такъ и должно быть, по волѣ Аллаха, и нѣтъ тутъ ничего удивительнаго!» Вотъ что долженъ думать про себя плѣнный турецкій паша и непремѣнно такъ думаетъ.

Такимъ образомъ, когда вознегодовавшіе на болгаръ за то, что они хорошо живутъ, дожили до печальной съ ними развязки, то поневолѣ поняли, что болгарская жизнь въ сущности всего только одна декорація, что всѣ эти домики и садики, и жены, и дѣти, и несовершеннолѣтніе мальчики и дѣвочки въ этихъ домахъ, все это въ сущности принадлежитъ турку и берется имъ, когда онъ захочетъ. Онъ и беретъ, и въ мирное время беретъ, и во время процвѣтанія беретъ, беретъ и деньгами и скотами, и женами и дѣвочками, и если сверхъ того все продолжало оставаться въ цвѣтущемъ видѣ, то это потому только, что турокъ не хотѣлъ разрушать въ конецъ такую плодородную ниву, имѣя въ виду и впредь почерпать съ нея. Напротивъ, дозволялъ временемъ и мѣстами полное процвѣтаніе, именно для того, чтобъ въ свое время почерпать и почерпать...

Теперь, конечно, турки разсвирѣпѣли и истребляютъ Болгарію въ конецъ. Они жалѣютъ, что не истребили вовсе. Если мы возьмемъ Плевну и замедлимъ двинуться далѣ, то турки, видя, что, можетъ быть, придется проститься навѣки съ Болгаріей, истребятъ все, что только можно въ ней истребить, пока есть еще время. Замѣчательны два мнѣнія: у насъ утверждаютъ мудрые до сихъ поръ, что безъ вмѣшательства русскихъ болгаринъ жилъ бы какъ у Христа за пазухой, и что русскіе — причина всѣхъ его несчастій. А вотъ извѣстный своими прекрасными и обстоятельными статьями съ поля битвы, изъ нашего лагеря, англичанинъ Форбесъ, корреспондентъ газеты «Daily News», кончилъ тѣмъ, что высказалъ, наконецъ, всю свою англійскую правду откровенно. Онъ *искренно* признаетъ, что турки имѣли «полное право» истребить все болгарское населеніе къ сѣверу отъ Балканъ, въ то время, когда русская армія перешла черезъ Дунай. Форбесъ почти жалѣетъ (политически, конечно),

что этого не случилось, и выводитъ, что болгаре должны быть обязаны вѣчною благодарностью туркамъ за то, что тѣ ихъ тогда не прирѣзали всѣхъ поголовно, какъ барановъ. Вспомнивъ наше русское мнѣніе о «болгаринѣ какъ у Христа за пазухой» и сопоставивъ его съ мнѣніемъ Форбеса, можно прямо обратиться къ болгарину съ такимъ увѣщаніемъ: «какъ же ты послѣ того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирѣзали?». Но странно тутъ и еще одно, и въ глаза бросается, и въ исторіи останется: «неужели, въ самомъ дѣлѣ, такое право турокъ можетъ такъ спокойно и безмятежно признавать столь образованный, какъ Форбесъ, членъ столь просвѣщенной и великой націи, какъ Англія? Неужели это послѣдніе цвѣты и плоды англійской цивилизаціи?» Но, замѣтьте себѣ, онъ, конечно бы, такъ не выразился, если бъ вмѣсто болгаръ дѣло шло о французахъ или объ итальянцахъ. Онъ потому только выразился такъ, что это были всего только славяне-болгаре. Какое же послѣ этого у нихъ у всѣхъ въ Европѣ родовое, кровяное презрѣніе къ славянамъ и славянскому племени! Считаются все равно что за собакъ! Допускается возможность и разумность прирѣзать всѣхъ до единаго, все племя, съ женами и дѣтьми. И замѣтьте еще (это очень важно), это не графъ Биконсфильдъ говоритъ: тотъ можетъ выразить такія же разбойничьи и звѣрскія убѣжденія, принужденный къ тому политикой, «англійскими интересами», а вѣдь Форбесъ — частный человѣкъ, не государственный, на котораго соблюденіе интересовъ Англіи *во что бы то ни стало и чего бы ни стоило* не возложено, да еще человѣкъ-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный, по прежнимъ письмамъ своимъ. Тутъ именно причиною какая-то западно-европейская гадливость ко всему, что носитъ имя славянства. Этихъ болгаръ можно заваривать кипяткомъ, какъ гнѣзда клоповъ въ старушечьихъ деревянныхъ кроватяхъ! Нѣтъ ли тутъ именно какого-нибудь инстинкта, предчувствія, что всѣ эти славянскія восточныя племена, освободясь, займутъ когда-нибудь огромную роль въ новомъ грядущемъ человѣчествѣ, вмѣсто сбившейся съ праваго пути старой цивилизаціи, и станутъ на ея мѣсто? Сознательно, западные люди, конечно, это не могутъ теперь представить и допустить даже, точно такъ же какъ нельзя имъ представить гнѣзда клоповъ — за что-то высшее и грядущее смѣнить ихъ. Но тутъ Россія, тутъ, очевидно, поднята идея совершенно новая, всѣмъ на соблазнъ, на гнѣвъ и удивленіе, тутъ показалось уже знамя будущаго, а такъ какъ Россія не «гнѣздо клоповъ», какъ

для нихъ болгары, а гигантъ и сила, не признать которую невозможно, и такъ какъ Россія тоже славянская нація, то какъ, должно быть, эти западные люди ненавидятъ теперь и Россію въ сердцахъ своихъ даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ея неуспѣху и всякой бѣдѣ ея! Именно тутъ инстинктъ, тутъ предчувствіе будущаго...

III.

Одно совсѣмъ особое словцо о славянахъ, которое мнѣ давно хотѣлось сказать.

Кстати, скажу одно *особое* словцо о славянахъ и о славянскомъ вопросѣ. И давно мнѣ хотѣлось сказать его. Теперь же именно заговорили вдругъ у насъ всѣ о скорой возможности мира, т. е., стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрѣшить и славянскій вопросъ. Дадимъ же волю нашей фантазіи и представимъ вдругъ, что все дѣло кончено, что настояніями и кровью Россіи славяне уже освобождены, мало того, что Турецкой имперіи уже не существуетъ и что Балканскій полуостровъ свободенъ и живетъ новою жизнью. Разумѣется, трудно предречь, въ какой именно формѣ, до послѣднихъ подробностей, явится эта свобода славянъ хоть на первый разъ, — то есть будетъ ли это какая-нибудь федерація между освобожденными мелкими племенами (NB. Федераціи, кажется, еще очень, очень долго не будетъ), или явятся небольшія отдѣльныя владѣнія въ видѣ маленькихъ государствъ, съ призванными изъ разныхъ владѣтельныхъ домовъ государями? Нельзя такъ же представить: расширятся ли, наконецъ, въ границахъ своихъ Сербія, или Австрія тому воспрепятствуетъ, въ какомъ объемѣ явится Болгарія, что станется съ Герцеговиной, Босніей, въ какія отношенія станутъ съ новоосвобожденными славянскими инородцами, напримѣръ, румыны, или греки даже, — константинопольскіе греки и тѣ, другіе, аѳинскіе греки? Будутъ ли, наконецъ, всѣ эти земли и землицы вполнѣ независимы, или будутъ находиться подъ покровительствомъ и надзоромъ «европейскаго концерта державъ», въ томъ числѣ и Россіи я думаю, сами эти народики всѣ непремѣнно выпросятъ себѣ европейскій концертъ, хоть вмѣстѣ съ Россіей, но единственно въ видѣ покровительства ихъ отъ властолюбія Россіи), — все это невозможно рѣшить заранѣе въ точности, и я не берусь разрѣшать. Но, однако, возможно и теперь — навѣрно знать двѣ вещи: 1) что скоро или

опять не скоро, а всѣ славянскія племена Балканскаго полуострова непремѣнно въ концѣ концовъ освободятся отъ ига турокъ и заживутъ новою, свободною и, можетъ быть, независимою жизнью, и 2) .. Вотъ это-то второе, что навѣрно, вѣрнѣйшимъ образомъ случится и сбудется, мнѣ и хотѣлось давно высказать.

Именно, это второе состоитъ въ томъ, что, по внутреннему убѣжденію моему, самому полному и непреодолимому, — не будетъ у Россіи, и никогда еще не было, такихъ ненавистниковъ, завистниковъ, клеветниковъ и даже явныхъ враговъ, какъ всѣ эти славянскія племена, чуть только ихъ Россія освободитъ, а Европа согласится признать ихъ освобожденными! И пусть не возражаютъ мнѣ, не оспариваютъ, не кричатъ на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистникъ славянъ! Я, напротивъ, очень люблю славянъ, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно такъ именно сбудется, какъ я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славянъ, совсѣмъ нѣтъ, — у нихъ характеръ въ этомъ смыслѣ какъ у всѣхъ, — а именно потому, что *такія вещи* на свѣтѣ иначе и происходить не могутъ. Распространяться не буду, но знаю, что намъ отнюдь не надо требовать съ славянъ благодарности, къ этому намъ надо приготовиться впередъ. Начнутъ же они, по освобожденіи, свою новую жизнь, повторяю, именно съ того, что выпросятъ себѣ у Европы, у Англіи и Германіи, напримѣръ, ручательство и покровительство ихъ свободѣ, и хоть въ концертѣ европейскихъ державъ будетъ и Россія, но они именно въ защиту отъ *Россіи* это и сдѣлаютъ. Начнутъ они непремѣнно съ того, что внутри себя, если не прямо вслухъ, объявятъ себѣ и убѣдятъ себя въ томъ, что Россіи они не обязаны ни малѣйшею благодарностью, напротивъ, что отъ властолюбія Россіи они едва спаслись при заключеніи мира вмѣшательствомъ европейскаго концерта, а не вмѣшайся Европа, такъ Россія, отнявъ ихъ у турокъ, проглотила бы ихъ тотчасъ же, «имѣя въ виду расширеніе границъ и основаніе великой Всеславянской Имперіи на порабощеніи славянъ жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго о, долго еще они не въ состояніи будутъ признать безкорыстія Россіи и великаго, святого, неслыханнаго въ мірѣ поднятія ею знамени величайшей идеи изъ всѣхъ идей, которыми живъ человѣкъ и безъ которыхъ человѣчество, если эти идеи перестанутъ жить въ немъ, — коченѣетъ, калѣчится и умираетъ въ язвахъ и въ безсиліи. Нынѣшнюю, напримѣръ, всенародную русскую войну, всего русскаго народа, съ царемъ во главѣ, подъятую про-

тивъ изверговъ за освобожденіе несчастныхъ народностей, — эту войну поняли ли, наконецъ, славяне теперь, какъ вы думаете? Но о теперешнемъ моментѣ я говорить не стану, къ тому же мы еще нужны славянамъ, мы ихъ освобождаемъ, но потомъ, когда освободимъ и они кое-какъ устроятся — признаютъ они эту войну за великій подвигъ, предпринятый для освобожденія ихъ, рѣшите-ка это? Да ни за что на свѣтѣ не признаютъ! Напротивъ, выставятъ какъ политическую, а потомъ и научную истину, что не будь во всѣ эти сто лѣтъ освободительницы-Россіи, такъ они бы давнымъ давно сами сумѣли освободиться отъ турокъ, своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки не будь на свѣтѣ Россіи, не только бы не имѣла ничего противъ ихъ освобожденія, но и сама освободила бы ихъ. Это хитрое ученіе навѣрно существуетъ у нихъ уже и теперь, а впослѣдствіи оно неминуемо разовьется у нихъ въ научную и политическую аксіому. Мало того, даже о туркахъ станутъ говорить съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ о Россіи. Можетъ быть, цѣлое столѣтіе, или еще болѣе, они будутъ безпрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбія Россіи; они будутъ заискивать передъ европейскими государствами, будутъ клеветать на Россію, сплетничать на нее и интриговать противъ нея. О, я не говорю про отдѣльныя лица: будутъ такія, которыя поймутъ, что значила, значитъ и будетъ значить Россія для нихъ всегда. Они поймутъ все величіе и всю святость дѣла Россіи и великой идеи, знамя которой поставитъ она въ человѣчествѣ. Но люди эти, особенно вначалѣ, явятся въ такомъ жалкомъ меньшинствѣ, что будутъ подвергаться насмѣшкамъ, ненависти и даже политическому гоненію. Особенно пріятно будетъ для освобожденныхъ славянъ высказывать и трубить на весь свѣтъ, что они племена образованныя, способныя къ самой высшей европейской культурѣ, тогда какъ Россія страна варварская, мрачный сѣверный колоссъ, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистникъ европейской цивилизаціи. У нихъ, конечно, явится, съ самаго начала, конституціонное управленіе, парламенты, отвѣтственные министры, ораторы, рѣчи. Ихъ будетъ это чрезвычайно утѣшать и восхищать. Они будутъ въ упоеніи, читая о себѣ въ парижскихъ и въ лондонскихъ газетахъ телеграммы, извѣщающія весь міръ, что послѣ долгой парламентской бури, пало, наконецъ, министерство въ Болгаріи и составилось новое изъ либеральнаго большинства, и что какой-нибудь ихній Иванъ Чифтликъ согласился, наконецъ, принять портфель президента совѣта министровъ. Россіи надо

серьезно приготовиться къ тому, что всѣ эти освобожденные славяне съ упоеніемъ ринутся въ Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и соціальными, и такимъ образомъ должны будутъ пережить цѣлый и длинный періодъ европеизма прежде, чѣмъ постигнуть хоть что-нибудь въ своемъ славянскомъ призваніи въ средѣ человѣчества. Между собой эти землицы будутъ вѣчно сооритъся, вѣчно другъ другу завидовать и другъ противъ друга интриговать. Разумѣется, въ минуту какой-нибудь серьезной бѣды они всѣ непремѣнно обратятся къ Россіи за помощью. Какъ ни будутъ они ненавистничать, сплетничать и клеветать на насъ Европѣ, заигрывая съ нею и увѣряя ее въ любви, но чувствовать-то они всегда будутъ инстинктивно (конечно, въ минуту бѣды, а не раньше), что Европа естественный врагъ ихъ единству, была имъ и всегда останется, а что если они существуютъ на свѣтѣ, то, конечно, потому, что стоитъ огромный магнитъ — Россія, которая, неодолимо притягивая ихъ всѣхъ къ себѣ, тѣмъ сдерживаетъ ихъ цѣлость и единство. Будутъ даже и такія минуты, когда они будутъ въ состояніи почти уже сознательно согласиться, что не будь Россіи, великаго восточнаго центра и великой влекущей силы, то единство ихъ мигомъ бы развалилось, разсѣялось въ клочки и даже такъ, что самая національность ихъ исчезла бы въ европейскомъ океанѣ, какъ исчезаютъ нѣсколько отдѣльныхъ капель воды въ морѣ. Россіи надолго достанется тоска и забота мирить ихъ, вразумлять ихъ и даже, можетъ быть, обнажать за нихъ мечъ при случаѣ. Разумѣется, сейчасъ же представляется вопросъ: въ чемъ же тутъ выгода Россіи, изъ-за чего Россія билась за нихъ сто лѣтъ, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто изъ-за того, чтобъ пожать столько маленькой, смѣшной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россія все же всегда будетъ сознавать, что центръ славянскаго единства — это она, что если живутъ славяне свободною національною жизнью, то потому, что этого захотѣла и хочетъ она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставитъ Россіи это сознаніе, кромѣ трудовъ, досадъ и вѣчной заботы?

Отвѣтъ теперь труденъ и не можетъ быть ясенъ.

Во-первыхъ, у Россіи, какъ намъ извѣстно, и мысли не будетъ, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчетъ славянъ свою территорію, присоединить ихъ къ себѣ политически, надѣлать изъ ихъ земель губерній и проч. Всѣ славяне подозрѣваютъ Россію въ этомъ стремленіи даже теперь, равно какъ и вся Европа, и будутъ

подозрѣвать еще сто лѣтъ впередъ. Но да сохранитъ Богъ Россію отъ этихъ стремленій, и чѣмъ болѣе она выкажетъ самаго полнаго политическаго безкорыстія относительно славянъ, тѣмъ вѣрнѣе достигнетъ объединенія ихъ около себя впослѣдствіи, въ вѣкахъ, сто лѣтъ спустя. Доставивъ, напротивъ, славянамъ, съ самаго начала, какъ можно болѣе политической свободы и устранивъ себя даже отъ всякаго опекунства и надзора надъ ними, и объявивъ имъ только, что она всегда обнажитъ мечъ на тѣхъ, которые посягнутъ на ихъ свободу и національность, Россія тѣмъ самымъ избавитъ себя отъ страшныхъ заботъ и хлопотъ поддерживать *силою* это опекунство и политическое вліяніе свое на славянъ, имъ, конечно, ненавистное, а Европѣ всегда подозрительное. Но выказавъ полнѣйшее безкорыстіе, тѣмъ самымъ Россія и побѣдитъ, и привлечетъ, наконецъ, къ себѣ славянъ; сначала въ бѣдѣ будутъ прибѣгать къ ней, а потомъ, когда-нибудь воротятся къ ней и *прильнутъ* къ ней всѣ, уже съ полной, съ дѣтской довѣрчивостью. Всѣ воротятся въ родное гнѣздо. О, конечно, есть разныя ученыя и поэтическія даже воззрѣнія и теперь въ средѣ многихъ русскихъ. Эти русскіе ждутъ, что новыя, освобожденныя и воскресшія въ новую жизнь славянскія народности съ того и начнутъ, что прильнутъ къ Россіи, какъ къ родной матери и освободительницѣ, и что несомнѣнно и въ самомъ скоромъ времени принесутъ много новыхъ и еще не слыханныхъ элементовъ въ русскую жизнь, расширятъ славянство Россіи, душу Россіи, повліяютъ даже на русскій языкъ, литературу, творчество, обогатятъ Россію духовно и укажутъ ей новые горизонты. Признаюсь, мнѣ всегда казалось это у насъ лишь учеными увлеченіями; правда же въ томъ, что, конечно, что-нибудь произойдетъ въ этомъ родѣ несомнѣнно, но не ранѣе ста, напримѣръ, лѣтъ, а пока, и, можетъ быть, еще цѣлый вѣкъ, Россіи вовсе нечего будетъ брать у славянъ ни изъ идей ихъ, ни изъ литературы, и чтобъ учить насъ, всѣ они страшно не доросли. Напротивъ, весь этотъ вѣкъ, можетъ быть, придется Россіи бороться съ ограниченностью и упорствомъ славянъ, съ ихъ дурными привычками, съ ихъ несомнѣнной и близкой измѣной славянству ради европейскихъ формъ политическаго и соціальнаго устройства, на которыя они жадно накинутся. Послѣ разрѣшенія Славянскаго вопроса, Россіи, очевидно, предстоитъ окончательное разрѣшеніе Восточнаго вопроса. Долго еще не поймутъ теперешніе славяне, что такое Восточный вопросъ! Да и славянскаго единенія въ братствѣ и согласіи они не поймутъ тоже очень долго. Объяснять

имъ это безпрерывно дѣломъ и великимъ примѣромъ будетъ всегдашней задачей Россіи впредь Опять-таки скажутъ: для чего это все, наконецъ, и зачѣмъ брать Россіи на себя такую работу? Для чего: для того, чтобъ жить высшею жизнью, великою жизнью, свѣтить міру великой, безкорыстной и чистой идеей, воплотить и создать въ концѣ концовъ великій и мощный организмъ братскаго союза племенъ, создать этотъ организмъ не политическимъ насиліемъ, не мечемъ, а убѣжденіемъ, примѣромъ, любовью, безкорыстіемъ, свѣтомъ; вознести, наконецъ, всѣхъ малыхъ сихъ до себя и до понятія ими материнскаго ея призванія — вотъ цѣль Россіи, вотъ и выгоды ея, если хотите. Если націи не будутъ жить высшими безкорыстными идеями и высшими цѣлями служенія человѣчеству, а только будутъ служить однимъ своимъ «интересамъ», то погибнутъ эти націи несомнѣнно, окоченѣютъ, обезсилѣютъ и умрутъ. А выше цѣлей нѣтъ, какъ тѣ, которыя поставитъ передъ собой Россія, служа славянамъ безкорыстно и не требуя отъ нихъ благодарности, служа ихъ нравственному (а не политическому лишь) возсоединенію въ великое цѣлое. Тогда только скажетъ всеславянство свое новое цѣлительное слово человѣчеству... Выше такихъ цѣлей не бываетъ никакихъ на свѣтѣ. Стало быть, и «выгоднѣе» ничего не можетъ быть для Россіи, какъ имѣть всегда передъ собой эти цѣли, все болѣе и болѣе уяснять ихъ себѣ самой, и все болѣе и болѣе возвышаться духомъ въ этой вѣчной неустанной и доблестной работѣ своей для человѣчества.

Будь окончаніе нынѣшней войны благополучно — и Россія несомнѣнно войдетъ въ новый и высшій фазисъ своего бытія...

Глава третья.

I.

Толки о мирѣ. „Константинополь долженъ быть нашъ“ — возможно ли это? Разныя мнѣнія.

А про окончаніе войны всѣ вдругъ начали толковать, не только въ Европѣ, но и у насъ. Всѣ пустились дебатировать вѣроятныя условія мира. Пріятно то, что даже большинство нашихъ политическихъ газетъ, болѣе

или менѣе, вѣрно цѣнитъ теперь труды, кровь и усилія Россіи, и условія мира предполагаетъ по возможности въ размѣрахъ этихъ усилій. Утѣшительно особенно то, что большинство судящихъ начинаетъ признавать и самостоятельность Россіи въ виду грядущихъ несомнѣнныхъ европейскихъ вмѣшательствъ при заключеніи мира, и право ея заключить миръ сепартный, личный, не призывая Европы и даже не очень внимая ей, если будетъ возможно. Участь славянъ берется тоже въ разсчетъ. Толкуютъ о вознагражденіяхъ, съ большимъ жаромъ требуютъ желѣзныхъ турецкихъ мониторовъ. На присоединеніе Карса, Эрзерума и на право наше присоединить ихъ къ себѣ многіе изъявили полное согласіе.

Есть люди, которые, впрочемъ, до сихъ поръ обижаются даже предположеніемъ, что мы что-нибудь смѣемъ присоединить въ родѣ Карса. Зато есть, наконецъ, и такіе, которые толкуютъ даже о Константинополѣ, не то что о Карсѣ и о томъ, что Константинополь долженъ быть нашъ. Эти толки и разсужденія о мирѣ и объ условіяхъ мира будутъ теперь повторяться неустанно, послѣ каждаго крупнаго нашего военнаго дѣйствія. Мнѣ хочется только замѣтить, что во всѣхъ этихъ теперешнихъ сужденіяхъ нашихъ органовъ (или почти) кроется какъ будто какой-то не то что промахъ, а недосмотръ. Именно, всѣ считаютъ Европу... Европой, то-есть такой же Европой, какъ была она съ разными варіаціями во все столѣтіе, — т. е. тѣ же почти великія державы принимаютъ, то же политическое равновѣсіе имѣется въ виду и проч. Между тѣмъ какъ Европа съ часу на часъ не та становится теперь, что была даже назадъ тому полгода, и даже до того, что за три мѣсяца впередъ ручаться теперь невозможно — до того можетъ измѣниться даже къ будущей веснѣ прежній ликъ ея. Колоссальные роковые текущіе факты, которые должны формулироваться и потребовать разрѣшенія, очень, можетъ быть, скоро, берутся въ разсчетъ какъ бы все еще не въ тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ они существенно должны предстать передъ міромъ. Даже составъ той Европы, которая можетъ вмѣшаться въ наши дѣла при заключеніи мира, трудно опредѣлить теперь безошибочно. А потому и толковать объ условіяхъ мира лишь на прежнихъ данныхъ, недостаточно оцѣняя того, что всѣ эти прежнія данныя — двинулись сами съ мѣста, текутъ, улетучиваются, ждутъ сами новыхъ опредѣленій — мнѣ кажется, будетъ тоже ошибочно... А впрочемъ, объ этомъ потомъ. Теперь же, такъ какъ уже зашла рѣчь о Константинополѣ, мнѣ хочется мимоходомъ отмѣтить одно

очень странное и почти неожиданное для меня мнѣніе о ближайшихъ «судьбахъ» Константинополя, выраженное человѣкомъ, отъ котораго можно было ожидать совсѣмъ другого рѣшенія въ виду теперешнихъ совершившихся и несомнѣнно имѣющихъ совершиться событій. Николай Яковлевичъ Данилевскій, написавшій восемь лѣтъ тому назадъ превосходную книгу: «Россія и Европа», въ которой есть лишь одна неясная и не твердая глава, именно о будущей судьбѣ Константинополя, напечаталъ недавно въ газетѣ «Русскій Міръ» рядъ статей о томъ же самомъ предметѣ. Окончательный выводъ его о Константинополѣ очень оригиналенъ.

Я, впрочемъ, не буду разбирать во всей подробности. Послѣ превосходныхъ и вѣрныхъ разсужденій, напримѣръ, о томъ, что Константинополь, по изгнаніи турокъ, отнюдь не можетъ стать вольнымъ городомъ, въ родѣ, какъ, напримѣръ, прежде Краковъ, не рискуя сдѣлаться гнѣздомъ всякой гадости, интриги, убѣжищемъ всѣхъ заговорщиковъ всего міра, добычей жидовъ, спекулянтовъ и проч. и проч. — Н. Я. Данилевскій рѣшаетъ, что Константинополь долженъ когда-нибудь стать общимъ городомъ всѣхъ восточныхъ народностей. Всѣ народы будутъ-де владѣть имъ на равныхъ основаніяхъ, вмѣстѣ съ русскими, которые тоже будутъ допущены ко владѣнію имъ на основаніяхъ равныхъ съ славянами. Такое рѣшеніе, по-моему, удивительно. Какое тутъ можетъ быть сравненіе между русскими и славянами? И кто это будетъ устанавливать между ними равенство? Какъ можетъ Россія участвовать во владѣніи Константинополемъ на *равныхъ* основаніяхъ со славянами, если Россія имъ неравна во всѣхъ отношеніяхъ — и каждому народцу порознь и всѣмъ имъ вмѣстѣ взятымъ? Великанъ Гуливеръ могъ бы, если бъ захотѣлъ, увѣрять лиллипутовъ, что онъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ равенъ, но вѣдь это было бы очевидно нелѣпо. Зачѣмъ же напускать на себя нелѣпость до того, чтобъ вѣрить ей самому и насильно? Константинополь долженъ быть *нашъ*, завоеванъ *нами*, русскими, у турокъ и остаться нашимъ навѣки. Однимъ намъ онъ долженъ принадлежать, а мы, конечно, владѣя имъ, можемъ допустить въ него и всѣхъ славянъ и кого захотимъ, еще сверхъ того, на самыхъ широкихъ основаніяхъ, но это уже будетъ не федеративное владѣніе вмѣстѣ со славянами городомъ. Да взять уже то, что вы федеративнаго соединенія славянъ между собою еще цѣлый вѣкъ не добьетесь. Россія будетъ владѣть лишь Константинополемъ и его необходимымъ округомъ, равно Босфоромъ и про-

ливами, будетъ содержать въ немъ войско, укрѣпленія и флотъ, и такъ должно быть еще долго, долго. О, подхватятъ и закричатъ многіе: «стало быть, служеніе-то Россіи славянскому дѣлу, видно, было не столь безкорыстное!» На это легко отвѣчать, именно тѣмъ, что служеніе Россіи славянамъ теперь еще не окончится, а будетъ еще продолжаться въ вѣкахъ, что ею только, и великой центральной силой ея, славяне и будутъ на свѣтѣ жить; что за такое служеніе никогда и ничѣмъ нельзя будетъ заплатить, а что если и займетъ теперь Россія Константинополь, то единственно потому, что у ней, въ задачахъ ея и въ назначеніи ея, есть кромѣ славянскаго и другой вопросъ, самый великій для нея и окончательный, а именно Восточный вопросъ, и что разрѣшиться этотъ вопросъ можетъ только въ Константинополѣ. Федеративное же владѣніе Константинополемъ разными народцами можетъ даже умертвить Восточный вопросъ, разрѣшенія котораго, напротивъ того, настоятельно надо желать, когда придутъ къ тому сроки, такъ какъ онъ тѣсно связанъ съ судьбою и съ назначеніемъ самой Россіи и разрѣшенъ можетъ быть только ею. Не говорю уже о томъ, что всѣ эти народцы лишь перессорятся между собою въ Константинополѣ, за вліяніе въ немъ и за обладаніе имъ. Ссорить ихъ будутъ греки. Завидовать тому, что они владѣютъ такой великолѣпной точкой Европы и земного шара, будутъ и западные славяне... однимъ словомъ, Константинополь послужитъ тогда камнемъ раздора во всемъ славянскомъ и восточномъ мірѣ, что помѣшаетъ единенію славянъ и остановитъ ходъ правильной жизни ихъ. Спасеніе въ такомъ случаѣ именно въ томъ, если Россія займетъ Константинополь одна, для себя, за свой счетъ. Россія можетъ сказать тогда восточнымъ народамъ, что она потому беретъ себѣ Константинополь — «что ни единый изъ васъ, ни всѣ вы вмѣстѣ не доросли до него, а что она, Россія, доросла». И доросла. Именно теперь наступаетъ этотъ новый фазисъ жизни Россіи. Константинополь есть центръ восточнаго міра, а духовный центръ восточнаго міра и глава его есть Россія. Россіи именно нужно и даже *полезно* теперь, на нѣкоторое время, забыть хоть немножко Петербургъ и побывать на Востокѣ, въ виду измѣненія судебъ ея и всей Европы, измѣненія близкаго, стоящаго «при дверяхъ». Впрочемъ, оставимъ до времени разборъ всѣхъ неудобствъ общаго владѣнія Константинополемъ, и даже вреда оттого, особенно для славянъ, замѣтимъ только, хоть нѣсколько словъ, о судьбѣ въ такомъ случаѣ константинопольскихъ грековъ и православія.

Греки ревниво будутъ смотрѣть на новое славянское начало въ Константинополѣ и будутъ ненавидѣть и бояться славянъ даже болѣе, чѣмъ бывшихъ магометанъ. Еще недавній споръ болгаръ съ патріаршимъ престоломъ можетъ послужить въ такомъ случаѣ примѣромъ будущаго. Предстоятели православія въ Константинополѣ могутъ унизиться до интриги, мелкихъ проклятій, отлученій, неправильныхъ соборовъ и проч., а можетъ быть, упадутъ и до ереси — и все это изъ-за національныхъ причинъ, изъ-за національныхъ оскорбленій и раздраженій. «Почему славяне выше насъ, могутъ сказать всѣ греки вмѣстѣ, почему признается ихъ безусловное право на Константинополь, хотя бы и вмѣстѣ съ нами?» Теперь въ то же время замѣтьте, что Россія, владѣя Константинополемъ, имѣя силу и огромный очевидный авторитетъ, почти устранитъ возможность такихъ вопросовъ. Даже греки не могли бы ей столь завидовать и досадовать на нее за владѣніе Константинополемъ, именно потому, что она столь очевидная сила и столь явная владычица судебъ Востока. Россія, владѣя Константинополемъ, будетъ стоять именно какъ бы на стражѣ свободы всѣхъ славянъ и *всѣхъ восточныхъ* народностей, не различая ихъ съ славянами. Мусульманское владѣніе было во всѣ эти столѣтія для всѣхъ этихъ народностей не единительной, но подавляющей силой, и онѣ при немъ шевельнуться не смѣли, т. е. вовсе не жили какъ люди. Съ уничтоженіемъ же мусульманскаго владычества можетъ наступить въ этихъ народностяхъ, выпрыгнувшихъ вдругъ изъ гнета на свободу, страшный хаосъ. Такъ что не только правильная федерація между ними, но даже просто согласіе — есть, безъ сомнѣнія, лишь мечта будущаго. А пока новой единительной для нихъ силой и будетъ Россія, именно тѣмъ отчасти, что твердо станетъ въ Константинополѣ. Она спасетъ ихъ другъ отъ друга и именно будетъ стоять на стражѣ ихъ свободы. Она будетъ стоять на стражѣ всего Востока и грядущаго порядка его. И, наконецъ, она же и лишь она одна способна поднять на Востокѣ знамя новой идеи и объяснить всему Восточному міру его новое назначеніе. Ибо что такое Восточный вопросъ? Восточный вопросъ есть въ сущности своей разрѣшеніе судебъ православія. Судьбы православія слиты съ назначеніемъ Россіи. Что же это за судьбы православія? Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владѣніе, заставившее отвернуться отъ себя человѣчество и бывшее такимъ образомъ главнѣйшей причиной матеріализма и атеизма Европы, это католичество есте-

ственно породило въ Европѣ и соціализмъ. Ибо соціализмъ имѣетъ задачей разрѣшеніе судебъ человѣчества уже не по Христу, а внѣ Бога и внѣ Христа, и долженъ былъ зародиться въ Европѣ естественно, взамѣнъ упадшаго христіанскаго въ ней начала, по мѣрѣ извращенія и утраты его въ самой церкви католической. Утраченный образъ Христа сохранился во всемъ свѣтѣ чистоты своей въ православіи. Съ Востока и пронесется новое слово міру навстрѣчу грядящему соціализму, которое, можетъ, вновь спасетъ европейское человѣчество. Вотъ назначеніе Востока, вотъ въ чемъ для Россіи заключается Восточный вопросъ. Я знаю, очень многіе назовутъ такое сужденіе «кликушествомъ», но Н. Я. Данилевскій слишкомъ можетъ понять то, что я говорю. Но для такого назначенія Россіи нуженъ Константинополь, такъ какъ онъ центръ Восточнаго міра. Россія уже сознаетъ про себя, съ народомъ и царемъ своимъ во главѣ, что она лишь носительница идеи Христовой, что слово православія переходитъ въ ней въ великое дѣло, что уже началось это дѣло съ теперешней войной, а впереди передъ ней еще вѣка трудовъ самопожертвованія, насажденія братства народовъ и горячаго материнскаго служенія ея имъ, какъ дорогимъ дѣтямъ.

Да, это великое христіанское дѣло, эта новая дѣятельность христіанства и православія уже началась, именно въ теперешнюю войну и фактомъ теперешней войны, а Н. Я. Данилевскій все еще не вѣритъ тому ... не вѣритъ, очевидно, потому, что не считаетъ пока никого еще *достойнымъ* овладѣть Константинополемъ и даже Россію. Не доросли, что ль, до Константинополя русскіе — трудно понять. Конечно, трудно устроить согласное и *равное на правахъ владѣніе* Константинополемъ всѣхъ восточныхъ народовъ и народцевъ, но вѣдь допускаетъ же авторъ статьи, что Россія могла бы владѣть Константинополемъ одна, пока, временно, такъ сказать, болѣе охраняя его, чѣмъ смѣя владѣть имъ, съ тѣмъ, однако, чтобъ послѣ передать его на общее владѣніе народцамъ (для чего? для чего передать?). Кажется, Н. Я. Данилевскій считаетъ, что для самой Россіи будетъ искусительно и, такъ сказать, развратительно единоличное владѣніе Константинополемъ, возбудитъ въ ней дурные завоевательные инстинкты и проч., но, кажется, пора бы, наконецъ, увѣровать въ Россію, особенно послѣ подвига теперешней войны. Она доросла-съ; даже до Контстантинополя доросла...

И вдругъ авторъ даже и *пока* не рѣшается довѣрить Россіи Константинополь. И, представьте, чѣмъ конча-

стъ: онъ выводитъ, что *пока* надо продлить существованіе Турціи (отнявъ у ней всѣхъ славянъ, Балканы и проч.) и оставить пока Константинополь подъ властью турокъ, и что это даже будто бы самое выгодное для Россіи *теперь* рѣшеніе и въ этомъ почти перстъ Божій. Но почему же, перстъ-то Божій почему? Разумѣется, авторъ предполагаетъ при этомъ новомъ существованіи Турціи полнѣйшее вліяніе на нее Россіи и, такъ сказать, зависимость Турціи отъ Россіи. Но для чего такой маскарадъ? Разсудите: владыка Россія, а все-таки на время надо турку поставить. Замѣтимъ, что на такую комбинацію Европа еще скорѣе не согласится, чѣмъ на окончательное завоеваніе Турціи, ибо лучше уже совершившійся фактъ, чѣмъ все еще оспариваемый, продолжаемый, угрожающій новыми войнами въ самомъ близкомъ будущемъ. Такимъ образомъ, авторъ почти сошелся, въ концѣ концовъ, съ политическимъ мнѣніемъ лорда Бикэнсфильда, т. е., что существованіе Турціи необходимо, и уничтожена она быть не можетъ.

«Отъ Турціи останется одна тѣнь», говоритъ Н. Я. Данилевскій, — «но тѣнь эта *должна* (?) еще до поры до времени оттѣнять берега Босфора и Дарданеллъ, ибо замѣнить ее *живымъ*, и не только живымъ, но еще здоровымъ организмомъ, пока невозможно (!?)»...

Это Россія-то не здоровый и даже не живой еще организмъ, которымъ нельзя даже смѣть замѣнить въ столицѣ православія гнилье турокъ? Это для меня удивительно (опять-таки послѣ подвига теперешней войны!). Чего-нибудь я тутъ, навѣрно, не понимаю. Не разумѣетъ ли авторъ, просто-на-просто, что потому невозможно еще пустить Россію въ Константинополь (для единоличнаго владѣнія или для передачи его потомъ народамъ), что Европа не согласится ее впустить. Можетъ быть, авторъ не вѣритъ, что Россія въ нынѣшнюю войну въ силахъ достигнуть такого окончательнаго результата. Онъ именно говоритъ въ одномъ мѣстѣ своей статьи, «что *занятіе* Константинополя русскими встрѣтитъ самое рѣшительное сопротивленіе со стороны большинства европейскихъ державъ». Если такъ, то заключеніе его о необходимости оставить на время турокъ въ Константинополѣ становится понятнѣе; тѣмъ не менѣе, насчетъ «сопротивленія большинства европейскихъ державъ» можно замѣтить двѣ вещи: 1) что, какъ сказалъ я выше, Европа, можетъ быть, скорѣе найдетъ примирительный исходъ въ занятіи нашемъ Константинополя, чѣмъ въ той формулѣ, которую предлагаетъ г. Данилевскій, т. е. Турцію обезличенную, подъ полной опекой Россіи, безъ Бал-

канъ, безъ славянъ, съ срытыми крѣпостями, безъ флота, однимъ словомъ, «тѣнь» прежней Турціи, какъ выражается авторъ. Ужъ, конечно, не этой Турціи желаю бы «большинство европейскихъ державъ» и, оставивъ на свѣтѣ лишь «тѣнь Турціи», ее тѣмъ не надуешь: «все равно, не сегодня, такъ завтра войдете въ Константинополь», скажетъ она русскимъ. А потому окончательное рѣшеніе для нея будетъ рѣшительно предпочтительнѣе, чѣмъ Турція въ видѣ тѣни. Второе, что можно замѣтить, это то, что, *можетъ быть*, дѣйствительно никогда еще не было (и не будетъ) такого выгоднаго для насъ момента для занятія Константинополя, какъ теперь, именно въ эту войну, именно въ данный или весьма близкій къ тому моментъ, въ виду политическаго положенія самой Европы въ этотъ моментъ.

II.

Опять въ послѣдній разъ „прорицанія“.

Вы все говорите: «большинство европейскихъ державъ» не позволитъ. Но что такое теперь «большинство европейскихъ державъ»? Опредѣлимо ли оно даже въ настоящую минуту? Повторяю сказанное выше: Европа съ часу на часъ становится не такой, какъ была прежде, еще недавно, какъ была, можетъ быть, всего назадъ еще полгода, такъ что теперь даже за три мѣсяца впередъ ручаться и за дальнѣйшую неизмѣняемость ея нельзя. Дѣло въ томъ, что мы именно наканунѣ самыхъ величайшихъ и потрясающихъ событій и переворотовъ въ самой Европѣ и это *безъ всякаго преувеличенія*. Въ данный же моментъ, теперь, въ ноябрѣ, это «большинство европейскихъ державъ», которыя могли бы намъ сказать въ чемъ-нибудь свое грозное veto при заключеніи мира — сводится лишь на Англію, и — врядъ ли еще на Австрію, хотя Англія во что бы то ни стало вовлекаетъ ее въ союзъ и даже надѣется на союзъ и съ Франціей. Но мы будемъ (теперь уже это очевидно) не одни. Въ Европѣ есть Германія, и та на нашей сторонѣ.

Да, Европу ждутъ огромные перевороты, такіе, что умъ людей отказывается вѣрить въ нихъ, считая осуществленіе ихъ какъ бы чѣмъ-то фантастическимъ. Между тѣмъ многое, что еще нынѣшнимъ лѣтомъ считалось фантастическимъ, невозможнымъ и преувеличеннымъ —

сбылось въ Европѣ къ концу года буквально, и мнѣніе, напримѣръ, о силѣ католическаго всемірнаго заговора,— мнѣніе, надъ которымъ *всѣ* еще лѣтомъ склонны были смѣяться и, по крайней мѣрѣ, пренебрегать имъ, раздѣляется теперь *всѣми* и подтвердилось фактами. Напоминаю объ этомъ единственно для того, чтобъ читатели повѣрили и теперешнимъ «предсказаньямъ» нашимъ и не сочли бы ихъ фантастическою и преувеличенною картиною, какъ, вѣроятно, сочли многія наши лѣтнія предсказанія въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ и августѣ, и которыя, однако, сбылись до буквальной точности.

Единственный политикъ въ Европѣ, проникающій геніальнымъ взглядомъ своимъ въ самую глубь фактовъ — есть, безспорно, князь Бисмаркъ. Самаго страшнаго врага Германіи, ея единства и ея обновленнаго будущаго онъ прозрѣлъ, еще задолго назадъ — въ римскомъ католицизмѣ и въ порожденномъ католицизмомъ чудовищѣ — соціализмѣ. (Соціализмомъ проѣдена Германія.) Раздавить католицизмъ въ моментъ избранія новаго папы Бисмарку необходимо. О, онъ понимаетъ, что онъ не раздавитъ его окончательно, и что онъ только поставитъ его въ извѣстный новый фазисъ борьбы. Но старый фазисъ борьбы, для католицизма, еще продолжается, пока жива Франція. Пока жива Франція, у католицизма есть сильный мечъ, и есть надежды на европейскую коалицію. Что до Франціи, то эта страна въ глазахъ князя Бисмарка — обречена уже судьбѣ своей. Для него одинъ вопросъ: или ей жить, или Германіи. Ибо падетъ Франція — и католицизмъ, вмѣстѣ съ соціализмомъ, войдутъ въ новый фазисъ. И пока европейскіе политики, слѣдуя за нескончаемой борьбой Макъ-Магона съ республиканцами, желаютъ отъ всего сердца побѣды республиканцамъ, *принимая и вѣря еще,* что республика есть во Франціи правительство народное и способное соединить Францію — князь Бисмаркъ, тѣмъ временемъ, понимаетъ вполнѣ, что Франція отжила свой вѣкъ, что эта нація раздѣлилась внутренно и окончательно сама на себя навѣки, и что въ ней никогда уже болѣе не будетъ твердаго и единящаго всѣхъ авторитетнаго правленія, здороваго національнаго и единящаго центра. И хоть слабость Франціи могла бы, такимъ образомъ, лишь обнадеживать Германію, но князь Бисмаркъ все же видитъ, что, повторяю это, пока живетъ Франція, дотолѣ живъ и римскій католицизмъ политически и имѣетъ въ рукахъ своихъ обнаженный мечъ, мало того, — что католицизмъ-то, можетъ быть, и могъ

бы еще разъ, *на время,* послужить для этой разложившейся страны — единящей идеей, хотя бы внѣшне-политически. Ибо даже и быть не можетъ, чтобъ Франція, хотя бы и съ республиканцами во главѣ, могла *не* обнажить, *рано ли, поздно ли,* меча за папу и за судьбы католичества. Республиканцы даже сами увидѣли бы, что оставь они папу и католичество, то и собственное ихъ существованіе во Франціи стало бы невозможнымъ. Правда, сами-то они, можетъ, будутъ и неспособны понять это даже до самаго конца своего, и, такимъ образомъ, пребудутъ до конца не только фаворитами (протеже) князя Бисмарка — которыхъ онъ, однакоже, все равно приговорилъ уже про себя къ смерти, вмѣстѣ съ прочими ранцузскими партіями, имѣющими претензію на способность вновь соединить Францію въ одно неразрывное цѣлое, — но и рабами Германіи, отдающими ей и всю Францію не только въ политическое, но и во внутреннее, существенное и духовное рабство, именно тѣмъ, что лишаютъ Францію самой самостоятельнѣйшей изъ *политическихъ и историческихъ* идей ея, вырываютъ у ней то знамя, которое она высоко держала столько вѣковъ какъ представительница романскаго элемента въ европейскомъ человѣчествѣ. Но зато тѣ, которые сгонятъ за это бездарныхъ и безполезныхъ республиканцевъ съ мѣста, непремѣнно позаботятся воздвигнуть (Бисмаркъ знаетъ это), въ послѣдній разъ, католическое знамя противъ Германіи, — знамя, въ которое уже, повторяю это, не вѣритъ Франція, уже сама *почти вся* отрицаетъ его, но которое можетъ еще послужить ей *политически* послѣдней точкой опоры и единенія противъ рокового (и послѣдняго тоже) натиска протестантской Германіи, вѣчно протестовавшей противъ западно-европейскихъ, унаслѣдованныхъ еще отъ древняго Рима началъ цѣлой половины европейскаго человѣчества.

А потому князь Бисмаркъ, вѣроятнѣе всего, уже предрѣшилъ судьбу Франціи. Францію ждетъ судьба Польши, и политически жить она не будетъ — или не будетъ и Германіи. Достигнувъ этого, онъ принудитъ тогда воюющее римское католичество (которое будетъ воевать до скончанія міра) войти въ новый фазисъ существованія и борьбы за существованіе — въ фазисъ подземной, рептильной, заговорной войны. И онъ ждетъ его въ этомъ новомъ фазисѣ. Чѣмъ скорѣе это совершится, тѣмъ для него лучше, такъ какъ тутъ онъ ждетъ уже соединенія обоихъ враговъ Германіи и человѣчества вмѣстѣ и тѣмъ самымъ раздавить ихъ надѣется легче, заразъ...

III.

Надо ловить минуту.

Соединеніе же обоихъ враговъ произойдетъ несомнѣнно, только лишь падетъ политически Франція. Оба врага эти имѣли съ Франціей всегда органическую связь. Католичество, почти до послѣдняго времени, было единящей и существенной идеей ея. Соціализмъ же и зародился въ ней. Лишивъ Францію политической жизни, князь Бисмаркъ думаетъ нанести ударъ и соціализму. Соціализмъ, какъ наслѣдіе католицизма и Франціи — ненавистенъ болѣе всѣхъ истинному германцу, и простительно, что представители Германіи думаютъ съ нимъ такъ легко справиться, уничтоживъ лишь политически Францію, какъ источникъ и начало его. Но вотъ что произойдетъ, по всей вѣроятности, если падетъ политически Франція: католичество потеряетъ свой мечъ и въ первый разъ обратится къ народу, ибо некуда идти ему больше, обратится именно къ предводителямъ наиболѣе подвижнаго и подымчиваго элемента въ народѣ, соціалистамъ. Народу оно скажетъ, что все, что проповѣдуютъ имъ соціалисты, проповѣдовалъ и Христосъ. Оно исказитъ и продастъ имъ Христа еще разъ, какъ продавало прежде столько разъ за земное владѣніе, отстаивая права инквизиціи, мучившей людей за свободу совѣсти во имя любящаго Христа, — Христа, дорожащаго лишь свободно пришедшимъ ученикомъ, а не купленнымъ или напуганнымъ. Оно продавало Христа, благословляя іезуитовъ и ободряя праведность «всякаго средства для Христова дѣла». Все Христово же дѣло оно искони обратило лишь въ заботу о земномъ владѣніи своемъ и о будущемъ государственномъ обладаніи всѣмъ міромъ. Когда католическое человѣчество отвернулось отъ того чудовищнаго образа, въ которомъ имъ представили, наконецъ, Христа, то послѣ цѣлаго ряда вѣковъ протестовъ, реформацій и проч. явились наконецъ, съ начала нынѣшняго столѣтія, попытки устроиться внѣ Бога и внѣ Христа. Не имѣя инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидающихъ улей и муравейникъ, люди захотѣли создать нѣчто въ родѣ человѣческаго безошибочнаго муравейника. Они отвергли происшедшую отъ Бога и откровеніемъ возвѣщенную человѣку единственную формулу спасенія его: «Возлюби ближняго какъ самого себя» и замѣнили ее практическими выводами въ родѣ: «Chacun pour soi et Dieu pour tous» или научными аксіомами въ

родѣ «борьбы за существованіе». Не имѣя инстинкта животныхъ, по которому тѣ живутъ и устраиваютъ жизнь свою безошибочно, люди гордо вознадѣялись на науку, забывъ, что для такого дѣла, какъ создать общество, наука еще все равно что въ пеленкахъ. Явились мечтанія. Будущая Вавилонская башня стала идеаломъ и, съ другой стороны, страхомъ всего человѣчества. Но за мечтателями явились вскорѣ уже другія ученія, простыя и понятныя всѣмъ, въ родѣ: «ограбить богатыхъ, залить міръ кровью, а тамъ *какъ-нибудь само собою все вновь устроится*». Наконецъ, пошли дальше и этихъ учителей, явилось ученіе анархіи, за которою, если бъ она могла осуществиться, навѣрно бы начался вновь періодъ антропофагіи, и люди принуждены были бы начинать опять все съ начала, какъ тысячъ за десять лѣтъ назадъ. Католичество понимаетъ все это отлично и сумѣетъ соблазнить предводителей подземной войны. Оно скажетъ имъ: «У васъ нѣтъ центра, порядка въ веденіи дѣла, вы раздробленная по всему міру сила, а теперь, съ паденіемъ Франціи, и придавленная. Я буду единеніемъ вашимъ и привлеку къ вамъ и всѣхъ тѣхъ, кто въ меня еще вѣруетъ». Такъ или этакъ, а соединеніе произойдетъ. Католичество умирать не хочетъ, соціальная же революція и новый соціальный періодъ въ Европѣ тоже несомнѣненъ: двѣ силы, несомнѣнно, должны согласиться, два теченія слиться. Разумѣется, католичеству даже выгодна будетъ рѣзня, кровь, грабежъ и хотя бы даже антропофагія. Тутъ-то оно и можетъ надѣяться поймать на крючекъ, въ мутной водѣ, еще разъ свою рыбу, предчувствуя моментъ, когда, наконецъ, измученное хаосомъ и безправицей человѣчество бросится къ нему въ объятія, и оно очутится вновь, но уже всецѣло и на яву, нераздѣльно ни съ кѣмъ и единолично, «земнымъ владыкою и авторитетомъ міра сего» и тѣмъ окончательно уже достигнетъ цѣли своей. Картина эта, увы — не фантазія. Я положительно удостовѣряю, что ее уже прозираютъ очень и очень многіе на Западѣ. И, вѣроятно, прозираютъ и владыки Германіи. Но предводители германскаго народа въ одномъ ошибаются: въ легкости побѣдить и подавить этихъ двухъ страшныхъ и уже соединенныхъ враговъ. Они надѣются на силу обновленной Германіи, протестантскаго и протестующаго ея духа противъ древняго и новаго Рима, началъ и *послѣдствій* его. Но не они остановятъ чудовище: остановитъ и побѣдитъ его возсоединенный Востокъ и новое слово, которое скажетъ онъ человѣчеству...

Во *всякомъ случаѣ* одно кажется яснымъ, именно:

мы *нужны* Германіи даже болѣе, чѣмъ думаемъ. И нужны мы ей не для минутнаго политическаго союза, *а навѣчно*. Идея возсоединненной Германіи широка, величава и смотритъ въ глубь вѣковъ. Что Германіи дѣлить съ нами? Объектъ ея — все западное человѣчество. Она себѣ предназначила западный міръ Европы, провести въ него свои начала вмѣсто римскихъ и романскихъ началъ и впредь стать предводительницею его, а Россіи она оставляетъ Востокъ. Два великіе народа, такимъ образомъ, предназначены измѣнить ликъ міра сего. Это не затѣи ума или честолюбія: такъ самъ міръ слагается. Есть новые и странные факты и появляются каждый день. Когда у насъ, еще на-дняхъ почти, говорить и мечтать о Константинополѣ считалось даже чѣмъ-то фантастическимъ, въ германскихъ газетахъ заговорили многіе о занятіи нами Константинополя какъ о дѣлѣ самомъ обыкновенномъ. Это почти странно сравнительно съ прежними отношеніями къ намъ Германіи. Надо считать, что дружба Россіи съ Германіей нелицемѣрна и тверда и будетъ укрѣпляться чѣмъ дальше, тѣмъ больше, распространяясь и укрѣпляясь постепенно въ народномъ сознаніи обѣихъ націй, а потому, можетъ быть, даже не было и момента для Россіи выгоднѣе для разрѣшенія Восточнаго вопроса окончательно, какъ теперь. Въ Германіи, можетъ быть, даже нетерпѣливѣе нашего ждутъ окончанія нашей войны. Между тѣмъ, дѣйствительно за три мѣсяца нельзя теперь поручиться.. Кончимъ ли мы войну раньше, чѣмъ начнутся послѣднія и роковыя волненія Европы? Все это неизвѣстно. Но поспѣемъ ли мы на помощь Германіи, нѣтъ ли, Германія во всякомъ случаѣ разсчитываетъ на насъ не какъ на *временныхъ* союзниковъ, а какъ на *вѣчныхъ*. Что же до текущей минуты — опять-таки весь ключъ дѣла во Франціи и въ избраніи папы. Тутъ можетъ явиться столкновеніе Франціи съ Германіей, теперь уже несомнѣнное, тѣмъ болѣе, что есть разжигатели. Англія о немъ особенно постарается, и тогда, можетъ быть, двинется и Австрія. Но объ этомъ обо всемъ мы говорили еще недавно. Ничего съ тѣхъ поръ не измѣнилось, что бы могло опровергнуть прежнія мнѣнія наши, напротивъ, подтвердилось...

Во всякомъ случаѣ, Россіи надобно ловить минуту. А долго ли эта благопріятная европейская наша минута можетъ продолжаться? Пока дѣйствуютъ теперешніе великіе предводители Германіи, эта минута *всего вѣрнѣе* для насъ обезпечена...

ДЕКАБРЬ.

Глава первая.

I.

Заключительное разъясненіе одного прежняго факта.

Заключая двухлѣтнее изданіе «Дневника» теперешнимъ послѣднимъ, декабрьскимъ выпускомъ, я нахожу необходимымъ сказать еще разъ одно слово объ одномъ дѣлѣ, о которомъ я уже слишкомъ довольно говорилъ. Положилъ же я объ этомъ сказать еще въ маѣ мѣсяцѣ, но оставилъ тогда по особымъ соображеніямъ, именно до этого послѣдняго выпуска. Это все опять о той мачехѣ, Корниловой, которая въ злобѣ на мужа выбросила свою шестилѣтнюю падчерицу въ окошко, а та, упавъ съ пятисаженной высоты, осталась жива. Какъ извѣстно, преступница была судима, осуждена, потомъ приговоръ былъ кассированъ, и, наконецъ, окончательно была оправдана на вторичномъ судѣ 22 апрѣля сего года. (См. «Дневникъ писателя» октябрь 1876 и апрѣль 1877 года.)

Въ этомъ дѣлѣ мнѣ случилось принять нѣкоторое участіе. Предсѣдатель суда, а потомъ и прокуроръ, въ самой залѣ суда, объявили публично, что первый обвиняющій Корнилову приговоръ былъ отмѣненъ именно вслѣдствіе пущенной мною въ «Дневникѣ» мысли, что «не вліяло ли на поступокъ преступницы ея беременное состояніе?» Я эту мысль провелъ и развилъ вслѣдствіе чрезвычайныхъ и странныхъ психическихъ особенностей, ко-

торыя сами собою неотразимо бросались въ глаза и останавливали вниманіе при чтеніи подробностей совершеннаго преступленія. Впрочемъ, это все уже извѣстно читателямъ. Извѣстно, можетъ быть, тоже, что послѣ самаго строгаго слѣдствія и самыхъ упорныхъ и настоятельныхъ выводовъ прокурора, присяжные все-таки оправдали Корнилову, пробывъ въ залѣ совѣщанія не болѣе десяти минутъ, и публика разошлась, горячо сочувствуя оправданію. И вотъ, тѣмъ не менѣе, мнѣ тогда же, въ тотъ же день, пришла на умъ мысль, что въ подобномъ важномъ дѣлѣ, гдѣ затронуты самые высшіе мотивы гражданской и духовной жизни, всего бы желательнѣе, чтобъ все могло быть разъяснено до самой послѣдней возможности, чтобъ ужъ не оставалось ни въ обществѣ, ни въ душѣ присяжныхъ, вынесшихъ оправданіе, никакихъ сомнѣній, колебаній и сожалѣній о томъ, что несомнѣнная преступница была отпущена безъ наказанія. Тутъ затронуты дѣти, дѣтская судьба (часто ужасная у насъ на Руси и особенно въ бѣдномъ классѣ), дѣтскій вопросъ — и вотъ оправдывается, при сочувствіи публики, убійца ребенка! И вотъ я этому самъ отчасти способствовалъ (по свидѣтельству самаго суда)! Я-то дйствовалъ по убѣжденію, но меня, послѣ произнесеннаго приговора, вдругъ начало мучить сомнѣніе: не осталось ли въ обществѣ недовольства, недоумѣнія, невѣрія въ судъ, негодованія даже? Въ прессѣ нашей сказано было объ этомъ оправданіи Корниловой мало, — тогда заняты были не тѣмъ, предчувствовалась война. Но въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ новородившейся тогда газетѣ, какъ разъ я прочелъ статью, полную негодованія на оправданіе и даже злобы на мое участіе въ этомъ дѣлѣ. Статья эта написана недостойнымъ тономъ, да и не я одинъ подвергся тогда негодованію «Сѣв. Вѣстника»; подвергся и Левъ Толстой за «Анну Каренину», подвергся злымъ и недостойнымъ насмѣшкамъ. Я лично и не отвѣтилъ бы автору, но въ статьѣ этой я именно увидѣлъ то, чего опасался отъ нѣкоторой части нашего общества, то есть сбивчиваго впечатлѣнія, недоумѣнія, негодованія на приговоръ. И вотъ я рѣшилъ ждать всѣ восемь мѣсяцевъ, чтобъ въ этотъ срокъ убѣдиться самому по возможности еще болѣе, окончательно, въ томъ, что приговоръ не повліялъ дурно на подсудимую, что, напротивъ, милосердіе суда, какъ доброе сѣмя, пало на хорошую почву, что подсудимая *дѣйствительно была достойна* сожалѣнія и милосердія, что порывы неизъяснимаго фантастическаго почти буйства, въ припадкѣ котораго она совершила свое злодѣяніе, — не возвращались и *не могутъ* возвратиться къ ней вовсе и ни-

когда болѣе, что это именно добрая и кроткая душа, а не разрушительница и убійца (въ чемъ я убѣжденъ былъ во все время процесса) и что дѣйствительно преступленіе этой несчастной необходимо было объяснить какимъ-нибудь особымъ случайнымъ обстоятельствомъ, болѣзненностью, «аффектомъ» — вотъ именно тѣми болѣзненными припадками, которые бываютъ довольно часто (при совокупности и другихъ, конечно, неблагопріятныхъ условій и обстоятельствъ) у беременныхъ женщинъ въ извѣстномъ періодѣ беременности, — и что, наконецъ, стало быть, ни присяжнымъ, ни обществу, ни публикѣ, бывшей въ залѣ суда и съ горячимъ сочувствіемъ выслушавшей приговоръ, — уже нечего болѣе сомнѣваться въ такомъ приговорѣ, въ его цѣлесообразности, и раскаяваться въ своемъ милосердіи.

И вотъ теперь, послѣ этихъ восьми мѣсяцевъ, я именно въ силахъ и могу кое-что сообщить и прибавить по этому, впрочемъ, можетъ быть, слишкомъ уже наскучившему всѣмъ дѣлу. Буду отвѣчать именно какъ бы обществу, т. е. той части его, которая, по предположенію моему, могла не согласиться съ совершившимся приговоромъ, усумниться въ немъ и вознегодовать на него — если, впрочемъ, таковая часть недовольныхъ была въ нашемъ обществѣ. А такъ какъ изъ всѣхъ этихъ недовольныхъ мнѣ извѣстенъ (не лично однакоже) всего лишь тотъ одинъ «Наблюдатель», написавшій грозную статью въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», то и буду отвѣчать этому Наблюдателю. Вѣрнѣе всего то, что я на него нисколько не подѣйствую никакими доводами, но, можетъ быть, буду понятенъ читателямъ.

«Наблюдатель», коснувшись въ статьѣ своей дѣла Корниловой, придалъ этому *дѣлу* съ первой строки самое высшее значеніе: онъ въ негодованіи указывалъ на судьбу дѣтей, беззащитныхъ дѣтей, и сожалѣлъ, что не казнили подсудимую строжайшимъ приговоромъ. Дѣло, стало быть, шло о Сибири, о ссылкѣ двадцатилѣтней женщины съ рожденнымъ ею уже въ тюрьмѣ ребенкомъ на рукахъ (и который тоже, стало быть, ссылался въ Сибирь вмѣстѣ съ нею), о разрушеніи молодого семейства. Въ такомъ случаѣ, кажется, слѣдовало бы первымъ дѣломъ тщательно, серьезно и безпристрастно отнестись къ обсуждаемымъ совершившимся фактамъ. И вотъ, повѣрятъ ли: этотъ Наблюдатель *не знаетъ* дѣла, о которомъ судитъ, говоритъ наобумъ, сочиняетъ самъ изъ головы небывалыя обстоятельства и бросаетъ ихъ прямо на голову бывшей подсудимой; въ залѣ суда, *очевидно*, не находился, преній не слушалъ, при приговорѣ не присут-

ствовалъ, — и при всемъ томъ — ожесточенно и озлобленно требуетъ казни человѣка! Да вѣдь дѣло-то объ участи человѣческой идетъ, нѣсколькихъ даже существъ заразъ, о томъ идетъ, чтобъ разорвать жизнь человѣческую пополамъ, безжалостно, съ кровью. Положимъ, несчастная уже была оправдана, когда «Наблюдатель» вышелъ съ своей статьей — но вѣдь такія нападенія вліяютъ на общество, на судъ, на общественное мнѣніе, онѣ отзовутся на будущемъ подобномъ же подсудимомъ, онѣ, наконецъ, обижаютъ оправданную, благо она изъ темнаго люда, а потому беззащитна. Вотъ, однако, эта статья, т. е. все мѣсто, относящееся до дѣла Корниловой; дѣлаю самыя существенныя выписки и исключаю весьма немногое.

II.

Выписка.

. . . . . .

... Гораздо труднѣе присяжнымъ представить самихъ себя въ положеніи беременной женщины; а еще труднѣе — въ положеніи шестилѣтней дѣвочки, которую эта женщина вышвырнула изъ окна четвертаго этажа. Надо имѣть всю ту силу воображенія, которою, какъ извѣстно, отличается среди всѣхъ насъ г. Достоевскій, чтобы вполнѣ войти въ положеніе женщины и уяснить себѣ всю неотразимость аффектовъ беременности.

Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положеніе, ѣздилъ къ одной дамѣ въ тюрьму, былъ пораженъ ея смиреніемъ, и въ нѣсколькихъ нумерахъ своего „Дневника“ выступилъ горячимъ ея защитникомъ. Но г. Достоевскій слишкомъ впечатлителенъ, и при томъ „болѣзненныя проявленія воли“ это — прямо по части автора „Бѣсовъ“, „Идіота“ и т. д., ему извинительно имѣть къ нимъ слабость. Я смотрю на дѣло проще и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми, этому обращенію, которое въ Россіи, какъ и въ Англіи, очень нерѣдко, не предстоитъ уже и тѣни устрашенія. Изъ сколькихъ случаевъ жестокости съ дѣтьми одинъ попадаетъ судебному разсмотрѣнію? Есть дѣти, которыхъ вся жизнь, утро, полдень и вечеръ каждаго дня — не что иное какъ рядъ страданій. Это — невинныя существа, терпящія такую участь, въ сравненіи съ которой работа отцеубійцъ въ рудникахъ — блаженство, съ отсутствіемъ вѣчнаго, неумолимаго страха, съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ, насколько оно не нарушается совѣстью. Изъ десяти тысячъ, а, вѣроятно, изъ сотни тысячъ случаевъ жестокости съ дѣтьми, одинъ всплываетъ на судебную поверхность; одинъ, какой-нибудь, почему-либо наиболѣе замѣченный. Напримѣръ, мачеха вѣчно бьетъ (?) несчастное шестилѣтнее существо, и, наконецъ, выбрасываетъ его изъ четвертаго этажа; когда узнаетъ, что ненавистное ей дитя не убилось, она восклицаетъ „ну, живуча“. Ни внезапности проявленія ненависти къ ребенку,

ни раскаянія послѣ совершенія убійства нѣтъ; все цѣльно, все логично въ проявленіи одной и той же злой воли. И эту женщину оправдываютъ. Если въ такихъ ясныхъ до очевидности случаяхъ жестокости съ дѣтьми у насъ оправдываютъ, то чего же ожидать въ другихъ случаяхъ, менѣе рѣзкихъ, болѣе сложныхъ? Оправданія, конечно, оправданія и оправданія. Въ Англіи, въ грубыхъ классахъ городскихъ rougus нерѣдки, какъ я уже замѣтилъ, случаи жестокости съ дѣтьми. Но желалъ бы я, чтобы мнѣ показали одинъ примѣръ подобнаго оправданія англійскими присяжными. О, когда передъ нашими присяжными является раскольникъ, худо отозвавшійся о куполѣ церкви — тогда другое дѣло. Въ Англіи онъ даже и къ суду не былъ бы призванъ, у насъ онъ не жди оправданія. Но жестокость надъ дѣвочкой — стоитъ ли губить за это молодую женщину! Вѣдь она все-таки мачеха, то есть почти мать жертвы; какъ бы тамъ ни было, поитъ, кормитъ ее и еще больше бьетъ. Но этимъ послѣднимъ русскаго человѣка не удивишь. Пріятель разсказывалъ мнѣ, что ѣхалъ онъ на-дняхъ на извозчикѣ, и тотъ все время стегалъ лошадь. На вопросъ о томъ извозчикъ отвѣчалъ: „Ея должность такая! Ей должно быть вѣчно и нещадно битой“.

Твоя судьба, въ продолженіе вѣковъ, русскій человѣкъ! Вѣдь, можетъ быть, и мачеху били въ дѣтствѣ; и вотъ ты входишь въ это и говоришь — Богъ съ ней. Но ты такъ не дѣлай. Ты пожалѣй маленькихъ; тебя теперь бить не будутъ, и не оправдывай жестокость надъ тѣмъ, кто уже родился не рабомъ.

Мнѣ скажутъ: вы нападаете на институтъ присяжныхъ, когда и безъ того... и такъ далѣе. Не нападаю я на институтъ, и въ умѣ не имѣю нападать на него, онъ хорошъ, онъ безконечно лучше того суда, въ которомъ не участвовала общественная совѣсть. Но я бесѣдую съ этой совѣстью о такомъ-то и такомъ-то ея проявленіи...

... Но бить ребенка какой-нибудь годъ и потомъ выкинуть на вѣрную смерть — это другое дѣло. „Мужъ оправданной“, пишетъ г. Достоевскій въ вышедшемъ на-дняхъ „Дневникѣ“, „увезъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой, и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ“. Какъ трогательно. Но горе бѣдному ребенку, если онъ остался въ томъ домѣ, куда вошла „счастливая“; горе ему, если онъ когда-нибудь попадетъ въ отцовскій домъ.

„Аффектъ беременности“ — ну, выдумано новое жалкое слово. Какъ бы силенъ этотъ аффектъ ни былъ, однако женщина подъ вліяніемъ его не бросалась ни на мужа, ни на сосѣднихъ жильцовъ. Весь аффектъ ея исключительно предназначался для той беззащитной дѣвочки, которую она тиранила цѣлый годъ безъ всякаго аффекта. На чемъ же остановились присяжные въ оправданіи? На томъ, что одинъ психіатръ призналъ „болѣзненное состояніе души“ подсудимой во время совершенія преступленія; трое другихъ психіатровъ заявили только, что болѣзненное состояніе беременной женщины могло повліять на совершеніе преступленія; а одинъ акушеръ, профессоръ Флоринскій, которому едва ли не лучше извѣстны всѣ проявленія состоянія беременности, выразилъ прямо несогласіе съ такими мнѣніями. Стало быть, четверо изъ пятерыхъ экспертовъ не признали, что въ данномъ случаѣ преступленіе положительно было совершено въ состояніи „аффекта беременности“ и за тѣмъ невмѣняемости. Но присяжные оправдали. Экъ, велико дѣло: вѣдь не убился же ребенокъ; а что его били, такъ вѣдь „его должность такая“.

III.

Искаженія и подтасовки и — намъ это ничего не стоитъ.

Вотъ выписка, вотъ обвиненіе, много негодованія и на меня. Но теперь и я спрошу «Наблюдателя»: какъ могли вы до такой степени исказить факты въ такомъ важномъ обвиненіи и выставить все въ такомъ ложномъ и небываломъ видѣ? Да когда же было битье, систематическое *мачехино* битье? Вы пишите прямо и точно:

Мачеха *вѣчно бьетъ* несчастное шестилѣтнее существо и, наконецъ, выбрасываетъ его изъ четвертаго этажа....

Потомъ:

Но бить ребенка *какой-нибудь годъ* и потомъ выкинуть на вѣрную смерть...

Восклицаете про ребенка:

Горе ему, если онъ когда-нибудь попадаетъ въ отцовскій домъ.

И, наконецъ, влагаете въ уста присяжныхъ звѣрскую фразу:

Экъ, велико дѣло: вѣдь не убился же ребенокъ, а что его били, такъ вѣдь „его должность такая.

Однимъ словомъ, вы всѣ факты подмѣнили, и все дѣло представили такъ, что преступленіе, по-вашему, произошло будто бы единственно отъ ненависти мачехи къ ребенку, котораго она мучила и била годъ и кончила тѣмъ, что выбросила его изъ окошка. Вы представили подсудимую нарочно звѣремъ, ненасытно злобною мачехой, единственно, чтобъ оправдать свою статью и возбудить негодованіе общества на милосердный приговоръ присяжныхъ. И мы въ правѣ заключить, что сдѣлали вы этотъ подмѣнъ единственно съ этою указанною мною сейчасъ цѣлью — потому въ правѣ, что не могли же вы и не имѣли права не узнать подробнѣйшимъ образомъ обстоятельствъ такого дѣла, въ которомъ сами берете на себя произнести приговоръ и требуете казни.

Между тѣмъ, звѣря, звѣрской мачехи, ненавидящей ребенка и ненасытной къ истязанію его — *никогда и совсѣмъ* не было. И это положительно подтвердилось слѣдствіемъ. Первоначально дѣйствительно выдвинута была мысль, что мачеха мучила ребенка и изъ ненависти къ нему рѣшилась убить его. Но впослѣдствіи обвиненіе совсѣмъ оставило эту мысль: слишкомъ ясно стало, что

преступленіе совершилось совсѣмъ изъ другихъ мотивовъ, чѣмъ ненависть къ ребенку, изъ причинъ совершенно объяснившихся на судѣ и при которыхъ ребенокъ былъ не при чемъ. Кромѣ того, на судѣ не оказалось и свидѣтелей, которые бы могли подтвердить жестокость мачехи, — *мачехино* битье. Было только одно свидѣтельство одной только женщины, жившей тутъ же въ коридорѣ рядомъ (гдѣ живутъ много людей), что сѣкла, дескать, очень больно ребенка, но и это свидѣтельство выяснилось потомъ защитой, какъ «коридорная сплетня» — не болѣе... Было же то, что обыкновенно бываетъ въ этакого рода семействахъ, при ихъ степени образованія и развитія, то есть, что ребенка за шалости дѣйствительно наказывали оба, и отецъ, и мачеха, но иногда лишь, т. е. очень рѣдко, и не безчеловѣчно, а «отечески», какъ они выражаются сами, то есть до сихъ поръ, къ несчастью, во всѣхъ такихъ русскихъ семействахъ, по всей Руси, и при этомъ, однако, любя крѣпко дѣтей и заботясь о нихъ (и весьма даже часто) гораздо сильнѣе и больше, чѣмъ бываетъ это въ иныхъ интеллигентныхъ и богатыхъ, европейски-развитыхъ русскихъ семействахъ. Тутъ только неумѣнье, а не жестокость. Корнилова же была даже весьма хорошей мачехой, ходила и наблюдала за ребенкомъ. Наказаніе же ребенка было лишь одинъ разъ *жестокое:* мачеха высѣкла его одинъ разъ утромъ при пробужденіи *за то, что не умѣетъ проситься ночью.* Никакой тутъ ненависти къ нему не было. Когда я ей замѣтилъ, что за это нельзя наказывать, что сложеніе дѣтей и природа ихъ различны, что шестилѣтній ребенокъ еще слишкомъ малъ, чтобъ всегда умѣть проситься, то она отвѣтила: «а мнѣ сказали, что такъ надо сдѣлать, чтобъ отучить, и что его иначе не отучишь». Въ этотъ разъ она ударила ребенка бичевкой «шесть разъ, но такъ, что вышли рубцы», — и вотъ эти-то рубцы и видѣла та женщина въ коридорѣ, единственная свидѣтельница единственнаго случая жестокости, и о нихъ-то и показывала на судѣ. За эти же рубцы мужъ, воротясь съ работы, немедленно наказалъ жену, т. е. побилъ ее. Это человѣкъ строгій, прямой, честный и неуклонный прежде всего, хотя, какъ видите, отчасти и съ обычаями прежнихъ временъ. Бивалъ онъ жену рѣдко и не безчеловѣчно (такъ сама она говоритъ), а единственно изъ принципа мужней власти — такъ выходитъ по его характеру. Ребенка своего онъ любитъ (хотя чаще еще мачехи наказывалъ и самъ дѣвочку за шалости), но не такой онъ человѣкъ, чтобъ дать ребенка напрасно въ обиду, хотя бы и женѣ своей. Итакъ, единственный случай строгаго наказанія (до рубцовъ), обнаружившійся на су-

дѣ, обращенъ обвинителемъ «Сѣвернаго Вѣстника» въ систематическое, звѣрское, мачехино битье цѣлый годъ, въ мачехину ненависть, которая, возрастая все болѣе и болѣе, кончилась швыркомъ ребенка за окошко. А она о ребенкѣ и не думала даже за пять минутъ до совершенія своего ужаснаго преступленія.

Вы, г. Наблюдатель, засмѣетесь и скажете: да развѣ наказаніе розгами до рубцовъ не жестокость, не *мачехино* битье? Да, наказаніе до рубцовъ есть звѣрство, это такъ, но вѣдь этотъ случай (единичность его была подтверждена на судѣ, для меня же подтверждена теперь положительно), повторяю это, вѣдь не есть же систематическое, постоянное, звѣрское мачехино битье цѣлый годъ, это только *случай* и вышедшій изъ неумѣнія воспитывать, изъ ложнаго пониманія, какъ нужно научить ребенка, а вовсе не изъ-за ненависти къ нему, или потому, что «его должность такая». Такимъ образомъ, ваше изображеніе этой женщины, какъ злой мачехи, и то лицо, которое опредѣлилось на судѣ изъ дѣйствительныхъ фактовъ — совершенная разница. Да, она вышвырнула ребенка, преступленіе страшное и звѣрское, но вѣдь не какъ злобная мачеха она это совершила, — вотъ о чемъ прежде всего вопросъ въ отвѣтъ на ваше голословное обвиненіе. Для чего же вы поддерживаете такое лютое обвиненіе, если сами знаете, что его доказать нельзя, что на судѣ оно было оставлено и что совсѣмъ не было свидѣтелей, его подтверждающихъ. Неужели для одного лишь литературнаго эффекта! Вѣдь выставляя на видъ и доказывая, что это сдѣлала *мачеха*, заключившая этимъ убійствомъ цѣлый годъ истязаній ребенка (небывалыхъ вовсе),—вы тѣмъ самымъ извращаете впечатлѣніе малосвѣдующаго въ этомъ дѣлѣ читателя, исторгаете изъ его души сожалѣніе и милосердіе, которыхъ онъ поневолѣ не можетъ ощущать, прочтя статью вашу, къ извергу мачехѣ; тогда какъ, не будь въ глазахъ его эта мачеха выставлена вами, какъ мучительница ребенка, она бы, можетъ быть, и заслужила въ его сердцѣ хотя малое снисхожденіе, какъ больная, какъ болѣзненно-потрясенная, раздраженная беременная женщина, что ясно изъ фантастическихъ, дикихъ и загадочныхъ подробностей событія. Справедливо ли такъ поступать общественному дѣятелю, человѣчно ли?

Но вы еще и не то говорите. Вы написали, и опять таки твердо и точно, какъ изучившій все дѣло до мельчайшей подробности наблюдатель:

„Аффектъ беременности" — ну, выдумано новое жалкое слово. Какъ бы силенъ этотъ аффектъ ни былъ, однако женщина подъ вліяніемъ его *не бросалась на мужа*, ни на сосѣднихъ жильцовъ. Весь аф-

фектъ ея исключительно предназначался для беззащитной дѣвочки которую она тиранила цѣлый годъ безъ всякаго аффекта. На чемъ же основались присяжные въ оправданіи?

Но на чемъ же вы-то остановились, г. Наблюдатель, чтобъ соорудить такое совершенное искаженіе дѣла? «Не бросалась на мужа!» Но о томъ только и говорилось на судѣ, что ссоры съ мужемъ дошли у ней, наконецъ (и только въ нѣсколько послѣднихъ дней, впрочемъ), до бѣшенства, до изступленія, которое и привело къ преступленію. Ссоры же бывали вовсе не изъ-за ребенка, потому что ребенокъ былъ тутъ буквально не при чемъ, *не думала она въ эти дни даже о немъ вовсе.* «Вовсе мнѣ его и не надо было тогда», какъ выразилась она сама.

Не для васъ, а для читателей моихъ постараюсь обозначить оба характера, ссорившихся мужа и жены, какъ я ихъ и прежде еще до приговора понималъ, и какъ они еще болѣе уже послѣ приговора, при самомъ пристальномъ наблюденіи моемъ, разъяснились мнѣ. Нескромности относительно этихъ двухъ лицъ не можетъ быть тутъ очень большой съ моей стороны: ужъ много и безъ того было оглашено на судѣ. Да и дѣлаю я это собственно къ ихъ оправданію. Итакъ, вотъ въ чемъ дѣло. Мужъ, прежде всего, человѣкъ твердый, прямой, честный и добрѣйшій (т. е. даже великодушный, какъ доказалъ онъ впослѣдствіи), но нѣсколько слишкомъ пуританинъ, слишкомъ наивно и даже сурово слѣдующій разъ навсегда принятому взгляду и убѣжденію. Тутъ и нѣкоторая разница въ лѣтахъ съ женой, онъ много старше, тутъ и то еще, что онъ вдовецъ. Человѣкъ онъ работающій цѣлый день и хотя ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ и смотритъ какъ бы «образованнымъ» человѣкомъ, но человѣкъ никакого особеннаго образованія не получившій. Замѣчу еще, что въ наружности его несомнѣнный видъ собственнаго достоинства. Прибавлю, что онъ не очень разговорчивъ, не очень веселъ и смѣшливъ, можетъ быть, даже обращеніе его нѣсколько и тяжело. Она взята имъ за себя еще очень молодая. Это была честная дѣвушка, по ремеслу швея, добывавшая мастерствомъ порядочныя деньги.

Какъ они сошлись, не знаю. Вышла она за него по охотѣ, «по любви». Но очень скоро началась разладица и хотя долго не доходило до крайностей, но недоумѣніе, разъединеніе и даже, наконецъ, озлобленіе наростали съ обѣихъ сторонъ, хотя и медленно, но твердо и неуклонно. Дѣло въ томъ, а, можетъ быть, въ томъ вся и причина, что оба, несмотря на возрастающее озлобленіе, любили другъ друга даже слишкомъ горячо и такъ до самаго конца. Любовь-то и ожесточала требованія съ обѣихъ

сторонъ, усиливала ихъ, прибавляла къ нимъ раздраженіе. А тутъ какъ разъ и ея характеръ. Это характеръ довольно замкнутый и какъ бы нѣсколько гордый. Бываютъ такіе и межъ женщинъ и межъ мужчинъ, которые хоть и питаютъ въ сердцѣ даже самыя горячія чувства, но при этомъ всегда какъ-то стыдливы на ихъ обнаруженіе; въ нихъ мало ласки, мало у нихъ ласкающихъ словъ, обниманій, прыганія на шею. Если за это ихъ назовутъ безсердечными, безчувственными, то они тогда еще болѣе замыкаются въ себя. При обвиненіяхъ они рѣдко стараются разъяснить дѣло сами, напротивъ, оставляютъ эту заботу на обвинителя: «самъ, дескать, угадай; коли любишь, долженъ узнать, что я права». И если онъ не узнаетъ и озлобляется болѣе и болѣе, то и она озлобляется все болѣе и болѣе. И вотъ этотъ мужъ съ самаго начала сталъ круто (хоть и вовсе не жестоко) упрекать ее, читать ей наставленія, учить ее, попрекать прежней женой своей, что было ей особенно тяжело. Все, однако, шло не особенно дурно, но такъ, однако, всегда стало выходить, что при упрекахъ и обвиненіяхъ съ его стороны, начинались съ ея стороны ссоры и злобныя рѣчи, а не желаніе объясниться, покончить недоумѣніе какъ-нибудь окончательнымъ разъясненіемъ, указаніемъ причинъ. Объ этомъ даже и забыли, наконецъ. Кончилось тѣмъ, что въ ея сердцѣ (у ней первой, а не у мужа) начались угрюмыя чувства, разочарованіе вмѣсто любви. И все это возрастало при томъ довольно безсознательно, — тутъ жизнь рабочая, тяжелая, объ чувствахъ-то и некогда слишкомъ думать. Онъ уходитъ на работу, она занимается хозяйствомъ, стряпаетъ, полы даже моетъ. У нихъ по длинному коридору въ казенномъ зданіи маленькія комнаты, по одной на каждое семейство служащихъ въ этомъ казенномъ заведеніи женатыхъ работниковъ. Случилось такъ, что она, съ позволенія мужа, ушла на именины, въ семейный домъ, къ тому мастеру, у котораго все свое дѣтство и отрочество училась своему мастерству и съ которымъ и она, и мужъ продолжали быть знакомыми. Мужъ, занятый работою, остался на этотъ разъ дома. На именинахъ оказалось очень весело, было много приглашенныхъ, угощеніе, начались танцы. Пропировали до утра. Молодая женщина, привыкшая у мужа къ довольно скучному житью въ одной тѣсной комнатѣ и къ вѣчной работѣ — видно, вспомнила свое дѣвичье житье, и провеселилась *на балу* такъ долго, что и забыла о срокѣ, на который была отпущена. Кончилось тѣмъ, что уговорили ее заночевать въ гостяхъ, къ тому же возвращаться домой было очень далеко. Вотъ тутъ-то и разсердился мужъ,

первый разъ ночевавшій безъ жены. И разсердился очень: на другой день, бросивъ работу, пустился за ней къ гостямъ, разыскалъ ее и — тутъ же при гостяхъ *наказалъ*. Возвратились они домой уже молча и два дня и двѣ ночи потомъ не говорили другъ съ другомъ вовсе и не ѣли вмѣстѣ. Узналъ я все это отрывками, она же сама мало разъяснила мнѣ, несмотря на мои вопросы, тогдашнее свое состояніе духа. «Не помню я, о чемъ тогда и думала, всѣ эти два дня, а все думалось. На нее (на дѣвочку) я тогда *и не смотрѣла вовсе*. Я все помню, какъ это сдѣлалось, но какъ я это сдѣлала, ужъ и не знаю, какъ сказать». И вотъ, на третій день утромъ, мужъ рано ушелъ на работу, дѣвочка еще спитъ. Мачеха возится за печкой. Дѣвочка, наконецъ, просыпается; мачеха машинально, по обыкновенію, ее умываетъ, обуваетъ, одѣваетъ и сажаетъ за кофей... — «и не думаю я о ней вовсе». Ребенокъ сидитъ, пьетъ свою чашку, кушаетъ, — «и вотъ вдругъ я на нее тогда поглядѣла».

IV.

Злые психологи. Акушеры-психіатры.

Послушайте, г. Наблюдатель, вы утверждаете твердо и точно, что все дѣло произошло безъ колебаній, обдуманно, спокойно, била, дескать, цѣлый годъ, наконецъ, обдумала, спокойно взяла рѣшеніе и выбросила за окно младенца: «*ни внезапности* проявленія ненависти къ ребенку, — пишете вы въ негодованіи, — ни раскаянія послѣ совершенія убійства нѣтъ, все цѣльно, все логично въ проявленіи *одной и той же* злой воли. И эту женщину оправдываютъ». Вотъ собственныя слова ваши. Но, вѣдь, отъ обвиненія въ предумышленности преступленія отказался самъ прокуроръ, извѣстно ли вамъ это, г. Наблюдатель, — отказался публично, гласно, торжественно, въ самый роковой моментъ суда. А прокуроръ, однако, обвинялъ преступницу съ жестокою настойчивостью. Какъ же вы-то, г. Наблюдатель, утверждаете уже послѣ прокурорскаго отступленія, что не было внезапности, а, напротивъ, — все было цѣльно и логично въ проявленіи одной и той же злой воли? Цѣльно и логично! Стало быть, обдуманно, стало быть, преднамѣренно. Припомню все еще разъ быстрыми штрихами: она велитъ дѣвочкѣ встать на подоконникъ и выглянуть за окошко, и когда дѣвочка посмотрѣла за окно, она приподняла ее за ножки и выбросила съ высоты $5^1/_2$ саженъ. Затѣмъ заперла окно,

одѣлась и пошла въ участокъ доносить на себя. Скажите, неужели это цѣльно и логично, а не фантастично? И во-первыхъ, для чего поить-кормить ребенка, если ужъ дѣло было замышлено давно въ умѣ ея, для чего ждать, пока та выпьетъ кофе и съѣстъ свой хлѣбъ? Какъ можно (и естественно ли) даже не заглянуть за окно, уже выбросивъ дѣвочку. И позвольте, къ чему доносить на себя? Вѣдь если все вышло изъ злобы, изъ ненависти къ дѣвочкѣ, «которую она била цѣлый годъ», то для чего, убивъ эту дѣвочку, придумавъ и исполнивъ, наконецъ, это давно и спокойно замышленное убійство, идти тотчасъ же доносить на себя? Ненавистной дѣвочкѣ пусть смерть, а ей-то для чего себя губить? Кромѣ того, если сверхъ ненависти къ ребенку былъ и еще мотивъ, чтобъ убить его, то есть ненависть къ мужу, желаніе отмстить мужу смертью его ребенка, то вѣдь она прямо могла сказать мужу, что шалунья дѣвочка сама влѣзла на окошко, и сама вывалилась, вѣдь все равно цѣль была бы достигнута, отецъ былъ бы пораженъ и потрясенъ, а обвинить ее въ умышленномъ убійствѣ никто бы въ мірѣ тогда не могъ, хотя бы и могло быть подозрѣніе? Гдѣ доказательства? Если бъ даже дѣвочка и осталась жива, то кто бы могъ повѣрить ея лепету? Напротивъ, убійца тѣмъ вѣрнѣе и полнѣе достигла бъ всего, къ чему стремилась, т. е. отмстила бы гораздо злѣе и больнѣе мужу, который, если бъ даже и подозрѣвалъ ее въ убійствѣ, то именно тѣмъ пуще бы мучился ея безнаказанностью, видя, что наказать ее, т. е. предать правосудію, невозможно. Наказавъ же себя сама тутъ же, погубивъ всю свою участь въ острогѣ, въ Сибири, въ каторгѣ, она тѣмъ самымъ давала мужу удовлетвореніе. Для чего же все это? И кто одѣвается, наряжается въ этомъ случаѣ, чтобъ идти губить себя? О, скажутъ мнѣ, она не просто хотѣла лишь отмстить ребенку и мужу, она хотѣла и бракъ разорвать съ мужемъ: сошлютъ на каторгу, бракъ разорванъ! Но ужъ не говоря о томъ, что о разрывѣ брака можно бы было распорядиться и придумать иначе, чѣмъ губя, девятнадцати лѣтъ, всю жизнь и свободу свою, — не говоря уже объ этомъ, согласитесь, что человѣкъ, рѣшающійся погубить себя сознательно, бросится въ разверзшуюся подъ ногами бездну безо всякой оглядки, безъ малѣйшаго колебанія, — согласитесь, что въ этой человѣческой душѣ должно было быть страшное чувство въ ту мунуту, мрачное отчаяніе, позывъ къ гибели неудержимый, позывъ броситься и истребить себя — а если такъ, то можно ли, можно ли сказать, сохраняя здравый смыслъ, что «ни *внезапности*, ни раскаянія въ душѣ не было!» Не было если раскаянія, то

были мракъ, проклятіе, сумасшествіе. Ужъ, по крайней мѣрѣ, нельзя сказать, что было все цѣльно, все логично, все предумышленно, безъ внезапности. Нужно быть самому въ «аффектѣ», чтобъ утверждать это. Не иди она доносить на себя, останься дома, солги людямъ и мужу, что ребенокъ убился самъ — было бы дѣйствительно все логично и цѣльно, и безъ внезапности и въ проявленіи злой воли; но погубленіе и себя тутъ же, не вынужденное, а добровольное, ужъ, конечно, свидѣтельствуетъ, по крайней мѣрѣ, объ ужасномъ и возмущенномъ душевномъ состояніи убійцы. Это мрачное душевное состояніе продолжалось долго, нѣсколько дней. Выраженіе: «ну, живуча» было выставлено защитникомъ экспертомъ же (а не обвиненіемъ), при обрисовкѣ имъ передъ судомъ того мрачнаго, холоднаго, какъ бы омертвѣвшаго духовнаго состоянія подсудимой послѣ совершенія ею преступленія, а не какъ злобную, холодную, нравственную безчувственность съ ея стороны. Моя вся бѣда была въ томъ, что я, прочитавъ тогда первый приговоръ суда и пораженный именно странностью и фантастичностью всѣхъ подробностей дѣла, и взявъ въ соображеніе сообщенный въ тѣхъ же газетахъ фактъ о ея беременности, на пятомъ мѣсяцѣ, во время совершенія убійства, не могъ, совершенно невольно, не подумать: не повліяла ли тутъ и беременность, т. е. какъ я писалъ тогда, не случилось ли такъ дѣло: «посмотрѣла она на ребенка и подумала въ злобѣ своей: вотъ бы выбросить за окошко! Но будучи не беременна — подумала бы можетъ быть, по злобѣ своей, да и не сдѣлала бы, не выбросила, а беременная — взяла, да и сдѣлала?» Ну, вотъ вся бѣда моя въ томъ, что я тогда такъ подумалъ и такъ написалъ. Но неужели съ однихъ этихъ словъ только кассировали приговоръ и потомъ справдали убійцу? Вы смѣетесь, г. Наблюдатель, надъ экспертами! Вы утверждаете, что лишь одинъ изъ нихъ пяти сказалъ, что преступница дѣйствительно была въ аффектѣ беременности, а что трое другихъ лишь выразились, что могло быть вліяніе беременности, но не сказали положительно, что оно дѣйствительно было. Изъ этого вы выводите, что лишь одинъ экспертъ оправдалъ подсудимую *положительно,* а четверо нѣтъ. Но вѣдь такое разсужденіе ваше невѣрно: вы слишкомъ много требуете отъ совѣсти человѣческой. Довольно и того, что тремъ экспертамъ, очевидно, не хотѣлось оправдать подсудимую *положительно,* т. е. взять это себѣ на душу, но факты до того были сильны, что эти ученые все-таки поколебались и кончилось тѣмъ, что они не могли сказать: *нѣтъ,* прямо и просто, а *принуждены* были сказать, что «дѣй-

ствительно могло быть вліяніе болѣзненное въ моментъ преступленія». Ну, а для присяжныхъ вѣдь это и приговоръ: коли не могли не сказать, что «могло быть», значитъ, пожалуй, и впрямь оно было. Такое сильное сомнѣніе присяжныхъ естественно не могло не повліять и на ихъ рѣшеніе, и это совершенно такъ и слѣдовало по высшей правдѣ: неужели же убить приговоромъ ту, въ полной виновности которой трое экспертовъ явно сомнѣваются, а четвертый, Дюковъ, экспертъ именно по душевнымъ болѣзнямъ, прямо и твердо приписываетъ все злодѣяніе тогдашнему разстроенному душевному состоянію преступницы? Но г. Наблюдатель особенно ухватился за г. Флоринскаго, пятаго эксперта, не согласившагося съ мнѣніемъ четырехъ экспертовъ: онъ, дескать, акушеръ, онъ больше всѣхъ долженъ знать въ болѣзняхъ женщинъ. Это почему же онъ долженъ знать въ душевныхъ болѣзняхъ больше самихъ экспертовъ-психіатровъ? Потому что онъ акушеръ, и занимается не психіатріей, а совсѣмъ другимъ дѣломъ? Не совсѣмъ и это логично.

V.

Одинъ случай, по-моему, довольно много разъясняющій.

Теперь разскажу одинъ случай, который, по-моему, можетъ кое-что разъяснить въ этомъ дѣлѣ окончательно и послужитъ прямо той цѣли, съ которою предпринялъ я эту статью. На третій день послѣ оправдательнаго приговора надъ подсудимой Корниловой (22 апрѣля 1877 г.), они, мужъ и жена, пріѣхали ко мнѣ утромъ. Еще наканунѣ они оба были въ дѣтскомъ пріютѣ, въ которомъ помѣщена теперь пострадавшая дѣвочка (выброшенная изъ окошка), и теперь, на другой день, снова туда отправлялись. Кстати, участь ребенка теперь обезпечена и нечего восклицать: «Горе теперь ребенку!..» и т. д. Отецъ, когда жену взяли въ острогъ, самъ помѣстилъ ребенка въ этотъ дѣтскій пріютъ, не имѣя никакой возможности присматривать за нимъ, уходя съ утра до ночи на работу. А по возвращеніи жены, они рѣшились ее оставить тамъ въ пріютѣ, потому что тамъ ей очень хорошо. Но на праздники они часто берутъ ее къ себѣ домой. Она гостила у нихъ недавно на Рождествѣ. Несмотря на свою работу, съ утра до ночи, и на грудного еще ребенка (ро-

дившагося въ острогѣ) на рукахъ, мачеха находитъ иногда и теперь время урваться и сбѣгать въ пріютъ къ дѣвочкѣ, снести ей гостинцу и проч. Когда же была еще въ острогѣ, то, вспоминая свой грѣхъ передъ ребенкомъ, она часто мечтала, какъ бы повидаться съ нимъ, сдѣлать хоть что-нибудь такъ, чтобъ ребенокъ забылъ о случившемся. Эти фантазіи были какъ-то странны отъ такой сдержанной, даже мало довѣрчивой женщины, какою была Корнилова во все время подъ судомъ. Но фантазіямъ этимъ суждено было осуществиться. Передъ Рождествомъ, съ мѣсяцъ назадъ, не видавъ Корниловыхъ мѣсяцевъ шесть, я зашелъ къ нимъ на квартиру, и Корнилова первымъ словомъ мнѣ сообщила, что дѣвочка «прыгаетъ къ ней въ радости на шею и обнимаетъ ее каждый разъ, когда она приходитъ къ ней въ пріютъ». И когда я уходилъ отъ нихъ, она мнѣ вдругъ сказала: «Она забудетъ...».

Итакъ, они ко мнѣ заѣхали утромъ на третій день по оправданіи ея... Но я все отступаю, отступлю и еще разъ на минутку. Г. Наблюдатель юмористично и зло остритъ надо мною въ своей статьѣ за эти посѣщенія мои Корниловой въ острогѣ. «Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положеніе» — (т. е. въ положеніе беременной женщины, — говоритъ онъ про меня: «ѣздилъ къ одной дамѣ въ тюрьму, былъ пораженъ ея смиреніемъ и въ нѣсколькихъ нумерахъ «Дневника» выступилъ горячимъ ея защитникомъ». Во-первыхъ, къ чему тутъ слово «дама», къ чему этотъ дурной тонъ? Вѣдь г. Наблюдателю отлично извѣстно, что это не дама, а простая крестьянка, работница съ утра до ночи; она стряпаетъ, моетъ полы и шьетъ на продажу, если урветъ время. Бывалъ же я у нея въ острогѣ ровно по разу въ мѣсяцъ, сиживалъ минутъ по 10, много четверть часа, не болѣе, большею частью въ общей камерѣ для подсудимыхъ женщинъ, имѣющихъ грудныхъ младенцевъ. Если я съ любопытствомъ присматривался къ этой женщинѣ и старался уяснить себѣ этотъ характеръ, — то что же въ томъ дурного, подлежащаго насмѣшкамъ и юмору? Но вернемся къ моему анекдоту.

Итакъ, пріѣхали они съ визитомъ, сидятъ у меня, оба въ какомъ-то проникнутомъ серьезномъ состояніи духа. Мужа я до тѣхъ поръ мало зналъ. И вдругъ онъ говоритъ мнѣ: «третьяго дня, какъ мы воротились домой — (это послѣ оправданія, стало быть, часу въ двѣнадцатомъ ночи, а встаетъ она въ пять часовъ утра), — то тотчасъ сѣли за столъ, я вынулъ Евангеліе и сталъ ей читать». Признаюсь, когда онъ сообщилъ это, мнѣ вдругъ поду-

малось глядя на него: «да онъ не могъ иначе сдѣлать, это типъ, цѣльный типъ, это можно бы было угадать». Однимъ словомъ, это пуританинъ, человѣкъ честнѣйшій, серьезнѣйшій, несомнѣнно добрый и великодушный, но который ничего не уступитъ изъ своего характера и ничего не отдастъ изъ своихъ убѣжденій. Этотъ мужъ смотритъ на бракъ со всею вѣрою, именно какъ на таинство. Это одинъ изъ тѣхъ супруговъ, и теперь еще сохранившихся на Руси, которые, по старому русскому преданію и обычаю, прійдя отъ вѣнца и уже затворившись съ нововѣнчанной женою въ спальнѣ своей, первымъ дѣломъ бросаются передъ образомъ на колѣни и долго молятся, прося у Бога благословенія на свое будущее. Подобно тому онъ поступилъ и тутъ: вводя вновь свою жену въ домъ и возобновляя съ нею расторгнутый страшнымъ преступленіемъ ея бракъ свой, онъ первымъ дѣломъ развернулъ Евангеліе и сталъ ей читать его, нисколько не удерживаясь въ мужественной и серьезной своей рѣшительности хотя бы тѣмъ соображеніемъ, что женщина эта почти падаетъ отъ усталости, что она страшно была потрясена еще готовясь къ суду, а въ этотъ послѣдній роковой для нея день суда вынесла столько подавляющихъ впечатлѣній, нравственныхъ и физическихъ, что уже, конечно, не грѣшно бы было даже и такому строгому пуританину, какъ онъ, дать ей прежде хоть каплю отдохнуть и собраться съ духомъ, что было бы даже и сообразнѣе съ цѣлью, которую онъ имѣлъ, развертывая передъ ней Евангеліе. Такъ что мнѣ даже показался этотъ поступокъ его чуть ли не неловкимъ, — слишкомъ уже прямолинейнымъ, въ томъ смыслѣ, что онъ именно могъ не достигнуть цѣли своей. Слишкомъ виновную душу, и особенно если она сама уже слишкомъ чувствуетъ свою виновность и много уже вынесла изъ-за того муки, не надо слишкомъ явно и *поспѣшно* укорять въ ея виновности, ибо можно достигнуть обратнаго впечатлѣнія, и особенно въ томъ случаѣ, если раскаяніе и безъ того уже въ душѣ ея. Тутъ человѣкъ, отъ котораго она зависитъ, поднявшійся надъ ней въ высшемъ ореолѣ судьи, имѣетъ какъ бы нѣчто въ ея глазахъ безпощадное, слишкомъ уже самовластно вторгающееся въ ея душу, и сурово отталкивающее ея раскаяніе и возродившіяся въ ней добрыя чувства: «Не отдыхъ, не ѣда, не питье нужны такой, какъ ты, а вотъ садись и слушай, какъ надо жить». Когда они уже уходили, мнѣ удалось замѣтить ему мелькомъ, чтобъ онъ принимался вновь *за это дѣло* не столь строго или, лучше сказать, не такъ бы спѣшилъ, не такъ бы прямо ломилъ и что такъ, можетъ быть, было бы вѣр-

нѣе. Я выразился кратко и ясно, но все же думалъ, что онъ, можетъ быть, меня не пойметъ. А онъ вдругъ мнѣ и замѣчаетъ на это: «А она мнѣ тогда же, какъ только вошли въ домъ, и какъ только мы стали читать, и разсказала все, какъ вы ее, въ послѣднее посѣщеніе ваше, учили добру, въ случаѣ, если бъ ее въ Сибирь сослали, и усовѣщевали, какъ ей надо въ Сибири жить...»

А это вотъ какъ было: дѣйствительно я, ровно наканунѣ дня суда, заѣхалъ къ ней въ острогъ. Твердыхъ надеждъ на оправданіе не было у насъ ни у кого, ни у меня, ни у адвоката. У ней тоже. Я засталъ ее съ виду твердою, она сидѣла и что-то шила, ребенку ея немного нездоровилось. Но была она не то что грустна, а какъ бы подавлена. У меня же въ головѣ насчетъ ея ходило нѣсколько мрачныхъ мыслей, и я именно заѣхалъ съ цѣлью сказать ей одно словцо. Сослать ее, какъ мы твердо надѣялись, могли лишь на поселеніе, и вотъ едва совершеннолѣтняя женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, пустится въ Сибирь. Бракъ расторгнутъ; на чужой сторонѣ, одной, беззащитной и еще недурной собою, такой молодой, — гдѣ ей устоять отъ соблазна, думалось мнѣ. Подлинно на развратъ толкаетъ ее судьба, я же знаю Сибирь: соблазнять тамъ страшно много охотниковъ, туда счель много ѣдетъ изъ Россіи неженатыхъ людей, служащихъ и аферистовъ. Упасть легко, но зато сибиряки, простой народъ и мѣщане — это самые безжалостные къ падшей женщинѣ люди. Мѣшать ей не помѣшаютъ, но разъ замаравшая свою репутацію женщина никогда уже не возстановитъ ее: вѣчное ей презрѣніе, слово укора, попреки, насмѣшки, и это до самой старости, до могилы. Прозвище особое дадутъ. А ребеночекъ ея (дѣвочка) какъ разъ *принуждена* будетъ наслѣдовать карьеру матери: изъ дурного дома не найдетъ хорошаго и честнаго жениха. Но другое дѣло, если сосланная мать соблюдетъ себя въ Сибири честно и строго: молодая женщина, соблюдающая себя честно, пользуется огромнымъ уваженіемъ. Всякій-то ее защищаетъ, всякій-то ей пожелаетъ угодить, всякій-то передъ ней шапку сниметъ. Дочку она невѣрно пристроитъ. Даже сама можетъ современемъ, когда разглядятъ ее и увѣрятся въ ней, вновь въ честный бракъ вступить, въ честную семью. (Въ Сибири о прошломъ, т. е. за что сосланъ, ни въ острогахъ, ни куда бы ни сослали жить, не спрашиваютъ, рѣдко любопытствуютъ. Можетъ быть, это оттого даже, что чуть ли не вся-то Сибирь, въ три эти столѣтія, произошла отъ ссыльныхъ, населилась ими.) Вотъ все это мнѣ и вздумалось высказать этой молодой, едва совершеннолѣтней жен

щинѣ. И даже я нарочно выбралъ, чтобъ сказать ей это, именно этотъ послѣдній день передъ судомъ: характернѣе останется въ памяти, строже напечатлѣется въ душѣ. подумалось мнѣ Выслушавъ меня какъ ей слѣдуетъ жить въ Сибири, если сошлютъ ее, она мрачно и серьезно, не подымая на меня почти глазъ, поблагодарила меня. И вотъ усталая, измученная, потрясенная всѣмъ этимъ страшнымъ многочасовымъ впечатлѣніемъ суда, а дома суровo посаженная мужемъ слушать Евангеліе, она не подумала тогда про себя: «Хоть бы пожалѣлъ-то меня, хоть бы до завтрава отложилъ, а теперь накормилъ бы, далъ отдохнуть». Не обидѣлась и тѣмъ, что *такъ надъ ней возвышаются* (NB. Обида за то, что слишкомъ уже *надъ нами возвышаются,* можетъ быть у самаго страшнаго, самаго сознающаго свое преступленіе преступника и даже у самаго раскаявающагося), а, напротивъ — не нашла что лучше мужу сказать, какъ сообщить ему *поскорѣй,* что вотъ и въ острогѣ ее учили тоже добру люди, что вотъ какъ учили ее жить на чужой сторонѣ, честно и строго соблюдая себя. И ужъ явно она сдѣлала это потому, что знала, что разсказъ объ этомъ доставитъ удовольствіе ея мужу, впадетъ въ его тонъ, ободритъ его: «значитъ, она впрямь раскаявается, впрямь хочетъ жить хорошо», подумаетъ онъ. Такъ онъ какъ разъ и подумалъ, а на мой совѣтъ: не пугать ее слишкомъ поспѣшной строгостью съ нею, прямо сообщилъ мнѣ, конечно, съ радостью въ душѣ: «нечего бояться за нее и сторожничать, она была сама рада быть честной»...

Не знаю, но мнѣ кажется, что все это понятно. Поймутъ читатели, для чего я и сообщаю это. По крайней мѣрѣ, теперь хоть надѣяться можно, что великое милосердіе суда не испортило преступницу еще болѣе, а, напротивъ, даже очень можетъ быть, что пало на хорошую почву. Вѣдь она и прежде, и въ острогѣ, и теперь считаетъ себя несомнѣнной преступницей, а оправданіе свое приписываетъ единственно лишь великому милосердію суда. «Аффекта беременности» она сама не понимаетъ. И точно, она несомнѣнная преступница, она была въ полной памяти, совершая преступленіе, она помнитъ каждое мгновеніе, каждую черточку совершеннаго преступленія, она только не знаетъ и даже себѣ самой не можетъ никакъ уяснить до сихъ поръ: *«Какъ это она могла тогда это сдѣлать и на это рѣшиться!»* Да, г. Наблюдатель, судъ помиловалъ дѣйствительную преступницу, дѣйствительную, несмотря на несомнѣнный теперь и роковой «аффектъ беременности», столь осмѣянный вами, г. Наблюдатель, и въ которомъ я глубоко и уже непоколебимо

теперь убѣжденъ. Ну, а теперь рѣшите сами: если бъ разорвали бракъ, отторгли ее отъ человѣка, котораго она несомнѣнно любила и любитъ, и который для нея составляетъ все ея семейство, и одинокую, двадцатилѣтнюю, съ младенцемъ на рукахъ, безпомощную сослали въ Сибирь — на развратъ, на позоръ (вѣдь это паденіе-то въ Сибири навѣрно же бы случилось) — скажите, что толку въ томъ, что погибла, истлѣла бы жизнь, которая теперь, кажется, возобновилась вновь, возвратилась къ истинѣ въ суровомъ очищеніи, въ суровомъ покаяніи и съ обновившимся сердцемъ. Не лучше ли исправить, найти и возстановить человѣка, чѣмъ прямо снять съ него голову. Рѣзать головы легко по буквѣ закона, но разобрать по правдѣ, по-человѣчески, по-отечески, всегда труднѣе. Наконецъ, вѣдь вы знали же, что вмѣстѣ съ молодою, двадцатилѣтнею матерью, т. е. неопытною и навѣрно впереди жертвою нужды и разврата — ссылается и младенецъ ея... Но позвольте мнѣ вамъ сказать о младенцахъ словечко особо.

VI.

Врагъ ли я дѣтей? О томъ, что значитъ иногда слово „счастливая“.

Вся ваша статья, г. Наблюдатель, есть протестъ «противъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми». То, что вы заступаетесь за дѣтей, конечно, дѣлаетъ вамъ честь, но со мной-то вы обращаетесь слишкомъ высокомѣрно.

Надо имѣть всю ту силу воображенія, — говорите вы обо мнѣ, — которою, какъ извѣстно, отличается среди насъ г. Достоевскій, чтобы вполнѣ войти въ положеніе женщины и уяснить себѣ всю неотразимость аффектовъ беременности... Но г. Достоевскій слишкомъ впечатлителенъ, и при томъ „болѣзни проявленія воли“ это прямо по части автора — „Бѣсовъ“, „Идіота“ и т. д., ему извинительно имѣть къ нимъ слабость. Я смотрю на дѣло проще и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми, этому обращенію, которое въ Россіи, какъ и въ Англіи, очень нерѣдко, не предстоитъ уже и тѣни устрашенія. — И т. д., и т. д.

Во-первыхъ, о «слабости моей къ болѣзненнымъ проявленіямъ воли» я скажу вамъ лишь то, что мнѣ дѣйствительно, кажется, иногда удавалось, въ моихъ романахъ и повѣстяхъ, *обличать* иныхъ людей, считающихъ себя здоровыми, и доказать имъ, что они больны. Знаете ли, что весьма многіе люди больны именно своимъ здоровьемъ, т. е. непомѣрной увѣренностью въ своей нор-

мальности, и тѣмъ самымъ заражены страшнымъ самомнѣніемъ, безсовѣстнымъ самолюбованіемъ, доходящимъ иной разъ чуть ли не до убѣжденія въ своей непогрѣшимости. Ну, вотъ на такихъ-то мнѣ и случалось много разъ указывать моимъ читателямъ и даже, можетъ быть, доказать, что эти здоровяки далеко не такъ здоровы, какъ думаютъ, а, напротивъ, очень больны, и что имъ надо идти лѣчиться. Что жъ, я не вижу въ этомъ ничего дурного, но г. Наблюдатель слишкомъ жестокъ ко мнѣ, потому что фраза его объ «оправданіи жестокаго обращенія съ дѣтьми» прямо и ко мнѣ относится; онъ только «капельку» смягчаетъ ее: «ему-де извинительно». Вся статья его написана прямо для доказательства, что во мнѣ, отъ пристрастія моего къ «болѣзненнымъ проявленіямъ воли», до того извратился здравый смыслъ, что я скорѣе готовъ пожалѣть истязателя ребенка, звѣря-мачеху и убійцу, а не истязуемую жертву, не слабую, жалкую дѣвочку, битую, поруганную и, наконецъ, убитую. Это мнѣ обидно. Въ противоположность моей болѣзненности, г. Наблюдатель прямо, поспѣшно и откровенно указываетъ на себя, выставляетъ свое здоровье: «Я, дескать, смотрю на дѣло проще (чѣмъ г. Достоевскій) и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми» и т. д. и т. д. Итакъ, я оправдываю жестокое обращеніе съ дѣтьми — страшное обвиненіе! Позвольте же и мнѣ, въ такомъ случаѣ, защитить себя. Не стану указывать на прежнюю тридцатилѣтнюю мою литературную дѣятельность, чтобъ рѣшить вопросъ: большой ли я врагъ дѣтей и любитель жестокаго обращенія съ ними, но напомню лишь о двухъ послѣднихъ годахъ моего авторства, т. е. объ изданіи «Дневника писателя». Когда былъ процессъ Кронеберга, мнѣ случилось-таки, несмотря на все мое пристрастіе къ «болѣзненнымъ проявленіямъ воли», заступиться за ребенка, за жертву, а не за истязателя. Слѣдственно и я *иногда* беру сторону здраваго смысла, г. Наблюдатель. Теперь я даже сожалѣю, зачѣмъ вы не выступили тогда тоже въ защиту ребенка, г. Наблюдатель; навѣрно бы вы написали самую горячую статью. Но я что-то не помню ни одной горячей тогда статьи за ребенка. Слѣдственно вы тогда не подумали заступиться. Потомъ, еще недавно, прошлымъ лѣтомъ, мнѣ случилось заступиться за малолѣтнихъ дѣтей Джунковскихъ, тоже подвергавшихся истязаніямъ въ родительскомъ домѣ. О Джунковскихъ тоже вы ничего не написали; впрочемъ, и никто не написалъ, дѣло, понятное, всѣ были заняты такими важными политическими вопросами. Наконецъ, я бы могъ указать даже не на одинъ,

а на нѣсколько случаевъ когда я, въ эти два года, въ «Дневникѣ» заговаривалъ о дѣтяхъ, объ ихъ воспитаніи, объ ихъ жалкой судьбѣ въ нашихъ семействахъ, о дѣтяхъ-преступникахъ въ нашихъ заведеніяхъ для исправленія ихъ, даже упомянулъ объ одномъ мальчикѣ у Христа на елкѣ, — происшествіе, конечно, лживое, но, однако, и не свидѣтельствующее прямо о моей безчувственности и равнодушіи къ дѣтямъ. Я вамъ скажу, г. Наблюдатель, вотъ что: когда я прочелъ въ газетѣ въ первый разъ о преступленіи Корниловой, о неумолимомъ приговорѣ надъ нею и когда я невольно былъ пораженъ соображеніемъ: что, можетъ быть, преступница вовсе не такъ преступна, какъ оно кажется (замѣтьте, г. Наблюдатель, что о «*мачехиномъ* битьѣ» и тогда почти ничего не говорилось въ газетныхъ отчетахъ о процессѣ, и обвиненіе это даже и тогда уже не поддерживалось), — то я, рѣшившись написать что-нибудь въ пользу Корниловой, слишкомъ понималъ тогда и то, на что я рѣшался. Я въ этомъ прямо теперь вамъ признаюсь. Я вѣдь отлично зналъ, что я пишу статью несимпатичную, что я заступаюсь за истязателя, и противъ кого же, противъ малаго ребенка. Я предугадывалъ, что меня обвинятъ *иные* въ безчувственности, въ самомнѣніи, въ «болѣзненности» даже: «заступается-де за мачеху, убившую ребенка!» Я слишкомъ предчувствовалъ эту «прямолинейность» обвиненія отъ нѣкоторыхъ судей, — вотъ какъ отъ васъ, напримѣръ, г. Наблюдатель, такъ что я даже нѣкоторое время и колебался, но кончилось тѣмъ, что, наконецъ, все же рѣшился: «Если я вѣрю, что тутъ правда, то стоитъ ли служить лжи изъ-за исканія популярности?» — вотъ на чемъ я остановился въ концѣ концовъ. Кромѣ того, меня ободрила и вѣра въ моихъ читателей: «Они разберутъ, наконецъ, подумалъ я, что вѣдь нельзя же меня обвинить въ желаніи оправдать истязаніе дѣтей, и если я заступаюсь за убійцу, выставляя свое подозрѣніе въ ней болѣзненнаго и сумасшедшаго состоянія во время совершенія ею злодѣйства, то вѣдь не заступаюсь же я тѣмъ самымъ за самое злодѣйство и не радъ же вѣдь я тому, что били и убили ребенка, а напротивъ, можетъ быть, очень и очень пожалѣлъ ребенка, не менѣе кого другого . . .».

Вы зло посмѣялись надо мною, г. Наблюдатель, за одну фразу въ статьѣ моей объ оправданіи подсудимой Корниловой:

„Мужъ оправданной, пишетъ г. Достоевскій въ вышедшемъ на дняхъ „Дневникѣ“ (говорите вы), - увезъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой, и она, счастливая, вошла опять въ

свой домъ". Какъ трогательно (прибавляете вы), но горе бѣдному ребенку и т. д.—И т. д.

Мнѣ кажется, что я не могу написать такой глупости. Правда, вы цитуете мою фразу точно, но вы что сдѣлали: вы перерѣзали ее пополамъ и тамъ, гдѣ ничего не стояло, поставили точку. Смыслъ-то и вышелъ тотъ, который вамъ хотѣлось выставить. У меня точки на этомъ мѣстѣ нѣтъ, фраза продолжается, есть и другая половина ея, и думаю, что вмѣстѣ съ этой другой, вами отброшенной половиной, фраза вовсе не такъ безтолкова и «трогательна», какъ она представляется. Вотъ эта фраза моя, но вся цѣликомъ, безъ выкидокъ.

Мужъ оправданной увелъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой, и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ почти послѣ годоваго отсутствія, *съ впечатлѣніемъ огромнаго вынесеннаго ею урока на всю жизнь и явнаго Божьяго перста во всемъ этомъ дѣлѣ, — хотя бы только начиная съ чудеснаго спасенія ребенка.*

Видите ли, г. Наблюдатель, я даже готовъ оговориться и извиниться передъ вами въ сейчасъ высказанномъ вамъ упрекѣ за перерѣзанную надвое мою фразу. Дѣйствительно, я самъ замѣчаю теперь, что фраза, можетъ быть, вовсе не такъ ясна, какъ я надѣялся, и что можно ошибиться въ смыслѣ ея. Ее нужно нѣсколько пояснить, и я сдѣлаю это теперь. Тутъ все дѣло въ томъ, какъ я понимаю слово «счастливая». Счастье оправданной я ставилъ не въ томъ только, что ее отпустили на волю, а въ томъ, что она «вошла въ домъ свой съ впечатлѣніемъ огромнаго, вынесеннаго ею урока *на всю жизнь* и съ предчувствіемъ надъ собой явнаго перста Божія». Вѣдь нѣтъ выше счастья, какъ увѣриться въ милосердіи людей и въ любви ихъ другъ къ другу. Вѣдь это вѣра, цѣлая вѣра, на всю уже жизнь! А какое же счастье выше вѣры? Развѣ эта бывшая преступница можетъ теперь усомниться въ людяхъ хоть когда-нибудь въ людяхъ какъ въ человѣчествѣ и въ его цѣломъ, великомъ цѣлесообразномъ и святомъ назначеніи? Войти къ себѣ въ домъ погибавшему, пропадавшему, съ такимъ могущественнымъ впечатлѣніемъ новой великой вѣры, есть величайшее счастье, какое только можетъ быть. Мы знаемъ, что иные самые благородные и высокіе умы весьма даже часто страдали всю жизнь свою невѣріемъ въ цѣлесообразность великаго назначенія людей, въ ихъ доброту, въ ихъ идеалы, въ божеское происхожденіе ихъ и умирали въ грустномъ разочарованіи. Вы, конечно, улыбнетесь надо мной и скажете, можетъ быть, что я и тутъ фантазирую, и что у темной, грубой Корниловой, вышедшей изъ черни и лишенной образованія, не можетъ

быть въ душѣ ни такихъ разочарованій, ни такихъ умиленій. Охъ, неправда! Назвать только они, эти темные люди, не умѣютъ это все по-нашему и объяснить это нашимъ языкомъ, но чувствуютъ они, сплошь и рядомъ, такъ же глубоко, какъ и мы, «образованные люди», и воспринимаютъ чувства свои съ такимъ же счастьемъ, или съ такою же грустью и болью, какъ и мы же.

Разочарованіе въ людяхъ, невѣріе въ нихъ бываетъ и у нихъ такъ же, какъ и у насъ. Если бъ Корнилову сослали въ Сибирь и она бы тамъ упала и погибла, — неужели вы думаете, что она бы не почувствовала въ какую-нибудь горькую минуту жизни весь ужасъ своего паденія и не унесла бы на сердцѣ своемъ, можетъ быть, до гроба озлобленія, тѣмъ болѣе горькаго, что оно было бы для нея безпредметно, ибо кромѣ себя она не могла бы никого обвинить, потому что, повторяю вамъ это, она вполнѣ увѣрена, и до сихъ поръ, что она *несомнѣнная преступница,* и только не знаетъ, какъ это тогда случилось надъ нею. Теперь же, чувствуя, что она преступница, и считая себя таковою, и вдругъ прощенная людьми, облагодѣтельствованная и помилованная, какъ могла бы она не почувствовать обновленія и возрожденія въ новую и уже высшую прежней жизнь? Ее не одинъ кто-нибудь простилъ, но умилосердились надъ нею *всѣ,* судъ, присяжные, все общество, стало быть. Какъ могла бы она послѣ того не вынести въ душѣ своей чувства огромнаго долга впредь на всю жизнь свою, передъ всѣми, ее пожалѣвшими, т. е. передъ всѣми людьми на свѣтѣ. Всякое *великое* счастье носитъ въ себѣ и нѣкоторое страданіе, ибо возбуждаетъ въ насъ высшее сознаніе. Горе рѣже возбуждаетъ въ насъ въ такой степени ясность сознанія, какъ великое счастье. Великое, т. е. высшее счастье *обязываетъ* душу. (Повторю: выше нѣтъ счастья, какъ увѣровать въ доброту людей и любовь ихъ другъ къ другу.) Когда сказано было великой грѣшницѣ, осужденной на побитіе камнями: «Иди въ свой домъ и не грѣши», — неужели она воротилась домой, чтобы грѣшить? А потому весь вопросъ и въ дѣлѣ Корниловой заключается лишь въ томъ: на какую почву упало сѣмя. Вотъ почему мнѣ и показалось необходимымъ написать теперь эту статью. Прочитавъ семь мѣсяцевъ назадъ ваше нападеніе на меня, г. Наблюдатель, я именно рѣшился подождать отвѣчать вамъ, чтобы дополнить мои свѣдѣнія. И вотъ, мнѣ кажется, что по нѣкоторымъ собраннымъ мною чертамъ я уже безошибочно могъ бы сказать теперь, что сѣмя упало на добрую почву, что человѣкъ воскрешенъ, что никому это не сдѣлало зла, что душа пре-

ступницы именно подавлена и раскаяніемъ и вѣчнымъ благотворнымъ впечатлѣніемъ безграничнаго милосердія людей, и что трудно теперь сердцу ея стать злымъ, испытавъ на себѣ столько доброты и любви. Несомнѣннымъ же «аффектомъ беременности», который такъ возмущаетъ васъ, г. Наблюдатель, повторяю вамъ это, она вовсе не думаетъ оправдываться. Однимъ словомъ, мнѣ показалось вовсе не лишнимъ увѣдомить объ этомъ, кромѣ васъ, г. Наблюдатель, и всѣхъ читателей моихъ и всѣхъ тѣхъ милосердныхъ людей, которые тогда оправдали ее. А о дѣвочкѣ, г. Наблюдатель, тоже не заботьтесь и не восклицайте о ней: «Горе ребенку!» Ея судьба тоже теперь довольно хорошо устроилась и — «она забудетъ», есть серьезная надежда и на это.

Глава вторая.

I.

Смерть Некрасова. О томъ, что сказано было на его могилѣ.

Умеръ Некрасовъ. Я видѣлъ его въ послѣдній разъ за мѣсяцъ до его смерти. Онъ казался тогда почти уже трупомъ, такъ что странно было даже видѣть, что такой трупъ говоритъ, шевелитъ губами. Но онъ не только говорилъ, но и сохранилъ всю ясность ума. Кажется, онъ все еще не вѣрилъ въ возможность близкой смерти. За недѣлю до смерти съ нимъ былъ параличъ правой стороны тѣла, и вотъ 28-го утромъ я узналъ, что Некрасовъ умеръ наканунѣ, 27-го, въ 8 часовъ вечера. Въ тотъ же день я пошелъ къ нему. Страшно изможденное страданіемъ и искаженное лицо его какъ-то особенно поражало. Уходя, я слышалъ, какъ псалтирщикъ четко и протяжно прочелъ надъ покойнымъ: «Нѣсть человѣкъ, иже не согрѣшитъ». Воротясь домой, я не могъ уже сѣсть за работу, взялъ всѣ три тома Некрасова и сталъ читать съ первой страницы. Я просидѣлъ всю ночь до шести часовъ утра, и всѣ эти тридцать лѣтъ какъ будто я прожилъ снова. Эти первыя четыре стихотворенія, которыми начинается первый томъ его стиховъ, появились въ Петербургскомъ Сборникѣ, въ которомъ явилась и моя первая повѣсть. Затѣмъ, по мѣрѣ чтенія (а я читалъ сподрядъ), передо мной пронеслась какъ бы вся моя жизнь. Я узналъ и при-

помнилъ и тѣ изъ стиховъ его, которые первыми прочелъ въ Сибири, когда, выйдя изъ моего четырехлѣтняго заключенія въ острогѣ, добился, наконецъ, до права взять въ руки книгу. Припомнилъ и впечатлѣніе тогдашнее. Короче, въ эту ночь я перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некрасовъ, и буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некрасовъ, какъ поэтъ, во всѣ эти тридцать лѣтъ, занималъ мѣста въ моей жизни! Какъ поэтъ, конечно. Лично мы сходились мало и рѣдко и лишь однажды вполнѣ съ беззавѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху «Бѣдныхъ людей». Но я уже разсказывалъ объ этомъ. Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя, разъ навсегда, обрисовался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то *никогда незажившая* рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери — и то, какъ говорилъ онъ о своей матери, та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали уже и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись, гдѣ-нибудь украдкой, чтобъ не видали (какъ разсказывалъ онъ мнѣ), съ мученицей матерью, съ существомъ столь любившимъ его. Я думаю, что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла бы такъ же, какъ эта, повліять и властительно подѣйствовать на его волю и на иныя темныя неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потомъ, помню, мы какъ-то разошлись, и довольно скоро; близость наша другъ съ другомъ продолжалась не долѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Помогли и недоразумѣнія, и внѣшнія обстоятельства, и добрые люди. Затѣмъ, много лѣтъ спустя, когда я уже воротился изъ Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу въ убѣжденіяхъ, уже тогда начинавшуюся, встрѣчаясь, говорили иногда другъ другу даже странныя вещи — точно какъ будто въ самомъ дѣлѣ что-то продолжалось въ на-

шей жизни, начатое еще въ юности, еще въ сорокъ пятомъ году, и какъ бы не хотѣло и не могло прерваться, хотя бы мы и по годамъ не встрѣчались другъ съ другомъ. Такъ однажды въ шестьдесятъ-третьемъ, кажется, году, отдавая мнѣ томикъ своихъ стиховъ, онъ указалъ мнѣ на одно стихотвореніе, «Несчастные», и внушительно сказалъ: «Я тутъ о васъ думалъ, когда написалъ это» (т. е. о моей жизни въ Сибири), «это о васъ писано». И, наконецъ, тоже въ послѣднее время, мы стали опять иногда видать другъ друга, когда я печаталъ въ его журналѣ мой романъ «Подростокъ» . . .

На похороны Некрасова собралось нѣсколько тысячъ его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессія выноса началась въ 9 часовъ утра, а разошлись съ кладбища уже въ сумерки. Много говорилось на его гробѣ рѣчей, изъ литераторовъ говорили мало. Между прочимъ, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь подъ глубокимъ впечатлѣніемъ, я протѣснился къ его раскрытой еще могилѣ, забросанной цвѣтами и вѣнками, и слабымъ моимъ голосомъ произнесъ вслѣдъ за прочими нѣсколько словъ. Я именно началъ съ того, что это было раненое сердце, разъ на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что страдаетъ, отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли, что гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой, такъ часто, долѣ его. Высказалъ тоже мое убѣжденіе, что въ поэзіи нашей Некрасовъ заключилъ собою рядъ тѣхъ поэтовъ, которые приходили со своимъ «новымъ словомъ». Въ самомъ дѣлѣ (устраняя всякій вопросъ о художнической силѣ его поэзіи, и о размѣрахъ ея), — Некрасовъ, дѣйствительно, былъ въ высшей степени своеобразенъ и дѣйствительно, приходилъ съ «новымъ словомъ». Былъ, напримѣръ, въ свое время поэтъ Тютчевъ, поэтъ обширнѣе его и художественнѣе, и, однако, Тютчевъ никогда не займетъ такого виднаго и памятнаго мѣста въ литературѣ нашей, какое безспорно останется за Некрасовымъ. Въ этомъ смыслѣ онъ, въ ряду поэтовъ (т. е. приходившихъ съ «новымъ словомъ»), долженъ прямо стоять вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Когда я вслухъ выразилъ эту мысль, то произошелъ одинъ маленькій эпизодъ: одинъ голосъ изъ толпы крикнулъ, что Некрасовъ былъ *выше* Пушкина и Лермонтова, и что тѣ были всего только «байронисты». Нѣсколько голосовъ подхватили и крикнули: «да, выше!» Я, впрочемъ, о высотѣ и о сравнительныхъ размѣрахъ трехъ поэтовъ и

не думалъ высказываться. Но вотъ что вышло потомъ: въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» г. Скабичевскій, въ посланіи своемъ къ молодежи по поводу значенія Некрасова, разсказывая, что будто бы когда *кто-то* (т. е. я), на могилѣ Некрасова, «вздумалъ сравнить имя его съ именами Пушкина и Лермонтова, вы всѣ (т. е. вся учащаяся молодежь) *въ одинъ голосъ, хоромъ* прокричали: «онъ былъ выше, выше ихъ». Смѣю увѣрить г Скабичевскаго, что ему не такъ передали и что мнѣ твердо помнится (надѣюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнулъ всего одинъ голосъ: «выше, выше ихъ» и тутъ же прибавилъ, что Пушкинъ и Лермонтовъ были «байронисты»— прибавка, которая гораздо свойственнѣе и естественнѣе одному голосу и мнѣнію, чѣмъ *всѣмъ*, въ одинъ и тотъ же моментъ, т. е. тысячному хору — такъ что фактъ этотъ свидѣтельствуетъ, конечно, скорѣе въ пользу моего показанія о томъ, какъ было это дѣло. И затѣмъ уже, сейчасъ послѣ перваго голоса, крикнуло еще нѣсколько, тысячнаго же хора я не слыхалъ, повторяю это и надѣюсь, что въ этомъ не ошибаюсь.

Я потому такъ на этомъ настаиваю, что мнѣ все же было бы чувствительно видѣть, что *вся* наша молодежь впадаетъ въ такую ошибку. Благодарность къ великимъ отшедшимъ именамъ должна быть присуща молодому сердцу. Безъ сомнѣнія, ироническій крикъ о байронистахъ и возгласы: «выше, выше», — произошли вовсе не отъ желанія затѣять надъ раскрытой могилой дорогого покойника литературный споръ, что было бы неумѣстно, а что тутъ просто былъ горячій порывъ заявить какъ можно сильнѣе все накопившееся въ сердцѣ чувство умиленія, благодарности и восторга къ великому и столь сильно волновавшему насъ поэту, и который, хотя и въ гробѣ, но все еще къ намъ такъ близокъ (ну, а тѣ-то великіе прежніе старики уже такъ далеко!). Но весь этотъ эпизодъ, тогда же, на мѣстѣ, зажегъ во мнѣ намѣреніе объяснить мою мысль яснѣе въ будущемъ № «Дневника» и выразить подробнѣе, какъ смотрю я на такое замѣчательное и чрезвычайное явленіе въ нашей жизни и въ нашей поэзіи, какимъ былъ Некрасовъ, и въ чемъ именно заключается, по-моему суть и смыслъ этого явленія.

II.

Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ.

И во-первыхъ, словомъ «байронистъ» браниться нельзя. Байронизмъ хотя былъ и моментальнымъ, но

великимъ, святымъ и необходимымъ явленіемъ въ жизни европейскаго человѣчества, да чуть ли не въ жизни и всего человѣчества. Байронизмъ появился въ минуту страшной тоски людей, разочарованія ихъ и почти отчаянія. Послѣ изступленныхъ восторговъ новой вѣры въ новые идеалы, провозглашенной въ концѣ прошлаго столѣтія во Франціи, въ передовой тогда націи европейскаго человѣчества наступилъ исходъ, столь не похожій на то, чего ожидали, столь обманувшій вѣру людей, что никогда, можетъ быть, не было въ исторіи Западной Европы столь грустной минуты. И не отъ однѣхъ только внѣшнихъ (политическихъ) причинъ пали вновь воздвигнутые на мигъ кумиры, но и отъ внутренней несостоятельности ихъ, что ясно увидѣли всѣ прозорливыя сердца и передовые умы. Новый *исходъ* еще не обозначался, новый клаланъ не отворялся, и все задыхалось подъ страшно понизившимся и сузившимся надъ человѣчествомъ прежнимъ его горизонтомъ Старые кумиры лежали разбитые. И вотъ въ эту-то минуту и явился великій и могучій геній, страстный поэтъ. Въ его звукахъ зазвучала тогдашняя тоска человѣчества и мрачное разочарованіе его въ своемъ назначеніи и въ обманувшихъ его идеалахъ. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятія и отчаянія. Духъ байронизма вдругъ пронесся какъ бы по всему человѣчеству, все оно откликнулось ему. Это именно было какъ бы отворенный клапанъ; по крайней мѣрѣ, среди всеобщихъ и глухихъ стоновъ, даже большею частью безсознательныхъ, это именно былъ тотъ могучій крикъ, въ которомъ соединились и согласились всѣ крики и стоны человѣчества. Какъ было не откликнуться на него и у насъ, да еще такому великому, геніальному и руководящему уму, какъ Пушкинъ? Всякій сильный умъ и всякое великодушное сердце не могли и у насъ тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствію къ Европѣ и къ европейскому человѣчеству издали, а потому, что и у насъ, и въ Россіи, какъ разъ къ тому времени, обозначилось слишкомъ много новыхъ, неразрѣшенныхъ и мучительныхъ тоже вопросовъ, и слишкомъ много старыхъ разочарованій... Но величіе Пушкина, какъ руководящаго генія, состояло именно въ томъ, что онъ такъ скоро, и окруженный почти совсѣмъ не понимавшими его людьми, нашелъ твердую дорогу, *нашелъ великій и вожделѣнный исходъ для насъ, русскихъ, и указалъ на него.* Этотъ исходъ былъ — народность, *преклоненіе передъ правдой народа русскаго.* «Пушкинъ былъ явленіе великое, чрезвычайное». Пушкинъ былъ «не

только русскій человѣкъ, но и первымъ русскимъ человѣкомъ». Не понимать русскому Пушкина — значитъ не имѣть права называться русскимъ. Онъ понялъ русскій народъ и постигъ его назначеніе въ такой глубинѣ и въ такой обширности, какъ никогда и никто. Не говорю уже о томъ, что онъ, всечеловѣчностью генія своего и способностью откликаться на всѣ многоразличныя духовныя стороны европейскаго человѣчества, и почти перевоплощаться въ геніи чужихъ народовъ и національностей, засвидѣтельствовалъ о человѣчности и о всеобъемлемости русскаго духа и тѣмъ какъ бы провозвѣстилъ и о будущемъ предназначеніи генія Россіи во всемъ человѣчествѣ, какъ всеединяющаго, всепримиряющаго и всевозрождающаго въ немъ начала. Не скажу и о томъ даже, что Пушкинъ первый у насъ, въ тоскѣ своей и въ пророческомъ предвидѣніи своемъ, воскликнулъ:

Увижу ли народъ освобожденный
И рабство, павшее по манію Царя

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина къ народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывалъ до него. «Не люби ты меня, а полюби ты *мое*» — вотъ что вамъ скажетъ всегда народъ, если захочетъ увѣриться въ искренности вашей любви къ нему.

Полюбить, т. е. пожалѣть народъ за его нужды, бѣдность, страданія, можетъ и всякій баринъ, особенно изъ гуманныхъ и европейски просвѣщенныхъ. Но народу *надо*, чтобъ его не за одни страданія его любили, а чтобъ полюбили и *его самого*. Что же значитъ *полюбить его самого?* «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вотъ что это значитъ, и вотъ какъ вамъ отвѣтитъ народъ, а иначе онъ никогда васъ за своего не признаетъ, сколько бы вы тамъ о немъ ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядитъ, какими бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкинъ именно такъ полюбилъ народъ, какъ народъ того требуетъ, и онъ не угадывалъ, какъ надо любить народъ, не приготовлялся, не учился: онъ самъ вдругъ оказался народомъ. Онъ преклонился передъ правдой народною, онъ призналъ народную правду какъ свою правду. Несмотря на всѣ пороки народа и многія смердящія привычки его, онъ сумѣлъ различить великую суть его духа тогда, когда никто почти такъ не смотрѣлъ на народъ, и принялъ эту суть народную въ свою душу какъ свой идеалъ. И это тогда, когда самые наиболѣе гуманные и европейски развитые любители народа русскаго сожалѣли откровенно,

что народъ нашъ столь низокъ, что никакъ не можетъ подняться до парижской уличной толпы. Въ сущности эти любители всегда презирали народъ. Они вѣрили, главное, что онъ рабъ. Рабствомъ же извиняли паденіе его, но раба не могли вѣдь любить, рабъ все-таки былъ отвратителенъ. Пушкинъ первый объявилъ, что русскій человѣкъ *не рабъ*, и никогда не былъ имъ, несмотря на многовѣковое рабство. Было рабство, но не было рабовъ (въ цѣломъ, конечно, въ общемъ, не въ частныхъ исключеніяхъ) — вотъ тезисъ Пушкина. Онъ даже по виду, по походкѣ русскаго мужика заключалъ, что это не рабъ и не можетъ быть рабомъ (хотя и состоитъ въ рабствѣ) — черта, свидѣтельствующая въ Пушкинѣ о глубокой непосредственной любви къ народу. Онъ призналъ и высокое чувство собственнаго достоинства въ народѣ нашемъ (опять-таки въ цѣломъ, мимо всегдашнихъ и неотразимыхъ исключеній), онъ предвидѣлъ то спокойное достоинство, съ которымъ народъ нашъ приметъ и освобожденіе свое отъ крѣпостного состоянія — чего не понимали, напримѣръ, замѣчательнѣйшіе образованные русскіе европейцы уже гораздо позднѣе Пушкина и ожидали совсѣмъ другого отъ народа нашего. О, они любили народъ искренно и горячо, но по-своему, т. е. по-европейски. Они кричали о звѣриномъ состояніи народа, о звѣриномъ положеніи его въ крѣпостномъ рабствѣ, но и вѣрили всѣмъ сердцемъ своимъ, что народъ нашъ, дѣйствительно, звѣрь. И вдругъ этотъ народъ очутился свободнымъ съ такимъ мужественнымъ достоинствомъ, безъ малѣйшаго позыва на оскорбленіе бывшихъ владѣтелей своихъ: «Ты самъ по себѣ, а я самъ по себѣ, если хочешь иди ко мнѣ, за твое хорошее всегда тебѣ отъ меня честь». Да, для многихъ нашъ крестьянинъ по освобожденіи своемъ явился страннымъ недоумѣніемъ. Многіе даже рѣшили, что это въ немъ отъ неразвитости и тупости, остатковъ прежняго рабства. И это теперь, что же было во времена Пушкина? Не я ли слышалъ самъ, въ юности моей, отъ людей передовыхъ и «компетентныхъ», что образъ Пушкинскаго Савельича въ «Капитанской дочкѣ», раба помѣщиковъ Гриневыхъ, упавшаго въ ноги Пугачеву и просившаго его пощадить барченка, а «для примѣра и страха ради повѣсить ужъ лучше его старика», — что этотъ образъ не только есть образъ раба, но и апоѳеозъ русскаго рабства!

Пушкинъ любилъ народъ не за одни только страданія его. За страданія сожалѣютъ, а сожалѣніе такъ часто идетъ рядомъ съ презрѣніемъ. Пушкинъ любилъ все, что любилъ этотъ народъ, чтилъ все, что тотъ чтилъ.

Онъ любилъ природу русскую до страсти, до умиленія, любилъ деревню русскую. Это былъ не баринъ, милостивый и гуманный, жалѣющій мужика за его горькую участь, это былъ человѣкъ самъ перевоплощавшійся сердцемъ своимъ въ простолюдина, въ суть его, почти въ образъ его. Умаленіе Пушкина, какъ поэта, болѣе исторически, болѣе архаически преданнаго народу, чѣмъ на дѣлѣ — ошибочно и не имѣетъ даже смысла. Въ этихъ историческихъ и архаическихъ мотивахъ звучитъ такая любовь и такая *оцѣнка народа*, которая принадлежитъ народу *вѣковѣчно*, всегда, и теперь и въ будущемъ, а не въ одномъ только какомъ-нибудь давно-прошедшемъ историческомъ народѣ. Народъ нашъ любитъ свою исторію главное за то, что въ ней встрѣчаетъ незыблемою ту же самую святыню, въ которую сохранилъ онъ свою вѣру и теперь, несмотря на всѣ страданія и мытарства свои. Начиная съ величавой, огромной фигуры лѣтописца въ «Борисѣ Годуновѣ», до изображенія спутниковъ Пугачева, — все это у Пушкина — народъ въ его глубочайшихъ проявленіяхъ, и все это понятно народу, какъ собственная суть его. Да это ли одно? Русскій духъ разлитъ въ твореніяхъ Пушкина, русская жилка бьется вездѣ. Въ великихъ, неподражаемыхъ, несравненныхъ пѣсняхъ будто бы западныхъ славянъ, но которыя суть явно порожденіе русскаго великаго духа, вылилось все воззрѣніе русскаго на братьевъ славянъ, вылилось все сердце русское, объявилось все міровоззрѣніе народа, сохраняющееся и доселѣ въ его пѣсняхъ, былинахъ, преданіяхъ, сказаніяхъ, высказалось все, что любитъ и чтитъ народъ, выразились его идеалы героевъ, царей, народныхъ защитниковъ и печальниковъ, образы мужества, смиренія, любви и жертвы. А такія прелестныя шутки Пушкина, какъ, напримѣръ, болтовня двухъ пьяныхъ мужиковъ, или Сказаніе о Медвѣдѣ, у котораго убили Мервѣдицу — это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное въ его созерцаніи народа. Если бъ Пушкинъ прожилъ дольше, то оставилъ бы намъ такія художественныя сокровища для пониманія народнаго, которыя вліяніемъ своимъ навѣрно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенціи нашей, столь возвышающейся и до сихъ поръ надъ народомъ въ гордости своего европеизма, — къ народной правдѣ, къ народной силѣ и къ сознанію народнаго назначенія. Вотъ это-то поклоненіе передъ правдой народа вижу я отчасти (увы, можетъ быть, одинъ я изъ всѣхъ его почитателей) — и въ Некрасовѣ, въ сильнѣйшихъ произведеніяхъ его. Мнѣ дорого, очень дорого, что онъ «печальникъ народнаго

горя» и что онъ такъ много и страстно говорилъ о горѣ народномъ, но еще дороже для меня въ немъ то, что въ великіе, мучительные и восторженные моменты своей жизни, онъ, несмотря на всѣ противоположныя вліянія и даже на собственныя убѣжденія свои, преклонялся передъ народной правдой всѣмъ существомъ своимъ, о чемъ и засвидѣтельствовалъ въ своихъ лучшихъ созданіяхъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и поставилъ его какъ пришедшаго послѣ Пушкина и Лермонтова съ тѣмъ же самымъ отчасти новымъ словомъ, какъ и тѣ (потому что «слово» Пушкина до сихъ поръ еще для насъ новое слово. Да и не только новое, а еще и не узнанное, не разобранное, за самый старый хламъ считающееся).

Прежде чѣмъ перейду къ Некрасову, скажу два слова и о Лермонтовѣ, чтобъ оправдать то, почему я тоже поставилъ и его какъ увѣровавшаго въ правду народную. Лермонтовъ, конечно, былъ байронистъ, но по великой своеобразной поэтической силѣ своей и байронистъ-то особенный, — какой-то насмѣшливый, капризный и брюзгливый, вѣчно невѣрующій даже въ собственное свое вдохновеніе, въ свой собственный байронизмъ. Но если бъ онъ пересталъ возиться съ больною личностью русскаго интеллигентнаго человѣка, мучимаго своимъ европеизмомъ, то навѣрно бы кончилъ тѣмъ, что отыскалъ исходъ, какъ и Пушкинъ, въ преклоненіи передъ народной правдой, и на то есть большія и точныя указанія. Но смерть опять и тутъ помѣшала. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ стихахъ своихъ онъ мраченъ, капризенъ, хочетъ говорить правду, но чаще лжетъ и самъ знаетъ объ этомъ и мучается тѣмъ, что лжетъ, но чуть лишь онъ коснется народа, тутъ онъ свѣтелъ и ясенъ. Онъ любитъ русскаго солдата, казака, онъ чтитъ народъ. И вотъ онъ разъ пишетъ безсмертную пѣсню о томъ, какъ молодой купецъ Калашниковъ, убивъ за безчестье свое государева опричника Кирибѣевича и призванный царемъ Иваномъ передъ грозныя его очи, отвѣчаетъ ему, что убилъ онъ государева слугу Кирибѣевича «вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго, русскаго эмигранта 16-го столѣтія, писавшаго все къ тому же царю Ивану свои оппозиціонныя и почти ругательныя письма изъ-за границы, гдѣ онъ безопасно пріютился. Написавъ одно письмо, онъ призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву и отдать царю лично. Такъ и сдѣлалъ рабъ Шибановъ. На Кремлевской площади онъ остановилъ выходившаго изъ собора царя, окруженнаго своими приспѣшниками, и подалъ ему посланіе своего гос-

подина, князя Курбскаго. Царь поднялъ жезлъ свой съ острымъ наконечникомъ, съ размаху вонзилъ его въ ногу Шибанова, оперся на жезлъ и сталъ читать посланіе. Шибановъ съ проколотою ногою не шевельнулся. А царь, когда сталъ потомъ отвѣчать письмомъ князю Курбскому, написалъ, между прочимъ: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что онъ самъ устыдился раба Шибанова. Этотъ образъ русскаго «раба», должно быть, поразилъ душу Лермонтова. Его Калашниковъ говоритъ царю безъ укора, безъ попрека за Кирибѣевича, говоритъ онъ, зная про вѣрную казнь, его ожидающую, царю «всю правду истинную», что убилъ его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтовъ жить, и мы бы имѣли великаго поэта, тоже признавшаго правду народную, а можетъ быть, и истиннаго «*печальника горя народнаго*». Но это имя досталось Некрасову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова съ Пушкинымъ, я не мѣряю аршиномъ, кто выше, кто ниже, потому что тутъ не можетъ быть ни сравненія, ни даже вопроса о немъ. Пушкинъ, по обширности и глубинѣ своего русскаго генія, до сихъ поръ есть какъ солнце надъ всѣмъ нашимъ русскимъ интеллигентнымъ міровоззрѣніемъ. Онъ великій и непонятый еще предвозвѣститель. Некрасовъ есть лишь малая точка въ сравненіи съ нимъ, малая планета, но вышедшая изъ этого же великаго солнца. И мимо всѣхъ мѣрокъ: кто выше, кто ниже, за Некрасовымъ остается безсмертіе, вполнѣ имъ заслуженное, и я уже сказалъ почему — за преклоненіе его передъ народной правдой, что происходило въ немъ не изъ подражанія какого-нибудь, не вполнѣ по сознанію даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тѣмъ замѣчательнѣе въ Некрасовѣ, что онъ всю жизнь свою былъ подъ вліяніемъ людей, хотя и любившихъ народъ, хотя и печалившихся о немъ, можетъ быть, весьма искренно, но никогда не признававшихъ въ народѣ правды, и всегда ставившихъ европейское просвѣщеніе свое несравненно выше истины духа народнаго. Не вникнувъ въ русскую душу и не зная чего ждетъ и проситъ она, имъ часто случалось желать нашему народу, со всею любовью къ нему, того, что прямо могло бы послужить къ его бѣдствію. Не они ли въ русскомъ народномъ движеніи, за послѣдніе два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народнаго, которую онъ, можетъ быть, въ первый разъ еще выказываетъ въ такой полнотѣ и силѣ и тѣмъ свидѣтельствуетъ о своемъ здравомъ, могучемъ и неколебимомъ доселѣ живомъ единеніи въ одной и той

же великой мысли и почти предузнаетъ самъ будущее предназначеніе свое. И мало того, что не признаютъ правды движенія народнаго, но и считаютъ его почти ретроградствомъ, чѣмъ-то свидѣтельствующимъ о непроходимой безсознательности, о заматерѣвшей вѣками неразвитости народа русскаго. Некрасовъ же, несмотря на замѣчательный, чрезвычайно сильный умъ свой, быэъ лишенъ, однако, серьезнаго образованія, по крайней мѣрѣ, образованіе его было небольшое. Изъ извѣстныхъ вліяній онъ не выходилъ во всю жизнь, да и не имѣлъ силъ выйти. Но у него была своя, своеобразная сила въ душѣ, не оставлявшая его никогда, — это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь къ народу. Онъ болѣлъ о страданіяхъ его всей душою, но видѣлъ въ немъ не одинъ лишь униженный рабствомъ образъ, звѣрское подобіе, но смогъ силой любви своей постичь почти безсознательно и красоту народную, и силу его, и умъ его, и страдальческую кротость его и даже частью увѣровать и въ будущее предназначеніе его. О, сознательно Некрасовъ могъ во многомъ ошибаться. Онъ могъ воскликнуть въ недавно напечатанномъ въ первый разъ экспромптѣ его, съ тревожнымъ укоромъ созерцая освобожденный уже отъ крѣпостного состоянія народъ,

..Но счастливъ ли народъ?

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если бъ его спросили, «чего же пожелать народу и какъ это сдѣлать?», то онъ, можетъ быть, далъ бы и весьма ошибочный, даже пагубный отвѣтъ. И ужъ, конечно, его нельзя винить: политическаго смысла у насъ еще до рѣдкости мало, а Некрасовъ, повторяю, былъ всю жизнь подъ чужими вліяніями. Но сердцемъ своимъ, но великимъ поэтическимъ вдохновеніемъ своимъ, онъ неудержимо примыкалъ, въ иныхъ великихъ стихотвореніяхъ своихъ, къ самой сути народной. Въ этомъ смыслѣ это былъ народный поэтъ. Всякій выходящій изъ народа, при самомъ маломъ даже образованіи, пойметъ уже много у Некрасова. Но лишь при образованіи. Вопросъ о томъ, пойметъ ли Некрасова теперь прямо весь народъ русскій — безъ сомнѣнія, вопросъ явно немыслимый. Что пойметъ «простой народъ» въ шедеврахъ его: «Рыцарь на часъ», «Тишина», «Русскія женщины»? Даже въ великомъ «Власѣ» его, который можетъ быть понятенъ народу (но не вздохновитъ нисколько народъ, ибо все это поэзія давно уже вышедшая изъ непосредственной жизни), народъ отличитъ два-три фальшивые штриха навѣрно. Что разбе-

ретъ народъ въ одной изъ самыхъ могучихъ и самыхъ зовущихъ поэмъ его: «На Волгѣ»? Это настоящій духъ и тонъ Байрона. Нѣтъ, Некрасовъ пока еще — лишь поэтъ русской интеллигенціи, съ любовью и со страстью говорившій о народѣ и страданіяхъ его той же русской интеллигенціи. Не говорю въ будущемъ, — въ будущемъ народъ отмѣтитъ Некрасова. Онъ пойметъ тогда, что былъ когда-то такой добрый русскій баринъ, который плакалъ скорбными слезами о его народномъ горѣ и ничего лучше и придумать не могъ, какъ, убѣгая отъ своего богатства и отъ грѣшныхъ соблазновъ барской жизни своей, приходить въ очень тяжкія минуты свои къ нему, къ народу, и въ неудержимой любви къ нему очищать свое измученное сердце, — ибо любовь къ народу у Некрасова была лишь *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ*...

Но прежде чѣмъ разъясню, какъ понимаю я эту «собственную скорбь» дорогого намъ усопшаго поэта, не могу не обратить вниманіе на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессѣ сейчасъ послѣ смерти Некрасова, почти во всѣхъ статьяхъ, говорившихъ о немъ.

III.

Поэтъ и гражданинъ. Общіе толки о Некрасовѣ какъ о человѣкѣ.

Всѣ газеты, чуть только заговаривали о Некрасовѣ, по поводу смерти и похоронъ его, чуть только начинали опредѣлять его значеніе, какъ тотчасъ же и прибавляли, всѣ безъ изъятія, нѣкоторыя соображенія о какой-то «практичности» Некрасова, о какихъ-то недостаткахъ его, порокахъ даже, о какой-то двойственности въ томъ образѣ, который онъ намъ оставилъ о себѣ. Иныя газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, въ какихъ-нибудь двухъ строкахъ, но важно то, что все-таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избѣжать не могли. Въ другихъ же изданіяхъ, говорившихъ о Некрасовѣ обширнѣе, выходило и еще страннѣе. Въ самомъ дѣлѣ: не формулируя обвиненій въ подробности и какъ бы избѣгая того, отъ глубокой и искренней почтительности къ покойному, они все-таки пускались.. оправдывать его, такъ что выходило еще непонятнѣе. «Да въ чемъ же вы оправдываете?» срывался невольно

вопросъ; если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотимъ знать, нуждается ли еще онъ въ оправданіяхъ нашихъ?» Вотъ какой зажигался вопросъ. Но формулировать не хотѣли, а съ оправданіями и съ оговорками спѣшили, какъ будто желая поскорѣе предупредить кого-то, и, главное, опять-таки, — какъ будто и не могли никакъ избѣжать этого, хотя бы, можетъ быть, и хотѣли того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть въ него, то и вы, и всякій, кто бы вы ни были, несомнѣнно придете къ заключенію, чуть лишь размыслите, что случай этотъ совершенно нормальный, что, заговоривъ о Некрасовѣ, какъ о поэтѣ, дѣйствительно никакъ нельзя миновать говорить о немъ какъ и о лицѣ, потому что въ Некрасовѣ поэтъ и гражданинъ — до того связаны, до того оба необъяснимы одинъ безъ другого, и до того взятые вмѣстѣ объясняютъ другъ друга, что, заговоривъ о немъ какъ о поэтѣ, вы даже невольно переходите къ гражданину и чувствуете, что какъ бы принуждены и должны это сдѣлать и избѣжать не можете.

Но что же мы можемъ сказать, и что именно мы видимъ? Произносится слово «практичность», т. е. умѣніе обдѣлывать свои дѣла, но и только, а затѣмъ спѣшатъ съ оправданіями: «онъ-де страдалъ, онъ съ дѣтства былъ заѣденъ средой» онъ вытерпѣлъ еще юношей въ Петербургѣ, безпріютнымъ, брошеннымъ, много горя, а слѣдственно и сдѣлался «практичнымъ» (т. е. какъ будто и не могъ ужъ не сдѣлаться). Другіе идутъ даже дальше и намекаютъ, что безъ этой-то вѣдь «практичности» Некрасовъ, пожалуй, и не совершилъ бы столь ярко полезныхъ дѣлъ на общую пользу, напр., совладалъ съ изданіемъ журнала и проч., и проч. Что же, для хорошихъ цѣлей оправдывать, стало быть, дурныя средства? И это говоря о Некрасовѣ-то, человѣкѣ, который потрясалъ сердца, вызывалъ восторгъ и умиленіе къ доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, все это говорится чтобъ извинить, но, мнѣ кажется, Некрасовъ не нуждается въ такомъ извиненіи. Въ извиненіяхъ на подобную тему всегда заключается какъ бы нѣчто принизительное, и какъ бы затемняется и умаляется образъ извиняемаго чуть не до пошлыхъ размѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тѣмъ какъ бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при извѣстныхъ обстоятельствахъ, чуть не необходима. А если такъ, то совершенно приходится примириться съ образомъ человѣка, который сегодня бьется о плиты родного храма,

кается, кричитъ: «я упалъ, я упалъ». И это въ безсмертной красоты стихахъ, которые онъ въ ту же ночь запишетъ, а назавтра, чуть пройдетъ ночь и обсохнутъ слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого, — *и необходима*. Да что же тогда будутъ означать эти стоны и крики, облекшіеся въ стихи? Искусство для искусства—не болѣе, и даже въ самомъ пошломъ его значеніи, потому что онъ эти стихи самъ похваливаетъ, самъ на нихъ любуется, ими совершенно доволенъ, ихъ печатаетъ, ни нихъ разсчитываетъ: придадутъ, дескать, блескъ изданію, взволнуютъ молодыя сердца. Нѣтъ, если все это оправдывать, да не разъяснивъ, то мы рискуемъ впасть въ большую ошибку и порождаемъ недоумѣніе, и на вопросъ: «кого вы хороните?» — мы, провожавшіе гробъ его, принуждены бы были отвѣтить, что хоронимъ «самаго яркаго представителя искусства для искусства, какой только можетъ быть». Ну, а было ли это такъ? Нѣтъ, *воистину это не было такъ*, а хоронили мы воистину «печальника народнаго героя» и вѣчнаго страдальца о себѣ самомъ, вѣчнаго, неустаннаго, который никогда не могъ успокоить себя, и самъ съ отвращеніемъ и самобичеваніемъ отвергалъ дешевое примиреніе.

Нужно выяснить дѣло, выяснить искренно и безпристрастно, и что выяснится, то принять какъ оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни на какія дальнѣйшія соображенія. Тутъ надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы какъ можно точнѣе добыть изъ выясненій фигуру покойнаго, лицо его; такъ наши сердца требуютъ, для того, чтобъ не оставалось у насъ о немъ ни малѣйшаго такого недоумѣнія, которое невольно чернитъ память, оставляетъ нерѣдко и на высокомъ образѣ недостойную тѣнь.

Самъ я зналъ «практичную жизнь» покойнаго мало, а потому приступить къ анекдотической части этого дѣла не могу, но если бъ и могъ, то не хочу, потому что прямо окунусь въ то, что самъ признаю сплетнею. Ибо я твердо увѣренъ (и прежде былъ увѣренъ), что изъ всего, что расказывали про покойнаго, по крайней мѣрѣ, половина, а можетъ быть и всѣ три четверти — чистая ложь. Ложь, вздоръ и сплетни. У такого характернаго и замѣчательнаго человѣка какъ Некрасовъ, — не могло не быть враговъ. А то, что дѣйствительно было, что въ самомъ дѣлѣ случалось — то не могло тоже не быть подчасъ преувеличено. Но принявъ это, все-таки увидимъ, что нѣчто все-таки остается. Что же такое? Нѣчто мрачное, темное и мучительное безспорно, потому

что — что же означаютъ тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признанія, что «онъ упалъ», эта страстная исповѣдь передъ тѣнью матери? Тутъ самобичеваніе, туть казнь? Опять-таки въ анекдотическую сторону дѣла вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта какъ бы предсказана имъ же самимъ, еще на зарѣ дней его, въ одномъ изъ самыхъ первоначальныхъ его стихотвореній, набросанныхъ, кажется, еще до знакомства съ Бѣлинскимъ (и потомъ ужъ позднѣе обдѣланныхъ и получившихъ ту форму въ которой явились они въ печати). Вотъ эти стихи:

Огни зажигались вечерніе,
Былъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ.
Когда изъ Полтавской губерніи
Я въ городъ столичный входилъ.
Въ рукахъ была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечахъ шубенка овчинная,
Въ карманѣ пятнадцать грошей.
Ни денегъ, ни званья, ни племени,
Малъ ростомъ и съ виду смѣшенъ,
Да сорокъ лѣтъ минуло времени, -
Въ карманѣ моемъ милліонъ.

Милліонъ — вотъ демонъ Некрасова! Что жъ, онъ любилъ такъ золото, роскошь, наслажденія и, чтобы имѣть ихъ, пускался въ «практичности»? Нѣтъ, скорѣе это былъ другого характера демонъ; это былъ самый мрачный и унизительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердой стѣной и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ демонъ присосался еще къ сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотѣла, войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпою людей не желала. Не то, чтобы невѣріе въ людей закралось въ сердце его такъ рано, но скорѣе скептическое и слишкомъ раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство къ нимъ. Пусть они не злы, пусть они не такъ страшны, какъ о нихъ говорятъ (навѣрно думалось ему), но они, всѣ, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и безъ злости погубятъ, чуть-лишь дойдетъ до ихъ интереса. Вотъ тогда-то и начались, можетъ быть, мечтанія Некрасова, можетъ быть, и сложились тогда же на улицѣ стихи: «въ карманѣ моемъ милліонъ».

Это была жажда мрачнаго, угрюмаго, отъединеннаго

самообезпеченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что изъ самаго перваго моего знакомства съ нимъ. По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось всю потомъ жизнь. Но этотъ демонъ все же былъ низкій демонъ. Такого ли *самообезпеченія* могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная такъ отзываться на все святое и непокидавшая вѣры въ него. Развѣ такимъ самообезпеченіемъ ограждаютъ себя столь одаренныя души? Такіе люди пускаются въ путь босы и съ пустыми руками, и на сердцѣ ихъ ясно и свѣтло. Самообезпеченіе ихъ не въ золотѣ. Золото — грубость, насиліе, деспотизмъ! Золото можетъ казаться обезпеченіемъ именно той слабой и робкой толпѣ, которую Некрасовъ самъ презиралъ. Неужели картины насилія и потомъ жажда сластолюбія и разврата могли ужиться въ такомъ сердцѣ, въ сердцѣ человѣка, который самъ бы могъ воззвать къ иному: «брось все, возьми посохъ свой и иди за мной»,

Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви.

Но демонъ осилилъ, и человѣкъ остался на мѣстѣ и никуда не пошелъ.

За то и заплатилъ страданіемъ, страданіемъ всей жизни своей. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ лишь стихи, но что мы знаемъ о внутренней борьбѣ его съ своимъ демономъ, борьбѣ несомнѣнно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрыхъ дѣлахъ Некрасова; онъ о нихъ не публиковалъ, но они несомнѣнно были, люди уже начинаютъ свидѣтельствовать о гуманности, нѣжности этой «практичной» души. Г-нъ Суворинъ уже публиковалъ нѣчто; я увѣренъ, что обнаружится много и еще добрыхъ свидѣтельствъ, не можетъ быть иначе. «О, скажутъ мнѣ, вы тоже вѣдь оправдываете, да еще дешевле нашего». Нѣтъ, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопросъ, — вопросъ окончательный и всеразрѣшающій.

IV.

Свидѣтель въ пользу Некрасова.

Еще Гамлетъ дивился на слезы актера, декламировавшаго свою роль и плакавшаго о какой-то Гекубѣ: «что ему Гекуба?» спрашивалъ Гамлетъ. Вопросъ предстоитъ прямой: былъ ли нашъ Некрасовъ такой же самый ак-

теръ, т. е. способный *искренно* заплакать о себѣ и о той святынѣ духовной, которой самъ лишалъ себя, излить затѣмъ скорбь свою (настоящую скорбь!) въ безсмертной красоты стихахъ и назавтра же способный дѣйствительно утѣшиться... этой красотою стиховъ. Красотою стиховъ и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стиховъ, какъ на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь въ этомъ смыслѣ? Или, напротивъ того, скорбь поэта не проходила и послѣ стиховъ, не удовлетворялась ими; красота ихъ, сила, въ нихъ выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, будучи не въ силахъ совладать съ своимъ вѣчнымъ демономъ, съ страстями, побѣдившими его на всю жизнь, онъ и опять падалъ, то спокойно ли примирялся съ своимъ паденіемъ, не возобновлялись ли его стоны и крики еще сильнѣе въ тайныя святыя минуты покаянія, — повторялись ли, усиливались ли въ сердцѣ его съ каждымъ разомъ такъ, что самъ онъ, наконецъ, могъ видѣть ясно, чего стоитъ ему его демонъ и какъ дорого заплатилъ онъ за тѣ блага, которыя получилъ отъ него. Однимъ словомъ, если онъ и могъ *примиряться* моментально съ демономъ своимъ, и даже самъ могъ пускаться оправдывать «практичность» свою въ разговорахъ съ людьми, то оставалось ли такое примиреніе и успокоеніе навѣчно, или, напротивъ, улетало мгновенно изъ сердца, оставляя по себѣ еще жгуче боль, стыдъ и угрызенія? Тогда, — если бъ только можно было рѣшить этотъ вопросъ — тогда намъ что жъ бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что, будучи не въ силахъ совладать съ соблазнами своими, онъ не покончилъ съ собой, напримѣръ, какъ тотъ древній печерскій многострадалецъ, который, тоже будучи не въ силахъ совладать съ зміемъ страсти, его мучившей, закопалъ себя по поясъ въ землю и умеръ, если не изгнавъ своего демона, то ужъ, конечно, побѣдивъ его. Въ такомъ случаѣ, мы сами, т. е. каждый изъ насъ, очутились бы въ унизительномъ и комическомъ положеніи, если бъ осмѣлились брать на себя роль судей, произносящихъ такіе приговоры. Тѣмъ не менѣе поэтъ, который самъ написалъ о себѣ:

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ,

тѣмъ самымъ какъ бы и призналъ надъ собой судъ людей какъ «гражданъ». Какъ лицамъ намъ бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то изъ насъ? Мы только не говоримъ лишь о себѣ вслухъ и прячемъ нашу мерзость, съ которою вполнѣ миримся,

внутри себя. Поэтъ плакалъ, можетъ быть, о такихъ дѣлахъ своихъ, отъ которыхъ мы бы и не поморщились, если бъ совершили ихъ. Вѣдь мы знаемъ о паденіяхъ его, о демонѣ его изъ его же стиховъ. Не было бы этихъ стиховъ, которые онъ въ покаянной искренности своей не убоялся огласить, то и все, что говорилось о немъ какъ о человѣкѣ, о «практичности» его и о прочемъ — все это умерло бы само собою, и стерлось бы изъ памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни, такъ что всякое оправданіе его оказалось бы вовсе и не нужнымъ ему. Замѣчу кстати, что для практическаго и столь умѣющаго обдѣлывать дѣла свои человѣка дѣйствительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а, стало быть, онъ, можетъ быть, вовсе былъ не столь практиченъ, какъ иные утверждаютъ о немъ. Тѣмъ не менѣе, повторяю, на судъ гражданъ онъ долженъ идти, ибо самъ призналъ этотъ судъ. Такимъ образомъ, если бъ тотъ вопросъ, который поставился у насъ выше: удовлетворялся ли поэтъ стихами своими, въ которые облекалъ свои слезы, и примирялся ли съ собою до того спокойствія, которое опять позволяло ему пускаться съ легкимъ сердцемъ въ «практичность», или же, напротивъ того, — примиренія бывали лишь моментальныя, такъ что онъ самъ презиралъ себя, можетъ быть, за позоръ ихъ, потомъ мучился еще горьче и больше, и такъ во всю жизнь,—если бъ этотъ вопросъ, повторяю, могъ бы быть разрѣшенъ въ пользу второго предположенія, то ужъ, конечно, тогда мы бы тотчасъ могли примириться и съ «гражданиномъ» — Некрасовымъ, ибо собственныя страданія его очистили бы передъ нами вполнѣ нашу память о немъ. Разумѣется, тутъ сейчасъ является возраженіе: если вы не въ силахъ разрѣшить такой вопросъ (а кто можетъ его разрѣшить?), то и ставить его не надо было. Но въ томъ то и дѣло, что его можно разрѣшить. Есть свидѣтель, который можетъ его разрѣшить. Этотъ свидѣтель — народъ.

То есть любовь къ народу! И, во-первыхъ, для чего бы «практическому» человѣку такъ увлекаться любовью къ народу. Всякій занятъ своимъ дѣломъ: одинъ практичностью, другой печалью по народѣ. Ну, положимъ, прихоть, такъ вѣдь поигралъ и отсталъ. А Некрасовъ не отставалъ всю жизнь. Скажутъ: народъ для него — эта та же «Гекуба», предметъ слезъ, облеченныхъ въ стихи и дающихъ доходъ. Но я уже не говорю о томъ, что трудно до того поддѣлать такую искренность любви, какая слышится въ стихахъ Некрасова (объ этомъ споръ можетъ быть безконечный), но я о томъ только скажу, что мнѣ ясно, почему Некрасовъ такъ любилъ народъ, по-

чему его такъ тянуло къ нему въ тяжелыя минуты жизни, почему онъ шелъ къ нему и что находилъ у него. Потому, какъ сказалъ я выше, что любовь къ народу была у Некрасова какъ бы *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ*. Поставьте это, примите это — и вамъ ясенъ весь Некрасовъ, и какъ поэтъ и какъ гражданинъ. Въ служеніи сердцемъ своимъ и талантомъ своимъ народу онъ находилъ все свое очищеніе передъ самимъ собой. Народъ былъ настоящею внутреннею потребностью его не для однихъ стиховъ. Въ любви къ нему онъ находилъ свое оправданіе. Чувствами своими къ народу онъ возвышалъ духъ свой. Но что главное, это то, что онъ не нашелъ предмета любви своей, между людей, окружавшихъ его, или въ томъ, что чтутъ эти люди и передъ чѣмъ они преклоняются. Онъ отрывался, напротивъ, отъ этихъ людей и уходилъ къ оскорбленнымъ, къ терпящимъ, къ простодушнымъ, къ униженнымъ, когда нападало на него отвращеніе къ той жизни, которой онъ минутами слабодушно и порочно отдавался; онъ шелъ и бился о плиты бѣднаго сельскаго родного храма и получалъ исцѣленіе. Не избралъ бы онъ себѣ такой исходъ, *если бъ не вѣрилъ въ него*. Въ любви къ народу онъ находилъ нѣчто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исходъ всему, что его мучило. А если такъ, то, стало быть, и не находилъ ничего святѣе, незыблемѣе, истиннѣе, передъ чѣмъ преклоняться. Не могъ же онъ полагать все самооправданіе лишь въ стишкахъ о народѣ. А коли такъ, то, стало быть, и онъ преклонялся передъ *правдой народною*. Если не нашелъ ничего въ своей жизни болѣе достойнаго любви, какъ народъ, то, стало быть, призналъ и *истину народную* и *истину въ народѣ*, и что истина есть и сохраняется лишь въ народѣ. Если не вполнѣ сознательно, не въ убѣжденіяхъ признавалъ онъ это, то сердцемъ признавалъ, неудержимо, неотразимо. Въ этомъ порочномъ мужикѣ, униженный и унизительный образъ котораго такъ его мучилъ, онъ находилъ, стало быть, и что-то истинное и святое, что не могъ не почитать, на что не могъ не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ. Въ этомъ смыслѣ я и поставилъ его, говоря выше объ его литературномъ значеніи, тоже въ разрядъ тѣхъ, которые признавали правду народную. Вѣчное же исканіе этой правды, вѣчная жажда, вѣчное стремленіе къ ней свидѣтельвуютъ явно, повторяю это, о томъ, что его влекла къ народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не можетъ не свидѣтельствовать и о внутренней, всегдашней, вѣчной тоскѣ его, тоскѣ не прекращавшейся, не утолявшейся никакими

хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданіями. А если такъ, то онъ, стало быть, страдалъ всю свою жизнь... И какіе же мы судьи его послѣ того? Если и судьи, то не обвинители.

Некрасовъ есть русскій историческій типъ, одинъ изъ крупныхъ примѣровъ того, до какихъ противорѣчій и до какихъ раздвоеній, въ области нравственной и въ области убѣжденій, можетъ доходить русскій человѣкъ въ наше печальное, переходное время. Но этотъ человѣкъ остался въ нашемъ сердцѣ. Порывы любви этого поэта такъ часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремленіе же его къ народу столь высоко, что ставитъ его, какъ поэта, на высшее мѣсто. Что же до человѣка, до гражданина, то, опять таки, любовью къ народу и страданіемъ по немъ онъ оправдалъ себя самъ и многое искупилъ, если и дѣйствительно было что искупить...

V.

Къ читателямъ.

Декабрьскій и послѣдній выпускъ «Дневника» такъ сильно запоздалъ по двумъ причинамъ: по болѣзненному моему состоянію въ продолженіе всего декабря и вслѣдствіе непредвидѣннаго перехода въ другую типографію изъ прежней, прекратившей свою дѣятельность. На новомъ непривычномъ мѣстѣ неизбѣжно затянулось дѣло. Во всякомъ случаѣ беру вину на себя и испрашиваю всего снисхожденія читателей.

На многочисленные вопросы моихъ подписчиковъ и читателей о томъ: не могу ли я хотя время отъ времени выпускать №№ «Дневника» въ будущемъ 1878 году, не стѣсняя себя ежемѣсячнымъ срокомъ, спѣшу отвѣчать, что, по многимъ причинамъ, это мнѣ невозможно. Можетъ быть, рѣшусь выдать одинъ выпускъ и еще разъ поговорить съ моими читателями. Я вѣдь издавалъ мой листокъ сколько для другихъ, столько и для себя самого, изъ неудержимой потребности высказаться въ наше любопытное и столь характерное время. Если выдамъ хоть одинъ выпускъ, оповѣщу о томъ въ газетахъ. Не думаю, что буду писать въ другихъ изданіяхъ. Въ другихъ изданіяхъ я могу помѣстить лишь повѣсть или романъ. Въ этотъ годъ отдыха отъ *срочнаго* изданія я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня

въ эти два года изданія «Дневника» непримѣтно и невсльно. Но «Дневникъ» я твердо надѣюсь возобновить черезъ годъ. Отъ всего сердца благодарю всѣхъ, столь горячо заявившихъ мнѣ о своемъ сочувствіи. Тѣмъ, которые писали мнѣ, что я оставляю свое изданіе въ самое горячее время, замѣчу, что черезъ годъ наступитъ время, можетъ быть, еще горячѣе, еще характернѣе, и тогда еще разъ послужимъ вмѣстѣ доброму дѣлу.

Я пишу: *вмѣстѣ,* потому что прямо считаю многочисленныхъ корреспондентовъ моихъ моими сотрудниками. Мнѣ много помогли ихъ сообщенія, замѣчанія, совѣты и та искренность, съ которою всѣ обращались ко мнѣ. Какъ жалѣю, что столь многимъ не могъ отвѣтить, за неимѣніемъ времени и здоровья. Прошу вновь у всѣхъ, которымъ не отвѣтилъ до сихъ поръ, ихъ добраго, благодушнаго снисхожденія. Особенно виноватъ передъ многими изъ писавшихъ ко мнѣ въ послѣдніе три мѣсяца. Той особѣ, которая писала «о тоскѣ бѣдныхъ мальчиковъ, и что она не знаетъ, что имъ сказать» (писавшая, вѣроятно, узнаетъ себя по этимъ выраженіямъ) — пользуюсь теперь послѣднимъ случаемъ сообщить, что я глубоко я всѣмъ сердцемъ былъ заинтересованъ письмомъ ея. Если бъ только возможно было, то я бы напечаталъ мой отвѣтъ на ея письмо въ «Дневникѣ», и лишь потому оставилъ мою мысль, что перепечатать все письмо ея нашелъ невозможнымъ. А между тѣмъ оно такъ ярко свидѣтельствуетъ о горячемъ, благородномъ настроеніи въ большей части нашей молодежи, о такомъ искреннемъ желаніи ея послужить всякому доброму дѣлу на общее благо. Скажу этой корреспонденткѣ лишь одно: можетъ быть, русская-то женщина и спасетъ насъ всѣхъ, все общество наше, новой возродившейся въ ней энергіей, самой благороднѣйшей жаждой *дѣлать дѣло* и это до жертвы, до подвига. Она пристыдитъ бездѣятельность другихъ силъ и увлечетъ ихъ за собою, а сбившихся съ дороги воротитъ на истинный путь. Но довольно; отвѣчаю многоуважаемой корреспонденткѣ здѣсь въ «Дневникѣ» на всякій случай, такъ какъ подозрѣваю, что прежній, сообщенный ею адресъ ея теперь уже не могъ бы служить.

Очень многимъ корреспондентамъ я потому не могъ отвѣтить на ихъ вопросы, что на такія важныя, на такія живыя темы, которыми они столь интересуются, и нельзя отвѣчать въ письмахъ. Тутъ нужно писать статьи, цѣлыя книги даже, а не письма. Письмо не можетъ не заключать недомолвокъ, недоумѣній. Объ иныхъ темахъ рѣшительно нельзя переписываться.

Той особѣ, которая просила меня заявить въ «Днев-

никѣ», что я получилъ ея письмо о братѣ ея, убитомъ въ теперешнюю войну, спѣшу сообщить, что меня искренно тронули и потрясли и ея скорбь о потерянномъ другѣ и братѣ, и въ то же время и ея восторгъ о томъ, что ея братъ послужилъ прекрасному дѣлу. Съ удовольствіемъ спѣшу сообщить этой особѣ, что я встрѣтилъ здѣсь одного молодого человѣка, знавшаго покойнаго лично и подтвердившаго все, что она мнѣ писала о немъ.

Корреспонденту, написавшему мнѣ длинное письмо (на 5 листахъ) о Красномъ Крестѣ, сочувственно жму руку, и искренно благодарю его и прошу не оставлять переписки и впредь. Я непремѣнно вышлю ему то, о чемъ онъ просилъ.

Нѣсколькимъ корреспондентамъ, спрашивающимъ меня недавно *по пунктамъ*, непремѣнно буду отвѣчать каждому особо, равно какъ и спрашивавшему о томъ: «кто есть стрюцкій?» (Надѣюсь, корреспонденты узнаютъ себя по этимъ выраженіямъ.) Корреспондентовъ изъ Минска и изъ Витебска особенно прошу извинить меня, что такъ замедлилъ имъ отвѣчать. Отдохнувъ, примусь за отвѣты и отвѣчу всѣмъ по возможности. Итакъ, пусть не сѣтуютъ и пусть подождутъ на мнѣ.

Мой адресъ остается прежнимъ, прошу лишь означать домъ и улицу, а не адресовать въ редакцію «Дневника писателя».

Еще разъ всѣхъ благодарю. Авось до близкаго и счастливаго свиданія. Время теперь славное, но тяжелое и роковое. Какъ много виситъ на волоскѣ именно въ настоящую минуту, и какъ-то заговоримъ обо всемъ этомъ черезъ годъ!

Дневникъ писателя.

Единственный выпускъ

за 1880 г.

АВГУСТЪ.

Глава первая.

I.

Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже Рѣчи о Пушкинѣ.

Рѣчь моя о Пушкинѣ и о значеніи его, помѣщаемая ниже и составляющая основу содержанія настоящаго выпуска «Дневника писателя» (единственнаго выпуска за 1880 годъ) [1], была произнесена 8 іюня сего года въ торжественномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, при многочисленной публикѣ, и произвела значительное впечатлѣніе. Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, сказавшій тутъ же о себѣ, что его считаютъ всѣ какъ бы предводителемъ славянофиловъ, заявилъ съ каѳедры, что моя рѣчь «составляетъ событіе». Не для похвальбы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вотъ что: Если моя рѣчь составляетъ событіе, то только съ одной и единственной точки зрѣнія, которую обозначу ниже. Для сего и пишу это предисловіе. Собственно же въ рѣчи моей я хотѣлъ обозначить лишь слѣдующіе четыре пункта въ значеніи Пушкина для Россіи.

1) То, что Пушкинъ первый, своимъ глубоко прозорливымъ и геніальнымъ умомъ и чисто русскимъ сердцемъ своимъ отыскалъ и отмѣтилъ главнѣйшее и болѣзненное явленіе нашего интеллигентнаго, исторически оторваннаго отъ почвы общества, возвысившагося надъ на-

---

[1] Изданіе „Дневника писателя" надѣюсь возобновить въ будущемъ 1881 году, если позволитъ мое здоровье.

родомъ. Онъ отмѣтилъ и выпукло поставилъ передъ нами отрицательный типъ нашъ, человѣка безпокоющагося и не примиряющагося, въ родную почву и въ родныя силы ея не вѣрующаго, Россію и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникшій надъ родной почвой нашей) въ концѣ концовъ отрицающаго, дѣлать съ другими не желающаго и искренно страдающаго. Алеко и Онѣгинъ породили потомъ множество подобныхъ себѣ въ нашей художественной литературѣ. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкіе, Болконскіе (въ «Войнѣ и Мірѣ» Льва Толстого) и множество другихъ, уже появленіемъ своимъ засвидѣтельствовавшіе о правдѣ первоначально данной мысли Пушкинымъ. Ему честь и слава, его громадному уму и генію, отмѣтившему самую больную язву составившагося у насъ послѣ великой Петровской реформы общества. Его искусному діагнозу мы обязаны обозначеніемъ и распознаніемъ болѣзни нашей, и онъ же, онъ первый, далъ и утѣшеніе: ибо онъ же далъ и великую надежду, что болѣзнь эта не смертельна, и что руское общество можетъ быть излѣчено, можетъ вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится къ правдѣ народной, ибо

2) онъ первый (именно первый, а до него никто) далъ намъ художественные типы красоты русской, вышедшей прямо изъ духа русскаго, обрѣтавшейся въ народной правдѣ, въ почвѣ нашей, и имъ въ ней отысканные. Свидѣтельствуютъ о томъ типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя отъ наносной лжи, типы историческіе, какъ, напримѣръ, Инокъ и другіе въ «Борисѣ Годуновѣ», типы бытовые, какъ въ «Капитанской дочкѣ», и во множествѣ другихъ образовъ, мелькающихъ въ его стихотвореніяхъ, въ разсказахъ, въ запискахъ, даже въ «Исторіи Пугачевскаго бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть — это то, что всѣ эти типы положительной красоты человѣка русскаго и души его взяты всецѣло изъ народа. Тутъ уже надобно говорить всю правду: не въ нынѣшней нашей цивилизаціи, не въ «европейскомъ» такъ называемомъ образованіи (котораго у насъ, къ слову сказать, никогда и не было), не въ уродливостяхъ внѣшне-усвоенныхъ европейскихъ идей и формъ указалъ Пушкинъ эту красоту, а единственно въ народномъ духѣ нашелъ ее и *только въ немъ*. Такимъ образомъ, повторяю, обозначивъ болѣзнь, далъ и великую надежду: «Увѣруйте въ духъ народный и отъ него единаго ждите спасенія и будете спасены». Вникнувъ въ Пушкина, не сдѣлать такого вывода невозможно.

Третій пунктъ, который я хотѣлъ отмѣтить въ зна-

ченіи Пушкина, есть та особая характернѣйшая и не встрѣчаемая кромѣ него нигдѣ и ни у кого черта художественнаго генія — способность всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй, перевоплощенія почти совершеннаго. Я сказалъ въ моей рѣчи, что въ Европѣ были величайшіе художественные міровые геніи: Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого изъ нихъ не видимъ этой способности, а видимъ ее только у Пушкина. Не въ отзывчивости одной тутъ дѣло, а именно въ изумляющей полнотѣ перевоплощенія. Эту способность, понятно, я не могъ не отмѣтить въ оцѣнкѣ Пушкина, именно какъ характернѣйшую особенность его генія, принадлежащую изъ всѣхъ всемірныхъ художникомъ ему только одному, чѣмъ и отличается онъ отъ нихъ отъ всѣхъ. Но не для умаленія такой величины европейскихъ геніевъ какъ Шекспиръ и Шиллеръ сказалъ я это; такой глупенькій выводъ изъ моихъ словъ могъ бы сдѣлать только дуракъ. Всемірность, *всепонятность* и неизслѣдимая глубина міровыхъ типовъ человѣка арійскаго племени, данныхъ Шекспиромъ на вѣки вѣковъ, не подвергается мною ни малѣйшему сомнѣнію. И если бъ Шекспиръ создалъ Отелло дѣйствительно *венеціанскимъ* мавромъ, а не англичаниномъ, то только придалъ бы ему ореолъ мѣстной національной характерности, міровое же значеніе этого типа осталось бы попрежнему то же самое, ибо и въ итальянцѣ онъ выразилъ бы то же самое, что хотѣлъ сказать, съ такою же силою. Повторяю, не на міровое значеніе Шекспировъ и Шиллеровъ хотѣлъ я посягнуть, обозначая геніальнѣйшую способность Пушкина перевоплощаться въ геніи чужихъ націй, а желая лишь въ самой этой способности и въ полнотѣ ея отмѣтить великое и пророческое для насъ указаніе, ибо

4) способность эта есть всецѣло способность русская, національная, и Пушкинъ только дѣлитъ ее со всѣмъ народомъ нашимъ, и, какъ совершеннѣйшій художникъ, онъ есть и совершеннѣйшій выразитель этой способности, по крайней мѣрѣ, въ своей дѣятельности, въ дѣятельности художника. Народъ же нашъ именно заключаетъ въ душѣ своей эту склонность къ всемірной отзывчивости и къ всепримиренію и уже проявилъ ее во все двухсотлѣтіе съ Петровской реформы не разъ. Обозначая эту способность народа нашего, я не могъ не выставить въ то же время, въ фактѣ этомъ, и великаго утѣшенія для насъ въ нашемъ будущемъ, великой и, можетъ быть, величайшей надежды нашей, свѣтящей намъ впереди. Главное, я обозначилъ то, что стремленіе наше въ Европу, даже со всѣми увлеченіями и крайностями его, было не только

законно и разумно, *въ основаніи своемъ*, но и народно, совпадало вполнѣ съ стремленіями самого духа народнаго, а въ концѣ концовъ безспорно имѣетъ и высшую цѣль. Въ краткой, слишкомъ краткой рѣчи моей, я, конечно, не могъ развить мою мысль во всей полнотѣ, но, по крайней мѣрѣ, то, что высказано, кажется, ясно. И не надо, не надо возмущаться сказаннымъ мною: «что нищая земля наша, можетъ быть, въ концѣ концовъ скажетъ новое слово міру». Смѣшно тоже и увѣрять, что прежде чѣмъ сказать новое слово міру «надобно намъ самимъ развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о «новыхъ словахъ» такимъ совершеннымъ (будто бы) организмамъ, какъ народы Европы». Я именно напираю въ моей рѣчи, что и не пытаюсь равнять русскій народъ съ народами западными въ сферахъ ихъ экономической славы, или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что геній народа русскаго, можетъ быть, наиболѣе способны, изъ всѣхъ народовъ, вмѣстить въ себѣ идею всечеловѣческаго единенія, братской любви, трезваго взгляда, прощающаго враждебное, различающаго и извиняющаго несходное, снимающаго противорѣчія. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь *нравственная* черта, и можетъ ли кто отрицать и оспорить, что ея нѣтъ въ народѣ русскомъ? Можетъ ли кто сказать, что русскій народъ есть только косная масса, осужденная лишь служить *экономически* преуспѣянію и развитію европейской интеллигенціи нашей, возвысившейся надъ народомъ нашимъ, сама же въ себѣ заключаетъ лишь мертвую косность, отъ которой ничего и не слѣдуетъ ожидать и на которую совсѣмъ нечего возлагать никакихъ надеждъ? Увы, такъ многіе утверждаютъ, но я рискнулъ объявить иное. Повторяю, я, конечно, не могъ доказать «этой фантазіи моей», какъ я самъ выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не могъ и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не можетъ заключать въ себѣ столь высокія стремленія, пока не сдѣлается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелѣпость. Основныя нравственныя сокровища духа, въ основной сущности своей, по крайней мѣрѣ, не зависятъ отъ экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кромѣ высшаго слоя своего, вся сплошь какъ одинъ человѣкъ. Всѣ восемьдесятъ милліоновъ ея населенія представляютъ собою такое духовное единеніе, какого, конечно, въ Европѣ нѣтъ нигдѣ и не можетъ быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смыслѣ нельзя сказать, что

и нищая. Напротивъ, въ Европѣ, въ этой Европѣ, гдѣ накоплено столько богатствъ, все гражданское основаніе всѣхъ европейскихъ націй — все подкопано и, можетъ быть, завтра же рухнетъ безслѣдно на вѣки вѣковъ, а взамѣнъ наступитъ нѣчто неслыханно-новое, ни на что прежнее не похожее. И всѣ богатства, накопленныя Европой, не спасутъ ее отъ паденія, ибо «въ одинъ мигъ исчезнетъ и богатство». Между тѣмъ, на этотъ, именно на этотъ подкопанный и зараженный ихъ гражданскій строй и указываютъ народу нашему какъ на идеалъ, къ которому онъ долженъ стремиться, и лишь по достиженіи имъ этого идеала осмѣлиться пролепетать свое какое-либо слово Европѣ. Мы же утверждаемъ, что вмѣщать и носить въ себѣ силу любящаго и всеединящаго духа можно и при теперешней экономической нищетѣ нашей, да и не при такой еще нищетѣ какъ теперь: ее можно сохранять и вмѣщать въ себѣ даже и при такой нищетѣ, какая была послѣ нашествія Батыева или послѣ погрома Смутнаго времени, когда единственно всеединящимъ духомъ народнымъ была спасена Россія. И, наконецъ, если ужъ въ самомъ дѣлѣ такъ необходимо надо, для того чтобъ имѣть право любить человѣчество и носить въ себѣ всеединящую душу, для того чтобъ заключать въ себѣ способность не ненавидѣть чужіе народы за то, что они непохожи на насъ; для того чтобъ имѣть желаніе не укрѣпляться отъ всѣхъ въ своей національности, чтобъ ей только одной все досталось, а другія національности считать только за лимонъ, который можно выжать (а народы такого духа вѣдь есть въ Европѣ!) — если и въ самомъ дѣлѣ для достиженія всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народомъ богатымъ и перетащить къ себѣ европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тутъ должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же въ Европѣ рухнетъ)? Неужели и тутъ не дадутъ и не позволятъ русскому организму развиться національно, своей органической силой, а непремѣнно обезличенно, лакейски подражая Европѣ? Да куда же дѣвать тогда русскій-то организмъ? Понимаютъ ли эти господа, что такое организмъ? А еще толкуютъ о естественныхъ наукахъ! «Этого народъ не позволитъ», сказалъ по одному поводу, года два назадъ, одинъ собесѣдникъ одному ярому западнику. «Такъ уничтожить народъ!» — отвѣтилъ западникъ спокойно и величаво. И былъ онъ не кто-нибудь, а одинъ изъ представителей нашей интеллигенціи. Анекдотъ этотъ вѣренъ.

Четырьмя этими пунктами я обозначилъ значеніе для насъ Пушкина, и рѣчь моя, повторяю, произвела впечат-

лѣніе. Не заслугами своими произвела она это впечатлѣніе (я напираю на это), не талантливостью изложенія (соглашаюсь въ этомъ со всѣми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ея, и, осмѣлюсь сказать это,— нѣкоторою неотразимостью выставленныхъ мною фактовъ, несмотря на всю краткость и неполноту моей рѣчи. Но въ чемъ же, однако, заключалось «событіе»-то, какъ выразился Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ? А вотъ именно въ томъ, что славянофилами, или такъ называемой русской партіей (Боже, у насъ есть «русская партія»!) сдѣланъ былъ огромный и окончательный, можетъ быть, шагъ къ примиренію съ западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремленія западниковъ въ Европу, всю законность даже самыхъ крайнихъ увлеченій и выводовъ ихъ, и объяснили эту законность чисто русскимъ народнымъ стремленіемъ нашимъ, совпадаемымъ съ самимъ духомъ народнымъ. Увлеченія же оправдали — историческою необходимостью, историческимъ фатумомъ, такъ что въ концѣ концовъ и въ итогѣ, если когда-нибудь будетъ онъ подведенъ, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской землѣ и стремленіямъ духа ея, какъ и всѣ тѣ чисто русскіе люди, которые искренно любили родную землю и слишкомъ, можетъ быть, ревниво оберегали ее доселѣ отъ всѣхъ увлеченій «русскихъ иноземцевъ». Объявлено было, наконецъ, что всѣ недоумѣнія между обѣими партіями и всѣ злыя препиранія между ними были доселѣ лишь однимъ великимъ недоразумѣніемъ. Вотъ это-то и могло бы стать, пожалуй, «событіемъ», ибо представители славянофильства тутъ же, сейчасъ же послѣ рѣчи моей, вполнѣ согласились со всѣми ея выводами. Я же заявляю теперь — да и заявилъ это въ самой рѣчи моей, — что честь этого новаго шага (если только искреннѣйшее желаніе примиренія составляетъ честь), что заслуга этого новаго, если хотите, слова вовсе не мнѣ одному принадлежитъ, а всему славянофильству, всему духу и направленію «партіи» нашей, что это всегда было ясно для тѣхъ, которые безпристрастно вникали въ славянофильство, что идея, которую я высказалъ, была уже не разъ если не высказываема, то указываема ими. Я же сумѣлъ лишь во время уловить минуту. Теперь вотъ заключеніе: если западники примутъ нашъ выводъ и согласятся съ нимъ, то и впрямь, конечно, уничтожатся всѣ недоразумѣнія между обѣими партіями, такъ что «западникамъ и славянофиламъ не о чемъ будетъ и спорить, какъ выразился Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, такъ какъ все отнынѣ разъяснено». Съ этой точки зрѣнія, конечно, рѣчь моя была бы «событіемъ». Но увы,

слово «событіе» произнесено было лишь въ искреннемъ увлеченіи съ одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь въ идеалѣ, это уже совсѣмъ другой вопросъ. Рядомъ съ славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мнѣ руку, тутъ же на эстрадѣ, едва лишь я сошелъ съ каѳедры, подошли ко мнѣ пожать мою руку и западники, и не какіе-нибудь изъ нихъ, а передовые представители западничества, занимающіе въ немъ первую роль, особенно теперь. Они жали мнѣ руку съ такимъ же горячимъ и искреннимъ увлеченіемъ, какъ славянофилы, и называли мою рѣчь геніальною, и нѣсколько разъ, напирая на слово это, произнесли, что она геніальна. Но боюсь, боюсь искренно, не въ первыхъ ли «попыхахъ» увлеченія произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся отъ мнѣнія своего, что моя рѣчь геніальна, я вѣдь и самъ знаю, что она не генільна и нисколько не былъ обольщенъ похвалами, такъ что отъ всего сердца прощу имъ ихъ разочарованіе въ моей геніальности, — но вотъ что, однакоже, можетъ случиться, вотъ что могутъ сказать западники чуть-чуть подумавъ: (Nota bene: я не о тѣхъ пишу, которые жали мнѣ руку, я лишь вообще о западникахъ теперь скажу, на это я напираю): «А, — скажутъ, можетъ быть, западники (слышите: только «можетъ быть», не болѣе), — а, вы согласились таки, наконецъ, послѣ долгихъ споровъ и препираній, что стремленіе наше въ Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей сторонѣ тоже была правда, и склонили ваши знамена — что жъ, мы принимаемъ ваше признаніе радушно и спѣшимъ заявить вамъ, что съ вашей стороны это даже довольно недурно: обозначаетъ, по крайней мѣрѣ, въ васъ нѣкоторый умъ, въ которомъ, впрочемъ, мы вамъ никогда не отказывали, за исключеніемъ развѣ самыхъ тупѣйшихъ изъ нашихъ, за которыхъ мы отвѣчать не хотимъ и не можемъ, — но... тутъ, видите ли, является опять нѣкоторая новая запятая, и это надобно какъ можно скорѣе разъяснить. Дѣло въ томъ, что ваше-то положеніе, вашъ-то выводъ о томъ, что мы въ увлеченіяхъ нашихъ совпадали будто бы съ народнымъ духомъ и таинственно направлялись имъ, ваше-то положеніе — все-таки остается для насъ болѣе чѣмъ сомнительнымъ, а потому и соглашеніе между нами опять таки становится невозможнымъ. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ея и реформой Петра, но ужъ отнюдь не духомъ народа нашего, ибо духа этого мы не встрѣчали и не обоняли на нашемъ пути, напротивъ — оставили его назади и поскорѣе отъ него убѣжали. Мы съ самаго начала пошли самостоятельно, а вовсе не слѣ-

дуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русскаго ко всемірной отзывчивости и къ соединенію человѣчества, — ну, однимъ словомъ, ко всему тому, о чемъ вы теперь столько наговорили. Въ народѣ русскомъ, такъ какъ ужъ пришло время высказаться вполнѣ откровенно, мы попрежнему видимъ лишь косную массу, у которой намъ нечему учиться, тормазящую, напротивъ, развитіе Россіи къ прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и передѣлать, — если ужъ невозможно и нельзя органически, то, по крайней мѣрѣ, механически, то есть попросту заставивъ ее разъ навсегда насъ слушаться, во вѣки вѣковъ. А чтобы достигнуть сего послушанія, вотъ и необходимо усвоить себѣ гражданское устройство точь-въ-точь какъ въ европейскихъ земляхъ, о которыхъ именно пошла рѣчь. Собственно же народъ нашъ нищъ и смердъ, какимъ онъ былъ всегда, и не можетъ имѣть ни лица, ни идеи. Вся исторія народа нашего есть абсурдъ, изъ котораго вы до сихъ поръ чертъ знаетъ что выводили, а смотрѣли только мы трезво. Надобно, чтобъ такой народъ какъ нашъ — не имѣлъ исторіи, а то, что имѣлъ подъ видомъ исторіи, должно быть съ отвращеніемъ забыто имъ, все цѣликомъ. Надобно, чтобъ имѣло исторію лишь одно наше интеллигентное общество, которому народъ долженъ служить лишь своимъ трудомъ и своими силами».

«Позвольте, не безпокойтесь и не кричите: не закабалить народъ нашъ мы хотимъ, говоря о послушаніи его, о, конечно нѣтъ! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишкомъ знаете это. Напротивъ, мы намѣрены образовать народъ нашъ помаленьку, въ порядкѣ, и увѣнчать наше зданіе, вознеся народъ до себя и передѣлавъ его національность уже въ иную, какая тамъ сама наступитъ послѣ образованія его. Образованіе же его мы оснуемъ и начнемъ съ чего сами начали, т. е. на отрицаніи имъ всего его прошлаго и на проклятіи, которому онъ самъ долженъ предать свое прошлое. Чуть мы выучимъ человѣка изъ народа грамотѣ, тотчасъ же и заставимъ его нюхнуть Европы, тотчасъ же начнемъ обольщать его Европой, ну, хотя бы утонченностью быта, приличій, костюма, напитковъ, танцевъ, — словомъ, заставимъ его устыдиться своего прежняго лаптя и квасу, устыдиться своихъ древнихъ пѣсенъ, и хотя изъ нихъ есть нѣсколько прекрасныхъ и музыкальныхъ, но мы все-таки заставимъ его пѣть рифмованный водевиль, сколько бы вы тамъ ни сердились на это. Однимъ словомъ, для доброй цѣли мы, многочисленнѣйшими и всякими средствами, подѣйствуемъ прежде всего на слабыя струны ха-

рактера, какъ и съ нами было, и тогда народъ — нашъ. Онъ застыдится своего прежняго и проклянетъ его. Кто проклянетъ свое прежнее, тотъ уже нашъ, — вотъ наша формула! — Мы ее всецѣло приложимъ, когда примемся возносить народъ до себя. Если же народъ окажется неспособнымъ къ образованію, то — «устранить народъ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народъ нашъ есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тутъ дѣлать: въ интеллигенціи и въ Европѣ лишь правда, а потому хоть у васъ и восемьдесятъ милліоновъ народу (чѣмъ вы, кажется, хвастаетесь), но всѣ эти милліоны должны прежде всего послужить этой европейской правдѣ, такъ какъ другой нѣтъ и не можетъ быть. Количествомъ же милліоновъ насъ не испугаете. Вотъ всегдашній нашъ выводъ, только теперь ужъ во всей наготѣ, и мы остаемся при немъ. Не можемъ же мы, принявъ нашъ выводъ, толковать вмѣстѣ съ вами, напримѣръ, о такихъ странныхъ вещахъ какъ le Pravoslavié и какое-то будто бы особое значеніе его. Надѣемся, что вы отъ насъ хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда послѣднее слово Европы и европейской науки въ общемъ выводѣ есть атеизмъ, просвѣщенный и гуманный, а мы не можемъ же не идти за Европой».

«А потому ту половину произнесенной рѣчи, въ которой вы высказываете намъ похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять съ извѣстными ограниченіями, такъ и быть, сдѣлаемъ вамъ эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится къ вамъ и ко всѣмъ этимъ вашимъ «началамъ» — ужъ извините, мы не можемъ принять»... Вотъ какой можетъ быть грустный выводъ. Повторяю: я не только не осмѣлюсь вложить этотъ выводъ въ уста тѣхъ западниковъ, которые жали мнѣ руку, но и въ уста многихъ, очень многихъ, просвѣщеннѣйшихъ изъ нихъ, русскихъ дѣятелей и вполнѣ русскихъ людей, несмотря на ихъ теоріи, почтенныхъ и уважаемыхъ русскихъ гражданъ. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцевъ, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, — всѣ эти смерды-то «направленія» (а ихъ какъ песку морского), о, тамъ непремѣнно наскажутъ въ этомъ родѣ и, можетъ быть, даже ужъ и насказали. (Nota bene. Насчетъ вѣры, напримѣръ, уже было заявлено въ одномъ изданіи, со всѣмъ свойственнымъ ему остроуміемъ, что цѣль славянофиловъ это перекрестить всю Европу въ православіе.) Но отбросимъ мрачныя мысли и будемъ надѣяться на передовыхъ представителей нашего европеизма. И если они примутъ

хоть только половину нашего вывода и нашихъ надеждъ на нихъ, то честь имъ и слава и за это, и мы встрѣтимъ ихъ въ восторгѣ нашего сердца. Если даже одну половину примутъ они, т. е. признаютъ хоть самостоятельность и личность русскаго духа, законность его бытія и человѣколюбивое, всеединяющее его стремленіе, то и тогда уже будетъ почти не о чемъ спорить, по крайней мѣрѣ изъ основного, изъ главнаго. Тогда дѣйствительно моя рѣчь послужила бы къ основанію новаго событія. Не она сама, повторяю въ послѣдній разъ, была бы событіемъ (она не достойна такого наименованія), а великое Пушкинское торжество, послужившее событіемъ нашего единенія, — единенія уже всѣхъ образованныхъ и искреннихъ русскихъ людей для будущей прекраснѣйшей цѣли.

Глава вторая.

ПУШКИНЪ.

(Очеркъ.)

Произнесено 8 іюня въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности.

Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа, сказалъ Гоголь. Прибавлю отъ себя: и пророческое. Да, въ появленіи его заключается для всѣхъ насъ, русскихъ, нѣчто безспорно пророческое. Пушкинъ какъ разъ приходитъ въ самомъ началѣ правильнаго самосознанія нашего, едва лишь начавшагося и зародившагося въ обществѣ нашемъ послѣ цѣлаго столѣтія съ Петровской реформы, и появленіе его сильно способствуетъ освѣщенію темной дороги нашей новымъ направляющимъ свѣтомъ. Въ этомъ-то смыслѣ Пушкинъ есть пророчество и указаніе. Я дѣлю дѣятельность нашего великаго поэта на три періода. Говорю теперь не какъ литературный критикъ: касаясь творческой дѣятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческомъ для насъ значеніи его, и что я въ этомъ словѣ разумѣю. Замѣчу, однакоже, мимоходомъ, что періоды дѣятельности Пушкина не имѣютъ, кажется мнѣ, твердыхъ между собою границъ. Начало «*Онѣгина*», напримѣръ, принадлежитъ, по-моему, еще къ первому періоду дѣятельности поэта, а кончается «*Онѣгинъ*» во-вто-

ромъ періодѣ, когда Пушкинъ нашелъ уже свои идеалы въ родной землѣ, воспріялъ и возлюбилъ ихъ всецѣло своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что въ первомъ періодѣ своей дѣятельности Пушкинъ подражалъ европейскимъ поэтамъ, Парни, Андре Шенье и другимъ, особенно Байрону. Да, безъ сомнѣнія, поэты Европы имѣли великое вліяніе на развитіе его генія, да и сохраняли вліяніе это во всю его жизнь. Тѣмъ не менѣе, даже самыя первыя поэмы Пушкина были не однимъ лишь подражаніемъ, такъ что и въ нихъ уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его генія. Въ подражаніяхъ никогда не появляется такой самостоятельности страданія и такой глубины самосознанія, которыя явилъ Пушкинъ, напримѣръ, въ «*Цыганахъ*», — поэмѣ, которую я всецѣло отношу еще къ первому періоду его творческой дѣятельности. Не говорю уже о творческой силѣ и о стремительности, которой не явилось бы столько, если бъ онъ только лишь подражалъ. Въ типѣ Алеко, героѣ поэмы «*Цыганы*», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потомъ въ такой гармонической полнотѣ въ «*Онѣгинѣ*», гдѣ почти тотъ же Алеко является уже не въ фантастическомъ свѣтѣ, а въ осязаемо-реальномъ и понятномъ видѣ. Въ Алеко Пушкинъ уже отыскалъ и геніально отмѣтилъ того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ. Отыскалъ же онъ его, конечно, не у Байрона только. Типъ этотъ вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей Русской землѣ поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнутъ. И если они не ходятъ уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ въ ихъ дикомъ своеобразномъ бытѣ своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонѣ природы отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго — интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходятъ съ новою вѣрой на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобъ успокоиться: дешевле онъ не примирится, — конечно, пока дѣло только въ теоріи. Это все тотъ же русскій человѣкъ, только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ разъ въ началѣ

второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ русскихъ, и тогда, при Пушкинѣ, какъ и теперь, въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казнѣ или на желѣзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читаютъ лекціи — и все это регулярно, лѣниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безо всякаго поползновенія бѣжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мѣста болѣе соотвѣтствующія нашему времени. Много-много что полиберальничаютъ «съ оттѣнкомъ европейскаго соціализма», по которому приданъ нѣкоторый благодушный русскій характеръ, — но вѣдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще и не начиналъ безпокоиться, а другой уже успѣлъ дойти до запертой двери и о нее крѣпко стукнулся лбомъ. Всѣхъ въ свое время то же самое ожидаетъ, если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь «избранныхъ», довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать чрезъ нихъ покоя. Алеко, конечно, еще не умѣетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природѣ, жалоба на свѣтское общество, міровыя стремленія, плачъ о потерянной гдѣ-то и кѣмъ-то правдѣ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ. Тутъ есть немножко Жанъ-Жака Руссо. Въ чемъ эта правда, гдѣ и въ чемъ она могла бы явиться, и когда именно она потеряна, конечно, онъ и самъ не скажетъ, но страдаетъ онъ искренно. Фантастическій и нетерпѣливый человѣкъ жаждетъ спасенія пока лишь преимущественно отъ явленій внѣшнихъ; да такъ и быть должно: «правда, дескать, гдѣ-то внѣ его, можетъ быть, гдѣ-то въ другихъ земляхъ, европейскихъ, напримѣръ, съ ихъ твердымъ историческимъ строемъ, съ ихъ установившеюся общественною и гражданскою жизнью». И никогда-то онъ не пойметъ, что правда прежде всего внутри его самого, да и какъ понять ему это: онъ вѣдь въ своей землѣ самъ не свой, онъ уже цѣлымъ вѣкомъ отученъ отъ труда, не имѣетъ культуры, росъ какъ институтка въ закрытыхъ стѣнахъ, обязанности исполнялъ странныя и безотчетныя по мѣрѣ принадлежности къ тому или другому изъ четырнадцати классовъ, на которые раздѣлено образованное русское общество. Онъ пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка.

И онъ это чувствуетъ и этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно! Ну, и что же въ томъ, что, принадлежа, можетъ быть, къ родовому дворянству и, даже весьма вѣроятно, обладая крѣпостными людьми, онъ позволилъ себѣ, по вольности своего дворянства, маленькую фантазійку прельститься людьми, живущими «безъ закона», и на время сталъ въ цыганскомъ таборѣ водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выраженію одного поэта, всего скорѣе могла подать ему надежду на исходъ тоски его, и онъ съ легкомысленною, но страстною вѣрой бросается къ Земфирѣ: «Вотъ, дескать, гдѣ исходъ мой, вотъ гдѣ, можетъ быть, мое счастье, здѣсь, на лонѣ природы, далеко отъ свѣта, здѣсь, у людей, у которыхъ нѣтъ цивилизаціи и законовъ!» И что же оказывается: при первомъ столкновеніи своемъ съ условіями этой дикой природы онъ не выдерживаетъ и обагряетъ свои руки кровью. Не только для міровой гармоніи, но даже и для цыганъ не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняютъ его — безъ отмщенія, безъ злобы, величаво и простодушно:

Оставь насъ, гордый человѣкъ;
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ.

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человѣкъ» реаленъ и мѣтко схваченъ. Въ первый разъ схваченъ онъ у насъ Пушкинымъ, и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по немъ, и онъ злобно растерзаетъ и казнитъ за свою обиду, или, что даже удобнѣе, вспомнивъ о принадлежности своей къ одному изъ четырнадцати классовъ, самъ возопіетъ, можетъ быть (ибо случалось и это), къ закону терзающему и казнящему, и призоветъ его, только бы отомщена была личная обида его. Нѣтъ, эта геніальная поэма не подражаніе! Тутъ уже подсказывается русское рѣшеніе вопроса, «проклятаго вопроса», по народной вѣрѣ и правдѣ: «Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ», вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму. «Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ; найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ, овладѣй собой, — и узришь правду. Не въ вещихъ эта правда, не внѣ тебя и не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободенъ какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо

наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у цыганъ и нигдѣ міровая гармонія, если ты первый самъ ея недостоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это рѣшеніе вопроса въ поэмѣ Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснѣе выражено оно въ «*Евгеніи Онѣгинѣ*», поэмѣ уже не фантастической, но осязательно реальной, въ которой воплощена настоящая русская жизнь съ такою творческою силою и съ такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и послѣ него, пожалуй.

Онѣгинъ пріѣзжаетъ изъ Петербурга, — непремѣнно изъ Петербурга, это несомнѣнно необходимо было въ поэмѣ, и Пушкинъ не могъ упустить такой крупный реальной черты въ біографіи своего героя. Повторяю опять, это тотъ же Алеко, особенно потомъ, когда онъ восклицаетъ въ тоскѣ:

Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?

Но теперь, въ началѣ поэмы, онъ пока еще на половину фатъ и свѣтскій человѣкъ, и слишкомъ еще мало жилъ, чтобъ успѣть вполнѣ разочароваться въ жизни. Но и его уже начинаетъ посѣщать и безпокоить

Бѣсъ благородный скуки тайной.

Въ глуши, въ сердцѣ своей родины, онъ, конечно, не у себя, онъ не дома. Онъ не знаетъ, что ему тутъ дѣлать, и чувствуетъ себя какъ бы у себя же въ гостяхъ. Впослѣдствіи, когда онъ скитается въ тоскѣ по родной землѣ и по землямъ иностраннымъ, онъ, какъ человѣкъ безспорно умный и безспорно искренній, еще болѣе чувствуетъ себя и у чужихъ себѣ самому чужимъ. Правда, и онъ любитъ родную землю, но ей не довѣряетъ. Конечно, слыхалъ и о родныхъ идеалахъ, но имъ не вѣритъ. Вѣритъ лишь въ полную невозможность какой бы то ни было работы на родной нивѣ, а на вѣрующихъ въ эту возможность, — и тогда, какъ и теперь, немногихъ, смотритъ съ грустною насмѣшкой. Ленскаго онъ убилъ просто отъ хандры, почемъ знать, можетъ быть, отъ хандры по міровому идеалу, — это слишкомъ по-нашему, это вѣроятно. Не такова Татьяна: это типъ твердый, стоящій твердо на своей почвѣ. Она глубже Онѣгина и, конечно, умнѣе его. Она уже однимъ благороднымъ инстинктомъ своимъ предчувствуетъ, гдѣ и въ чемъ правда, что и выразилось въ финалѣ поэмы. Можетъ быть, Пушкинъ даже лучше бы сдѣлалъ, если бы назвалъ свою поэму именемъ Татьяны, а не Онѣгина, ибо без-

спорно она главная героиня поэмы. Это положительный типъ, а не отрицательный, это типъ положительной красоты, это апоѳеозъ русской женщины, и ей предназначилъ поэтъ высказать мысль поэмы въ знаменитой сценѣ послѣдней встрѣчи Татьяны съ Онѣгинымъ. Можно даже сказать, что такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повторялся въ нашей художественной литературѣ — кромѣ развѣ образа Лизы въ «*Дворянскомъ Гнѣздѣ*» Тургенева. Но манера глядѣть свысока сдѣлала то, что Онѣгинъ совсѣмъ даже не узналъ Татьяну, когда встрѣтилъ ее въ первый разъ, въ глуши, въ скромномъ образѣ чистой, невинной дѣвушки, такъ оробѣвшей предъ нимъ съ перваго разу. Онъ не сумѣлъ отличить въ бѣдной дѣвочкѣ законченности и совершенства и дѣйствительно, можетъ быть, принялъ ее за «нравственный эмбріонъ». Это она-то эмбріонъ, это послѣ письма-то ея къ Онѣгину! Если есть кто нравственный эмбріонъ въ поэмѣ, такъ это, конечно, онъ самъ, Онѣгинъ, и это безспорно. Да и совсѣмъ не могъ онъ узнать ее: развѣ онъ знаетъ душу человѣческую? Это отвлеченный человѣкъ, это безпокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узналъ онъ ее и потомъ въ Петербургѣ, въ образѣ знатной дамы, когда, по его же словамъ, въ письмѣ къ Татьянѣ, «постигалъ душой всѣ ея совершенства». Но это только слова: она прошла въ его жизни мимо него неузнанная и неоцѣненная имъ; въ томъ и трагедія ихъ романа. О, если бы тогда, въ деревнѣ, при первой встрѣчѣ съ нею, прибылъ туда же изъ Англіи Чайльдъ-Гарольдъ или даже, какъ-нибудь, самъ лордъ Байронъ и, замѣтивъ ея робкую, скромную прелесть, указалъ бы ему на нее, — о, Онѣгинъ тотчасъ же былъ бы пораженъ и удивленъ, ибо въ этихъ міровыхъ страдальцахъ такъ много подчасъ лакейства духовнаго! Но этого не случилось, и искатель міровой гармоніи, прочтя ей проповѣдь и поступивъ все-таки очень честно, отправился съ міровою тоскою своею и съ пролитою въ глупенькой злости кровью на рукахъ своихъ скитаться по родинѣ, не примѣчая ея и, кипя здоровьемъ и силою, восклицать съ проклятіями:

Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка,
Чего мнѣ ждать, тоска, тоска!

Эта поняла Татьяна. Въ безсмертныхъ строфахъ романа поэтъ изобразилъ ее посѣтившею домъ этого столь чуднаго и загадочнаго еще для нея человѣка. Я уже не говорю о художественности, недосягаемой красотѣ и глубинѣ этихъ строфъ. Вотъ она въ его кабинетѣ,

она разглядываетъ его книги, вещи, предметы, старается угадать по нимъ душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбріонъ» останавливается, наконецъ, въ раздумьѣ, со странною улыбкой, съ предчувствіемъ разрѣшенія загадки, и губы ея тихо шепчутъ:

Ужъ не пародія ли онъ?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. Въ Петербургѣ, потомъ, спустя долго, при новой встрѣчѣ ихъ, она уже совершенно его знаетъ. Кстати, кто сказалъ, что свѣтская, придворная жизнь тлетворно коснулась ея души, и что именно санъ свѣтской дамы и новыя свѣтскія понятія были отчасти причиной отказа ея Онѣгину? Нѣтъ, это не такъ было. Нѣтъ, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротивъ, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдаетъ; она ненавидитъ свой санъ свѣтской дамы, и кто судитъ о ней иначе, тотъ совсѣмъ не понимаетъ того, что хотѣлъ сказать Пушкинъ. И вотъ она твердо говоритъ Онѣгину:

Но я другому отдана,
И буду вѣкъ ему вѣрна.

Высказала она это именно какъ русская женщина, въ этомъ ея апоѳеозъ. Она высказываетъ правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ея религіозныя убѣжденія, про взглядъ на таинство брака — нѣтъ, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за нимъ, несмотря на то, что сама же сказала ему: «я васъ люблю», потому ли, что она, «какъ русская женщина» (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смѣлый шагъ, не въ силахъ порвать свои путы, не въ силахъ пожертвовать обаяніемъ честей, богатства, свѣтскаго своего значенія, условіями добродѣтели? Нѣтъ, русская женщина смѣла. Русская женщина смѣло пойдетъ за тѣмъ, во что повѣритъ, и она доказала это. Но она «другому отдана, и будетъ вѣкъ ему вѣрна». Кому же, чему же вѣрна? Какимъ это обязанностямъ? Этому-то старику генералу, котораго она не можетъ же любить, потому что любитъ Онѣгина, и за котораго вышла потому только, что ее, «съ слезами заклинаній молила мать», а въ обиженной, израненной душѣ ея было тогда лишь отчаяніе и никакой надежды, никакого просвѣта? Да, вѣрна этому генералу, ея мужу, честному человѣку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но вѣдь она, а не кто другая, дала согласіе, она вѣдь, она сама покля-

лась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него съ отчаянія, но теперь онъ ея мужъ, и измѣна ея покроетъ его позоромъ, стыдомъ, и убьетъ его. А развѣ можетъ человѣкъ основать свое счастье на несчастьѣ другого? Счастье не въ однихъ только наслажденіяхъ любви, а и въ высшей гармоніи духа. Чѣмъ успокоить духъ, если назади стоитъ несчастный, безжалостный, безчеловѣчный поступокъ? Ей бѣжать изъ-за того только, что тутъ мое счастье? Но какое же можетъ быть счастье, если оно основано на чужомъ несчастьѣ? Позвольте, представьте, что вы сами возводите зданіе судьбы человѣческой съ цѣлью въ финалѣ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой. И вотъ, представьте себѣ тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человѣческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смѣшное даже на иной взглядъ существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честнаго старика, мужа молодой жены, въ любовь которой онъ вѣритъ слѣпо, хотя сердца ея не знаетъ вовсе, уважаетъ ее, гордится ею, счастливъ ею и покоенъ. И вотъ только его надо опозорить, обезчестить и замучить, и на слезахъ этого обезчещеннаго старика возвести ваше зданіе! Согласитесь ли вы быть архитекторомъ такого зданія на этомъ условіи? Вотъ вопросъ. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которыхъ выстроили это зданіе, согласились бы сами принять отъ васъ такое счастье, если въ фундаментѣ его заложено страданіе, положимъ, хоть и ничтожнаго существа, но безжалостно и несправедливо замученнаго, и, принявъ это счастье, остаться навѣки счастливыми? Скажите, могла ли рѣшить иначе Татьяна, съ ея высокою душой, съ ея сердцемъ, столько пострадавшимъ? Нѣтъ, чистая русская душа рѣшаетъ вотъ какъ: «пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмѣрно сильнѣе, чѣмъ несчастье этого старика, пусть, наконецъ, никто и никогда, а этотъ старикъ тоже, не узнаютъ моей жертвы и не оцѣнятъ ея, но не хочу быть счастливою, загубивъ другого!» Тутъ трагедія, она и совершается, и перейти предѣла нельзя, уже поздно, и вотъ Татьяна отсылаетъ Онѣгина. Скажутъ: да вѣдь несчастенъ же и Онѣгинъ: одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тутъ другой вопросъ, и даже, можетъ быть, самый важный въ поэмѣ. Кстати, вопросъ: почему Татьяна не пошла съ Онѣгинымъ, имѣетъ у насъ, по крайней мѣрѣ въ литературѣ нашей, своего рода исторію весьма характерную, а потому я и позволилъ себѣ такъ объ этомъ вопросѣ рас-

пространиться. И всего характернѣе, что нравственное разрѣшеніе этого вопроса столь долго подвергалось у насъ сомнѣнію. Я вотъ какъ думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если бъ умеръ ея старый мужъ, и она овдовѣла, то и тогда бы она не пошла за Онѣгинымъ. Надобно же понимать всю суть этого характера? Вѣдь она же видитъ, кто онъ такой: вѣчный скиталецъ, увидалъ вдругъ женщину, которою прежде пренебрегъ, въ новой блестящей, недосягаемой обстановкѣ, — да вѣдь въ этой обстановкѣ-то, пожалуй, и вся суть дѣла. Вѣдь этой дѣвочкѣ, которую онъ чуть не презиралъ, теперь поклоняется свѣтъ, — свѣтъ, этотъ страшный авторитетъ для Онѣгина, несмотря на всѣ его міровыя стремленія,— вотъ вѣдь, вотъ почему онъ бросается къ ней ослѣпленный! Вотъ мой идеалъ, восклицаетъ онъ, вотъ мое спасеніе, вотъ исходъ тоски моей, я проглядѣлъ его, а «счастье было такъ возможно; такъ близко!» И какъ прежде Алеко къ Земфирѣ, такъ и онъ устремляется къ Татьянѣ, ища въ новой причудливой фантазіи всѣхъ своихъ разрѣшеній. Да развѣ этого не видитъ въ немъ Татьяна, да развѣ она не разглядѣла его уже равно? Вѣдь она твердо знаетъ, что онъ въ сущности любитъ только свою новую фантазію, а не ее, смиренную, какъ и прежде, Татьяну! Она знаетъ, что онъ принимаетъ ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже онъ и любитъ, что, можетъ быть, онъ и никого не любитъ, да и не способенъ даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что такъ мучительно страдаетъ! Любитъ фантазію, да вѣдь онъ и самъ фантазія. Вѣдь если она пойдетъ за нимъ, то онъ завтра же разочаруется и взглянетъ на свое увлеченіе насмѣшливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая вѣтромъ. Не такова она вовсе: у ней и въ отчаяніи, и въ страдальческомъ сознаніи, что погибла ея жизнь, все-таки есть нѣчто твердое и незыблемое, на что опирается ея душа. Это ея воспоминанія дѣтства, воспоминанія родины, деревенской глуши, въ которой началась ея смиренная, чистая жизнь, — это «крестъ и тѣнь вѣтвей надъ могилой ея бѣдной няни». О, эти воспоминанія и прежніе образы ей теперь всего драгоцѣннѣе, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасаютъ ея душу отъ окончательнаго отчаянія. И этого не мало, нѣтъ, тутъ уже многое, потому что тутъ цѣлое основаніе, тутъ нѣчто незыблемое и неразрушимое. Тутъ соприкосновеніе съ родиной, съ роднымъ народомъ, съ его святынею. А у него что есть и кто онъ такой? Не идти же ей за нимъ изъ состраданія, чтобы только потѣшить его, чтобы хоть на

время изъ безконечной любовной жалости подарить ему призракъ счастья, твердо зная напередъ, что онъ завтра же посмотритъ на это счастье свое насмѣшливо. Нѣтъ, есть глубокія и твердыя души, которыя не могутъ сознательно отдать святыню свою на позоръ, хотя бы и изъ безконечнаго состраданія. Нѣтъ, Татьяна не могла пойти за Онѣгинымъ.

Итакъ, въ «*Онѣгинѣ*», въ этой безсмертной и недосягаемой поэмѣ своей, Пушкинъ явился великимъ народнымъ писателемъ, какъ до него никогда и никто. Онъ разомъ, самымъ мѣткимъ, самымъ прозорливымъ образомъ отмѣтилъ самую глубь нашей сути, нашего верхняго надъ народомъ стоящаго общества. Отмѣтивъ типъ русскаго скитальца, скитальца до нашихъ дней и въ наши дни, первый угадавъ его геніальнымъ чутьемъ своимъ, съ историческою судьбой его и съ огромнымъ значеніемъ его и въ нашей грядущей судьбѣ, рядомъ съ нимъ поставивъ типъ положительной и безспорной красоты въ лицѣ русской женщины, Пушкинъ, и, конечно, тоже первый изъ писателей русскихъ, провелъ предъ нами въ другихъ произведеніяхъ этого періода своей дѣятельности цѣлый рядъ положительно прекрасныхъ русскихъ типовъ, найдя ихъ въ народѣ русскомъ. Главная красота этихъ типовъ въ ихъ правдѣ, правдѣ безспорной и осязательной, такъ что отрицать ихъ уже нельзя, они стоятъ какъ изваянные. Еще разъ напоминаю: говорю не какъ литературный критикъ, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробнымъ литературнымъ обсужденіемъ этихъ геніальныхъ производеній нашего поэта. О типѣ русскаго инока-лѣтописца, напримѣръ, можно было бы написать цѣлую книгу, чтобъ указать всю важность и все значеніе для насъ этого величаваго русскаго образа, отысканнаго Пушкинымъ въ русской землѣ, имъ выведеннаго, имъ изваяннаго и поставленнаго предъ нами теперь уже навѣки въ безспорной, смиренной и величавой духовной красотѣ своей, какъ свидѣтельство того мощнаго духа народной жизни, который можетъ выдѣлять изъ себя образы такой неоспоримой правды. Типъ этотъ данъ, есть, его нельзя оспорить, сказать, что онъ выдумка, что онъ только фантазія и идеализація поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и духъ народа, его создавшій, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вѣра въ русскій характеръ, вѣра въ его духовную мощь, а коль вѣра, — стало быть, и надежда, великая надежда за русскаго человѣка.

Въ надеждѣ славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни. —

сказалъ самъ поэтъ по другому поводу, но эти слова его можно прямо примѣнить ко всей его національной творческой дѣятельности. И никогда еще ни одинъ русскій писатель, ни прежде, ни послѣ него, не соединялся такъ задушевно и родственно съ народомъ своимъ какъ Пушкинъ. О, у насъ есть много знатоковъ народа нашего между писателями, и такъ талантливо, такъ мѣтко и такъ любовно писавшихъ о народѣ, а между тѣмъ, если сравнить ихъ съ Пушкинымъ, то, право же, до сихъ поръ, за однимъ, много что за двумя исключеніями изъ самыхъ позднѣйшихъ послѣдователей его, это лишь «господа» о народѣ пишущіе. У самыхъ талантливыхъ изъ нихъ, даже вотъ у этихъ двухъ исключеній, о которыхъ я сейчасъ упомянулъ, нѣтъ — нѣтъ, а и промелькнетъ вдругъ нѣчто высокомѣрное, нѣчто изъ другого быта и міра, нѣчто желающее поднять народъ до себя и осчастливить его этимъ поднятіемъ. Въ Пушкинѣ же есть именно что-то сроднившееся съ народомъ *взаправду*, доходящее въ немъ почти до какого-то простодушнѣйшаго умиленія. Возьмите сказаніе о «Медвѣдѣ» и о томъ, какъ убилъ мужикъ его боярыню-медвѣдицу, или припомните стихи:

Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ,

и вы поймете, что я хочу сказать.

Всѣ эти сокровища искусства и художественнаго прозрѣнія оставлены нашимъ великимъ поэтомъ какъ бы въ видѣ указанія для будущихъ грядущихъ за нимъ художниковъ, для будущихъ работниковъ на этой же нивѣ. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и послѣдовавшихъ за нимъ талантовъ. По крайней мѣрѣ, не проявились бы они въ такой силѣ и съ такою ясностью, несмотря даже на великія ихъ дарованія, въ какой удалось имъ выразиться впослѣдствіи, уже въ наши дни. Но не въ поэзіи лишь одной дѣло, не въ художественномъ лишь творчествѣ: не было бы Пушкина, не опредѣлились бы, можетъ быть, съ такою непоколебимою силой (въ какой это явилось потомъ, хотя все еще не у всѣхъ, а у очень лишь немногихъ) наша вѣра въ нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народныя силы, а затѣмъ и вѣра въ грядущее самостоятельное назначеніе въ семьѣ европейскихъ народовъ. Этотъ подвигъ Пушкина особенно выясняется, если вникнуть въ то, что я

называю третьимъ періодомъ его художественной дѣятельности.

—

Еще и еще разъ повторяю: эти періоды не имѣютъ такихъ твердыхъ границъ. Нѣкоторыя изъ произведеній даже этого третьяго періода могли, напримѣръ, явиться въ самомъ началѣ поэтической дѣятельности нашего поэта, ибо Пушкинъ былъ всегда цѣльнымъ, цѣлокупнымъ, такъ сказать, организмомъ, носившимъ въ себѣ всѣ свои зачатки разомъ, внутри себя, не воспринимая ихъ извнѣ. Внѣшность только будила въ немъ то, что было уже заключено во глубинѣ души его. Но организмъ этотъ развивался, и періоды этого развитія дѣйствительно можно обозначить и отмѣтить, въ каждомъ изъ нихъ, его особый характеръ и постепенность вырожденія одного періода изъ другого. Такимъ образомъ, къ третьему періоду можно отнести тотъ разрядъ его произведеній, въ которыхъ преимущественно засіяли идеи всемірныя, отразились поэтическіе образы другихъ народовъ и воплотились ихъ геніи. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній явились уже послѣ смерти Пушкина. И въ этотъ-то періодъ своей дѣятельности нашъ поэтъ представляетъ собою нѣчто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигдѣ и ни у кого. Въ самомъ дѣлѣ, въ европейскихъ литературахъ были громадной величины художественные геніи — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного изъ этихъ великихъ геніевъ, который бы обладалъ такою способностью всемірной отзывчивости, какъ нашъ Пушкинъ. И эту-то способность, главнѣйшую способность нашей національности, онъ именно раздѣляетъ съ народомъ нашимъ, и тѣмъ, главнѣйше, онъ и народный поэтъ. Самые величайшіе изъ европейскихъ поэтовъ никогда не могли воплотить въ себѣ съ такой силой геній чужого, сосѣдняго, можетъ быть, съ ними народа, духъ его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призванія, какъ могъ это проявлять Пушкинъ. Напротивъ, обращаясь къ чужимъ народностямъ, европейскіе поэты чаще всего перевоплощали ихъ въ свою же національность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его итальянцы, напримѣръ, почти сплошь тѣ же англичане. Пушкинъ лишь одинъ изо всѣхъ міровыхъ поэтовъ обладаетъ свойствомъ перевоплощаться вполнѣ въ чужую національность. Вотъ сцены изъ «*Фауста*», вотъ «*Скупой Рыцарь*» и баллада «*Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный*». Перечтите «*Донъ-Жуана*», и если бы не было подписи Пуш-

кина, вы бы никогда не узнали, что это написалъ не испанецъ. Какіе глубокіе, фантастическіе образы въ поэмѣ: «*Пиръ во время чумы*»! Но въ этихъ фантастическихъ образахъ слышенъ геній Англіи; эта чудесная пѣсня о чумѣ героя поэмы, эта пѣсня Мери со стихами:

Нашихъ дѣтокъ въ шумной школѣ
Раздавались голоса,

это англійскія пѣсни, это тоска британскаго генія, его плачъ, его страдальческое предчувствіе своего грядущаго. Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой...

Это почти буквальное переложеніе первыхъ трехъ страницъ изъ странной мистической книги, написанной въ прозѣ, одного древняго англійскаго религіознаго сектатора, — но развѣ это только переложеніе? Въ грустной и восторженной музыкѣ этихъ стиховъ чувствуется самая душа сѣвернаго протестантизма, англійскаго ересіарха, безбрежнаго мистика, съ его тупымъ, мрачнымъ и непреоборимымъ стремленіемъ и со всѣмъ безудержемъ мистическаго мечтанія. Читая эти странные стихи, вамъ какъ бы слышится духъ вѣковъ реформаціи, вамъ понятенъ становится этотъ воинственный огонь начинавшагося протестантизма, понятна становится, наконецъ, самая исторія, и не мыслью только, а какъ будто вы сами тамъ были, прошли мимо вооруженнаго стана сектантовъ, пѣли съ ними ихъ гимны, плакали съ ними въ ихъ мистическихъ восторгахъ и вѣровали вмѣстѣ съ ними въ то, во что они повѣрили. Кстати: вотъ, рядомъ съ этимъ религіознымъ мистицизмомъ, религіозныя же строфы изъ Корана или «Подражанія Корану»: развѣ тутъ не мусульманинъ, развѣ это не самый духъ Корана и мечъ его, простодушная величавость вѣры и грозная кровавая сила ея? А вотъ и древній міръ, вотъ «*Египетскія Ночи*», вотъ эти земные боги, сѣвшіе надъ народомъ своимъ богами, уже презирающіе геній народный и стремленія его, уже не вѣрящіе въ него болѣе, ставшіе впрямь уединенными богами и обезумѣвшіе въ отъединеніи своемъ, въ предсмертной скукѣ своей и тоскѣ тѣшащіе себя фантастическими звѣрствами, сладострастіемъ насѣкомыхъ, сладострастіемъ пауковой самки, съѣдающей своего самца. Нѣтъ, положительно скажу, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью, какъ Пушкинъ, и не въ одной только отзывчивости тутъ дѣло, а въ изумляющей глубинѣ ея, а въ перевоплощеніи своего духа въ духъ чужихъ народовъ, перевоплощеніи почти совершенномъ, а

потому и чудесномъ, потому что нигдѣ ни въ какомъ поэтѣ цѣлаго міра такого явленія не повторилось. Это только у Пушкина, и въ этомъ смыслѣ, повторяю, онъ явленіе невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тутъ-то и выразилась наиболѣе его національная русская сила, выразилась именно народность его поэзіи, народность въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, народность нашего будущаго, таящагося уже въ настоящемъ, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея, въ конечныхъ цѣляхъ своихъ, ко всемірности и ко всечеловѣчности? Ставъ вполнѣ народнымъ поэтомъ, Пушкинъ тотчасъ же, какъ только прикоснулся къ силѣ народной, такъ уже и предчувствуетъ великое грядущее назначеніе этой силы. Тутъ онъ угадчикъ, тутъ онъ пророкъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое для насъ Петровская реформа, и не въ будущемъ только, а даже и въ томъ, что уже было, произошло, что уже явилось воочію? Что означала для насъ эта реформа? Вѣдь не была же она только для насъ усвоеніемъ европейскихъ костюмовъ, обычаевъ, изобрѣтеній и европейской науки. Вникнемъ, какъ дѣло было, поглядимъ пристальнѣе. Да, очень можетъ быть, что Петръ первоначально только въ этомъ смыслѣ и началъ производить ее, т. е. въ смыслѣ ближайше-утилитарномъ, но впослѣдствіи, въ дальнѣйшемъ развитіи имъ своей идеи, Петръ несомнѣнно повиновался нѣкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дѣлѣ, къ цѣлямъ будущимъ, несомнѣнно огромнѣйшимъ, чѣмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнѣнно уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую цѣль, чѣмъ ближайшій утилитаризмъ, — ощутивъ эту цѣль, опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но, однакоже, и непосредственно и вполнѣ жизненно. Вѣдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному возсоединенію, къ единенію всечеловѣческому. Мы не враждебно (какъ, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геніи чужихъ націй, всѣхъ вмѣстѣ, не дѣлая преимущественныхъ племенныхъ различій, умѣя инстинктомъ, почти съ самаго перваго шагу различать, снимать противорѣчія, извинять и примирять различія, и тѣмъ уже высказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловѣческому возсоединенію со всѣми пле-

менами великаго Арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человѣка есть безспорно всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ, можетъ быть, и значитъ только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всѣхъ людей, *всечеловѣкомъ*, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у насъ недоразумѣніе, хотя исторически и необходимое. Для настоящаго русскаго Европа и удѣлъ всего великаго Арійскаго племени такъ же дороги, какъ и сама Россія, какъ и удѣлъ своей родной земли, потому что нашъ удѣлъ и есть всемірность, и не мечемъ пріобрѣтенная, а силой братства и братскаго стремленія нашего къ возсоединенію людей. Если захотите вникнуть въ нашу исторію послѣ Петровской реформы, вы найдете уже слѣды и указанія этой мысли, этого мечтанія моего, если хотите, въ характерѣ общенія нашего съ европейскими племенами, даже въ государственной политикѣ нашей. Ибо, что дѣлала Россія во всѣ эти два вѣка въ своей политикѣ, какъ не служила Европѣ, можетъ быть, гораздо болѣе чѣмъ себѣ самой? Не думаю, чтобъ отъ неумѣнья лишь нашихъ политиковъ это происходило. О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущіе грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, всечеловѣчной и всесоединяющей, вмѣстить въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону! Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказалъ. Этому надлежало быть высказаннымъ, но особенно теперь, въ минуту торжества нашего, въ минуту чествованія нашего великаго генія, эту именно идею въ художественной силѣ своей воплощавшаго. Да и высказывалась уже эта мысль не разъ, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадѣяннымъ: «это намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой землѣ такой удѣлъ? Это намъ-то предназначено въ человѣчествѣ высказать новое слово?» Что же, развѣ я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братствѣ лю-

дей и о томъ, что ко всемірному, ко всечеловѣчески-братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изо всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено, вижу слѣды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ даровитыхъ людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя Христосъ». Почему же намъ не вмѣстить послѣдняго слова Его? Да и самъ онъ не въ ясляхъ ли родился? Повторяю: по крайней мѣрѣ, мы уже можемъ указать на Пушкина, на всемірность и всечеловѣчность его генія. Вѣдь могъ же онъ вмѣстить чужіе геніи въ душѣ своей, какъ родные. Въ искусствѣ, по крайней мѣрѣ, въ художественномъ творчествѣ, онъ проявилъ эту всемірность стремленія русскаго духа неоспоримо, а въ этомъ уже великое указаніе. Если наша мысль есть фантазія, то съ Пушкинымъ есть, по крайней мѣрѣ, на чемъ этой фантазіи основаться. Если бы жилъ онъ дольше, можетъ быть, явилъ бы безсмертные и великіе образы души русской, уже понятные нашимъ европейскимъ братьямъ, привлекъ бы ихъ къ намъ гораздо болѣе и ближе, чѣмъ теперь, можетъ быть, успѣлъ бы имъ разъяснить всю правду стремленій нашихъ, и они уже болѣе понимали бы насъ, чѣмъ теперь, стали бы насъ предугадывать, перестали бы на насъ смотрѣть столь недовѣрчиво и высокомѣрно, какъ теперь еще смотрятъ. Жилъ бы Пушкинъ долѣе, такъ и между нами было бы, можетъ быть, менѣе недоразумѣній и споровъ, чѣмъ видимъ теперь. Но Богъ судилъ иначе. Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ.

Глава третья.

Придирка къ случаю. Четыре лекціи на разныя темы по поводу одной лекціи, прочитанной мнѣ г. А. Градовскимъ. Съ обращеніемъ къ г. Градовскому.

I.

Объ одномъ самомъ основномъ дѣлѣ.

Я уже было заключилъ мой «Дневникъ», ограничивъ его моею «Рѣчью», произнесенною 8 іюня въ

Москвѣ, и предисловіемъ къ ней, которое я написалъ, предчувствуя гамъ, дѣйствительно поднявшійся потомъ въ нашей прессѣ послѣ появленія моей «Рѣчи» въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Но прочтя вашу критику, г. Градовскій, я пріостановилъ печатаніе «Дневника», чтобы прибавить къ нему и отвѣтъ на ваши нападки. О, предчувствія мои оправдались, и гамъ поднялся страшный: и гордецъ-то я, и трусъ-то я, и Маниловъ, и поэтъ, и полицію надо бы привесть, чтобъ сдерживать порывы публики, — полицію моральную, полицію либеральную, конечно. Но почему же бы и не настоящую? И настоящая полиція вѣдь у насъ теперь либеральна, отнюдь не менѣе возопившихъ на меня либераловъ. Воистину немного не доставало до настоящей! Но оставимъ это пока, перейду прямо къ отвѣту вамъ на ваши пункты. Прямо признаюсь съ самаго начала, что лично нечего бы мнѣ съ вами ни дѣлить, ни толковать. Мнѣ съ вами столковаться нельзя; убѣждать или разубѣждать васъ, стало быть, я вовсе не имѣю въ виду. Читая и прежде иныя ваши статьи, я, конечно, всегда удивлялся теченію мыслей. Итакъ, почему же я вамъ теперь отвѣчаю? Единственно имѣя въ виду другихъ, которые насъ разсудятъ, т. е. читателей. Для этихъ другихъ и пишу. Я слышу, я предчувствую, вижу даже, что возникаютъ и идутъ новые элементы, жаждущіе новаго слова, истосковавшіеся отъ стараго либеральнаго подхихикиванія надъ всякимъ словомъ надежды на Россію, отъ стараго прежняго, либерально-беззубаго скептицизма, отъ старыхъ мертвецовъ, которыхъ забыли похоронить, и которые все еще считаютъ себя за молодое поколѣніе, отъ стараго либерала-руководителя и спасателя Россіи, который за все двадцатипятилѣтіе своего пребыванія у насъ обозначился, наконецъ, какъ «безъ толку кричащій на базарѣ человѣкъ», по выраженію народному. Однимъ словомъ, захотѣлось мнѣ *многое* высказать уже кромѣ отвѣта на замѣчанія ваши, такъ что я, отвѣчая теперь, какъ бы придрался лишь къ случаю.

Вы прежде всего задаетесь вопросомъ и даже упрекаете меня, почему я не вывелъ яснѣе: откуда взялись наши «скитальцы», о которыхъ я говорилъ въ моей «Рѣчи»? Ну, это исторія длинная, нужно начинать слишкомъ издалека. Къ тому же, что бы я вамъ на этотъ счетъ ни отвѣтилъ, вы все-таки не согласитесь, потому что у васъ уже предвзято и подготовлено ваше собственное рѣшеніе о томъ, откуда они завелись и какъ завелись: «Отъ тоски, дескать, жить съ Сквозниками-Дмухановскими и отъ гражданской скорби по неосвобо-

жденнымъ еще тогда крестьянамъ». Выводъ достойный современнаго либеральнаго человѣка, вообще говоря, у котораго все, что касается до Россіи, давно уже рѣшено и подписано, съ необычайною, русскому либералу лишь свойственною легкостью. Тѣмъ не менѣе вопросъ этотъ сложнѣе, чѣмъ вы думаете, гораздо, несмотря на столь окончательное рѣшеніе ваше. О «Сквозникахъ и о скорби» скажу въ своемъ мѣстѣ, но прежде всего позвольте поднять одно прехарактерное ваше словцо, высказанное опять-таки съ легкостью, уже доходящею почти до рѣзвости, и которое я не могу обойти. Вы говорите:

Такъ или иначе, но уже два столѣтія мы находимся подъ вліяніемъ европейскаго просвѣщенія, дѣйствующаго на насъ чрезвычайно сильно, благодаря „всемірной отзывчивости" русскаго человѣка, признанную г. Достоевскимъ за нашу національную черту. Уйти отъ этого просвѣщенія намъ некуда, да и незачѣмъ. Это фактъ, противъ котораго намъ ничего нельзя сдѣлать, по той простой причинѣ, что всякій русскій человѣкъ, пожелавшій сдѣлаться просвѣщеннымъ, *непремѣнно* получитъ это просвѣщеніе изъ западно-европейскаго источника, за полнѣйшимъ отсутствіемъ источниковъ русскихъ.

Сказано, конечно, игриво; но вы произнесли и важное слово: «Просвѣщеніе». Позвольте же спросить, что вы подъ нимъ разумѣете: науки Запада, полезныя знанія, ремесла или просвѣщеніе духовное? Первое, т. е. науки и ремесла, дѣйствительно не должны насъ миновать и уходить намъ отъ нихъ дѣйствительно некуда, да и незачѣмъ. Согласенъ тоже вполнѣ, что неоткуда и получить ихъ, кромѣ какъ изъ западно-европейскихъ источниковъ, за что хвала Европѣ и благодарность наша ей вѣчная. Но вѣдь подъ просвѣщеніемъ я разумѣю (думаю, что и никто не можетъ разумѣть иначе) — то, что буквально уже выражается въ самомъ словѣ «просвѣщеніе», т. е. свѣтъ духовный, озаряющій душу, просвѣщающій сердце, направляющій умъ и указывающій ему дорогу жизни. Если такъ, то позвольте вамъ замѣтить, что такое просвѣщеніе намъ нечего черпать изъ западно-европейскихъ источниковъ за полнѣйшимъ присутствіемъ (а не отсутствіемъ) источниковъ русскихъ. Вы удивляетесь? Видите ли: въ спорахъ я люблю начинать съ самой сути дѣла, съ самаго начала спорнаго пункта разомъ.

Я утверждаю, что нашъ народъ просвѣтился уже давно, принявъ въ свою суть Христа и ученіе Его. Мнѣ скажутъ: онъ ученія Христова не знаетъ, и проповѣдей ему не говорятъ, — но это возраженіе пустое: все знаетъ, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержитъ экзамена изъ катехизиса Научился же въ храмахъ, гдѣ вѣками слышалъ молитвы и гимны, которые лучше пропо-

вѣдей. Повторялъ и самъ пѣлъ эти молитвы еще въ лѣсахъ, спасаясь отъ враговъ своихъ, въ Батыево нашествіе еще, можетъ быть, пѣлъ: «Господи силъ съ нами буди!» и тогда-то, можетъ быть, и заучилъ этотъ гимнъ, потому что кромѣ Христа у него тогда ничего не оставалось, а въ немъ, въ этомъ гимнѣ, уже въ одномъ вся правда Христова. И что въ томъ, что народу мало читаютъ проповѣдей, а дьячки бормочутъ неразборчиво, — самое колоссальное обвиненіе на нашу церковь, придуманное либералами, вмѣстѣ съ неудобствомъ церковно-славянскаго языка, будто бы непонятнаго простолюдину (А старообрядцы-то? Господи!). Зато выдетъ попъ и прочтетъ: «Господи, Владыко живота моего» — а въ этой молитвѣ *вся суть христіанства*, весь его катехизисъ, а народъ знаетъ эту молитву наизусть. Знаетъ тоже онъ многія изъ житій святыхъ, пересказываетъ и слушаетъ ихъ съ умиленіемъ. Главная же школа «христіанства, которую прошелъ онъ, это — вѣка безчисленныхъ и безконечныхъ страданій, имъ вынесенныхъ въ свою исторію, когда онъ, оставленный всѣми, попранный всѣми, работающій на всѣхъ и на вся, оставался лишь съ однимъ Христомъ-Утѣшителемъ, Котораго и принялъ тогда въ свою душу навѣки, и Который за то спасъ отъ отчаянія его душу! Впрочемъ, что же я вамъ это все говорю? Неужто я васъ убѣдить хочу? Слова мои покажутся вамъ, конечно, младенческими, почти неприличными. Но повторяю въ третій разъ: не для васъ пишу. Да и тема эта важная, о ней надо особо и много еще сказать, и буду говорить, пока держу перо въ рукахъ, а теперь выражу мою мысль лишь въ основномъ положеніи: если нашъ народъ просвѣщенъ уже давно, принявъ въ свою суть Христа и Его ученіе, то вмѣстѣ съ Нимъ, съ Христомъ, ужъ, конечно, принялъ и *истинное* просвѣщеніе. При такомъ основномъ запасѣ просвѣщенія науки Запада, конечно, обратятся для него лишь въ истинное благодѣяніе. Христосъ не померкнетъ отъ нихъ у насъ, какъ на Западѣ, гдѣ, впрочемъ, не отъ наукъ онъ померкъ, какъ утверждаютъ либералы же, а еще прежде наукъ, когда сама церковь западная исказила образъ Христовъ, преобразившись изъ церкви въ Римское государство и воплотивъ его вновь въ видѣ папства. Да, на Западѣ воистину уже нѣтъ христіанства и церкви, хотя и много еще есть христіанъ, да и никогда не исчезнутъ. Католичество воистину уже не христіанство и переходитъ въ идолопоклонство, а протестантизмъ исполинскими шагами переходитъ въ атеизмъ и въ зыбкое, текущее, измѣнчивое (а не вѣковѣчное) нравоученіе.

О, конечно, вы тотчасъ же возразите мнѣ, что христіанство и поклоненіе Христу вовсе не заключаетъ въ себѣ и собою весь циклъ просвѣщенія, что это только лишь одна ступень, что нужны, напротивъ, науки, гражданскія идеи, развитіе, и пр. и пр. На это мнѣ нечего вамъ отвѣчать, да и неприлично, ибо хотя вы и правы отчасти, насчетъ наукъ, напримѣръ, но зато никогда не согласитесь, что христіанство народа нашего есть, *и должно остаться навсегда,* самою главною и жизненною основой просвѣщенія его! Я вотъ въ моей «Рѣчи» сказалъ, что Татьяна, отказавшись идти за Онѣгинымъ, поступила по-русски, по русской народной правдѣ, а одинъ изъ критиковъ моихъ. оскорбившись, что у русскаго народа есть правда, вдругъ возразилъ мнѣ вопросомъ: «А свальный грѣхъ?» Такимъ критикамъ развѣ можно отвѣчать? Главное, оскорблены тѣмъ, что русскій народъ можетъ имѣть свою правду, а стало быть, дѣйствительно просвѣщенъ. Да развѣ свальный грѣхъ существуетъ въ цѣломъ народѣ нашемъ и существуетъ *какъ правда?* Принимаетъ ли его весь народъ за правду? Да, народъ нашъ грубъ, хотя и далеко не весь, о, не весь, въ этомъ я клянусь уже какъ свидѣтель, потому что я видѣлъ народъ нашъ и знаю его, жилъ съ нимъ довольно лѣтъ, ѣлъ съ нимъ, спалъ съ нимъ и самъ къ «злодѣямъ причтенъ былъ», работалъ съ нимъ настоящей мозольной работой, въ то время когда другіе, «умывавшіе руки въ крови», либеральничая и подхихикивая надъ народомъ, рѣшали на лекціяхъ и въ отдѣленіи журнальныхъ фельетоновъ, что народъ нашъ «образа звѣринаго и печати его». Не говорите же мнѣ, что я не знаю народа! Я его знаю: отъ него я принялъ вновь въ мою душу Христа, Котораго узналъ въ родительскомъ домѣ еще ребенкомъ и Котораго утратилъ было, когда преобразился въ свою очередь въ «европейскаго либерала». Но пусть, пусть народъ нашъ грѣшенъ и грубъ, пусть звѣринъ еще его образъ: «Сынъ на матери ѣхалъ, молода жена на пристяжечкѣ» — съ чего-нибудь да взялась эта пѣсня? Всѣ русскія пѣсни взяты съ какой-нибудь были— замѣтили вы это? Но будьте же и справедливы хоть разъ, либеральные люди: вспомните, что народъ вытерпѣлъ во столько вѣковъ! Вспомните, кто въ звѣриномъ образѣ его виноватъ наиболѣе, и не осуждайте! Вѣдь смѣшно осуждать мужика за то, что онъ не причесанъ у французскаго парикмахера изъ Большой Морской, а вѣдь почти до этихъ именно обвиненій и доходитъ, когда подымутся на русскій народъ наши европейскіе либералы и примутся *отрицать* его: и личности-то онъ себѣ не выработалъ, и національности-то у него нѣтъ! Боже мой, а на Западѣ,

гдѣ хотите и въ какомъ угодно народѣ, — развѣ меньше пьянства и воровства, не такое же развѣ звѣрство, и при этомъ ожесточеніе (чего нѣтъ въ нашемъ народѣ) и уже истинное, заправское невѣжество, настоящее непросвѣщеніе, потому что иной разъ соединено съ такимъ беззаконіемъ, котэрэе уже не считается тамъ грѣхомъ, а именно стало считаться правдой, а не грѣхомъ Но пусть, все-таки пусть въ нашемъ народѣ звѣрство и грѣхъ, но вотъ что въ немъ есть неоспоримо: это именно то, что онъ, въ своемъ цѣломъ, по крайней мѣрѣ (и не въ идеалѣ только, а въ самой заправской дѣйствительности), никогда не принимаетъ, не приметъ и не захочетъ принять своего грѣха за правду! Онъ согрѣшитъ, но всегда скажетъ, рано ли, поздно ли: я сдѣлалъ неправду. Если согрѣшившій не скажетъ, то другой за него скажетъ, и правда будетъ восполнена. Грѣхъ есть смрадъ, и смрадъ пройдетъ, когда возсіяетъ солнце вполнѣ. Грѣхъ есть дѣло преходящее, а Христосъ вѣчное. Народъ грѣшитъ и пакостится ежедневно, но въ лучшія минуты, во Христовы минуты, онъ никогда въ правдѣ не ошибется. То именно и важно, во что народъ вѣритъ какъ въ свою правду, въ чемъ ее полагаетъ, какъ ее представляетъ себѣ, что ставитъ своимъ лучшимъ желаніемъ, что возлюбилъ, чего проситъ у Бога, о чемъ молитвенно плачетъ. А идеалъ народа — Христосъ. А съ Христомъ, конечно, и просвѣщеніе, и въ высшія, роковыя минуты свои народъ нашъ всегда рѣшаетъ и рѣшалъ всякое общее, всенародное дѣло свое по-христіански. Вы скажете съ насмѣшкой: «плакать — это мало, воздыхать тоже, надо и дѣлать, надо и быть». А у васъ-то у самихъ, господа русскіе просвѣщенные европейцы, много праведниковъ? Укажите мнѣ вашихъ праведниковъ, которыхъ вы вмѣсто Христа ставите? Но знайте, что въ народѣ есть и праведники. Есть положительные характеры невообразимой красоты и силъ, до которыхъ не коснулось еще наблюденіе ваше. Есть эти праведники и страдальцы за правду, — видимъ мы ихъ иль не видимъ? Не знаю; кому дано видѣть, тотъ, конечно, увидитъ ихъ и осмыслитъ, кто же видитъ лишь образъ звѣриный, тотъ, конечно, ничего не увидитъ. Но народъ, по крайней мѣрѣ, знаетъ, что она есть у него, вѣритъ, что они есть, крѣпокъ этою мыслью и уповаетъ, что они всегда въ нужную всеобщую минуту спасутъ его. И сколько разъ нашъ народъ спасалъ отечество? И еще недавно, засмердѣвъ въ грѣхѣ, въ пьянствѣ и въ безправіи, онъ обрадовался духовно, весь въ своей цѣлокупности, послѣдней войнѣ за Христову вѣру, попранную у славянъ мусульманами. Онъ принялъ ее, онъ схватился за нее

какъ за жертву очищенія своего за грѣхъ и безправіе, онъ посылалъ сыновей своихъ умирать за святое дѣло, и не кричалъ, что падаетъ рубль, и что цѣна на говядину стала дороже. Онъ жадно слушалъ, жадно разспрашивалъ и самъ читалъ о войнѣ, и мы тому всѣ свидѣтели, много насъ есть тому свидѣтелей. Я знаю: подъемъ духа народа нашего въ послѣднюю войну, а тѣмъ болѣе причины этого подъема, не признаются либералами, смѣются они надъ этой идеей. «У этихъ, дескать, смердовъ собирательная идея, у нихъ гражданское чувство, политическая мысль — развѣ можно это позволить? И почему, почему нашъ европейскій либералъ такъ часто врагъ народа русскаго? Почему въ Европѣ называющіе себя демократами всегда стоятъ за народъ, по крайней мѣрѣ на него опираются, а нашъ демократъ зачастую аристократъ и въ концѣ концовъ всегда почти служитъ въ руку всему тому, что подавляетъ народную силу, и кончаетъ господчиной. О, я вѣдь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но въ безсознательности-то и трагедія. Вы будете въ негодованіи отъ этихъ вопросовъ? Пусть. Для меня это все аксіомы, и ужъ, конечно, я не перестану ихъ разъяснять и доказывать, пока только буду писать и говорить.

Итакъ, кончимъ: науки это такъ, а «просвѣщенія» нечего намъ черпать изъ западно-европейскихъ источниковъ. А то, пожалуй, зачерпнемъ такія общественныя формулы, какъ, напримѣръ: Chacun pour soi et Dieu pour tous или après moi le déluge. О, сейчасъ же закричатъ: «А у насъ нѣтъ такихъ поговорокъ, не говорятъ у насъ что ли: «Старая хлѣбъ-соль не помнится» и сотни другихъ афоризмовъ въ этомъ же родѣ?». Да, поговорокъ въ народѣ много всякихъ: умъ народа широкъ, юморъ тоже, развивающееся сознаніе всегда подсказываетъ отрицаніе — но это все только *поговорки*, въ нравственную правду ихъ народъ нашъ не вѣритъ, надъ ними самъ шутитъ и смѣется, въ цѣломъ своемъ, по крайней мѣрѣ, ихъ отрицаетъ. А осмѣлитесь ли вы утверждать, что chacun pour soi et Dieu pour tous есть только поговорка, а не общественная уже формула, всѣми принятая на Западѣ, и которой *всѣ* тамъ служатъ и въ нее вѣрятъ? По крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые стоятъ надъ народомъ, которые держатъ его въ уздѣ, которые обладаютъ землей и пролетаріемъ и стоятъ на стражѣ «европейскаго просвѣщенія». Зачѣмъ же намъ такое просвѣщеніе? Поищемъ у себя иного. Наука дѣло одно, а просвѣщеніе иное. Съ надеждой на народъ и на силы его, можетъ, и разовьемъ когда-нибудь уже въ полнотѣ, въ полномъ сіяніи и бле-

скѣ это Христово просвѣщеніе наше. Вы скажете мнѣ, разумѣется, что все это длинное разглагольствованіе не отвѣтъ, однакоже, на вашу критику. Пусть. Я считаю самъ это лишь предисловіемъ, но только необходимымъ. Какъ и вы у меня, т. е. въ моей «Рѣчи», отмѣчаете и находите такіе пункты разногласія съ вами, которые сами считаете самыми важными и важнѣйшими, такъ и я прежде всего отмѣтилъ и выставилъ такой пунктъ у васъ, который считаю самымъ основнымъ разногласіемъ нашимъ, наиболѣе препятствующимъ намъ придти къ соглашенію. Но предисловіе кончено, приступимъ къ вашей критикѣ и теперь уже безъ отступленій.

II.

Алеко и Держиморда. Страданія Алеко по крѣпостному мужику. Анекдоты.

Вы пишете, критикуя мою «Рѣчь»:

Но Пушкинъ, выводя Алеко и Онѣгина съ ихъ отрицаніемъ, не показалъ, что именно „отрицали“ они, и было бы въ высшей степени рискованно утверждать, что они отрицали именно „народную правду“, коренныя начала русскаго міросозерцанія. Этого не видно нигдѣ.

Ну, видно или не видно, рискованно или нѣтъ утверждать, мы къ этому возвратимся сейчасъ, а прежде вотъ то, что вы говорите о Дмухановскихъ, отъ которыхъ будто бы бѣжалъ Алеко къ цыганамъ:

Но дѣйствительно, міръ тогдашнихъ скитальцевъ, — пишете вы, — былъ міромъ, отрицавшимъ другой міръ. Для объясненія этихъ типовъ необходимы другіе типы, которыхъ Пушкинъ не воспроизвелъ, хотя и обращался къ нимъ по временамъ съ жгучимъ негодованіемъ. Природа его таланта мѣшала ему спуститься въ этотъ мракъ и возвести въ „перлъ созданія“ совъ, сычей и летучихъ мышей, наполнявшихъ подвальные этажи русскаго жилища *(не верхніе ли?)*. Это сдѣлалъ Гоголь — великая оборотная сторона Пушкина. Онъ повѣдалъ міру, отчего бѣжалъ къ цыганамъ Алеко, отчего скучалъ Онѣгинъ, отчего народились на свѣтъ „лишніе люди“, увѣковѣченные Тургеневымъ. Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановскіе, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины — вотъ тѣневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многихъ иныхъ. Это фонъ, безъ котораго непонятны фигуры послѣднихъ. А вѣдь эти гоголевскіе герои были русскими — ухъ, какими русскими людьми! У Коробочки не было міровой скорби, Сквозникъ-Дмухановскій превосходно умѣлъ объясняться съ купцами, Собакевичъ насквозь видѣлъ своихъ крестьянъ, и они насквозь видѣли его. Конечно, Алеко и Рудины всего этого вполнѣ не видали и не понимали; они просто бѣжали, куда кто могъ: Алеко къ цыганамъ, Рудинъ въ Парижъ, умирать за дѣло, для него совершенно постороннее.

Они *просто,* видите ли, бѣжали. О, фельетонная легкость рѣшенья! И какъ просто все это у васъ выходитъ, какъ все у васъ готово и предрѣшено! Подлинно готовыя слова говорите. Кстати, къ чему вы завели рѣчь о томъ, что всѣ эти гоголевскіе герои были русскими, — «ухъ, какими русскими людьми!» Къ спору нашему это вовсе и не подходитъ. Да и кто знаетъ, что они были русскіе люди? Да, и Алеко и Онѣгинъ были русскіе; да, и мы съ вами русскіе люди; да, русскимъ же, вполнѣ русскимъ былъ и Рудинъ, убѣжавшій въ Парижъ умирать за дѣло, для него совершенно, будто бы, постороннее, какъ вы утверждаете. Да вѣдь именно потому-то онъ и русскій въ высшей степени, что дѣло, за которое онъ умиралъ въ Парижѣ, ему вовсе было не столь постороннимъ, — какъ было бы англичанину или нѣмцу, — ибо дѣло европейское, міровое, всечеловѣческое, давно уже не постороннее русскому человѣку. Вѣдь это отличительная черта Рудина. Трагедія Рудина была собственно въ томъ, что онъ на своей нивѣ работы не нашелъ, и умеръ на другой нивѣ, но вовсе не столь чуждой ему, какъ вы утверждаете. Но вотъ въ чемъ, однакоже, дѣло: всѣ эти Сквозники и Собакевичи хоть и русскіе люди, но русскіе люди испорченные, отъ почвы оторванные и хоть знающіе народный бытъ съ одной стороны, но ничего не знающіе съ другой, даже не подозрѣвающіе, что она существуетъ, другая-то эта сторона, — въ этомъ все и дѣло. Души народной, того, чего народъ жаждетъ, чего молитвенно проситъ, они и не подозрѣвали, потому что страшно презирали народъ. Да и душу-то они въ немъ отрицали даже, кромѣ развѣ ревизской. «Собакевичъ насквозь видѣлъ своихъ крестьянъ», утверждаете вы. Это невозможно. Собакевичъ видѣлъ въ своемъ Прошкѣ только силищу, которую можно продать Чичикову. Вы утверждаете, что Сквозникъ-Дмухановскій превосходно умѣлъ объясняться съ купцами. Помилосердуйте! Да перечтите сами монологъ городничаго къ купцамъ въ пятомъ актѣ: такъ говорятъ развѣ только съ собаками, а не съ людьми, это ли значитъ «превосходно» говорить съ русскимъ человѣкомъ? Неужто вы хвалите? Да лучше бы прямо по зубамъ или за волосы. Въ дѣтствѣ моемъ я видѣлъ разъ на большой дорогѣ фельдъегеря, въ мундирѣ съ фалдочками, въ трехуголкѣ съ перомъ, страшно тузившаго въ загорбокъ ямщика кулакомъ на всемъ лету, а тотъ изступленно стегалъ свою запаренную, скачущую во весь опоръ тройку. Этотъ фельдъегерь былъ, разумѣется, по рожденію русскій, но до того ослѣпшій и оторвавшійся отъ народа, что не могъ иначе и объясняться съ русскимъ

человѣкомъ, какъ своимъ огромнымъ кулачищемъ вмѣсто всякаго разговора. А, между тѣмъ, вѣдь онъ всю жизнь свою провелъ съ ямщиками и съ разнымъ русскимъ народомъ. Но фалдочки его мундира, шляпа съ перомъ, его офицерскій чинъ, его вычищенные петербургскіе сапоги ему были дороже, душевно и духовно, не только русскаго мужика, но, можетъ быть, и всей Россіи, которую онъ искрестилъ всю взадъ и впередъ и въ которой онъ, по всей вѣроятности, ровно ничего не нашелъ примѣчательнаго и достойнаго чего-нибудь иного, кромѣ какъ его кулака или пинка вычищеннымъ его сапогомъ. Ему вся Россія представлялась лишь въ его начальствѣ, а все, что кромѣ начальства, почти недостойно было существовать. Какъ такой можетъ понимать суть народа и душу его! Это былъ хоть и русскій, но уже и «европейскій» русскій, только начавшій свой европеизмъ не съ пробсвѣщенія, а съ разврата, какъ и многіе, чрезвычайно многіе начинали. Да-съ, этотъ развратъ не разъ принимался у насъ за самый вѣрный способъ передѣлать русскихъ людей въ европейцевъ. Вѣдь сынъ такого фельдъегеря будетъ, можетъ быть, профессоромъ, т. е. патентованнымъ ужъ европейцемъ. Итакъ, не говорите о пониманіи ими сути народной. Нужно было Пушкина, Хомяковыхъ, Самариныхъ, Аксаковыхъ, чтобъ начать толковать о настоящей сути народной (до нихъ хоть и толковали о ней, но какъ-то классически и театрально). И когда они начали толковать о «народной правдѣ», всѣ смотрѣли на нихъ какъ на эпилептиковъ и идіотовъ, имѣющихъ въ идеалѣ — «ѣсть рѣдьку и писать донесенія». Да, донесенія. Они до того всѣхъ удивили на первыхъ порахъ своимъ появленіемъ и своими мнѣніями, что либералы начали даже сомнѣваться: не хотятъ ли де они писать на нихъ донесенія? Рѣшите сами: далеко или нѣтъ отъ этого глупенькаго взгляда на славянофиловъ ушли многіе современные либералы?

Но къ дѣлу. Вы утверждаете, что Алеко убѣжалъ къ цыганамъ отъ Держиморды. Положимъ, что это правда. Но хуже всего то, что вы-то сами, г. Градовскій, вполнѣ убѣжденно признаете права Алеко на всю таковую брезгливость его: «Не могъ, дескать, не убѣжать къ цыганамъ, ибо ужъ слишкомъ гадокъ былъ Держиморда». А я утверждаю, что Алеко и Онѣгинъ были тоже въ своемъ родѣ Держиморды, и даже въ иномъ отношеніи и похуже. Только съ тою разницею, что я не обвиняю ихъ за это вовсе, вполнѣ признавая трагичность судьбы ихъ, а вы ихъ хвалите за то, что они убѣжали: «Дескать, такіе великіе и интересные люди могли ли ужиться съ такими

уродами?». Вы ужасно ошибаетесь. Вы вотъ сами выводите, что Алеко и Онѣгинъ вовсе не отрывались отъ почвы и вовсе не отрицали народную правду. Мало того: «вовсе-де и они не горды были» — вотъ что вы даже утверждаете. Да тутъ гордость прямое, логическое и неминуемое послѣдствіе ихъ отвлеченности и оторванности отъ почвы. Вѣдь не можете же вы отрицать, что они почвы не знали, росли и воспитывались по-институтски, Россію узнавали въ Петербургѣ на службѣ, съ народомъ были въ отношеніяхъ барина къ крѣпостному. Пусть они даже и жили въ деревнѣ съ мужикомъ. Мой фельдъегерь всю жизнь съ ямщиками знался, и ничего другого не признавалъ въ нихъ кромѣ достойнаго своего кулачища. Алеко и Онѣгинъ къ Россіи были высокомѣрны и нетерпѣливы, какъ всѣ люди, живущіе отъ народа отдѣльной кучкой. на всемъ готовомъ, т. е. на мужичьемъ трудѣ и на европейскомъ просвѣщеніи, тоже имъ даромъ доставшемся. Именно тѣмъ, что всѣ интеллигентные люди наши, извѣстной исторической подготовкой, чуть не во всѣ вѣка нашей исторіи, обратились лишь въ праздныхъ бѣлоручекъ, — тѣмъ и объясняется ихъ отвлеченность и оторванность отъ родной почвы. Не Держимордой онъ погибъ, а тѣмъ, что не умѣлъ объяснить себѣ Держиморду и происхожденіе его. Слишкомъ для этого гордъ былъ. Не умѣвъ же объяснить, не нашелъ возможности и работать на родной нивѣ. Тѣхъ же, которые вѣрили въ эту возможность, считалъ за глупцовъ или тоже за Держимордъ. И не только передъ Держимордой былъ гордъ нашъ скиталецъ, но и передъ всей Россіей, ибо Россія, по его окончательному выводу, содержала въ себѣ только рабовъ да Держимордъ. Если же заключала что-нибудь въ себѣ поблагороднѣе, то это ихъ, Алекъ и Онѣгиныхъ, а болѣе ничего. Послѣ этого гордость приходитъ уже сама собой: пребывая въ отвлеченіи, они естественно начинали удивляться своему благородству и высотѣ своей надъ гадкими Держимордами, въ которыхъ не умѣли ничего объяснить. Если бъ не были они горды, то увидали бы, что и сами они Держиморды, и, прозрѣвъ это, можетъ быть, нашли бы тогда именно въ этомъ прозрѣніи и исходъ къ примиренію. Къ народу же чувствовали уже не столько гордость, сколько омерзѣніе, и это сплошь. Вы всему этому не повѣрите, вы, напротивъ, говоря, что иныя черты Алекъ и Онѣгиныхъ дѣйствительно неприглядны, высокомѣрно начинаете журить меня за узость взгляда, за то, что «лѣчить симптомы и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно». Вы утверждаете, что я, говоря: «смирись, гордый человѣкъ» — обвиняю Алеко лишь въ лич-

ныхъ его качествахъ, упуская корень дѣла, «какъ будто, дескать, вся суть дѣла лишь въ личныхъ качествахъ гордящихся и не желающихъ смириться». «Не рѣшенъ вопросъ, говорите вы, передъ чѣмъ гордились скитальцы; остается безъ отвѣта и другой: передъ чѣмъ слѣдуетъ смириться». Все это съ вашей стороны очень ужъ высокомѣрно: я, кажется, прямо вѣдь вывелъ, что «скитальцы» продуктъ историческаго хода нашего общества, стало быть, не сваливаю же всю вину на нихъ только однихъ *лично* и на ихъ *личныя* качества. Вы это у меня читали, это написано, напечатано, стало быть, зачѣмъ же вы искажаете? Выписывая у меня тираду: «Смирись», вы пишете:

Въ этихъ словахъ г. Достоевскій выразилъ „святая святыхъ" своихъ убѣжденій, то, что составляетъ одновременно силу и слабость автора „Братьевъ Карамазовыхъ". Въ этихъ словахъ заключенъ великій *религіозный* идеалъ, мощная проповѣдь *личной* нравственности, но нѣтъ и намека на идеалы *общественные*.

А затѣмъ, послѣ этихъ словъ, тотчасъ же начинаете критиковать идею «личнаго совершенствованія въ духѣ христіанской любви». Къ вашему мнѣнію о «личномъ самосовершенствованіи» я перейду сейчасъ, но прежде выверну передъ вами всю вашу подкладку, которую вы, кажется, хотѣли бы скрыть, именно: Вы не за то только, что я обвиняю «скитальца», на меня ужъ такъ разсердились, а за то, что я, напротивъ, не признаю его за идеалъ нравственнаго совершенства, за русскаго здороваго человѣка, какимъ только онъ можетъ и долженъ быть! Признавая, что въ Алеко и Онѣгинѣ есть «неприглядныя черты», вы только хитрите. На вашъ внутренній взглядъ, который вы почему-то не хотите обнаружить вполнѣ, «скитальцы» — нормальны и прекрасны, прекрасны уже тѣмъ, что убѣжали отъ Держимордъ. Вы съ негодованіемъ смотрите, если осмѣлятся въ нихъ признать хоть даже какой-нибудь недостатокъ. Вы говорите уже прямо: «Было бы нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей гордости и не хотѣли смириться передъ народной правдой». Вы, наконецъ, съ жаромъ утверждаете и настаиваете, что это они освобождали крестьянъ. Вы пишете:

Скажемъ больше: если въ душѣ лучшихъ изъ этихъ скитальцевъ первой половины нашего столѣтія" и сохранялся какой-нибудь помыселъ, то это именно былъ помыселъ о народѣ, самая жгучая изъ ихъ ненавистей была обращена именно къ рабству, тяготѣвшему надъ народомъ. Пусть они любили народъ и ненавидѣли крѣпостное право по своему, по-„европейски" что ли. Но кто же, какъ не они, подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права? Чѣмъ могли, и они послужили „родной нивѣ", сначала въ качествѣ проповѣдниковъ

освобожденія, а потомъ въ качествѣ мировыхъ посредниковъ первой очереди.

То-то вотъ и есть, что «скитальцы» ненавидѣли крѣпостное право «по-своему, по-европейски», въ томъ-то и вся сила. То-то вотъ и есть, что ненавидѣли они крѣпостное право не ради русскаго мужика, на нихъ работавшаго, ихъ питавшаго, а стало быть, ими же въ числѣ другихъ и угнетеннаго Кто мѣшалъ имъ, если ужъ до того ихъ одолѣвала гражданская скорбь, что къ цыганамъ приходилось бѣжать, али на баррикады въ Парижъ, — кто мѣшалъ имъ просто-запросто освободить хоть своихъ крестьянъ съ землей и снять такимъ образомъ гражданскую скорбь, по крайней мѣрѣ, хотя съ своей-то личной отвѣтственности? Но о такихъ освобожденіяхъ что-то мало у насъ было слышно, а гражданскихъ воплей раздавалось довольно. «Среда, дескать, заѣдала, и какъ же де ему своего капиталу лишиться?» Да почему же не лишиться, когда ужъ до такой степени дѣло доходило отъ скорби по крестьянамъ, что на баррикады бѣжать приходилось? То-то вотъ и есть, что въ «мѣстечкѣ Парижѣ-съ» все-таки надобны деньги, хотя бы и на баррикадахъ участвуя, такъ что крѣпостные-то и присылали оброкъ. Дѣлали и еще проще: закладывали, продавали или обмѣнивали (не все ли равно?) крестьянъ и, осуществивъ денежки, уѣзжали въ Парижъ способствовать изданію французскихъ радикальныхъ газетъ и журналовъ для спасенія уже всего человѣчества, не только русскаго мужика. Вы увѣряете, что ихъ всѣхъ заѣдала скорбь о крѣпостномъ мужикѣ? Не то чтобъ о крѣпостномъ мужикѣ, а вообще отвлеченная скорбь о рабствѣ въ человѣчествѣ: «Не надо де ему быть, это непросвѣщенно, Liberté, дескать, Egalité et Fraternité». Что же до русскаго мужика лично, то, можетъ быть, скорбь по немъ даже и вовсе не томила этихъ великихъ сердецъ такъ ужасно. Я знаю и запомнилъ множество интимныхъ изреченій даже весьма и весьма «просвѣщенныхъ людей прежняго добраго стараго времени. «Рабство, безъ сомнѣнія, ужасное зло, соглашались они интимно между собой, но если уже все взять, то нашъ народъ — развѣ это народъ? Ну, похожъ онъ на парижскій народъ девяносто третьяго года? Да онъ ужъ свыкся съ рабствомъ, его лицо, его фигура уже изображаетъ собою раба, и, если хотите, розга, напримѣръ, конечно, ужасная мерзость, говоря вообще, но для русскаго человѣка, ей Богу, розгочка еще необходима: русскаго мужика надо посѣчь, русскій мужичокъ стоскуется, если его не посѣчь, ужъ такая-де нація», — вотъ что я слыхивалъ въ свое время, клянусь, отъ весьма даже

просвѣщенныхъ людей. Это «трезвая правда-съ». Онѣгинъ, можетъ быть, и не сѣкъ своихъ дворовыхъ, хотя, право, трудно это рѣшить, ну, а Алеко, я увѣренъ, что посѣкалъ, — и не отъ жестокости вѣдь сердца, а почти даже изъ жалости, почти для доброй цѣли: «Вѣдь это-де для него необходимо, вѣдь безъ розгочки онъ не проживетъ, самъ вѣдь онъ приходитъ и проситъ: посѣки меня, баринъ, сдѣлай человѣкомъ, сбаловался совсѣмъ! Что жъ дѣлать съ такою природою, скажите пожалуйста, ну и удовлетворишь его, посѣчешь!». Повторяю, чувство къ мужику въ нихъ доходило зачастую до гадливости. А сколько презрительныхъ анекдотовъ ходило между нихъ о русскомъ мужикѣ, презрительныхъ и пахабныхъ, о его рабской душѣ, объ его «идолопоклонствѣ», объ его попѣ, объ его бабѣ, и говорили все это съ самымъ легкимъ сердцемъ такіе иногда люди, у которыхъ ихъ собственная семейная жизнь изображала собою нерѣдко почти домъ терпимости, — о, разумѣется, не всегда отъ худого чего-нибудь, а иногда именно лишь отъ излишняго жару къ воспріятію послѣднихъ европейскихъ идей, à la Лукреція Флоріани, напримѣръ, по-нашему понятыхъ и усвоенныхъ со всею русской стремительностью. Русскіе люди были во всемъ-съ! О, русскіе скорбящіе скитальцы бывали иногда большими плутами, г. Градовскій, и вотъ именно эти самые анекдотики о русскомъ мужикѣ и презрительное мнѣніе о немъ почти всегда утоляли въ сердцахъ ихъ остроту гражданской ихъ скорби по крѣпостному праву, придавая ей такимъ образомъ лишь отвлеченно-міровой характеръ. А вѣдь съ отвлеченно-міровымъ характеромъ скорби весьма и весьма можно ужиться, питаясь духовно созерцаніемъ своей нравственной красоты и полета своей гражданской мысли, ну, а тѣлесно все-таки питаясь оброкомъ съ тѣхъ же крестьянъ, да еще какъ питаясь-то! Да чего: вотъ недавно еще одинъ старожилъ, наблюдатель того времени, привелъ анекдотъ въ журналѣ объ одной встрѣчѣ самыхъ сильнѣйшихъ русскихъ тогдашнихъ либеральныхъ и міровыхъ умовъ съ русской бабой. Тутъ уже были отъявленные скитальцы, такъ сказать, уже патентованные, заявившіе въ этомъ смыслѣ себя исторически. Лѣтомъ, видите ли, именно въ сорокъ пятомъ году, на прекрасную подмосковную дачу, гдѣ давались «колоссальные обѣды», по замѣчанію самого старожила, съѣхалось разъ множество гостей: гуманнѣйшіе профессора, удивительнѣйшіе любители и знатоки изящныхъ искусствъ и кой-чего прочаго, славнѣйшіе демократы, а впослѣдствіи знатные политическіе дѣятели уже мірового даже значенія, критики, писатели, прелестнѣйшія по развитію дамы.

И вдругъ вся компанія, вѣроятно послѣ обѣда съ шампанскимъ, съ кулебяками и съ птичьимъ молокомъ (съ чего же нибудь да названы же обѣды «колоссальными») направились погулять въ поле. Въ глуши, во ржи, встрѣчаютъ жницу. Лѣтняя страда извѣстна: встаютъ мужики и бабы въ четыре часа и идутъ хлѣбъ убирать, работаютъ до ночи. Жать очень трудно, всѣ двѣнадцать часовъ нагнувшись, солнце жжетъ. Жница какъ заберется обыкновенно въ рожь, то ее и не видно. И вотъ тутъ-то, во ржи, и находитъ наша компанія жницу, — представьте себѣ, въ «примитивномъ костюмѣ» (въ рубашкѣ?!). Это ужасно! Міровое, гуманное чувство возбуждено, тотчасъ раздался оскорбленный голосъ: «Одна только русская женщина изъ всѣхъ женщинъ ни передъ кѣмъ не стыдится!» Ну, разумѣется, тотчасъ и выводъ: «Одна русская женщина изъ всѣхъ такая, передъ которой никто и ни за что не стыдится» (т. е. такъ и не должно стыдиться, что ли?). Завязался споръ. Явились и защитники бабы, но какіе защитники и съ какими возраженіями имъ пришлось бороться! И вотъ такія-то мнѣнія и рѣшенія могли раздаваться въ толпѣ скитальцевъ-помѣщиковъ, упившихся шампанскимъ, наглотавшихся устрицъ, — а на чьи деньги? Да вѣдь на ея же работу! Вѣдь на васъ же она, міровые страдальцы, работаетъ, вѣдь на ея же трудъ вы наѣлись. Что во ржи, гдѣ ее не видно, мучимая солнцемъ и потомъ, сняла паневу и осталась въ одной рубашкѣ — такъ она и безстыдна, такъ ужъ и оскорбила ваше стыдливое чувство: «изъ всѣхъ, дескать, женщинъ всѣхъ безстыднѣе», — ахъ вы, цѣломудренники! А «парижскія-то увеселенія» ваши, а рѣзвости въ «мѣстечкѣ Парижѣ-съ», а канкачникъ въ Баль-Мабилѣ, отъ котораго русскіе люди таяли, даже когда только разсказывали о немъ, а миленькая пѣсенка:

Ma commère, quand je danse
Comment va mon cotillon?

съ граціознымъ приподнятіемъ юбочки и съ подергиваніемъ задкомъ, — это нашихъ русскихъ цѣломудренниковъ не возмущаетъ, напротивъ — прельщаетъ? «Помилуйте, да вѣдь это у нихъ такъ граціозно, этотъ канканчикъ, эти подергиванія, — это вѣдь изящнѣйшій article de Paris въ своемъ родѣ, а вѣдь тутъ что: тутъ баба, русская баба, обрубокъ, колода!». Нѣтъ-съ, тутъ ужъ даже не убѣжденіе въ мерзости нашего мужика и народа, тутъ ужъ въ чувство перешло, тутъ ужъ личное чувство гадливости къ мужику сказалось, — о, конечно, невольное, почти безсознательное, совсѣмъ даже не замѣ-

ченное съ ихъ стороны. Признаюсь, совсѣмъ даже не могу согласиться съ столь капитальнымъ положеніемъ вашимъ, г. Градовскій: «Кто жъ, какъ не они, подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права?». Отвлеченной болтовней развѣ послужили, источая гражданскую скорбь по всѣмъ правиламъ, — о, конечно, все въ общую экономію пошло и къ дѣлу пригодилось. Но способствовали освобожденію крестьянъ и помогали трудящимся по освобожденію скорѣе такого склада люди, какъ, напримѣръ, Самаринъ, а не ваши скитальцы. Такого типа людей, какъ Самаринъ, типа уже совершенно непохожаго на скитальцевъ, явилось на великую тогдашнюю работу вѣдь очень не мало, г. Градовскій, а о нихъ вы, конечно, ни слова. Скитальцамъ же это дѣло, по всѣмъ признакамъ, очень скоро наскучило, и они опять стали брезгливо будировать. Не скитальцы бы они были, если бы поступили иначе. Получивъ выкупныя, стали остальныя земли и лѣса свои продавать купцамъ и кулакамъ на срубъ и на истребленіе и, выселяясь за границу, завели абсентеизмъ... Вы, конечно, съ моимъ мнѣніемъ не согласитесь, г. профессоръ, но вѣдь что же и мнѣ-то дѣлать: никакъ не могу вѣдь и я согласиться признать этотъ образъ столь дорогого вамъ русскаго высшаго и либеральнаго человѣка за идеалъ настоящаго нормальнаго русскаго человѣка, какимъ будто бы онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, есть теперь и долженъ быть даже въ будущемъ. Не много путнаго сдѣлали эти люди въ послѣднія десятилѣтія на родной нивѣ. Это будетъ повѣрнѣе, чѣмъ вашъ диѳирамбъ во славу этихъ прошлыхъ господъ.

III.

Двѣ половинки.

А теперь перейду къ вашимъ взглядамъ на «личное самосовершенствованіе въ духѣ христіанской любви» и на совершенную, будто бы, недостаточность его сравнительно съ «идеалами общественными и, главное, съ «общественными учрежденіями». О, вы сами начинаете съ того, что это самый важный пунктъ въ нашемъ разномысліи. Вы пишете:

Теперь мы дошли до самаго важнаго пункта въ нашемъ разномысліи съ г. Достоевскимъ. Требуя смиренія предъ народною правдой,

себѣ сказать ему — нѣтъ! *Общественные* идеалы нашего народа находятся еще въ процессѣ *образованіе, развитія*. Ему еще много надо работать надъ собою, чтобъ сдѣлаться достойнымъ имени великаго народа.

Я уже отвѣчалъ отчасти насчетъ «правды» и идеаловъ народныхъ въ началѣ статьи, въ первомъ отдѣленіи ея. Эту правду и эти идеалы народные вы находите прямо недостаточными для развитія общественныхъ идеаловъ Россіи. Религія, дескать, одно, а общественное дѣло другое. Живой, цѣлокупный организмъ рѣжете вашимъ ученымъ ножомъ на двѣ отдѣльныя половинки и утверждаете, что эти двѣ половинки должны быть совершенно независимы одна отъ другой. Посмотримъ же ближе, разберемъ эти обѣ половинки отдѣльно каждую, и, можетъ быть, что-нибудь выведемъ. Разберемъ сначала половинку о «самосовершенствованіи въ духѣ христіанской любви». Вы пишете:

Г-нъ Достоевскій призываетъ работать надъ собой и смирить себя. Личное самосовершенствованіе въ духѣ христіанской любви есть конечно, первая предпосылка для всякой дѣятельности, большой или малой. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ люди, *лично совершенные въ христіанскомъ смыслѣ*, непремѣнно образовали совершенное общество (?!). Позволимъ себя привести примѣръ.

Апостолъ Павелъ поучалъ рабовъ и господъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И тѣ, и другіе могли послушать и обыкновенно слушали слово апостола, они *лично* были хорошими христіанами. но *рабство* чрезъ то не освящалось и оставалось учрежденіемъ безнравственнымъ. Точно также г. Достоевскій, а равно и каждый изъ васъ, зналъ превосходныхъ христіанъ — помѣщиковъ и таковыхъ же крестьянъ. Но *крѣпостное право* оставалось мерзостью предъ Господомъ, и русскій Царь Освободитель явился выразителемъ требованій не только *личной*, но и *общественной* нравственности, о которой въ старое время не было надлежащихъ понятій, несмотря на то, что „хорошихъ людей" было, можетъ быть, не меньше, чѣмъ теперь.

Личная и общественная нравственность не одно и то же. Отсюда слѣдуетъ, что никакое *общественное* совершенствованіе не можетъ быть достигнуто *только* чрезъ улучшеніе личныхъ качествъ людей, его составляющихъ. Приведемъ опять примѣръ. Предположимъ, что, начиная съ 1800 года, рядъ проповѣдниковъ христіанской любви и смиренія принялся бы улучшать нравственность Коробочекъ и Собакевичей. Можно ли предположить, чтобъ они достигли отмѣны крѣпостного права, чтобъ не нужно было *властнаго* слова для устраненія этого „явленія"? Напротивъ. Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христіанка и настоящая „мать" своихъ крестьянъ, и пребыла бы въ этомъ убѣжденіи, несмотря на всѣ доводы проповѣдника...

Улучшеніе людей въ смыслѣ *общественномъ* не можетъ быть произведено только работой „надъ собою" и „смиреніемъ себя". Работать надъ собой и смирять свои страсти можно и въ пустынѣ и на необитаемомъ островѣ. Но, какъ существа *общественныя*, люди развиваются и улучшаются въ работѣ *другъ подлѣ друга, другъ для друга и другъ съ другомъ*. Вотъ почему въ весьма великой степени общественное со-

вершенство людей зависитъ отъ совершенства *общественныхъ учрежденій*, воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести.

Видите, сколько я изъ васъ выписалъ! Все это ужасно высокомѣрно и страшно досталось «личному самосовершенствованію въ духѣ христіанской любви»: въ гражданскихъ, дескать, дѣлахъ почти ни къ чему непригодно. Курьезно вы, однакоже, понимаете христіанство! Представить только, что Коробочка и Собакевичъ стали настоящими христіанами, уже *совершенными* (вы сами говорите о совершенствѣ) — можно ли де ихъ убѣдить тогда отказаться отъ крѣпостного права? Вотъ коварный вопросъ, который вы задаете и, разумѣется, отвѣчаете на него: «нѣтъ, нельзя убѣдить Коробочку даже и совершенную христіанку». На это прямо отвѣчу: если бъ только Коробочка стала и могла стать *настоящей*, совершенной христіанкой, то крѣпостного права въ ея помѣстьи уже не существовало бы вовсе, такъ что и хлопотать бы не о чемъ было, несмотря на то, что всѣ крѣпостные акты и купчія оставались бы у ней попрежнему въ сундукѣ. Позвольте еще: вѣдь Коробочка и прежде была христіанкой, и родилась таковою? Стало быть, говоря о новыхъ проповѣдникахъ христіанства, вы разумѣете хоть и прежнее по сути своей христіанство, но усиленное, *совершенное*, такъ сказать, уже дошедшее до своего идеала? Ну, какіе же тогда рабы и какіе же господа, помилуйте! Надо же понимать хоть сколько-нибудь христіанство! И какое дѣло тогда Коробочкѣ, *совершенной* уже христіанкѣ, крѣпостные или некрѣпостные ея крестьяне? Она имъ «мать», настоящая уже мать, и «мать» тотчасъ же бы упразднила прежнюю «барыню». Это само собою бы случилось. Прежняя барыня и прежній рабъ исчезли бы какъ туманъ отъ солнца, и явились бы совсѣмъ новые люди, совсѣмъ въ новыхъ между собою отношеніяхъ, прежде неслыханныхъ. Да и дѣло-то совершилось бы неслыханное: явились бы *повсемѣстно* совершенные христіане, которыхъ и въ единицахъ-то прежде было такъ мало, что и разглядѣть трудно было. Вѣдь вы сами же сдѣлали такое фантастическое предположеніе, г. Градовскій, вѣдь вы сами же въѣхали въ такую удивительную фантазію, а въѣхали—такъ и принимайте послѣдствія. Увѣряю васъ, г. Градовскій, что крестьяне Коробочки сами бы тогда не пошли отъ нея, по той простой причинѣ, что всякъ ищетъ гдѣ ему лучше. Въ учрежденіяхъ, что ли, вашихъ было бы ему лучше, чѣмъ у любящей ихъ, родной уже матери помѣщицы? Смѣю увѣрить васъ тоже, что если при апостолѣ Павла сохранялось рабство, то это именно потому,

что возникавшія тогдашнія церкви еще не были *совершенны* (что видимъ и изъ посланій апостола). Тѣ же члены церквей, которые лично достигали тогда совершенства, уже не имѣли и не могли имѣть рабовъ, потому что таковые обращались въ братьевъ, а братъ, воистину братъ, не можетъ имѣть своего брата у себя рабомъ. По-вашему же какъ бы выходитъ, что проповѣдь христіанства была безсильна. Вы вотъ, по крайней мѣрѣ, пишете, что проповѣдью апостола рабство не освящалось. А вѣдь другіе ученые, особенно историки европейскіе, во множествѣ укоряли христіанство за то, что оно будто бы освящаетъ рабство. Это значитъ не понимать сути дѣла. Предположить только, что у Маріи Египетской есть крѣпостные крестьяне, и что она не хочетъ ихъ отпустить на волю. Что за абсурдъ! Въ христіанствѣ, въ настоящемъ христіанствѣ, есть и будутъ господа и слуги, но раба невозможно и помыслить. Я говорю про настоящее, совершенное христіанство. Слуги же не рабы. Ученикъ Тимофей прислуживалъ Павлу, когда они ходили вмѣстѣ, но прочтите посланія Павла къ Тимофею: къ рабу ли онъ пишетъ, даже къ слугѣ ли, помилуйте! Да это именно «Чадо Тимофее», возлюбленный сынъ его. Вотъ, вотъ именно такія будутъ отношенія господъ къ своимъ слугамъ, если тѣ и другіе станутъ уже совершенными христіанами! Слуги и господа будутъ, но господа уже будутъ не господами, а слуги не рабами. Представьте, что въ будущемъ обществѣ есть Кеплеръ, Кантъ и Шекспиръ: они работаютъ великую работу для всѣхъ, и всѣ сознаютъ и чтутъ ихъ. Но некогда Шекспиру отрываться отъ работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И повѣрьте, непремѣнно придетъ къ нему служить другой гражданинъ, самъ пожелаетъ, своей волей придетъ и будетъ выносить у Шекспира ненужное. Что жъ онъ будетъ униженъ, рабъ? Отнюдь нѣтъ. Онъ знаетъ, что Шекспиръ полезнѣе его безконечно: «Честь тебѣ и слава, скажетъ онъ ему, и я радъ послужить тебѣ; хоть каплей и я послужу тѣмъ на общую пользу, ибо сохраню тебѣ часы для великаго твоего дѣла, но я не рабъ. Именно сознавшись въ томъ, что ты, Шекспиръ, выше меня своимъ геніемъ, и прійдя къ тебѣ служить, я именно этимъ сознаніемъ моимъ и доказалъ, что по нравственному достоинству человѣческому я не ниже тебя нисколько и, *какъ человѣкъ*, тебѣ равенъ». Да онъ и не скажетъ этого тогда, уже по тому одному, что и вопросовъ такихъ тогда не возникнетъ вовсе, да и немыслимы они будутъ. Ибо всѣ будутъ воистину новые люди, Христовы дѣти, а прежнее животное будетъ побѣждено. Вы скажете, ко-

нечно, что это опять таки фантазія. Но вѣдь не я же началъ фантазировать первый, а вы сами: вѣдь вы же предположили Коробочку, уже *совершенную* христіанку съ «крѣпостными *дѣтьми*», которыхъ она не хочетъ отпустить на волю; это почище моей фантазіи.

Умные люди тутъ разсмѣются и скажутъ: «хорошо же, послѣ того, хлопотать о самосовершенствованіи въ духѣ христіанской любви, когда настоящаго христіанства, стало быть, нѣтъ совсѣмъ на землѣ, или такъ мало, что и разглядѣть трудно, иначе (по-моимъ же, то есть, словамъ) мигомъ все бы уладилось, всякое рабство уничтожилось, Коробочки переродились бы въ свѣтлыхъ геніевъ и всѣмъ бы оставалось только запѣть Богу гимнъ? Да, конечно, господа насмѣшники, настоящихъ христіанъ еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почемъ вы знаете, сколько именно надо ихъ, чтобъ не умиралъ идеалъ христіанства въ народѣ, а съ ними и великая надежда его? Примѣните къ свѣтскимъ понятіямъ: сколько надо настоящихъ гражданъ, чтобъ не умирала въ обществѣ гражданская доблесть? И на это тоже вы не отвѣтите. Тутъ своя политическая экономія, совсѣмъ особаго рода, и намъ неизвѣстная, даже вамъ неизвѣстная, г. Градовскій. Скажутъ опять: если такъ мало исповѣдниковъ великой идеи, то какая въ ней польза? А вы почему знаете, къ какой это пользѣ въ концѣ концовъ приведетъ? До сихъ поръ, повидимому, только того и надо было, чтобъ не умирала великая мысль. Вотъ другое дѣло теперь, когда что-то новое надвигается въ мірѣ повсемѣстно и надо быть готовымъ. Да и дѣло-то тутъ вовсе не въ пользѣ, а въ истинѣ. Вѣдь если я вѣрю, что истина тутъ, вотъ именно въ томъ, во что я вѣрую, то какое мнѣ дѣло, если бъ даже весь міръ не повѣрилъ моей истинѣ, насмѣялся надо мной и пошелъ иною дорогой? Да тѣмъ-то и сильна великая нравственная мысль, тѣмъ-то и единитъ она людей въ крѣпчайшій союзъ, что измѣряется она не немедленной пользой, а стремитъ ихъ въ будущее, къ цѣлямъ вѣковѣчнымъ, къ радости абсолютной. Чѣмъ соедините вы людей для достиженія вашихъ гражданскихъ цѣлей, если нѣтъ у васъ основы въ первоначальной великой идеѣ нравственной? А нравственныя идеи только однѣ: всѣ основаны на идеѣ личнаго абсолютнаго самосовершенствованія впереди, въ идеалѣ, и оно несетъ въ себѣ все, всѣ стремленія, всѣ жажды, а, стало быть, изъ него же исходятъ и всѣ наши гражданскіе идеалы. Попробуйте-ка соединить людей въ гражданское общество съ одной только цѣлью «спасти животишки»! Ничего не получите кромѣ нравственной формулы: «Chacun pour soi et Dieu

pour tous». Съ такой формулой никакое гражданское учрежденіе долго не проживетъ, г. Градовскій.

Но я пойду далѣе, я намѣренъ васъ удивить: узнайте, ученый профессоръ, что общественныхъ гражданскихъ идеаловъ, какъ такихъ, какъ не связанныхъ органически съ идеалами нравственными, а существующихъ сами по себѣ, въ видѣ отдѣльной половинки, откромсанной отъ цѣлаго вашимъ ученымъ ножемъ; какъ такихъ, наконецъ, которые могутъ быть взяты извнѣ и пересажены на какое угодно новое мѣсто съ успѣхомъ, въ видѣ отдѣльнаго «учрежденія», такихъ идеаловъ, говорю я, — нѣтъ вовсе, не существовало никогда, да и не можетъ существовать! Да и что такое общественный идеалъ, какъ понимать это слово? Конечно, суть его въ стремленіи людей отыскать себѣ формулу общественнаго устройства, по возможности безошибочную и всѣхъ удовлетворяющую — вѣдь такъ? Но формулы этой люди не знаютъ, люди ищутъ ее всѣ шесть тысячъ лѣтъ своего историческаго періода и не могутъ найти. Муравей знаетъ формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья (хоть не знаютъ по-человѣчески, такъ знаютъ по-своему, имъ больше не надо), но человѣкъ не знаетъ своей формулы. Откуда же, коли такъ, взяться идеалу гражданскаго устройства въ обществѣ человѣческомъ? А слѣдите исторически, и тотчасъ увидите, изъ чего онъ берется. Увидите, что онъ есть единственно только продуктъ нравственнаго самосовершенствованія единицъ, съ него и начинается, и что было такъ споконъ вѣка и пребудетъ во вѣки вѣковъ. При началѣ всякаго народа, всякой національности, идея нравственная всегда предшествовала зарожденію національности, *ибо она же и создавала ее.* Исходила же эта нравственная идея всегда изъ идей мистическихъ, изъ убѣжденій, что человѣкъ вѣченъ, что онъ не простое земное животное, а связанъ съ другими мірами и съ вѣчностью. Эти убѣжденія формулировались всегда и вездѣ въ религію, въ исповѣданіе новой идеи, и всегда, какъ только начиналась новая религія, такъ тотчасъ же и создавалась граждански новая національность. Взгляните на евреевъ и мусульманъ: національность у евреевъ сложилась только послѣ закона Моисеева, хотя и началась еще изъ закона Авраамова, а національности мусульманскія явились только послѣ Корана. Чтобъ сохранить полученную духовную драгоцѣнность, тотчасъ же и влекутся другъ къ другу люди,

и тогда только, ревностно и тревожно, «работою *другъ подлѣ друга, другъ для друга и другъ съ другомъ*» (какъ вы краснорѣчиво написали) — тогда только и начинаютъ отыскивать люди: какъ бы имъ такъ устроиться, чтобъ сохранить полученную драгоцѣнность, не потерявъ изъ нея ничего, какъ бы отыскать такую *гражданскую* формулу совмѣстнаго житія, которая именно помогла бы имъ выдвинуть на весь міръ, въ самой полной ея славѣ ту нравственную драгоцѣнность, которую они получили. И замѣтьте, какъ только послѣ временъ и вѣковъ (потому что тутъ тоже свой законъ, намъ невѣдомый) начиналъ расшатываться и ослабѣвать въ данной національности ея идеалъ духовный, такъ тотчасъ же начинала падать и національность, а вмѣстѣ падалъ и весь ея гражданскій уставъ, и померкали всѣ тѣ гражданскіе идеалы, которые успѣвали въ ней сложиться. Въ какомъ характерѣ слагалась въ народѣ религія, въ такомъ характерѣ зарождались и формулировались и гражданскія формы этого народа. Стало быть, гражданскіе идеалы всегда прямо и органически связаны съ идеалами нравственными, а главное то, что несомнѣнно изъ нихъ только однихъ и выходятъ. *Сами же по себѣ* никогда не являются, ибо, являясь, имѣютъ лишь цѣлью утоленіе нравственнаго стремленія данной національности, какъ и поскольку это нравственное стремленіе въ ней сложилось. А, стало быть, «самосовершенствованіе въ духѣ религіозномъ» въ жизни народовъ есть основаніе всему, ибо самосовершенствованіе и *есть исповѣданіе полученной религіи,* а «гражданскіе идеалы» сами, безъ этого стремленія къ самосовершенствованію, никогда не приходятъ, да и зародиться не могутъ. Вы скажете, можетъ быть, что вы и сами говорили, что «личное самосовершенствованіе есть начало всему» и что вовсе ничего не дѣлили ножемъ. То-то и есть, что дѣлили, что разрѣзывали живой организмъ на двѣ половинки. Не «*начало* только всему» есть личное самосовершенствованіе, но и продолженіе всего и исходъ. Оно объемлетъ, зиждетъ и сохраняетъ организмъ національности и только оно одно. Для него и живетъ гражданская формула націи, ибо и создалась для того только, чтобъ сохранять его, какъ первоначально полученную драгоцѣнность. Когда же утрачивается въ національности потребность общаго единичнаго самосовершенствованія *въ томъ духѣ, который зародилъ ее,* тогда постепенно исчезаютъ всѣ «гражданскія учрежденія», ибо нечего болѣе охранять. Такимъ образомъ, никакъ нельзя сказать то, что вы сказали въ слѣдующей вашей фразѣ:

Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависитъ отъ совершенства *общественныхъ учрежденій*, воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести.

«Если не христіанскія, то гражданскія доблести»! Развѣ не виденъ тутъ ученый ножъ, дѣлящій недѣлимое, разрѣзающій цѣлокупный живой организмъ на двѣ отдѣльныя мертвыя половинки, нравственную и гражданскую? Вы скажете, что «въ общественныхъ учрежденіяхъ» и въ санѣ «гражданина» можетъ заключаться величайшая нравственная идея, что «гражданская идея» въ націяхъ уже зрѣлыхъ, развившихся, всегда замѣняетъ первоначальную идею религіозную, которая въ нее и вырождается, и которой она по праву наслѣдуетъ. Да, такъ многіе утверждаютъ, но мы такой фантазіи еще не видали въ осуществленіи. Когда изживалась нравственно-религіозная идея въ національности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единенія, съ единственною цѣлью «спасти животишки» — другихъ цѣлей гражданскаго единенія тогда не бываетъ. Вотъ теперь французская буржуазія единится именно съ этою цѣлью «спасенія животишекъ» отъ четвертаго ломящагося въ ея дверь сословія. Но «спасеніе животишекъ» есть самая безсильная и послѣдняя идея изъ всѣхъ идей, единящихъ человѣчество. Это уже начало конца, предчувствіе конца. Единятся, а сами уже навострили глаза, какъ бы при первой опасности поскорѣе разсыпаться врознь. И что тутъ можетъ спасти «учрежденіе» какъ таковое, какъ взятое само по себѣ? Были бы братья, будетъ и братство. Если же нѣтъ братьевъ, то никакимъ «учрежденіемъ» не получите братства. Что толку поставить «учрежденіе» и написать на немъ: Liberté, Egalité, Fraternité? Ровно никакого толку не добьетесь тутъ «учрежденіемъ», такъ что придется, — необходимо, неминуемо придется — присовокупить къ тремъ «учредительнымъ» словечкамъ четвертое: «ou la mort», «fraternité ou la mort» — и пойдутъ братья откалывать головы братьямъ, чтобъ получить чрезъ «гражданское учрежденіе» братство. Это только примѣръ, но хорошій. Вы, г. Градовскій, какъ и Алеко, ищете спасенія въ вещахъ и въ явленіяхъ внѣшнихъ: Пусть-де у насъ въ Россіи поминутно глупцы и мошенники (на иной взглядъ, можетъ, и такъ), но стоитъ лишь пересадить къ намъ изъ Европы какое-нибудь «учрежденіе» и, по-вашему, все спасено. Механическое перенесеніе къ намъ европейскихъ формъ (которыя тамъ завтра же рухнутъ), народу нашему чуждыхъ и волѣ его не пригожихъ, есть, какъ извѣстно, самое важное слово русскаго европеизма. Кстати, вотъ вы, г. Градовскій, осуждая наше

неустройство, стыдя тѣмъ Россію и указывая ей на Европу, изволите говорить:

А пока что, мы не можемъ справиться даже съ такими несогласіями и противорѣчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ давно...

Это Европа-то справилась? Да кто только могъ вамъ это сказать? Да она наканунѣ паденія, ваша Европа, повсемѣстнаго, общаго и ужаснаго. Муравейникъ, давно уже созидавшійся въ ней безъ церкви и безъ Христа (ибо церковь, замутивъ идеалъ свой, давно уже и повсемѣстно переволотилась тамъ въ государство), съ расшатаннымъ до основанія нравственнымъ началомъ, утратившимъ все, все общее и все абсолютное, — этотъ созидавшійся муравейникъ, говорю я, весь подкопанъ. Грядетъ четвертое сословіе, стучится и ломится въ дверь, и, если ему не отворятъ, сломаетъ дверь. Не хочетъ оно прежнихъ идеаловъ, отвергаетъ всякъ доселѣ бывшій законъ. На компромиссъ, на уступочки не пойдетъ, подпорочками не спасете зданія. Уступочки только разжигаютъ, а оно хочетъ всего. Наступитъ нѣчто такое, чего никто и не мыслитъ. Всѣ эти парламентаризмы, всѣ исповѣдаемыя теперь гражданскія теоріи, всѣ накопленныя богатства, банки, науки, жиды, все это рухнетъ въ одинъ мигъ и безслѣдно — кромѣ развѣ жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имъ даже въ руку будетъ работа. Все это «близко, при дверяхъ». Вы смѣетесь? Блаженны смѣющіеся. Дай Богъ вамъ вѣку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мнѣ, смѣясь: «Хорошо же вы любите Европу, коли такъ ей пророчите». А я развѣ радуюсь? Я только предчувствую, что подведенъ итогъ. Окончательный же расчетъ, уплата по итогу, можетъ произойти даже гораздо скорѣе, чѣмъ самая сильная фантазія могла бы предположить. Симптомы ужасны. Ужъ одно только стародавне-неестественное и политическое положеніе европейскихъ государствъ можетъ послужить началомъ всему. Да и какъ бы оно могло быть естественнымъ, когда неестественность заложена въ основаніи ихъ и накоплялась вѣками? Не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ какъ рабомъ, а вѣдь для этой единственно цѣли и слагались до сихъ поръ *всѣ* гражданскія (уже давно не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой. Эта неестественность, и эти «неразрѣшимые» политическіе вопросы (всѣмъ извѣстные, впрочемъ) непремѣнно должны привести къ огромной, окончательной, раздѣлочной политической войнѣ, въ которой всѣ будутъ замѣшаны, и кото-

рая разразится въ нынѣшнемъ еще столѣтіи, можетъ, даже въ наступающемъ десятилѣтіи. Какъ вы думаете: выдержитъ тамъ *теперь* длинную политическую войну общество? Фабрикантъ трусливъ и пугливъ, жидъ тоже, фабрики и банки закроются всѣ, чуть-чуть лишь война затянется или погрозитъ затянуться, и милліоны голодныхъ ртовъ, отверженныхъ пролетаріевъ брошены будутъ на улицу. Ужъ не надѣетесь ли вы на благоразуміе политическихъ мужей и на то, что они не затѣятъ войну? Да когда же на это благоразуміе можно было надѣяться? Ужъ не надѣетесь ли вы на палаты, что онѣ не дадутъ денегъ на войну, предвидя послѣдствія? Да когда же тамъ палаты предвидѣли послѣдствія и отказывали въ деньгахъ чуть-чуть настойчивому руководящему человѣку? И вотъ пролетарій на улицѣ. Какъ вы думаете, будетъ онъ теперь попрежнему терпѣливо ждать, умирая съ голоду? Это послѣ политическаго-то соціализма, послѣ интернаціоналки, соціальныхъ конгрессовъ и парижской коммуны? Нѣтъ, теперь уже не попрежнему будетъ: они бросятся на Европу, и все старое рухнетъ навѣки. Волны разобьются лишь о нашъ берегъ, ибо тогда только, вьявь и воочію обнаружится передъ всѣми, до какой степени нашъ національный организмъ особливъ отъ европейскаго. Тогда и вы, гг. доктринеры, можетъ быть, спохватитесь и начнете искать у насъ «народныхъ началъ», надъ которыми теперь только смѣетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то — указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ именно тѣ самыя учрежденія, которыя тамъ завтра же рухнутъ, какъ изжившій свой вѣкъ абсурдъ, и въ которыя и тамъ уже многіе умные люди давно не вѣрятъ, которыя держатся и существуютъ тамъ до сихъ поръ лишь по одной инерціи. Да и кто, кромѣ отвлеченнаго доктринера, могъ принимать комедію буржуазнаго единенія, которую видимъ въ Европѣ, за нормальную формулу человѣческаго единенія на землѣ? Они-де у себя давно справились: Это послѣ двадцати-то конституцій менѣе чѣмъ въ столѣтіе, и безъ малаго послѣ десятка революцій? О, можетъ быть, только тогда, освобожденные на мигъ отъ Европы, мы займемся ужъ сами, безъ европейской опеки, нашими общественными идеалами, и непремѣнно исходящими изъ Христа и личнаго самосовершенствованія, г. Градовскій. Вы спросите: какіе же могутъ быть у насъ свои общественные и гражданскіе идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданскіе, и наши общественные идеалы — лучше вашихъ европейскихъ, крѣпче вашихъ и даже — о ужасъ! — либеральнѣе вашихъ! Да, либеральнѣе, потому

что исходятъ прямо изъ организма народа нашего, а не лакейски-безличная пересадка съ Запада. Теперь я, конечно, не могу объ этомъ распространяться, ну хоть по тому одному, что и безъ того статья длинна вышла. Кстати, вспомните: что такое и чѣмъ такимъ стремилась быть древняя христіанская церковь? Началась она сейчасъ же послѣ Христа, всего съ нѣсколькихъ человѣкъ, и тотчасъ, чуть не въ первые дни послѣ Христа, устремилась отыскивать свою «гражданскую формулу», всю основанную на нравственной надеждѣ утоленія духа по началамъ личнаго самосовершенствованія. Начались христіанскія общины — церкви, затѣмъ быстро начала созидаться новая, неслыханная дотолѣ національность — всебратская, всечеловѣческая, въ формѣ общей вселенской церкви. Но она была гонима, идеалъ созидался подъ землею, а надъ нимъ, поверхъ земли тоже созидалось огромное зданіе, громадный муравейникъ — древняя Римская имперія, тоже являвшаяся какъ бы идеаломъ и исходомъ нравственныхъ стремленій всего древняго міра: являлся человѣкобогъ, имперія сама воплощалась какъ религіозная идея, дающая въ себѣ и собою исходъ всѣмъ нравственнымъ стремленіямъ древняго міра. Но муравейникъ не заключился, онъ былъ подкопанъ церковью. Произошло столкновеніе двухъ самыхъ противоположныхъ идей, которыя только могли существовать на землѣ: человѣкобогъ встрѣтилъ Богочеловѣка. Аполлонъ Бельведерскій — Христа. Явился компромиссъ: имперія приняла христіанство, а церковь римское право и государство. Малая часть церкви ушла въ пустыню и стала продолжать прежнюю работу: явились опять христіанскія общины, потомъ монастыри — все только лишь пробы, даже до нашихъ дней. Оставшаяся же огромная часть церкви раздѣлилась впослѣдствіи, какъ извѣстно, на двѣ половины Въ западной половинѣ государство одолѣло, наконецъ, церковь совершенно. Церковь уничтожилась и перевоплотилась уже окончательно въ государство. Явилось папство — продолженіе древней Римской имперіи въ новомъ воплощеніи. Въ восточной же половинѣ государство было покорено и разрушено мечемъ Магомета, и остался лишь Христосъ, уже отдѣленный отъ государства. А то государство, которое приняло и вновь вознесло Христа, претерпѣло такія страшныя вѣковыя страданія отъ враговъ, отъ татарщины, отъ неустройства, отъ крѣпостного права, отъ Европы и европеизма, и столько ихъ до сихъ поръ выноситъ, что настоящей общественной формулы, въ смыслѣ духа любви и христіанскаго самосовершенствованія, дѣйствительно, еще въ

немъ не выработалось. Но не вамъ бы только укорять его за это, г. Градовскій. Пока народъ нашъ хоть только носитель Христа, на него одного и надѣется. Онъ назвалъ себя крестьяниномъ, т. е. христіаниномъ, и тутъ не одно только слово, тутъ идея на все его будущее. Вы, г. Градовскій, безжалостно укоряете Россію за ея неустройство. А кто мѣшалъ до сихъ поръ ей устроиться во всѣ эти два послѣдніе вѣка, и особенно въ послѣднее пятидесятилѣтіе? А вотъ, все подобные вамъ, русскіе европейцы, г. Градовскій, которые у насъ всѣ два вѣка не переводились, а теперь особенно на насъ насѣли. Кто врагъ органическому и самостоятельному развитію Россіи на собственныхъ ея народныхъ началахъ? Кто насмѣшливо не признаетъ даже существованіе этихъ началъ и не хочетъ ихъ замѣчать! Кто хотѣлъ передѣлать народъ нашъ, фантастически «возвышая его до себя» — попросту надѣлать все такихъ же, какъ сами, либеральныхъ европейскихъ человѣковъ, отрывая, отъ времени до времени, отъ народной массы по человѣчку и развращая его въ европейца даже хоть фалдочками мундира? Этимъ я не говорю, что европеецъ — развратенъ; я говорю только, что передѣлывать русскаго въ европейца такъ, какъ либералы его передѣлываютъ — есть сущій развратъ зачастую. А вѣдь въ этомъ-то состоитъ весь идеалъ ихней программы дѣятельности: именно въ отлупливаніи по человѣчку отъ общей массы — экой абсурдъ! Это они такъ хотѣли всѣ восемьдесятъ милліоновъ народа нашего отколупать и передѣлать? Да неужели же вы серьезно думаете, что нашъ народъ весь, всей массой своей, согласится стать такою же безличностью, какъ эти господа русскіе европейцы?

IV.

Одному смирись, а другому гордись. Буря въ стаканчикѣ.

До сихъ поръ я только препирался съ вами, г. Градовскій, теперь же хочу васъ и упрекнуть за намѣренное искаженіе моей мысли, главнаго пункта въ моей «Рѣчи».

Вы пишете:

Еще слишкомъ много неправды, остатковъ вѣкового рабства засѣло въ немъ (т. е. въ народѣ нашемъ), чтобъ онъ могъ *требовать себѣ поклоненія* и, сверхъ того, претендовать еще на обращеніе всей Европы на путь истинный, какъ это предсказываетъ г. Достоевскій.

Странное дѣло! Человѣкъ, казнящій гордость въ лицѣ отдѣльныхъ скитальцевъ, призываетъ къ гордости цѣлый народъ, въ которомъ онъ видитъ какого-то всемірнаго апостола. Однимъ онъ говоритъ: „Смирись!“ Другому говоритъ: „Возвышайся!“

И далѣе:

А тутъ, не сдѣлавшись какъ слѣдуетъ народностью, вдругъ мечтать о всечеловѣческой роли! Не рано ли? Г-нъ Достоевскій гордится тѣмъ, что мы два вѣка служили Европѣ. Признаемся, это „служеніе“ вызываетъ въ насъ не радостное чувство. Время ли вѣнскаго конгресса и вообще эпохи конгрессовъ можетъ быть предметомъ нашей „гордости“? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли національное движеніе въ Италіи и Германіи и косились даже на единовѣрныхъ грековъ? И какую ненависть нажили мы въ Европѣ именно за это „служеніе“!

Остановлюсь сначала на этой послѣдней, маленькой, почти невинной передержкѣ. Да развѣ я, сказавъ, что «мы въ послѣдніе два вѣка служили Европѣ, можетъ быть, даже болѣе, чѣмъ себѣ» — развѣ я хвалилъ то, *какъ* мы служили? Я только хотѣлъ отмѣтить фактъ служенія, и фактъ этотъ истиненъ. Но фактъ служенія и то, *какъ* мы служили — два дѣла совсѣмъ разныя. Мы могли надѣлать очень много политическихъ ошибокъ, да и европейцы ихъ дѣлаютъ во множествѣ помянутно, но не промахи наши я хвалилъ, я только фактъ нашего служенія (почти всегда безкорыстнаго) обозначилъ. Неужели вы не понимаете, что это двѣ вещи разныя? «Г-нъ Достоевскій гордится тѣмъ, что мы служили Европѣ», говорите вы. Да вовсе и не гордясь я это сказалъ, я только обозначалъ черту нашего народнаго духа, черту многознаменующую. Такъ отыскать прекрасную, здоровую черту въ духѣ національномъ значитъ ужъ непремѣнно гордиться? А что вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это вы-то меня будете въ этомъ учить? Да я еще, когда вы были студентомъ, про служеніе Меттерниху говорилъ, да еще посильнѣе вашего, и именно за слова о неудачномъ служеніи Меттерниху (между другими словами, конечно) — тридцать лѣтъ тому назадъ извѣстнымъ образомъ и отвѣтилъ. Для чего же вы это исказили? А вотъ, чтобъ показать: «Видите ли, какой я либералъ, а вотъ поэтъ, восторженный-то любитель народа, слышите какія ретроградныя вещи мелетъ, гордясь нашимъ служеніемъ Меттерниху». Самолюбіе, г. Градовскій.

Но это, конечно, пустяки, а вотъ слѣдующее не пустяки.

Итакъ, сказавъ народу: «возвышайся духомъ» значитъ сказать ему: «гордись», значитъ склонять его къ гордости, учить его гордости? Вообразите, г. Градовскій,

что вы вашимъ роднымъ дѣтямъ говорите: «Дѣти, возвышайте духъ вашъ, дѣти, будьте благородны!» — неужели же это значитъ, что вы ихъ гордости учите, или что вы сами, уча ихъ, гордитесь? А я что сказалъ? Я говорилъ о надеждѣ «стать братомъ всѣхъ людей въ концѣ концовъ». Неужели же свѣтлая надежда, что хоть когда-нибудь въ нашемъ страдающемъ мірѣ осуществится братство, и что и намъ, можетъ быть, *позволятъ стать братьями* всѣхъ людей — неужели эта надежда есть уже гордость и призывъ къ гордости? Да вѣдь я прямо, прямо сказалъ въ концѣ «Рѣчи»: «Что же, развѣ я про экономическую славу говорю, про славу меча иль науки? Я говорю лишь о братствѣ людей и о томъ, что ко всемірному, ко всечеловѣчески-братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изъ всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено»... Вотъ мои слова. И неужто въ нихъ призывъ къ гордости? Сейчасъ послѣ приведенныхъ словъ моей «Рѣчи» я прибавилъ: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя Христосъ. Почему же намъ не вмѣстить послѣдняго слова Его?» Это слово-то Христово значитъ призывъ къ гордости, а надежда вмѣстить это слово есть гордость? Вы въ негодованіи пишете, «что намъ слишкомъ рано требовать себѣ поклоненія». — Да какое же тутъ требованіе поклоненія — помилуйте! Это желаніе-то всеслуженія, стать всѣми слугами и братьями и служить имъ своею любовью, значитъ требовать отъ всѣхъ поклоненія? Да если тутъ требованіе поклоненія, то святое, безкорыстное желаніе всеслуженія становится тотчасъ абсурдомъ. Слугамъ не кланяются, а братъ не колѣнопреклоненій пожелаетъ отъ брата.

Представьте, г. Градовскій, что вы сдѣлали какое-нибудь доброе дѣло, или идете только дѣлать его, и вотъ вы, дорогою, въ добромъ умиленіи вашемъ думаете и воображаете: «какъ обрадуется этотъ несчастный неожиданной помощи, которую я ему несу, какъ воспрянетъ духомъ, какъ воскреснетъ, пойдетъ разскажетъ о своей радости своимъ домашнимъ, своимъ дѣтямъ, заплачетъ съ ними»... Думая и воображая это, вы, конечно, сами почувствуете умиленіе, иногда даже слезы (неужели этого съ вами никогда не случалось?), и вотъ подлѣ васъ умный голосъ вамъ въ ухо: «Это ты гордишься, воображая все это себѣ! Это ты отъ гордости проливаешь слезы!» Помилуйте, да одна уже надежда на то, что и мы, русскіе, можемъ хоть что-нибудь значить въ человѣчествѣ и хотя бы въ концѣ концовъ удостоимся братски послужить ему, — одна ужъ эта надежда вызвала восторгъ и слезы

восторга въ тысячной массѣ слушателей. Я вѣдь не для похвальбы, не изъ гордости это припоминаю, я только обозначаю серьезность момента. Дана была только свѣтлая надежда, что и мы можемъ быть чѣмъ-нибудь въ человѣчествѣ, хотя бы *только* братьями другимъ людямъ, и вотъ одинъ только горячій намекъ соединяетъ всѣхъ въ одну мысль и въ одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись другъ другу впредь быть лучшими. Ко мнѣ подошли два старика и сказали мнѣ: «Мы двадцать лѣтъ были врагами другъ другу и вредили другъ другу, а по вашему слову мы помирились». Въ одной газетѣ поспѣшили замѣтить, что весь этотъ восторгъ ничего не выражаетъ, что было-де такое ужъ настроеніе «съ цѣлованіемъ рукъ», и что напрасно ораторы всходили и говорили и доканчивали свои рѣчи... «Что бы они ни сказали, все тотъ же-де былъ бы восторгъ, ибо такое ужъ благодушное настроеніе въ Москвѣ объявилось». А вотъ поѣхалъ бы этотъ журналистъ самъ туда и сказалъ бы что-нибудь отъ себя: кинулись ли бы къ нему такъ, какъ ко мнѣ, или нѣтъ? Отчего же три дня передъ тѣмъ говорили рѣчи и были огромныя оваціи говорящимъ, но того, что случилось послѣ моей рѣчи, ни съ кѣмъ тамъ не было? Это былъ единственный моментъ на праздникѣ Пушкина и не повторялся. Видитъ Богъ, не для восхваленія своего говорю, но моментъ этотъ былъ слишкомъ серьезенъ, и я не могу о немъ умолчать. Серьезность его состояла именно въ томъ, что въ обществѣ ярко и ясно объявились новые элементы, объявились люди, которые жаждутъ подвига, утѣшающей мысли, обѣтованія дѣла. Значитъ, не хочетъ уже общество удовлетворяться однимъ нашимъ либеральнымъ хихиканіемъ надъ Россіей, значитъ, мерзитъ уже ученіе о вѣковѣчномъ безсиліи Россіи. Одна только надежда, одинъ намекъ, и сердца зажглись святою жаждою всечеловѣческаго дѣла, всебратскаго служенія и подвига. Это отъ гордости они зажглись? Это отъ гордости пролились слезы? Это къ гордости я ихъ призывалъ? Ахъ, вы!

Видите ли, г. Градовскій: серьезность этого момента вдругъ многихъ испугала въ нашемъ либеральномъ стаканчикѣ, тѣмъ болѣе, что это было такъ неожиданно. «Какъ? До сихъ поръ мы такъ пріятно и себѣ полезно хихикали и все оплевывали, а тутъ вдругъ... да это вѣдь бунтъ? Полицію!» Выскочило нѣсколько перепуганныхъ разныхъ господъ: «Какъ же съ нами-то теперь? Вѣдь и мы тоже писали... куда же насъ теперь дѣнутъ? Затереть, затереть это все поскорѣе и чтобъ не осталось и слѣда, разъяснить скорѣе на всю Россію, что это только

такое благодушное настроеніе въ хлѣбосольной Москвѣ случилось, миленькій моментикъ послѣ ряда обѣдовъ, а болѣе ничего, ну, а бунтъ укротить полиціей!» И принялись: и трусъ-то я, и поэтъ-то я, ничтоженъ-то я, и нулевое-то значеніе имѣетъ моя рѣчь, — однимъ словомъ, сгоряча поступили даже неосторожно: публика могла и не повѣрить. Надо было, напротивъ, это дѣло сдѣлать умѣючи, подойти хладнокровнѣе, даже хоть что-нибудь и похвалить въ моей «Рѣчи»: «дескать, все-таки есть теченіе мыслей», а затѣмъ, мало-по-малу, мало-по-малу, все и заплевать, и затереть, къ общему удовлетворенію. Однимъ словомъ, поступили не столь искусно. Явился пробѣлъ, его надо было поскорѣе восполнить, и вотъ немедленно отыскался солидный, опытный уже критикъ, соединяющій безотчетность нападеній съ надлежащею комильфотностью. Этотъ критикъ были вы, г. Градовскій: вы написали, васъ прочли, и всѣ успокоились. Вы послужили общему и прекрасному дѣлу, по крайней мѣрѣ, васъ вездѣ перепечатали: не выдерживаетъ, дескать, строгой критики рѣчь поэта; поэты поэтами, а вотъ умные-то люди стоятъ на стражѣ и всегда во-время обкатятъ холодной водой мечтателя». Въ самомъ концѣ вашей статьи вы просите меня извинить вамъ выраженія, которыя я, въ статьѣ вашей, могъ бы счесть рѣзкими. Я, кончая мою статью, не прошу у васъ извиненія за рѣзкости, г. Градовскій, буде таковыя въ статьѣ моей есть. Я отвѣчалъ не лично А. Д. Градовскому, а публицисту А. Градовскому. Лично я не имѣю ни малѣйшихъ причинъ не уважать васъ. Если же не уважаю ваши мнѣнія и остаюсь при томъ, то чѣмъ смягчу прося извиненій? Но мнѣ тяжело было видѣть, что весьма серьезная и знаменательная минута въ жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена ошибочно. Тяжело было видѣть, что идею, которой служу я, волокутъ по улицѣ. Вотъ вы-то ее и поволокли.

Я знаю, мнѣ скажутъ со всѣхъ сторонъ, что не стоило и смѣшно было писать такой длинный отвѣтъ на вашу довольно короткую, сравнительно съ моей, статью. Но повторяю, ваша статья послужила только предлогомъ: мнѣ хотѣлось кое-что вообще высказать. Я намѣренъ съ будущаго года «Дневникъ писателя» возобновить. Такъ вотъ этотъ теперешній номеръ «Дневника» пусть послужитъ моимъ profession de foi на будущее, «пробнымъ», такъ сказать, номеромъ.

Скажутъ еще, пожалуй, что я моимъ вамъ отвѣтомъ уничтожилъ весь смыслъ моей «Рѣчи», произнесенной въ Москвѣ, гдѣ самъ призывалъ обѣ партіи русскія къ еди-

ненію и примиренію и признавалъ законность той и другой. Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ, смыслъ «Рѣчи» не уничтоженъ, а, напротивъ, — еще болѣе закрѣпленъ, ибо именно я обозначаю въ моемъ вамъ отвѣтѣ, что обѣ партіи, въ отчужденіи одна отъ другой, во враждѣ одна съ другой, сами ставятъ себя и свою дѣятельность въ ненормальное положеніе, тогда какъ въ единеніи и въ соглашеніи другъ съ другомъ могли бы, можетъ быть, все вознести, все спасти, возбудить безконечныя силы и воззвать Россію къ новой, здоровой, великой жизни, доселѣ еще невиданной!

Дневникъ писателя

за 1881 г.

ЯНВАРЬ.

Глава первая.

I.

Финансы. Гражданинъ, оскорбленный въ Ѳерситѣ. Увѣнчаніе снизу и музыканты. Говорильня и говоруны.

Господи, неужели и я, послѣ трехъ лѣтъ молчанія, выступлю, въ возобновленномъ «Дневникѣ» моемъ, съ статьей экономической? Неужели и я экономистъ, финансистъ? Никогда таковыми не былъ. Несмотря даже на теперешнее повѣтріе, не заразился экономизмомъ, и вотъ туда же за всѣми выступаю съ статьей экономической. А что теперь повѣтріе на экономизмъ — въ томъ нѣтъ сомнѣнія. Теперь всѣ экономисты. Всякій начинающійся журналъ смотритъ экономистомъ и въ смыслѣ этомъ рекомендуется. Да и какъ не быть экономистомъ, кто можетъ теперь не быть экономистомъ: паденіе рубля, дефицитъ! Этотъ всеобщій экономическій видъ появился у насъ наиболѣе въ послѣдніе годы, послѣ нашей турецкой кампаніи. О, и прежде у насъ разсуждали много о финансахъ, но во время войны и послѣ войны всѣ бросились въ финансы по преимуществу, — и опять-таки, конечно, все это произошло натурально: рубль упалъ, займы на военные расходы и проч. Но тутъ, кромѣ собственно рубля, была и отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: «мы, дескать, говорили, мы предрекали». Особенно пустились въ экономизмъ тѣ, которые говорили тогда, въ семьдесятъ шестомъ и седьмомъ годахъ, что денежки лучше великодушія, что Вос-

точный вопросъ одно баловство и фикція, что не только подъема духа народнаго нѣтъ, не только война не народна и не національна, но, въ сущности, и народа-то нѣтъ, а есть и пребываетъ попрежнему все та же косная масса, нѣмая и глухая, устроенная къ платежу податей и къ содержанію интеллигенціи; масса, которая если и даетъ по церквамъ гроши, то потому лишь, что священникъ и начальство велятъ. Всѣ русскіе Ѳерситы (а ихъ много развелось въ интеллигенціи нашей) были тогда страшно оскорблены въ своихъ лучшихъ чувствахъ. Гражданинъ въ Ѳерситѣ былъ оскорбленъ. Вотъ и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-по-малу примкнули къ нимъ уже и не Ѳерситы, даже бывшіе «герои» примкнули. Всѣ понемногу надулись, нѣкоторые, впрочемъ, очень. Правда, и миръ невыгодный поспособствовалъ, берлинская конференція. (NB. Кстати объ этой берлинской конференціи: меня тогда одна баба въ глуши, въ захолустьи, на проселочной дорогѣ, хозяйка постоялаго дворика, вдругъ спрашиваетъ: «Батюшка, скажи ты мнѣ, какъ насъ тамъ за границей-то теперь порѣшили, не слыхать ли чего?» Подивился я тогда на эту бабу. Но объ этомъ, т. е. о тогдашнемъ подъемѣ духа народнаго, потомъ.) Я только хочу теперь сказать, что объ рублѣ и о дефицитѣ всѣ теперь пишутъ, и ужъ, конечно, тутъ отчасти и стадность: всѣ пишутъ, всѣ тревожатся, такъ какъ же и мнѣ не тревожиться, подумаютъ, что не гражданинъ, не интересуюсь. Впрочемъ, есть кое-гдѣ и настоящая гражданская тревога, есть боль, есть болѣзненныя сомнѣнія за будущее, — не хочу душой кривить. Но, однакоже, хоть и истинныя гражданскія боли, а почти вездѣ все на тему: Зачѣмъ-де у насъ все это не такъ, какъ въ Европѣ? «Въ Европѣ-де вездѣ хорошъ талеръ, а у насъ рубль дуренъ. Такъ какъ же это мы не Европа, такъ зачѣмъ же это мы не Европа?» Умные люди разрѣшили, наконецъ, вопросъ, почему мы не Европа и почему у насъ не такъ, какъ въ Европѣ: «Потому-де, что не увѣнчано зданіе». Вотъ и начали всѣ кричать объ увѣнчаніи зданія, забывъ, что и зданія-то еще никакого не выведено, что и вѣнчать-то, стало быть, совсѣмъ нечего, что вмѣсто зданія всего только нѣсколько бѣлыхъ жилетовъ, вообразившихъ, что они уже зданіе, и что увѣнчаніе, если ужъ и начать его, гораздо пригоднѣе начать прямо снизу, съ армяка и лаптя, а не съ бѣлаго жилета. Тутъ сдѣлаемъ необходимую оговорку: увѣнчаніе снизу на первый взглядъ, конечно, нелѣпость, хотя бы лишь въ архитектурномъ смыслѣ, и противорѣчитъ всему что было и есть въ этомъ

родѣ въ Европѣ. Но такъ какъ у насъ все своеобразно, все не такъ, какъ въ Европѣ, а иногда такъ совсѣмъ наоборотъ, то и въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ увѣнчаніе зданія, дѣло это можетъ произойти наоборотъ Европѣ, къ удивленію и негодованію нашихъ русскихъ европейскихъ умовъ. Ибо, къ удивленію Европы, нашъ низъ, нашъ армякъ и лапоть, есть въ самомъ дѣлѣ въ своемъ родѣ уже зданіе, — не фундаментъ только, а именно зданіе, — хотя и не завершенное, но твердое и незыблемое, вѣками выведенное, и дѣйствительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя еще и не вполнѣ развитую, нашего будущаго уже архитектурно-законченнаго зданія, въ себѣ одномъ предчувствующее. Впрочемъ, всѣ эти возгласы европейцевъ нашихъ объ увѣнчаніи, если ужъ всю правду сказать, имѣютъ характеръ, именно какъ и сказали мы выше, болѣе стадный и механически-успокоительный чѣмъ разсудочный и дѣйствительно гражданскій, нравственно-гражданскій. И потому такъ набросились всѣ на это новое утѣшеніе, что всѣ этои внѣшнія, именно *механически*-успокоительныя утѣшенія, всегда легки и пріятны и чрезвычайно сподручны: «Нужна-де только европейская формула и все какъ разъ спасено; приложить ее, взять изъ готоваго сундука, и тотчасъ же Россія станетъ Европой, а рубль талеромъ». Главное, что пріятно въ этихъ механическихъ успокоеніяхъ, — это то, что думать совсѣмъ не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я праведниковъ не трогаю. Праведники вездѣ есть, даже и изъ европейцевъ русскихъ, и я ихъ чту. Но согласитесь, что у насъ, въ большинствѣ случаевъ, все это какъ-то танцуя происходитъ. Чего думать, чего голову ломать, еще заболитъ: взять готовое у чужихъ и тотчасъ начнется музыка, согласный концертъ —

Мы вѣрно ужъ поладимъ,
Коль рядомъ сядемъ.

Ну, а что коль вы въ музыканты-то еще не годитесь, и это въ огромнѣйшемъ, въ колоссальнѣйшемъ большинствѣ, господа? А что коль изъ бѣлыхъ жилетовъ выйдетъ лишь одна говорильня? А что коли колоссальнѣйшее большинство бѣлыхъ-то жилетовъ въ увѣнчанное зданіе и вовсе бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если ужъ такъ случится когда-нибудь, что оно будетъ увѣнчано? То-есть ихъ бы и можно и пустить и должно, потому что все жъ они русскіе люди (а многіе такъ и люди хорошіе), если бъ только они, со всей землей, захотѣли смиренно, въ иномъ общемъ великомъ дѣлѣ, свой совѣтъ сказать. Но вѣдь не захотятъ они

свой совѣтъ вмѣстѣ съ землей сказать, возгордятся надъ нею. До сихъ поръ, цѣлыхъ два столѣтія, были особо, а тутъ вдругъ и соединятся! Это вѣдь не водевиль, это требуетъ исторіи и культуры, а культуры у насъ нѣтъ и не было. Посмотрите, вникните въ азартъ иного европейскаго русскаго человѣка и притомъ иной разъ самаго невиннѣйшаго и любезнаго по личному своему характеру, посмотрите, вникните, съ какимъ нелѣпымъ, ядовитымъ и преступнымъ, доходящимъ до пѣны у рта, до клеветы, азартомъ препирается онъ за свои завѣтныя идеи, и именно за тѣ, которыя въ высшей степени не похожи на складъ русскаго народнаго міросозерцанія, на священнѣйшія чаянія и вѣрованія народныя! Вѣдь такому барину, такому бѣлоручкѣ, чтобъ соединиться съ землею, вонняющею зипуномъ и лаптемъ, — чѣмъ надо поступиться, какими святѣйшими для него книжками и европейскими убѣжденіями? Не поступится онъ, ибо брезгливъ къ народу и высокомѣренъ къ землѣ Русской уже невольно. «Мы, дескать, только одни и можемъ совѣтъ сказать, скажутъ они, а тѣ, остальные (то-есть вся-то земля), пусть и тѣмъ довольны будутъ пока, что мы, образуя ихъ, будемъ ихъ постепенно возносить до себя и «научимъ народъ его правамъ и обязанностямъ». (Это они-то собираются поучать народъ его правамъ и, главное, — обязанностямъ! Ахъ, шалуны!) «Русское общество не можетъ-де пребывать въ уѣздной кутузкѣ вмѣстѣ съ оборваннымъ народомъ, одѣтымъ въ національные лапти». Такъ вѣдь, выходя съ такимъ настроеніемъ, можно (и даже неминуемо) дойти опять до закрѣпощенія народнаго, зипуна-то и лаптя, хотя не прежнимъ крѣпостнымъ путемъ, такъ интеллигентной опекой и ея политическими послѣдствіями, —

А народъ опять скуемъ!

Ну и, разумѣется, кончатъ тѣмъ, что заведутъ для нихъ у себя говорильню. Заведутъ, да и сами себя и другъ друга, съ перваго же шагу, не поймутъ и не узнаютъ, — и это навѣрно случится такъ. Будутъ лишь въ темнотѣ другъ объ друга стукаться лбами. Не обижайтесь, господа: это и не съ такимъ обществомъ, цѣлыхъ два вѣка оторваннымъ отъ всякаго дѣла и не имѣющимъ никакой самобытной культуры, какъ ваше, случалось, когда доходила до него очередь въ первый разъ свой совѣтъ сказать, это и съ культурнѣйшими народами случалось. Но такъ какъ тѣ все-таки за собой имѣли вѣковую культуру, и, что прежде всего, всегда болѣе или менѣе на народъ опирались, то и оправлялись скоро, и

выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не безъ предварительныхъ шишекъ на лбу. Ну, а вы, наши европейцы, на что обопретесь, чѣмъ сладитесь? — тѣмъ только, что рядомъ сядете. А сколько, сколько расплодилось у насъ теперь говоруновъ? Точно въ самомъ дѣлѣ готовятся. Сядетъ передъ вами иной передовой и поучающій господинъ и начнетъ говорить: ни концовъ, ни началъ, все сбито и сверчено въ клубокъ. Часа полтора говоритъ и, главное, вѣдь такъ сладко и гладко, точно птица поетъ. Спрашиваешь себя, что онъ: умный или иной какой? — и не можешь рѣшить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а въ цѣломъ ничего-то не разберешь. Курицу ль впредь яйца учатъ, или курица будетъ попрежнему на яйцахъ сидѣть, — ничего этого не разберешь видишь только, что краснорѣчивая курица, вмѣсто яицъ, дичь несетъ. Глаза выпучишь подъ конецъ, въ головѣ дурманъ. Это типъ новый, недавно народившійся; художественная литература его еще не затрагивала. Много чего не затронула еще наша художественная литература изъ современнаго и текущаго, много совсѣмъ проглядѣла и страшно отстала. Все больше типами сороковыхъ годовъ пробиваются, много что пятидесятыхъ. Даже и въ историческій-то романъ, можетъ, потому ударилась, что смыслъ текущаго потеряла.

II.

Возможно ль у насъ спрашивать европейскихъ финансовъ?

А что же финансы? Что жъ финансовая-то статья? — скажутъ мнѣ. Но опять-таки: какой я экономистъ, какой финансистъ? Да и не смѣю я вовсе писать о финансахъ. Почему же осмѣлился-то и собираюсь писать? А вотъ именно потому, что увѣренъ, что, начавъ о финансахъ, переѣду совсѣмъ на другое, и выйдетъ у меня не финансовая, а совсѣмъ иная какая-нибудь статья. Вотъ этимъ только я и ободренъ. Ибо и недостоинъ я вовсе писать о финансахъ, такъ какъ самъ знаю, что смотрю на наши финансы совсѣмъ не съ европейской точки и не вѣрую даже, что ее можно къ намъ приложить — и именно потому, что мы вовсе не Европа и что все у насъ до того особливо, что мы, въ сравненіи съ Европой, почти какъ на лунѣ сидимъ. Въ Европѣ, напри-

мѣръ, рабское, феодальное отношеніе низшихъ сословій къ высшимъ уничтожалось вѣками и, наконецъ-то, раздалась революція; все, однимъ словомъ, совершилось культурно и исторически. У насъ же крѣпостное право рушилось въ одинъ мигъ со всѣми послѣдствіями, и, слава Богу, безъ малѣйшей революціи. И вотъ, казалось бы, откудова быть потрясенію, то есть капитальному, очень большому? Правда и то: все, что вдругъ падаетъ, падаетъ всегда очень опасно, то есть съ большимъ потрясеніемъ. Не я, разумѣется, пожалѣю, что вдругъ упало. Страшно хорошо, напротивъ, что весь этотъ мерзостный историческій грѣхъ нашъ упразднился разомъ по великому слову Освободителя. Тѣмъ не менѣе законъ природы нельзя миновать, и потрясеніе вышло большое. Пусть бы большое, но почему столь великое? Разумѣется, на все законы исторіи, и ужъ, безъ сомнѣнія, есть весьма многіе, которые и теперь ясно различаютъ, почему все такъ вышло. Но, не развивая эту тему дальше — (велика она и огромна, историку будущаго вѣка развѣ только по силамъ) — не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на иныя частности, что прежде всего бросаются въ глаза и смущаютъ. Вотъ, напримѣръ, посмотрите: рухнуло крѣпостное право, мѣшавшее всему, даже правильному развитію земледѣлія, — и вотъ тутъ-то бы, кажется, и зацвѣсти мужику, тутъ-то бы, кажется, и разбогатѣть ему. Ничуть не бывало: въ земледѣліи мужикъ съѣхалъ прямо на минимумъ того, что можетъ ему дать земля. И, главное, въ томъ бѣда, что еще неизвѣстно: найдется ли даже и впредь такая сила (и въ чемъ именно она заключается), чтобъ мужикъ рѣшился возвыситься надъ минимумомъ, который даетъ ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажутъ умники: вопросъ пустой и уже всѣмъ понятный, но я твердо увѣренъ, что еще далеко не разрѣшенный и несравненно огромнѣйшій, несравненно болѣе захватывающій въ себѣ содержанія, чѣмъ предполагаютъ его. Затѣмъ посмотрите опять: все прежнее барское землевладѣніе упало и понизилось до жалкаго уровня, а вмѣстѣ съ тѣмъ видимо началось перерожденіе всего бывшаго владѣльческаго сословія въ нѣчто иное, чѣмъ прежде, въ народъ, въ интеллигентный народъ — ибо во что же, казалось бы, переродиться ему? Вотъ бы и прекрасно и ужъ лучше, кажется, нельзя бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенція, предводящая его, самъ онъ жаждетъ и ищетъ ея. Но, къ сожалѣнію, и это у насъ пока еще въ идеалѣ и представляется лишь прелестнымъ журавлемъ, летающимъ въ небѣ; въ дѣйствительности же далеко не

такъ. Захочетъ ли сословіе и прежній помѣщикъ стать интеллигентнымъ *народомъ?* — вотъ вопросъ, и, знаете ли: самый важный, самый капитальный, какой только есть у насъ теперь и отъ котораго зависитъ, можетъ быть, все наше будущее! А между тѣмъ вопросъ этотъ далеко еще не рѣшенъ, и даже представить нельзя, какимъ путемъ разрѣшится. Не захочетъ ли, напротивъ, сословіе опять возгордиться и стать опять надъ народомъ властью силы, ужъ конечно, не прежнимъ крѣпостнымъ правомъ, но не захочетъ ли, напримѣръ, оно, вмѣсто единенія съ народомъ, изъ самаго образованія своего создать новую властную и разъединительную силу и стать надъ его народомъ аристократіей интеллигенціи, его опекающей. Захочетъ ли оно искренно признать народъ своимъ братомъ по крови духу, впредь навсегда, почтитъ ли оно то, что чтитъ народъ нашъ, согласится ли возлюбить то, что возлюбилъ народъ даже болѣе самого себя. А вѣдь безъ этого никогда и никто не сойдется съ нашимъ народомъ, ибо то, что онъ чтитъ и любитъ, у него крѣпко, и онъ не поступится имъ ни для какой интеллигенціи, какъ бы ни жаждалъ ея самъ. Все это у насъ страшно насущно и страшно не рѣшено. И вообще у насъ все теперь въ вопросахъ. И, что главное, все вѣдь это требуетъ времени, исторіи, культуры, поколѣній, а у насъ, напротивъ того, предстоитъ разрѣшить въ одинъ мигъ. Въ томъ-то и главная наша разница съ Европой, что не историческимъ, не культурнымъ ходомъ дѣла у насъ столь многое происходитъ, а вдругъ и совсѣмъ даже какъ-то внезапно, иной разъ даже никѣмъ до того неожиданнымъ предписаніемъ начальства. Конечно, все произошло и идетъ не по винѣ чьей-нибудь, и ужъ, если хотите, такъ даже и исторически, но согласитесь и съ тѣмъ, что такой исторіи не знала Европа. Какъ же спрашивать съ насъ Европы, да еще съ европейской системой финансовъ? Я, напримѣръ, вѣрю какъ въ экономическую аксіому, что не желѣзнодорожники, не промышленники, не милліонеры, не банки, не жиды *обладаютъ* землею, а прежде всѣхъ лишь одни земледѣльцы; что кто обработываетъ землю, тотъ и ведетъ все за собою, и что земледѣльцы и суть государство, ядро его, сердцевина. А такъ ли у насъ, не навыворотъ ли въ настоящую минуту: гдѣ наше ядро и въ комъ? Не желѣзнодорожникъ ли и жидъ владѣютъ экономическими силами нашими? Вотъ у насъ строятся желѣзныя дороги и, опять фактъ, какъ ни у кого: Европа чуть не полвѣка покрывалась своей сѣтью желѣзныхъ дорогъ, да еще при своемъ-то богатствѣ. А у насъ послѣднія пятнадцать-шестнадцать

тысячъ верстъ желѣзныхъ дорогъ въ десять лѣтъ выстроились, да еще при нашей-то нищетѣ и въ такое потрясенное экономически время, сейчасъ послѣ уничтоженія крѣпостного права! И, уже конечно, всѣ капиталы перетянули къ себѣ именно тогда, когда земля ихъ жаждала наиболѣе. На разрушенное землевладѣніе и создались желѣзныя дороги. А разрѣшенъ ли у насъ до сихъ поръ вопросъ о единичномъ, частномъ землевладѣніи? Уживется ли впредь оно рядомъ съ мужичьимъ, съ опредѣленной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетаріатѣ и кабакѣ основанной? А вѣдь безъ здраваго разрѣшенія такого вопроса что же здраваго выйдетъ? Намъ именно здравыя рѣшенія необходимы, — до тѣхъ поръ не будетъ спокойствія, а вѣдь только спокойствіе есть источникъ всякой великой силы. Какже спрашивать у насъ теперь европейскихъ бюджетовъ и правильныхъ финансовъ? Тутъ ужъ не въ томъ вопросъ, почему у насъ нѣтъ европейской экономіи и хорошихъ финансовъ, а вопросъ лишь въ томъ: какъ еще мы устояли? Опять-таки крѣпкой, единительной, всенародной силой устояли.

А спокойствія у насъ мало, спокойствія духовнаго особенно, т. е. самаго главнаго, ибо безъ духовнаго спокойствія никакого не будетъ. На это особенно не обращаютъ вниманія, а добиваются только временной, матеріальной глади. Спокойствія въ умахъ нѣтъ, и это во всѣхъ слояхъ, спокойствія въ убѣжденіяхъ нашихъ, во взглядахъ нашихъ, въ нервахъ нашихъ, въ аппетитахъ нашихъ. Труда и сознанія, что лишь трудомъ «спасенъ будеши» — нѣтъ даже вовсе. Чувства долга нѣтъ, да и откуда ему завестись: культуры полтора вѣка не было правильной, пожалуй, что и никакой. «Къ чему я стану трудиться, коли я самой культурой моей доведенъ до того, что все, кругомъ меня, отрицаю? А если и есть колпаки, которые думаютъ спасти зданіе какими-то европейскими измышленіями, — то я и колпаковъ отрицаю, а вѣрю лишь въ то, что чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, и вотъ вся моя философія». Увѣряю васъ, что у насъ теперь это очень многіе говорятъ, про себя по крайней мѣрѣ, а иные такъ и вслухъ. И, однако, говорящій такіе афоризмы человѣкъ самъ-то вѣдь изъ костей и плоти. «Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше», говоритъ онъ, но это вѣдь только для другихъ, для всѣхъ, «самому-то мнѣ пусть будетъ какъ можно лучше» — вотъ вѣдь какъ онъ разумѣетъ свою философію. Аппетитъ же у него волчій. Мужчина съ медвѣдя, а нервы у него женскія, разстроенныя, избалованныя; жестокъ и сластолюбивъ, ничего перенесть не можетъ, «да и къ чему-де утруждать

себя и переносить?» Пресѣклись обѣды въ ресторанѣ, пресѣклись кокотки, такъ для чего же и жить, — бацъ и пулю въ лобъ. Еще хорошо, если себѣ пулю въ лобъ, а то вѣдь пойдетъ да другого обокрадетъ, законно-юридическимъ образомъ. А ходъ-то дѣла не ждетъ, бѣдность наростаетъ всеобщая. Вонъ купцы повсемѣстно жалуются, что никто ничего не покупаетъ. Фабрики сокращаютъ производство до минимума. Войдите въ магазинъ и спросите, какъ дѣло идетъ: «прежде, скажутъ вамъ, къ празднику человѣкъ, по крайней мѣрѣ, полдюжины рубахъ себѣ купитъ, а теперь все по одной беретъ». Спросите даже въ ресторанахъ модныхъ — такъ какъ это послѣднее мѣсто, гдѣ бѣдность появляется. «Нѣтъ, скажутъ вамъ, ужъ теперь не кутятъ попрежнему, всѣ прижались, много что придетъ и обыкновенный обѣдъ спроситъ» — и это вѣдь прежній щеголь, бонбанникъ. Выкупныя прожили. Теперь еще все-таки валятъ послѣдніе лѣса, а повалятъ — и ничего ужъ не будетъ. А какіе ужъ теперь лѣса? Поѣдете по желѣзной дорогѣ, замѣтьте у станцій дрова: прежде все-таки бревна рубили, а теперь совсѣмъ не рѣдкость встрѣтить какія-то тоненькія палочки вмѣсто дровъ, — не дерево, а кусты ужъ рубятъ, подросточки. Вамъ, конечно, наблюденіе это покажется мелочью въ виду прочихъ громадныхъ вопросовъ нашего времени. Но вѣдь про лѣса наши финансисты рѣшительно игнорируютъ, точно и не хотятъ знать, какъ будто даже по какому-то принципу. А безъ лѣсовъ вѣдь и финансы понизятся въ страшномъ размѣрѣ, если все-то сообразить и въ самую глубь войти. Но въ лѣсномъ вопросѣ всѣ какъ будто слово дали себѣ лишь скользить по поверхности, пока не пришла бѣда. Она придетъ вдругъ, ибо всѣ пока успокоены тѣмъ, что цѣна лѣсу на рынкѣ все еще стоитъ подходящая, и знать не хотятъ, что она, такъ сказать, искусственная, отъ усиленнаго предложенія тѣхъ, которые валятъ лѣса и кусты даже, потому что уже все прожили. Повалятъ, и вдругъ ничего не окажется, нечего будетъ предложить. Но объ этомъ потомъ. Я вѣдь началъ рѣчь о повсемѣстной нищетѣ и, обратномъ ей, развитіи аппетитовъ.

Я хочу только, между прочимъ, замѣтить, что страшно развелось много капитановъ Копейкиныхъ, въ безчисленныхъ видоизмѣненіяхъ, начиная съ настоящихъ, до великосвѣтскихъ и раздушенныхъ. И всѣ-то на казну и на общественное достояніе зубы точатъ. Разумѣется, всѣ они быстро превратятся у насъ если не въ разбойниковъ на большихъ дорогахъ, какъ было съ настоящимъ Копейкинымъ, то въ карманныхъ промышленниковъ,

иные въ дозволенныхъ, а иные такъ и прикрывать себя юридически не станутъ. Иной даже гордо скажетъ: «Я потому таковъ что все отрицаю и отрицанію способствую». О, развѣ нѣтъ Копейкиныхъ-либераловъ? Они слишкомъ поняли, что въ модѣ либерализмъ и что на немъ можно выѣхать. Кто ихъ не видывалъ: либералъ всесвѣтный, атеистъ дешевый, надъ народомъ величается своимъ просвѣщеніемъ въ пятакъ цѣны! Онъ самое пошлое изъ всѣхъ пошлыхъ проявленій нашего лжелиберализма, но все-таки у него неутолимо развитъ аппетитъ, а потому онъ опасенъ. Вотъ такіе-то первые и примыкаютъ прежде всѣхъ ко всякой идеѣ о пересадкахъ извнѣ для механическаго врачеванія, группируются и составляютъ толпу, которую ведутъ весьма часто весьма честные люди, въ сущности не виноватые въ томъ, что у нихъ такой контигентъ: «Пусть всякая перемѣна, только чтобъ безъ труда и готовая, говоритъ либеральный Копейкинъ; все-таки лучше мнѣ будетъ съ внѣшней-то перемѣной, съ какой бы тамъ ни было, чѣмъ теперь, потому что навѣрное найду, чѣмъ поживиться на первыхъ порахъ», — такъ вѣдь съ этой стороны онъ очень опасенъ, хотя всего только Копейкинъ. Но оставимъ Копейкина. Все сказанное теперь еще только самый малый краюшекъ на тему о томъ, что у насъ нѣтъ спокойствія. Самъ вижу, что предисловіе мое вышло слишкомъ ужъ длинно. Но къ финансамъ, къ финансамъ!

III.

Забыть текущее ради оздоровленія корней. По неумѣнью впадаю въ нѣчто духовное.

По свойству натуры моей, начну съ конца, а не съ начала, разомъ выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умѣлъ писать постепенно, доходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успѣю ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпѣнія не хватало, характеръ препятствовалъ, чѣмъ я, конечно, вредилъ себѣ, потому что иной окончательный выводъ, высказанный прямо, безъ подготовленій, безъ предварительныхъ доказательствъ, способенъ иногда просто удивить и смутить, а пожалуй, такъ вызвать и смѣхъ, а у меня, — я уже предчувствую — именно такой выводъ, что надъ нимъ можно сразу разсмѣяться, если не подготовить къ нему читателя предварительно. Мысль

моя, формула моя — слѣдующая: «Для пріобрѣтенія хорошихъ государственныхъ финансовъ въ государствѣ, извѣдавшемъ извѣстныя потрясенія, не думай слишкомъ много о текущихъ потребностяхъ, сколь бы сильно ни вопіяли онѣ, а думай лишь объ оздоровленіи корней — и получишь финансы».

Ну, разумѣется, тотчасъ же раздается смѣхъ: «Это-де всѣ знаютъ, скажутъ мнѣ, въ вашей формулѣ нѣтъ ровно ничего неизвѣстнаго; кто жъ не знаетъ, что не надо истощать корней, что, засушивъ корни, плодовъ не получишь» и т. д., и т. д. Но, однакоже, дайте оговориться, я еще не всю мою мысль сказалъ, и, увы, въ томъ-то и бѣда моя, что если бъ я даже цѣлую книгу написалъ, развивая эту мысль мою, то и тогда (о, опять-таки предчувствую это) — не сумѣлъ бы разъяснить ее настолько, чтобъ ее можно было понять *во всей полнотѣ*. Ибо въ этой мысли заключается нѣкій своего рода фатумъ.

Видите ли: объ оздоровленіи корней, конечно, всѣ знаютъ и какой же нашъ министръ финансовъ болѣе или менѣе о нихъ не заботился, а ужъ особенно министръ нынѣшній: онъ прямо приступилъ къ корнямъ, и вотъ уже соляной налогъ уничтоженъ. Ожидаются и еще реформы, и чрезвычайныя, капитальныя, именно «корневыя». Кромѣ того всегда, и прежде, и десять лѣтъ тому, употреблялись многія средства на оздоровленіе корней: назначались ревизіи, устраивались комиссіи для изслѣдованія благосостоянія русскаго мужика, его промышленности, его судовъ, его самоуправленія, его болѣзней, его нравовъ и обычаевъ, и пр., и пр. Комиссіи выдѣляли изъ себя подкомиссіи на собраніе статистическихъ свѣдѣній, и дѣло шло какъ по маслу, т. е. самымъ лучшимъ административнымъ путемъ, какой только можетъ быть. Но я вовсе, вовсе не про то говорить теперь началъ. Мало того, не только подкомиссіи, но даже и такія капитальныя реформы, какъ отмѣна соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы, — по-моему, суть лишь одни палліативы, нѣчто внѣшнее и не съ самаго корня начатое, — вотъ что я хочу выставить. Съ самаго корня будетъ то, когда мы, если не совсѣмъ, то хоть на половину забудемъ о текущемъ, о злобѣ дня сего, о вопіющихъ нуждахъ нашего бюджета, о долгахъ по заграничнымъ займамъ, о дефицитѣ, объ рублѣ, о банкротствѣ даже, котораго, впрочемъ, никогда у насъ и не будетъ, какъ ни пророчатъ его намъ злорадно заграничные друзья наши. Однимъ словомъ, когда обо всемъ, обо всемъ текущемъ позабудемъ и обратимъ вниманіе лишь на одно оздоровленіе корней, и это до тѣхъ

поръ, пока получимъ дѣйствительно обильный и здоровый плодъ. Ну, тогда можно будетъ и опять въѣхать въ текущее, или, лучше сказать, уже въ новое текущее, потому что въ этотъ антрактъ, надо думать, что прежнее (т. е. современное, теперешнее наше текущее) измѣнится все радикально и преобразитъ свой характеръ до того, что мы сами его не узнаемъ. И что же: я, разумѣется, понимаю, что все, что я сказалъ сейчасъ, покажется дикимъ, что не думать о рублѣ, о платежахъ по займамъ, о банкротствѣ, о войскѣ нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять и, повидимому, прежде всего. Но увѣряю же васъ, что и я понимаю это. Видите, я вамъ признаюсь: я нарочно поставилъ мою мысль ребромъ и желанія мои довелъ до идеала почти невозможнаго. Я думалъ, что именно начавъ съ абсурда и стану понятнѣе. Я и сказалъ: «Что если бъ мы хоть *на половину* только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше вниманіе на нѣчто совсѣмъ другое, въ нѣкую глубь, въ которую, по правдѣ, доселѣ никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности?». Но я сейчасъ же готовъ смягчить мою формулу, и вотъ что вмѣсто нея предложу: *не на половину* забыть о текущемъ, — отъ половины я отказываюсь, — а всего бы только на одну двадцатую долю, но съ тѣмъ (непремѣнно съ тѣмъ), чтобы, начавъ съ двадцатой доли забвенія текущаго, въ каждый слѣдующій годъ прибавлять къ прежней долѣ еще по одной двадцатой и дойти — ну, дойти, напримѣръ, такимъ образомъ, до трехъ четвертей забвенія. Важна тутъ не доля, *а важенъ тутъ принципъ*, который взять, поставить передъ собой и затѣмъ уже слѣдовать ему неуклонно. О, на это все тотъ же вопросъ: куда жъ дѣвать текущее-то, — не похерить же его, какъ несуществующее? Я и не говорю: похерить; знаю самъ, что существующее нельзя сдѣлать несуществующимъ, — но знаете, господа, иногда и можно. Вѣдь если только перестать лишь на одну двадцатую долю ежегодно удостоивать его столь болѣзненно-тревожнаго вниманія, какъ теперь, а обратить это болѣзненно-тревожное вниманіе, въ размѣрѣ тоже одной двадцатой доли ежегодно, на нѣчто другое, то дѣло-то представится почти что и не фантастическимъ, а совсѣмъ даже возможнымъ къ начатію, тѣмъ болѣе, что о текущемъ (повторяю это), пренебрегаемомъ на одну двадцатую долю ежегодно, уже потому одному нечего безпокоиться, что оно все не утратится, вовсе не похерится, а, повторяю это, оно само собою преобразится въ нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ теперь, само подчинится новому принципу и войдетъ въ

смыслъ и духъ его, непремѣнно преобразится къ лучшему, къ самому даже лучшему. Мнѣ скажутъ, что я говорю загадками и, однакоже, это ничуть. Для примѣра и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное словцо на тему о томъ, какимъ образомъ можно сразу начать переходъ отъ текущаго къ «оздоровленію корней».

Ну что, если бъ, напримѣръ, Петербургъ согласился вдругъ какимъ-нибудь чудомъ сбавить своего высокомѣрія во взглядѣ своемъ на Россію, — о, какимъ бы славнымъ и здоровымъ первымъ шагомъ послужило бы это къ «оздоровленію корней»! Ибо что же Петербургъ, — онъ вѣдь дошелъ до того, что рѣшительно считаетъ себя всей Россіей, и это отъ поколѣнія къ поколѣнію идетъ наростая. Въ этомъ смыслѣ Петербургъ какъ бы слѣдуетъ примѣру Парижа, несмотря на то, что на Парижъ совсѣмъ не похожъ! Парижъ ужъ такъ самъ собою устроился исторически, что поглотилъ всю Францію, все значеніе ея политической и соціальной жизни, весь смыслъ ея, — и отнимите Парижъ у Франціи — что при ней останется; одно географическое опредѣленіе ея. И вотъ у насъ воображаютъ иные почти такъ же, какъ и въ Парижѣ, что въ Петербургѣ слилась вся Россія. Но Петербургъ совсѣмъ не Россія. Для огромнаго большинства русскаго народа Петербургъ имѣетъ значеніе лишь тѣмъ, что въ немъ его Царь живетъ. Между тѣмъ, и это мы знаемъ, петербургская интеллигенція наша, отъ поколѣнія къ поколѣнію, все менѣе и менѣе начинаетъ понимать Россію, именно потому, что, замкнувшись отъ нея въ своемъ чухонскомъ болотѣ, все болѣе и болѣе измѣняетъ свой взглядъ на нее, который у иныхъ сузился, наконецъ, до размѣровъ микроскопическихъ, до размѣровъ какого-нибудь Карлсруэ. Но выгляните изъ Петербурга, и вамъ предстанетъ море-океанъ земли Русской, море необъятное и глубочайшее. И вотъ сынъ петербургскихъ отцовъ самымъ спокойнымъ образомъ отрицаетъ море народа русскаго и принимаетъ его за нѣчто косное и безсознательное, въ духовномъ отношеніи ничтожное и въ высшей степени ретроградное. «Велика-де Ѳедора, да дура, годится лишь насъ содержать, чтобы мы ее умуразуму обучили и порядку государственному». Танцуя и лоща паркеты, создаются въ Петербургѣ будущіе сыны отечества, а «чернорабочія крысы», какъ называлъ ихъ Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, изучаютъ отечество въ канцеляріяхъ и, разумѣется, чему-то научаются, но не Россіи, а совсѣмъ иному, подчасъ очень странному. Это что-то иное и странное Россіи и навязываютъ. А между тѣмъ, море-океанъ живетъ своеобразно, съ каж-

дымъ поколѣніемъ все болѣе и болѣе духовно отдѣляясь отъ Петербурга. И не говорите, что живетъ онъ хотя мощною жизнью, но еще безсознательною, какъ увѣрены до сихъ не только петербуржцы, но даже и понимающіе Россію иные немногіе русскіе люди. О, если бъ знали, какъ это невѣрно, и уже сколько сознанія накопились въ народѣ русскомъ, напримѣръ, хотя бы только въ теперешнее царствованіе! Да, сознаніе уже растетъ, растетъ,, и уже столь многое народомъ понято и осмысленно что петербургскіе люди и не повѣрили бы. Это видится тѣмъ, которые видѣть умѣютъ, это предчувствуется и только еще не обнаруживается въ цѣломъ, хотя сильно обнаруживается по мѣстамъ, по угламъ, по домамъ и по избамъ. Гдѣ же обнаружиться еще въ цѣломъ — вѣдь это океанъ, океанъ! Но если когда обнаружится или только начнетъ обнаруживаться, то въ какое внезапное удивленіе повергнетъ оно петербургскаго и интеллигентнаго человѣка! Правда, долго онъ будетъ отрицать и не вѣрить своимъ пяти чувствамъ, долго не сдастся европейскій человѣчекъ, — иные такъ и умрутъ не сдавшись. Но чтобы избѣгнуть великихъ и грядущихъ недоразумѣній, о, какъ бы желательно было, повторяю это, чтобы Петербургъ, хотя бы въ лучшихъ-то представителяхъ своихъ, сбавилъ хоть капельку своего высокомѣрія во взглядѣ своемъ на Россію! Проникновенія бы капельку больше, пониманія, смиренія передъ великой землей Русской, передъ моремъ-океаномъ, — вотъ бы чего надо. И какимъ бы вѣрнымъ первымъ шагомъ послужило это къ «оздоровленію корней»...

— Но позвольте,—прервутъ меня,—все это пока лишь только старыя, истрепанныя славянофильскія бредни, совсѣмъ даже не реальное, а какое-то даже духовное; но что такое «оздоровленіе корней», — вы еще это ее не разъяснили? И что за корни? Какіе корни? Что вы подъ этимъ разумѣете?

— Вы правы, господа, правы, — начнемъ объ самихъ «корняхъ».

IV.

Первый корень. Вмѣсто твердаго финансоваго тона впадаю въ старыя слова. Море-океанъ. Жажда правды и необходимость спокойствія, столь полезнаго для финансовъ.

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоитъ непремѣнно и какъ можно оздоровить—

это, безъ сомнѣнія, все тотъ же русскій народъ, все тотъ же море-океанъ, о которомъ я сейчасъ мою рѣчь завелъ. Я про простой нашъ народъ теперь говорю, про простолюдина и мужика, про платежную силу, про мозольныя рабочія руки, про море-океанъ. О, какъ не знать мнѣ, что сдѣлало и дѣлаетъ для него безпрерывно наше правительство въ нынѣшнее царствованіе, начиная съ освобожденія его отъ крѣпостной зависимости? Да, оно заботится о его нуждахъ, о его просвѣщеніи, лѣченіи, прощаетъ ему даже недоимки при случаѣ, — однимъ словомъ, дѣлаетъ и заботится много, кто жъ про это не знаетъ. Но я не про это хочу начать рѣчь: я разумѣю лишь духовное оздоровленіе этого великаго корня, который есть начало всему. Да, онъ духовно боленъ, о, не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болѣзнь жестока. Какая же она, какъ она называется? Трудно это выразить въ одномъ словѣ. Можно бы вотъ какъ сказать: «Жажда правды, но неутоленная». Ищетъ народъ правды и выхода къ ней безпрерывно и все не находитъ. Хотѣлось бы мнѣ ограничиться тутъ лишь финансовой точкой взгляда на эту болѣзнь, но придется прибавить и нѣсколько старыхъ словъ. Съ самаго освобожденія отъ крѣпостной зависимости, явилась въ народѣ потребность и жажда чего-то новаго, уже не прежняго, жажда правды, но уже полной правды, полнаго гражданскаго воскресенія своего въ новую жизнь послѣ великаго освобожденія его. Затребовалось новое слово, стали закипать новыя чувства, стало глубоко вѣриться въ новый порядокъ. Послѣ перваго періода посредниковъ перваго призыва наступило вдругъ нѣчто иное, чѣмъ ожидалъ народъ. Наступилъ порядокъ, въ который народъ и радъ былъ увѣровать, но мало что въ немъ понималъ. Не понималъ онъ его, терялся, а потому и не могъ увѣровать. Являлось что-то внѣшнее, что-то какъ бы ему чужое и не его собственное. Пережевывать эту тему столь давно пережеванную нечего: другіе разскажутъ про это лучше моего, — прочтите хоть въ журналѣ «Русь». Явилось затѣмъ безшабашное пьянство, пьяное море какъ бы разлилось по Россіи, и хоть свирѣпствуетъ оно и теперь, но все-таки жажды новаго, правды новой, правды уже полной народъ не утратилъ, упиваясь даже и виномъ. И никогда, можетъ быть, не былъ онъ болѣе склоненъ къ инымъ вліяніямъ и вѣяніямъ и болѣе беззащитенъ отъ нихъ, какъ теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ея успѣхъ въ народѣ: что свидѣтельствуетъ она? Исканіе правды и безпокойство по ней. Именно безпокойство; народъ теперь именно «обезпокоенъ» прав-

ственно. Я убѣжденъ даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сихъ поръ путей «въ народъ», то единственно по неумѣлости, глупости и неподготовленности пропагаторовъ, не умѣвшихъ даже и подойти къ народу. А то, при самой малой умѣлости, и они бы проникли, какъ проникла и штунда. О, надо беречь народъ. Сказано: «Будутъ времена, скажутъ вамъ: Се здѣсь Христосъ, или тамъ, не вѣрьте». Вотъ и теперь какъ будто нѣчто похожее совершается, и не только въ народѣ, но, пожалуй, даже и у насъ наверху. Ну, развѣ не волнуется народъ разными необычными слухами о передѣлѣ, напримѣръ, надѣловъ, о новыхъ золотыхъ грамотахъ? Недавно имъ читали по церквамъ, чтобъ не вѣрили, что ничего не будетъ, и вотъ, вѣрите ли: именно послѣ этого чтенія и утвердилась, по мѣстамъ, еще болѣе мысль, что «будетъ»: «Даромъ бы читать не стали, а коли ужъ зачали читать, значитъ будетъ». Вотъ что они заговорили тотчасъ же послѣ чтенія, по крайней мѣрѣ по мѣстамъ. Я именно знаю случай: покупали крестьяне у сосѣдняго помѣщика землю и сошлись было въ цѣнѣ, а послѣ этого чтенія отступились: «И безъ денегъ возьмемъ». Посмѣиваются и ждутъ. Я только про слухи говорю, про способность внимать имъ, свидѣтельствующую именно о нравственномъ безпокойствѣ народа. И вотъ что главное: народъ у насъ одинъ, т. е. въ уединеніи, весь только на свои лишь силы оставленъ, духовно его никто не поддерживаетъ. Есть земство, но оно «начальство». Есть судъ, но и то «начальство»; есть община, наконецъ, міръ, но и то какъ будто бы ужъ теперь тянетъ къ чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ выборныхъ, — въ присутствіи «начальства», непремѣннаго члена какого-нибудь, и что изъ этого происходитъ. Но анекдотовъ этихъ тысячи, пересчитывать не буду. Посмотритъ иной простакъ кругомъ себя и вдругъ выведетъ, что одному-де кулаку и міроѣду житье, что какъ будто для нихъ все и дѣлается, такъ стану-де и я кулакомъ, — и станетъ. Другой, посмирнѣе, просто сопьется, не потому, что бѣдность одолѣла, а потому, что отъ безправицы тошно. Что же тутъ дѣлать? Тутъ фатумъ. Вѣдь ужъ, кажется, дано управленіе, начальство, тутъ-то бы и успокоиться, — анъ вышло почему-то наоборотъ. Вонъ насчитали, что у народа, теперь, въ этотъ мигъ, чуть ли не два десятка начальственныхъ чиновъ, спеціально къ нему опредѣленныхъ, надъ нимъ стоящихъ, его оберегающихъ и опекающихъ. И безъ того уже бѣдному человѣку всѣ и всякіи начальство, а тутъ еще двадцать штукъ спеціальныхъ! Свобода-то

движенія равно какъ у мухи, попавшей въ тарелку съ патокой. А вѣдь это не только съ нравственной, но и съ финансовой точки зрѣнія вредно, т. е. такая свобода движеній. А, главное, народъ одинъ, безъ совѣтниковъ. Есть у него только Богъ и царь, — вотъ этими двумя силами и двумя великими надеждами онъ и держится. А другіе совѣтники всѣ проходятъ мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенція, напримѣръ, сплошь проходитъ мимо народа, ибо хотя и много въ интеллигенціи нашей толковыхъ людей, но зато о народѣ русскомъ мало кто имѣетъ понятія. У насъ только отрицаютъ да безпрерывно жалуются: «Зачѣмъ-де не «оживляется» общество, и почему-де никакъ нельзя оживить его, и что же это за задача такая?». А потому нельзя оживить, что вы на народъ не опираетесь, и что народъ не съ вами духовно и вамъ чужой. Вы какъ бы составляете верхнюю зону надъ народомъ, обернувшую землю Русскую, и для васъ-то собственно, по крайней мѣрѣ, какъ говорятъ и пишутъ у васъ же, Преобразователь и оставилъ народъ крѣпостнымъ, чтобы онъ, служа вамъ трудомъ своимъ, далъ вамъ средство къ европейскому просвѣщенію примкнуть. Вы и просвѣтились въ два-то столѣтія, а народъ-то отъ васъ отдалился, а вы отъ него. «Да не мы ли, скажете вы, объ народѣ болѣемъ, не мы ли о немъ столь много пишемъ, не мы ли его и къ нему призываемъ?». Такъ, вы все это дѣлаете, но русскій народъ убѣжденъ почему-то, что вы не о немъ болѣете, а о какомъ-то иномъ народѣ, въ вашу голову засѣвшемъ и на русскій народъ не похожемъ, а его такъ даже и презираете. Это презрительное отношеніе къ народу — въ нѣкоторыхъ изъ насъ даже совсѣмъ безсознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остатокъ крѣпостного права. Началось же оно съ тѣхъ поръ, какъ былъ умерщвленъ граждански народъ для нашего европейскаго просвѣщенія и пребываетъ въ насъ несомнѣнно доселѣ, когда и воскресъ народъ, и, знаете, намъ даже и невозможно уже теперь сойтись съ народомъ, если только не совершится какого чуда въ землѣ Русской. Тутъ, повторю, весьма старыя мои же слова: народъ русскій въ огромномъ большинствѣ своемъ — православенъ и живетъ идеей православія въ полнотѣ, хотя и не разумѣетъ эту идею отвѣтчиво и научно. *Въ сущности* въ народѣ нашемъ кромѣ этой «идеи» и нѣтъ никакой, и все изъ нея одной и исходитъ, по крайней мѣрѣ, народъ нашъ такъ хочетъ, всѣмъ сердцемъ своимъ и глубокимъ убѣжденіемъ своимъ. Онъ именно хочетъ, чтобъ все, что есть у него и что даютъ ему, изъ этой лишь одной идеи и

исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и выходитъ до нелѣпости не изъ этой идеи, а смраднаго, гадкаго, преступнаго, варварскаго и грѣховнаго. Но и самые преступникъ и варваръ хоть и грѣшатъ, а все-таки молятъ Бога, въ высшія минуты духовной жизни своей, чтобъ пресѣкся грѣхъ ихъ и смрадъ и все бы выходило опять изъ той излюбленной «идеи» ихъ. Я знаю, надо мною смѣялись наши интеллигентные люди: «той идеи» даже и признавать они не хотятъ въ народѣ, указывая на грѣхи его, на смрадъ его (которымъ сами же они виной были, два вѣка угнетая его), указываютъ на предразсудки, на индифферентность будто бы народа къ религіи, а иные такъ даже воображаютъ, что русскій народъ просто-напросто атеистъ. Вся глубокая ошибка ихъ въ томъ, что они не признаютъ въ русскомъ народѣ церкви. Я не про зданія церковныя теперь говорю и не про причты, я про нашъ русскій «соціализмъ» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъясненія моей мысли, какъ ни показалось бы это страннымъ) — цѣль и исходъ котораго всенародная и вселенская церковь, осуществленная на землѣ, поколику земля можетъ вмѣстить ее. Я говорю про неустанную жажду въ народѣ русскомъ, всегда въ немъ присущую, великаго, всеобщаго, всенароднаго, всебратскаго единенія во имя Христово. И если нѣтъ еще этого единенія, если не созиждилась еще церковь вполнѣ, уже не въ молитвѣ одной, а на дѣлѣ, то все-таки инстинктъ этой церкви и неустанная жажда ея, иной разъ даже почти безсознательная, въ сердцѣ многомилліоннаго народа нашего несомнѣнно присутствуютъ. Не въ коммунизмѣ, не въ механическихъ формахъ заключается соціализмъ народа русскаго: онъ вѣритъ, что спасется лишь въ концѣ концовъ *всесвѣтнымъ единеніемъ во имя Христово*. Вотъ нашъ русскій соціализмъ! Вотъ надъ присутствіемъ въ народѣ русскомъ этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и смѣетесь, господа европейцы наши. О, есть много и другихъ «идей» въ народѣ, съ которыми вы никогда не сойдетесь и признаете ихъ прямо татарскими въ европейскомъ міросозерцаніи вашемъ. О нихъ, объ этихъ остальныхъ идеяхъ я теперь и упоминать не буду, хотя это чрезвычайно важныя идеи, которыхъ правды вы вовсе не понимаете. Но теперь я объ этой лишь главной идеѣ народа нашего говорю, о чаяніи имъ грядущей и зиждущейся въ немъ, судьбами Божьими, его церкви вселенской. И тутъ прямо можно поставить формулу: кто не понимаетъ въ народѣ нашемъ его православія и окончательныхъ цѣлей его, тотъ нико-

гда не пойметъ и самаго народа нашего. Мало того: тотъ не можетъ и любить народа русскаго (а у многихъ вѣдь изъ нихъ, изъ европейцевъ-то нашихъ, сердце чистое, справедливости и любви жаждущее), а будетъ любить его лишь такимъ, какимъ бы желалъ его видѣть и какимъ себѣ напредставитъ его. А такъ какъ народъ никогда такимъ не сдѣлается, какимъ бы его хотѣли видѣть наши умники, а останется самимъ собою, то и предвидится въ будущемъ неминуемое и опасное столкновеніе. Ибо вышесказанная формула имѣетъ и обратное значеніе, т. е. никогда народъ не приметъ такого русскаго европейца за своего человѣка: «Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таковъ какъ я, мой братъ, несмотря на то, что ты одѣтъ не такъ, что ты баринъ, что ты начальство и что даже и по-русскому-то иной разъ сказать хорошо не умѣешь», — вотъ что вамъ скажетъ народъ, ибо народъ нашъ широкъ и уменъ. Онъ и не вѣрующаго въ его святыню, хорошаго человѣка, иной разъ почтитъ и полюбитъ, выслушаетъ его, если тотъ уменъ, за совѣтъ поблагодаритъ и совѣтомъ воспользуется. Ужиться народъ русскій со всякимъ можетъ, ибо много видалъ видовъ, многое замѣтилъ и запомнилъ въ долгую, тяжелую жизнь свою двухъ послѣднихъ вѣковъ. (А вотъ вы даже и съ этимъ не соглашаетесь, что онъ многое запомнилъ и замѣтилъ, а стало быть и созналъ, и что, стало быть, не совсѣмъ же онъ только косная масса и платежная сила, какими вы его опредѣлили.) Но ужиться, и даже любовно ужиться, съ человѣкомъ — дѣло одно, а *своимъ* человѣкомъ признать его — это совсѣмъ уже другое. А безъ этого признанія не будетъ и единенія.

Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющія насъ съ народомъ, чрезвычайно велики, и что народъ остался одинъ, въ великомъ уединеніи своемъ, и кромѣ царя своего, въ котораго вѣруетъ нерушимо, — ни въ комъ и нигдѣ опоры теперь уже не чаетъ и не видитъ. И радъ бы увидѣть, да трудно ему разглядѣть. А между тѣмъ — о, какая бы страшная, зиждительная и благословенная сила, новая, совсѣмъ уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у насъ единеніе сословій интеллигентныхъ съ народомъ! Единеніе духовное, то есть. О, господа министры финансовъ, не такіе бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какіе составляете нынѣ! Молочныя рѣки потекли бы въ царствѣ, всѣ идеалы ваши были бы достигнуты разомъ! — «Да, но какъ это сдѣлать, и неужели же виною тому европейское просвѣщеніе наше?» О, совсѣмъ не просвѣщеніе, да, по правдѣ, его у насъ и нѣтъ вовсе даже доселѣ, а разъединеніе-то

все-таки пребываетъ и дѣйствительно вышло какъ бы во имя европейскаго просвѣщенія, котораго нѣтъ у насъ. Но настоящее просвѣщеніе тутъ не виновато. Я даже такъ думаю: будь у насъ настоящее, заправское просвѣщеніе, то и разъединенія бы никакого не произошло у насъ вовсе, потому что и народъ просвѣщенія жаждетъ. Не улетѣли мы отъ народа нашего, просвѣтясь, на луну, и всякую дорогу къ нему потеряли. Какъ же намъ, такимъ отлетѣвшимъ людямъ, брать на себя заботу оздоровить народъ? Какъ сдѣлать, чтобъ духъ народа, тоскующій и обезпокоенный повсемѣстно, ободрился и успокоился? Вѣдь даже самые капиталы и движеніе ихъ *нравственнаго* спокойствія ищутъ, а безъ нравственнаго спокойствія или прячутся, или непроизводительны. Какъ сдѣлать, чтобъ духъ народа успокоился въ правдѣ и видя правду? Можетъ быть, правда-то есть и теперь, но надо, чтобъ онъ ей повѣрилъ Какъ внѣдрить въ его душу, что правда есть въ Русской землѣ, и что высоко стоитъ ея знамя. Какъ сдѣлать, напримѣръ, чтобъ онъ въ свой судъ увѣровалъ, въ свое представительство и призналъ его за плоть отъ плоти своея и за кость отъ костей своихъ? О, я не пускаюсь въ подробности, гдѣ мнѣ, и если даже начать все разъяснять и описывать, то, думаю, и «всему міру не вмѣстить бы книгъ сихъ». Но если бы только хоть обезпечена была правда народу въ будущемъ, такъ чтобы онъ вполнѣ увѣровалъ, что придетъ она непремѣнно, если бъ только хоть капельку выбралась муха изъ тарелки съ патокой, то и тогда бы совершилось дѣло великое и неисчислимое. Прямо скажу: вся бѣда отъ давняго разъединенія интеллигентнаго сословія съ низшимъ, съ народомъ нашимъ. Какъ же помирить верхній поясъ съ море-океаномъ и какъ успокоить море-океанъ, чтобы не случилось въ немъ большого волненія?

V.

Пусть первые скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ, единственно чтобъ умуразуму научиться.

На это есть одно магическое словцо, именно: «Оказать довѣріе». Да, нашему народу можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ, въ первый

разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду. И не нужно никакихъ великихъ подъемовъ и сборовъ; народъ можно спросить по мѣстамъ, по уѣздамъ, по хижинамъ. Ибо народъ нашъ, и по мѣстамъ сидя, скажетъ точь-въ-точь все то же, что сказалъ бы и весь вкупѣ, ибо онъ единъ. И разъединенный единъ и сообща единъ, ибо духъ его единъ. Каждая мѣстность только лишь свою мѣстную особенность прибавила бы, но въ цѣломъ, въ общемъ, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно мужикъ, одинъ только заправскій мужикъ. Правда, съ мужикомъ проскочитъ кулакъ и міроѣдъ, но вѣдь и тотъ мужикъ, и въ такомъ великомъ дѣлѣ даже кулакъ и міроѣдъ землѣ не измѣнятъ и правдивое слово скажутъ, — такова ужъ наша народная особенность. Какъ же это сдѣлать? О, люди власть имѣющіе это могутъ лучше рѣшить, чѣмъ я, — я же только вѣрю въ одно, что формулъ особенныхъ совсѣмъ не потребуется. Народъ нашъ за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которыхъ ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на умѣ, и не только никогда не бывало, но никогда и не будетъ, потому что у него другой взглядъ на это дѣло, особливый, совсѣмъ его собственный. Да, въ семъ случаѣ, народъ нашъ, — такой народъ, какъ нашъ, — можетъ быть вполнѣ удостоенъ довѣрія. Ибо кто же его не видалъ около царя, близъ царя, у царя? Это дѣти царевы, дѣти заправскія, настоящія, родныя, а царь ихъ отецъ. Развѣ это у насъ только слово, только звукъ, только наименованіе, что «царь имъ отецъ»? Кто думаетъ такъ, тотъ ничего не понимаетъ въ Россіи! Нѣтъ, тутъ идея, глубокая и оригинальнѣйшая, тутъ организмъ, живой и могучій, организмъ народа, сліяннаго съ своимъ царемъ воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила вѣками, особенно послѣдними, страшными для народа двумя вѣками, которые мы столь восхваляемъ за европейское просвѣщеніе наше, забывъ, что это просвѣщеніе обезпечено было намъ еще два вѣка назадъ крѣпостной кабалой и крестнымъ страданіемъ народа русскаго, намъ служившаго. Вотъ и ждалъ народъ освободителя своего и дождался, — ну, такъ какъ же они не настоящія, не заправскія дѣти его? Царь для народа не внѣшняя сила, не сила какого-нибудь побѣдителя (какъ было, напримѣръ, съ династіями прежнихъ королей во Франціи), а всенародная, всеединящая сила, которую самъ народъ восхотѣлъ, которую выростилъ въ сердцахъ своихъ, которую возлюбилъ, за которую претерпѣлъ, потому что отъ нея только одной ждалъ исхода своего изъ Египта. Для

народа царь есть воплощеніе его самого, всей его идеи, надеждъ и вѣрованій его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились, — такъ какъ же народу отречься отъ дальнѣйшихъ надеждъ? Какъ же, напротивъ, не усилиться имъ, не утвердиться, ибо царь посль крестьянской реформы не въ идеѣ только, не въ надеждѣ лишь, а на дѣлѣ ему сталъ отцомъ. Да вѣдь это отношеніе народа къ царю и есть у насъ то настоящее, адамантовое основаніе, на которомъ всякая реформа у насъ можетъ зиждиться и созиждется. Если хотите, у насъ въ Россіи и нѣтъ никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей насъ, какъ эта органическая живая связь народа съ царемъ своимъ, и изъ нея у насъ все и исходитъ. Кто же бы и помыслить могъ, напримѣръ, хотя бы о той же крестьянской реформѣ, если бъ заранѣе не зналъ и не вѣрилъ, что царь народу отецъ, и что именно вѣра народа въ царя, какъ въ отца своего, все спасетъ, все убережетъ, удалитъ бѣду? Увы, плохъ тотъ экономистъ-реформаторъ, который обходитъ настоящія и дѣйствительно живыя силы народныя изъ какого-нибудь предубѣжденія и чуждаго вѣрованія. Да, мы уже по тому одному не съ народомъ и не можемъ понять его, что хоть и знаемъ и понимаемъ его отношенія къ царю, но вмѣстить не можемъ въ себя во всей полнотѣ самаго главнаго и необходимаго пункта въ судьбахъ нашихъ: что отношеніе это русскаго народа къ царю своему есть самый особливый пунктъ, отличающій народъ нашъ отъ всѣхъ другихъ народовъ Европы и всего міра; что это не временное только дѣло у насъ, не переходящее, не признакъ лишь дѣтства народнаго, напримѣръ, его роста и проч., какъ заключилъ бы иной умникъ, но вѣковое, всегдашнее и никогда, по крайней мѣрѣ еще долго, очень долго оно не измѣнится. Такъ какъ же послѣ этого (уже потому только одному) народъ нашъ не особливъ ото всѣхъ народовъ и не заключаетъ въ себѣ особой идеи? Не ясно ли, напротивъ, что народъ нашъ носитъ въ себѣ органическій зачатокъ идеи, отъ всего свѣта особливой. Идея же эта заключаетъ въ себѣ такую великую у насъ силу, что, конечно, повліяетъ на всю дальнѣйшую исторію нашу, а такъ какъ она совсѣмъ особливая и какъ ни у кого, то и исторія наша *не можетъ быть похожею на исторію другихъ европейскихъ народовъ*, тѣмъ болѣе ея рабской копіей. Вотъ чего не понимаютъ у насъ умники, вѣрующіе, что все у насъ передѣлается въ Европу безо всякой особливости, и ненавидящіе особливости, отъ чего, конечно, дѣло можетъ кончиться даже бѣдой. А что у насъ все основное какъ нигдѣ въ Европѣ, то вотъ вамъ

тому первый примѣръ: у насъ свобода (въ будущемъ нашемъ, когда мы переживемъ періодъ лжеевропеизма нашего, это навѣрно такъ будетъ) — у насъ гражданская свобода можетъ водвориться самая полная, полнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ мірѣ, въ Европѣ, или даже въ Сѣверной Америкѣ, и именно на этомъ же адамантовомъ основаніи она и созиждется. Не письменнымъ листомъ утвердится, а созиждется лишь на дѣтской любви народа къ царю, какъ къ отцу, ибо дѣтямъ можно многое такое позволить, что и немыслимо у другихъ, у договорныхъ народовъ, дѣтямъ можно столь многое довѣрить и столь многое разрѣшить, какъ нигдѣ еще не бывало видано, ибо не измѣнятъ дѣти отцу своему и, какъ дѣти, съ любовью примутъ отъ него всякую поправку всякой ошибки и всякаго заблужденія ихъ.

Итакъ, этакому-то народу отказать въ довѣріи? Пусть скажетъ онъ самъ о нуждахъ своихъ и полную о нихъ правду. Но, повторю это, пусть скажетъ сначала одинъ; мы же, «интеллигенція народная», пусть станемъ пока смиренно въ сторонкѣ и сперва только поглядимъ на него, какъ онъ будетъ говорить, и послушаемъ. О, не изъ какихъ-либо политическихъ цѣлей я предложилъ бы устранить на время нашу интеллигенцію, — не приписывайте мнѣ ихъ, пожалуйста, — но предложилъ бы я это (ужъ извините, пожалуйста) — изъ цѣлей лишь чисто *педагогическихъ*. Да, пускай въ сторонкѣ пока постоимъ и послушаемъ, какъ ясно и толково сумѣетъ народъ свою правду сказать, совсѣмъ безъ нашей помощи, и о дѣлѣ, именно о заправскомъ дѣлѣ въ самую точку попадетъ, да и насъ не обидитъ, коли о насъ рѣчь зайдетъ. Пусть постоимъ и поучимся у народа, какъ надо правду говорить. Пусть тутъ же научимся и смиренію народному, и дѣловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете: «Сами же вы говорили, какъ подавливъ народъ на нелѣпые слухи, — какой же мудрости ожидать отъ него?» Такъ, но одно дѣло слухи, а другое— единеніе въ общемъ дѣлѣ. Явится цѣлое, а цѣлое повліяетъ само на себя и вызоветъ разумъ. Да, это будетъ воистину школою для всѣхъ насъ и самою плодотворнѣйшею школою. Увидавъ отъ народа столько дѣловитости и серьезности, мы будемъ озадачены, и ужъ, конечно, явятся изъ насъ, что не повѣрятъ глазамъ своимъ, но такихъ будетъ слишкомъ мало, ибо всѣ дѣйствительно искренніе, всѣ воистину жаждущіе правды, а главное, дѣла, заправскаго дѣла и общей пользы, — такіе всѣ присоединятся къ премудрому слову народному; всѣ же неискренніе разомъ обнаружатъ все свое содержаніе и обна-

дужатся сами. А если останутся и искренніе, что и тогда въ народъ не увѣруютъ, — то это какіе-нибудь старовѣры и доктринеры сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, старыя, неисправимыя дѣти, и они будутъ только смѣшны и безвредны. Всѣ же кромѣ ихъ въ первый разъ прочистятъ глаза свои и очистятъ пониманіе свое. Дѣйствіе можетъ быть чрезвычайно важное по послѣдствіямъ, ибо... ибо тутъ-то въ этой-то формѣ, можетъ быть, и возможно начало и первый шагъ духовнаго сліянія всего интеллигентнаго сословія нашего, столь гордаго предъ народомъ, съ народомъ нашимъ. Я про духовное лишь сліяніе говорю, — его только намъ и надо, ибо оно страшно поможетъ всему, все переродитъ вновь, новую идею дастъ. Свѣтлая, свѣжая молодежь наша, думаю я, тотчасъ же и прежде всѣхъ отдастъ свое сердце народу и пойметъ его духовно впервые. Я потому такъ, и прежде всѣхъ, на молодежь надѣюсь, что она у насъ тоже страдаетъ «исканіемъ правды» и тоской по ней, а, стало быть, она народу сродни наиболѣе и сразу пойметъ, что и народъ ищетъ правды. А познакомясь столь близко съ душою народа, броситъ тѣ крайнія бредни, которыя увлекли было столь многихъ изъ нея, вообразившихъ, что они нашли истину въ крайнихъ европейскихъ ученіяхъ. О, я вѣрю, что не фантазирую и не преувеличиваю тѣхъ благихъ послѣдствій, которыя могли бы изъ столь хорошаго дѣла выйти. Пало бы высокомѣріе и родилось бы уваженіе къ землѣ. Совсѣмъ новая идея вошла бы вдругъ въ нашу душу и освѣтила бы въ ней все, что пребывало до сихъ поръ во мракѣ, свѣтомъ своимъ обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знаетъ, можетъ быть, это было бы началомъ такой реформы, которая по значенію своему даже могла бы быть выше крестьянской: тутъ произошло бы тоже «освобожденіе» — освобожденіе умовъ и сердецъ нашихъ отъ нѣкоей крѣпостной зависимости, въ которой и мы тоже пробыли цѣлыхъ два вѣка у Европы, подобно какъ крестьянинъ, недавній рабъ нашъ, у насъ. И если бъ только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то ужъ, конечно, была бы лишь послѣдствіемъ великой первой реформы въ началѣ царствованія. Ибо тогда матеріально пала двухвѣковая стѣна, отдѣлявшая народъ отъ интеллигенціи, а нынѣ стѣна эта уже духовно падетъ. Что же выше, что же можетъ быть плодотворнѣе для Россіи, какъ не это духовное сліяніе сословій? Свои въ первый разъ узнаютъ своихъ. Стыдившіеся доселѣ народа нашего, какъ варварскаго и задерживающаго развитіе, устыдятся прежняго стыда своего и предъ многимъ смирятся и многое почтутъ, чего прежде не чтили

и что презирали. И когда отвѣтитъ народъ, когда доложитъ все о себѣ и замолкнетъ его смиренное слово, — спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцію нашу, ну хоть лишь мнѣнія ея о томъ, что сказалъ народъ, и вы сейчасъ же увидите послѣдствія. О, тогда и ихъ слово плодотворно будетъ, ибо они все же вѣдь интеллигенты, и послѣднее слово за ними. Но примѣръ народа, сказавшаго прежде ихъ свое слово, во всякомъ случаѣ, избавилъ бы насъ отъ многихъ промаховъ и дурачествъ, если бъ намъ самимъ пришлось прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажетъ тогда наша интеллигенція народу противорѣчиво, а лишь облечетъ его истину въ научное слово и разовьетъ его во всю ширину своего образованія ибо все же вѣдь у нея наука или начала ея, а наука народу страшно нужна. Да если бъ и захотѣлъ кто изъ нихъ противорѣчить, если бъ и явились какія-нибудь несогласія съ основными началами народа нашего, то все-таки не осмѣлились бы такъ сильно возстать противъ духа народнаго, то есть противъ взгляда его на дѣло, — вотъ что важно, и даже очень.

Да, весьма можетъ быть, что духовное спокойствіе началось бы у насъ именно съ этого шага. Явилась бы надежда и уже общая, не раздѣленная, стали бы ярко сознаваться передъ нами и цѣли наши. А это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь нашъ интеллигентъ совсѣмъ не знаетъ или весьма не твердо и сбивчиво знаетъ о томъ, какія суть и могутъ быть впредь наши цѣли, то есть національныя, государственныя. Въ этомъ у насъ очень слабо, именно теперь, въ данную минуту. А эта сбивчивость, это незнаніе есть, безъ сомнѣнія, источникъ великаго безпокойства и неустройства, и не только теперь, а и несравненно горшаго въ будущемъ. Все это могло бы быть разъяснено, освѣщено или дало бы хоть первоначальное указаніе къ тому, чѣмъ освѣтить и какъ разъяснить, навело бы на мысль... А, впрочемъ, на эту тему довольно; я сказалъ, какъ умѣлъ. Пусть не поймутъ всего, если не сумѣлъ высказаться, — беру вину на себя, — но то, что поймутъ, пусть примутъ въ безобидномъ и мирномъ смыслѣ. Я желалъ бы только, чтобъ поняли безпристрастно, что я лишь за народъ стою прежде всего, въ его душу, въ его великія силы, которыхъ никто еще изъ насъ не знаетъ во всемъ объемѣ и величіи ихъ, — какъ въ святыню вѣрую, главное, въ спасительное ихъ назначеніе, въ великій народный охранительный и зиждительный духъ, и жажду лишь одного: да узрятъ ихъ всѣ. Только что узрятъ, тотчасъ же начнутъ понимать и все остальное.

И почему бы все это мечта? Я вѣдь не про всю обширность дѣла говорю. Я вѣдь говорю лишь о мужикѣ, о его собственныхъ первоначальныхъ дѣлахъ, лишь до него относящихся. Развѣ нѣтъ у него такихъ дѣлъ, особливыхъ и единственно ихнихъ, о которыхъ бы надо было узнать, въ видѣ, такъ сказать, почина и предисловія ко всякой дальнѣйшей, хотя бы даже и гораздо обширнѣйшей реформѣ? А между тѣмъ получатся выгоды чрезвычайныя: получатся факты, узнается правда о многомъ, добудется драгоцѣнный матеріалъ, который убережетъ многихъ изъ насъ отъ фантастическихъ надеждъ, отъ перековерканій на западный ладъ, отъ преувеличеній. А главное, — это еще разъ повторю, — получится тонъ и смыслъ, получится тотъ самый духъ, въ которомъ только и можетъ совершиться все что-нибудь дальнѣйшее и обширнѣйшее. На это дѣло какъ бы печать ляжетъ, печать національная и глубоко-консервативная. И печати этой и впослѣдствіи никто не избѣгнетъ, даже самые фантастическіе умы, и тѣ соблазнятся и добровольно примутъ ее.

Глава вторая.

I.

Остроумный бюрократъ. Его мнѣніе о нашихъ либералахъ и европейцахъ.

Но, кончивъ эту первую мою главу, прерву пока и статью о финансахъ, ибо чувствую, что пишу очень скучно. Но прерву лишь на время. Мнѣ еще хотѣлось бы поговорить и о другихъ корняхъ, о другихъ началахъ, которые, представляется мнѣ, — можно бы оздоровить. Потому еще прерываю, что на двухъ листкахъ моего «Дневника» и безъ того не уписалъ бы всей статьи, такъ что и поневолѣ пришлось бы отложить до слѣдующихъ, грядущихъ номеровъ...

— Напрасно, не надо и въ слѣдующихъ номерахъ, — брезгливо прервутъ меня голоса (я ужъ предчувствую эти голоса), — все это не финансы, а... баловство. Все это не реально (хотя не понимаю почему бы такъ?), все это мистическаго какого-то содержанія, а не насущнаго, не текущаго! Въ слѣдующихъ номерахъ дайте повѣсть.

Странные голоса! Да вѣдь я именно и стою на томъ, чтобъ намъ отвернуться отъ многаго въ теперешнемъ на-

шемъ насущномъ и текущемъ и создать себѣ иное насущное и текущее, и несравненно даже реальнѣйшее, чѣмъ теперешнее, въ которое мы въѣхали и въ которомъ сидимъ, — извините, пожалуйста, — тоже какъ муха въ патокѣ, — въ этомъ вся моя мысль. Т. е. именно въ поворотѣ головъ и взглядовъ нашихъ совсѣмъ въ иную сторону, чѣмъ до сихъ поръ — вотъ моя мысль. Власть имѣющіе могли бы начать такое дѣло, и съ этой стороны мои мечты становятся даже вовсе не столь фантастическими, ибо если начнетъ власть, то многое могло бы даже сейчасъ же осуществиться. Принципы, принципы наши нѣкоторые надо бы совсѣмъ измѣнить, мухъ изъ патоки повытащить и освободить. Не популярна, кажется, эта мысль: безъ движенія мы давно уже привыкли быть, а въ патокѣ-то даже и сладко стало сидѣть. Правда, я опять увлекся, и мнѣ тутъ же сейчасъ же могутъ напомнить, что вѣдь я и доселѣ, столько ужъ написавъ, все еще не собрался разъяснить: какое именно теперешнее текущее я подразумѣваю, и какое именно будущее текущее ему предпочитаю. Вотъ это-то именно я и хочу разъяснять неустанно въ будущихъ моихъ номерахъ «Дневника». Но, чтобъ кончить теперь, приведу одну встрѣчу, которую я имѣлъ съ однимъ довольно даже остроумнымъ бюрократомъ, который мнѣ изрекъ одну довольно любопытную вещь, вотъ именно насчетъ нѣкоторыхъ принциповъ, касающихся измѣненія нашего теперешняго «текущаго». Разговоръ зашелъ въ одномъ обществѣ какъ разъ о финансахъ и объ экономіи, но спеціально въ смыслѣ бережливости финансовыхъ средствъ нашихъ, прикопленія ихъ, употребленія въ дѣло такъ, чтобы ни одна копейка не терялась, не пошла въ расходъ фантастическій. Про экономію въ этомъ смыслѣ у насъ говорятъ теперь поминутно, да и правительство занимается этимъ же неустанно. У насъ контроль, ежегодное сокращеніе въ штатахъ. Заговорили въ послѣднее время даже о сокращеніи арміи, предлагали въ газетахъ и цифру, именно на пятьдесятъ тысячъ солдатъ, а другіе такъ увѣряли, что и на половину сократить можно армію нашу: ничего-де отъ того не будетъ. Все это и прекрасно бы, но вотъ что, однако, невольно лѣзетъ въ соображеніе: армію-то мы сократимъ, на первый случай, хоть тысячъ на пятьдесятъ, а денежки-то у насъ и промелькнутъ опять между пальцами, туда да сюда, ужъ, конечно, на государственныя потребности, но на такія, которыя, можетъ быть, и не стоятъ такой радикальной жертвы. Сокращенныя же пятьдесятъ тысячъ войска ужъ мы никогда опять не заведемъ, или съ большой потугой, потому что, разъ уничтоживъ, трудно

это опять возстановлять, а войско-то намъ ухъ какъ нужно, особенно теперь, когда всѣ-то тамъ держатъ противъ насъ камень за пазухой. На эту дорогу вступать опасно, но только *теперь*, при теперешнемъ, т. е. текущемъ, на которое пойдутъ денежки. Только тогда и будемъ увѣрены, что святыя эти денежки дѣйствительно на настоящее дѣло пошли, когда вступимъ, напримѣръ, на окончательную, на суровую, на угрюмую экономію, на экономію въ духѣ и силѣ Петра, если бъ тотъ положилъ экономить. А способны ли мы на это при «вопіющихъ»-то нуждахъ нашего текущаго, которыми мы столь связали себя? Замѣчу, что если бъ мы сдѣлали или начали такъ, то это и было бы однимъ изъ первыхъ шаговъ на поворотѣ съ прежняго фантастическаго текущаго на новое, реальное и надлежащее. Мы вотъ довольно часто сокращаемъ штаты, персоналъ чиновниковъ, а, между тѣмъ, въ результатахъ выходитъ, что и штаты и персоналъ какъ бы все увеличиваются. А способны ли мы вотъ къ такому, напримѣръ, сокращенію, чтобы съ сорока чиновниковъ сразу съѣхать на четырехъ? Что четыре чиновника сплошь и рядомъ исполнятъ то, что дѣлаютъ сорокъ — въ этомъ сомнѣнія, конечно, никто не можетъ имѣть, особенно при сокращеніи бумажнаго дѣлопроизводства и вообще при радикальномъ преобразованіи теперешнихъ формулъ веденія дѣлъ? Вотъ на эту-то тему и зашла рѣчь въ нашей компаніи. Замѣтили, что это большая ломка, во всякомъ случаѣ. Другіе возражали, что вѣдь у насъ и гораздо капитальнѣйшія реформы происходили, чѣмъ эта. Третьи прибавляли, что новымъ чиновникамъ, то есть вотъ этимъ четверымъ замѣстившимъ сорокъ, можно бы жалованье даже утроить — и слишкомъ охотно будутъ работать, вовсе безъ ропота. Но если и утроить, и на четырехъ, стало быть, пошло бы столько же, чего стоятъ теперешніе двѣнадцать, то и тогда мы сократимъ расходы чуть не на три четверти противъ теперешняго.

Тутъ-то меня и остановилъ мой бюрократъ. Замѣчу, прежде всего, что, къ величайшему моему удивленію, даже и онъ нисколько не возразилъ противъ возможности четырьмя замѣнить сорокъ: «И при четырехъ, дескать, дѣло будетъ идти», стало быть, не счелъ же этого невозможнымъ. Но онъ возразилъ на иное, именно на принципъ, на ошибочность и преступность провозглашаемаго принципа. Привожу возраженія его не дословно, даже слишкомъ въ моей редакціи. Повторяю, привожу именно потому, что мысли его показались мнѣ любопытными въ своемъ родѣ и заключавшими въ себѣ нѣкоторую почти пикантную даже идею. Онъ, конечно, не удостоилъ ну-

скаться со мною въ подробности, такъ какъ я въ такомъ дѣлѣ не спеціалистъ, «понимаю мало» (въ чемъ ужъ, конечно, спѣшу и самъ сознаться), — но принципъ-то, онъ надѣялся, я пойму.

— Сокращеніе чиновниковъ, съ сорока на четырехъ, — началъ онъ строго и съ проникновеніемъ, — не только не полезно для дѣла, но даже и вредно уже по самому существу своему, несмотря на то, что дѣйствительно государственный расходъ уменьшился бы значительно. Но не только съ сорока на четырехъ нельзя сокращать и вредно, но и съ сорока на тридцать восемь, и вотъ почему: потому что вы зловредно посягнули бы тѣмъ на основной принципъ. Ибо вотъ уже почти двѣсти лѣтъ, съ самаго Петра, мы, бюрократія, составляемъ въ государствѣ *все;* въ сущности, мы-то и есть государство и *все* — а прочее лишь привѣсокъ. По крайней мѣрѣ, до недавняго времени, до освобожденія крестьянъ такъ было. Всѣ выборныя прежнія должности, ну тамъ дворянскія, напримѣръ, сами собою, силою тяготѣнія, такъ сказать, принимали нашъ духъ и смыслъ. И мы, созерцая это, вовсе не безпокоились, потому что принципъ, указанный двѣсти лѣтъ тому, нисколько не нарушался. Вотъ послѣ крестьянской реформы дѣйствительно потянуло было чѣмъ-то новымъ: явилось самоуправленіе, ну тамъ земство и прочее... Оказалось теперь ясно, что и все это новое тотчасъ же начало само собою принимать нашъ же обликъ, нашу же душу и тѣло, въ насъ перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашимъ давленіемъ (это ошибочная мысль), — а именно само собою, ибо отъ вѣковыхъ привычекъ отучаться трудно, а если хотите, то и не надо, особенно въ такомъ основномъ и великомъ національномъ дѣлѣ. Вы можете мнѣ не повѣрить, но если способны вникнуть, то, конечно, поймете. Ибо что мы такое? Мы *все, все* и до сихъ поръ и продолжаемъ быть всѣмъ, — и опять таки вовсе не очень стараясь о томъ сами, не натужась, такъ сказать, нимало, а именно невольно, естественнымъ ходомъ дѣла. Кричать давно, что у насъ дѣло канцелярское, не живое, а мертвое, бумажное, и что Россія изъ этого выросла. Можетъ быть, выросла, но пока все еще мы одни ее держимъ, зиждемъ и сохраняемъ, чтобы не разсыпалась! Ибо то, что вы называете канцелярской мертвечиной, т. е. мы-то сами, какъ установленіе, а затѣмъ и вся наша дѣятельность, — все это составляетъ, если прибѣгнуть къ сравненію, какъ бы, такъ сказать, скелетъ въ живомъ организмѣ. Разсыпьте скелетъ, разсыпьте кости, погибнетъ и живое тѣло. Пусть, пусть дѣло дѣлается по-мертвому, зато по системѣ, по принци-

ну, по великому принципу, позвольте вамъ это сказать. Пусть дѣло канцелярски дѣлается, пусть даже плохо, не полно, но вѣдь какъ-нибудь дѣлается же, и, главное, все стоитъ и не падаетъ, — именно то-то и главное, что пока не падаетъ. Я согласенъ и готовъ уступить вамъ, что мы на самомъ-то дѣлѣ, пожалуй, что и не *все*, — о, мы достаточно умны, чтобы понять, что мы не восполняемъ всего въ Россіи, а особенно теперь; но пусть не все, зато все-таки *нѣчто*, т. е. нѣчто уже реальное, дѣйствительно существующее, хотя, конечно, можетъ быть, отчасти и безтѣлесное. Ну, а что тамъ у васъ, чѣмъ вы-то бы насъ замѣстили, такъ, чтобъ мы уже могли съ увѣренностью отстраниться, въ виду того, что и у васъ явилось бы тоже *нѣчто*, способное насъ замѣстить такъ, чтобы ничего не упало? Но вѣдь у васъ всѣ эти самоуправленія и земства, — вѣдь это все еще пока журавль въ небѣ, журавль до сихъ поръ прекрасный и въ небѣ летающій, но на землю еще не слетавшій. Стало быть, онъ все-таки нуль, хоть и прекрасенъ, а мы хоть и не прекрасны и надоѣли, но зато мы *нѣчто* и уже вовсе не нуль. Вы вотъ насъ всѣ сплошь обвиняете за журавля: зачѣмъ-де онъ до сихъ поръ не слетѣлъ, что въ этомъ-де мы виноваты, что это будто мы стараемся преобразить прекраснаго журавля въ нашъ образъ и духъ. Это, конечно, очень бы хорошо было съ нашей стороны, если бъ дѣйствительно тутъ только наша вина была, ибо мы доказали бы тѣмъ, что стоимъ за вѣковой, основной и благороднѣйшій принципъ и безполезный нуль обращаемъ въ полезное нѣчто. Но повѣрьте, что мы тутъ вовсе не виноваты, т. е. слишкомъ мало, и что прекрасный журавль самъ въ нерѣшимости, самъ не знаетъ, чѣмъ ему стать окончательно, т. е. нами ли или вправду чѣмъ-то самостоятельнымъ, самъ колеблется, самъ не вѣритъ себѣ, даже почти потерялся. Увѣряю васъ, что полѣзъ онъ къ намъ своею собственною доброю волею, а вовсе безъ нашего давленія. Выходитъ, что мы, такъ сказать, какъ естественный какой-то магнитъ, къ которому все тянется даже доселѣ и долго еще будетъ тянуться. Вы опять не вѣрите, вамъ смѣшно? А я такъ пари готовъ держать въ чемъ угодно! Попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птичкѣ вполнѣ, разрѣшите ей всѣ возможности, предпишите, напримѣръ, вашему земству даже формально за номеромъ и со строгостью: «отселѣ-де быть тебѣ самостоятельнымъ, а не бюрократическимъ журавлемъ», и повѣрьте, что всѣ они тамъ, всѣ какіе есть журавли, сами собою, еще пуще запросятся къ намъ и кончатъ тѣмъ, что станутъ чиновниками уже вполнѣ, духъ нашъ и образъ примутъ, все у

насъ скопируютъ. Даже выборный мужикъ къ намъ запросится, польститъ ему это очень. Недаромъ же два столѣтія развивались вкусы. И вотъ вы хотите, чтобы мы, т. е. нѣчто твердое и на ногахъ стоящее, промѣняли бы самихъ себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекраснаго журавля? Нѣтъ, ужъ мы лучше свою синицу въ рукахъ попридержимъ. Мы ужъ лучше сами какъ-нибудь тамъ исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введемъ новое, болѣе, такъ сказать, прогрессивное, духу вѣка соотвѣтствующее, ну, тамъ, станемъ какъ-нибудь добродѣтельнѣе или что. — а на призракъ, на внезапно приснившійся сонъ мы не промѣняемъ наше дѣйствительное, реальное *нѣчто*, ибо нечѣмъ и некѣмъ насъ замѣстить, это вѣрно! Мы сопротивляемся уничтоженію, такъ сказать, по инерціи. Инерція-то эта въ насъ и дорога, потому что, по правдѣ-то, ею лишь одною все и держится въ наше время. А потому и сокращаться даже на тридцать восемь съ сорока (а не то что съ сорока на четырехъ) было бы дѣломъ глубоко-вреднымъ и даже безнравственнымъ. Гроши получите, а разрушите принципъ. Уничтожьте-ка, измѣните-ка теперь нашу формулу, если только у васъ хватитъ совѣсти посягнуть на такое дѣло: да вѣдь это будетъ измѣной всему нашему русскому европеизму и просвѣщенію, — знаете ли вы это? Это будетъ отрицаніемъ того, что и мы государство, что и мы европейцы, это измѣна Петру! И знаете, ваши либералы (впрочемъ и наши тоже), стоящіе столь рьяно въ газетахъ за земство противъ чиновничества, въ сущности противорѣчатъ сами себѣ. Да вѣдь земство, да вѣдь всѣ эти новости и «народности» — вѣдь это и есть тѣ самыя «народныя начала», или начинающаяся формула тѣхъ «началъ», о которыхъ кричитъ столь ненавистная европейцамъ нашимъ «Русская Партія» (можетъ. слышали, ихъ такъ въ Берлинѣ обозвали) — тѣ самыя «начала», которыя такъ неистово отрицаетъ нашъ русскій либерализмъ и европеизмъ, надъ которыми онъ смѣется и не хочетъ ихъ признавать даже существующими! О, онъ ихъ очень боится! Ну, что-де коли они въ самомъ дѣлѣ есть и осуществятся, такъ вѣдь тогда въ нѣкоторомъ родѣ сюрпризъ-съ! Значитъ всѣ ваши европейцы по-настоящему съ нами, а мы съ ними, и это бы они давно должны бы были понять и себѣ зарубить. Если хотите, то мы не только заодно съ ними, а мы и совсѣмъ одно и то же: въ нихъ, въ нихъ самихъ нашъ духъ заключенъ и даже нашъ образъ, въ европейцахъ-то вашихъ, и это такъ! Да я вамъ вотъ что прибавлю: Европа, т. е. русская Европа, Европа въ Россіи — это мы-то лишь одни и есть. Это мы, мы во-

площеніе всей формулы русскаго европеизма и всю ее заключаемъ въ себѣ. Мы одни и ея толкователи. И не понимаю, почему бы не давать имъ за ихъ европеизмъ установленныхъ знаковъ отличія, если ужъ мы съ ними такъ безгрѣшно сливаемся? Съ удовольствіемъ станутъ носить, и этимъ даже можно бы было привлечь. Но у насъ не умѣютъ. А они-то насъ бранятъ — подлинно своя своихъ не познаша! А чтобъ кончить о вашихъ земствахъ и всѣхъ этихъ новшествахъ, то я вамъ скажу разъ навсегда: Нѣтъ-съ! Ибо дѣло это длинное, а не столь короткое. На то нужна своя предварительная культура, своя исторія и, можетъ быть, тоже двухвѣковая. Ну вѣковая, ну хоть даже полвѣковая, такъ какъ нынѣ вѣкъ телеграфовъ и желѣзныхъ дорогъ, и всѣ отношенія сокращены и облегчены. Такъ вѣдь все же полвѣковая, все же вѣдь не сейчасъ. «Сейчасъ или тотчасъ» — это все русскія мерзостныя словечки. Сейчасъ ничего не народится, кромѣ намъ же подобныхъ. И долго еще такъ будетъ.

Тутъ мой бюрократъ гордо и осанисто замолчалъ, и, знаете, я и не возражалъ ему, потому что въ его словахъ было именно какъ бы «нѣчто», какая-то грустная правда, дѣйствительно существующая. Разумѣется, я съ нимъ не согласился въ душѣ. И при томъ такимъ тономъ говорятъ лишь люди отходящіе. А все-таки въ его словахъ было «нѣчто»...

II.

Старая басня Крылова объ одной свиньѣ.

А чтобы обо всемъ этомъ, наконецъ, совсѣмъ уже кончить, приведу одну маленькую, очень хорошенькую басенку Крылова, должно быть, всѣми теперь забытую, ибо до Крылова ли въ нашъ теперешній дѣловой и метущійся вѣкъ? Эта басенка невольно припомнилась мнѣ, еще когда я началъ собираться писать мою статью о финансахъ и объ оздоровленіи корней. У Крылова она имѣетъ прекрасное нравоученіе, но на другую тему, на тему о другихъ корняхъ. Но это все равно, она и къ намъ подходящая. Вотъ эта басня:

Свинья подъ дубомъ вѣковымъ
Наѣлась желудей досыта, до отвала;
Наѣвшись, выспалась подъ нимъ,

Потомъ, глаза продравши, встала
И рыломъ подрывать у дуба корни стала.
„Вѣдь это дереву вредитъ“ —
Ей съ дубу Воронъ говоритъ:
„Коль корни обнажишь, оно засохнуть можетъ“.
- „Пусть сохнетъ“, говоритъ Свинья;
„Ничуть меня то не тревожитъ:
„Въ немъ проку мало вижу я:
„Хоть вѣкъ его не будь, ничуть не пожалѣю,
„Лишь были бъ желуди: вѣдь я отъ нихъ жирѣю“.
- „Неблагодарная!“ промолвилъ Дубъ ей тутъ:
„Когда бы вверхъ могла поднять ты рыло,
„Тебѣ бы видно было,
„Что эти желуди на мнѣ растутъ“.

Хороша басенка? И неужели мы согласимся походить на такой портретъ?

III.

Геокъ-Тепе. Что такое для насъ Азія?

Геокъ-Тепе взятъ, текинцы разбиты и хотя еще вполнѣ не усмирены, но наша побѣда несомнѣнна. Въ обществѣ и въ печати возликовали. А давно ли еще въ обществѣ, да и въ печати отчасти, къ этому дѣлу относились чрезвычайно равнодушно. Особенно послѣ неудачи генерала Ломакина и въ началѣ приготовленій къ вторичному наступленію. «И зачѣмъ намъ туда, и чего намъ далась эта Азія, сколько денегъ истрачено, тогда какъ у насъ голодъ, дифтеритъ, нѣтъ школъ, и проч., и проч.». Да, эти мнѣнія раздавались, и мы ихъ слышали. Не всѣ вообще были этого мнѣнія, — о, нѣтъ, — но все же надо сознаться, что къ нашей наступательной политикѣ въ Азіи въ послѣднее время весьма многіе стали было относиться непріязненно. Правда, помогла тутъ и неизвѣстность о предпринятой экспедиціи. Въ самое послѣднее только время стали проскакивать у насъ извѣстія изъ иностранныхъ газетъ, и только подъ самый конецъ раздались по всей Руси телеграммы Скобелева. Тѣмъ не менѣе и во всякомъ случаѣ трудно сказать, чтобы общество наше было проникнуто яснымъ сознаніемъ нашей миссіи въ Азіи и того, что собственно для насъ значитъ и могла бы значить впредь Азія. Да и вообще вся наша русская Азія, включая и Сибирь, для Россіи все еще какъ будто существуютъ въ видѣ какого-то привѣска, которымъ какъ бы вовсе даже и не хочетъ европейская наша Россія интересоваться. «Мы, дескать, Европа, что намъ дѣлать

въ Азіи?» Бывали даже и очень рѣзкіе голоса: «ужъ эта наша Азія, мы и въ Европѣ-то не можемъ себѣ порядка добыть и устроиться, а тутъ еще суютъ намъ и Азію. Лишняя вовсе намъ эта Азія, хоть бы ее куда-нибудь дѣть!» Эти сужденія иногда и теперь раздаются у умниковъ нашихъ, отъ очень ихъ большого ума, конечно.

Съ побѣдой Скобелева пронесется гулъ по всей Азіи, до самыхъ отдаленныхъ предѣловъ ея: «Вотъ, дескать, и еще одинъ свирѣпый и гордый правовѣрный народъ Бѣлому Царю поклонился». И пусть пронесется гулъ. Пусть въ этихъ милліонахъ народовъ, до самой Индіи, даже и въ Индіи, пожалуй, растетъ убѣжденіе въ непобѣдимости Бѣлаго Царя и въ несокрушимости меча его. А вѣдь послѣ неудачи генерала Ломакина непремѣнно, должно быть, пронеслось по всей Азіи сомнѣніе въ несокрушимости меча нашего — и русскій престижъ навѣрно былъ поколебленъ. Вотъ почему мы и не можемъ остановиться на этой дорогѣ. У этихъ народовъ могутъ быть свои ханы и эмиры, въ умѣ и въ воображеніи ихъ можетъ стоять грозой Англія, силѣ которой они удивляются, — но имя Бѣлаго Царя должно стоять превыше хановъ и эмировъ, превыше Индійской императрицы, превыше даже самого калифова имени. Пусть калифъ, но Бѣлый Царь есть царь и калифу. Вотъ какое убѣжденіе надо, чтобъ утвердилось! И оно утверждается и нарастаетъ ежегодно, и оно намъ необходимо, ибо оно ихъ пріучатъ къ грядущему.

— Для чего и къ какому грядущему? Какая необходимость въ грядущемъ захватѣ Азіи? Что намъ въ ней дѣлать?

Потому необходимость, что Россія не въ одной только Европѣ, но и въ Азіи; потому что русскій не только европеецъ, но и азіатъ. Мало того: въ грядущихъ судьбахъ нашихъ, можетъ быть, Азія-то и есть нашъ главный исходъ!

Я предчувствую негодованіе, съ которымъ прочтутъ иные это ретроградное предположеніе мое (а оно для меня аксіома). Да, если есть одинъ изъ важнѣйшихъ корней, который надо бы у насъ оздоровить, такъ это именно взглядъ нашъ на Азію. Надо прогнать лакейскую боязнь, что насъ назовутъ въ Европѣ азіатскими варварами и скажутъ про насъ, что мы азіаты еще болѣе чѣмъ европейцы. Этотъ стыдъ, что насъ Европа сочтетъ азіатами, преслѣдуетъ насъ ужъ чуть не два вѣка. Но особенно этотъ стыдъ усилился въ нынѣшнемъ девятнадцатомъ вѣкѣ и дошелъ почти до чего-то паническаго, дошелъ до «металла и жупела» московскихъ купчихъ. Этотъ ошибочный стыдъ нашъ, этотъ ошибочный нашъ взглядъ на

себя единственно какъ только на европейцевъ, а не азіатовъ (каковыми мы никогда не переставали пребывать).— этотъ стыдъ и этотъ ошибочный взглядъ дорого, очень дорого стоили намъ въ эти два вѣка, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконецъ, деньгами, деньгами, которыхъ Богъ знаетъ сколько ушло у насъ на то, чтобы доказать Европѣ, что мы только европейцы, а не азіаты. Но толчекъ Петра, вдвинувшаго насъ въ Европу, необходимый и спасительный вначалѣ, былъ все-таки слишкомъ силенъ, и тутъ отчасти уже не мы виноваты. И чего-чего мы не дѣлали, чтобъ Европа признала насъ за *своихъ*, за европейцевъ, за однихъ только европейцевъ, а не за татаръ. Мы лѣзли къ Европѣ поминутно и неустанно, сами напрашивались во всѣ ея дѣла и дѣлишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши арміи «спасать царей», то склонялись опять передъ нею, какъ не надо бы было, и увѣряли ее, что мы созданы лишь, чтобы служить Европѣ и сдѣлать ее счастливою. Въ двѣнадцатомъ году, выгнавъ отъ себя Наполеона, мы не помирились съ нимъ, какъ совѣтовали и желали тогда нѣкоторые немногіе прозорливые русскіе люди, а двинулись всей стѣной осчастливить Европу, освободивъ ее отъ похитителя. Конечно, вышла картина яркая: съ одной стороны шелъ деспотъ и похититель, съ другой — миротворецъ и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не въ картинѣ, а въ томъ, что этотъ похититель былъ именно тогда въ такомъ положеніи, въ первый разъ во всю свою карьеру, что помирился бы съ нами крѣпко-на-крѣпко и искренно, и надолго, можетъ быть, навсегда. За условіе, что мы не будемъ ему мѣшать въ Европѣ, онъ отдалъ бы намъ Востокъ, и теперешній Восточный вопросъ нашъ, — гроза и бѣда нашего текущаго и нашего будущаго, — былъ бы уже теперь давно разрѣшенъ. Похититель это самъ говорилъ потомъ, и навѣрно не лгалъ, говоря, ибо ничего-то бы онъ не могъ лучше сдѣлать, какъ впредь быть съ нами въ союзѣ, съ тѣмъ, чтобъ у насъ былъ Востокъ, а у него Западъ. Съ европейскими народами онъ бы навѣрно справился и тогда. Они же были слишкомъ еще слабы тогда, чтобъ намъ помѣшать на Востокѣ, даже Англія. Наполеонъ, можетъ быть, и палъ бы потомъ, или послѣ его смерти династія его, а Востокъ остался бы все-таки за нами. (У насъ тогда было бы море, и мы могли бы даже и на морѣ Англію встрѣтить.) Но мы все отдали за картинку. И что же: всѣ эти освобожденные нами народы тотчасъ же, еще не добивъ Наполеона, стали смотрѣть на насъ съ самымъ

яркимъ недоброжелательствомъ и съ злѣйшими подозрѣніями. На конгрессахъ они тотчасъ противъ насъ соединились вмѣстѣ сплошной стѣной и захватили себѣ все, а намъ не только не оставили ничего, но еще съ насъ же взяли обязательства, правда, добровольныя, но весьма намъ убыточныя, какъ и оказалось впослѣдствіи. Затѣмъ, несмотря на полученный урокъ, — что дѣлали мы во всѣ остальные годы столѣтія и даже донынѣ? Не мы ли способствовали укрѣпленію германскихъ державъ, не мы ли создали имъ силу до того, что онѣ, можетъ быть, теперь и сильнѣе насъ стали? Да, сказать, что это мы способствовали ихъ росту и силѣ, вовсе не преувеличенно выйдетъ. Не мы ли, по ихъ зову, ходили укрощать ихъ междоусобіе, не мы ли оберегали ихъ тылъ, когда имъ могла угрожать бѣда? И вотъ — не они ли, напротивъ, выходили къ намъ въ тылъ, когда намъ угрожала бѣда, или грозили выйти намъ въ тылъ, когда намъ грозила другая бѣда? Кончилось тѣмъ, что теперь всякій-то въ Европѣ, всякій тамъ образъ и языкъ держитъ у себя за пазухой давно уже припасенный на насъ камень и ждетъ только перваго столкновенія. Вотъ что мы выиграли въ Европѣ столь ей служа? Одну ея ненависть! Мы сыграли тамъ роль Репетилова, который, гоняясь за фортуной,

Приданаго взялъ шишъ, но службъ ничего.

Но почему эта ея ненависть къ намъ, почему они всѣ не могутъ никакъ въ насъ увѣриться разъ навсегда, повѣрить въ безвредность нашу, повѣрить, что мы ихъ друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначеніе наше — это служить Европѣ и ея благоденствію. (Потому что развѣ не такъ, не то же ли самое дѣлали мы во все столѣтіе, развѣ сдѣлали мы что для себя, развѣ добились чего себѣ? Все на Европу пошло!) Нѣтъ, они не могутъ увѣриться въ насъ! Главная причина именно въ томъ состоитъ, что они не могутъ никакъ насъ *своими* признать.

Они ни за что и никогда не повѣрятъ, что мы воистину можемъ участвовать вмѣстѣ съ ними и наравнѣ съ ними въ дальнѣйшихъ судьбахъ ихъ цивилизаціи. Они признали насъ чуждыми своей цивилизаціи, пришельцами, самозванцами. Они признаютъ насъ за воровъ, укравшихъ у нихъ ихъ просвѣщеніе, въ ихъ платья перерядившихся. Турки, семиты имъ ближе по духу, чѣмъ мы, арійцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина. Идею мы несемъ вовсе не ту, чѣмъ они, въ человѣчество — вотъ причина! И это несмотря на то, что наши «русскіе европейцы» изо всѣхъ силъ увѣряютъ Ев-

ропу, что у насъ нѣтъ никакой идеи, да и впредь быть не можетъ, что Россія и не способна имѣть идею, а способна лишь подражать, что дѣло тѣмъ и кончится, что мы все будемъ подражать, и что мы вовсе не азіаты, не варвары, а совсѣмъ, совсѣмъ какъ они, европейцы. Но Европа нашимъ русскимъ европейцамъ на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, не повѣрила. Напротивъ, въ этомъ случаѣ она, такъ сказать, совпала въ заключеніяхъ своихъ съ славянофилами нашими, хотя ихъ не знаетъ вовсе, и только развѣ слышала о нихъ кое-что. Совпаденіе же именно въ томъ, что и Европа вѣритъ, какъ и славянофилы, что у насъ есть «идея», своя, особенная и не европейская, что Россія можетъ и способна имѣть идею. Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ничего не знаетъ, — ибо если бъ знала, такъ тотчасъ же бы успокоилась, даже обрадовалась. Но узнаетъ непремѣнно когда-нибудь, и именно когда наступитъ самая критическая минута въ судьбахъ ея. Но теперь она не вѣритъ; признавая за нами идею, она боится ея. И, наконецъ, мерзимъ мы ей, мерзимъ, даже лично, хотя тамъ и бываютъ иногда съ нами вѣжливы. Они, напримѣръ, охотно сознаются, что русская наука можетъ выставить уже нѣсколько замѣчательныхъ дѣятелей, представить нѣсколько хорошихъ работъ, даже послужившихъ уже ихъ европейской наукѣ въ пользу. Но ни за что, однакоже, не повѣритъ теперь Европа, что у насъ въ Россіи могутъ родиться не одни только работники въ наукѣ (хотя бы и очень талантливые), а и геніи, руководители человѣчества, въ родѣ Бэкона, Канта и Аристотеля. Этому они никогда не повѣрятъ, ибо въ цивилизацію нашу не вѣрятъ, а нашей грядущей идеи еще не знаютъ. По-настоящему, они и правы: ибо и впрямь не будетъ у насъ ни Бэкона, ни Ньютона, ни Аристотеля, доколѣ мы не станемъ сами на дорогу и не будемъ духовно самостоятельными. Во всемъ остальномъ то же, въ нашихъ искусствахъ, въ промышленности: Европа насъ готова хвалить, по головкѣ гладить, но своими насъ не признаетъ, презираетъ насъ втайнѣ и явно, считаетъ низшими себя какъ людей, какъ породу, а иногда такъ мерзимъ мы имъ, мерзимъ вовсе, особенно когда имъ на шею бросаемся съ братскими поцѣлуями.

Но отъ окна въ Европу отвернуться трудно, тутъ фатумъ. А, между тѣмъ, Азія — да вѣдь это и впрямь можетъ быть нашъ исходъ въ нашемъ будущемъ, — опять восклицаю это! И если бъ совершилось у насъ хоть отчасти усвоеніе этой идеи — о, какой бы корень былъ тогда оздоровленъ! Азія, Азіатская наша Россія, — вѣдь

это тоже нашъ больной корень, который не то что освѣжить, а совсѣмъ воскресить и пересоздать надо! Принципъ, новый принципъ, новый взглядъ на дѣло — вотъ что необходимо!

IV.

Вопросы и отвѣты.

— Да зачѣмъ, зачѣмъ? — послышатся голоса уже раздраженные, — азіатскія наши дѣла и теперь требуютъ отъ насъ безпрерывно войска и затратъ непроизводительныхъ. И какая тамъ промышленность? Гдѣ ихъ товары, гдѣ найдете тамъ потребителей нашихъ товаровъ? И вотъ вы приглашаете насъ, неизвѣстно зачѣмъ, отвернуться отъ Европы навѣки!

— Не навѣки (продолжаю я стоять на своемъ), — а временно, и опять таки не совсѣмъ, не совершенно вѣдь оторвемся, какъ бы ни отрывались. Намъ нельзя оставлять Европу совсѣмъ, да и не надо. Это «страна святыхъ чудесъ», и изрекъ это самый рьяный славянофилъ. Европа намъ тоже мать, какъ и Россія, вторая мать наша; мы много взяли отъ нея, и опять возьмемъ, и не захотимъ быть передъ нею неблагодарными. Я про будущее великое значеніе въ Европѣ народа русскаго (къ которое вѣрую) сказалъ-было одно словцо прошлаго года на пушкинскихъ празднествахъ въ Москвѣ, — и меня всѣ потомъ забросали грязью и бранью, даже и изъ тѣхъ, которые меня обнимали тогда за слова мои, — точно я какое мерзкое, подлѣйшее дѣло сдѣлалъ, сказавъ тогда мое слово.

Но, можетъ быть, не забудется это слово мое. Объ этомъ, впрочемъ, теперь довольно. Но все же мы въ правѣ о перевоспитаніи нашемъ и объ исходѣ нашемъ изъ Египта позаботиться. Ибо мы сами изъ Европы сдѣлали для себя какъ бы какой-то духовный Египетъ.

— Позвольте, — прервутъ меня, — да чѣмъ же намъ Азія придастъ самостоятельности? Заснемъ тамъ по-азіатски, а не станемъ самостоятельными!

— Видите ли, — продолжаю я, — съ поворотомъ въ Азію, съ новымъ на нее взглядомъ нашимъ, у насъ можетъ явиться нѣчто въ родѣ чего-то такого, что случилось съ Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азія для насъ та же не открытая еще нами тогдашняя Америка. Съ стремленіемъ въ Азію у насъ возродится подъемъ духа и силъ. Чуть лишь станемъ самостоятель-

нѣе, тотчасъ найдемъ что намъ дѣлать, а съ Европой, въ два вѣка, мы отвыкли отъ всякаго дѣла и стали говорунами и лѣнтяями.

— Ну, такъ какъ же вы подымете насъ въ Азію, коль у насъ лѣнтяи? Да и кто у насъ подымается первый, если бъ даже и доказать всѣмъ, какъ дважды два, что тамъ наше счастье?

— Въ Европѣ мы были приживальщики и рабы, а въ Азію явимся господами. Въ Европѣ мы были татарами, а въ Азіи и мы европейцы. Миссія, миссія наша цивилизаторская въ Азіи подкупитъ нашъ духъ и увлечетъ насъ туда, только бы началось движеніе. Постройте только двѣ желѣзныя дороги, начните съ того, — одну въ Сибирь, а другую въ Среднюю Азію, и увидите тотчасъ послѣдствія.

— Мало захотѣли! — засмѣются мнѣ, — гдѣ средства, и что получимъ: себѣ убытокъ и только.

— Во-первыхъ, если бъ мы, въ послѣднія двадцать пять лѣтъ, всего только по три милліона въ годъ на эти дороги откладывали (а три-то милліона у насъ просто сквозь пальцы иной разъ мелькнутъ), — то было бы уже теперь выстроено на семьдесятъ пять милліоновъ азіатскихъ дорогъ, т. е. слишкомъ тысячу верстъ, какъ ни считать. Затѣмъ, вы толкуете про убытокъ. О, если бъ вмѣсто насъ жили въ Россіи англичане или американцы: показали бы они вамъ убытокъ! Вотъ они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что тамъ есть земли, которыя намъ менѣе извѣстны, чѣмъ внутренность Африки? И знаемъ ли мы, какія богатства заключаются въ нѣдрахъ этихъ необъятныхъ земель? О, они бы добрались до всего, до металловъ и минераловъ, до безчисленныхъ залежей каменнаго угля, — все бы нашли, все бы разыскали, и матеріалъ, и какъ его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить имъ самъ-пятьдесятъ, — ту самую землю, про которую мы все еще думаемъ здѣсь, что это лишь голая, какъ ладонь наша, степь. Къ добытому хлѣбу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не безпокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу къ нимъ, изыскали бы ихъ въ нѣдрахъ Азіи, гдѣ они дремлютъ теперь милліонами, и дороги бы новыя къ нимъ провели!

— Ну, такъ какъ же вы восклицаете про науку, и сами склоняете насъ къ измѣнѣ наукѣ и просвѣщенію, приглашая насъ стать азіатами.

— Да науки-то тамъ еще больше потребуется! (восклицаю и я), — ибо что мы теперь въ наукѣ: недоучки и диллетанты. А тамъ станемъ дѣятелями, сама необхо-

димость прижметъ и заставитъ, чуть лишь подымется самостоятельный предпріимчивый духъ — тотчасъ же и къ наукѣ явимся господами, а не прихвостнями, какъ сплошь и рядомъ нынѣ. Она возвыситъ нашъ духъ, она придастъ намъ достоинства и самосознанія, — а этого сплошь у насъ теперь нѣтъ или очень мало. Стремленіе въ Азію, если бъ только оно зародилось межъ нами, послужило бы, сверхъ того, исходомъ многочисленнымъ безпокойнымъ умамъ, всѣмъ стосковавшимся, всѣмъ облѣнившимся, всѣмъ безъ дѣла уставшимъ. Устройте истокъ водѣ — и исчезнетъ плѣсень и вонь. А разъ затянувшись въ дѣло — уже не будутъ скучать, всѣ переродятся. Даже иная бездарность, съ израненнымъ, ноющимъ самолюбіемъ, нашла бы тамъ свой исходъ. Ибо часто въ одномъ мѣстѣ бездарность воскресаетъ въ другомъ — чуть не геніемъ. Это часто и въ европейскихъ колоніяхъ происходитъ. И не опустѣетъ Россія, не бойтесь: начнется постепенно, пойдутъ сначала немногіе, но скоро о нихъ придутъ слухи и увлекутъ другихъ. И все-таки для моря русскаго это будетъ даже и незамѣтно. Освободите муху изъ патоки, расправьте ей какъ можно крылья, и все-таки потянется туда самый ничтожный процентъ населенія, будетъ даже и непримѣтно. А тамъ, — ухъ какъ тамъ будетъ примѣтно! Гдѣ въ Азіи поселится «Урусъ», тамъ сейчасъ становится земля русскою. — Создалась бы Россія новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временемъ и ей же пути разъяснила. Но для всего этого нуженъ новый принципъ и поворотъ. И всѣхъ менѣе потребовалъ бы онъ ломки и потрясеній. Пусть только хоть немного проникнутся (но проникнутся), что въ будущемъ Азія нашъ исходъ, что тамъ наши богатства, что тамъ у насъ океанъ; что, когда въ Европѣ, уже отъ одной тѣсноты только, заведется неизбѣжный и претящій имъ самимъ унизительный коммунизмъ, когда цѣлыми толпами станутъ тѣсниться около одного очага и, мало-по-малу, пойдутъ разрушаться отдѣльныя хозяйства, а семейства начнутъ бросать свои углы и заживутъ сообща коммунами; когда дѣтей будутъ растить въ воспитательныхъ домахъ (на три четверти подкидышами), тогда — тогда у насъ все еще будетъ просторъ и ширь, поля и лѣса, и дѣти наши будутъ расти у отцовъ своихъ, не въ каменныхъ мѣшкахъ, а среди садовъ и засѣянныхъ полей, видя надъ собою чистое небо. Да, много тамъ нашихъ надеждъ заключено и много возможностей, о которыхъ мы здѣсь и понятія еще составить не можемъ во всемъ объемѣ! Не одно только золото тамъ въ почвѣ спрятано. Но нуженъ новый принципъ. Новый принципъ

и потребныя на дѣло деньги родитъ. Ибо къ чему намъ, если ужъ все говорить, — къ чему намъ (и особенно въ теперешнюю минуту) содержать тамъ, въ Европѣ, хотя бы столько посольствъ съ такимъ столь дорого стоющимъ блескомъ, съ ихъ тонкимъ остроуміемъ и обѣдами, съ ихъ великолѣпнымъ, но убыточнымъ персоналомъ. И что намъ тамъ (и именно теперь) до какихъ-то Гамбеттъ, до папы и его дальнѣйшей участи, хотя бы и угнеталъ его Бисмаркъ? Не лучше ли, напримѣръ, на время, въ глазахъ Европы, прибѣдниться, сѣсть на дорожкѣ, шапочку передъ собой положить, грошики собирать: дескать, «la Russie опять se recueille». А дома бы тѣмъ временемъ собираться, внутри бы тѣмъ временемъ созидаться! Скажутъ: къ чему жъ унижаться? Да и не унизимся вовсе! Я вѣдь только въ видѣ аллегоріи про шапочку сказалъ. Не то что не унизимся, а разомъ повысимся, вотъ какъ будетъ! Европа хитра и умна, сейчасъ догадается и, повѣрьте, начнетъ насъ тотчасъ же уважать! О, конечно, самостоятельность наша ее, на первыхъ порахъ, озадачитъ, но отчасти ей и понравится. Коль увидитъ, что мы въ «угрюмую экономію» вступили и рѣшились по одеждѣ протягивать ножки, увидитъ, что и мы тоже стали разсчетливыми и свой рубль сами первые бережемъ и цѣнимъ, а не дѣлаемъ его изъ бумажки, то и они тоже тотчасъ же нашъ рубль, на своихъ рынкахъ, цѣнить начнутъ. Да чего, — увидятъ, что мы даже дефицитовъ и банкротствъ не боимся, а прямо къ своей точкѣ ломимъ, то сами же придутъ къ намъ деньги предлагать, — и предложатъ уже какъ серьезнымъ людямъ, уже научившимся дѣлу и тому, какъ надо каждое дѣло дѣлать...

— Постойте, — слышится голосъ, — вотъ вы, однакоже, про Гамбетту, но намъ нельзя тамъ бросать. Хоть бы тотъ же Восточный вопросъ на первый случай: вѣдь онъ остается; какъ же мы уйдемъ отъ него?

Насчетъ Восточнаго вопроса я бы вотъ что сказалъ въ эту минуту: вѣдь въ эту минуту у насъ, въ политическихъ сферахъ, не найдется, можетъ быть, ни единаго политическаго ума, который бы признавалъ за здравое, что Константинополь долженъ быть нашъ (кромѣ развѣ какъ въ отдаленномъ, загадочномъ еще нашемъ грядущемъ). А коли такъ, такъ чего же намъ больше ждать? Вся суть Восточнаго вопроса въ эту минуту заключается въ союзѣ Германіи съ Австріей, да еще въ австрійскихъ захватахъ въ Турціи, поощряемыхъ княземъ Бисмаркомъ. Мы можемъ и будемъ, конечно, протестовать, въ крайнихъ ужъ какихъ-нибудь случаяхъ, но пока

эти обѣ націи вкупѣ — что же мы можемъ сдѣлать теперь безъ огромныхъ для насъ потрясеній? Замѣтьте, что союзникамъ, можетъ, только того и надо, чтобъ мы, наконецъ, разсердились. Славянскіе же народы мы можемъ попрежнему поощрять и любить, даже помогать имъ чѣмъ можно при случаѣ. Къ тому же очень-то они не погибнутъ въ какой-нибудь срокъ. А срокъ можетъ даже очень скоро кончиться. Вѣдь только бы мы видъ показали, что въ Европу столь вмѣшиваться какъ прежде мы уже не желаемъ, то они тамъ, безъ насъ-то оставшись, можетъ, еще скорѣй перессорятся. Вѣдь никогда-то не повѣритъ Австрія, что Германія ее столь возлюбила единственно за ея прекрасные глаза. Вѣдь она слишкомъ знаетъ, напротивъ, что Германіи все-таки надо, въ концѣ концовъ, ея австрійскихъ нѣмцевъ къ германскому единству присоединить. А своихъ нѣмцевъ Австрія ни за что не уступитъ, даже если бъ давали Константинополь за нихъ — до того ихъ дорого цѣнитъ! Матеріалъ-то для распрей, стало быть, тамъ уже есть. А тутъ еще подъ бокомъ у Германіи все тотъ же неразрѣшенный французскій вопросъ, теперь для нея уже вѣчный. А тутъ, сверхъ того, даже самое объединеніе Германіи, вдругъ оказывается, не только не завершено, а даже грозитъ колебаніемъ. А тутъ, оказывается, и соціализмъ европейскій не только не умеръ, а даже очень и очень продолжаетъ грозить. Однимъ словомъ, намъ стоитъ только дождаться и не вмѣшиваться даже когда звать начнутъ, и чуть только грянетъ тамъ — у нихъ распря, и затрещитъ ихъ «политическое равновѣсіе», — разомъ покончить и Восточный вопросъ, выбравъ мгновеніе какъ и во франко-прусскую бойню, вдругъ заявить, какъ тогда насчетъ Чернаго моря мы заявили: «не желаемъ-де австрійскихъ захватовъ въ Турціи признавать», и разомъ исчезнутъ захваты, можетъ быть, и съ Австріей вмѣстѣ.

Вотъ и наверстаемъ все, что на время какъ будто бы упустили...

— Ну, а Англія? Вы упускаете Англію. Увидавъ наше стремленіе въ Азію, она тотчасъ взволнуется.

— «Англіи бояться — никуда не ходить», — возражаю я передѣланною на новый ладъ пословицей. — Да и ничѣмъ новымъ она не взволнуется, ибо все тѣмъ же волнуется и теперь. Напротивъ, теперь-то мы и держимъ ее въ смущеніи и невѣдѣніи насчетъ будущаго, и она ждетъ отъ насъ всего худшаго. Когда же пойметъ настоящій характеръ всѣхъ нашихъ движеній въ Азіи, то, можетъ быть, сбавитъ многое изъ своихъ опасеній... Впрочемъ, я согласенъ, что не сбавитъ и что до этого еще ей далеко.

Но, повторяю: Англіи бояться — никуда не ходить! А потому и опять таки: Да здравствуетъ побѣда у Геокъ-Тепе! Да здравствуетъ Скобелевъ и его солдатики, и вѣчная память «выбывшимъ изъ списковъ» богатырямъ! Мы въ наши списки ихъ занесемъ.

PG
3325
A1
1911
t.21

Dostoevskiĭ, Fedor Mikhaĭlovich
Polnoe sobranie sochineniĭ

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY